А.И. Куприн

ПЁСТРАЯ КНИГА

А. И. Куприн

ПЁСТРАЯ КНИГА

(Несобранное и забытое)

Пенза
2015

ББК 63.3 (2Рос=4Пен)
К 92

Куприн А. И. Пёстрая книга. Несобранное и забытое. Составление, вступление и примечания Т.А. Кайманової. — Пенза, 2015. — 628 с.

В сборник вошли произведения Куприна, не включенные в собрание сочинений и неизвестные читателю – более 150 новых текстов. Книга составлена на основе архивных источников, публикаций в дореволюционной прессе, а также рассеянных в многочисленных газетах революционной эпохи и изданиях русской эмиграции. Часть помещенных в данной книге текстов воспроизводится в России впервые.

Сборнику предпослана вступительная статья составителя. Издание снабжено обстоятельными комментариями. Тексты воспроизводятся в соответствии с нормами современной орфографии и пунктуации.

Составитель будет признателен
за конструктивные замечания и предложения.
Отзывы направлять по адресу:
takaimanova@yandex.ru

ISBN

© Кайманова Т.А., 2015

НЕИЗВЕСТНЫЙ КУПРИН

Произведений А. И. Куприна в различных жанровых формах (романы, повести, рассказы, очерки, статьи, рецензии, заметки, стихи) насчитывается более 900. Не все творения классика вошли в его собрание сочинений. В последний 10-томник (М.: Воскресенье, 2007), опрометчиво названный Полным собранием сочинений, не вошло более 200 текстов.

Они оказались затерянными в периодике как дореволюционной России, так и «пегом» времени революций и эмиграции и остаются неизвестными, а значит, и не прочитанными современными читателями. В архивах и книгохранилищах, в старых журналах и газетах после долгих и трудных поисков находятся новые рассказы, статьи, фельетоны, стихи, рецензии, заметки и очерки прославленного русского писателя.

Настоящий сборник – это попытка возвращения непрочитанного и забытого Куприна, так как одни из предлагаемых текстов не переиздавались с 1900 — 1910-х гг., другие – исчезли из памяти вместе с часто менявшими названия газетками ломкого времени революций, некоторые – затерялись в эмигрантских изданиях 1920-1930-х гг.

Почему сборник назван «Пестрая книга»? Название не только соответствует наименованию купринского цикла статей 1917 г., остающегося неизвестным и непрочитанным, но имеет символическое значение.

«Пестрый», «пегий» – любимые словечки А. И. Куприна. Он сам себя называл пегим человеком. В поэтике писателя слово «пегий» употребляется как в прямом (разноцветный, разношерстный, пестрый), так и переносном значении (непородистая лошадь, выбракованная). Но на пегом – благодать Божия, ибо по христианской легенде, как пишет Куприн в апокрифе «Пегие лошади», пегая лошадь сотворена по молитве Николая Угодника и обладает уникальными качествами и свойствами: памятливостью и хитростью, выносливостью, смиренностью и старательностью.

В текстах Куприна колоративному тропу «пегий» принадлежит культурная и ценностная доминанта в формировании художественного образа. Емкое словечко придает дополнительный смысл повествованию. В очерках «Листригоны» автор называет Балаклаву оригинальным уголком «пестрой русской империи» – многоликой страны и по природным особенностям, и по национальному составу, и пр. В повести «Звезда Соломона» (1917) разнообразные и многоплановые события, хлынувшие «водопадом в незаметное сущес-

твование кроткого и безобидного» героя, автор именует «пестрыми». В 1917 г. в газете «Свободная Россия» Куприн ведет фельетон под названием «Пестрая книга», представляющий собой дневник происходящих событий. Темы, которые поднимает писатель в революционной публицистике, разнообразны, неоднозначны, разнолики, как сама пестрая жизнь: об армии, власти, народном образовании, памятниках культуры, продолжении войны, материальном положении и пр.

Более глубокая метафора содержится в цветообозначении «пестрый-пегий», относящемся к человеку. У Куприна – это человек седой, разношерстный или с веснушчатым разноцветным лицом. Но «пегий» употребляется автором по отношению к человеку всегда как колоративный троп, в переносном значении: много переживший, потрепанный жизнью, бывалый, неоднозначный человек по характеру и судьбе, в нем намешано и перемешано много свойств, светлых и темных качеств, разноцветных красок. Пегий человек – важнейший образ в пестрой российской жизни. В рассказе «Гусеница» наблюдается философско-эстетическое наполнение тропа. От пренебрежительной характеристики женщины: серенькая, тусклая, неприметная, ничем не примечательная, простецкая баба Ирина Платоновна, которую называли «пяденица крыжовничная», – повествование двигается к осмыслению внутренней силы, проявленной «пегой гусеницей». Прилагательное связано не только с физическими, но духовными качествами личности. Емкое русское словцо «пегий-пестрый» Куприн использует и в эмигрантской публицистике, и оно приобретает особую ментальную значимость: в нем проявляется сгусток культурного феномена в сознании человека, своеобразный концепт, посредством которого Куприн входит в ментальную культуру. В эмигрантской прозе пегий человек, много переживший, за плечами которого масса крупных и мелких событий, превращается в символ потерянной России, и цветовая характеристика приобретает философско-содержательный смысл, становится признаком живучести, выносливости русского человека. Героем купринских произведений 1930-х гг. выступает пегий человек. Один из рассказов так и называется «Рассказ пегого человека» (1934), в котором персонаж не претендует на исключительность даже в имени: «Зовите хоть Иван Иванович, а фамилию выберите Пегий». У него веснушчатое лицо, и «жизнь вся, – по собственному признанию, – поистине была пегая, пятнистая». Пегие люди – заурядные, неэлитные.

Неоконченному автобиографическому рассказу «Теодолит» Куприн дал подзаголовок «Рассказ из воспоминаний пегого человека», таким образом вводя самохарактеристику. Он причисляет себя

к пегим: по внешности, по пестрой канве биографии, по духовным качествам. За колоративным тропом «пегий человек» встает вся пестрая жизнь неоднозначного человека-писателя. Именуя себя «пегим человеком», Куприн смыкается с другой самохарактеристикой: не философ, не гений – «только добрый рассказчик». Колоративный троп «Пегий» в качестве псевдонима (как М. Горький, Д. Бедный) обладал бы глубоким смысловым подтекстом, но, не применив его в качестве говорящего имени, Куприн использовал его в автобиографических рассказах как заголовок и подзаголовок, соотнося свою жизнь и себя с Пегим. В архиве Куприна (РГАЛИ. Ф. 240) хранятся обрывки мемуарной прозы «Прошлое. Рассказы о том, что я видел, слышал и чувствовал в течение моей пестрой жизни». Таким образом, философско-эстетическое наполнение слова «пегий» в купринской прозе дополняет и раскрывает проблему личности самого Куприна – писателя и человека. Перед вами пестрая книга пегого человека.

В истории куприноведения уже предпринимались подобные издательские проекты с целью донести до читателя неизвестные, затерянные произведения Куприна. Это книга Э.М. Ротштейна «А.И. Куприн. Забытые и несобранные произведения» (Пенза, 1950. 282 стр.), познакомившая читателей с рассказами периода эмиграции. Одной из последних работ по возвращению забытого наследия классика был сборник, составленный Л.В. Усенко (Куприн А.И. «Река Жизни». Рассказы и повести. Из несобранного и забытого. Ростов-на-Дону: Росиздат, 1988. — 464 стр.). Большую работу по собиранию эмигрантской публицистики писателя проделала О.С. Фигурнова, составившая книгу «Голос оттуда» (М.: Согласие., 1999).

Едва ли будет преувеличением сказать, что творчество Куприна нуждается в современном исследовании. Тот факт, что не все произведения писателя выявлены, не все опубликованы, нет академического Полного собрания сочинений, побуждает снова обратиться к изданию несобранного и забытого.

В архивах, зарубежных изданиях и газетах имеется много неизвестных читателю страниц, представляющих художественную и историко-литературную ценность для каждого любящего литературу. Хранятся в архивах многочисленные купринские письма. Лишь очень узкому кругу специалистов знаком Куприн — литературный критик, драматург, переводчик. Забыты многие его интересные пародии, фельетоны, переводы.

Настоящий сборник в какой-то мере восполняет этот пробел. Масштабы вновь открывшегося литературного наследия Куприна впечатляют: более 150 текстов, написанных в разный период, как

для дореволюционных периодических изданий, так и для периодики русской эмиграции. Часть помещенных в данной книге текстов воспроизводится в России впервые.

Книга составлена таким образом, что представляет разные этапы и грани творчества А.И. Куприна – прозаика и поэта, переводчика и драматурга, фельетониста и пародиста, очеркиста и литературного критика. Содержание ее состоит из 5 частей: Рассказы и художественные очерки; Пьесы; Публицистика политическая; Очерки, статьи, рецензии; Стихотворные произведения. В каждом разделе материал расположен в хронологическом порядке. Тексты печатаются, как правило, по первым публикациям, с сохранением характерных особенностей грамматики и стилистики первоисточников.

Центральное место в сборнике занимают рассказы, их более 30, не входившие в собрание сочинений. Из дореволюционных «затерянных» произведений читатель познакомится с такими, как «Врачебная этика», «Элегии в прозе», «Ночью», «Заклятье». В сборник включен рассказ «Тараканья щель» и его поздняя редакция под названием «Бубен неуемный» (1931). Большой интерес для исследователей представляют сочинения, написанные и опубликованные в 1918 г.: «Старость мира», «Гатчинский призрак», «Каломель», «Тришка Будильник», обнаруженные составителем в периодике революционного времени; произведение «Шестое чувство», объединившее два повествования «Обыск» и «Допрос» (оба вошли в сборник «Голос оттуда», 1999), и эссе о владимирских рожечниках – в таком варианте рассказ печатался только в эмигрантском сборнике. Не входили в собрание сочинений многие рассказы периода эмиграции: «Извощик Петр» (1924), «Лесенка голубая» («Лесенка Богородицы», 1926), «Медвежья Молитва» («Медвежье благословение», 1925), «Костя Попов» (1933), «Алеша», написанный еще в 1916 г., но напечатанный только в эмигрантском сборнике «Жанета» (Париж, 1934) и являющийся сегодня библиографической редкостью. Многие произведения, опубликованные в сборниках периода эмиграции, так и остались неизвестными современному читателю. К таким относится «Одиночество» (1923), время действия которого отодвигается в 1918 г. Повествование наполнено размышлениями о предательстве царедворцами своего государя, о душевном одиночестве Николая II, оставшегося без спасительной поддержки. Долгий путь к читателю проделал рассказ «Пощечина» (1924), затерявшийся в журнале русской эмиграции «Иллюстрированная Россия». Такова же судьба рассказа «Последний буржуй» (1927), который не следует

путать с ранней редакцией «Последний из буржуев». Из далекого времени овеет таинственным ароматом каприфолия эпистолярный роман «Письма Наташе» (1920).

В настоящий сборник включен купринский перевод рассказа А. Франса «Жонглер Богородицы», привлекшего писателя своей новеллистической развязкой и цирковой тематикой. Перевод, выполненный в 1908 г., позволяет ознакомиться с деятельностью Куприна-переводчика. В 1908 г. он сочиняет пародию «Любовь Армана и Генриетты», и в подзаголовке, определяя ее жанр, употребляет слово «роман». По форме «Арман и Генриетта», действительно, напоминает конспект целого романа, однако, по существу, это завершенная лаконичная и остроумная пародия. Автор стремился определить в ней наиболее характерные черты переводной бульварной литературы и постарался спародировать любовно-великосветскую беллетристику эпигонов Золя, поставляющих чтиво для «добродетельных буржуа». Он высмеивает и шаблонные приемы преимущественно внешней характеристики героев, и ложный психологизм, и мелодраматические эффекты, свойственные бульварным переводам, и претенциозный стиль бессодержательной литературы. Ту же линию можно проследить и в его поэтических пародиях.

Составитель посчитал целесообразным включить несколько рассказов, входивших в 9-томное собрание сочинений (М., 1970-1973), но очень важных в контексте купринского наследия. Это редко переиздающиеся: «Молитва Господня», «Воробьиный царь», «Париж и Москва». В сборник включены незавершенные произведения, без конца. Но эти отрывки, как, например, «Двоенос», «Теодолит», интересные автобиографическими моментами, дают представление о мощи таланта классика даже в поздние годы. В целом все эти разнообразные тексты достаточно полно характеризуют художественный мир А.И. Куприна и эволюцию его прозы от 1890– х гг. до окончания творческого пути.

Во второй части собраны драматургические сочинения. Из обширного наследия писателя можно выделить более десятка произведений, которые отвечают правилам драматического искусства, среди них «Грань столетия» (1900), водевиль «Лейтенант фон Пляшке» (1914), кинопьесы «Моя звезда» (1912-1917) и «Рахиль» (1922); пьеса-памфлет «Публичный торг» (1921).

К раннему периоду творчества относится незавершенная пьеса «Грань столетия» (1900), когда в соавторстве с киевским журналистом М. Н. Киселевым он пишет сатирическую комедию. Пьеса осталась незаконченной, и долгое время была неизвестна читателям. Публикация рукописи, хранящейся в РО ИРЛИ РАН (ф. 242),

осуществлена П. Ширмаковым в 1956 году. Комедия «Грань столетия» написана, действительно, на рубеже столетий – в самом конце 1899 г. или в начале 1900 г. – и связана с купринскими очерками и статьями этого периода и сотрудничества в газете «Жизнь и искусство». Злободневные еженедельные обзоры киевской жизни, остро высмеивающие деятельность городского самоуправления, послужили основой для первого акта пьесы. Комедия имеет два плана. Первый акт – это сатира на думу и думских гласных в Киеве, «пустоту недомыслия» членов думы, заседающих целыми сутками без надобности и разумной пользы. Действие второго акта вынесено на площадь, и главными лицами являются два поэта. Куприн дает сатирический портрет декадентов в гротескной трактовке, нарочито гиперболизированный, используя как расширенные авторские ремарки, так и монологи персонажей. Автор мастерски пародирует ритмику, словесные образы, лексику и унылый тон поэзии символистов, появившихся в русской литературе на грани столетия. Пьеса осталась незавершенной, но судя по ее подзаголовку («драматическая трилогия»), по списку действующих лиц и по отдельным репликам, Куприн намеревался написать вторую и третью части, где показывалась бы более полно деятельность думы. Однако и в том виде, в каком пьеса дошла до нас, она интересна в плане как характеристики общественно-политических и литературно-эстетических позиций автора, мастерства Куприна-сатирика, так и в плане исканий себя в драматургическом жанре.

В разное время беллетрист предпринимал попытки специально сочинять не только для сцены, но и для кино. В 1914 г. в «Синем журнале» (1914, № 19) за подписью Куприна опубликована кинодрама «Трус», созданная на основе одноименного рассказа. В интервью 1912 г. он сообщал критику А. А. Измайлову, что работает над пьесой, в которой будет выведена «сильная натура, морской волк». Кинопьеса «Моя звезда» представляет значительную ценность для изучения драматургического опыта Куприна. Ее анализ свидетельствует, что автор серьезно отнесся к написанию сценария для большого фильма и подошел к нему как к художественному произведению: детально разработал сюжет, дал исчерпывающие характеристики действующих лиц, попытался разработать и осмыслить текст в кинематографическом плане (указал необходимые технические приемы, ввел ремарки для режиссера). Таким образом, можно говорить о значительном и интересном опыте Куприна в кинодраматургии. Писатель обращался и к такой малой драматургической форме, как водевиль – комедийная пьеса с песенками-куплетами. К началу Первой мировой войны отно-

сится работа над одноактным водевилем «Лейтенант фон Пляшке». Носивший пропагандистский характер, он был опубликован сначала в журнале «Аргус» (1914 г., № 22) и в том же году вышел в Петрограде отдельным изданием, так как оказался на злобу дня. Нельзя согласиться с оценкой литературоведа А. А. Волкова, причислившего это произведение к «величине ничтожной в литературном наследии» классика (Волков А. Творчество А. И. Куприна. – М. – 1981). Купринская пьеса отвечает правилам жанра: имеет занимательную интригу и анекдотический сюжет. В ней присутствуют такие характерные черты водевильного жанра, как острая злободневность, мобильность, гибкость, немедленный отклик на события. Автор сохранил присущие водевилю принципы: стремительный ритм, куплеты, танцы, легкость диалога, общение со зрителем, яркость и выразительность характеров. Темой этой вещицы 1914 г. стало осмеяние прусской военщины, погрязшей в долгах и готовой на неблаговидные сделки. Куприн для решения своей задачи прибегает к гротескной трактовке образов. Авторские ремарки, представляющие собой краткие пояснения к образу, служат меткими и хлесткими характеристиками: о лейтенанте Пляшке – «Стек. Монокль. Корсет»; о Зигерле – «Посредник, маклер, директор сталелитейного завода и вообще что хотите. В клетчатом» – точное обозначение вечного спутника войны, обогащающегося в мутное время. Сущность Зигерле, сводника, нечистого на руку дельца, дополняет в плане характеристики свойственная жанру водевиля песенка сатирического оттенка: «Я честный маклер, я посредник». В пьеске шесть персонажей. Место действия – пивная в окрестностях Берлина. Комические сцены следуют одна за другой. Легкие диалоги приправлены шутками, доходящими до сарказма. В купринском водевиле, как и подобает в этом жанре, звучит очень много остроумных куплетов и песенок. В конце все персонажи пляшут и поют, и танец иронически переведен в манеру прусского марша, когда действующие лица маршируют на сцене, упиваясь такой «танцевальной формой». Куприну оказалась под силу типичная водевильная структура (парадоксальность, стремительность действия, неожиданность развязки: появление за сценой казаков и звучание лихой казачьей песни). Он блестяще справился с малой драматургической формой. В водевиле проявилась купринская страсть к шутке, каламбуру, остроумию.

Драматургическое наследие Куприна в эмиграции пополнилось маленькими политическими пьесками, представляющими собой фельетоны и памфлеты в диалогической форме: «Через десять лет» (1920), «Публичный торг» (1921). Малоизвестный и не переизда-

вавшийся с 1921 г. памфлет «Публичный торг» автор именует исторической пьесой в двух действиях. В основе содержания – саркастическое осмеяние большевиков, продающих с публичного торга Россию, как закованную в цепях рабыню.

Обращение к драматургическим формам расширяет представление о Куприне как творческой личности, работавшей в различных жанрах. Его талант беллетриста, наблюдательность и острое слово помогали справляться с созданием театрального текста. К сожалению, сценическая судьба созданных им пьес не была удачной или продолжительной.

Третий раздел сборника отведен обширному публицистическому наследию, часть которого остается неизвестной читателю. Причины – затерянность текстов в периодике сложного времени Первой мировой войны, революции, эмиграции.

Из публицистики 1900-х гг. особенно остро звучит статья «Армия и революция» (1906), вызванная дебатами о недавно вышедшем «Поединке» и событиями первой русской революции. Деятельности Всероссийского земского союза в годы Первой мировой войны посвящена обширная статья «Союзники» (1914), написанная по следам поездки в Киев. Она открывается лирическим отступлением – воспоминанием о днях молодости и начале журналистской карьеры в местной периодике, о встрече со старыми друзьями. Автор наглядно описал увиденные фабрики и заводы, зафиксировав важные мелочи в организации производства, настроении работников и земцев. Куприн отдал должное земскому союзу, организовавшему помощь фронту, и назвал участников этого движения истинными союзниками России в великой войне.

Один из разделов посвящен политической публицистике – это более 40 новых статей, очерков, фельетонов. Уникальна подборка статей 1917 г., напчатанных автором в цикле «Пестрая книга» и никогда более не воспроизводившихся. Остается неизвестной публицистика 1918 г., поражающая дерзостью, безоглядной смелостью писателя, показывающая его политическую позицию честного, порядочного человека демократических взглядов. Все статьи и фельетоны звучат актуально, современно, удивляют злободневностью вечных русских вопросов о власти и беззаконии, безнаказанности и разгуле инстинктов во время любой перестройки: «<…> взбунтовались дезертиры, беглые каторжники, бродяги, грабители и прочая сволочь; а наверху хотели взять власть ничтожные представители нашей жалкой неврастенической, болтливой, трусливой, удаленькой, карликовой интеллигенции. Хотели взять и не могли, хотя она валялась на земле <…>»

Февральская революция – важная веха в жизни и творчестве Куприна. Он становится темпераментным журналистом-публицистом и на газетных страницах выражает свои представления о реалиях российской действительности, о насущных общественных проблемах. Вопросы, поднимаемые в публицистике, разноплановы и злободневны. В ней отражено отношение писателя к реформам Временного правительства и Совета рабочих и солдатских депутатов, положению на фронте, проблемам охраны культурных ценностей, напряженным идейным спорам, видным общественным и политическим деятелям, первым декретам Советской власти, крестьянскому вопросу, особенностям массовой психологии революционной эпохи и др.

Но какой бы «срез» действительности Куприн ни рассматривал, общим знаменателем его оценочных суждений всегда оставалась судьба и будущее России, которое творилось на глазах писателя.

Нет оснований говорить о политическом простодушии, расплывчатости и противоречивости его взглядов в февральские дни. Купринской публицистике этого периода присущи хлесткость, беспощадность оценок, категоричность суждений, в которых проявились не только субъективизм художника, но и объективная правда истории. В письме к редактору «Петроградского листка» А.А. Измайлову от 23 сентября 1917 г. Куприн подтверждает дерзкую позицию журналиста, готового отстаивать важные для него принципы в свободной прессе: «< > то, что я хочу и могу провозгласить в «Вольности», того Вы (не Вы лично, а газета), пожалуй, не захотите или не сможете пропустить, по причинам благоразумия < >. Это Вы сами увидите из первых моих статей в «Вольности» (РГАЛИ. Ф. 2560. Оп. 2. ед. хр. 104).

В отечественном куприноведении прочно укоренились стереотипы относительно жизни и творчества Куприна двух предэмигрантских лет и сложилась определенная точка зрения, которую нельзя назвать объективной. В свете доступных ныне публицистических произведений становится ясной позиция писателя, сознающего в силу своей популярности ответственность перед обществом. Это поможет прояснить логику дальнейших событий в его жизни. Октябрьская публицистика и художественные произведения этого периода (до сих пор не вошедшие в собрание сочинений) отражают политический портрет писателя, его достаточно четкую позицию и взгляды на большевиков и ситуацию в стране. Куприн признает свершившийся переворот как очевидность и неотвратимость факта. Положение обрисовано в фельетоне «Стыдливое признание» (Эхо. – 1918. – № 9), написанном еще до ареста. Признание окрашено

сарказмом и иронией, лексика выбрана с отрицательным эмоциональным воздействием. Автор сравнивает «лихорадочное время» и власть Советов со стихийным бедствием (градом, «нашествием саранчи», «бешеным быком», лопнувшим городским коллектором, затопившим нечистотами), которому невозможно противостоять. Писатель ставит вопрос об уважении к новой власти: ее можно признать как силу, но не более.

После Октябрьской революции Куприн сотрудничает в нескольких петроградских изданиях, периодически закрываемых властями, но продолжающих выходить под новыми названиями до июля 1918 г. («Петроградский листок», «Эхо», «Эра», «Молва», «Вечернее слово»). Первые отклики на революционные события содержатся в статье «Где конец?» (Молва. – 1918. – № 4), которая передает тяжелое душевное состояние писателя – в ней явственны настроения безысходности, усталости, почти безнадежного поиска ответа на вопрос: как и чем жить дальше, «когда хочется плакать, когда мутит от смрада и крови»? Эта тональность определяет многие размышления Куприна, пытающегося «разобраться в том безобразном клубке, в который спуталась нынешняя российская действительность». Как и многие современники, он испытал острое разочарование в возможности созидательных преобразований в России, готовности к ним всех слоев ее населения. Революция – это «целительное снадобье» – по мнению писателя, неожиданно быстро превратилась в свою противоположность. Он не случайно дает рассказу название «Каломель» (1918): лекарство, в состав которого входит ртуть, в реальности оказывается ядом. Автор сравнивает страну с больницей, в которой «напрасно пациенты прячутся от неистовых врачей под кровати, в чуланы и в прочие укромные места. Их выволакивают оттуда за полы халатов, валят на землю, насильно разжимают челюсти и льют в рот через воронку проклятое пойло». Крушение моральных ценностей, ставших лишь словами, означало для писателя распад и крушение человеческой личности и страны. Уже в декабре 1917 г. Куприн отмечает, как быстро человек привыкает ко всему, перестает ужасаться даже самому страшному, приноравливается к уродливым условиям бытия: «Притупились нервы, застыло воображение, вылиняла и охамела душа» (Доменная печь // Эхо. – 1917. – № 3). Писатель назвал это явление «охамением», «обнищанием души», «пищепроводным равнодушием», являющимся следствием политики новой власти, разъединяющей и подчиняющей людей голодом и прикармливанием, морально уничтожающей их целой системой подкупов. Этой теме Куприн посвящает стихотворный памфлет «Дневник ущем-

ленного интеллигента» (1918). В 1920 г., отвечая на вопрос анкеты, опубликованной в газете «Общее дело», — почему большевики сумели удержаться у власти три года? — среди прочих причин он указал на «безграничное и подлое могущество, заключенное в восьмушке хлеба». О выбранных Лениным целях и средствах Куприн полемизирует в статье «Законный срок».

В статье «Все качества» автор без опаски во всеуслышание заявляет о том, что власть пришедших большевиков бессмысленно жестокая, что она опирается на самые разрушительные, а подчас и преступные части общества. «Государственная власть должна быть честной, но мы видим слишком часто ее представителей опозоренными и заклейменными. Власть должна быть и опрятна. <…> власть никогда не должна марать себя невольным сотрудничеством с убийцами, случайным попустительством насилию, неосмотрительным укрывательством преступников». Тему о «псевдореволюционной сволочи», примазавшейся к революции и устраивавшей свои темные делишки, писатель продолжает в фельетоне «Недоразумение» (др. название «Тришка Будильник»), рисуя гротескную картину: вор, по имени Тришка Будильник, считая Ленина своим вдохновителем, является к нему, чтобы в соответствии с воровскими законами справедливо поделиться награбленным, искренне полагая, что новые декреты развязали руки мошенникам. Публицистика 1918 г. показывает усиление интереса писателя к жанрам гротеска, памфлета, фельетона.

В своих статьях Куприн последовательно проводит линию, оппозиционную советской власти, остро критикуя ее действия. Наблюдение за практической деятельностью большевиков привело писателя к выводу, что суть ее – удержаться у власти любой ценой при отсутствии знаний и навыков управления. За лихорадочной работой, точнее – ее имитацией (миллионы декретов, постоянные беспричинные метания из стороны в сторону, отсутствие постепенности и планомерности, несуразное усердие и надрывный призыв), – Куприн видит только разрушение национального лица, заводов, промыслов, науки, культуры, самобытного искусства, религии. Проводя аналогию между революцией и литейным делом, он с художественной точностью рисует ситуацию: дело «стало переходить из рук в руки, пока его не захватила беспардонная кучка международных авантюристов, темных дельцов, наемных агентов злобствующего конкурента, безграмотных самоучек и тех фантастов-изобретателей, которым слепой случай дал, наконец, возможность осуществить на практике свои несбыточные, сумасбродные, наивные, маниакальные теории. Из всех правил литейного дела они

знают только одно: температура внутри печи должна держаться в тысячу градусов и выше < > Они только командуют толпе сбродных, неумелых и вдобавок пьяных, оголтелых оборванцев: «Разжигай веселей, что-нибудь да выйдет». <…> А из доменного отверстия внизу ползет лишь один безобразный, никому не нужный, бессмысленный шлак». К перечисленным ценностям, которые «пошвыряли» в раскаленное «чрево» домны, Куприн относит «честь армии, достоинство и богатство родины, уважение к революции, браку, семье, свободе слова и печати, неприкосновенность личности и имущества, и жизни. Интеллект страны и ее хоть жалкая, но все-таки культура – все пошло на растопку этой дьявольской печи, глупой, прожорливой и бесцельной» (Доменная печь // Эхо. – 1917. – № 3).

Болезненно важным для писателя в это время становится вопрос о свободе печати. Цензура стала эффективным оружием большевиков в борьбе с инакомыслящими. Независимое слово подвергается гонениям, но Куприн с удовлетворением отмечает, что журналисты не спешат на поклон к новой власти. Поэтому на свободных писателей и публицистов навешивается ярлык – «писаки». К ним Куприн причисляет и себя: «<...> мы, честные журналисты, люди с негнущейся спиною и горячей любовью к родине, осмелились, пользуясь республиканской свободой слова, робко критиковать действия наркомов, нархозов, совдепов, румчеродов, красармов; <…> мы <…> называем вещи и явления своими именами: кровь – кровью, воровство – воровством, холуйство – холуйством, невежество – невежеством» (Писаки // Молва. – 1918. – № 5). В статье «Писаки» намечен купринский лейтмотив восприятия событий: в социальный рай «неучи гонят Россию прикладом, пулеметом, голодом и словоблудием».

Независимая публицистика послеоктябрьского периода 1917 – 1918 гг., отличавшаяся дерзостью, беспощадной иронией и сарказмом, обратила на себя внимание советских судебных властей. В ночь на 1 июля 1918 г. писатель был арестован в своем гатчинском доме и спустя несколько часов доставлен в петроградский революционный трибунал. Следственная комиссия, рассмотрев фельетон «Михаил Александрович» (Молва. – 1918. – № 15. – 22 июня), сделала вывод, что он подготавливает почву для восстановления в России монархии и является «актом контрреволюции». Дни своего вынужденного заключения Куприн описал в статье «Сенсация», где особо отметил, что больше всего неприятностей доставляли ему газетные заметки о его аресте. Репортеры, смакуя детали и выдвигая версии причин задержания, невольно давали революционному трибуналу все новые и новые поводы для раз-

мышлений. «Иногда такое неосмотрительное раздраконивание происшествий, особенно если участники их осуждены на невольное молчание, может привести к результатам невыгодным для них и отяжеляющим их и без того невеселое положение» (Сенсация // Эра. – 1918. – № 5). Статьи: «Михаил Александрович», «К убийству В. Володарского. У могилы», «Сенсация», — составляя идейно-смысловую трилогию, послужили основой для написания в эмиграции автобиографических очерков: «Обыск» (1930), «Допрос» (1930), позже с изменениями и дополнениями составившими рассказ «Шестое чувство» (1934).

Главные свои публицистические произведения 1918 г. Куприн объединил в малоформатный сборник «Тришка Будильник» (1919), названный по имени главного персонажа фельетона «Недоразумение». В книгу вошли фельетоны: «Дневник ущемленного интеллигента», «Каломель», «Тришка Будильник», «Великий князь Михаил Александрович». Все написанное Куприным в 1918 г. отмечено злободневностью и оппозиционностью по отношению к новой власти. Для публицистики этого периода характерна четкость расстановки акцентов, незаурядный сатирический дар, тонкая наблюдательность, внимание к типичному, обыденному и повседневному, через которое определяется общее, эпохальное и благодаря чему запечатлено не просто историческое событие, но «дух времени».

Значительно число обнаруженных новых статей периода эмиграции: «Высокие покровители», «Параллели», «Мир – дурак», «Великая Русь» и др.

Публицистическое наследие писателя разнообразно, поэтому один из разделов отдан очеркам и статьям, посвященным спорту, искусству, кинематографу и другим темам. Журналистский талант Куприна ярко раскрывается в не переиздававшихся ранних производственных очерках («В бактериологическом институте», «Новороссийский элеватор» и др.) и в мемуарных очерках, посвященных С. Уточкину (1913; не путать очерк с некрологом 1916 г.) и Анатолию Дурову (1926; не путать со статьей-некрологом 1916 г.). Дарование Куприна – спортивного журналиста проявилось в статьях и заметках: «Борьба и бокс», «О стрельбе», «Забытая игра (Лапта)». Боксерскому поединку француза Карпантье с американцем Дэмпси посвящен малоизвестный очерк «Победа духа», напечатанный в газете русской эмиграции «Общее дело» (1921, № 357) и не переиздававшийся с тех давних пор. Писатель, сам не наблюдавший поединка, состоявшегося в Америке, создал в форме репортажа эффектную картину присутствия на ринге. Он использует любимый прием: проявляет авторское «я», вводит эпизод-воспоминание из

детства. «Вспомните, господа мужчины, разве во времена вашей юности не доставляла вам резкого буйного наслаждения хорошая драка внутри тесного кольца беспристрастных товарищей? <… > может быть, вспомните, какую страшную боль причинял крепкий удар под ложечку, под середину груди? Я помню эту боль до сих пор, хотя прошло уже 35 лет с того дня, когда в переменку, после французского урока, два кадета шестого класса, Куприн и Козлов, публично оспаривали в умывальнике четвертое место среди сильнейших. Тогда я на практике понял смысл страшного выражения «позеленело в глазах». Куприн уверенными мазками спортивного репортера мастерски создает картину на ринге: «Медленно текут девять секунд. Карпантье пробует встать, но не может. Демпси, в трех шагах, пригнулся, весь собрался для нового прыжка, нового удара. Падает последняя упорная минута. Карпантье неподвижен и бессилен. Какая острая, жгучая жалость! <…> Окровавленное лицо Карпантье освещается слабой улыбкой. Он находит в себе героическую силу протянуть руку победителю… Губы его с трудом выговаривают великодушные слова: «Утешением мне служит, что я побежден самым сильным человеком». В сочном и конкретном повествовании о поединке акцентируется отнюдь не событийное течение, а внутренняя жизнь героев, процесс, протекающий в их душе. Для определения этой ориентации сочинений Куприна вполне можно употребить его собственные выражения: «сила духа» торжествовала здесь над телом, высоко была поднята «ценность человеческой личности», а «мускульную ловкость, красоту» оттеняли импульсы отважного сердца.

К малоизвестным относятся очерки периода эмиграции: «Свободный цирк» и «Умирающее искусство», посвященные цирку и его героям.

Очерки об искусстве, театре, артистах представлены в основном неизвестными текстами из эмигрантского журнала «Театр и жизнь», в котором активно сотрудничал Куприн. Они открывают широкий круг общения писателя, мир его интересов. Тонким наблюдателем, интуитивно чувствующим ценителем выступает он в статьях: «Кармен», «Ревнив ли Отелло?», «Семья Кедровых», «Комедия дель Арте». Очерк «Лики театральной России: Н.П. Рощин-Инсаров» принес приятное открытие: Куприн упоминает о своем пребывании в десятилетнем возрасте в Пензе, и это сообщение подтверждает бытовавшую в среде куприноведов шаткую версию, основанную только на предположении. Музейщикам известен конверт со штемпелем «Пенза», в котором письмо было отправлено матерью Куприна из Пензы в 1880 г., и куприноведы предполагали,

что на родину она брала с собой и 10-летнего Сашу, но не было других доказательств.

Две статьи Куприна посвящены Великому Немому. К ним примыкает очерк «Добрый волшебник» (1926), посвященный режиссеру-мультипликатору В.А. Старевичу, и рецензия «Прелестный принц» (1925), написанная по следам нашумевшего в Париже фильма, созданного режиссером Виктором Туржанским по сценарию Александра Филиппова, редактора газеты «Русское время», в которой сотрудничал Куприн. В фильме снимался известный актер Николай Колин, приятель Куприна, и красавица Наталья Кованько – жена Туржанского.

Этот крупный раздел сборника и следующий за ним «Литературная критика» опровергает живучую легенду о Куприне как о писателе с ограниченным кругозором, не имевшем достаточно полного и всестороннего образования. С легкой руки И. А. Бунина застряла в литературоведении характеристика: «<…> ничего не читает, никем не интересуется, кроме портовых рыбаков, цирковых борцов и клоунов...»

Лишь узкому кругу специалистов знаком Куприн – литературный критик, автор многочисленных рецензий. «Куприн был незаурядным литературным критиком, и приходится пожалеть, что эта сторона его деятельности не изучена до сих пор», – отмечал в свое время исследователь-купринист В. Афанасьев. Действительно, он был одним из образованнейших людей своего времени, превосходно знавшим не только классиков, но и новинки современной отечественной и зарубежной литературы. Его первые критические опыты появились в киевской печати конца 1890-х гг., затем в столичной периодике начала XX века («Современный мир», «Журнал журналов» и др.) под криптонимами (К; К-ъ; А.К.; А.К-ринъ; Ал. К-ринъ) и псевдонимами. Последние высказывания о литературе и искусстве были опубликованы уже в 1930-е гг., незадолго до смерти. Сейчас почти весь этот интереснейший материал, в том числе и купринская критика эмигрантского периода, является библиографической редкостью, забытой и неизученной. В собрания сочинений А.И. Куприна, в специальный раздел «Очерки, статьи, воспоминания», не включено и десятой доли того, что было написано писателем на родине и в эмиграции. Жанру литературной критики принадлежит более 100 текстов Куприна. Он автор множества забытых статей и очерков о творчестве видных зарубежных писателей, таких как Д. Лондон, М. Твен, Р. Киплинг, А. Дюма, Г. Сенкевич, А. Рошфор; а также представителей русской литературы: А. Аверченко, Н. Тэффи, Н. Гумилева, Саши Черного, В.

Голикова, П. Пильского и др. Куприн проявил себя умным, внимательным читателем и доброжелательным, тонким критиком. Легко и свободно писал о жизнерадостном творчестве Ивана Руденкова, писателя и артиста, читавшего свои юморески со сцены; со знанием дела оценивал качество перевода «Жестоких рассказов» Вилье де Лиль-Адана; интересны его благосклонные отзывы на «Сирийские рассказы» прозаика Степана Кондурушкина и на книгу русской фантастики Сергея Соломина (Стечкина). В разные годы Куприн написал великое множество журнальных рецензий о книгах самых различных беллетристов. Н.Н. Брешко-Брешковскому посвящено три рецензии: ранняя, хлесткая, ироничная; затем «Поэт арены» (1911) – как признание за автором огромного мастерства в создании спортивной беллетристики; и, наконец, на склоне лет Куприн напишет предисловие-эссе к книге старого друга «Чудовищная сила» (1930). Любопытна заметка на мемуарную книгу «Что вспомнилось. За 50 лет», созданную А.А. Плещеевым, сыном известного поэта, вошедшим в литературу как историк театра, что и отметил Куприн. Читатель откроет для себя развернутые рецензии на произведение М.А. Осоргина «Повесть о сестре», роман атамана П.Н. Краснова «От двуглавого орла до красного знамени», роман Д.С. Мережковского «Иисус неизвестный». В каждом слове чувствуется не только дружеская поддержка, но и писательская требовательность – Куприн всегда тактично и предупредительно, но твердо и откровенно говорил о недостатках.

Его перу принадлежит немало предисловий к книгам современников: Е. Кельчевского, А. Седых, В. Дрейера, П. Пильского, В. Горийского и др. Все это характеризует Куприна и как разностороннего публициста, и как личность, писателя-классика, рецензия или предисловие которого были лестны каждому русскому литератору.

На протяжении всей жизни он активно участвовал в литературном движении эпохи как рецензент, автор блестящих статей о творчестве писателей и как талантливый мемуарист. Мемуарная проза Куприна представлена в настоящем сборнике статьями об А. Аверченко, В. Ладыженском и др. Особенно важен для меня, как составителя, найденный недавно в эмигрантской печати очерк-некролог о пензяке Владимире Николаевиче Ладыженском, с которым Александра Ивановича связывала давняя, с молодых лет, дружба. Неизвестные произведения об искусстве, актерах, музыкантах и художниках дают представление о круге общения Куприна, его личности, внутреннем мире.

Последняя часть сборника включает стихотворные тексты. После выхода малоформатного сборника «Куприн А.И. Лирика.

Эпиграммы. Афоризмы» (сост. Т.А. Кайманова. Пенза, 2010), в который вошло 48 поэтических произведений, коллекция его стихов пополнилась. Найдено еще 40 новых текстов. Поэтическая часть наследия Куприна неравноценна, разнолика. Наибольшую художественную значимость представляют стихотворные переводы и пародии. Несомненный интерес вызывают ранние опыты Куприна-кадета, лирические и сатирические миниатюры, адресованные известным современникам, пародия «Диссонансы (Подражание новым)» (1915), являющая Куприна – юмориста, сатирика, пародиста – и направленная против декадентской моды. В откровенно сатирическом произведении речь идет об ответственности художника перед обществом, о фальши декаданса и о том, что он зависел от вкусов и потребностей пресыщенной буржуазной и обывательской публики. «Диссонансы» явились едва ли не самым удачным опытом среди пародий Куприна. Пародия усилена злободневной темой, которая спустя годы найдет отражение в предисловии к книге давнего друга Н.Н. Брешко-Брешковского «Чудовищная сила». Куприн с беспощадной точностью определит болезнь века: «Перед большой войной и в начале ее вкусы внезапно нелепо переменились: потребовался почему-то писатель-декадент, импрессионист, футурист, дидоист, акмеист и развратник. Громко восхвалялись — самоубийства, наркомания, скотоложство и педерастия. В моде стал лимбургский сыр, ананасы в шампанском и запах тления. Верхом искусства было сделать тончайшей иголкой сложнейший узор на скорлупе от тухлого яйца. Это течение не выдохлось и поныне…». Интерес у читателя вызовет и чудом сохранившаяся политическая сатира «Дневник ущемленного интеллигента», относящаяся к 1918 г. и включенная Куприным в малоформатный сборник «Тришка Будильник» (1919), являющийся ныне библиографической редкостью. Во всех оригинальных стихах чувствуется купринская искренность и душевность. Знакомство с поэтическими гранями его таланта расширяет наше представление о творческом наследии классика.

Забытые и неизвестные произведения писателя помогут современному читателю полнее и лучше узнать его творчество и избавиться от предрассудка, что Куприн исчерпан, изучен… Куприн даже полностью не прочитан, потому что сбор его произведений еще не завершен. Как в старых русских периодических изданиях, так и в зарубежных газетах имеется много неизвестных читателю страниц, важных для понимания личности и значения Куприна в культурно-историческом наследии России. Составителю не удалось поместить в сборнике ряд сочинений («Сердолик», «Собачья улыбка», Улицы», «Вечная книга», «Маяк», «Гордые нищие» и др.),

выявленных в ходе библиографических изысканий, но так и не обнаруженных в архивах и библиотеках: доступные комплекты эмигрантских периодических изданий далеко не полны. Остается надеяться, что со временем какой-нибудь более усердный публикатор будет и более удачливым.

А пока непрочитанный Куприн с его вечным очарованием ждет своего вдумчивого, заинтересованного читателя, который удивится современному звучанию мыслей и чувств и, верю, сойдется с Куприным сердцами.

Составитель Татьяна Кайманова

P.S. Выражаю благодарность сотруднику МБА библиотеки им. М.Ю. Лермонтова Л. В. Ломакиной (г. Пенза), сотрудникам Публичной исторической библиотеки (г. Москва), библиотеки «Автоград» (г. Тольятти), к.ф.н. С. А. Ташлыкову (г. Иркутск) за содействие и помощь.

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

(1893–1936 гг.)

НОЧЬЮ

(Этюд)

Не спалось. Тихая летняя ночь бесчисленными звездами глядела в открытое окно душной и низенькой комнаты. Я тихо вышел из дому и побрел вдоль деревенской улицы, направляясь в сторону реки.

«Чом не ходышь ты до мене тиею улицею...» — дрожат, переливаются в тихом ночном воздухе звуки далекой песни. Большое село Виска и далеко раскинулось, а песня одинаково ясно слышна в самых отдаленных «кутках» его, и нет возможности определить, с какой стороны тянутся протяжные, за душу берущие звуки.

Доносятся звуки и до слуха старого деда Ониська, которого нестерпимая духота выгнала из раскаленной за день солнцем мельницы...

А прямо против мельницы, на ступеньках которой сидит дед, по другую сторону реки, которая тихо плещется в крутых берегах, темным громадным пятном раскинулся старый запушенный сад. Привыкший к темноте глаз различает в нем остатки белых полуразвалившихся стен большого дома. Дом этот сгорел давно, очень давно, и старик священник говорил мне как-то, что с пожаром его связана какая-то трагическая история, которую помнят еще некоторые старики в селе.

Ввиду сомнительного бодрствования деда я прохожу мимо него, не здороваясь, но вот он приподнимает голову и глядит в мою сторону.

– Кто там?

– Здравствуйте, дед! — говорю я.

– Кто же это?.. А!.. Это вы, паныч! Что же это вы ходите ночью? Должно быть, до девчат подбираетесь? — Дед качает головой. — То-то молодость, молодость...

Я разуверяю деда в его предположениях и усаживаюсь с ним рядом. А ночь все так же глядит бесчисленными звездами с высокого неба, и все так же льются, бог весть откуда, звуки песни.

– Дед, — говорю я, обращаясь к старику, — как это сгорел ваш панский, двор? Вы, верно, помните?

– Двор панский?.. Да, было когда-то... давно было.

– Расскажите, дед!

Дед качает головой и достает из кармана тавлинку с табаком.

– Эге! Долго рассказывать, паныч! — говорит он, но по тону его голоса я вижу, что он и сам не прочь покалякать.

– Ничего, дед! Все равно спать не хочется...

– Ну, пускай будет по-вашему.

Дед, не торопясь, спрятал в карман тавлинку и начал:

– Давно это было, так давно, что и в селе нашем мало кто помнит теперь то время. Еще совсем малым хлопцем был я в эту пору. В доме этом жил пан наш Вишневский. У... богатый пан был! Таких теперь — я не знаю — и найдешь ли где-нибудь. Одних собак сколько держал, сколько народу при них было! Любил он охоту, и как выезжает, бывало, так просто посмотреть любо: как войско целое. Хорошо жил пан, и дом себе такой выстроил, что на всю округу, другого такого найти нельзя было: комнат — я думаю — до пятидесяти в нем было, и были они все высокие, вот как церковь наша!.. Может быть, и ниже немного были, да мне, малому, казалось так. Ну, сад еще при старом доме был такой же большой и старый, как вот и теперь. Так пан его по-своему устроил: баб каменных наставил в нем, фонтаны, беседки, пещеры устраивал. Дорожки желтым песком посыпали: нарочно песок за сорок верст из Коропчиной возили. Садовников одних было человек до тридцати, и главный был немец — Христиан Карлович. У него и я хлопцем служил...

Пан наш не всегда здесь жил. Прежде он в Петербурге служил, да за провинность какую-то его сюда прислали, и выезжать ему отсюда нельзя было. Говорили, будто убил он там кого-то. И похоже это, было на правду, потому что крутой нрав у него был. Чуть что — рассердится, и я не видел никогда, чтобы кто-нибудь сердился так: со злости, бывало, по земле катается, руки себе кусает, плачет... Говорили бабы, будто испортил его кто-то... А из себя молодой еще совсем человек был: не знаю, было ли ему лет тридцать, — молодец такой: высокий, красивый. И пани была молодая, красивая, и деточек двое маленьких. Толковали, — уж после слыхал я, — будто не по своей воле пошла пани за пана нашего, будто на богатство его старики ее покорыстовались, а прежде за другого сосватана она была. Ну, и пошла она за нашего, а все прежний у нее из думки не выходил. Его-то и пристрелил наш пан: после того и сюда его прислали, после того и пани стала его бояться... Впрочем, редко он и дома сидел: либо на охоте, либо с лошадьми возится. Завод у него свой был,— жеребцы по нескольку тысяч плачены были. Главный кучер у него был. Софроном звали, первый человек между дворней. Был у Софрона сынишка, Грицько, хромой, немного постарше меня: тоже при Христиане Карловиче был со мною вместе. Он-то, Грицько, и сжег двор панский, а как это было, так и теперь страх берет, если вспомнишь.

Жил здесь по соседству, в Баландиной, князь один. Богатейший тоже человек был и лошадей, как и наш пан любил. Вот и заспорили они как-то о лошадях, у кого лучшие лошади. Заклад большой положили и задумали наперегонки ехать из города сюда же, в Виску, потому что дорога здесь широкая, ровная,— верст двадцать будет.

Зимою дело было. Долго паи собирался. Все с Софроном по целым дням лошадей они выбирали, пробовали. Ну, и выбрали, наконец, четверку, звери, а не лошади были, – вороные все, как одна...

Доволен пан – ходит, руки потирает:

– Что. Софрон, ты как думаешь: выйдут ли кони князя против нашей четверки?

– Куда! — говорит Софрон. — Таких лошадей у князя и не бывало никогда, и у деда его лысого не бывало!

Смеется пан:

– Далеко, значит, его позади оставим?

– Уж это непременно!

Смеется пан

...Послал к князю письмо, чтобы приезжал, значит.

Приехал князь. Сам маленький такой, и не видно его из шубы. Серые лошади у него были – тоже четверка; за саньми их привязанными вели.

Вышел наш пан на крыльцо, встречает князя, а сам все на серых поглядывает, видит — хорошие лошади. Зашли они с князем в дом. Глядим-опять бежит пан наш.

– Софрон! Софрон! Видел?

– Видел.

– Лучше наших?

Махнул Софрон рукой:

– Куда! Против наших лошадей далеко не выйдут!

Засмеялся пан, назад в комнаты побежал.

Целый день пробыл князь у нашего пана и ночь здесь ночевал. На кучерской Софрон с Кузьмой (так кучера князя звали) ознакомились. Друг дружке лошадей своих, сбрую показывали. После обеда лошадей ковать водили и наших, и княжеских, потому что была перед тем оттепель, да потом как хватило морозом, так дорога стала твердая, гладкая. И Софрон с Кузьмой сами глядели за тем, как лошадей подковывали.

В конюшне при лошадях и спали они в эту ночь оба. Уж много после, как дело то вышло, покаялся Кузьма — сказал, что ночью, как заснул Софрон, встал он тихонько и да у коренных наших по одному гвоздю из подков повытягивал и в другую сторону позабивал,— чуть-чуть в сторону, чтобы не сейчас, значит, хромать стали. И не то, чтобы ему князь говорил, а сам, значит, видел, что не выходят их лошади против наших.

Утром, чуть свет, прибежал пан, позвал Софрона:

– Ну что, Софрон. можно лошадей вести?

– Можно, — говорит Софрон.

– Глядел вчера, как ковали? Не заковали бы, храни бог!

– Будьте спокойны — сам глядел: хорошо подкованы.

– Ну, ладно... Ох, Софрон! — говорит пан. — Просто спать я ночью не мог, боюсь: а что, как обгонит нас князь?

Тут уж и Софрон засмеялся:

– Никогда, – говорит, – этого быть не может!

– Ну, так вели выводить лошадей.

Повели лошадей в город. Софрон с Кузьмою тоже при лошадях поехали. К полудню и паны поехали. Подали им одни сани большие — вместе сели. У нашего глаза так, и горят, — сидеть не может на месте, а князь забился в угол, в шубу закутался, сидит, курит…

Вся дворня собралась после того к воротам — ждут. Долго ждали, все на дорогу поглядывали. Отпросились и мы с Грицьком у Христиана Карловича.

– Едут! — закричал первый Грицько и рванулся вперед.

И в самом деле, видим — показалась какая-то черная точка вдали на дороге.

– Наш, наш! — кричат все.

Дальше — ближе, и показалось мне, как будто серые лошади видны издали. Не верю я сам себе, на Грицька оглядываюсь, хочу его спросить, так как глаза у него лучше моих были, но вижу, что он весь дрожит – не стал я его и спрашивать.

Тут и другие уж видят: едет князь, развалившись в санках; на козлах Кузьма сидит и улыбается, а нашего пана и не видно еще.

Прошло несколько времени — подъехал и наш пан. Ни на нем, ни на Софроне лица не было видно, а лошади бегут, хромают коренные. Выскочил пан из саней, на Софрона не оглянулся, а прямо к князю подходит, улыбается.

– Выиграли, князь! — говорит.

– Да, у вас, кажется, захромали кони, должно быть, подкованы плохо были!— засмеялся князь.

– Да что уж тут!.. Князь, продайте свою четверку!..

– Ну, вот что вы выдумали!

– Продайте, князь, что хотите, берите: уж очень кони мне нравятся!

– Да что же, — десять тысяч разве дадите? — говорит князь для шутки, потому сам видит: не стоят того кони.

– Берите. Эй, вели лошадей на конюшню! — говорит Кузьме.

Пошли паны в дом обедать.

После обеда, как сидели мы с Грицьком на кухне у Христиана Карловича, прибегает хлопчик один и кричит:

– Грицько! Батька твоего на конюшне пан наказывает!

Вскочил Грицько на ноги и побежал к конюшне, и я побежал за ним. Прибежали мы, стали смотреть в щелку. И видим: лежит и не кричит уже, только чуть-чуть вздрагивает, а рядом с ним пан наш по земле катается и плачет...

– Ох, Софронушка, обидел ты меня! Ох, родной, лучше бы нож ты мне в сердце!.. Жарьте его, каналью, жарьте!.. Ох, Софронушка. милый человек! За что же обидел ты меня!..

Не иначе, как порченый он был.

– Идем,— тихо говорит мне Грицько и за руку меня тащит.— Идем, не надо... – А сам дрожит весь, и глаза так на стороны в сторону и бегают. Тащит меня назад, на кухню. Стал я смотреть в окно и вижу: несут Софрона. как мертвого, а пан стоит около конюшни без шапки, руками размахивает, кричит что-то.

– Грицько, — говорю. — батька твоего понесли!

Встал Грицько и вышел.

Стал я снова в окно смотреть и вижу: вывели лошадей, что пан у князя купил. Принесли ему пистолеты из дому, и сам он перестрелял всю четверку, одного коня за другим: приставит к уху пистолет и выстрелит.

Не вставал уже Софрон и в память не приходил — через неделю помер. Затосковал после этого Грицько, да так затосковал, что и слова от него добиться нельзя было...

Только прошло еще сколько-то времени — стал по целым дням пропадать Грицько. Рано утром, чуть свет, уходит куда-то, а вернется только поздно вечером, уже как спят все. Оставят ему что-нибудь съесть — съест, а нет — и так спать ляжет. Вместе мы с ним в оранжерее летом с пали. Уж и жаркое же лето в том году было; засуха была, и все пожгло солнцем в поле.

Вот раз ночью просыпаюсь я и вижу — нет Грицька. А в оранжерее жарко было, как в мельнице, и думаю я: должно быть, на двор спать пошел Грицько. Пойду, думаю; и сам засну на соломе. А у нас около оранжереи много кулей соломы было сложено. Вышел я, подошел и соломе, кругом ее обошел — нет Грицька. Где бы это он был?– думаю. А ночь была темная, только ветер был сильный. Ну, лег я и только стал засыпать, слышу: шуршит кто-то соломою. Привстал я немного, смотрю — стоит Грицько, нагнулся, два куля взял и тащит их.

– Грицко! — говорю я. — Что это ты делаешь?

Вздрогнул он и кули выпустил из рук.

– Это ты, Онисько? — спрашивает он.

– Я.

Просился он вдруг ко мне, и вижу я: блеснул нож большой у него в руке.

– Онисько! — говорит. — Убью, если скажешь!

– Да что же ты делаешь? .

– Панский двор спалить хочу. Да сам не справлюсь скоро, так ты вот возьми кулей пару, помоги мне.

Начали у меня зубы стучать.

– Грицько! — говорю. — Что ты!

– Молчи! — говорит. — Что мне долго говорить с тобою – некогда. Бери кули, а не хочешь...

И вижу я: опять блеснул нож у него в руке, и ко мне он тянется.

– Бери! – говорит. – На!..

Дал мне два куля и сам два взял.

– Иди, – говорит, — а я за тобою, да тихо, смотри!

Подошли мы к крыльцу. Вижу я: оторвана доска одна сбоку.

– Это я еще прошлой ночью оторвал! — говорит Грицько. — На день опять на старое место приставил, так что и незаметно было. Ну, полезай, Онисько!

Подлез я под крыльцо, а там уже много соломы навалено. Влез и Грицько за мною.

– Я, – говорит, – уже кулей десяток принес сюда. Под большое крыльцо тридцать кулей принес, ну, а сюда я двадцати довольно будет.

Положили мы кули, еще раз к оранжерее вернулись, еще четыре принесли.

– Ну, Онисько, теперь довольно! — говорит Грицько.– Будешь же ты здесь поджигать, а я с другого зайду.

– Хорошо, – говорю, а сам думаю: как уйдет Грицько, то побегу я скорее да скажу кому-нибудь.

Догадался Грицько.

– Нет, – говорит, – знаю я: ты пойдешь, народ будить станешь! Уж я тебя не отпущу.

– Ой! – говорю. – Грицько! Грех большой будет нам, а узнают – уж и не знаю, что с нами сделают!

– Грех? – говорит Грицько и смеется. – Успеешь еще богу помолиться, да и какой тебе грех? А что ты говоришь: узнают – нет, никто не узнает, а кто и знает — не скажет.

Затрясся я весь.

– Кто же, –говорю, – знает?

– Пан знает.

– Пан?!

– Он и знает. Он на той неделе встретил меня, говорит: «Ты что это, волчонок, все зубы на меня скалишь? Ты еще, чего доброго, дом запалить вздумаешь? Ты у меня весело смотри, не то запорю».

– Ой, Грицько!.. — говорю я.

– Баба ты, Онисько! – говорит Грицько, а сам из кармана огниво и трут достает. Высек огонь, стал трут раздувать. Ох! Страшно было даже смотреть на него: Лицо все зеленое, и руки дрожат.

– Грицько, – говорю я, – а пани?

– Молчи! – говорит Грицько и прямо кинулся ко мне: – Бери лучше трут, держи!

Дал мне два куска трута. Взял я трут, а Грицько соломы взял, скрутил.

– Давай трут!.. Один кусок. Другой на то крыльцо оставим.

Взял у меня кусок трута, положил в солому, стал махать, скоро загорелась солома.

– Подыми куль!

Положил он витушку под куль, еще сверху два куля наложил и полез из-под крыльца. Вылез и я за ним.

– Помоги доску наложить.

Стали мы вдвоем доску закладывать, а уже оттуда густой дым идет.

– Хороший ветер сегодня! — говорит Грицько и вверх смотрит. — Ну, теперь, хлопче, идем под большое крыльцо, да скорее.

Обошли мы кругом дом, под большое крыльцо подлезли, тоже доска одна была вынута. И здесь взял у меня трут Грицько, и здесь завалил огонь соломою. Вылезли мы снова и заложили доску на прежнее место.

– Ну, теперь, хлопче, спрячемся где-нибудь и будем смотреть. Идем на клумбу — там в кусты спрячемся.

Прямо против большого крыльца была клумба разбита. Розовые, сиреневые, жасминные кусты здесь были. Залезли мы в кусты и сели на землю.

– Смотри! – говорит Грицько. – Сквозь щели между ступеньками уже дым идет. Огонь!.. Смотри!..

И вижу я, как из всех щелей крыльца густой дым выходит, и начинает огонек маленький бегать по щелям.

Собака где-то завыла.

– Ой, страшно мне, Грицько!

– Чего страшно? Смотри – весело!.. Ах!

И сам Грицько назад откинулся: сразу огонь из всех щелей вырвался, и все крыльцо вспыхнуло, и, как свечи, загорелись высокие крашеные колонны, и огонь по ним перешел на крышу.

Сразу стало светло, как днем.

Тут уж сразу все собаки завыли, и кто-то закричал:

– Пожар!

Стали люди сбегаться, а как приступить к дому — не знают: бегают из стороны в сторону, кричат:

– Воды! Воды!

Зазвонили в набат на селе, и оттуда, слышно, бежит народ с ведрами...

Вдруг, слышу, схватил меня Грицько за руку, да так схватил, что долго потом на руке я след от его пальцев носил.

– Смотри! – говорит, рукою вверх показывает.

Стал я смотреть, куда он показывает, я вижу: раскрыто окно на втором этаже, и стоит в нем пани в одной рубахе, волосы по плечам раскинуты, деток за руки держит.

– Ой, Грицько! – говорю я. – За что же пани пропадать должна, и с детьми.

Молчит Грицько.

Посмотрел я на него, а у него губы раскрыты, и зубы блестят. Страшно на него и смотреть было.

– Грицько! — говорю я. — Пойдем скажем кому-нибудь, чтобы лестницу к окну приставили, сняли бы пани.

– И не думай! — говорит и еще крепче за руку схватил меня.

А крыша уже совсем прогорать стала, гнется. Пани в окне стоит, руки ломает.

– Грицько! — говорю я. — Пойдем!

Отвернулся Грицько и тихо так говорит:

– Иди, а я не пойду!

Выскочил я тут из кустов, стал людям кричать, что пани спасать надо, стал на окно показывать. Да никто не слышит меня: бегают все из стороны в сторону, кричат... Насилу уговорил двоих, пошли мы за лестницей. Пока притащили, пока к окну приставлять начали, — завалилась крыша на доме, и потолки завалились: только искры опять поднялись вверх, да дым из всех окон пошел. Как разошелся немного дым, стали присматриваться: а в окне уже никого нет. А пана так и не видел никто; говорили, – в дыму задохнулся и проснуться не успел...

Вот так-то и сгорел наш панский двор, а сколько народу в нем сгорело — страсть!

Дед приподнялся с лесенки.

– Эге! Да и заговорились же мы с вами, паныч. Вот уже и Стожары высоко стоят: скоро свет будет.

– Спасибо, дед. А что же с Грицько сталось?

– Эге! Пропал Грицько, как в воду. С тех пор и не видал его никто.

Распрощался я с дедом и побрел домой.

На востоке алела заря... Все было тихо, торжественно тихо... Радостное сознание жизни помимо воли проникало в душу, и весь, всем существом своим тянулся я навстречу этому неверному алому свету, зардевшемуся на востоке.

И вдруг слабый, как вздох, ветерок зашумел в деревьях... Слабая рябь перебежала с одного берега на другой, а береговые камешки заговорили громче и торопливее. В ближних кустах послышался слабый шорох, и какая-то пичуга малая с громким визгом, как будто захлебываясь от полноты счастья, быстро вспорхнула вверх, навстречу первому солнечному лучу... Еще мгновение — и молчаливая до того природа заговорила на своем тысячеголосом языке. Яркая, сверкающая жизнь ключом забила вокруг, — жизнь, полная радости, любви и счастья…

И старый сад, далеко раскинувшийся по другую сторону реки, наполнился оглушительным гамом своих пернатых обитателей. А звонкое эхо повторяло в угрюмо стоящих каменных стенах сгоревшего дома веселые голоса купающихся детей и их заразительный смех.

1893 г.

ЭЛЕГИИ В ПРОЗЕ

1. Одиночество

За большим письменным столом, заваленным книгами и мелко исписанными листами, сидит худой, болезненный старик. В промежутки между приступами удушливого кашля он наклоняется к столу и дрожащей рукой набрасывает на бумагу свои думы. Как тягостны и безотрадны, должны они! Но мучительный недуг, иссушив тело, не убил еще в этом старике душевной бодрости. Попрежнему верит он в силу добра и преклоняется пред истинной красотой. Он верен своему призванию, добровольно принятому на себя подвижничеству. Давно уже глухая полночь. Только удары маятника в соседней комнате да неустанное клокотание в больной груди нарушают эту мертвую тишину.

Светлый круг на столе от абажура кажется особенно ярким в густом полумраке небольшой комнатки. Стен ее почти не видно: они сплошь прикрыты полками с книгами. Книги же грудой лежат и в углу комнаты, прямо на полу. Тут есть и его произведения, в которые он вложил свои задушевные думы. Давно уже посвятил он себя писательству. Ему он отдал свои молодые силы, для него

же отказался от личного счастья. Он не копил свое духовное богатство, не берег его, как расчетливый хозяин, а щедро раздавал его другим, разменивал на ходячую монету, лишь бы оно шло в массу, будило мысль, смягчало сердца. Миллионы безвестных ему людей питались этой духовной пищей. Обильно брошенные им семена дали незримые всходы, которые тоже созреют, и новые зерна рассеются по необозримой родной ниве. И все это дело рук этого еле дышащего человека! Масса людей с уважением повторяет его имя, но ей всегда была чужда личная жизнь писателя. И он видел восторги толпы, шумно рукоплескавшей при его появлении, и у него есть старые преданные друзья. А все же, как одинок этот медленно и мучительно угасающий старик!.. Смерть каждое мгновенье может задуть в нем еле тлеющую искру жизни, но только старый верный слуга примет его последний вздох и огрубелой рукой навеки закроет потухшие глаза.

1902 г.

2. Ночь в Гурзуфе

Чем темнее осенняя скверная ночь, окутанная тоскливым, безжизненным туманом, тем яснее встает предо мною ночь южная, полная мистической тайны. Высоко подняла она свой темный, сверкающий покров. Он повис над гигантской стеной чернеющих гор и любовно слился с безбрежным морем, сердце которого беспокойно бьется. Словно невеста в своем подвенечном уборе, белеет маленькая церковь, окруженная высокими силуэтами задумчивых кипарисов. Над ее куполом ярко сверкает крест. Издали, с моря он горит на темном небе как зажженный неведомой рукой великий символ искупления.

Сегодня канун Воздвижения, и сверкающая огнями церковь переполнена молящимися. Из открытых дверей доносится стройное пение и тянутся волны кадильного дыма. Я стою на паперти. Около меня опустилась на колени молодая женщина в черном платье. Лица ее мне не видно, но я чувствую, что она тихо плачет. Молится ли она об исцелении любимого человека, или ее осиротелое сердце ищет утешения в молитве, – я не знаю, но мне бесконечно жаль ее. И когда тоскливый перезвон колоколов, прерываясь резким, щемящим аккордом, сливается с печальным церковным напевом и глухим прибоем моря, на мою душу нисходит тихая грусть и слеза невольно набегает на глаза. И долго еще носишь в душе это торжественное настроение. Суетный шум, взрыв веселья показались бы в

этот миг неуместными, почти кощунственными. Только таинственный прибой темного безбрежного моря, только эти глухие вздохи о чем-то неразгаданном гармонируют с таким молитвенным настроением. Только эта величественная колыбельная песнь вселенной способна успокоить растревоженную душу и мучительную загадку бытия превратить в безбрежную, неуловимую, как сон, грезу.

3. Две матери

Закинув ружье за плечи, я шел по берегу старого русла Оки. Когда-то и здесь била ключом жизнь, кипела работа, слышна была заунывная бурлацкая песня. Но река проложила себе более удобный прямой путь, а «старица» отошла в сторону, на долгий покой. Только вековые прибрежные сосны по-прежнему угрюмо гудят и кивают своими поседевшими головами.

Солнце близилось к полудню и словно любящая мать обильно изливало на землю свои горячие ласки. Все затихло, убаюканное летней дремотной истомой. Один только я медленно шагал по берегу, почти без мысли, без цели. Было жарко, и ружье чувствительно давило на плечо. Вдруг где-то надо мною раздался резкий и вместе тревожный крик. Подняв голову, я увидел высоко над деревом какую-то серенькую птичку. С пронзительным криком беспокойно металась она по воздуху; а над нею в зловещем молчании плавно кружил большой черный ворон. Наблюдая за этой воздушной драмой, я сразу не заметил, что невдалеке от меня двигалось еще одно живое существо. Это был молодой вороненок. Он беспомощно размахивал крыльями и широко раскрывал свой хищный клюв. Не умея еще летать, он очевидно упал с дерева и был голоден. И из-за этого противного глупыша там, вверху происходила жестокая борьба. Одна мать пыталась силой раздобыть лакомый корм для своего детеныша, а другая своим маленьким телом защищала жизнь крошечного, неоперившегося еще птенчика, который тоже потребует живой, кровавой жертвы.

Когда я увидел около себя беспомощного хищника, рука моя невольно схватилась за ружье. Мне захотелось помочь бедной, маленькой птичке, что своим жалобным писком словно взывала о помощи, изнемогая в борьбе с более сильным противником. Но я тотчас устыдился своего порыва и пошел дальше.

– Кто дал тебе право быть посредником в этой вековечной стихийной борьбе? – Говорил мне внутренний голос. – И человеку ли, этому неисправимому хищнику, поддерживающему свое жалкое существование ценой чужой жизни, пристало быть судьей в борь-

бе этих двух матерей? Пусть их рассудит тот, кто установил этот непостижимый для нашего ограниченного ума порядок и заронил в самое крошечное сердечко неразумной твари искру великой самоотверженной материнской любви.

1902 г.

4. Успех

В небольшой комнатке, предназначенной для концертных исполнителей, царит оживление. Сколько раз и прославленный гениальный артист, и начинающий свою карьеру дебютант переживали здесь минуты острого, мучительного волнения! Сегодня отсюда же выйдут на широкую артистическую арену молодые, полные светлых надежд силы. Робкие и трепещущие, они столпились здесь, в этой маленькой комнатке, но мысли их там, в светлой, просторной зале, откуда доносится нестройный гул людских голосов. Там тоже учащенно бьются сердца, и на лицах видна тревога ожидания. Но вот все стихло. В зале появились присяжные жрецы искусства. Только высокий старик с характерным львиным лицом выделяется среди этих заурядных, утомленных работой людей.

Состязание началось. Один за другим появляются на эстраде девушки и юноши. Под их ударами рояль звучит то тихо, то громко; целый каскад звуков брызжет из-под искусных пальцев, но в них нет жизни, нет души.

Но вот, наконец, и она, любимая ученица гениального артиста. Точно весной повеяло с приходом этого молодого, жизнерадостного существа. Она постигла тайну искусства. Под ее упругими пальцами рояль то поет, как нежный, чарующий голос, то бурно рокочет молодым, шумным весельем. Взрыв рукоплесканий и возгласы восторга прерывают эту юную чародейку. Ее сменяет юноша, бескровное лицо которого, окаймленное черными волосами, кажется еще бледнее, почти страдальческим. Робко, застенчиво входит он и становится на возвышение, чтобы дирижировать своим первым произведением. Он не успел закончить его: ему казалось унизительным заменять творчество ремесленной работой. То, что создано им, − пережито и перечувствовано: и этот пир Вальтасара, эта разнузданная оргия и ужас от роковых слов, начертанных огненными буквами. Все это он воплотил в ярких звуковых красках, но бессилен передать свой замысел, свое настроение этой равнодушной толпе. Беспомощно, как подстреленная птица, размахивает он руками, пытаясь воодушевить оркестр и хор, но вызывает только

иронические взгляды и улыбки. Убитый, приниженный сходить он с своего эшафота, чтобы предоставить место другому.

Красивый, стройный, изящно одетый молодой человек самоуверенно становится на свое место и сразу овладевает вниманием и симпатиями окружающих. Его благоразумная, удобная для исполнителей музыка льется плавно, не поднимаясь до резкого звука даже в самых трагических местах. Пусть Вальтасаров пир напоминает скромную современную пирушку, пусть хор мудрецов, истолковывающих пророческие слова, вселяющие ужас в окружающих, звучит мелодраматично, банально, − что за беда! Он заранее уверен, что выйдет из этой залы триумфатором. Он постиг тайну успеха!

1902 г.

ЛЮБОВЬ АРМАНА И ГЕНРИЕТТЫ

(Пародийный роман)

Посвящается почти всем французским мэтрам и беллетристам, кроме Флобера, Вольтера, Бальзака, Октава Мирбо и Сирано де Бержерака.

I

Итак, мы, конечно, в русском посольстве. Лестница. Ковер. Пудреные лакеи с обеих сторон, в ливреях с коронами сзади. Экзотические растения в кадках. Ждут даже президента. Женщины снимают внизу свои соболя, шиншилля, сорти-де-баль, и от них пахнет мехом, неуловимым запахом духов, запахом чудного женского тела… и пр.

И, как всегда водится во французских романах, хозяйка дома, дама этак около 50 лет (пышная красота! А кстати, она – блондинка, потому что во французских романах не бывает француженок-брюнеток), встречает любезно гостей, суя им свою благоухающую руку в губы и ждя только Армана.

II

Дальше неизбежно появляется наш герой Арман, которого вводит в свет в первый раз его кузен, граф де Гюи, – непременно светский циник.

Он раздевает всех женщин одним взглядом. Он устал от жизни, мечтает о самоубийстве и ежедневно фехтует в клубе «самых изумительных французов».

III

Бал. Обнаженные тела молодых девушек похожи на розовую форель (или на другую экзотическую рыбу).

Буфет с шампанским. Шесть самых известных писателей. Пять мастеров кисти. Один имитатор и свистун (на всякий случай), знаменитый пианист, скрипач и уже непременно русский князь фон Перрокофф.

IV

Из всего предшествующего вам, любезный читатель, уже стало ясно, что Арман и Генриетта (хозяйка дома, жена банкира) воспылали любовью.

Он нанял маленькое гнездышко, конечно, в тихом переулке. Он пригласил её поглядеть его коллекцию старинного фарфора.

О! Она, конечно, не знала, куда едет.

Выйдя из своего покойного ландо, она пересела в наемный фиакр и вся трепетала при мысли, что извозчики очень памятливы и иногда через двадцать лет узнают преступника в лицо. Потом она пошла пешком. Её маленькие ноги были непривычны к прикосновению тротуара.

Вся трепеща, она вошла в милое кокетливое гнездышко. Арман уже дожидался её, стоя на коленях.

И он вскричал:

– О, моя любимая! О, моя очень любимая! Прости меня!

Одежды падают вокруг неё кольцом. И тело молодой женщины похоже на форель (ах, впрочем, мы об этом уже говорили).

Русская скромность велит нам замолчать в этом месте.

V

Так как в Западной Европе все подчинено законам успокоительного мещанства, то Люси воспитывалась в монастыре Святого Сердца. Здесь следуют маленькие подробности: кажется, Арман спас её от смерти, вытащив из воды, или они были друзьями детства, или земли их родителей соприкасались… Арман должен был жениться на Люси. Моя бедная мать и мой храбрый отец (у которого на стене всегда висела сабля его храброго отца) понудили Армана к этому. О! Что есть выше родственной любви?

И притом же Люси была невинна! Она не знала ровно ничего, несмотря на монастырское воспитание.

VI

Арман прощается с Генриеттой.

– О, благодарю тебя, очень благодарю тебя, моя любимая! – шепчет он, весь задыхаясь.

– Когда мы увидимся?

– Завтра, если нам что-нибудь не помешает! – шепчет она, трепеща.

– Завтра я не могу.

– И я.

– И я.

– Почему?

– Люси…

– Ах, это имя!

– Но моя бедная мать… И мой храбрый отец…

– А мой бедный муж? Этот святой человек? Он, этот честный человек! Пожалуйста, удержи меня, чтобы я не отравилась чернилами!

VII

Всё кончилось благополучно: Арман женился на Люси, которая изменяла ему с каждым прохожим. У них были толстые и, конечно, белокурые дети. На площади доброго старого Парижа маршировала армия, в это время жил ещё Золя, кто-то требовал реванша.

Но было скучно.

А Генриетта? Судьба её неизвестна.

1908 г.

ЖОНГЛЕР БОГОМАТЕРИ

Перевод новеллы Анатоля Франса

I

Во времена Людовика жил во Франции жонглер, родом из Компьени, по имени Варнава, который странствовал по городам, показывая чудеса своей ловкости и силы.

В дни ярмарок, он расстилал на городской площади старый, весь вытертый ковер, собирал вокруг себя детей и зевак при помощи забавных прибауток, которые он сохранил от прежних жонглеров и в которых никогда не изменял ни слова, принимал необычайные позы и устанавливал в равновесие на своем носу оловянную тарелку.

Сперва толпа глядела на него равнодушно. Но, когда, стоя на руках, головой вниз, он начинал кидать и перебрасывать ногами в воздух шесть медных шаров, сверкавших на солнце, или, когда,

изогнувшись до того, что его голова касалась пяток, а все тело принимало форму правильного круга, он жонглировал в таком положении дюжиной ножей, – шепот изумления подымался среди присутствующих, и на ковер падали монеты.

Однако, как и большинство тех, что живут своими талантами, Варнава вел нелегкую жизнь

Добывая, по вине нашего прародителя Адама, свой хлеб в поте лица своего, он переносил бедствий больше, чем следовало бы на его долю.

Например, он не всегда имел работу, когда этого хотел. Ему, для того, чтобы показывать свое искусство – точно так же, как и деревьям, чтобы цвести и давать плоды– необходимо было солнечное тепло и дневной свет. Зимой же он уподоблялся полумертвому дереву, лишенному листьев. Мерзлая земля была жестка для жонглирования. И точно стрекоза, о которой рассказывает Marie-de-France, страдал он от холода и голода в ненастное время.

Но, обладая простым сердцем, он терпеливо встречал все невзгоды. Никогда не размышлял он ни о происхождении богатств, ни о неравенстве человеческих судеб. Он крепко рассчитывал, что если на этом свете приходится плохо, то на другом уж наверно будет получше, и эта надежда его утешала. Он не следовал примеру неверующих шутников и мошенников, продающих свою душу дьяволу. Он никогда не богохульствовал, вел чистую жизнь и, хотя сам не был женат, но не желал жены ближнего своего, ибо женщина — враг мужей силы, как это видно из истории Самсона, рассказанной в Священном Писании.

По правде сказать, его ум и не был занят плотскими вожделениями: отказаться от женщины ему было легче, чем от кружки вина. Но и пил он, почитая трезвость, только в жаркие дни. Это был добрый малый, весьма богобоязненный и особенно горячо почитавший Пресвятую Деву.

Каждый раз, входя в церковь, он преклонял колени перед изображением Богоматери и обращался к ней с такой молитвой:

«О, Владычица, вручаю твоим попечениям мою жизнь до тех пор, пока Бог не захочет моей кончины, а когда я умру, сделай меня участником райского блаженства».

II

И, вот, однажды вечером, после дождливого дня, когда он, печальный и сгорбленный, брел в поисках какого-нибудь сарая для ночлега натощак, неся под мышкой свои шары и ножи, завернутые в старый ковер, увидел он монаха, шедшего той же дорогой, и поч-

тительно его приветствовал. И так как обоим было по пути, то они разговорились.

– Почему вы одеты во все зеленое, товарищ? — спросил монах. — Вы верно исполняете роль дурачка в какой-нибудь мистерии?

– Вовсе нет, отец мой, — ответил Варнава. — Я просто Варнава, жонглер по ремеслу. Если бы это занятие давало мне каждый день кусок хлеба, то было бы самым лучшим на свете.

– Друг мой Варнава, — возразил монах, — взвешивайте ваши слова. Нет более прекрасного призвания, чем монашеское, которое проходить в славословии Богу, Девы Марии и Святым угодникам. Вся жизнь иноческая есть непрестанное песнопение Господу.

Варнава ответил:

– Сознаюсь, отец мой, я говорил как невежда. Ваше призвание нельзя и равнять с моим, и если есть некоторая трудность в умении танцевать, держать на кончике носа палку с маленькой монеткой наверху, то эта трудность несоизмерима с вашими подвигами. Как бы я хотел, подобно вам, отец мой, совершать ежедневно святые таинства и с особенным усердием служить Пресвятой Деве, к которой я чувствую исключительное благоговение. Мое искусство создало мне известность от Суассона до Бовэ, более чем в шести сотнях городов и деревень, но я охотно бы отказался от него, чтобы сподобиться монашеского жития.

Монах был тронут простодушием жонглера и, так как не чужд был прозорливости, то угадал в Варнаве одного из тех добросердечных людей, о которых Господь наш сказал: «Мир да будет с ними на земле». Поэтому он отвечал ему:

– Друг Варнава, следуйте за мною, и я отведу вас в монастырь, где состою приором. Тот, кто направил Марию Египетскую в пустыню, поставил и меня на вашем пути, чтобы вести вас к вечному спасению.

Так сделался Варнава монахом.

В монастыре, куда он поступил, вся братия горячо соревновалась в прославлении имени Пресвятой Девы, и каждый старался служить Ей всеми знаниями и способностями, которые ему дал Бог.

Приор сочинял ученые книги, изъяснявшие, по всем правилам схоластики, добродетели Пресвятой Девы.

Брат Маврикий переписывал эти трактаты искусной рукой на веленевые листы.

Брат Александр разрисовывал их тонкими миниатюрами. Там можно было видеть Царицу Небесную, сидевшую на троне Соло-

моновом, подножием которому служило четыре льва, а в нимбе, сиявшем вокруг Ее головы, кружились семь голубей, семь даров Духа Святого: дар страха, набожности, знания, силы, совета, понимания и мудрости. И окружали Пречистую семь дев с золотыми волосами: Смирение, Воздержание, Уединенность, Покорность, Девственность и Послушание.

Две маленькие фигурки, обнаженные и белоснежные, взирали на Нее с мольбой, стоя у Ее ног. Это две души, искавшие спасения, испрашивали Ея всемогущего предстательства.

На другой странице изобразил брат Александр Еву рядом с Марией, чтобы можно было созерцать одновременно грех и искупление, уничтоженную женственность и торжествующее девство. Также были достойны в этой книге удивления: Кладезь живой воды, Источник, Лилия, Луна, Солнце, Сад запечатленный, о котором поет псалмопевец, Врата Неба и Град Божий – и век они служили образами Девы.

Брат Марбот считался одним из любимейших детей Марии. Он непрерывно вытесывал из камня Ея изображения, так что его борода, брови и волосы побелели от пыли, и его опухшие глаза постоянно слезились; но, несмотря на свою глубокую старость, был он полон сил и радости: Царица рая явно оберегала старость своего художника. Марбот изобразил Ее сидящей на троне с челом, обвитым жемчужным ободком, с сиянием вокруг головы. И он не забывал прикрывать складками одежды ноги Той, о которой пророк сказал: «Сад запечатленный — возлюбленная моя».

Иногда изображал он Ее с чертами ребенка, полными изящества, и тогда, казалось, Она говорила: «Бог мой еси Ты» («Dixi de ventre matris meae: Deus meus es tu». (Psalm 21, 11).

Были также в монастыре поэты, которые составляли по-латыни гимны и акафисты в честь Присноблаженной Девы Марии, и один Пикардиец переложил сказания о чудесах Богородицы в рифмованные стихи на простонародном языке.

III

Видя такое соревнование о Ее славе и такое обилие прекрасных произведений, оплакивал Варнава свое невежество и простоту.

– Горе мне, – вздыхал он, прогуливаясь одиноко по маленькому, лишенному тени монастырскому саду, – какое несчастье, что я не могу, подобно моим братьям, достойно превозносить Пречистую Матерь Божию, которой я посвятил всю неясность моего сердца. – Увы, увы, я грубый, неискусный человек и у меня нет ничего для служения Вам, Владычица Дева: ни поучительных речей, ни трак-

татов, составленных по всем правилам, ни тонких рисунков, ни прекрасно изваянных статуй, ни многостопных стихов, идущих в стройном порядке. У меня ничего нет – увы!

Так он стонал и предавался печали.

Однажды вечером, когда монахи отдыхали за беседой, он услышал, как кто-то из них рассказал историю инока, который не умел прочитать ни одной молитвы, кроме Ave Maria. Этот монах был презираем за свое невежество, но после его смерти на его губах распустилось пять роз в честь пяти букв, составляющих имя Марии, и так засвидетельствована была его святость.

Слушая этот рассказ, подивился лишний раз Варнава милости Пресвятой Девы, но он не был утешен примером такой высокоблаженной смерти, ибо сердце его было полно особого рвения послужить к вящей славе своей Небесной Госпожи.

Ища и не находя, огорчался он с каждым днем все больше, как вдруг однажды утром проснулся он в великой радости, поспешил в часовню и пробыл там в одиночестве больше часа.

После обеда он опять вернулся туда.

И, начиная с этой поры, удалялся он каждый день в капеллу в те часы, когда она была пуста, и проводил там гораздо больше времени, чем другие монахи посвящали его книжному и ручному искусству.

И не печалился уж он больше, и не вздыхал.

Такое необыкновенное поведение его возбудило любопытство среди монахов.

В общине пошли догадки о том, для чего брат Варнава так странно уединяется.

Настоятель, на обязанности которого лежит ничего не упускать в поведении его монахов, решил наблюсти за Варнавой во время одной из его отлучек. И, вот, однажды, когда Варнава по обыкновению затворился в капелле, приор пришел, сопровождаемый двумя старцами, поглядеть сквозь дверную щель — что такое происходит внутри.

И они увидели Варнаву, который, стоя перед алтарем Пресвятой Девы, головой вниз, ногами в воздух, жонглировал шестью медными шарами и двенадцатью ножами. Он проделывал в честь Богоматери те фокусы, которые ему самому доставляли похвалу.

Но, не поняв того, что этот человек в простоте сердца отдавал весь свой талант и свое искусство на служение Пресвятой Деве, старцы возопили об оскорблении святыни.

Настоятель знал, что у Варнавы невинная душа; но он счел его впавшим в безумие. И они уже были готовы, все трое, извлечь тот-

час же его из часовни, как вдруг увидели, что Пречистая Дева сходит со ступеней трона, чтобы отереть краем своей голубой одежды капли пота на лбу своего жонглера. Тогда приор, простершись ниц на плитах, произнес великие слова:

– «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».

– Аминь! – ответили старцы, целуя землю.

1909 г.

СИРЕНЬ

Цветут сирени… фиолетовые, белые, розовые. Весело в старом гатчинском парке. В воде плескаются утки, гуси, теряя свои белые перья, зеленеет трава, благоухают тополи. Сладко пахнут березы на Багговутовской улице. Наступают белые ночи. И вдруг Гатчина, занесенная снегом, обуреваемая всю зиму западными ветрами, обращается в самый прелестный уголок около Петербурга.

Цветут сирени. В старом парке из них целые аллеи.

Сирень пахнет. Медленно и ласково раскачивают свои грозди цветы. Тихо спит неподвижная вода озера, и темно-синие морщинки едва-едва расползаются по ней.

Идет ночь, но ночи нет. Бессонная белая ночь стоит над Гатчиной. Светло, тихо и прозрачно. И люди, которые встречаются на улицах, кажутся неспавшими, и странное беспокойство сквозит в их лицах и движениях.

Но благоухает сирень, обещает весну и так сладко, сладко обонять нежный запах и думать о том, что вот уже прошла зима и цветут деревья в радостном блаженстве материнства…

Скромная черемуха перестает благоухать. И горький запах рябины стыдится перед пьянящим запахом сирени. Но – сирень. Тебя ждет большая неприятность – расцветет жасмин и своим запахом земляники и огурца заглушит твой царственный запах.

А в сырых оврагах, в тени, притаились маленькие, незаметные фиалки, и запах их различаешь на расстоянии трех или четырех сажень. И, правда, я убежден в том, что запах цветов – это их душа, и что они чувствуют наше приближение на расстоянии, и что они живут для нашей радости, и счастья, и наслаждения.

Но кто к цветам относится нежно?

И цветы, и дети, как вы прекрасны!

Но почему люди об этом так мало знают?

1911 г.

ТРИ БУКВЫ

(Коллективный фантастический роман А. И. Куприна, А. Т. Аверченко, А. П. Каменского, Н. А. Тэффи, В. И. Немировича-Данченко, А. А. Измайлова, А. Н. Будищева, П. П. Гнедича, И. Н. Потапенко, В. А. Тихонова, И. И. Ясинского и др., «с необходимым послесловием» Вас. Регинина. Первые главы написаны А. Куприным).

ГЛАВА I.
«КРОВАВАЯ МЫШЕЛОВКА»

Улица Дог-стрит, самая мрачная и опасная улица на южных окраинах Сан-Франциско, была погружена в мрак и безмолвие.

Зима вступала в свои права, мороз крепчал. Ночь была черна, точно чернила. Ни одна звезда не блестела на небе, затянутом пеленой густых туч.

Редко кто осмеливался показываться в эту пору на улице Дог-стрит. Случайный путник, проходивший вдоль нее, шептал молитву и крепко сжимал в кармане рукоятку браунинга. Выстрел из засады или предательский удар кинжалом были здесь самым обыкновенным явлением.

Но в одном двухэтажном доме, расположенном в глубине обширного двора и скрытом от улицы густою чащею развесистых пихт, светились сквозь закрытые ставни узкие, как лезвие, полосы света. Это был известный всем любителям сильных ощущений ужасный вертеп под многозначительным названием «Кровавая Мышеловка»

Мы попросим читателя, преодолев брезгливость и страх, последовать туда за нами.

Нижний этаж был расположен необыкновенно прихотливо и запутанно и поражал своим разнообразным убранством. Здесь, например, была огромная зала, без окон. Вся ее меблировка заключалась в узких кожаных скамейках, шедших вдоль всех четырех стен. Посередине помещался квадратный толстый ковер. По углам ковра возвышались стойки, соединенные между собой веревкой. Над ковром с потолка свешивалась люстра в семьдесят сильных электрических ламп.

Это был зал для самого жестокого вида бокса, запрещенного как законом, так и спортивными обществами. В большинстве случаев схватки здесь кончались смертью и всегда тяжелыми физическими увечьями.

Здесь также была комната, убранная со всею роскошью и причудливостью Востока: ковры, низкие диваны, шелковые ткани на окнах и дверях, вышитых золотом арабские и индийские изречения на стенах. Здесь курили опиум и гашиш.

Дальше находился бар, с теми жестокими «ударными» напитками, выдерживать которые могут только американские глотки.

«Время – деньги, – говорят американцы, – если напиваться, то уж как можно скорее!»

Были здесь еще комнаты для травли крыс бульдогами, для петушиных боев, были ванны и бассейны, и маленькие спальни для отдохновения.

Верх представлял собою одну гигантскую сплошную залу.

Там исключительно играли. Играли во всевозможные игры: в покер, макао, фараон, баккара, рулетку и т. д.

Хозяев как будто бы не было – каждый был хозяином. Нужно было только при входе внести десять фунтов и платить пять долларов за каждую колоду карт и два доллара за каждый новый ход шарика рулетки. Здесь не существовало никаких правил приличий или общественных норм. Но зато никто не удивлялся, если банкомет перед сдачей клал около себя заряженный револьвер.

Впрочем, было одно правило, которое никогда не переступалось: ни одна женщина не смела проникнуть в стены «Кровавой Мышеловки»

ГЛАВА II.
РОКОВОЙ БРИЛЛИАНТ

В описываемое нами время, в игровом зале «Кровавая Мышеловка» происходило нечто необыкновенное. Все посетители столпились вокруг рулетки. Даже многие игроки, привлеченные необычайным волнением, бросили свои столики и тесным кольцом столпились вокруг дьявольской машинки. Всех интересовала отчаянная игра иностранца, капитана военного судна, русского князя по происхождению. В этот вечер он проиграл уже около 80.000 долларов.

Он сидел в середине стола очень бледный, но совершенно спокойный, сосредоточенный и молчаливый. Когда он ставил свои ставки, его тонкие, выхоленные пальцы не дрожали. Время от времени он прихлебывал виски с содой водой из стоящего около него стакана.

– Делайте вашу игру! – сказал крупье.

Послышался звон золота, и множество рук замелькало в воздухе, потянулось через плечи, задвигалось по столу. Иностранец медлил.

– А вы, милорд? – спросил его банкомет.

Иностранец, темнолицый брюнет с седыми висками, острыми, пронзительными глазами и презрительным ртом, в первый раз за этот вечер обнаружил какое-то колебание. Но он быстро преодолел себя.

– Я проиграл все, что у меня было с собою, – сказал он спокойно, цедя слово за словом, сквозь зубы и глядя равнодушно на крупье, – но не примите ли вы вот это?..

Он засучил рукав своего великолепного смокинга.

Запястье его руки обнимал тонкий золотой браслет, а на браслете болталась дамская серьга, с прелестным, огромным бриллиантом, каратов около десяти.

– Yes!.. – ответил хладнокровно крупье.

– В таком случае я попрошу у кого-нибудь ножницы.

Все переглянулись и заговорили сразу.

Случай был из ряду вон выходящий.

– Вот вам, сэр, – крикнул чей-то голос сзади. – Вот садовый нож и при нем прочные ножницы.

Через головы зрителей перелетел большой нож и гулко ударился о зеленое сукно.

– Благодарю! – спокойно сказал русский и переложил сигару из правого угла рта в левый.

Затем он одним движением перерезал тонкую проволоку серьги и небрежно швырнул бриллиант в сторону крупье.

Десять рук услужливо передали его по назначению. Крупье поднял камень кверху, чтобы разглядеть его на свет. Голубые и зеленые, оранжевые и синие огни сказочным снопом брызнули из этого маленького предмета.

– Прекрасный индийский бриллиант – произнес чей-то голос. – Самой чистой воды.

– Во сколько вы его цените, сэр? – просил льстиво крупье, сухой крючконосый уроженец Венесуэлы, типичный потомок пиратов или работорговцев.

– Не знаю! – ответил русский. – Это подарок.

– Каратов семь – восемь?

– Больше!..

– Семь тысяч долларов?

– Идет! Но я бы хотел раньше узнать, какой суммой располагает банк.

Банкомет принялся сосредоточенно измерять глазами правильные столбики золота, потом перелистал аккуратно сложенные ассигнации. Ни одного звука не слышалось в это время в игровой

зале. Рыжие, черные, русые, встрепанные и приглаженные головы игроков низко склонились над столом.

Красные от волнения и от бессонницы глаза с пристальной жадностью глядели на руки банкомета. Кое-кто нервно жевал сигару, другой судорожно стискивал зубами мундштук трубки.

– Около двухсот тысяч долларов! – сказал, наконец, испанец.

Но в эту минуту дверь, расположенная прямо против рулетки, быстро отворилась, и сильный, звенящий, как серебро, женский голос воскликнул:

– Владимир!!

ГЛАВА III.
СУДЬБА

В дверях стояла высокая молодая женщина, необыкновенной красоты, в белом бальном платье, в белых перчатках выше локтя. Золотые тяжелые волосы, как корона, лежали на ее царственной голове.

Русский быстро встал с места.

– О, Мария! – воскликнул он, протягивая к ней руки. – Неужели… ты… простила меня?..

– Я пришла за тобой – ответила красавица.

– Подожди. Одна минута… я иду!..

– Джентльмены, – обратился он к игрокам, которые с удивлением глядели на невиданное в стенах «Кровавой Мышеловки» зрелище, – мы в Европе большего всего ценим в англосаксонской расе ее способность ничему не удивляться. Будем продолжать игру! Кстати предупреждаю, – он опять вынул из кармана изящный никелированный револьвер, – что каждому, кто позволит себе неуместное замечание или слишком пристальный взгляд на эту леди, я без малейшего колебания пущу пулю в правый глаз.

Толпа глухо, но не сердито зароптала. Во всей Америке, а в особенности в Фриско, настоящие мужчины чтут храбрость и преклонение перед женщиной.

Теперь капитан стоял. Лицо его светилось радостью и вдохновением.

– Смотрите, он сорвет банк! – сказал сиплым густым басом старый янки, у которого седая борода росла веером, точно из шеи.

– Семь тысяч долларов на номер первый, – сказал иностранец.

– Конечно! – воскликнул крупье и бросил шарик.

Прошло несколько секунд напряженного молчания. Наконец, шарик остановился.

– Номер первый! – сказал крупье. – Сакраменто.

Протяжный вздох пронесся среди игроков. Потом все, точно очнувшись от сна, сразу заговорили, задвигались, замахали руками.

– Каррамба, – вскричал испанец и ударил кулаком по столу. – Вы разорили нашу компанию!.. здесь точно черт вмешался. Подождите, я произведу расчет!

Иностранцу следовало 242 тысячи долларов. Но в банке было всего около 230 тысяч.

– Я совершенно теряюсь, – сказать в смущении испанец, придвигая русскому целую груду золота и ассигнаций. — Я могу уплатить вам недостающую сумму только через четыре дня.

Но русский, улыбаясь той же светлой улыбкой, ответил:

– О, пожалуйста, когда вам будет угодно… Я больше всего забочусь о том, чтоб мне возвратили мой бриллиант.

1911 г.

ТАРАКАНЬЯ ЩЕЛЬ

И в самом деле, более странного, смешного и, одновременно с тем, трогательного человека ни я, ни кто-либо другой не мог встретить в своей жизни. Это был человек маленького роста, черный, как черный таракан, с громадной черной бородой, преждевременно плешивый, но с горящими, прекрасными, немного болезненными глазами.

Он всегда был полон протестами, жалобами, изобретениями, письмами в редакцию, письмами с протекциями для прислуги и т.д.

Он врывался к нам, в наш студенческий чердак у Голяшкина, и вдруг кричал исступленно:

– Безобразие! Как это никто не догадывается, что теперешние свечные заводы представляют собой нечто вроде мошеннического американского треста: стеарин смешивают с керосином! Фитили насквозь пропитаны керосином! Таким образом, совершенно ясно, даже для двухлетнего младенца, что теперешние свечи сгорают в четыре раза скорее, чем нормальная свеча и, стало быть, я плачу синдикату – или, как его там черт! называют? – за одну сгоревшую свечу, как за четыре свечи! И все это знают, и никто не протестует!

Через некоторое время он опять прибегал к нам и кричал в диком ужасе:

– Да, да! Вы успокоились на лаврах? А обратили ли вы внимание на то, что каждый год меняются рисунки на государственных ассигнациях, то есть, вернее сказать, на векселях государства?

И торопливо прожевывая кусок вареной колбасы, и обжигаясь чаем, он продолжал:

– И вот, какой-нибудь пензенский мужик, мордвин, который не только что неграмотен, но еще поклоняется Велесу и Даждь-богу, – этот мужик пойман в ловушку! Где-то в городе расклеили объявления, что бумажки принимаются до такого-то числа, говорят об этом даже в церкви, – Таракан опять обжигается чаем, – с амвона... но, ведь, мужик не несет свои сбережения в государственную кассу, а предпочитает прятать их в сарай, в кормушки для лошадей или зарывать под старую яблоню. Наступает время смерти. Он, или его сыновья, вырывают свой клад из-под спуда и везут его для размена. Но чиновник, в прекрасном белье, в пуговицах и погонах, говорит им хладнокровно: «Эти билеты не принимаются». Что мы из этого усмотрим? Не покушение ли на мошну доброго старого стапятидесятимиллионного населения?

Увлекшись этой полосой, он прибежал к нам еще через четыре дня, но очень усталый, измученный, как будто отдающий последние силы своему призванию.

– Скажите мне! – кричал он – Почему теперь чеканятся такие скверные серебряные монеты?! Петровская, Екатерининская и даже Николаевская – Первого Николая – живут до сих пор крепко и, будучи ударенными о мраморный пробник на прилавках кабака, звенят чисто! Однако, теперешние монеты, даже самые настоящие, стираются через год: и орел, и решка. И он, подлец-лавочник, даже и не пробует их, а просто бросает вам их назад и говорит: «Неизвестно, какая монета. Стерлась, Принесите поновее». То же самое и с золотом. Припомните, дети мои, как почти три столетия назад, на такой же штучке хотели обмануть народ, и как это дело дошло до высших властей, и как зачинщикам этого дела заливали рты расплавленным серебром и золотом? А? Или я говорю неправду? И скажите мне, пожалуйста, почему теперешние золотые называются матиль-д'орами? Если вы ничего в этом не понимаете, то, признаюсь, и я ничего не понимаю! А вы только и знаете, что ржать, как жеребцы на овес! Смешно? Тьфу!

И допив свой чай, уже холодный, он торопливо прощался, протягивая нам всем поочередно маленькую, сухую, не сгибающуюся, горячую руку, и бежал куда-то в пространство, точно невесомый осколок какой-то бродячей планеты.

Впрочем, мне как-то удалось посетить его квартиру: до меня дошел слух, что он тяжело болен, и я разыскал его жилище через адресный стол. Пришлось мне поехать в Сокольники чуть ли не на самый конец света, а это было глубокой зимой, приблизительно

около Рождества, во время неистовой метели. С большим трудом мне удалось разыскать его комнату... впрочем, это была не комната, не мансарда и даже не чердак, а что-то похожее скорее на голубятню, или на скворечник, в щели которого свободно врывался ветер снаружи. Кухонный стол... одна деревянная табуретка... на полу разостлан войлок, и на войлоке лежит под старой драной шубой этот удивительный Черный Таракан, который трясется от лихорадочного озноба и временами бредит. От помощи доктора он отказался, как и от денежной поддержки, которую мы кое-как сколотили в нашей богемской компании. (Надо сказать, что из всех виданных мною людей Таракан был самым гордым и бескорыстным человеком.) Пришлось, когда он окончательно впал в забытье, отправить его в наемной карете в больницу. Должно быть колоссальной силы организм у этого Черного Таракана, которого не смогли одолеть ни московские морозы, ни брюшной тиф.

Кстати, замечательную вещь я усмотрел в его нищенской дыре, называемой комнатой от жильцов: на полу, на столе и на подоконнике было грудами навалено множество книг, некоторые из них чрезвычайной редкости, иные в старинных, тисненных золотом переплетах из телячьей и свиной кожи. Здесь были творения великих отцов церкви и учителей: Василия Великого, Тертуллиана, Оригена, Иоанна Златоуста, блаженного Августина и других.

Нет, положительно Черный Таракан изумлял меня на каждом шагу.

* * *

Мы теряли его из виду то на год, то на два, то на три. Многие из нас даже успели умереть за это время, а один был даже подвергнут (впрочем, по недоразумению) смертной казни через повешение, но Таракан остался все такой же и даже, как будто, не изменялся в наружности. И, что всего страннее! Его неземной характер, его страсть к обличениям и его какое-то беспредметное гражданское негодование не только не уходили с годами, но, казалось, все возрастали и возрастали. То он перевозил духоборов в Канаду (в Ванкувер), то сажал спаржу в горных областях Крымского хребта Яйла, то делался режиссером модного театра. (Убей меня Бог, если я понимаю, какое отношение он имел к драматическому искусству!) Когда в моду вошло декадентство, он храбро начал учиться живописному искусству и достиг даже того, что выставлял даже на выставках голых женщин зеленого цвета с фиолетовыми волосами и с венками на головах, с венками из желтых цветов. Потом как-то до меня дошли слухи, что он служил одно время в цирке в качес-

тве посредника при борьбе и даже, кажется, глотателя зажженной пакли, саламандр, ужей, лягушек, разрывателя живых кошек под псевдонимом «Капитан Грейг с железным и несгораемым желудком». Был он также садоводом, редактором ходкой газеты, представителем какой-то резиновой мануфактуры, чиновником контроля и боцманом на парусном судне. Теперь, когда вся его жизнь – дело прошлое, иногда во время бессонницы с нежностью и с удивлением вспоминаю о нем: куда только не бросала жизнь, а может быть и любопытство, этого человека? Я забыл сказать, что мне было известно кое-что из его прошлого. В ранней молодости он служил в гвардейской кавалерии и с громадным успехом участвовал в джентльменских скачках, в стипль-чезах. Для него не существовало ни страха, ни затруднений: на любой лошади он брал любое препятствие так легко, как будто разгрызал орех. Правда, как и всякий смелый наездник, он часто падал. Почти все члены его рук и ног были переломаны и грубо срощены. А из полка он вышел по какому-то нелепому случаю, в котором, однако, была больше виновата корпоративная щепетильность, чем он.

* * *

Часто он исчезал от нас, как будто в воду проваливался. Однако, судьба нас всегда неизбежно сталкивала.

Разгорелась русско-японская война. Я так и был убежден, что он окажется там, «на театре войны». И я не ошибся. В одной из реляций я неожиданно прочитал, что ротмистр в отставке, такой-то, отличился при таком-то отступлении изумительной храбростью и награжден орденом Св. Владимира III степени с мечами. Этот человек уже настолько интересовал меня или, вернее, настолько стал близок моему сердцу, что я совершенно спокойно, хоть и не без некоторого тайного любопытства, ждал, чем он окончит?

Когда война затихла, Таракан вернулся в Россию с двумя георгиевскими крестами и с черной повязкой на левом глазу.

– Гадость! Безобразие! – кричал он, такой же Черномор, как и прежде, но уже сильно поседевший. – Продали Отечество, мерзавцы! Коров доили! Бегали с позиций, чтобы жаловаться! Гаремы держали! О! Если бы дали мне этих подлецов в руки!..

А тут как раз подоспело девятое января, семнадцатое октября, Гапон, Шмидт и, вообще, вся русская неразбериха. Конечно, он, как черт или трубочист, выскакивающий из детской коробочки, должен был сказаться и здесь. Где-то он говорил речи, которых никто не понимал, да вряд ли и он сам понимал в них что-нибудь? Однако, его носили на руках, подкидывали кверху и целовали.

А, между тем, времена, а вместе с ними и судьбы империи менялись с необыкновенной быстротой. Наше маленькое студенческое общество рассеялось кто куда. Одни померли, другие сделались знаменитостями, модными врачами или известными адвокатами, но почему-то этот человек, мой милый Таракан, был приговорен судьбой вечно со мной встречаться.

– Безобразие! – кричал он, влетая, точно бомба, ко мне. – Провокация! Повсюду провокация! Громадная система! Люди потеряли стыд, страх и совесть! Разве можно поручится за то, что, неся в руках бомбу, он не получил за это четырехмесячное жалованье? Я не могу больше терпеть этого! Я разоблачу этих мерзавцев!

Удивительно! Ни возраст, ни раны, полученные на войне, ни утомление от пережитой напряженной жизни, как будто совсем на него не действовали. Каждый шаг русской общественной жизни отражался на нем, как в зеркале, но в каком-то смешном зеркале, какие бывают в музеях и паноптикумах, в которых человек то расширяется безмерно в ширину, то, вдруг, вырастает и уменьшается и становится похожим на солитера.

И вот, наступает сравнительно спокойное время. Открывается русский парламент, и мой добрый Черный Таракан с бешеной скоростью мчится в какую-то губернию, достает где-то сомнительные деньги, покупает землю, необходимую для выборного ценза, и ровно через год, сидя на хорах Таврического дворца, я слышу, как он говорит громовую речь, направленную, во всяком случае, не в пользу правительства. Признаюсь, по воспоминаниям юности, у меня сохранилась какая-то бережная нежность к нему, и, слушая его, я все время опасался, что вот войдут солдаты и тюремщики, наложат на него ручные и ножные кандалы и отведут в маленькую узкую казенную квартиру.

– Все об одном и том же шумят морские волны... Все об одном и том же звучит сто двадцать девятая статья... Многоголовый хвост старого режима, обвив своим жалом почти одну треть земного шара...

Тут его остановил председатель и приказал выйти вон. Он еще что-то бормотал в дверях, но я уже ничего не мог расслышать.

* * *

Я почти не надеялся встретить его после этого скандала, но представьте мое изумление: я встречал его и на следующий год и еще на следующий, словом, во все сроки парламента, все в том же Таврическом дворце. С ужасом и с жалостью я следил за тем, как этот сумасбродный, неуёмный человек линял и линял с каждым го-

дом. Он последовательно перешел из эсеров в трудовики, оттуда нырнул в кадеты и, наконец, опустился до октябристов. Часто по вечерам, оставаясь один, я раздумывал о судьбе этого поразительного человека. «Что влекло его ко всем этим странным, скажем, видоизменениям? Неужели, – думал я, – это отголосок специально русско-татарской непоседливости и влечения к бродячей жизни? Или это просто неустойчивость духа, так глубоко свойственная натуре нашего прекрасного народа?» И тотчас же возражал сам себе, что этот человек – трезв, целомудрен, вегетарианец, не курит... но, в то же время, я не мог его признать сумасшедшим.

И вот, через несколько месяцев начинается балканская война – война, вероятно, самая жестокая из всех, которые были в мире. С громадным изумлением читаю я в газетах, что наш пострел везде поспел, и мой друг, Черный Таракан, находится в рядах болгарских войск.

Тогда я начинаю интересоваться его судьбой. Через некоторых знакомых устанавливаю телеграфные сведения о нем. Но, нет! Он, как говорится, точно в воду канул. «Доигрался», – думаю я, – вероятно, лежит где-нибудь во рву или волчьей яме, придавленный десятками трупов, или, может быть, валяется в поле, с отрезанными ушами и носом, с выколотыми глазами, или может быть, обратился в гниль и прах?»

Должен признаться, что настоящая, искренняя жалость овладела мною.

Но жизнь бежит и бежит вперед, и остановить ее трудно... А забывается все легко на свете, за суетою дня. И я почти позабыл о друге моей юности, когда, вдруг, получил курьезную открытку с Афона. На одной стороне ее был изображен какой-то монастырь, белые здания и кругом зеленые деревья, на другой – адрес, написанный, очевидно, дрожащим почерком, и тут же, около адреса, слева, прилепились несколько строк, написанных тем же прыгающим почерком. В начале их стоял похоронный, сделанный чернилами крест, а потом следующие слова:

«Завтра принимаю Великую Схиму и обет молчания, Благословляю тебя и всех и никогда не забываю вас в своих горячих молитвах. Молю Бога, чтобы он и вам послал сердечное покаяние, любовь и милость. Это письмо последнее, которое я пишу в своей жизни, завтра умираю навсегда для земного мира. Библиотека моя находится там же, в Сокольниках, у хозяйки, возьми ее и, прошу, раздай книги всем, кто помнит меня. Да будет над тобою Божие милосердие.

Смиренный схимонах Агафангел».

Ну, что же. Дело прошлое. Я расплакался над этой весточкой, пришедшей, Бог знает, из какой страны. И умилила не так судьба моего друга, как судьба всего нелепого, мятущегося, чего-то ищущего русского народа. Да и правда! Не был ли он самым верным, самым типичным его представителем? Я вообразил себе его – бывшего бретера и наездника – сидящим в келье, питающимся одной просфорой в сутки, спящим в кипарисовом гробу, который он сам себе сделал своими руками, и, что ужаснее всего, молчащим – его! неуёмного, неугомонного человека!

1913 г.

БУБЕН НЕУЕМНЫЙ

(Рассказ старого беженца)

… И в самом деле: более странного, смешного и одновременно с этим трогательного человека ни я, ни вы и никто – либо другой не мог бы встретить во всю свою жизнь. Это был человек маленького роста с рыжим клоком на лысой голове, с огненной острой бородкой, торчавшей к небу, и с горящими прекрасными глазами, немного болезненными.

Это наша общая служанка чердачного этажа в номерах Шевалдышева, что на Бронной, дебелая, языкастая баба Пелагея, Гдовского уезда, так прозвала его однажды: Бубен Неуемный; так и осталась за ним навсегда кличка.

Во всякое время дня и ночи весь он бывал полон, битком набит, напичкан, перегружен протестами, жалобами, изобретениями, разоблачениями, письмами в редакции, повестками от мирового или из полицейского участка и прочей бумажной рухлядью.

Он врывался с грохотом в наше студенческое общежитие и, еще не поздоровавшись, начал кричать исступленно:

– Свинство! Безобразие! Грабеж среди бела дня! Как это никто не догадывается, что теперешние свечные заводы представляют собой нечто вроде самого мошеннического американского треста? Стеарин смешивают с керосином. Фитили насквозь пропитаны керосином. Свеча сгорает вчетверо скорее, чем сгорала раньше, а платить за нее я принужден столько же, сколько платил раньше. Таким образом, совершенно ясно, даже для пятилетнего младенца, совершенно ясно, что этот синдикат, или как его там, черт, называют, дерет с меня без зазрения совести ровно 400 процентов. И все это знают, и никто не протестует. Стоят, как глупые бараны, а их стри-

гут догола. Нет! Дайте мне сейчас же перо, чернила и лист бумаги. Сяду писать доклад в министерство финансов! Не могу утерпеть.

Через день он опять прибегал к нам и кричал в диком ужасе:

– Да, да. Вы здесь успокоились на розах и лаврах. А обратили ли вы внимание на то, что каждые десять лет меняются рисунки на государственных ассигнациях, то есть, вернее, на векселях государства? – И, торопливо прожевывая кусок копченой кобыльей колбасы и обжигаясь чаем, он продолжал: – И вот, какой-нибудь пензенский мужик, мордвин, чудь, весь или как там его, который не только что безграмотный, но он еще молится Велесу или Даждь богу, – этот мужичонка пойман в злодейскую ловушку. Где-то в городе расклеили объявления, что бумажки принимаются и обмениваются лишь до такого-то числа, – Бубен опять обжигается чаем, – говорят об этом даже в церквах, с амвона. Но ведь мужик не несет свои сбережения в государственную кассу, а предпочитает их прятать в более верные места: в сараи, в лошадиные ясли, в детские люльки или зарывать под старой яблонькой.

Наступает время смерти. Он или его сыновья вырывают свой клад из-под спуда и везут его для размена. Но чиновник, в прекрасном белье, в пуговицах и погонах, говорит им хладнокровно: «Эти билеты потеряли всякую стоимость и хождения не имеют». Что же мы из этого усмотрим? Не покушения ли на мошну нашего доброго, старого, преданного стапятидесятимилионного населения? Нет, об этом надо было осведомить графа Витте, а не подействует – пущу в заграничные, нелегальные издания.

Увлекшись этими финансовыми идеями, он прибежал к нам еще через четыре дня, усталый, измученный, голодный, как будто отдающий последние силы своему роковому призванию.

– Скажите мне, – кричал он, – почему теперь чеканятся такие скверные серебряные монеты. Поглядите: петровские, екатерининские, даже николаевские (Первого Николая) – живут до сих пор крепко, хотя и прошли через миллионы рук, и, ударенные о мраморный пробник на прилавке трактира, звенят чисто. А теперешние монеты, даже самые настоящие, стираются через год так, что не разберешь, где орел, где решка. И подлец лавочник даже не пробует их, а просто бросает, швыряет обратно и говорит: «Неизвестно, какая монета! Стерлась! Приносите поновее». Также и с золотом. Припомните, дети мои, как почти три столетия тому назад на такой же штучке хотели обмануть народ русский, и как это темное дело дошло до высших властей, и как зачинщикам заливали рты расплавленным металлом. А? Или я говорю неправду? Так почему же вы гогочете, как жеребцы на овес? Смешно? Тьфу! Нет! Здесь

надобно либо до царя дойти, либо расклеить прокламации по всем заборам Москвы и Питера! Прощайте, лежебоки!

Он допил свой холодный чай, торопливо распрощался, протягивая нам всем поочередно маленькую сухую, горячую и чрезвычайно сильную руку, и помчался куда-то в пространство, точно неведомый осколок какой-то бродячей планеты.

Никто из нас не знал, где он живет, спит или ест. Впрочем, мне однажды удалось посетить его временное жилище. До нас донесся слух, что он тяжело болен, и я разыскал его адрес через адресный стол. Пришлось мне поехать в Сокольники, чуть ли не самый край света, а это было глубокой зимой, примерно около рождества христова, во время неистовой метели. С трудом мне удалось разыскать его комнатушку… Впрочем, это была не комната, и даже не чердак, а что-то похожее скорее на голубятню или на скворешник, в щели которого свободно врывался ветер снаружи. Кухонный стол…. Одна деревянная табуретка… На полу разостлан войлок, а на войлоке лежит под старой драной шубой этот удивительный Бубен Неуемный, который трясется от лихорадочного озноба и временами бредит. От помощи доктора он отказался, также как и от малой денежной поддержки, которую мы кое-как сколотили в нашей богемской компании (надо сказать, что из всех виденных мною людей Бубен Неуемный был самым гордым, бескорыстным и самолюбивым человеком). Пришлось, когда он окончательно впал в забытье, отправить его в больницу, в карете скорой помощи. Должно быть, колоссальной силы организм был у нашего Бубна, которого не могли одолеть московские морозы.

Кстати: замечательные вещи успел я усмотреть в этой нищенской дыре, называемой «комнатой от жильцов». На полу, на столе и на подоконнике были грудами навалено множество книг, некоторые из них были чрезвычайной редкости, иные – в старинных тисненных золотом переплетах и телячьей и свиной кожи. Здесь были творения великих отцов церкви и учителей: Иоанна Златоуста, Василия Великого, Тертуллиана, Оригена Адамантового, Блаженного Августина и, особо, творения Эпиктета и Марка Аврелия. Неуемный Бубен изумлял меня на каждом шагу. Было в нем что-то от доброго, храброго рыцаря и, отчасти, от Дон-Кихота. На своем гербе ему следовало бы начертать девиз: «Без боязни стою за того, кто в меньшинстве». Без всякого ломания и позы, со скромной искренностью давал он помощь и опору всем униженным, обиженным, слабым, нищим, калекам, слепым, детям, женщинам, собакам, кошкам и лошадям. Где только начинался скандал и закипала драка, он уже стремился туда, точно влекомый невидимым мощным маг-

нитом, чтобы разбирать, судить, защищать и сражаться. Мы ничуть не удивлялись и только почтительно молчали, когда он приходил в наши Шевалдыши с рукой на перевязи или с глазом, закрытым круглой черной тафтой. У нас мало было сведений из его биографии, да и те, которые имелись, не пахли большой достоверностью. Говорили, что он родом из старой и очень почтенной фамилии, но живет под псевдонимом Булаговича. В ранней молодости служил в одном из самых блестящих полков гвардейской кавалерии, но принужден был выйти из него вследствие грубого столкновения с одним из лиц императорской фамилии. Потом он, будто бы, служил жокеем в скаковой конюшне Лазаревой и прославился неустрашимостью, с которой брал все стипльчезные препятствия. Правда, как всякий смелый наездник, он часто падал. Почти все кости рук и ног у него были переломаны и грубо срощены.

Прямо со скакового круга он перешел в университет, отлично сдав экзамен на аттестат зрелости и по латинскому языку… И затем сделался вечным студентом, вечно застревая на всех курсах и переходя на разные факультеты… Теперь его жизнь – дело далекого прошлого, но я иногда ночью, во время бессонницы, с нежностью и с удивлением вспоминаю о том, куда только не бросала его жизнь, а может быть, любопытство этого несгораемого человека. Часто исчезал он на недели, месяцы и даже годы, из нашего поля зрения, как будто в воду проваливался, однако судьба нас неизбежно снова сталкивала. Доходили слухи, что он одно время служил в передвижном цирке, сначала в качестве арбитра и распорядителя при франко-римской борьбе, а потом в виде глотателя зажженной пакли, саламандр, ужей, лягушек, разрывателя живых кошек под именем американского капитана Джонни Грейга, с его неподражаемым и несгораемым желудком. Был он также садовником, редактором «Народной газеты», представителем Резиновой Мануфактуры, чиновником контроля, боцманом на парусном судне, архиерейским певчим. Многие из нас даже успели умереть за то время, а один даже был подвергнут смертной казни через повешение (правда, по недоразумению), но Бубен Неуемный возвращался из своих странствий все таким же, и даже как будто не изменялся в наружности, в своем неземной характере и в своей жажде гражданского правосудия. То он перевозил духоборов в Канаду, то сажал на коммунистических началах спаржу в горных областях крымского хребта Яйла, то делался режиссером модного декадентского театра (убей меня бог, если я понимаю, какое он отношение имел к драматическому искусству!) Когда в моду стал входить футуризм, он экспонировал в Москве на выставке «Червонного Валета» своих голых женщин

ярко-зеленого цвета с фиолетовыми волосами и цветами нежно-канареечного тона. Словом, наш пострел везде поспел. Разгорелась японская война. Я был убежден, что услышу его имя с театра военных действий. И не ошибся: в самом начале бойни я с улыбкой и с гордостью в газетах, что корнет такой-то отличился при таком-то и таком-то отступлении, вызванном необходимою перегруппировкой армий, и награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами. Наконец, позорная война закончилась. Бубен Неуемный вернулся в Россию с двумя Георгиевскими крестами и с окончательной потерей левого глаза.

– Гадость! Безобразие! – кричал он, все такой же взвихренный и бурливый, как и прежде, но уже сильно поседевший. – Продали отечество, мерзавцы! Прос…ли его! Коров доили во время боя! Бегали с позиций, чтобы жаловаться в Питер! Гаремы держали! О, если бы мне дали этих подлецов в руки!

И тут как раз подоспело 9-е января, семнадцатое октября, Гапон, Шмидт и, вообще, вся русская неразбериха. Конечно, он, как трубочист или как черт, выскакивающий из детской коробочки, должен был появиться на сцене. Где-то он говорил речи, которые никто не понимал, да вряд ли он и сам понимал хоть что-нибудь. Однако его носили на руках, подкидывали под потолок и слюнявили поцелуями. А между тем менялись времена и вместе с ними менялись и судьбы. Наше студенческое общество расползлось кто куда. Те – умерли, другие стали знаменитыми врачами, известными адвокатами, великими учеными, недоступными банкирами… Но почему-то милый Неуемный Бубен был приговорен роком всегда со мной встречаться.

– Безобразие! – кричал он, влетая, точно бомба, в мой кабинет, – Провокация! Громадная система. Пропали страх и совесть. Ну, разве можно поручиться за то, что, неся в руках бомбу, человек не получил из полиции четырехмесячное жалованье? Я не могу более терпеть этого! Я разоблачу этих мерзавцев.

Наступило время русского парламента, государственной думы. О Бубне ни слуху, ни духу. Гибнет первая дума, рухнула с треском вторая, наполнив воздух палью и мусором… Дрожит и колеблется третья. Бежит, бежит торопливое время. Но где же наш любимый Бубен Неуемный? Как будто жизнь без него не в жизнь; все чего-то не хватает. Да и самый срок его безвестной пропажи уже слишком длинен.

… И вдруг в середине июля – бух, как с неба, объявление этой ужасной, дьявольской, никогда не воображаемой и ни с чем не сравнимой войны с немцами. Весь мир в потрясении! Пушки, танки, удушающие газы, газетный шум… и вдруг неожиданно по-

является Бубен Неуемный. Воскресает в самом героическом виде. Сначала седой ротмистр-доброволец, потом полковник, гроза немецкой гвардии, кавалер всех, какие только есть, орденов, наконец, новая звезда войны, блестящий генерал, сын отваги, отец победы и удачи. Это все он, наш маленький Бубен. Мы ежедневно видим в журналах его портреты. Теперь он совсем облысел; осталась только задорная запятая белой бороды…. Храни его Господь… и вдруг горькое печатное известие: безумно дерзкая атака. Попал в предательский мешок. От дивизии ничего не осталось. Бубен Неуемный разрезан на мелкие куски гонведской кавалерией. Не нашли от него даже следа. Ну, думаю, упокой, господи, душу этого прекрасного человека. Кончилась в осиянии славой его тревожная жизнь (…). Потянулись для меня, как фильм, эмигрантские дни. Образ Бубена, чем дальше уходил в глубь времен, тем становился мутнее, но прелестнее и вот…

Третьего дня совсем внезапно получаю вдруг письмо с Афона. Развертываю. На первой странице, сверху, выведен чернилами похоронный крест. Ниже – печатным почерком – текст: «Завтра принимаю великую схиму с обетом вечного молчания и вечного одиночества. Благословляю тебя и всех. Молю бога, чтобы послал вам сердечное покаяние и милость. Смиренный иеромонах Агафангел».

И сбоку мельчайшим шрифтом: «бывший ваш Бубен Неуемный».

1931 г.

ВРАЧЕБНАЯ ЭТИКА

(Документ)

Вот какие нижеследующие строки с оторванным началом прочитал я на куске бумаги, в которую были завернуты принесенные из лавки моченые яблоки:

«...чему весьма радуюсь и с чем поздравляю. Я же, в свою очередь, весьма горжусь тем, что с нынешнего дня ты, мой милый сын, есть в то же время и мой коллега по профессии. Не обижайся поэтому на мои отеческие, товарищеские советы. Я знаю, что вы, нынешние, свысока, с небрежным снисхождением смотрите на нас, стариков, называете нашу систему лечения шаманством, приемы – шарлатанством, лекарства – латинской кухней, смешение их – алхимией и т. д., а над врачебной этикой, эстетикой просто насмехаетесь...

Но для твоей пользы я все-таки выписываю по памяти некоторые пункты врачебной этики. Не теперь, так через несколько лет, ты перечитаешь их и найдешь, как много в них житейской мудрости, прозорливости и выгоды. Начинаю:

1. Открывая практику, не мучай своего первого пациента двухчасовым исследованием и праздными вопросами. Выслушай и выстукай быстро. Покачивай в это время многозначительно и утвердительно головой, погмыкивай, посапывай, приговаривай: так... так. Вопросы задавай общие. Потом, поставив пациенту термометр, удались на минутку в соседнюю комнату и нырни в медицинский календарь. Подыскав соответствующую легкую болезнь и безвредный рецепт, вернись в кабинет, успокой пациента и пропиши лекарство. Проводи его. Однако отнюдь не на улицу, лишь до дверей передней. Если твое лекарство не поможет, то оно, весьма возможно, и не повредит, и вот 75 шансов, что пациент вернется к тебе.

2. Если близко около тебя находится гостиница, сумей ввернуть ее швейцару основательную монету, а кстати, и свой адрес.

3. Учись принимать гонорар. Многие до сих пор дают его из руки в руку при прощании. Никогда не отрывай его вместе с рукой, как меделян косточку, но ловко и осторожно сгреби концами пальцев в кулак. Но и не щекочи понапрасну дающую ладонь. Иные страшно чувствительны к щекотке, и был однажды такой случай, что пациент закричал от неожиданности, подпрыгнул и попал доктору коленом в живот. Бывают также по этому поводу неприятности с нервными дамами, которые потом жалуются мужьям на неприличное поведение врача. Остерегайся неловко выронить бумажку. Однажды это произошло со мною на десятом году практики. Я и мой хороший пациент так быстро и одновременно нагнулись, что из наших лбов посыпались искры, как из Гольцовской электрической машины. Лучше для навыка в этом пункте поупражняться на досуге с верным товарищем.

4. Посещая дом, куда тебя пригласили, будь одет скромно и солидно. Черный сюртук, темный жилет, массивные золотые часы с такой же толстой цепочкой, очки золотые или в широкой роговой оправе. Хорошо нагулять себе плотную комплекцию и степенное брюшко: в романах прошлого и нынешнего столетия от безвестного Шпильгагена до знаменитого Брешки все врачи – добродушные толстяки. Такая внешность говорит о здоровье, спокойной совести, положительности характера и о хорошей практике.

5. Войдя в гостиную, вынь, не спеша, чистый большой носовой платок, сними очки и протри их, надень, громко высморкай-

ся, спрячь платок, густо крякни, крепко потри рука об руку. Все это производит впечатление грубоватой, но деловой самоуверенности.

6. Если больна дама, величай ее «барынька». Потому что – кто знает? – жена это или так...

7. Мальчику в школьном возрасте говори с шутливым упреком: «Что же это мы вздумали хворать, когда теперь самое время нам на коньках кататься? Нехорошо так делать, господин генерал Скобелев», или: «А еще будущий Цицерон Демосфеныч!» Такой оборот речи производит на маленького пациента впечатление, будто он с тобою знаком лет уже около двадцати.

8. Младенец колыбельного возраста или того – когда пешком под стол ходят, требует иных приемов. Назови его «наш Голиаф». Приложи ему к уху свои часы. Не бойся уменьшительных слов «животик», «ванночка», «компрессик», «лапочки», «касторочка» «клизмочка». Каждая мать любит эти невинные, нежные словечки, но про тебя она потом будет рассказывать: «Как этот доктор обожает детей! Какое чуткое, доброе сердце! Я молюсь на него!»

9. Даму, находящуюся в припадке истерики, схвати внезапно за руку выше кисти, сдави не особенно сильно, завращай глазами и прикрикни: «Сударыня, я вам приказываю немедленно замолчать и успокоиться!.. Вот так-то лучше...»

10. Эту грубость ты стократно искупишь, ежели через пять минут, позволив мужу войти, наконец, в будуар или спальню, убедишь его в том, что у дамы необычайно тонкая и сложная организация нервной системы, что надо беречь это неземное хрупкое существо, охранять его от всяких лишних волнений, исполнять по возможности его маленькие капризы и т. д., и т. д. Поверь, что вскорости все знакомые дамы этой дамы будут разносить по городу твою характеристику: «Доктор N удивительный знаток женской натуры. В нем есть что-то такое... повелительное... магнетическое... Право, в него можно было бы влюбиться, если бы он не был так серьезен и занят наукой».

11. Но может статься, что в предыдущем случае тебя все-таки попросят о лекарстве. Так вот, передаю тебе, мой дорогой сын, следующий рецепт, который производит магическое действие. Составлен он, по преданию, еще великим Парацельсом:

Rp:

Panisnigri 10,0.

Divide in partes aequal.

№100. Obduce fol. argent.

Consperge Licopod. DS. По 2 пил. 3 раза в день.

7 1/2 минут спустя после еды, в рюмке старой малаги*.

Если ты особенно дружен с аптекарем, который к тому же не чужд понимания юмора, можешь прибавить: «Положи всю эту дрянь в цветную коробочку с художественным рисунком и ставь цену ad libitum.

12. Просматривая рецепты прежнего врача, твоего предшественника, никогда не говори: «Какой башмачник» или «Какой водовоз прописал такую гадость». Улыбнись добродушно и скажи: «Ну, во всяком случае, это особого вреда не принесет».

13. Хозяина дома называй «батенька». Почему так нужно, не знаю, – но так все делают со времен Галена.

14. Спроси пациента, пьет ли он вино. Пьет – запрети. Не пьет – посоветуй. То же с верховой ездой, купаньем, игрой в карты, орехами, икрой и капустой.

15. Когда тебя пациенты пригласят к себе запросто на вечерок, приготовь заранее, еще дома, пять-шесть невинных анекдотов поглупее, но, конечно, приличных. Правда, все доктора плохо шутят, но шутливость – верный знак хорошего пищеварения и ясности души.

16. У первороженицы непременно спроси: «А есть ли у вас в доме умная книга Жук под заглавием «Мать и дитя»? Тебе непременно ответят: «Есть». — «Так немедленно сожгите ее». — «Как он проницателен!» — подумают окружающие, сбившиеся с ног, измученные, ошалелые люди.

17. А в прочем будь чистоплотен, трезв и благоприветлив. Если можешь, следи за наукой. Но во всяком случае старайся не забывать и бедных больных.

Посылаю тебе, сын мой, эти 17 правил. Остальных не могу доверить письму, а скажу при личной встрече. Они таинственны и страшны. Мы в наше время, кончив 5-й курс, давали товарищескую торжественную присягу никогда не разглашать их посторонним даже под угрозой пытки. А клятвы эти приносились в полночь в подземелье анатомического театра над черепом самоубийцы, и текст их был так кабалистически ужасен, что даже праздное его повторение ведет ко вреду для здоровья и ума.

---

* В переводе на русский значит:
Черного хлеба 10,0.
Раздели на равные части
Числом 100.
Обверни серебряной бумагой.
Пересыпь ликоподием
и т. д.

А впрочем, посылаю тебе при сем тысячу рублей на обзаведение, обнимаю крепко и поздравляю с наступающим светлым праздником.

Любящий тебя отец (подпись неразборчива)».

Списал А. Куприн.

1916 г.

ЛИСТРИГОНЫ

(2-я часть)

МЕЖДУСЛОВИЕ

<…> Мы ловили на переметы камбалу, белугу и морского петуха, ставили сети и заводи на макрель, окружали трехстенными «дифинами» кефаль, и ее же, эту глупую, но вкусную рыбу обманывали рогожкой и самодуром, били острогой лобана, забрасывали мережку на мелкую рыбу, кидали наметку на камсу, брали кошками среди самой бухты больших корявых вкусных устриц… и вот так проходили наши дни и ночи, в те милые, беззлобные времена, когда я имел высокую честь состоять полноправным пайщиком и вторым гребцом на баркасе «Светлана», под суровой командой моего атамана и учителя Коли Константи.

Иногда – право же очень изредка – мы устраивали на берегу маленькие, шумные, но добродушные попойки. Еще реже я получал с далекого севера длинные узенькие конверты, подписанные очаровательными знакомыми каракулями. Ах, как нежна, упоительна и благоуханна любовь…издали!

Не так давно, года четыре тому назад, вспоминая эту бесхитростную, но прекрасную жизнь, я написал и напечатал ровно восемь очерков под общим заглавием «Листригоны». Три мнения об этих простосердечных рассказах мне были особенно дороги: одного английского епископа и, должно быть, в глубине души тайного, но веселого язычника, который прислал мне из Лондона очаровательное и незаслуженное лестное письмо, другое – русского критика, писавшего мне на открытке, что море в Норвежских фиордах пахнет морем… и листригонами, и третье – самого Коли Константи. Но, снисходительно похвалив меня в письме за правдивые описания морской ловли и, кстати, попросив выслать ему английских крючьев на белугу, Коля сделал мне в приписке справедливый выговор: «А еще вы пишите, что на дне моря живет большой рак, и что когда он ударяет клешнями, то делается от этого буря… Это вы написали

ерунду и даже чепуху. Такого большого рака быть не может. Про Летучего Голландца – это правда. Я сам о нем слышал. А вот рак – бабьи сказки…»

Милый Коля! Охотно, в угоду тебе беру моего чудесного рака назад. Но дело в том, что и ты сам, с твоею душой, широкой, щедрой и естественной, как море, с твоими зоркими глазами, столько раз видавшими близко-близко смерть, с чистым ключом поэзии, звенящим незримо и неслышно для тебя, в твоем верном и крепком сердце – ты сам, в наши дни серого отчаяния, представляешься мне издали не меньшим морским чудом, чем легендарный рак, но чудом светлым, добрым и радостным, подобным твоей доверчивой улыбке.

Бог знает, жив ли ты, а если жив – (и дай тебе Бог дожить до ста с лишним лет) – то не стал бы ты с годами ворчливым, благоразумным и поучительным старикашкой? Но в воспоминание нашей молодости, которая нам казалось такой неистощимой, в воспоминание нашей отваги, которая нам ничего не стоила, и в воспоминание всех наших маленьких морских приключений я продолжаю мои прерванные очерки о незатейливом балаклавском житье-бытье. Я заранее не страшусь твоего резкого отзыва о них. И правда, в них могут сказаться недочеты памяти и воображения или другие недостатки. Одного ты не найдешь в них: злобы.

Я немного опасаюсь: не излишней ли является вся эта вставка между первой и второй сериями моих рыбачьих рассказов, которую, по справедливости, назвал междусловием, в отличии от предисловия, отличающегося также, по обыкновению, скукой? Но пусть так и будет для связи. Теперь к делу.

X
СВЕТЛАНА

Сентябрьские дни заторопили дачников и тех курортных мнимых больных, с которых мои балаклавские друзья драли такие несуразно бешеные цены за сомнительный виноград, сауны и за катанье на лодках по бухте, необходимое для вдыхания целительного морского воздуха. Последним, с самого конца месяца, уехал какой-то тощий приват-доцент в золотых очках и в фильдекосовых перчатках. Покупая на пристани свежую, только что пойманную рыбу, еще вздрагивающую расщепом хвоста, он и к той опасался прикоснуться сквозь ткань перчаток, брезгуя тем, что ее раньше хватали грязные руки рыбаков.

Ну и бог с ними, если уехали. Жалеть некому. Сразу забыты их имена, отчества и фамилии (всегда и разнообразно перевиравшие-

ся), их лица и привычки, их обещания приехать на следующий год и строгие наказы никому, кроме их, не сдавать квартиру. Зато с их шумным, пестрым и жалким отъездом Балаклава сразу почувствовала себя дома, и, как всегда, точно по волшебству, настали ясные, холодные, ослепительно-солнечные дни, обещающие ровную погоду, а, почем знать, может быть, и сносную ловлю на весь октябрь.

Коля Констанди и я, мы перегнали его баркас на тот берег, еще мало застроенный, еще не укрепленный камнями и сваями набережной. Там мы вытащили лодку далеко на песок, перевернули ее вверх килем, отчего она тотчас же получила неестественный и прозаический вид, вроде ребристой и брюхатой лошади в лежащей позе, и, вот, сидим, прислонясь к ее теневому брюху, между тем как около нас, на газетном листе, помещаются сыр, томаты, хлеб, нож, соль, стакан и бутылка мутного местного белого вина, сидим и неторопливо обсуждаем, каким именем окрестим мы обновляемый баркас.

Сначала я стою за то, чтобы не было никакого названия. Кличка принята лишь для тупого воображения дачников, которые иначе не сумеют отличить одной лодки от другой, и для казенных судов. Твой баркас, Коля, узнает каждый рыбак на всем побережье и по белоснежной окраске и по тонкому золотому бортику. Я, конечно, ничего не говорю ему о том, что именно так расцветил свою яхту «Bel ami» великолепный Мопассан. Коля против белого с золотом не спорит (правда – марко и будет пугать рыбу), но в необходимости имени он упорствует. Пускай же будет называться «Светлана». Так она называлась и раньше, хотя это не было написано на ее носу.

Ладно, Коля. Я тебе уступаю. Суровый и ловкий рыбак, настоящий соленый грек в море, – ты на берегу попадаешь <...> развращенной изнеженности городских вкусов. Идет. Будет заглавие. Но почему же непременно северная, сентиментальная «Светлана»? Почему не «Скумбрия», «Паламида» или «Дельфин»? Хочешь что-нибудь греческое? «Амфитрида»? «Нереида»? «Афродита, выходящая из пены морской»? Хочешь, назовем ее «Каллопига», что значит – «Прекраснозадая», по стройному очертанию ее кормы?.. Но тут Коля самого меня называет неприличным дураком. Я сбит с позиции и невольно соглашаюсь на все, что ему угодно.

В продолжение трех дней мы старательно соскребаем с боков лодки старую, легко спадающую чешую синий краски, день варим масло и два конопатим кое-где и олифим. Даем просохнуть. К этому времени к нам присоединяется какой-то праздный полуголый, черномазый, очаровательный мальчишка-гречонок, который до этого времени валялся, неизвестно для чего, на песке, вблизи нас, глядя в

небо, свистал и докуривал наши окурки. Впоследствии он будет бегать для нас на тот берег за вином, хлебом, сыром, холодной рыбой, папиросами, краской и позолотой.

Выкрасили лодку снаружи. Яркое солнце и легкий южный ветерок быстро высушили краску. Перевернули баркас вверх килем, на вальки, сбоку укрепили распорками, принялись мазать внутри без олифы. Не хватило в городе белой краски, послали мальчонку Христо в Севастополь. Принялись золотить борты сусальным золотом. Но в местной аптеке достало золотых книжек и гумми-арабику только на аршин борта, а в будущем приближение к красавице «Bel ami» запахло миллионами. Решили взять спокойную и дешевую бронзовую краску. Тут дело пошло очень ходко, надпись «Светлана» я вывел собственноручно, сначала карандашом, а потом тонкой кистью в удлиненном узком «стиле директуар» с очень высокими, как талии того времени, перехватками у «а», у «и», у «ь», у «в».

Нам с Колей тогда еще не было по сто лет, и потому понятно, что оба мы немного волновались, не показывая это друг другу, а от волнения несколько торопились, и от того и вышло, что после торжественного спуска баркаса на воду и первой его пробы с трудом отодрали наши сиденья от банок – я на веслах, а он на корме (мальчишка грек стоял посередине и плевал в море). Но как весело мы подошли к тому берегу! Коля божился что баркас приобрел новую, до сих пор неведомую ему ходкость, хотя, надо сказать, что он так же искренне уверял меня месяц тому назад, будто такого легкого и послушного судна нет и не может быть на всем побережье Черного моря, если не на целом свете.

Знакомые рыбаки встретили нас на набережной. Не так чтобы всем племенем, однако, человек пять-шесть. Зубоскалили над щеголеватым видом баркаса, над смешными литерами имени, над варварской малярной работой…

1917 – 1918 гг.

ГАТЧИНСКИЙ ПРИЗРАК

Не знаю, как теперь, но в мое время – лет 10-15 назад – в Гатчине крепко жила легенда о призраке императора Павла I. Потомки старых гатчинских родов, носивших причудливые фамилии: Подсеваловых, Херувимовых, Шишинторовых, Прудуновых, Шпионовых, Комплиментовых, Запоевых, и Вье-Веревкиных, не сомневались в том, что тень покойного Государя показывается иногда во дворце, где, между прочим, хранилась его походная полотняная постель со

ржавыми следами царской крови. Видели также многие из обывателей этот гатчинский призрак, блуждающий в парках Дворцовом и Приоратском – белыми летними ночами. Они даже утверждали, что не следует бояться встречи с ним или убегать от него. Увидев его издали в одной из старых липовых и березовых аллей, следовало лишь сойти с дорожки на обочину и «при приближении» сделать низкий учтивый поклон». Ответив спокойным кивком головы, тень беззвучно проходила мимо и скрывалась, точно таяла, в туманном полумраке.

Таково было прочное предание. Нам неизвестно, знал ли его товарищ Заяц, числившийся в 1918 году комиссаром Гатчинского дворца. Аптекарский ученик по образованию и коммунист по партийной принадлежности, он чуждался всяких вер, суеверий, потусторонних предметов. Если бы ему и довелось услышать эту легенду, он, наверно, только отмахнулся бы рукой и сказал на своем киевском наречии:

– Э! Бабьи забубоны!

А между тем, именно с ним-то и произошла в связи с Гатчинским Призраком история таинственная и, пожалуй, даже страшная.

Надо сказать правду: к своим обязанностям во дворце товарищ Заяц относился ревностно и внимательно.

– Что делать? – объяснял он приятелям, высмеивающим его старательность. – Что делать, когда я, как человек образованный, люблю скуство, в особенности, если оно принадлежит трудовому пролетариату?

Это он первый для посетителей, обутых в коневые сапоги и в американские танки, завел огромные веревочные туфли, на манер бабуш, что стоят в преддвериях мечетей. С удовольствием убеждался Заяц в пользе своей выдумки: дивные паркеты из красного и черного дерева и палисандра работы великого Гваренги не только перестали страдать от грубых царапин, но, отполированные добровольными полотерами, заблестели во всей прелести своих великолепных и простых линий.

Каждый день, часа два спустя после ухода последних посетителей, товарищ Заяц неизменно обходил все галереи, залы и комнаты дворца, чтобы хозяйским глазом убедиться в полном порядке. В нижние этажи, где раньше были тесные покои Александра III, и туда, где в одной из комнат стояло скромное и жуткое ложе Павла I, он заходить не любил, попросту – боялся: эти помещения всегда держались запертыми на ключ.

22 июня товарищ Заяц делал свой обычный обход несколько позднее, чем обыкновенно: задержало заседание в Совдепе. В

войлочных туфлях, бесшумно и не спеша проходил он по тихим, торжественным палатам. За богемскими зеркальными стеклами высоких, наверху полукруглых окон догорала заря, малиновая в жемчуге и парче. Мягкий и теплый свет был разлит в строгих, чутко дремлющих покоях. С приятной отчетливостью и выпуклостью выступали давно знакомые предметы: батальная и морская живопись орловской галереи, белой с золотом; гобелены больших залов, с библейскими мотивами, длиною и шириною во всю стену, тяжело и густо расшитые серебром и золотом; парадная зала, в которой на трехступенном возвышении стоял трон Петра I, обитый бархатом абрикосового цвета, с двуглавым орлом над балдахином; галерея китайского фарфора, тесно заполненная редчайшими, драгоценными экземплярами. Но уже становилось поздно. Порозовел и молочно побледнел воздух за окнами, а небо стало грустно-зеленое. Заяц поглядел на часы: они показывали десять. «Пора и домой», – подумал он и спустился вниз, в переднюю.

Но, к его удивлению, единственная входная дверь оказалась запертой снаружи. Заяц постучал в нее костяшками пальцев, потом стал стучать кулаками. Все напрасно. Дворцовый сторож, очевидно, пропустил приход комиссара и в уверенности, что Заяц давно уже дома, запер тяжелую дубовую дверь. Другого способа выбраться из дворца не было. Ни стуки, ни крики не помогли бы коменданту. Сторож – глупый и к тому же глухой старик — помещался в кавалерском крыле дворца. Там же, где жил и Заяц. Дозваться его нельзя было даже пушечным выстрелом.

«Вот так история, – подумал Заяц. – Придется переночевать во дворце. Но где?».

К своему счастью (или к несчастью), комиссар вспомнил о небольшой комнате, смежной с тронным залом и, должно быть, раньше предназначавшейся для лиц, ожидающих приема. Там стояли две длинные скамейки, крытые гобеленами. Когда-то государь Николай I, посетив Гатчинский дворец и найдя, что он плохо отапливается и освежается, приказал в одной из зал устроить камин и вентилятор. Приказ его был исполнен с обычной моментальной быстротой. С бесценным гобеленом, изображавшим «Жертвоприношение Авраамом Исаака» и покрывавшим сплошь всю стену, не стали церемониться: вверху вырезали круглое отверстие, а внизу выкроили квадратную сажень, а так как нижнего обрезка девать было некуда, выбрасывать же жалко, то им обтянули две скамьи в аудиенц-камере. Прежде, проходя мимо этих скамеек, товарищ Заяц говорил про себя укоризненно: этакое варварство! Теперь же в прозрачном сумраке он без труда отыскал комнату со скамейками и лег на одну из

них, положив под голову фуражку и сверток газет, которыми всегда были напиханы его агитаторские карманы.

Дверь в смежную залу была полуоткрыта. Лежа на левом боку, Заяц отчетливо видел паркет, окно и темные очертания высокого трона. Ему не спалось на новом и столь необычном месте. Бывали минуты, когда он сам себя спрашивал: «О чем я сейчас думал? И спал я только что или бодрствовал?». В одну из таких минут он вдруг заметил, что прямо против него стоит в окне на светлом небе полный, сияющий месяц, а на полу резко и прямо лежит серебряный, с черным переплетом рисунок окна. Потом Заяц как будто бы забылся всего лишь на минуточку, – но, когда открыл глаза, то увидел нечто совсем необыкновенное. Месяц спрятался за стену. Лунный переплет на паркете теперь несколько сузился и падал вкось. У окна же спиной к нему стояла четким силуэтом небольшая человеческая фигура. На светлом фоне окна человек казался совершенно черным, и только кое-где лунное сияние тронуло ярко-белыми чертами и пятнами края его одежды, лица и треугольной шляпы.

Комиссар не мог не узнать в нем императора Павла, чей бронзовый памятник Заяц видел на дворцовой площади ежедневно по десяти раз.

Вот призрак повернул немного голову, и, теперь в профиль, сходство стало еще разительнее. Тот же короткий, властно и надменно вздернутый нос, та же небольшая косичка из-под шляпы; левая рука, согнутая в локте, покоится кистью на бедре, правая в перчатке с отворотом опирается на длинный эспантон.

Заяц привстал и схватился за бьющееся сердце. Скамейка скрипнула. Из тронного зала, от окна, раздался необыкновенный голос. Он был высок, почти пронзителен и металлически ржав; звук его напоминал звуки железного флюгера под ветром.

– Кто там возится? Выйди оттуда. Подойди ко мне.

«Неужели я сплю и вижу сон? – подумал, весь в морозных иглах, Заяц. – Нет. Если бы это был сон, я себя не спрашивал бы, сплю я или нет».

– Я жду! – повелительно произнес голос.

Заяц всей душою сразу понял, что самая малая секунда промедления грозит ему смертельной опасностью. Вскочив со скамейки, он торопливо, на дрожащих ногах, вошел в тронный зал и остановился около двери, в лунном косоугольнике.

– Кто ты?

Комиссар не сразу ответил: челюсти стучали одна о другую от страха и что-то захватило дыхание.

– Имя? Звание?

– 3-заяц!

– Вздор! Опомнись. Приди в себя и говори трезво. Никто тебе ничего злого не сделает.

– Так что, Заяц. Такое мое фамилие, товар... Господ... Ваше Императорское Величество.

– Странно. По виду будто военный. С оружием. Но пояс под грудью, как у кормилицы. На ногах намотаны тряпки. Воловья тужурка, прическа точно у дьякона. Дезертир?

– Никак нет. Комиссар Гатчинского дворца... Смотритель дворцового музея...

– Ага! Сторож. Достойно смеха: сторожит мой дом не собака, а заяц. Хорошо, пусть будет заяц. А теперь, Заяц, рассказывай нам смело и толково все, что знаешь о нынешних людях, делах и событиях. Кто правит и кто подчиняется? Каково настроение умов и направление мыслей? Что за машкерад такой дьявольский, какая абракадабра творится на Руси? Говори смело и толково.

Тут Заяц несколько приободрился. В нем даже проснулась давняя привычка к агитации. Слегка откашлявшись, он начал было с любимого выражения:

– Поскольку постольку...

– Нет, – резко оборвал Призрак. – Не поскольку и не постольку, а говори только по правде. Почему бежала с полей сражения русская армия? Почему страна залита братской кровью и вся охвачена голодом и ужасом? Почему тысячи проходимцев стали неслыханными тиранами, владеющими жизнью, смертью и имуществом стомиллионного населения? Почему это унизительное рабство, какого не видала история?.. Говори.

Собрав всю свою природную прыткость, вытащив наскоро из памяти все прочитанные брошюры, газетные статьи и декреты, стал Заяц делать доклад, начав его с мартовский революции. Тень молчала. Но Заяц чувствовал, что от нее исходит, все более сгущаясь по мере движения событий, какая-то глубокая, нечеловеческая острая грусть. Иногда правая рука Самодержца крепко стискивала золотой набалдашник эспантона, и тогда Заяц невольно вздрагивал, замолкал на минутку и опасливо косился на Тень. «А что если вдруг прогневается и огреет этой камышовой тростью по спине?».

Заяц закончил свою речь грядущим торжеством коммунизма, мечтательной картиной земного рая во всеобщем равенстве и, наконец, замолчал. Молчал долго и Самодержец. Голова его была опущена на грудь, и тяжелая скорбь исходила от него.

Но вдруг он поднял чело и, показалось Зайцу, сразу необычайно вырос.

– Дураки, – сурово сказал Призрак. – Жалкие, бессовестные, бездушные дураки. Внушать любовь и братство палкой и смертной казнью... Гнать в рай прикладами... Мысль злая, вредная и пустая. От нее гибель стране и горе человечеству!

За окном уже серел рассвет: неясно темнели деревья парка. Тень продолжала:

– Я, один я, был прав в государственных заботах, и теперь понимаю это в совершенстве. Пусть, как человек, я в моем человеческом естестве был подвержен земным слабостям: гневу, вспыльчивости, недоверию, порой даже жестокости. Но, как помазанник и избранник Божий я лишь перед Ним одним нес страшный ответ за все мною сделанное. Я был – один. А внизу меня был мой народ. И все уравнивалось, все обезличивалось под моей полной, абсолютной властью, все теряло свою волю. Не было в глазах моих ни малейшей разницы между знатнейшим дворянином моего государства и последним мужиком, солдатом или нищим. Я не знал чувства лицеприятия, но стремил вверенный мне свыше народ к благу, здоровью и счастью. Те, кто убил меня, они же и прославили меня сумасбродным деспотом. Им нельзя было поступить иначе, ибо в этом было подобие их оправдания перед потомством. А история? – с горечью сказал Призрак. – История – послушная, угодливая, лживая и подкупная раба, когда она пишется современниками. Народ правдивее истории, и память его благодарнее. Скажи мне, молодой и глупый человек, бывал ли ты в Петропавловском соборе, в усыпальнице Русских Царей?

– Никак нет, В. И. В., – торопливо и виновато ответил Заяц.

– Там моя гробница. И вот уже больше ста лет около нее всегда толпятся молящиеся люди. Знаешь ли, в чем они просят у меня заступничества? Просят о смягчении сердец судей, суровых и неправедных. Это те, кто приезжает в столицу по делам суда и тяжбы. И дух мой радостен: народ своей безошибочной душою понял меня; оценил и бережно сохранил в своей памяти – меня, самодержавнейшего и несчастнейшей из монархов.

Заяц вздохнул. Он сам не понимал, отчего у него просятся из глаз слезы: от бессонной ли ночи, или от слов Тени.

– Но уже поздно, – сказал усталым и тихим голосом Император. – Иди же, молодой человек, с удивительной фамилией Заяц, иди и отдыхай.

Призрак стал бледнеть в утреннем свете и растаял. Заяц вернулся на свою скамейку и, едва только закрыл глаза, как в ту же секунду открыл их. Яркий солнечный свет рвался из окон в тронный зал, сверкая на паркете и позолоте трона.

Никому не рассказывал Заяц о своем сне или – может быть – видении. Но в тот же день, когда он после обеда проходил мимо памятника Павлу I, ему показалось, что бронзовый Император чуть-чуть покосился на него одним глазом. И Заяц при дневном свете испугался гораздо больше, чем пугался ночью. Но это ему только показалось. Поскольку он был человек образованный, аптекарский ученик, – постольку он чуждался суеверий.

12 февраля, 1918 г.

СТАРОСТЬ МИРА

Замечали ли вы, что часто так бывает: огонек фонаря над дверью купе вот-вот догорит, на маленькой остановке он делает последние трепетные усилия вытянуться вверх своим длинным синим языком, но, как только снова тронулся поезд, он, точно по уговору с паровозом, быстро падает в дыру фонаря и умирает.

Так было и теперь. Фонарь давал очень мало света, а когда он потух, то сразу в оконное стекло заглянула северная белая ночь, но не опаловая, ясно перламутровая, таинственно-обещающая, а с мелким дождем, анемично-белая, брюзгливая и кислая, как пятидесятилетняя девственница, разбуженная не вовремя и по пустякам. Мимо нас, мелькая все назад, понеслись низкие кустарники, кочки, похожие на рыжие бородавки кривые, испуганные, зябкие березы.

Был третий час ночи. Мы занимали купе только вдвоем: я и словоохотливый господин в английском картузе с четырехугольным козырьком. Он сидел напротив меня в углу, между стенкой вагона и спинкой дивана. Я еще раньше при свете нынешнего ясного вечера, почти дня, видел моего соседа и тогда отчетливо знал черты его лица и помнил их. Но лишь погас огарок и вошел в купе тусклый полурассвет, я забыл его лицо и никак не мог восстановить его в памяти.

Он откашлялся. Сейчас заговорит – подумал я, – и по голосу я опять мысленно увижу его.

– Я боюсь, – сказал он, – я боюсь, что мой такой не железнодорожный разговор уже достаточно надоел вам. Если не хотите – бросим. Я – эгоист. Я не умею охватить всех граней мысли, не передумав ее вслух. А говорить одному с самим собою как-то неловко. Нет, извините за выражение, живого манекена. Я пробовал. Голос звучит так деревянно, что становится страшно и противно…

– Нет, нет, пожалуйста, – живо возразил я. – это чрезвычайно интересно все, что вы говорите.

Но я солгал. Его отвлеченные рассуждения тяготили меня своей разбросанностью, нестройностью и напряженностью. Трудно, а порою и бесцельно было следить за скачками его мысли. Однако, черт возьми, я никак не мог вспомнить его наружности. Я даже забыл – был ли он брюнет или блондин, толстый или худой и как он был одет (кроме английского картуза, который врезался мне в память). Поймет ли меня кто-нибудь, а если не поймет, то поверит ли мне? Но, клянусь, иногда при утреннем тонком свете, после бессонной ночи, лежа, тело к телу, рядом с любимой женщиной, я мучительно старался и никак не мог вспомнить ее губ, глаз, бровей, улыбки. Порою я не мог вспомнить даже имени. Так обманчивы ночь и усталость.

– Я и говорю, – начал он спокойно, будто продолжал диктовать после точки в ту же строку, – что человечество гораздо скорее идет к своему печальному концу, чем мы думаем. Какой закат мы пророчим земле в наших гипотезах? Замерзание, столкновение с другой планетой, самовозгорание, или что вы еще придумаете? А я вам говорю, что само человечество уснет гораздо, гораздо раньше, чем земля. Тысячи тысяч лет пройдут после того, когда последняя душа человека оставит последнюю земную оболочку, а еще будут цвести, превратившись в шиповник, выродившиеся розы, и яблони будут цвести своим нежным цветом, хотя плоды их будут уже тогда кислыми и терпкими. Будут струиться реки, падать и вновь осеменяться деревья, будут жить бабочки, муравьи, кой-какие птицы и остатки не уничтоженных человеком четвероногих. А человечество погибнет от собственного яда, от токсина старости, от отравы, которой нет противоядия.

Каким-то нервным, суетливым движением он закурил папиросу. На миг мне мелькнуло его красное от спички лицо, блестящие глаза и тени вверх от усов и от бровей к высокому плешивому лбу. Что-то чертовское показалось мне в его облике, и я про себя улыбнулся.

– Говорят, что ребенок в своем духовном росте быстро переживает всю историю культуры вплоть до уровня своего века, среды и, конечно, нации. Но зато человек от рождения до смерти также переживает историю всего человечества не только в прошлом и настоящем, но и в будущем. Подумайте, какая страшная аналогия между человеком и миром; детство, зрелый возраст, а дальше уклон, старость и смерть. Приходила ли вам хоть раз, будучи четырех лет, в голову мысль о смерти? Никогда. В тринадцать лет? Вы думали: да, все люди умирают, но этот закон меня не касается и меня не волнует. В тридцать лет вы подумали: – Черт возьми! Неужели и

мне придется однажды лечь в этот ящик? Как это холодно и неприятно. В пятьдесят все ваши мысли направлены только к тому, чтобы приготовиться к смерти или отдалить момент ее приближения.

Ах! На заре своего бытия человечество было совсем беспечно. Оно трепетало ночью, но только боясь диких зверей и молнии. А ночной огонь, с его неверными шатаниями теней, мог только усилить его подозрительность. Человек был терпелив, даже, пожалуй, не чувствителен к боли. Борьба, битва, охота за страшным зверем были для него игрой и наслаждением. Но сознание лишило его природной мудрости. Ставши взрослым, он потерял первоначальное счастье. Он привыкал к теплу, а также к жареной и вареной пище, стал ревнив, подозрителен, суеверен, мнителен, полюбил себя, свою жену, свою собственность и свое главенство. Он понял, что подобные ему умирают, и утерял наивную способность относиться к боли и смерти равнодушно, он почувствовал отвращение к веселой гибели и испугался приключений.

Со времен веры в лживую письменную историю мы присутствуем при мужественном расцвете человечества. Тогда знали боль, но ее умели презирать, знали страх смерти, но побеждали его желаниям воли. Вся история древних и средних веков – это пора, когда человечество еще играло кровью, мускулами, нервами, когда дыханье усталого самца было ароматно, как запах отдыхающей земли.

Но, видите ли, – продолжал, покашливая мой странный собеседник, – человечество обгоняет наше земное космическое время в геометрической прогрессии. Атмосфера самопознания, – это атмосфера страшно натопленной оранжереи, которая беспощадно гонит растения вверх, заставляя их с чудовищной скоростью цвести, опыляться, давать огромные незрелые плоды, обсеменяться, и гибнуть, и чахнуть. Сама жизнь укоротилась. Чрезвычайно редки примеры долголетия. Прежде человек уходил из жизни, как усталый работник, смежив глаза, погружаясь в глубокий сон без сновидений. Еще совсем недавно он, открыв жилы и сидя в теплой ванне, спокойно беседовал со своими друзьями. Теперь мы видим презрение к смерти, разве только у испанских тореадоров, но видим тут также и актерство напыщенной замаскированной трусости.

Теперь громадное большинство людей умирает в страданиях, умирает неделями, месяцами и иногда годами. Вовлеченный в войну и ненавидя войну, человек обречен каждый день, почти каждую минуту испытывать ужас приговоренного к смерти. Рана, которая заставляла нашего предка почесаться и заживала через день, заставляет нас кричать на всю вселенную и гниет годами. Мы корчимся,

как раздавленные сколопендры под пятою наступающей смерти**.** Боязнь смерти, боязнь боли, боязнь завтрашнего дня, дрожь за свое мгновенное существование – вот, что такое современная жизнь. В доисторические времена человечество прожило радостное детство. В начале истории – доблестную юность, в средние века – мужество, исполненное любви, а обожествление природы и искание серьезных приключений. И вот мы идем к уклону с поразительной быстротой. Графическая линия человеческой жизни вместо стройной библейской параболы делает крутую кривую вверх до облысения, до импотенции и почти прямую вниз до маразма.

Он пошевелился, нагнулся вперед. Должно быть, стало светлее. Лицо его мне показалось бледным пятном с черными шевелящимися пятнами вместо глаз. Оно точно множилось, расплывалось и странно вытягивалось углами вверх и вниз и в стороны. Все это было необыкновенно странно, как и эта белая ночь.

– Но уклон пойдет еще быстрее, чем мы можем предполагать. Мозг каждого человека – это батарея, посылающая вокруг себя токи необыкновенной мощности и неведомого нам напряжения. Воля и чувства человека действуют на громадных расстояниях почти без пределов во внешней оболочке земного шара, пронизывая все препятствия. Всякий человек каждой частицей своего тела, каждым нервом безмолвно и ежечасно кричит от ужаса неизбежно подкрадывающейся смерти, будь это на поле сражения или в постели, где он задыхается от астмы. Неужели волны его напряженной страдающей воли не перенесутся в пространства и не заставят страстно вибрировать какую-то чуткую неведомую нам материю? Вот человек, раздавленный поездом, агонизирует. Он без сознания, но мускулы его лица выражают необыкновенные страдания, его тело бьется в конвульсиях, он весь – одна сплошная, нестерпимая, невыразимая словами боль. И вот погасла какая-то искорка, щелкнул какой-то выключатель, и человек не живет уже больше. Что от него осталось? Ничто? Труп? Материя? Но «ничто» труднее всего себе представить, когда думаешь о великом свете, озарявшем человека. Осталось одно последнее – страшная боль, которая несется, безмолвно крича, корчась и скрежеща зубами, в пространстве.

Вообразите теперь современные войны, где гибнут в год миллионы человек, вообразите всю уторопленность жизни, утонченность злобы, хитрость мести, искусство убийств, рассчитанность жестокого бессердечия и, с другой стороны, судорожные хватания за каждый кусочек жизни… Все это волны, волны… Зло позитивно. Добро лишь неделание зла. Земное отрицательное электричество

разряжается плюсом атмосферы. Зло же – абсолютное накопляющееся неиссякающее, ничем не умеряемое богатство. Для него нет противоположного полюса. От него человечество захлебнется.

Теперь представьте, что я прав, что весь земной шар окутан, пронизан и насыщен колебаниями этой более тонкой, чем электричество, невесомой материей, состоящей из злобы, отчаяния, зависти, неудовлетворенной мести, боли и ужаса. Мне кажется, что я вижу, как носятся по земле безобразные злобные циклоны, эфирные водовороты, сталкивающиеся, вихрящиеся, возмущающие человеческие души, возбуждающие в них против воли тревогу, беспричинную ненависть, неосуществимое стремление к крови, повторному людоедству, кровосмешению и ко всем древним возможностям ныне старческих пороков.

Поезд на секунду остановился на полустанке. Свистнул и пошел дальше.

– Сейчас мне выходить, – сказал мой спутник, встав и устраивая свой багаж. В то же время, стоя, он продолжал говорить.

– Но настанет короткое для мира, а для нас с вами, пожалуй, немножко отдаленное время, когда человечество дойдет до трусливой привычки, до незлобивой улыбки, до бездарной покорности року. Это будет жалкая собачья старость, не прежняя гордая цветущая мафусаилова, но сиротливая, без патриархальной радости и без величия старость. Равнодушно будет человечество доживать на нищенской пенсии оставшиеся ему несколько десятков тысячелетий, ибо научится покорно слезливо глядеть на смерть соседа и устало ожидать своей смерти, как очереди в коммерческом суде. Тогда не будет ужасных, но очищающих войн, но не будет и утешения в том, что великая культура поборола болезни, боль и страдания, то есть все, кроме смерти. А энергии жить, страсти и радости жизни уже не станет. Это состояние почти знает один из самых древних народов в мире – Китай. Сын Небесной империи стоит на коленях, голова его оттянута рукой палача. Он искоса смотрит, как ловким ударом отсечена голова его предшественника по казни; он говорит спокойно: «хао» (хорошо) — и закрывает глаза, ожидая удара. И этот образ так близок для всего человечества.

Поезд умерил ход, заскрежетала отодвигаемая дверь.

– Вырица! Поезд стоит пять минут.

Мой спутник повернулся ко мне, слегка приподнял квадратный козырек и вышел.

Я до сих пор не могу вспомнить его лица. Забыл.

1918 г.

ТРИШКА БУДИЛЬНИК (НЕДОРАЗУМЕНИЕ)

(Гротеск)

Массивная дубовая дверь кабинета в Кремлевском дворце осторожно приоткрылась. Ленин поднял от бумаг низко склоненную голову и уставился на вошедшего тяжелым взглядом воспаленных от работы и бессонницы глаз.

— Ваше вели... — начал было курьер и смущенно осекся.

Тяжелые морщины сбежали с чела диктатора. Лицо выразило мягкую укоризну.

— Зачем? Ну зачем так? — ласково упрекнул Ленин. – Каждый раз, товарищ курьер, я вам об этом напоминаю... Титулов нет, они давно отменены, умерли и похоронены. Я для вас просто старший товарищ... Смотрите, еще ляпнете при посторонних, и они, черт знает, как истолкуют...

— Слушаю, ваше в...

— Вот то-то же... Вы, впрочем, не сердитесь, что я делаю вам замечание. Это я для порядка. Ну, что у вас такое?

— Какой-то человек пришодцы...

— Не пришодцы и не пришодши. Пришел.

Так точно, ваш... — пришодцы. Говорит, что непременно к вам, по самонужнейшему делу и очень приятному для вас...

— Звать как?

— Довольно даже несообразно. На манер селдонима. Тришка Будильник. Вы, говорит, только скажите самому. Одет шикарно.

— Обыскали его?

— Досконально. Оружия нет.

— Ну, ладно, зовите. Да, на всякий случай, следите в глазок. Если я потереблю правое ухо вот так, то мгновенно...

— Так точно... Не впервой...

Через минуту в кабинет быстрыми легкими шагами вошел молодой человек невысокого роста, худощавый и очень гибко сложенный. Рыжеватые волосы на голове вились у него мелкими и короткими барашками, узенькие блестящие голубые глаза смотрели весело и наблюдательно, вздернутый широконоздрый нос придавал всему лицу, скуластому и вульгарному, характер пронырливости и наглости. Одет он был пестро, пышно и нелепо: в прекрасный черный смокинг, шелковый жилет с цветочками, малиновый галстук, серые панталоны и высокие лакированные сапоги; однако почему-то с первого взгляда казалось, что все эти вещи были некогда деланы на разных владельцев. В петлице алел огромный красный бант, из бокового кармана торчал зеленый треугольник платка, золотая

цепь в палец толщиною висела от одного жилетного кармана до другого с перехватом, вроде греческого омикрона.

— Здрасте, товарищ,— бойко сказал молодой человек и, вывернув как-то боком из-под локтя правую руку, пожал ладонь Ленина сильными цепкими пальцами. – Позвольте представиться: Тришка Будильник.

Не дожидаясь приглашения, он уселся в кресло, положил ногу на ногу, достал из кармана большой золотой портсигар, украшенный алмазной короной, и протянул его Ленину.

— Не угодно ли?

— Благодарю вас, не курю.

— Не занимаетесь? Так-с. — Он закурил папиросу и, громко щелкнув портсигаром, спрятал его. — Тогда позвольте мне во первых строках письма моего сказать вам громадное мерси-с.

— Не стоит... За что это?

— Чудак-человек! Конечно же не за твою сахарную красоту, а за дело. Ну, нечего коки в оки втирать. Я, брат, сразу в тебе признал фартового.

— Однако, товарищ, вы бы обошлись без тыканья. И, кроме того, я вас совсем не понимаю.

— Ладно. Звони больше. Валяй петрушку. «Письмо»-то ведь ты писал. Там у тебя прямо было сказано: «а еще, мол, буржуи прячут деньги в бутылки, а бутылки зарывают в землю, а если их откопать и стырить, то это будет дело благородное».

— Благодарное, а вовсе не благородное.

— Благодарное, благородное — нам единственно, наплевать. А моя маруха Лелька Жук давно уже захороводила одного икряного фрайера. Он по части векселей раньше орудовал, ростовщик, значит. Два раза она меня ночью наводила. Я всю квартиру ошманал. Ни тинь-тилили. Что за черт, думаю. Не могут же деньги в каком-нибудь банке лежать. Кто их по теперешним временам в банках держит? И куда же, думаю, старый пес деньги прячет? Весь свой аглицкий набор перепробовал.— Он достал откуда-то и показал нанизанную на стальное кольцо большую коллекцию отмычек. — Нет, не фортунит. Дело хлам. И вот как-то зашел в нашу блатную чайнуху, спросил газету и сразу же наткнулся на «письмо». Тут у меня в котелке все моментально прояснело. Эге! Вот почему мой елод все около цветочных грядок околачивается. Погоди же! И в ту же ночь произвел ревизию. Три шампанские бутылки с романовскими катеринками и петровками и бидон от керосина с золотыми вещами. Ну, вещи я, конечно, перетырил. Ничего, работа вышла клевая.

С этими словами Будильник вытащил из бокового кармана объемистый бумажник, раскрыл его и шлепнул на стол солидную, дюйма в два толщиною, пачку кредитных билетов.

— На. Получай. Твоя мотя.

— «Мотя... Moitie... половина», — мелькнуло быстро в голове у Ленина. Весь побагровев, он крикнул:

— Черт бы тебя побрал, так ты, значит, вор?

— А то! — гордо вздернул кверху нос Будильник. — Да уж ладно... будет тереть волынку. Получай. Если еще какое дело придумаешь — непременно скажи. В газетах не печатай — зачем? Еще какой-нибудь партач перехватит, и засыпется, и дело сфутерует. Бери, бери... Я по совести, пополам дуваню. Тыщу рублей только уделил Котьке Вокзалу, который стрему держал...

Несколько секунд премьер сидел, точно ошеломленный. Потом нажал какую-то кнопку. Оглушительный перезвон прокатился по коридорам. В кабинет вбежали вооруженные люди.

— Возьмите этого прохвоста, — сказал Ленин, указывая на Будильника, широко раскрывшего глаза и рот. — Отберите от него все вещи и деньги и отправьте их в коммунную кассу. А самому ему всыпьте двадцать пять и отпустите на свободу. Но не очень усердствуйте. Полегче. Он не контрреволюционер, а просто дурак.

Через десять минут Тришка Будильник пересекал Красную площадь, мимо Лобного места. Почесывая окончание поясницы, он недоуменно раздумывал:

— Ну и на перца я налетел! Я к нему по всем правилам, по-товарищески, а он, на-ко поди, на гранд меня взял. И народ же пошел теперь. Идеалисты какие-то, черт меня побери совсем.

P. S. Конечно, все рассказанное — плод фантазии автора. Ничего подобного в действительности не случалось. Ей-Богу, сам выдумал.

1918 г.

КАЛОМЕЛЬ

Принятая внутрь каломель обнаруживает
послабляющее действие, а при длительном применении
дает отравление ртутью, что влечет за собою
слюнотечение, выпадение зубов и смерть.
Энц<иклопедический> слов<арь> Брокг<ауза> и Ефр<она>.

Вообразите себе на мгновение огромную-преогромную, грязную-прегрязную и притом самую разнищенскую больницу, – так

миллионов на сто пациентов, вольных и невольных. Больница эта раньше находилась в ведении врачей грубых и невежественных, больше из ротных цирюльников и фельдшеров, признававших только домашние простонародные средства: баню, припарки и пиявки, от коих больные умирали в немалом количестве и безропотно. Но в один прекрасный день весь прежний врачебный персонал был обвинен в лихоимстве, вымогательстве, глупости и неспособности и разогнан с великим треском под дружные аплодисменты всего ученого медицинского мира. А на смену старым костоправам явились образованные молодые доктора из-за границы.

Главный врач сразу зарекомендовал себя человеком неизмеримой энергии и адамантовых убеждений. Впрочем, убеждение у него было только – каломель. Он признавал из всех медицинских средств исключительно лишь этот ртутный препарат и решительно рекомендовал его во всех случаях и при всех болезнях. «Прежде всего, – говаривал он своим младшим коллегам, – и раньше всего – каломель. Каломель утром, в полдень и вечером. Каломель до, по и во время еды. Каломель ходячим, сидящим и лежащим. Каломель от лихорадки, паралича, воспаления среднего уха, переломов костей, туберкулеза и ревматизма». «Очищайте организм, – повторял ежедневно главный врач, – расслабляйте его, обессиливайте, елико возможно. А когда больные потеряют последнюю возможность пошевелить пальцем и поднять веки, тогда я им всем сразу пропищу одно чудодейственное средство. Я уж знаю какое. Это пока – секрет».

И вот весь новый служебный состав больницы – врачи, фельдшера и сиделки, и даже кубовые мужики, истопники, прачки и полотеры, все заряженные, точно живые аккумуляторы, напряженной волей своего патрона, начинают проявлять сверхъестественную каломельную деятельность. Если начальник прописывает скрупулы, то дают на прием драхмы. Вместо унций закатывают больным фунты. Мужчин, женщин, стариков и детей они угощают такими порциями каломели, от которых издох бы крепкий, столетний слон. Напрасно пациенты прячутся от неистовых врачей под кровати, в чуланы и в прочие укромные места. Их выволакивают оттуда за полы халатов, валят на землю, наскоро разжимают челюсти и льют в рот через воронку проклятое пойло. И нет для больных никакой возможности ни выписываться из больницы, ни убежать из нее тайком: злые и глупые дворники сторожат у всех дверей, ворот и калит. Ни родственники, ни знакомые не допускаются в учреждение. И некому пожаловаться из тех, кто на свободе. Переписка вся погибает в больничной конторе. Может быть, и есть какие-нибудь друзья там, за больничными стенами, но, потеряв весть, они давно уже

считают своих близких умершими и со вздохом записали их имена в поминовение. И правда, больные мрут теперь без очереди, без счета, без последнего напутствия, так же, как в древние времена, без ропота. Попробуй-ка хоть гримасой, хоть неуловимым взглядом показать, что каломель тебе противна. А в карцер? А на хлеб и воду? А плеть? А по морде? А смертельным боем? «Пей, падаль, лекарство!» – орет пьяный фельдшер и ввинчивает в ухо свинцово-бледному больному холодное дуло нагана. И выпьешь.

Старший врач, может быть, и честен. Но он сам – больной человек. Каломелемания, навязчивая идея, довела его ум до границы, где потеряна мера логике, состраданию, совести и просто здравому смыслу. Подчиненные его нормальнее; но одни из них свирепствуют ради карьеры, другие из материального расчета, третьи – просто жулики и проходимцы, четвертые – круглые невежды, пятые – низкопоклонные трусы и приживальщики, оставшиеся еще от старого кровопускного режима, а прочие – люди, всегда и на все готовые ради насущного куска. И много еще есть между ними мрачных субъектов, которым доставляет странное наслаждение безнаказанная и безответственная жестокость над бессильным и беззащитным человеком.

Проницательный читатель, вероятно, уже давно догадался, что говоря о больнице, врачах и каломели, я вовсе непрозрачно говорю о России, большевиках и о перманентной (о, черт!) революции. Совершенно верно. Именно об этом.

Революция, это целительное снадобье, обратившись в руках фанатиков и толпы из средства в цель, расслабила Россию до последнего предела. Отняв у нее все жизненные соки. У нас была прекрасная, изумлявшая весь мир армия. Она растаяла, оставив после себя позорные следы, гаже которых не знала и не узнает история. У нас было национальное лицо. Теперь – смертная маска. Заводы, промыслы, хозяйство, кое-какая наука, слабенькая, как зеленый росток, культура, большое самобытное искусство, религия – все извергнуто, выброшено, пренебрежено, забыто. Мы пусты внутри, лежим без движения с голодной слюной у рта, выплевывая остатки зубов. Жадная сиделка загодя тянет с нас последние «собственные» стоптанные шлепанцы, а мы не смеем пожаловаться, но не смеем и молчать, ибо даже молчание считается за скрытое выражение неудовольствия. Нет, ты целуй ту руку, что давит тебя во время предсмертных судорог и которая подушкой придавит тебе рот, если ты будешь слишком долго агонизировать.

Иностранный, чужой врач, давно уже сказал с холодным убеждением: cadaver est. А наш уверяет, что ему известно какое-то спа-

сительное тайное средство, но пока дальше перманентной революции не идет и только сулит напрасные предсмертные мучения. И ни за что на свете он не признается ни больным, ни товарищам, ни самому себе в том, что, кроме каломели, он ничего не знает.

1918 г.

ПИСЬМА НАТАШЕ

(Роман в письмах)

Письмо первое.

Востроглазая Наташа
Съела сердце Куприна,
Очевидцы: дядя Яша
И его жена.

Письмо второе.

Очаровательный Ashatan уехал, а на другое же утро – солнце, весеннее небо, сухие тротуары, аэропланы над городом – и уже теперь по-настоящему весенний аромат. Но… призываю в свидетели автора неба, солнца и прочих чудес – мне милее были последние дни с дождем, туманами, снегом и даже с лужами, из которых брызги летели на удивительнейшие в мире сапожки из желтой кожи, на 64-х парной шнуровке, работы единственного в мире сапожника Вилькуляйнена (покупайте только там!!!) на Alexanderinkatu в Гельсингфорсе.

Что я не мог проводить прелестного Ashatan'а на вокзал, в этом он пусть простит своего верного и неизменного слугу, преданного ему по гроб жизни. В извинение я мог бы рассказать длинную, скучную, кислую историю о добровольном заточении свободного духа в аптекарский пузырек. Но всегда были мне противны жалкие интеллигенты, плачущие на коленях перед женщиной или в дружеский жилет.

Признаюсь, тоскливо мне без милого, строгого Ashatan'а. Кажется, надолго останется мне единственной отрадой одинокое изучение этнографии – снизу – от орудий каменного века – и доверха – до древней китайской культуры. В здешнем музее есть предметы, подолгу приковывающие мое внимание: военные формы и ордена, собрания глиняной утвари и рыболовных снарядов,

витрины с крестьянскими костюмами, старинные часы, с подбоченившимися фигурами в виде футляра, особенно же последний церковный отдел, где есть старинные католические облачения и образа 14 столетия. В музее тихо, пахнет скипидаром, я стою, смотрю подолгу и думаю о прошедших временах, и голова у меня тихо-тихо кружится.

Вот почти все. Сердитесь ли на меня? Крепко жму Ваши обе добрые, спокойные, чудесные руки. A propos, на большом пальце правой руки Вы слишком много обнажаете маникюром ноготь: получается белое пятно, слегка бросающееся в глаза. Прошу прекратить.

Истинно и искренно Ваш
Александр

P.S.

Раньше я замечал, что в других городах в такие весенние дни на улицах появлялась пропасть хорошеньких женщин, точно они падали с неба вместе с теплом и светом. Вообразите: теперь ни одной! Что это? Климат? Раса? Или просто то, что здесь нет Вас?

Увидимся ли?

Письмо третье

Ура, Наташа! Браво, Наташа! Наташа — прелесть! Наташа — красота! Добрая Наташа! Милая Наташа! Любимая Наташа! Чудесная, необыкновенная, волшебная Наташа! Наташа — Божество! Наташа! Наташа! Наташа! Наташа! Наташа! Небо, земля, деревья, облака, камни, звери, я вам говорю – Наташа! И еще миллион раз – Наташа!

Как Вы сумели меня сделать самым восторженным счастливцем на свете и всего лишь одной строчкой в письме: «Когда Ashatan, то – это будто не ко мне». Очаровательная На-та-ша! (Слышите ли, с каким наслаждением я произношу каждый слог Вашего имени?). Вот Вам первый признак того гипноза на расстоянии, той телепатии, т. е. переноса мысли, о которых я Вам говорил. Я сам, когда писал Ваше имя навыворот, то думал: ах, неприятно, точно не к ней…

Наташа! Ваше имя напоминает мне черные спелые южные черешни. В них запах миндаля.

А письмо Ваше пахло розой. Я его, от нетерпения, одновременно читал и вдыхал в почтамте у окна. Какой-то финн издали глядел на меня косо, подозрительно и завистливо. Бедный! Он думал, что мне пишут о съестном.

Наташа! Вот мои стихи о музее. Кажется плоховато?

На дворе и шум и блеск весенний,
Но в музее, важности полна,
Сон веков, племен и поколений
Гулкая покоит тишина

Длинных зал пустынны анфилады.
Никого. Лишь мы с тобой вдвоем –
Праздные влюбленные номады –
Меж колонн торжественных идем.

«От орудий каменного века
До прелестных севрских bagatelles
Всё придумал гений человека
Лишь для Вас, для Вас, Mademoiselle».

Шутке рассмеясь, ты оглянулась,
И к устам моим совсем слегка
Быстро и случайно прикоснулась
Пламенная девичья щека.

Не красней так ало, моя радость,
Трепетных ресниц не опускай,
Поцелуя глубину и сладость
Дай испить мне дорогая, дай!

Рот твой рдеет, как цветок граната,
И прекрасен взор.
Остальное в мире...

Остальное не вытанцовалось. Пришли чужие. Я думаю, что в общем не следует продолжать это стихотворение, в печать и вовсе нельзя. Как Вы думаете, Наташа?

Кроме того: не обижайтесь. Со стороны можно подумать, что мы с Вами – и в самом деле – целовались в Музее. Не правда ли? Конечно, мы были погружены в давно ушедшие века. Но меня соблазнила на эти стихи вся обстановка. Музей. Тишина. Незримые тени... Двое. Вот и создался мечтаемый образ. К Вам, несравненная Наташа, этих стихов даже в мыслях я обращать не дерзаю.

Но все-таки Ваш
А. К.

Письмо четвертое.

Милая Наташа, да будет благословенно Ваше имя и всегда будет легок каждый Ваш шаг на земле!

У нас говорят, что Вы скоро уезжаете в Берлин. Утверждают, что на днях. Я хотел бы услышать об этом несчастии из первоисточника, из Ваших блаженных уст. Говорят также, что Вы в Гельсинки пробудете всего лишь до поезда.

Не удивляйтесь, если в эти немногие минуты Вы найдете меня веселым. От одной мысли не видеть Вас душа моя раздирается на части. Жизнь теперь так швыряет людей, что, может случиться, мы никогда больше не встретимся. Конечно, я не захочу при Вашем триумфальном отъезде играть роль похоронного пугала. Но если б Вы знали, как много Вы увезете с собою того, что составляет мою единственную радость!

Нет, я не умею писать! Теперь воскресенье. Я нарочно пришел в редакцию, зная, что там никого нет, с целью сказать Вам что-то очень большое и красивое. И, правда, никого нет… Но за стеною маленькая рыженькая поповна играет на рояле и поет. (В первой половине этой фразы она закончила «Мой уголок», а теперь катает «Стеньку Разина»). Бог с ней, у нее крошечный перочинный голосишко. Но пошлый мотив и пошлые слова парализуют мою мысль.

Разбираете ли Вы мои каракули? Что я так плохо пишу, виноваты формат и цвет бумаги, а также писание ежедневных статей. Но кроме того – как бледно и немощно человеческое слово! И еще кроме: Вы сами, разрешив мне писать, ограничили меня пределами «Толкового письмовника для благородных девиц». Но у меня кружится голова от тех слов, которых я не смею ни вымолвить, ни написать…

Какое на Вас было прелестное платье с короткими рукавами! И отчего я не могу украсть из музея черепахового гребня времен Александра I? Отчего, Наташа, мы так мало были вдвоем? Отчего, моя радость, красота и наслаждение, не захотел бог скрестить наши пути иначе, вопреки ужасным законам времени?

Становлюсь на колени. Благоговейно целую край Вашего черного платья. Но тотчас же, зная свои обязанности, покорно сажусь на задние лапы и – какая умница! – гордо держу в зубах Вашу перчатку.

Каждое мгновение
Ваш А.

P.S. Натан мудрый! Если Вы захотите меня порадовать немного-немного, совсем немного ласковым письмом, то знайте твердо, что Ваши

серьезные письма я, прочитав и понюхав, немедленно уничтожаю, закрепив сначала в памяти. Несерьезные уничтожаю мгновенно.

Письмо пятое.

24 – III

Вы, конечно, знаете, кроткая Наташа, что такое циклон, или тайфун? Это такой ужасный ураган, который проносится над материками и морями и исчезает в пространстве, оставив за собою разбитые корабли, разрушенные дома, истребленные леса и т.д.

Этим циклоном были Вы, нежная Наташа. О, сколько опустошений произвело Ваше краткое пребывание в Гельсинки! M. Bekot ударяет себя левой рукой в грудь, правую простирает вперед и декламирует:

Oh! Vous souvenez vous ce soir…

И тянет мелодичное а-а-а, и мечтательно зажмуривает глаза. Милый старик! Он уехал. Я его проводил. Вам сердечный привет-с!

Маэстро Леви уныл и томен. Вздыхает. Спросите: «Что с вами?». Отвечает меланхолическим писком: «Пи-и!».

Вспоминает о Вас. «Что же Наташа, – рассуждает он, – Наташа еще слишком молода. У нее нет глубокого взгляда на вещи и явления».

Я сочувственно поддакиваю. Ни за что ему не признаюсь, что мне-то именно больше всего и нравится, что Наташа так молода, так свежа, так мило эгоистична и так – несмотря на врожденное благоразумие – далека от bas bleu.

Р-у супруга сделала две-три сцены. Он блеял, как барашек. Он – хороший. Я…но о себе ничего не буду говорить. Я пишу письма и опускаю их в ящик. И даже не смею надеяться получить на них ответ. А вдруг получу?

Вы мой Идол с позлащенными коленями, с бриллиантом во лбу! Я пишу на бумажках мои молитвы, нанизываю бумажки на стержни молитвенной машины, привожу эту машину в кругообразное движение, а сам раболепно распростираюсь ниц на персидском ковре, произнося тысячекратно Ваше имя – прямо и наоборот.

Ваш Александр.

Редакция. Солнце. Кругом что-то говорят. Все убеждены, что я пишу умную статью.

К черту статьи, к черту ум! Милостью бога на дворе весна, а у меня в сердце любовь. Любовь – изумительно глупое и святое слово.

А.

* * *

Вы думаете, Наташа, что мне хоть сколько-нибудь интересно писать мои статьи? Меня занимает только одна мысль: пусть Вы, прочитав одно из моих бестолковых писем, улыбнетесь. А больше меня ничто на свете не интересует. Весна, солнце, отворенное окно и в нем – Ваше милое смеющееся лицо.

Р. показали мне Ваше письмо. Если в нем одна фраза относится косвенно и умышленно ко мне – бесконечно благодарю. Хотя что Вам стоит сказать, что в этом месте письма Вы менее всего думаете о Вашем рабе и пленнике?

Едете ли в Германию? Остановитесь ли на минуту в Гельсингфорсе? Мы еще не видели музея на о. Ф… *(название острова неразборчиво – примеч К.Т.)*. (Туда будут ходить пароходики, но можно и на трамвае). Мы еще не были в зверинце. Мы еще не были в Brusparke. И хорошо было бы нам сесть в двухместный аэроплан и полететь на высоте 1200 метров: единственная позиция, в которой я сумел бы найти настоящие, живые слова и пламенные образы.

Воображаете ли Вы, Наташа, как объясняются в любви конторщик и конторщица фирмы «Фишман и Сын, торговля голландскими селедками»: она за Ремингтоном, он за Гроссбухом?

Поиграйте, Наташа, что-нибудь на рояле и спойте немножко. Я издали Вас мысленно послушаю.

Будьте, очаровательница, здоровы и благоразумны. Не шалите. Не позволяйте за собой ухаживать (это так неприлично!). Слушайтесь моих советов. Я никогда дурному не научу. Одевайтесь теплее. Март и апрель – самые предательские, провокационные месяцы.

Не могу писать. Сейчас помчусь на почту. А вдруг мне есть письмо?

Целую Ваши руки. Можно?

А.

Письмо шестое.

Вечное.

«Ты смешон с седыми волосами…»
Что на это я могу сказать?
Что любовь и смерть владеют нами?
Что велений их не избежать?

Нет, я скрою под учтивой маской
Запоздалую любовь мою…

Развлеку тебя забавной сказкой,
Песенку веселую спою.

Локтем опершись на подоконник,
Смотришь ты в душистый темный сад.
Да. Я знаю. Молод твой поклонник.
Строен он, и ловок, и богат.

Все твердят, что вы друг другу пара,
Между вами ровно восемь лет.
Я тебе для праздничного дара
Присмотрел рубиновый браслет.

Жизнью новой, легкой и пригожей
Заживешь в довольстве и любви...
Дочь родится на тебя похожей –
Не забудь же: в кумовья зови.

Твой двойник! Мечтаю я заране:
Будет ласкова ко мне она.
В широте любовь не знает граней,
Сказано – «как смерть она сильна».

И никто на свете не узнает,
Что годами, каждый час и миг,
От любви томится и сгорает
Вежливый, почтительный старик.

Но когда потоком жгучей лавы
Путь твой перережет гневный рок,
Я с улыбкой, точно для забавы,
Благодарно лягу поперек.

Ал. К.

1920 г.

ВОРОБЬИНЫЙ ЦАРЬ

Жил-был на свете поэт. А что он был поэт, все узнавали издали, когда видели его черную шляпу с большими полями, длинные волосы до плеч, бархатную коричневую куртку, галстук белой ба-

бочкой и толстый бумажный сверток под мышкой, В свертке были все стихи. Иногда поэт читал их вслух своим знакомым, и тогда уже никому не позволялось ни шептаться, ни сморкаться, ни чихать, ни кашлять, а жена поэта торопливо вытаскивала у гостей изо ртов папиросы и бросала в пепельницы. Если кто-нибудь подымал руку, чтобы почесать нос, то поэт поверх очков стрелял в него таким быстрым и сердитым взглядом, что неосторожный съеживался и прятался за спину того, кто сидел впереди.

У поэта был домик, а при домике садик: всего одна березовая аллейка. Также было у него очень много разных птиц: чижи, канарейки, скворцы, малиновки, овсянки, дрозды, клесты, пеночки, синички и еще другие, не считая сороки и попугая. Поэт пренежно о них заботился. Знакомые говорили: «Как он любит своих птичек! Сразу видно доброе сердце».

Зимою птицы помещались в клетках, которые стояли и висели на окнах, чтобы было больше света. Летом же, в хорошую погоду, поэт выносил клетки с птицами в сад и развешивал их вдоль аллейки, на березовых пахучих ветках. «Пусть,— думал он,— птички порадуются солнцу и зелени на свежем воздухе...» А сам ходил взад и вперед по дорожке и любовался «своими маленькими пернатыми друзьями». Так он называл своих птиц, когда с гордостью показывал их знакомым. «Это все мои младшие братья и сестры»,— говорил он.

Вот так-то однажды в июле развешал он своих маленьких пернатых братьев и друзей по ароматным веткам, среди зелени блестящих, суетливых листьев, походил-походил по дорожке, послушал птичий свист, щебет и чириканье и, наконец, сел па зеленую скамеечку. Сел и задумался. Надо ему было для новых стихов отыскать рифмы на два слова: парень и Федор. На «Федор» вот уже третий день ничего не выходило, а на «парень» подобралось только слово — «жарень». Но существует ли такое слово, поэт не знал и поэтому спрашивал сам себя: можно ли про знойный летний день выразиться: «Стояла этакая жарень»? Не заклюет ли его критика?

Он так глубоко погрузился в свои размышления, что когда ему захотелось курить и он, полезши левой рукой в карман за портсигаром, невольно должен был обернуться налево, – то даже испугался и довольно громко вскрикнул. Рядом с ним, всего в аршине, сидел на его скамейке древний, маленький, сгорбленный старикашка и тихо смотрел на него. На старичке было серое ветхое пальто со старомодными крылатыми рукавами, а на голове что-то такое же серое, старинное и с кисточкой: не то башлык, но то капюшон, не то надетый глубоко, по самые уши, колпак. Из колпака же выглядывало крошечное личико, все состоявшее из мелких перепутанных

морщин, скорее доброе, чем злое, и от старости почти безволосое, так кое-где торчали реденькие белые прядки. Нос повис вниз крючком, острый подбородок посунулся вперед и вверх, а между ними запал внутрь беззубый рот. Но глаза у старичка были блестящие, зоркие и быстрые, как у воробья, а вокруг губ играла приветливая и немножко лукавая улыбка.

– Простите, я вас потревожил, – сказал старикашка. Голос у него был слабенький, тонкий и глухой. – Устал я... Думал – посижу, отдохну.

– Что же. Отдохните, – позволил поэт не особенно любезно. – Места не просидите.

Старичок засмеялся из своего башлыка. Смех у него был тоже слабенький, но очень приятный, а лицо сделалось просто прелесть какое доброе и привлекательное.

– Хе-хе-хе... Как это вы остро изволили выразиться. Бойкая теперь молодежь пошла.

– Да, нам пальца в рот не клади, – сказал писатель басом и зажег спичку. – Не хотите ли покурить?

Старичок слегка отмахнулся малюсенькой худой ручкой от табачного дыма и ответил вежливо:

– Благодарствуйте. Не имею привычки. Не вижу толку в этом занятии.

Поэт скосил на него левый глаз:

– Но как же это вы так незаметно подошли, что я вас не услышал?

– Да ведь посмотрите сами, какой я легонький. Нечто вроде тени. Вы же замечтаться изволили, парили в облаках... Извините за нескромный вопрос: изволите быть поэт?

– Гм... А хотя бы? — сказал поэт, снял шляпу и тряхнул длинными волосами,

– Так, так, так... Возвышенное занятие. — Старичок поднял голову и, не торопясь, обвел взглядом деревья. – А это что же у вас тут? Птички?

– Слоны, — сказал поэт.

Старикашка опять засмеялся приятно:

— Хе-хе-хе!.. Поистине находчивый ум! Слоны! Конечно, если всякому видно, что это птички, то вопрос мой был наивен и напрасен.

– Это — пожалуй,— согласился писатель. Оба помолчали. Писатель, набрав дыма в рот, старался пускать его через выпяченную нижнюю губу в ноздри. Старичок нерешительно покашливал, точно приготовляясь что-то сказать. Выждав минутку и еще раз крякнув, он спросил с прежней учтивостью:

– Кхе... И значит... так сказать... в клетках их держите?

– В живорыбных садках.

Старичок так и затрясся от смеха, даже кисточка на его капюшоне запрыгала во все стороны.

– Хе-хе-хе-хе-хе!.. Как ловко изволили отрезать... Меткий у вас язычок.

– Такое наше дело, — пробасил поэт.

– Похвалы достойно, – подтвердил старичок и вдруг сразу, перестав улыбаться, сказал серьезно, почти строго:

– А позвольте вас спросить, ежели только вам будет не в труд и не в обиду...

– Спрашивайте. Мне все равно делать нечего,

– А позвольте спросить: как вы полагаете, удобно ли, хорошо ли чувствует себя птица в клетке? И, понимаете ли, не курица и не индюшка, а птица лесная или полевая... Ладно ли ей в клетке-то? Особенно в такую расчудесную погоду?

Поэт как будто немного обиделся и сбоку, сурово и недоверчиво, поглядел на соседа:

– А это вы уж сами у нее спросите.

– Я-то спрашивал, — сказал старик без малейшей шутливости. – Я спрашивал и знаю: очень ей скучно в клетке, до чрезвычайности тоскливо, тесно и мучительно.

– Привыкает.

– И человек, говорят, к тюрьме привыкает. А пока привыкнет, сколько страдания.

Поэт фыркнул носом.

– Скажете тоже. То – человек, а то – птица.

Старик тихо покачал головой.

– Смотря какая птица. Иная птица в неволе совсем жить не может. Возьмите вы хоть простого воробья. Сколько он, по-вашему, на свободе пролетает в день верст? Не меньше, по-моему, чем пятьсот, а то и больше. А человек, который в тысячу раз его больше, проходит верст пять или шесть в среднем. И человек движется всего лишь в ширину и в длину, а воробей, кроме того, еще и в третьем измерении вверх: две секунды – и он выше колокольни. Теперь я спрашиваю: во сколько раз воробей должен чувствовать неволю тягостнее, чем человек? Ведь если человека замуровать в каменный мешок и оставить ему только дырку для дыхания и пищи, то и тогда он будет в тысячу раз меньше стеснен, чем воробей в клетке. Оттого-то многие птицы в клетках и не выживают: ласточки, жаворонки, вот и воробьи тоже.

– Это правда, – угрюмо согласился поэт. – Я пробовал сажать воробьев. Не выносят. Бьется, бьется о прутья, не ест, не пьет, а утром поглядишь — лежит на спинке и лапочки скрючены... конец.

– И много раз изволили пробовать? — спросил старичок участливо, словно жалея не воробьев, а поэта.

– Как вам сказать... раза четыре...

– Че-ты-ре! Значит, три-то смерти были совсем напрасные. Не так ли?

Поэт не ответил, но еще раз тайком покосился налево, и – странно – на сердце у него вдруг стало тревожно и невесело. Старик не глядел на него и продолжал важным голосом:

– Воробья мы оставим. Всему миру известно, какой он буян, забияка и вольница. Но ведь разные бывают характеры как у птиц, так и у людей. Иной человек от несправедливой обиды на нож лезет, и все горе у него пройдет в крике, в драке, в жестокой смерти. А другой спрячет всю свою боль в сердце, и всю жизнь мучается молча, и вянет, и тает потихоньку, пока не захиреет и не уйдет совсем... Такие тоже и птицы есть... Тихие, безответные. Их еще больше мне жалко.

– Однако поют же они в клетках, – попробовал возразить поэт.

– Какое же, мой милый, ихнее пение в клетке, если сравнить со свободной песней? Одна тоска и жалоба. Это ведь надо уметь различать.

– А вы умеете? – насмешливо спросил поэт.

– Я умею, – твердо сказал старичок, и поэт почему-то тотчас же поверил ему. – Я птичий язык хорошо понимаю. Вот, например, поглядите вы на эту клетку со щеглом. Видите, теперь на нее сел воробей. У них идет между собою разговор. Воробей – он ведь всегдашний задира и насмешник, – воробей спрашивает: «Ну что? Сидишь, дурачок?» А щегол ему: «Сижу, братец воробьишко. Ужасно давно сижу. Не знаешь ли секрета, как улететь?» – «Нет, братец щегол, не знаю я секрета. Ну, сиди, а мне некогда...» Видите – и улетел и скрылся. Эгоисты эти воробьи.

– Необычно вы как-то говорите, – сказал, криво улыбаясь, поэт. Он чувствовал, что занемог каким-то тайным, тяжелым беспокойством, и хотел развязностью подкрепить себя. – Как будто у вас в голове не все в порядке. Вы сами-то кто такой будете?

– Я? Волшебник, – ответил старик спокойно и деловито.

Поэт отшатнулся назад. Он испугался: а вдруг этот старик сбежал из сумасшедшего дома? И костюм на нем какой-то диковинный. Но поэт еще раз попытался успокоить себя шуткой:

– Волшебник? Может быть, умеете вытягивать изо рта ленты? Глотать горящую паклю? Толочь в шляпе часы, а потом вынимать из нее сковороду с яичницей или сосуд с золотыми рыбками? Или вы шпагоглотатель и уж, конечно, престидижитатор шаха персидского, украшенный орденом Льва и Солнца?

– Ах, совсем нет, – скромно возразил старичок. – Повторяю, я всего только волшебник, а не фокусник. Да и то из самых маленьких. Я – Воробьиный Царь.

– Прикажете этому верить?

– Как вам угодно. Хотите верьте, хотите не верьте. А лучше – поверьте. И хорошо еще было бы, если бы вы больше птиц в клетках не держали.

Поэту показалось, что его голову окутывает тонкая, слегка щекочущая паутина. Он невольно провел рукою по лбу и волосам.

– Ладно, – сказал он, все еще пробуя овладеть собой, – Если вы при мне сделаете какое-нибудь чудо и докажете этим, что вы действительно волшебник, то при вас я выпущу всех моих птиц из клеток.

– Помните же, что вы сказали, и от своих слов потом не отрекайтесь, – торжественно произнес старичок. Теперь он прямо глядел в глаза поэту, и взгляд его был строг и пронзителен. – Дайте мне руку.

Поэт протянул ему левую руку, и она сама ему показалась холодной в сухих ручках старичка, из которых струились какие-то дрожащие теплые волны.

– Посмотрите, — продолжал старик ласково, но повелительно. – Вот у меня в руках магическая лента, и я обвиваю ее вокруг ваших двух пальцев – среднего и безымянного.

Поэт поглядел. В тонких пальцах старика был и в самом деле кусочек старой, грязной, почти черной от времени ленты. Кое-где на ней поблескивали золотые точки. Трудно было решить, кусок ли это очень древней парчи или какая-нибудь материя, вышитая золотой канителью. С неудовольствием поэт заметил, что его левая нога вдруг задрожала мелкой дрожью и каблук начал выбивать дробь по песку дорожки...

– Не бойтесь, – сказал мягко старик, – я не сделаю вам зла, я из разряда добрых волшебников. Теперь я произнесу всего лишь одно слово, готовьтесь.

И он сказал совершенно спокойно:

– Цвирк.

Все вы, конечно, бывали в кинематографе и видали внезапные перемены картин. Только что перед вами было бурное море и палуба тонущего корабля, и вдруг, без всякого промежутка, мгновенно, вы очутились в роскошном дворцовом зале. То же самое случилось и с поэтом. Не успел еще волшебник докончить своего магического воробьиного слова, как поэт очутился на вершине такого громадного дерева, какого, вероятно, никогда не существо-

вало на земле. Кругом была густая листва из листьев величиною с большую дверь, а сам поэт находился внутри тесной железной клетки, в которую он был втиснут таким образом, что ему приходилось сидеть на корточках, обхватив руками колени и уткнувшись между ними подбородком. Очень глубоко под ним, в сильно уменьшенном виде, можно было легко различить его собственный домик и аллейку. А кругом него носились птицы, те самые птицы, которых так любил и в которых так много понимал толка бедный поэт, но теперь они были поразительной, именно сказочной величины. Пеночка, например, ростом со старого барана, щегол – с небольшую лошадь, дрозд – со слона, а пролетавший мимо голубь был размерами с большой дирижабль.

Все птицы, пролетая мимо клетки, в которой сидел поэт, беспрестанно касались ее своими крыльями, и от этого клетка раскачивалась вверх и вниз, влево и вправо, как корабль во время урагана, У поэта закружилась голова и позеленело в глазах.

Исполинский воробей вдруг присел на крышу клетки, затенив поэту солнечный свет.

– Что? Сидишь? – спросил воробей. И поэт даже не удивился тому, что понял воробьиный язык.

– Ох, сижу, батюшка воробьишко, – простонал он. – Кабы ты знал, как мне противно сидеть!

– Ничего, посиди, привыкнешь, – лукаво крикнул воробей и – фррр! – улетел, как стрела. Потом на ближнюю ветку уселся черный дрозд-пересмешник и, легко покачиваясь вместе с плавными движениями ветки, начал говорить следующие стихи:

Жил поэт – циви-цивиц, –
Он ужасно любил птиц.
Все сажал их в клетки
И вешал на ветки.

Поэт не только понял дрозда, но, несмотря на приступы морской болезни, успел подумать: стишки, однако, неважные, рифмы старенькие и ритм хромает; у него «любил» выходит с ударением на «ю»: «лЮбил», а в слове «вешал» — на «а». Нехорошие стихи, да и содержание неумное...

Но тотчас же рядом с дроздом с размаху плюхнулся на ветку, сильно угнув и раскачав ее, гигантский скворец и заверещал оглушительным голосом продолжение стихов:

Но настал ужасный миг,
И поэт – чиви-чивик –
Очутился в клетке
На зеленой ветке.

– Что? Хорошо? – спросил скворец, самодовольно оглядываясь кругом.

– Браво! Браво! Великолепно! Бис! – закричали другие птицы, большие и малые.

– Позвольте-с! – закричал дрозд в негодовании. – Песня эта принадлежит мне, а он только перехватил ее у меня по обычному скворечьему нахальству.

Между птицами загорелся спор, но поэт уже не мог им интересоваться, потому что в это время он впал в другое состояние – еще худшее, чем морская качка и чем обида от птичьих издевательств.

Он почувствовал, что для него нестерпимо долго растянулось время. Секунда стала казаться неделей, минута – целым годом, а час, должно быть, целым столетием. В уме он знал, что, например, для синицы перескочить с одной ветки на другую – дело четверти секунды, а ему казалось, что этому скачку никогда не будет конца. И первым последствием этого странного явления было то, что поэт почувствовал невыносимый голод.

– Как я есть хочу-у-у! – закричал он жалобно, точно завыл. Рядом с ним вдруг очутилась ворона (о размерах ее мы не будем говорить – читатель их сам представит). В клюве у нее была большая телячья нога – жареная и уже порядком обглоданная, но на ней еще оставалось для поэта порядочно жилок и хрящиков.

– Сознайся во всеуслышание, – сказала ворона, – что ты злой человек, и я тебя накормлю.

Поэт тотчас же с готовностью крикнул:

– Я злой, злой, злой человек! Злой!

– Это правильно, – подтвердила ворона и просунула ему кость сквозь два железных прута.

Поэт с жадностью накинулся на телятину, но едва он обглодал кость начисто, как опять потянулись дни и недели, и ему до смерти захотелось пить, а уже на ветке сидел попугай, державший в клюве за дужку ведро с водой, и говорил:

– Скажи громко, что ты, поэт, дурак, и я тебя напою.

И опять с удовольствием поэт закричал:

– Поэт – дур-рак. Поэт – дур-рак!

– Замечательно верно, превосходно сказано, – хором подхватили остальные птицы, а попугай, согласно обещанию, напоил его водой из ведерца, в котором плавала шелуха от зернышек и еще какие-то белые комочки. Но прошел еще месяц, и поэту сильно захотелось курить. Подлетела сорока – известная воровка – и сказала, глядя куда-то вдаль одним глазом:

– Вижу я, там, далеко на дороге, какой-то человек бросил окурок сигары. Я могу тебе его принести, только, пока я слетаю туда и назад, ты все время говори: «Так мне и надо».

– Так мне и надо, так мне и надо, – радостно зачастил поэт. И сорока принесла ему окурок прескверной сигары, правда, маленький, замусленный, но в нем еще тлел огонек, и поэт покурил с наслаждением.

И опять прошло что-то страшно много времени. Ни есть, ни пить, ни курить ему теперь не хотелось. Он понял вдруг, что все эти желания пусты, мелки и ничтожны перед чувством неволи. «Сколько уже лет я сижу в клетке, – подумал он, – и сколько столетий мне еще осталось сидеть». Тогда стал он горько плакать, вытирая слезы о колени, так как сидел он, согнувшись в три погибели. И стучался он головой о железные прутья, и повторял, рыдая:

– Милые, дорогие мои, пустите меня, пустите на слободу!

– Все еще сидишь? – спросил сверху воробей.

– Миленький воробышко, все еще я сижу, все еще сижу. И конца не будет моему сидению. Не знаешь ли ты, серенький братишко воробышко, какого-нибудь секрета, чтобы выйти мне из клетки?

– Знаю я секрет, – отвечал воробей. – Скажи только такие слова: «Никогда больше не буду».

И закричал поэт громко, от всей широты души, от всей глубины сердца:

– Никогда больше не буду сажать птиц в клетки!!

И опять произошло, как в кинематографе.

Воробей только сказал «цвирк», и в тот же миг, без малейшей задержки, очутился поэт на зеленой скамейке. Над ним на березовых ветках в два ряда висели птичьи клетки, но старика с ним рядом уже не было. Пропал.

«Что это – сон или бред? Мечта?» – подумал поэт, но поглядел на свою руку и увидел, что на ней так и осталась переплетенная восьмеркой вокруг безымянного и среднего пальцев темная толстая старинная лента.

«В чудеса я не верю, – сказал сам себе поэт, – и вся эта история, должно быть, мне пригрезилась. Откуда же лента? Но все равно птиц мне почему-то стало жалко. Отпущу-ка я их на волю, пока не случилось чего-либо худшего».

Поднялся поэт и стал растворять одну за другой клетки. Одни птицы вылетали стремительно, другие, точно не веря своему счастью и подозревая какой-то обман, долго не решались вылетать и прыгали по жердочкам. Один чижик так растерялся, что выскочил из клетки прямо ему на плечо, секунды две поглядел ему прямо в

глаза блестящими черными глазами, и вдруг восторженно вскрикнул, и взвился к самому небу. «Может быть, хотя одна останется, – с горькой надеждой думал поэт, но нет, – так ни одна и не осталась. – Какая неблагодарность!»

С тех пор поэт перестал держать птиц. Но так как он был еще очень молод и потому плохо понимал, в чем заключается настоящее самолюбие, то никогда и никому он не сознался, что причиной этому была жалость к птицам.

– Наскучило мне это занятие, – объяснял он знакомым, – и отрывает от работы.

А появление старой ленты он так и не мог себе объяснить. Заложил ее в какую-то большую книгу и сначала кое-когда на нее поглядывал, а потом надолго забыл, а когда вспомнил, то оказалось, что лента исчезла.

Может быть, она опять понадобилась Воробьиному Царю?

1923 г.

ОДИНОЧЕСТВО

В Гатчине у меня росла, с трехмесячного возраста, прекрасная собака – меделянский пес по имени Сапсан IV. В выписи из родословной книги у него числилось одиннадцать прямых предков, и около имени каждого из них стояла отметка: брал медведя «по месту».

Обыкновенно, собаки эти редкой, ныне бесследно исчезнувшей породы, с юных лет воспитываются на злобность ради специальных охотничьих целей, хотя смелость, великодушие, ум и доброта – их прирожденные качества.

Сапсан IV прошел в нашем доме совсем другую школу — школу, основанную на ласке, внимании и доверии. К его двум годам он весил 4 пуда и когда, стоя, клал мне передние лапы на плечи, то превышал меня головой. Однако, ко всему маленькому – к собакам, кошкам, однажды даже к раненому воробью, – он был учтив и уступчив. Был случай: злой тойтерьер загнал его под диван. Дети очень любили, когда он неуклюже вступал в их игры. Старая охотничья кровь загоралась в нем только лишь при виде крупных животных: козлов, коров, лошадей и – в особенности – автомобилей. При наших встречах с ними во время прогулок мне приходилось напрягать все свои силы, чтобы удерживать сильную собаку на прочной цепи. Не любил он еще раздражительного крика.

Это было в конце мая или в начале июня 17-го года, часов в 5 – 6 прелестного тихого утра. Мы немного походили с Сапсаном

по Приоратскому парку и вышли на Люцевскую улицу. Вдоль нее, отделяя тротуар от мостовой, лежала широкая и глубокая зеленая канава, а через нее легкий деревянный мостик. Не помню, устал ли я от прогулки, красота ли утра меня растрогала или о чем-то захотелось вплотную подумать, но я сел на этот мостик, свесил вниз ноги, а Сапсан лег на тротуар.

Так миролюбиво просидели мы минут с десять, может быть четверть часа. Подошли двое милицейских с ружьями и стали придираться (вернее один из них, старший): «Почему, товарищ, сидите, да почему так рано вышли из дому» и т.д.? Я отвечал охотно, правдиво и без малейшей иронии. Была секунда, когда я подумал: «Ну вот и ладно, сейчас разойдемся по-хорошему».

Но черт принес именно в эту секунду какого-то высшего милицейского чина в полуофицерской форме, очевидно, главное начальство. Высокий, худой человек с седыми висками и с коричневыми тенями вокруг глаз. Я долго помнил потом его физиономию, но теперь забыл. Немецкая. Он сразу, еще подходя, заорал на меня.

– Это что за безобразие! Как смеешь сидеть? Кто такой? Встать, когда с тобой говорят!

Повторяю: Сапсана никто не натаскивал на злобность. Никогда также не учили его «защищать хозяина».

Но при грубом окрике милицейского он быстрым тяжким прыжком перескочил через канаву, стал вплотную ко мне, загораживая меня своим телом, и свирепо зарычал. Еще ни разу в его жизни ему не приходилось слышать, чтобы с его неразлучным двуногим другом кто-нибудь осмелился заговорить таким тоном. Грубость и злость возмутили его большую, добрую душу. На него страшно было глядеть. Глаза, которые у всех породистых меделянов «на кровях», совсем залились кровью. Плотная, густая шерсть на спине поднялась дыбом и из буро-песочной стала черной, с седым подседком, толстый хвост вытянулся палкой.

– Застрелить собаку! – заорал старший милицейский. – Сейчас же!

Рычавший Сапсан захлебнулся от негодования и не хотел слушать моего голоса. Я испугался. Я понял в этот момент, что, сделай милицейский какой-нибудь неосторожный, угрожающий жест, и Сапсан возьмет его «по месту», т.е. схватит его за горло. Большое счастье, что мне удалось вовремя схватить его за ошейник (мы гуляли в этот день без намордника).

Хорошо также, что неуклюжие милицейские не произвели в мгновение ока приказ расстрелять собаку. Наступила спасительная

пауза, в продолжение которой милицейский успел перевести дух, а я нашлепал Сапсана по его огромной слюнявой морде.

Охотно и правдиво отвечал я на вопросы начальника: «Живу Елизаветинская 19, домовладелец, отставной поручик, писатель». Однако милицейскому начальству надо было поддержать свой престиж перед солдатами и он сказал с важностью:

– Во всяком случае, мне необходимо удостоверить вашу личность. Поэтому прошу вас следовать вместе с нами до вашего дома.

Мы последовали, но в довольно странном порядке. Впереди я, за мной Сапсан, и сзади его трое милицейских. Никого из них Сапсан не пропускал вперед, и если один из них пробовал отделиться в сторону, меделян сейчас же загонял его в общую кучку. Так мы доследовали до моего дома, хозяйке которого я и был сдан на хранение…

Весь этот несчастный эпизод всегда приходит мне в голову, когда я начинаю думать о другом событии, величайшего, потрясающего своим трагизмом значения.

Весна. Псков. Царский вагон.

Нам, простым смертным, вообще трудно, даже, пожалуй, невозможно вообразить обычную психологию абсолютного монарха, совершенно искренно считающего себя и своих трехсотлетних предков помазанниками Божьими. Еще труднее представить себе – что думал и чувствовал Государь Николай II в роковой день 2-го марта, когда в его вагон вошли два штатских человека и генерал Рузский с требованием отречения от древнего всероссийского престола.

Какой мгновенный горестный переворот во всех мыслях, мнениях и взглядах. И какое тяжкое, мгновенное сознание полнейшего одиночества!

Еще вчера каждый шаг его сопровождался восторженными кликами, слезами умиления и преданности, знаками обожания и рабской готовности умереть за него… и вдруг… никого. Один на всем белом свете! Кругом только враги, не скрывающие своего злобного торжества.

Два штатских человека говорят беспощадные, дико новые для царского уха слова: «Армия в тылу восстала. Генералы изменили и предались врагам родины. Царский поезд умышленно загнан в злую западню, устроенную каким-то Викжелем, и кругом нет у царя ни одного преданного человека, нет ни охраны, ни сочувствия».

Царь подписывает бумагу. Хочет еще что-то посмотреть в ней. Но ему не позволяют. Бумага в чужих руках, и ему не отдают ее. «Революционный генерал» – почтительно назовет этого человека через шесть лет демократическая русская газета заграницей.

Генерал! Вспомнил ли он в страшный час своей насильственной смерти эти незабываемо-фиолетовые глаза, устремленные на него с печалью и упреком?

И вот – кругом нет никого. За вагонными окнами бродят по перрону распоясанные, разнузданные солдаты. В углу, облокотясь на стол, всхлипывает старенький, пьяненький адмирал Нилов; плачет сердечными алкогольными слезами. Ускользнул быстрым ужом бесконечно преданный Воейков. Ни одной души во всей России, во всей вселенной!

Ну, была бы около царя хоть не человеческая, хоть какая-нибудь собачья «малая» душа, в образе фокстерьера или испанского пуделька. Может быть, воспитанная собака и не залаяла бы на грубых людей. Но, почуяв верным инстинктом, что судьба безмерно огорчает ею обожаемого – (для собаки неложно обожаемого) – хозяина, она положила бы умную морду на его колени и лизнула бы со вздохом любимую руку…

Нет! Не было даже собаки около русского Императора и Самодержавца в ту ужасную минуту, с которой начался Его тяжкий долгий крестный путь, окончившийся мученической смертью в Екатеринбурге.

Эта минута одиночества останется самой страшной в великой царской трагедии.

1923 г.

ЖОКЕЙ И ЛОШАДЬ

Как странно и неожиданно плетет судьба узоры событий. Но, присматриваясь внимательно, видишь в ее кажущемся капризе поразительную закономерность.

Скачки с препятствиями в Antenie в прошлый четверг были ознаменованы интимным чествованием памяти замечательного жокея Parfrement. Перед его портретом, в интимном кругу спортсменов и друзей покойного, принц Мюрат произнес краткую выразительную речь.

Немного времени спустя расшибся, беря препятствие, и окончил свои дни Heros XII, великолепная восьмилетняя лошадь.

Казалось бы, что нет никакой внутренней связи между этими двумя событиями. Есть. И очень прочная.

Два года тому назад разыгрывалась в Antenie большая и очень ответственная скачка: ответственная и в денежном смысле, и в заинтересованности публики, и в личном честолюбии жокея. Под

Parfrement был шестилетний Heros XII, тогда еще не знавший ни одного поражения. Только всаднической страстности можно приписать роковую ошибку Parfrement.

На одном из поворотов (а скаковая дорожка в Antenie довольно путаная) он взял ложное направление. А так как он шел уверенно впереди, то он и увлек за собою лучших лошадей. Успел вовремя одуматься какой-то третьестепенный жокей и пришел первым.

Нервная французская публика освистала Parfrement. Это бы еще ничего. Ее суд не тяжелый: накажет и простит. Спортивным обществом был наказан жокей лишением права выступать на скачках в течение года. Это решение дало для публики повод разным лжетолкованиям. Звезда Parfrement, этого любимца и баловня Парижа, как будто бы закатилась...

Но, отбыв эпитимию, он опять появляется на ипподроме. К этому времени от него отшатнулись и владельцы скаковых конюшен. Скакать ему приходилось, начиная сызнова свою карьеру, на лошадях сомнительных и плохо разработанных. Есть милый старый греческий анекдот. Одного философа, желая его унизить, посадили на пиру на последнее место. Он пошутил: «Вот прекрасное средство сделать последнее место первым». Не прошло и года, как Parfrement постепенно завоевывает свое прежнее блистательное положение.

Я неоднократно любовался его манерой скакать. Если ему удавалось вырваться первым, то он и приходил первым, не давая никому приблизиться к себе. В куче он никогда не скакал, предпочитая брать препятствия отдельно, хотя бы и последним. У него был непостижимый секрет сберегать силы лошади для окончательного броска. Мне чудом казалось, как перед финишем он перекладывался из задних мест в головку, как на последнем препятствии он становился ноздрями в ноздри с опьяненным конкурентом... И еще обернется назад, и его прекрасные синие глаза блеснут свирепым торжеством на румяном крепком лице.

У него было ипподромное прозвище «Крокодил». Вовсе не обидное.

Скорее – лестное. Так его прозвали за ту уверенность, с которой он пожирал пространство и своих состязателей. Однажды в один скаковой день он взял все шесть первых призов – рекорд почти невообразимый для ограниченных человеческих сил.

В прошлом году он убился насмерть на энгиенских скачках...

Остается сказать два-три слова о Heros XII. Более чудесно сложенной скаковой лошади я никогда не видел; впрочем, и мир не видел таких длинных плечей, расположенных подобно мощным стальным рычагам, таких стройных колен, такого надежного ска-

кового и такого прелестного путового состава. Он был достаточно высок для классной скаковой лошади, но в скачках он казался низеньким, так он расстилался по земле. У него была странная масть, цветом вроде нечерненного сапожного голенища, гордый и кроткий взгляд, трепетные прозрачные ноздри, бессознательное изящество во всех движениях. У него был ласковый, доверчивый характер, и все окружающие его любили. Его миниатюрный гипсовый портрет, чрезвычайно похожий, сделанный бароном Рауш-фон-Траубенбергом, сохраняется у этого талантливого ваятеля как, может быть, последняя и единственная память о замечательнейшей лошади нашего времени.

1923 г.

ПОЩЕЧИНА

(Рассказ штурмана каботажного плавания)

Была у нас в Одессе-маме своя маленькая, но тесная и веселая компания, состоявшая почти исключительно из молодых моряков, бывших учеников Одесского мореплавательного училища. Говорю *почти*, потому что имелось одно исключение, в лице архитектора, милейшего Ивана Ивановича Перелыгина. Кажется, впрочем, он был всего только строительным техником. Но уж так повелось издавна: архитектор, да архитектор. Бывало суровый капитан Российского Общества спросит во время плавания, за обедом в кают-компании, безусого младшего штурманишку: «Ну, а как архи? Жив еще?». «Жив и здоров, как же». «И все такой же коротенький и весельчак?». «Неизменно». «И всё то же у него пословье: ни тинь тилили… как это дальше?». «Ни тинь тилили, ни за веревочку. Всё такой же». «Славный старикан. И вся ваша гоп-компания держится прежнего курса: Доди, Гамбринус, кабачок Шомпола, а там румб на Молдаванку?». «Обязательно!». «А его супруга?». «Эх, и не говорите…». «Н-да, были времена», – вздохнет капитан и проведет рукой по бороде.

Жена же архитектора была такая, что, действительно, только рукой махнуть. Звали мы ее промежду себя – Гада. Если мужчина злобный и коварный человек, то значит – Гад, женщина же, разумеется – Гада.

Его же мы в своей компании называли кличкой Архи. Сначала, по молодой дурашливости, выдумывали ему разные прозвища: архивариус, Архимед, архиерей, Архип, архонт, архитриклин и тому подобные, а потом как-то обобщили и укоротили в «архи».

Человек он был трудолюбивый и зарабатывал много. Детей же у них не было. И все-таки она у него постоянно деньги отымала. «Ты, – кричит, – все равно пропьешь со своими паршивыми морячишками или на девок истратишь!». А что тут дурного, если человек раз в месяц, ну, в две недели раз, порезвится в веселом и простом морском обществе? Ведь это же, вроде глотка свежего воздуха после семейной кислоты. Всякий это понимает, кого Бог не вовсе обидел разумом.

Конечно, умудрялся Архи от нее затаивать некие тайные, подкожные монеты. Но могу сказать истину: никому из нас не приходила в голову мысль выставлять нашего собственного, старинного, единственного Архи из этих монет. Мы его искренне ценили и любили, и всегда бывал он первым гостем на наших береговых досугах. Правда, изредка, в дни жесточайшего декохта… ну, бывало, пошепчется Архи с каким-нибудь отчаявшимся штурманом, потихоньку от других, за углом. Только об этом другие не знали или просто знать не хотели.

А что до нашего обычного, напоследок, крейсирования вдоль Молдаванки, то это она совершенно напрасно упрекала. Увязывался он иногда с нами, а то и мы его брали на буксир. Но, чтобы что-нибудь такое… ничего подобного. Был мил и приветлив с девчонками, дарил мелочь, угощал папиросами, пел сладким козелком свой единственный романс: «Когда б я знал», но вскоре зевал и уезжал домой. Его там почитали.

Дом у него был сущий ад. Такой пилы, такой пиявки, такой зуды, такой змеи и гадюки шипящей – мир не видыввал. Прежде Архи кое-кого приглашал из нас к себе. Но, помилуйте, что за удовольствие созерцать, как с милым, кротким человеком обращаются хуже, чем с половой тряпкой. В присутствии Севрожина (со «Св. Николая») она за обедом пустила мужу в лицо тарелку, да еще полную, как была, с гороховым киселем. (Кормила она прескверно). А за что? Только за то, что она его весь обед ругала самыми последними словами, а он все молчал. «Как смеешь молчать, биндюг!» Размахнулась и… трах!.. Плохой спектакль.

Спросил я его раз в интимную минутку: «Как ты это все терпишь, милый наш, наш собственный Архи? Я бы давно сбежал. Ну, назначил бы ей какую-нибудь пенсиюшку, да и жил бы свободным мальчиком».

А он в ответ: «Что Бог соединил – человек да не разъединяет». Потом потупился и промолвил: «Будет об этом, не стоит. Оба виноваты».

И в другой раз я задал ему один нескромный вопрос, что вот, мол, денег ты ей даешь слишком достаточно, куда же она их девает.

На этот раз он не только съежился, но будто и покраснел. «Да у нее, – говорит, – множество родственников: сестры, племянники, племянницы, тетки, двоюродные братья. Всем помогает. Нам же детей Бог не послал».

Она из себя была вот какая женщина: высоченная, худущая, но очень стройная; лицо тонкое, длинное, на манер как у арабской лошади и смуглое. Должно быть, раньше была поразительно красива, но от красоты остались одни глаза – какие-то пьяные, огненные, косоватые, цыганские глазищи.

Мы ее нередко видали. У нее было верхнее чутье. Случалось, мы только расположимся в уютном уголке, в Пале-Рояле или в низке у Гамбринуса, и вдруг она – как буря! Помощник с парохода «Пушкин» всерьез уверял, что от одного ее взгляда издали у рюмок сами собой трескались шейки и валились ножки. Влетит – и ну скандалить: «Такие-то вы все и сякие! Мужа моего, дурака, опаиваете и объедаете, да еще развратничаете на его деньги! А он, подлец-мерзавец, у вас за шута!» И пошла: трах, тарарах, тах, тах! «Да я командиру порта пожалуюсь, до самого Зеленого дойду!» Мы все в ужасе.

Однажды я попробовал робко ей заметить: «Клавдия Евгеньевна, уважаемый Архи… виноват, Иван Иванович вам все-таки мужем доводится. Зачем же срамить так публично?»

А она вдруг как взовьется! Глазищи у нее загорелись, как два красных прожектора. «Муж? Какой он мне к черту муж? Кабацкая он затычка, а не муж. Он уж пятнадцать лет как забыл, для чего мужья женам нужны. Пусть, вот, и пеняет на себя, что…»

Но тут, к нашему изумлению, Архи вдруг поднялся, положил ладонь на стол и сказал, не особенно повышая голос, но отчетливо и властно: «Клавушка! Не заставляй меня!..» К еще большему нашему удивлению она вдруг завертелась циклоном и жиг! – в двери. Только мы и услышали из этого вихря слова: «Будьте вы все прокляты!»

Но так случилось лишь раз. Обыкновенно Архи весьма послушно, не прощаясь с нами, уходил вслед за нею с видом собаки, которая понимает, что ее ведут драть. И шапку держал подмышкой.

Меня она ненавидела более, чем прочих друзей Архи. А он, казалось, наоборот, был привязан ко мне сильнее, чем к другим. Не оттого ли он и обратился ко мне за год до своей смерти с немного странной просьбой.

Он пришел ко мне рано утром, когда я был еще в постели в номере гостиницы, где я всегда останавливался, съезжая на берег. Перед этим мы случайно не виделись около трех месяцев. И мне

от долгой отвычки сразу бросилось в глаза – какое у него усталое, несчастное, болезненное лицо. Лоб и виски пошли в желтизну, а под глазами висели бурые, складчатые мешки. И когда он говорил, то поминутно останавливался, чтобы частыми глотками похватать воздуха. И говорил, точно стонал или покряхтывал. Сказал же он мне следующее: «Вот тебе пакет. Он запечатан по всем правилам. Прошу тебя, сдай его на хранение, на твое имя, в солидный банк. Когда же услышишь о моей смерти, вытребуй и вскрой. А дальше поступи по разумению и совести. Вот и все. Можешь ли сделать мне эту услугу?»

Разумеется, я согласился. Потом мы обменялись несколькими ничтожными словами. Я видел, что беседа ему тяжела. Мы простились и уже больше не увиделись. Поручение его я в тот же день исполнил.

А потом мой жизненный ялик попал в счастливое течение. С пароходом Добровольного флота «Саратов», куда я поступил вторым помощником, мы пошли в Сахалин, везли арестантов. В Индийском океане мы потерпели большую аварию и долго чинились во Владивостоке. Вернулись назад с грузом, ну прочее не интересно. Короче я попал в благословенную Одессу-маму спустя долгий срок и в день приезда узнал в Гамбринусе от товарищей, что наш милейший, кротчайший, собственный Архи скончался недели две назад. Помянули мы его, милягу, и водочкой, и теплыми словами.

Наутро взял я из банка пакет, пришел домой, закурил трубку со славным английским табачком «Old Judg» (я уже себе мог позволить эту роскошь – времена декохтов прошли) и принялся за чтение – не совсем обычных документов.

В разрезанном мною пакете оказалось четыре конверта с такими надписями: 1) (на большом сером) «Ей, в случае если я умру естественной смертью»; 2) (на большом синем): «Судебному следователю, если я умру смертью противоестественной. В случае же моей смерти естественной – сжечь твоею, друг, рукою, не вскрывая»; 3) (на белом, обычного почтового формата): «Тебе, в случае моей наглой смерти», и наконец, на самом малом конвертике, в каких посылают визитные карточки, стояло так: «Тебе же на все случаи жизни».

Все это было так таинственно, как в страшных повестях. Понятно, что ни одного из первых трех конвертов вскрыть я не имел права. Заодно я решил не притрагиваться и к четвертому.

Заняться прежде всего предстояло картиной смерти Архи. Это было не трудно. Дворник того дома, где жили Перелыгины, дал мне следующие точные указания: Клавдия Евгеньевна выехала неиз-

вестно куда. Лечил Архи городской врач Соловьев. Он же присутствовал при последних минутах покойного и выдал свидетельство о смерти для полиции и похорон.

Доктора Соловьева знала вся Одесса как хорошего врача и доброго человека, мы же, гоп-компания, еще и как восхитительного, хотя и редкого собутыльника. Я к нему и поехал.

Принял он меня очень приветливо и дал самые обстоятельные, но зато и самые потрясающие сведения. Умирал Архи от неизлечимой сердечной астмы. Умирал долго, в тяжелых мучениях, но с кротким безучастием: под конец давали морфий и кислород. Жена была с ним как ангел, если только ангелы способны на такую глубокую и горячую человеческую любовь. «Столько нежности, выносливости, преданности, предупредительности я редко видел в одном человеке, – так сказал доктор, – а я ли не навидался многого в своей жизни?»

И продолжал: «Когда же он умер и уже похолодел – произошла самая диковинная и ужасная сцена. Жена долго лежала на его теле, точно в обмороке. Я тронул ее легко за плечо. Она вспрянула, как стальная пружина, вперила безумный взгляд в лицо покойника и вдруг оглушительно ударила его по щеке. Да, да, дала мертвецу пощечину! И закричала при этом: “Подлец! Зачем ты это сделал! Зачем ты умер раньше меня!”. И тут же опять повалилась на тело и стала покрывать его поцелуями. Не дай Бог никому присутствовать при такой сцене».

Вскоре я нашел и адрес Перелыгиной (теперь я даже и мысленно не смел ее называть Гадой), хотя для этого пришлось обратиться к одесским Шерлокам. Они-то и отыскали ее в загородном женском монастыре, где она приютилась у своей старшей сестры, игуменьи. Не монахиней и даже не белицей, а так отдохнуть.

* * *

Пришлось приступить к исполнению воли покойного Архи. И это было дело щекотливое. Ну, как препроводить ей – хотя бы и в другом конверте – серый конверт с надписью: «*В случае если я умру своей смертью*»? Не годится. Зачеркнуть надпись? Возбудишь тревогу. Взял я и вскрыл конверт. Ну, слава Богу, оказался страховой полис. И на кругленькую сумму.

Синий конверт для следователя был мною сожжен без всяких сомнений. Над белым же я долго ломал голову. Бестолковую надпись сделал покойник. *Мне* – если она его, скажем, отравила. Но, – если он умер своею смертью, – то кому же? Не мне, но также и не *ей*. Там может заключаться какой-нибудь предмет мне на память,

вроде фотографии, или, просто, деньги. Но может быть запечатана чужая тайна? Кончилось тем, что и этот конверт полетел в огонь. Только гораздо позднее, лет через десять, я узнал от одного старого нотариуса, с которым имел дела Архи, какую бумагу я сжег. Этот самый полис был завещан мне.

В конверте же с надписью «*Тебе на все случаи жизни*» я нашел визитную карточку Архи, где на чистой стороне мельчайшими, но красивыми буквами было вычерчено:

1. Злость изменяет лицо жены и делает его мрачным, как у медведя.

2. Горе – жена блудливая и необузданная: ноги ее не живут в доме ее.

3. Соглашусь лучше жить со львом и драконом, нежели со злою женою. Сядет муж ее среди друзей своих и, услышав о ней, горько вздохнет.

4. Как из одежд выходит моль, так из женщины лукавство ее.

5. Лучше злой мужчина, чем ласковая женщина, которая стыдит до поношения.

И совсем внизу этой скрижали было добавлено: «*Читай эти премудрости, каждый раз как влюбишься. Может быть, они спасут тебя от женитьбы. Твой собственный и всех вас Архи*».

Увы! Премудрости не помогли. Я все-таки женился. Но я так часто их перечитывал, что заучил наизусть.

Вот и вся история. Остается лишь одна мелочь. Посланный мною полис я получил через день обратно, разорванным на мельчайшие клочки. И при них на обрывке оберточной бумаги такие слова: «Возвращаю Вам полис. Его касались ваши грязные руки. Я лишь вырезала дорогую для меня подпись, чтобы очистить ее моими слезами и поцелуями. А вы и вся ваша шайка будьте прокляты в этой жизни и в будущей».

1924 г.

ИЗВОЩИК ПЕТР

Глубокая зимняя ночь. Синий снег. Черные столетние ели, в белых лапчатых охабках. Я еду на извощике через гатчинский парк, от Балтийского вокзала до Варшавского (обычная провинциальная прогулка). Узкая дорожка, давно накатанная, блестит полированной сталью. Сладок и крепок морозный воздух. Старая, серая, в коричневой гречке, кобыла бежит непринужденной собачьей рысью. Извощик распустил возжи. По всему вижу, что ему хочется

поговорить по душам. Изредка замахнется кнутом на лошадь, но не ударит, а лошадь в ответ рассеянно хлестнет хвостом.

Старый, древний быт. Быт, проклятый критиками, создавшими презрительно унизительное словечко для иных писателей – «бытовик». Но почему же в этом быте, в неизменной повторяемости событий, в повседневном обиходе, в однообразной привычности слов, движений, поговорок, песен, обрядов – почему в них всегда жила и живет для меня неизъяснимая прелесть, утверждающая крепче всего и мое бытие в общей жизни?

Да. Я знаю с безошибочной точностью, что сейчас произойдет. Мы подъедем к Варшавскому вокзалу. Я спрошу извощика:

– Сколько?

Он непременно ответит:

– Чай, не обидите, Александр Иванович.

Тогда я спрошу:

– Тебе выслать псковский бутерброд?

Он ответит со знакомой мне хитрой конфузливостью:

– Если ваша милость будет... Прикажете подождать вас?

Старому татарину слуге я скажу:

– Бабай (старик), или иногда Отай (отец), вынеси моему извощику псковский бутерброд!

Он не будет спрашивать о подробностях. И мне, и ему, и извощику сто лет знакомо, как делается это кушанье. Разрезают вдоль французскую пятикопеечную булку, смазывают ее с обеих сторон маслом, прокладывают двумя большими кусками швейцарского сыра, а в середину втискивают ломоть ветчины. Почему «псковский», нам всем неизвестно.

Но татарин сам понимает, что к этому псковскому угощению полагается не водка, а пиво. От водки извощика развозит, и он потом зябнет, пиво же дает теплоту. И мне больше не о чем заботиться.

Как зовут этого извощика, я не знаю. Спины у всех извощиков одинаковы. Да, впрочем, может быть, одна из наших тягчайших вин та, что мы никогда не удосужились поглядеть в лицо извощика, разнощика, конюха, землекопа, каменщика, банщика и так далее, хоть и ехали на их спинах. Но иные ночные разговоры помню четко и любовно.

– Много ли сегодня выездил?

– Брось, Александр Иванович. На керенки считать? А чо мне с ними делать? Избу оклеивать ими?

– Да ведь радовался же ты, дурак, революции?

– Что и говорить, милый, все мы дураками были. Небось, и ты? Да нет, ты послушай, барин, как я раньше жил. Послушай только!

Он бросает возжи, поворачивается ко мне и начинает загибать черные (вижу, не видя) корявые пальцы.

– Выезжаю я из Пижмы в город в восьмом часу утра. Овес со мною, собственный, не купленный. Положил гривенник. Ехать домой обедать в Пижму пять верст мне не расчет. Обедаю в трактире у Веревкина. Первым делом – щи. С убоиной. Опять гривенник. Щи такие, что ложкой не проворотишь. Потом на пять копеек каши, пшенной или гречневой. Самое чистейшее подсолнечное масло. Хлеба, сколько хочешь. Черный – бесплатно, ситного краюха – копейка. Считаешь? Потом чай. Пятачок пара. Кипятку – сколько хочешь. Ну, иногда мерзавца тяпнешь или угостишь кого. Всего-навсего сколько? Тридцать копеек. Да еще из них шестерке на чай две копейки. И сыт, и пьян, и в тепле сижу. Это за тридцать копеек. А выезжу два с полтиной. Так мне, милый, денег некуда было девать. Никакой царь богаче меня не жил...

Замолкает. Против этой бытовой логики никак не попрешь. Замечаю немного уныло:

– Лошадь-то как у тебя исхудала.

Он безнадежно машет кнутом.

– Что говорить. Одно основание осталось...

Тут бы, кажется, и все о моем неведомом извощике, если бы не один случай, когда русская светлая душа улыбнулась мне с суровой и нежной лаской. Стоял мокрый октябрь 1919 года. Нам жилось необычайно трудно. В очередях выдавали клюкву. Это было праздником. Обыкновенно – жмыхи. Пробовали ли вы когда-нибудь есть сухой репейник? Дизентерией хворали я и моя девятилетняя дочь. Мать совсем сбилась с ног, ухаживая за нами обоими. И вот вдруг приходит старая женщина, в платочке, с кульком под мышкой. Отворяю ей калитку, думаю – мешочница. Спрашивает:

– Здесь живет Александр Иванович?

– Это я. Что нужно?

– Ты мужа моего знаешь? Извощика?

– Извощика? Ну как же, отлично знаю (лгу).

– Извощика Петра?

– Вот, вот, именно Петра.

– Так вот послал он меня к тебе. Умирает он, муж-то мой, извощик Петр. Отец Иоанн его вчера соборовал. Водянка у него. Ноги распухли, и к сердцу вода подступает. Захотел он кое-чем распорядиться перед смертью. И тебя вспомнил. «Скажи, что мы от него обиды никогда не видали. А ему, может быть, плохо живется. Так отнеси что-нибудь из съестного. Скажи, что от извощика Петра на память».

И развернула кулек. Там был печеный черный хлеб, фунтов пять муки, шесть яиц и телячья лопатка – «Вчера своего теленочка зарезали».

Как мы ни старались всучить этой милой бабе денег – ничего не вышло. Правда, перед занавеской из зеленого кавказского крученого шелка она не устояла. Но, ведь, женщина – всегда женщина.

Хотите мораль из этой отрывчатой повести?

Вот она: как легко было в России быть добрым. А мы этого и не подозревали.

1924 г.

ПАРИЖ И МОСКВА

Есть книжки – возьмешь ее, пробежишь две-три страницы из начала, заглянешь в конец, бегло перелистаешь середину — и вот уже у тебя готово довольно верное представление о ее содержании и литературном весе. Но смешон будет тот читатель, который применит этот легкий способ для ознакомления с Библией.

Париж – одна из самых огромных, самых старых, самых трудных и, в то же время, самых живых человеческих книг. Десять лет можно настойчиво вчитываться в ее каменные страницы, чтобы потом сказать: «Теперь у меня есть что-то вроде ключа к изучению Парижа».

И все-таки чрезвычайно дороги для нас первые, мгновенные, непосредственные внешние впечатления. Я, например, через много лет могу воспроизвести в памяти лицо человека, дома, комнаты или улицы в двух видах – таким, каким оно впервые вышло на моментальном снимке моего зрительного аппарата, и таким, каким его впоследствии видел мой привычный, постоянный взгляд. Эти образы очень разнятся друг от друга, но первоначальный милее и ближе нашей душе. И он ярче.

Помню, как в первые дни по приезде в Париж я бродил ощупью по его улицам, ошеломленный, оглушенный, растерянный и подавленный его изумительной жизнью. И уже тогда меня занимала и даже раздражала неотвязчивая мысль – что же такое бесконечно знакомое и близкое видится мне смутно в этом страшном и прекрасном городе? Кому неизвестна эта утомительная работа памяти, когда мелькнет и потеряется в толпе очень знакомое лицо, и ты ломаешь голову целый день, стараясь с разбега восстановить имя и прежнюю встречу.

И, наконец, нашел, догадался.

Случайно увидел я в Латинском квартале, над улицей Турнефор, стаю любительских голубей, дружно плававших широкими кругами в высоком бледно-голубом небе, то чернея, то блистая крыльями на поворотах, и сказал: «Вот оно! Москва!»

Тогда мое ощущение этого сходства было почти бессознательно. Но многие из русских, на ком я его проверял, почти соглашались со мною: «И правда, здесь, пожалуй, есть что-то такое неуловимое...» Впоследствии я кое-что понял и объяснил себе, вероятно, не без маленьких натяжек.

В Париже и в Москве идешь по современной улице, блестящей зеркальными стеклами домов и великолепными витринами магазинов, кипящей движением, и вдруг маленький кривой переулочек направо, и сразу вступаешь в восемнадцатый, семнадцатый, а то и в шестнадцатый век.

И там и здесь пешеходы не хотят знать левой и правой стороны, людской поток катится, бурлит и крутится без всякого порядка. Но зазевалась на что-то маленькая кучка, и мигом около нее густая черная толпа... А московские битюги так напоминают парижских арденов.

Только в двух старых мировых столицах – в Париже и Москве – все обывательские часы идут не по пушке, и не по ратуше, и не по собору, а так себе, как им самим вздумается. Пройдитесь с хорошо выверенными часами по лавкам или официальным учреждениям этих городов, и вы убедитесь, что часы в них ошибаются в обе стороны на целых полчаса, однако точного указания так и не встретите. Англичанин пришел бы в ужас, если бы его часы отстали или убежали на пять минут. Оттого-то он и является на деловое свидание или на обед с последним ударом назначенного часа, а для парижан допускается четверть часа опоздания. В Москве простят и целый час. «Что нам минуты, когда мы считаем время на столетия?»

Так же, как Париж, опоясывают Москву бульвары, и так же в ней много садов и палисадников. На окнах чердаков и полуподвалов Парижа вы увидите все те же старинные огненные герани и тех же желтых канареек в клетках. И одинаково в скверах и парках кормят любители хлебными крошками зобастых голубей и юрких воробьев.

И еще – нигде так много не целуются на улицах, как в Москве и Париже при встречах и прощаниях. (Я не говорю, конечно, о поцелуйчиках в метро или вечерком у заборов). Только в Москве целуются взасос, шлепая губами, как мокрыми калошами, а в

Париже беззвучно, по два раза, щека об щеку. В Москве целуются мужчины, едва между собою знакомые, в Париже – лишь родственники.

И наконец, только у коренных парижан и москвичей я наблюдал ту великолепную, спокойную, многовековую уверенность, с которой они попирают старые святые камни своего города, камни – свидетели радостей и печалей их далеких предков, камни, не раз политые горячей кровью и солеными слезами.

Для парижанина ничего не существует в мире, кроме Парижа и Франции. Францией он гордится с громким патриотическим пафосом. Гордиться Парижем ему так же не придет в голову, как, например, гордиться вслух здоровьем, дыханием, двумя – а не одной – ногами. Он просто, без всякого усилия знает, что лучший город в мире – Париж и что эта аксиома, безусловно, принята всеми частями света и всеми людьми, обитающими их. Французская провинция всегда немного простовата, а потому и смешна для парижанина.

И москвич также непоколебимо сознает, что прекраснее города, чем Москва, нигде не сыщешь. Москва – всем городам голова. Провинция для него – деревня. Только на Петербург он свысока и недружелюбно кивает головой:

«То у вас в Питере, а то у нас в матушке Москве».

И конечно, в Питере все оказывается хуже... Но это уже старый спор, старая обида порфироносной вдовы против царицы.

P. S. Пишу почти накануне «Reveillov»[**]. За стеклами булочных и кондитерских уже выставлены традиционные пирожные, сделанные под каминное полено.

А в Москве в эту пору, бывало, лежали в ярко освещенных витринах невинные белые ростовские поросенки в заливном виде, с самодовольной улыбкой на морде и с веточкой зеленой петрушки во рту.

В ночь с 24 на 25 декабря настоящему парижанину полагается гулять напролет до утра. Коренной москвич садился обедать после всенощной, при первой звезде «вифлеемской» – начиная с кутьи и грушевого взвара.

А в окнах, кое-где, в разных этажах, сквозь спущенные занавески, уже сияли туманными золотистыми гроздьями огни свечей на елках...

Когда все это было? Точно сто лет назад. Да и было ли?

1925 г.

[**] рождества *(франц.)*.

МЕДВЕЖЬЯ МОЛИТВА

Ветх стал годами отец Серафим. Устали его глаза от многовидения и уши от многослышания. И спина согнулась под бременем трудов телесных и молитвенных подвигов. Но дух его пребывал благ, ясен и кроток.

Еще усиливался старец, покорный своему высшему назначению, нести тяготы мирского служения и делания. Со всех сторон земли ехали и шли к нему русские люди со своими нуждами, болезнями и скорбями. И был для них неизменно о. Серафим терпеливым слушателем, мудрым наставником, добрым советником, сострадательным судьей.

Но уже утомилась душа его земным шумом и земными заботами. Давно сердце просилось к тихому созерцанию, к «умному деланию», к восторгу и слезам уединенной молитвы.

Лес и его великую красоту, его безмолвие и его протяжный благовест – всегда любил о. Серафим и знал сладкую и светлую радость молитвы у подножий столетних деревьев.

* * *

Так-то, вот, однажды летом, после ночного молитвенного бдения, после тонкого предутреннего сна, каким так легко спят благостные старички, вышел о. Серафим из своей саморубленной келейки и пошел в лес. Туманы еще бродили между деревьев, цепляясь за хвою и за листья прозрачной кисеею. Еще с ночи струили дикие гиацинты свое кадильное дыхание. Восходило над лесом золотое солнце.

Шел о. Серафим в своем старом зеленоватом подрясничке, сам седенький, в празелень, почти неприметный в лесу, и никто его не боялся: ни птицы, ни звери, ни растения. Шел тихонько и шептал любимые стихи свои, из книги пророка Даниила, из хваления Господу трех отроков в пещи огненной.

«Благословите, росы и иней, Господа, пойте и превозносите Его во веки!»

«Благословите, ночи и дни, Господа, пойте и превозносите Его во веки».

«Благословите, свет и тьма, Господа, пойте и превозносите Его во веки».

«Благословите, небеса, Господа...»

«Благословите, горы и холмы, Господа...»

«Благословите, все ветры, Господа...»

«Благословите, источники, Господа...»

«Благословите, моря и реки, Господа...»

«Благословите Господа, киты и все движущееся в водах…»

«Да благословит земля Господа, да поет и превозносит Его во веки…»

«Благословите, все птицы небесныя, Господа...»

«Благословите Господа, звери и весь скот...»

«Благословите Господа, все произрастения на земле...»

«Благословите Господа, праведные и смиренные, пойте и превозносите Его во веки!»

Так творил утреннюю молитву о. Серафим и, случалось, от душевного умиления, простирал руки кверху, к небесам – подножию престола Божьего, как бы вознося к Господу благословение земли и всего, что на ней.

Была тут, по неведомой лесной дороге, одна знакомая старцу еланька, забегавшая весело в лесную чащу. Всегда на этом месте выходил из леса матерый, старый медведь, – огромный бурый медведь с белым ожерелком на шее – уж много лет знавший и любивший старца, и присоединялся к нему, переваливаясь близ правой ноги о. Серафима. Так они вместе и гуляли по лесным прогалинам, и старец порою рвал для своего спутника дикую малину, ежевику, собирал бруснику, чернику и гонобобель.

Вышел и теперь медведь и пошел рядом со старцем, касаясь его ноги своим мохнатым ухом. И вдруг преисполнилось сердце о. Серафима великою радостью, горячей благодарностью к Господу. И воскликнул он громко, как мог, кладя руку на медвежью морду:

— Благословите Господа, медведи, пойте и превозносите его!

Стал тогда медведь на дыбки, поднялся, огромный, черный, неуклюжий, навстречу солнцу, вытянул вверх мохнатые, когтистые лапы и взревел на весь лес. А на голос старшего главного медведя закричали к небу и все лесные медведи, большие и малые, овсянники и стервятники...

И заплакал сладко умиленный старец.

1925 г.

ЛЕСЕНКА ГОЛУБАЯ

На французском фронте был ранен в живот осколком немецкого снаряда русский пехотный капитан Андрей Андреевич Чистов. Скорая и верная помощь раненым воинам была поставлена во французской армии превосходно. Но от невольного ли запоздания, от случайной ли небрежности при первой перевязке или, наконец, от загрязнения, рана капитана Чистова была в госпитале признана не только тяжелой, но и грозящей быстрым смертельным исходом.

Вообще, ранения в живот считаются наиопаснейшими для жизни, да и сам Андрей Чистов был настолько сведущ во французском языке, что без особого труда понял из разговора двух врачей название своей болезни: гнойное воспаление брюшины. Понял он из кратких, отрывистых распоряжений старшего доктора насчет завтрашней операции также и то, что его положение – более чем безнадежно.

Чистова лихорадило, но сознания он не терял. Лежал на спине, вытянув руки вдоль тела, поверх пикейного одеяла, не ощущая в себе ничего, кроме густого скучного равнодушия. В голове была пустота и какой-то шелестящий, стрекочущий шум, точно там, внутри, неутомимые писцы писали на пишущих машинках и все перелистывали страницы.

Так было днем. Но вот порозовел, посмуглел, стал темнеть тихий весенний вечер. В монастырском саду, над старыми каштанами, высоко в кротком бирюзово-зеленом небе, робко задрожала первая звезда – чистая, невинная и нежная. Санитары закрыли на ночь стрельчатые старинные окна упраздненного монастыря, и сразу вновь сделался ощутимым на несколько минут угнетающий запах больницы, к которому за день привыкаешь так, что не замечаешь его. Зажглись электрические лампочки под глубокими коническими колпаками из зеленого стекла. Сразу почернели оконные стекла. Наступила ночь. Тогда душою Чистова овладели тревога и предсмертный страх. Нигде нет таких зловещих, таких печальных и томительных ночей, как в госпиталях и больницах.

Теперь уже не писцы торопливо стучали клавишами и шелестели бумагою у него в голове: ее наполнили, теснясь, язвительные мысли о прошлом и непоправимом, жгучий стыд за все гадкое, сделанное при жизни, и холодный ужас перед тем будущим, которое разверзнет перед ним завтра черную бездонную пасть.

Должно быть, он застонал незаметно для самого себя, потому что неслышными, легкими шагами подошла к нему, в белом своем платье, ночная дежурная – сестра Тереза – и бережно склонилась над ним.

– Вам нехорошо, друг мой? Чем я могу помочь вам? Хотите я посижу с вами? Если же вы очень страдаете, то доктор разрешил впрыснуть вам морфий.

И она осторожно присела около него на табуретку.

Чистов не видел теперь в полутьме её лица, но ясно припоминал и воображал его. Оно все дышало тишиною, состраданием, нежностью и добротой. Женщины разных стран, классов и типов могут быть красивыми или некрасивыми, в зависимости от расовых,

культурных или личных вкусов. Но всякая женщина прекрасна, когда она озарена всечеловеческими чувствами материнской любви и братского милосердия.

– О да, милая сестра, побудьте со мною, если это вам не трудно. Дайте мне вашу руку, дорогая сестра Тереза. С вами мне не так страшно.

– Чего же вы боитесь, брат мой? Все во власти Божьей, и без его воли ни единый волос не упадет с головы человека. Ведь вы верующий?

– Я христианин и верю, как могу. Не так совершенно, как надо и как я хотел бы. Но, сестра, я боюсь не смерти, я трепещу перед будущей жизнью... Я солдат и скажу вам без хвастовства, что много-много раз, не моргая, глядел в лицо смерти. Но загробная жизнь ужасает меня... Не могу я овладеть собою, когда думаю о ней!

– Не бойтесь. У Господа так много, так неисчерпаемо много милости!

Чистов мучительно заерзал головой по подушке, застонал и заскрипел зубами. Сестра Тереза тихо поднялась, отошла к столу под окном, освещенному бледно-зеленым светом низко опущенной лампочки, и через минуту вернулась к больному. Она отвернула назад рукав его рубахи. Чистов почувствовал легкий укол между локтем и плечом.

– Сейчас вам будет легче, – прошептала сестра.

– Спасибо, сестра моя, – сказал Чистов и слабо погладил её руку. – Но вы послушайте меня. Мне некому сказать... И времени мало...

– Говорите, говорите.

– Вы правы, Бог всемилостив и конца нет его доброте и любви, ибо он сам – Любовь. Но ведь должны мы также верить в грядущую награду праведникам и в наказание грешникам. В рай и в ад. Не так ли?

– Да – грустно согласилась сестра Тереза. Должны.

– Так вот, милая, святая сестра, я так ужасно и чрезмерно нагрешил против всех заповедей Божьих, понимаете ли – против всех, – что, знаю, мне уже не будет прощения на том свете.

– Не говорите так. Это нехорошо. Это отчаяние. Великий грех.

– Подождите, сестра моя... Я заранее преклоняюсь пред высшим правосудием. Виноват – терпи наказание без ропота. Я знаю, что завтра у меня будет лишь один шанс на миллион – остаться в живых на операционном столе. Но, Боже, как мучительно, как нестерпимо горько мне думать о том, что теперь уже поздно, что я не могу уже всеми делами и усилиями оставшейся мне жизни хоть немного облегчить, хоть отчасти залечить сделанное мною зло. Вот

что меня терзает больше всего, даже больше того, что умру я без христианского покаяния...

Сестра Тереза еще ниже наклонилась к его лицу.

– Молитесь.

– Еще два слова, сестра... Понимаете ли вы, что это позднее сожаление, эта невозможность переделать или загладить прошлые ошибки – это и есть начало вечного наказания. И там, в аду, – каков бы он ни был, я не в силах буду никогда утолить этого жгучего сожаления и отчаяния. Вот они: вечный адский огонь и вечная жажда! Один католический священник, мой друг и брат по войне, однажды рассказал мне о святой Терезе, которой благословенное имя вы носите с такою скромною честью. Случилось раз, что она заплакала. Ее спросили о причине слез, и она ответила: «Мне стало жалко дьявола. Как он несчастен! Он хочет любить, но не может». Слыхали ли вы, сестра моя, что-нибудь ужаснее этого приговора? Но ведь та же судьба ждет и его жертвы. На веки вечные. Подумайте: не знать любви!

– Молитесь – повторила сестра. Теплая слеза капнула на щеку Чистова.

– Молитесь Пресвятой и Пречистой Деве, Матери Спасителя Нашего! Молитесь Ей! Только Ей! Молитесь сейчас же! Повторяйте за мною слова молитвы.

С глубокой верой, со страстной мольбой стала она читать трогательные и сладкие слова какой-то прекрасной вдохновенной молитвы. И хоть они были французские, но повторявший их за сестрою беззвучным шепотом Чистов понимал каждое, во всем его чудесном смысле, слово. Когда сестра окончила, перекрестилась и перекрестила больного, он почувствовал в душе тихую и легкую, точно улыбающуюся, свежесть.

– Спите с Богом, брат мой. Пресвятая услышит вас.

* * *

На другой день его оперировали. Известный хирург (кстати, – русский врач, еврей, от которого автор и слышал этот рассказ), делавший операцию, был твердо убежден, что капитан не выживет; такие жестокие размеры приняла болезнь. Но искусство доктора, богатырский организм Чистова, воля случая – а я думаю, что его молитва, дошедшая до Преблагой, – совершили чудо. Выпутался капитан из объятий смерти; только пришлось ему пролежать на спине два месяца. И как-то однажды вечером, когда он шепотом благодарил сестру Терезу и, слабый, как все поправляющиеся после тяжкой болезни, плакал, целуя её руки, – она сказала:

— А теперь я вам расскажу, почему человеку, дошедшему до последнего отчаяния в милосердии Божьем, надлежит молиться Пресвятой Богоматери. Существует у нас в набожной Бретани такая легенда:

«Когда окончил свою земную жизнь святой апостол Петр и был призван на небо, то вручил ему Господь, взамен ключей от Церкви, небесные ключи от райских ворот. Со всей священной ревностью нес свою высокую службу святой Апостол, отпирая двери рая для душ тех людей, которые своей земной жизнью и по решению Высшего Праведного Судьи оказывались достойными небесных блаженств.

И так много лет велся этот неуклонный и чинный порядок.

Но только однажды приходит Апостол Петр к Господу Богу в великой тревоге и, целуя конец его светоносной ризы, говорит:

— Господи, да минует меня Твой гнев: должен я сказать Тебе о моем беспокойстве. Вот уже много дней, как я замечаю в пресветлом Твоем рае некоторых людей, которых я не впускал в райские двери. Не могу себе объяснить, как они сюда пробрались. И лица их как бы не очень походят на лица праведников. Боюсь, уж не козни ли это дьявола? Он и слуги его ловки на всякие хитрости. Но, зная, что ключи всегда у меня и что другого входа нет, не перестаю недоумевать и даже скорбеть.

Господь ответил:

— Твоя служба – твой и ответ, святой Апостол. Смотри внимательнее за входящими в рай – и перестанешь видеть незваных гостей.

Прошло еще несколько дней. Опять приходит Апостол к Саваофу:

— Боже великий и милосердный! Что ни день, все больше проскальзывают чужие люди, неведомыми мне путями, через райскую ограду. Обращаюсь к Твоей мудрости и власти: я же здесь бессилен, и мудрость моя ничтожна. Ты один – Всезнающий.

Тогда сказал Бог:

— Следуй за мною, Святой Петр. Обойдем вместе пределы рая и сами исследуем, в чем причина тех явлений, которые тебе наделали столь много законной и похвальной тревоги. Идем.

Так и пошли они: впереди Владыка, сзади апостол. Долго ходили, даже устали. Дошли, наконец, до малой гранатовой рощицы и заметили сквозь ее ветви чей-то голубой хитон. Подошли осторожно поближе и что же увидели? Под горой, на зеленой лужайке, усыпанной маргаритками, стоит Пресвятая Дева Мария и смотрит вниз, с края глубокого обрыва, откуда видна вся земля и видны все люди. В руках же у Пречистой тоненькая едва видная лесенка, сотканная из тончайшего голубого шелка.

Слышатся из пропасти жалкие стоны, слышатся вопли страдания, слышатся жаркие, горькие мольбы. И вот раз за разом отпускает Пречистая свою паутинную лесенку; та развертывается, падает вниз, и один за одним вскарабкиваются по ней на лужайку бледные, исстрадавшиеся, измученные, заморенные, забитые люди, мужчины и женщины, и робко исчезают в райских садах, цветниках и рощах. И после каждого спасенного подымает Владычица вверх прекрасный свои руки и говорит умиленно:

— Господь мой и Бог! Ты все видишь, слышишь и знаешь. По неизреченному Своему милосердию, прости мне, что нарушаю я мудрые порядки твоего Пресветлого Рая. Но жила я на земле и сама я – мать. Могу ли я отказать матери, умоляющей за сына? И не я ли мать всего слабого, страждущего человечества? Отпусти мне грех мой.

Положил тогда Бог всемогущую свою руку на плечо Апостола Петра и сказал:

— Пойдем отсюда, святитель, потихоньку. Нам с тобой здесь делать нечего.

* * *

А когда Чистов совсем поправился и, уезжая опять на фронт, прощался с сестрой Терезой, то повесила она ему на шею, на голубом шнурочке, маленький серебряный образок Богородицы с той самой надписью, которую каждый может видеть на фронтоне Миланского собора:

Mariae nascenti.

1926 г.

ЗАКЛЯТИЕ

(Рассказ)

Вот какую сказку рассказала мне однажды цыганка Ириша Федорова на рассвете московского утра. Я передаю ее со всей ее первобытностью и неправильностью выражений.

* * *

Как-то цыгане были в таборе. Потом влюбился один цыган в цыганочку. И вот, родные не отдавали за него эту цыганочку. Он был от нее верст за триста, и она не знала, что он умер. Но он умер не своей смертью, а отравился, потому что цыгане из того рода, которые любят или умирают.

В старину мертвые ходили без заклинания.

– Что же делали они?

– Ужинали. Приходили в дом и ужинали. Им оставляли пищу – когда хозяева поужинают, то оставляют пищу мертвецам. Они входят, как только «светло» затушат, входят и ужинают.

– Страшно было?

– Конечно, страшно. Потом ничего – привыкли.

И вот этот мертвый цыган однажды приехал к этой цыганочке и говорит:

– Ну, слушай, ты хочешь за меня замуж идти?

Она говорит:

– Хочу.

– Но ведь я мертвый уже!..

– Неужели ты умер? А отчего ты умер?

– Я отравился, потому что не мог жить без тебя. Я видал красивых невест и богатых невест… Но, если бы ты была одета в мэлалэ (рубище), я тебя так же любил бы…

Потом она собирает свои платья, в узел вяжет, а он ждет. Говорит: «Поскорей». Спешит, чтобы полночь не подошла.

Потом она связала все свое платье в узел, повязала на шею кораллы, села с ним верхом впереди на лошади и уехала. Но раньше она предложила ему: «Миро дрого (мой милый), я тебе приготовила яичницу. Может быть, ты поешь?» Но он стал, точно собака, на четвереньки, фыркнул, но есть не стал.

Отъехали они четверть дороги, он и говорит: «Ах, как смешно, – мертвый живую провожает».

Она спрашивает: «Что ты говоришь? Мне это страшно».

А он: «Ничего. Это я так себе».

Проехали дальше. Он опять говорит: «Ах, как удивительно, – мертвый живую провожает».

Она говорит: «Почему ты так говоришь? Мне очень страшно!»

Три раза он сказал так, вдруг показывается церковь, и там могильники, калитник (кладбище). Потом приезжают туда. Могила его открыта. Он, мертвяк, говорит: «Полезай туда».

А она вдруг догадалась. Так что не полезла и говорит ему: «Полезай ты. Ты там лучше знаешь в своем помещении, а я буду тебе вещи подавать».

Потом она развязала узел, вынула вещи, все ему кидала, так что выжидала время, когда прокричат петухи. Она кидала, все кидала. Сначала узел развязала и платок бросила. Потом стала платье верхнее снимать, потом юбку… Осталась в одной рубашке. Потом кораллы стала отвязывать: когда отвяжет, опять завяжет, отвяжет и завяжет. Все время повторяет.

А мертвец все время говорит: «Что ты так долго?». Он спешит, потому что знает время петуха. Так он говорит: «Скорее!».

Она говорит: «Миленький мой, знаешь, когда я собиралась с тобой, то я так боялась своих родных, чтобы они не услыхали, что я хочу с тобой уехать, то так я туго завязала коралловое ожерелье, что не могу развязать».

Она это делала, чтобы скорее время прошло. Потом, когда она кораллы бросила, осталась в одной рубашке (она же время провождает), а он там укладывает в могиле, стелет, чтобы им было помягче спать. «Скорее!» – говорит он опять.

А она в одной рубашке осталась. Время совсем мало было. Она разорвала рубашку, бросила один кусок рубашки, потом второй. Когда бросила третий, уже могила закрылась – петухи прокричали.

Потом она осталась голая. Что ей делать?

В табор пойти нельзя – светло будет. Так что она вздумала взойти на колокольню, где звонят. Взошла туда и стала звонить она.

Когда сторож проснулся, собрал много народа, потом батюшку позвали. Батюшка, когда приходит, говорит: «Дам заклятье ей. Если некрещеная душа, то «сгинь, пропади», если же крещеная, то «окажись»»!

Она сказала: «Батюшка, я крещеная, только не могу к вам сойти».

А батюшка говорит: «Почему?»

«А потому, что я голая».

Вдруг батюшка снимает свою ризу и подает ей туда, и она одевается и слезает вниз.

Когда спустилась, начала батюшке рассказывать все, что с ней было. Тут собрались мужчины. Батюшка так не поверил, а потом узнал, что он ее крестил, и поверил.

Потом разрыли могилу. Когда она раскрылась, то не запечатленный покойник лежал, не успев повернуться на бок – он лежал ничком на четвереньках. Когда посмотрели, – правда, платья там. И сказал ей батюшка: «Отойди от могилы на 40 сажен».

Она, конечно, не письменная и не знала, сколько сажен отошла, – так что не очень далеко отошла. Когда осиновый кол стали вколачивать в спину, вбивать, покойник завизжал. А кровь в нее брызнула! Три дня не выжила она после этого и умерла.

С тех пор стали делать заклятие: когда покойника понесут в калитник, тогда батюшка делает заклятие, потому-то они все заклятые и запечатанные. Если бы не были закляты, то они ходили бы и обманывали народ.

– А если он любил ее при жизни?

– Мало ли, что любил, а мертвый, когда умер, зачем же? У него ведь проклятая душа!

– Что же? Заклинают и самоубийц?

– Нет, самоубийц не заклинают, а проклинают, потому что самое страшное преступление перед Господом – лишить себя жизни, и перед Ним убийца, вор и богохульник гораздо белее…

И вот с тех пор, как говорят старики, начали заклинать и запечатывать мертвецов, и с тех пор больше они не приходят в избы и не живут человеческой жизнью.

1927 г.

КИСЛОРОД

Следующую удивительную и, по-моему, маловероятную вещь рассказывал мне однажды ранним весенним петербургским утром, в то время, когда мы возвращались из игорного клуба средней руки, некто Васенька Штольдер, не то игрок, не то арап, не то прямой шулер, но, во всяком случае, человек с огромным и пестрым прошлым, маленький, курчавый, смуглый, с желтыми белками, − человек, похожий на цыгана.

− В игре бывают случаи просто сказочные! – говорил он своим сиплым приятным баритоном. – Однажды, после большого выигрыша в Купеческом клубе, я решился, наконец, исполнить давнишнюю заветную мечту – съездить в Монте-Карло, где я до тех пор ни разу не был. Мне казалось, что если я, играя здесь с людьми, то есть с их личным, враждебным мне счастьем, с их различными характерами и опытом, все-таки выигрываю, то, конечно, слепую, глухую и равнодушную, как сама судьба, машину я должен победить.

Ах, каких я там типов нагляделся! Ведь это только сначала ничего не видишь, ослепленный потоками золота и собственной удачей. Но когда ненасытная машинка увлечет обратно и твой выигрыш, а вслед за тем и все твои собственные деньги, когда переходишь к мелочной, нищенской игре, длящейся обычно не более четверти часа, − тогда подолгу бродишь по роскошным залам казино и прислушиваешься, приглядываешься, замечаешь, запоминаешь. Видел я принцесс крови и кокоток, американских миллиардеров и лондонских воров, немецких пасторов и растакуэров, − и все они перетасованы, как карты в колоде. Но больше всего поразил мое внимание и любопытство один русский. Он приходил в казино ежедневно, к одиннадцати часам утра, и оставался до самого конца, до закрытия, делая два получасовых промежутка

для еды. Это был грузный, оплывший мужчина, лет пятидесяти, с темным опухшим лицом и с черными мешками под глазами. Подвигался он с большим трудом и на ходу часто останавливался, чтобы перевести дыхание, и тогда на него жалко бывало смотреть. С выпученными безумными глазами, с раскрытым ртом, он жадно ловил воздух, высоко нося грудью и животом, и походил на большую рыбу, только что выуженную из воды. Не было сомнения, что он страдал жесточайшей сердечной или легочной – я уж там не знаю, как назвать, − астмой.

Такие же припадки случались с ним нередко и во время игры, и я вскоре заметил, что для того, чтобы успокоиться, он каждый раз вытягивал из левого рукава резиновую трубочку с черным наконечником и делал из нее несколько затяжек, точно курил. Играл он очень спокойно, расчетливо и совсем умеренно – пятифранковиками. Выигрывал мало, а когда проигрывался до конца, то все-таки не оставлял стола и своего привычного, насиженного места и, не играя, только отмечал в записной книжке выходящие номера.

Мой случайный знакомый, сосед по отелю, рассказал мне кое-что о нем. Этот странный человек был раньше очень богатым приволжским помещиком. Лет десять тому назад он приехал впервые в Монте-Карло, удивил всех своей блестящей игрой – на него собирались смотреть, как на Шаляпина, − выигрывал около ста тысяч франков и даже – чудо! – имел мужество и самообладание увезти их с собою, в свою Казань или Самару.

Но недаром покойный Блан говорил: «Мы живем именно тем, что все, кто у нас выиграл, непременно вернутся к нам». Вернулся и помещик и, конечно, проигрался дотла. Заложил все свои черноземные поместья и мельницы и тоже проиграл. Продал их и опять проиграл. С тех пор он безвыездно живет на Лазурном берегу, ничем не интересуется, кроме рулетки. Откуда-то из России получает он ежемесячно пенсию – небольшую, но вполне достаточную для стола, квартиры и скромной игры – франков по сорок-пятьдесят в день. В последний год он стал страдать злейшим удушьем и потому всегда носил с собою под платьем небольшой мешок с кислородом. Трубка от мешка проведена незаметно в левый рукав, и каждый раз, чувствуя приближение удушья, он незаметно правой рукою отворяет под полой сюртука кран и дышит оживляющим газом. Знакомств он избегает, и никому неизвестно, где он живет.

В тот день, о котором идет речь, я видел его три раза. В первый раз утром в Ницце, в «Лионском кредите». Он получал деньги, и, насколько я мог судить издали, довольно крупные. Он суетился, волновался, задыхался и часто дрожащей рукой подносил ко рту свою

трубку с кислородом. Потом я увидел его, к своему удивлению, не в зале, а в парке Монте-Карло. Он сидел в тени платанов, задумчиво согнувшись, и чертил что-то тросточкой по песку дорожки.

«Наполеон перед Аустерлицем», − подумал я невольно.

Когда он, наконец, с трудом поднялся и ушел, я подошел к его скамейке и посмотрел: что такое он чертил своею тросточкой? Оказалось, − все одно и то же число: 23, 23, 23, 23.

Наконец в последний раз я увидел его в казино, за игорным столом, на обычном месте. Он не играл, но и не записывал, против обыкновения, выходящих чисел. Многое мне, опытному игроку, сказало об его необычайном волнении: дрожание рук, особый напряженный блеск глаз, нервное прикусывание нижней губы, испарина на лбу. Чаще, чем обыкновенно, вытягивал он из рукава свою трубочку и усиленно затягивался из нее. Я следил за ним. «Сейчас Наполеон двинет старую гвардию», − думал я.

И вот, в то время, когда игроки с безумной поспешностью ставили на зеленое разграфленное сукно свои ставки и крупье уже готовился пустить шарик, он вдруг воскликнул:

− Прошу подождать минуту!

Его знали по прежним проигрышам и по корректности игры и относились к нему с почтением. Поэтому крупье задержался, глядя внимательно в его сторону.

Тогда он, не торопясь, начал посылать полностью свои ставки сначала на № 23, потом a cheval, en carre и затем на все комбинации, касающиеся 23-х: на среднюю дюжину, на среднюю колонну, на красное, нечет и passe. Затем он остановился и кивнул головой.

Крупье пустил шарик. В тишине раздался его возглас: «Rien ne va plus». Слышно было только, как шарик с рокотом бегал по гнездам. И тут многие заметили, что помещик вдруг склонился над столом, точно в минутной дремоте.

– Vingt-trois, rouge, impair, passe! – крикнул крупье.

Игрок с кислородом выиграл семнадцать раз полностью – сто четыре тысячи франков. К нему подвинули лопаточкой кучи бумажек и золота. Но он не просыпался от своей дремоты.

− Monsieur, monsieur! – испуганно крикнул, наконец, крупье и слегка толкнул игрока в плечо.

И тот, мертвый, покорно рухнул всем телом на стол.

А когда его унесли, то десять человек кинулись, чтобы занять его место. «После мертвеца везет!» − такова поговорка в Монте-Карло.

1927 г.

ПОСЛЕДНИЙ БУРЖУЙ

(Рассказ)

Все, о чем здесь будет рассказано, случилось в декабре 1940-го года, в посаде Гатчино, находящемся в сорока верстах от бывшего Санкт-Петербурга, бывшего Петрограда и бывшего Ленинграда.

В то время С.С.С.Р., всегда шедший во главе всемирной революции, успел, раньше всех прочих стран, стряхнуть с себя гнусное бремя буржуазного кровавого насилия. Дружным последним натиском коммунистического фронта в нем были начисто истреблены все представители прожорливой буржуазии, вместе с ее побегами и корнями. И только один единственный буржуй во всей великой С.С. республике был пощажен и оставлен в живых. Это был, именно, Изот Макарыч Шишипторов, гатчинский мещанин.

Любопытствующие внуки наши могут спросить со справедливым изумлением: как же могло случиться такое странное, исключительное и как бы нелогичное недоразумение? Для удовлетворения этой пытливости молодых умов мы рассказываем как строгий факт:

Вышеупомянутый последний буржуй, будучи приведен в Ц.И.К. и поставлен перед глазами товарища Матвея Кислого (мир урне с его прахом), уже трепетал за свою неизбежную участь по всей строгости высшей меры наказания. Но товарищ Кислый замедлил с решением, и все вокруг безмолвствовали. После некоторого молчания Матвей возвысил голос и сказал: «Нет. Оставим его в живых. В Париже в зоологическом саду я видал однажды скелет допотопного Ихтиозавра. Огромная скотина! Если бы она встала на задние лапы, то свободно могла бы обгладывать верхушку дерева, высотою с Эйфелеву башню. Я смотрел, удивлялся и говорил себе: «Не может быть». Однако – факт. Совершенно реальный! Вот так же я и предлагаю сохранить этого буржуя живым и непопорченным для обозрения и назидания коммунистической молодежи и северно-полярным депутатам. В своем едином лице пусть он будет целым живым музеем. Знайте, что революции нет без пафоса, а наша революция перманентна, ибо кто прочтет, какие мысли гнездятся в голове граждан, даже абсолютнейшей из республик? А без крика мести народной – нет революции, и, следовательно, придет нам крышка, если не на кого будет нам этот гнев изливать. Итак: берите его и только лишь надзирайте, чтобы он не обзавелся потомками. А по смерти его, сделать из него говорящее чучело со вращающимся механизмом. Слово мое навеки!

Вот и все о причинах мирного жития буржуя Шишипторова после общей смерти наглой буржуазии. И потому, оставив в стороне величественный стиль летописи, мы переходим к упрощенному слогу устного пересказа.

* * *

И правда, жилось Изоту Макаровичу недурно. Священная память Матвея Кислого его охраняла, как броней из двойной ванадиевой стали. Соседи ему завидовали. Шел ему тройной паек с винцом. По декрету имел он право держать во дворе трех кур с лоншанским петухом, в доме – образа, герань, канарейку и холощеного кота, а в огороде: березку, две грядки и куст крыжовника. Хотели было отобрать у него колоду разбухших засаленных карт, но Макарыч уперся, забурлил и … оставили. Да и мало того: власти знали, что последний буржуй сохранил старую привычку играть в «козла» с Прохором Парфентьичем, голодным сапожником, и Никифором, кладбищенским сторожем. Знали, но глядели сквозь пальцы, не препятствовали. Побился Шишипторов однажды об заклад с сапожником (надо сказать правду, было это после стаканчика двойного псковского самогона), что напишет он в местный совдеп прошение о выдаче ему полбутылки рома, по случаю ревматизма в суставах, а то иначе он, по болезни, от своей должности отказывается навсегда, и ему выдадут. И что вы думаете? Прислали ведь. И даже в сопровождении бумаги: в последний, де, раз, и дальше… непотребные слова.

А должность его состояла вот в чем. По особым торжественным дням, юбилейным и прочим, приезжали в Гатчино во многих поездах пламенные комсомольцы, знатные иностранцы и представители экзотических республик: корелы, вогулы, тунгузы, чичимеки, зыряне, ботохуды, лапландцы, эскимосы, рукосуи, чудь, весь, бардадымы, туареги и др… Все они стройными рядами, под звуки «Интернационала», проходили мимо хибарки последнего буржуя, издавая яростными криками слова святой мести народной: Долой! Долой! Позор! Позор! Смерть буржуям! Смерть! Оплевать буржуя! Разрушить его дворцы до основания и сравнять их с землею! Но спасибо бдительной милиции, если не честь, то во всяком случае жизнь и имущество Изота Макарыча, оставались неприкосновенными. Однажды, правда, пылкие курды не воздержались и разбили стекла. Но на другой же день пришел от совдепа стекольщик и починил рамы на счет республики.

Это ли не жизнь? Повторяю, соседи ворчали иногда: это чего же легче: ни шилом, ни топором, а ест кашу с молоком.

Но были, были, как видно, у Шишипторова свои угрызения и душевные тягости. С течением времени стал он все крепче скучать и дольше призадумываться, а в конце 40-го года совсем впал в мрачность.

Вот в таком-то прогорклом настроении он и пришел однажды к своему другу сапожнику. Была середина декабря. Сапожник обрадовался.

– Ах, миляга, сколько лет, сколько зим! Значит, игранем в «козла»? Я сейчас мальчонку за Никифором пошлю. Он духом слетает.

Но Изот Макарыч отказался. Впервые в жизни.

– Друг, не до «козла» мне. И вообще ни до чего. Есть у меня к тебе огромадная просьба. Ты человек весьма грамотный и политический, а, как сапожник, подвержен философии. Напиши мне прошение в самый главный ЦИК, главнее которого нет. Не желаю больше служить в буржуях. Вот по горло, по сие место опротивело. Слагаю с себя!

Сапожник стал его образумливать: «Да дурак ты, Макарыч! Да какого тебе хрена еще надо? Живешь, как в раю зеленом… Не глупи, старикан».

Ничего не помогло. Твердит Шишипторов одно лишь: «Слагаю, да слагаю».

Говорит: «Вот у нас за Пижмой пустошь была, снимало ее общество свободной охоты. Ну, потом они всех зайцев перестреляли. Остался всего один русак. Тогда порешили его не стрелять до смерти, а только так, баловаться, чтобы правильная охота все-таки не прекратилась. Вот и палили ему бекасинником в мягкие места, преимущественно же в зад, а он все жил и жил. Потом уже его мальчишки поймали. Не мог заяц ходить. Мелкой дроби в нем оказалось пятнадцать фунтов… Словом, не хочу быть таким последним зайцем. Слагаю.

– Да подумай ты, дурашка…

– Думал уже. Целый год размышлял. Будет. Слагаю и никаких! И уж если ты нашу старую дружбу ценишь хоть в копейку…

– Да ладно, не плачь. Напишу.

– Так и напиши: Желаю, мол, поступить в беспартийные, или в сочувствующие, или хоть в «комсомол», а так больше не желаю. Какое мое положение? Точно шут, или в роде, как палач. Или вот еще на балаганах бывает деревянный турка, лупят его для измерения силы кулаком по башке. Да ты только пойми мою обиду-то, Прохор Порфирыч. Человек ведь я!

– Ладно, уж, ладно, будь по-твоему.

Написали они бумагу. Очень сильную. И про турка, и про зайца, и про шута с палачом. В тот же день и в почтовый ящик опустили. Без отступления.

Бумаги-то в славнейшей из республик известно как ходят: месяцами и годами – куда нам спешить, живучи в планетарном масштабе? А эта подействовала через день, вроде слабительного жостера: так густо была она мудрым сапожником написана.

Под вечер сходил Шишипторов в баньку, попарился с горя, а, пришед домой, зажег лампадку перед образом и стал тешить душу чайком с крыжовенным вареньем. Как вдруг зашипело и запыхтело у ворот, просияли сквозь тьму два золотых глаза и дважды отвратительно рявкнул автомобильный ревун. Затем постучали в дверь и появились два гостя.

Они в крошечной передней сняли свои шубы и вошли в горницу. Первый был в сером широком балахоне, длинный, длиннорукий, длинноногий и весь ломкий. Когда он вставал или садился, то казалось, что это распрямляется и опять складывается деревянный аршин на шарнирах. Другой очень походил на провинциального баритона: толстый, бритый, жирный, с масляными черными глазами, с красными большими губами, с оранжевым галстухом-бантом.

– Прошу, – сказал неуверенно Шишипторов, показывая на стулья. – Чайку, может быть?

– Мы только на минутку, – сказал складной, протирая пропотевшие роговые очки. – Скажите, товарищ буржуй, что это вы за бунт такой делаете? Признаюсь, мы все встревожены.

– Да, помилуйте, да я, – залепетал смущенный Изот Макарыч. – Но, действительно, мое положение… И вообще… Вообще слагаю с себя… не могу-с…

Складной рассердился.

– И ничего вы с себя не сложите. Это вздор. Вы неблагодарны. Вы забыли милость, так великодушно дарованную вам товарищем Кислым. Вы не цените того, что вам, единственному, оставшемуся в живых буржую, предоставлено кроме жизни, высокое и почтенное положение. Говорю вам, открывая наши карты: без вас в положении последнего буржуя, нам негде больше найти места, где мы могли бы издавать крик мести народной. Поймите же ваш долг перед величайшей из революций мира. Или, может быть, вы чем-нибудь не довольны на нас? Прошу высказаться откровенно. Изложите ваши требования, вот, моему товарищу.

– Да, я… да, мне…

Но тут к нему подсел, вместе со стулом, актер и нежно обнял его за спину.

– Дорогой товарищ буржуй! – начал он сладким густым, попорченным баритоном. – Ну, чего вы хотите? Скажите, вкуснячка, по душе, по совести. Домик попросторнее? Да мы вам, голуба, сейчас любую дачку очистим. Паек лишний требуется? С нашим удовольствием, дорогуля, по высшей квалификации. Винца? Пожалуйста, хоть залейтесь, любезняка, императорских погребов! А если сердцевиночка вы моя, потянуло вас на женский пол, – сделайте милость, хоть церковным окрутим, с кем угодно, в четверть секунды. У нас, душеночек наш абрикосовый, это без затруднения. Да и к чему подробности! Просто скажите ваше любое, самое фантастическое желание – и мигом! Ну, же, нежненочек. Ну!

Смотрел на него изумленный Шишипторов мутными глазами, как бык, ошарашенный ударом по темени. И вдруг, неожиданно для себя, промычал: «Мне бы… елку… на Рождество. Елку… как прежде у генералов…

Актер вскочил.

– Только-то? Мы-то думали, что вы, черт знает, чего захотите. Елку? Готово! Как в сказке тысяча и одной ночи. Ейн, цвей, дрей – готово! Адью, карамелька моя сладострастная. Адью.

Складной выпрямил постепенно все свои суставы и откланялся. Оба вышли.

Прошло три дня. 24-го декабря вечером, когда уже смеркалось, и снег за окном стал сине-фиолетовым, опять раздалось у ворот свирепое блеяние разъяренного автомобиля.

Вошли два приличные юноши, в военной форме, но без оружия и сказали вежливо: «Пожалуйте».

Шишипторов, молча, пошел за ними. Они отвезли его в местный совдеп и оставили там. Ничего дурного в совдепе Изоту Макарычу не чинили. Там сидели и валялись на скамьях все свои, знакомые, гатчинские. Они, не переставая, курили, плевали на пол и вяло говорили скучную похабщину. На Шишипторова посматривали с какими-то ленивыми, но загадочными улыбочками. Через два часа опять зарычал на улице тот же автомобиль-ревяка. Вошли вежливые юноши и опять сказали: «Пожалуйте». Подъезжая к своему дому, Шишипторов увидел, что сквозь стволы березок, отяжеленных снежными шапками, горят волшебным теплым светом оба его окна. Но он не испытал ни удивления, ни удовольствия. Он вошел в комнату. Посредине ее сверкала огнями прекрасная елка. Вся она была унизана золотым и серебряным убранством, цепями, орехами, дождем, на крайних ветках раскачивались плакаты: «Долой!», «Позор!», «До конца!», «Фронт». А на верхушке были прицеплены сверкающие игрушечные ружья, гильотины и виселицы.

Шишипторов остановился с расставленными врозь ногами, с тяжко опущенной головой.

Из-за занавески вышли недавние гости. Складной и актер. Актер только размахнул руками, точно хотел заключить последнего буржуя в свои широкие объятия. Но Изот Макарыч дико попятился назад, вдруг весь засиял широкой идиотской улыбкой и запел пронзительно: «Гуляля, труляля, пе-ту-ха!»

– Вкуснячка! Что с вами?

Последний буржуй бессмысленно хохотал, пуская ртом пузыри.

1927 г.

ЕЛАНЬ

Конечно, не все знают, что такое Елань. Это залив, загиб в густом сосновом лесу, где светло, зелено и весело, где ландыши, грибы, певчие птицы и белки, где лепечет сладкий лесной ручеек, где, под стройными елочками, так приятно растянуться на мягкой траве.

1929 г.

СУД

... Когда же настал срок последнему дню, то вострубил Архангел в золотую трубу, сотрясая небо и разверзая землю. И восстало из несметных могил множество мертвых, исполнявших землю, и облеклось плотью. С живых же спали ветхие земные одежды. И все они, живые и мертвые, предстали на Страшный Суд нагие, подобно прародителям до грехопадения.

Нелицеприятный Судия восседал на престоле из облаков, осененных радугою и пронизанных молниями. И были двое великих отверзтых врат по сторонам престола. Одни, направо, вели в зеленый, сияющий сад, а из левых шел крутой спуск в дикое и черное ущелье, мгла которого изредка озарялась колыханьем багровых подземных огней.

Посредине же возвышались серебряные весы с золотыми чашками, и приставлены были к обоим концам коромысла два ангела — взвешивать добрые и худые дела человеческие. Подходили к тем весам поочередно все рожденные женщиной и, выслушав свой приговор, шли, по мере содеянного ими, направо, в жилище вечной радости, или налево, в геенну огненную...

И вот привели перед престол мужика. Весь он грубый, потрескканный и темный, как земля: весь в коросте и мозолях. Но только держит себя крепко и безбоязненно. Ангел ему шепчет на ухо:

— Какой ты несуразный. Здесь трепетать полагается.

Мужик ему отвечает:

— А чего мне бояться. Довольно мы перед земными судьями натрепетались. Стою перед единым Судьею праведным. Весь в его мудрой воле.

Судия же спрашивает:

— Что ты делал, мужик?

— Мы то? Пахали, боронили, сеяли, косили, молотили, за скотиной ходили... Всё вокруг хлебушка... А которые малоземельные, или земля неродяща, те по городам добывали. Плотники, каменщики, извощики, землекопы, банщики. Мало ли чего еще... Потом-кровью всю Россию полили.

— Сам-то всегда ли сыт бывал?

— Со всячинкой, Батюшка. Часом с квасом, порой с водой. Случалось и лебеде бывали рады. Мы не господа.

— Грешил много ли?

— Без конца и без числа, Владыко. Пьяницы мы и воришки, и снохачи, и обманщики. Да, ведь, Господи, – темный мы народ, серый, ничему не ученый... все одно, как слепые щенята... живем в грязи да бедности...

— На Бога роптал?

— Этого, пожалуй, не бывало. Больше говорили: Божья воля, Бог дал, Бог взял.

— Иди же с миром – сказал Судия. – Много ты потрудился, надо тебе отдохнуть. Святитель Николай! Иди-ка сюда, прими земляка.

Подошел седенький Угодник в стареньких ризах, обнял мужика и повел в святые ворота. И издали был слышен мужиков голос:

— Ах, Микола Милостивый, какие у вас овсы-то ядреные!

После мужика пришел солдат. Весь простреленный и порубленный. Белая рубаха на нем – в ночь перед сражением чистую надел, чтобы к Богу исправнее явиться – вся в крови.

Спрашивает Судия:

— За что дрался, солдат?

— Так что за Веру, Царя и Отечество, Господи.

— Много ли народу побил?

— Не могу знать, Господи. Куда пуля летит – не видно, а в атаке разве сосчитаешь?

— Грешил много ли?

— Грехи наши солдатские все перед Тобою, Господи.

— Лежачего не добивал ли?

— Никак нет, Владыка. Мы воины православные.

— Пленных не обижал ли?

— Никак нет. Сам, бывало, не доешь, а ему и хлеба, и каши, и порцию. Ему труднее.

— Начальники к тебе всегда ли были справедливы?

— А ты им прости, Всемилостивый.

— Молодец ты, солдат, – сказал Судия и позвал громко:

— Воины мои любезные, Георгий Победоносец и ты, российский Иосиф, князь Невский Александр. Возьмите-ка воина сего и отведите с почетом в рай. И двойную порцию ему.

— Покорнейше благодарю, Господи! – воскликнул солдат.

Потом приблизился к Престолу страшный разбойник. Пал он ниц, лицом в землю и возопил громко.

— Не спрашивай меня, Господи! Тебе все известно! Смердят мои грехи к нему и вопиют о возмездии без всякой жалости! Молю тебя об одном: пошли меня туда, где огонь пожарче и где дьяволы самые свирепые...

Судия же говорит:

— Ведомо мне: был однажды большой пожар, и в доме, объятом пламенем, осталось малое дитя, еще не умевшее ходить. Не ты ли, разбойник, бросился тогда в огонь и вынес младенца невредимым, окутав его своею одеждой?

– Господи! – вскричал разбойник, – Не засчитывай мне этого дела. Ведь не одна любовь меня толкнула тогда лезть в огонь. Кругом люди стояли... Хотелось своей храбростью пофорсить...

— А почему же имя свое утаил? Почему скрылся незамеченным?

— Да стыдно стало, Господи. Разбойник, душегуб и вдруг... Нет, не милуй меня, не милуй, Всемилостивый...

— А не ты ли ушел в монастырь, прияв ангельский чин. Не ты ли вериги носил и власяницу? Не ты ли денно и нощно омывал слезами покаяния свою совесть? Не ты ли в схиму постригся и возложил на себя обет вечного молчания?

— Господи! Свою душу я спасал, свою только душу! Но ни одну загубленную мною душу не вернули мои молитвы к жизни. Ничего не весит все мое покаяние перед единой моей злодейской мыслью, Всеблагой!

Тогда спросил Судия громко:

— Вы все, невинно загубленные сим разбойником, приявшие от него смерть без всякого покаяния, прощаете ли вы ему?

Как будто вздох пронесся, точно бы ветер зашелестел: «Прощаем, прощаем. За большое страдание прощаем».

— Нет, Владыка, не прощай! – закричал разбойник. – Во веки я на них глаз не посмею поднять. Не щади, не щади меня, Милостивый.

— Хорошо же, будь по-твоему, – сказал Судия. – Сойди ты в ад на лютые мучения и пробудь там тысячу лет за каждую жертву. Очистись и я позову тебя. Иди же.

И пропал разбойник в темном ущелье, куда указывал ему дорогу, вниз, своим пылающим мечом архистратиг Михаил. Пламенные языки взвились над ним и сникли.

Так один за другим представали перед Судией люди всех веков и всех народов. Привели также одного грешника в очках и с длинными волосами.

— Кто ты? – спросил Судия.

— Я? Я – социал-демократ, – ответил спрашиваемый скромно и гордо.

— Что ты совершил в своей земной жизни?

— Я перестраивал мир сообразно законам желудка.

— Что ты для этого делал?

– Я разрушал все созданное до меня бессознательным человечеством.

— Бога?

— Его нет.

— Религию?

— Это опиум для народа.

— Красоту?

— Выдумка праздной буржуазии.

— Семью?

— Вредный пережиток.

— Жалкое существо! – сказал с печалью во взоре Судия. По крайней мере, посадил ли ты хоть одно дерево при дороге, чтобы усталый путник освежился и отдохнул в его тени?

— Нет. Я не признаю частной благотворительности.

— Приласкал ли ты когда-нибудь ребенка?

— Зачем? Я учил его классовой борьбе.

— Отер ли ты слезы страдающего?

— Нет, я говорил ему о святой мести...

— Ты никогда не ошибался?

— Никогда.

Судия задумался. После долгого молчания он сказал:

— Значит, я ошибся. Этого существа я не предвидел. Я допустил зло, ибо без него не было бы действенным добро. Мудрость не су-

ществует без глупости. Трава для ягненка, ягненок для тигра, шкура тигра для человека. Все в мире нужно и уравновешенно. Один этот человек враждебен мне и не нужен в моих будущих творческих замыслах. Наказать его? Но он не знает своей вины. Простить? Но он не поймет и прощения. Иуда и Дьявол поймут – он не поймет. Что же мне с ним делать?

И после минутного размышления Судия сказал:

— Знаешь что? Не существуй более. Отныне и во веки.

Раздался легкий треск. Социал-демократ растворился в небытии навсегда.

И ничто в мироздании не дрогнуло, не шевельнулось.

1929 г.

АВИОНЕТКА

Жил-был в Париже, в наше время, немолодой русский фотограф Петр Иванович. Жил так себе, не особенно плохо, потому что был холост, нетребователен и не имел никаких дорогих пристрастий.

Но так как без увлечений могут жить только камни, то, конечно, и у Петра Ивановича имелась своя страстишка, правда, очень невинная – авиация. С самого раннего детства мечтал он хоть немножко полетать на свободном воздушном шаре или на аэроплане, но все как-то не приходилось. Пробовал он, еще живучи в России, поступить для отбывания воинской повинности в Гатчинскую авиационную школу, но приемная комиссия забраковала его по причинам: узости грудной клетки и неодинаковости слуха в обоих ушах.

Однако эти неудачи не только не охладили его воздухоплавательного рвения, но даже скорее еще больше возбудили его. Он охотно покупал разные руководства и брошюры по авиатике. Пропуская многие научные выкладки и алгебраические формулы, недоступные для его среднего образования, он, однако, теоретически овладел в совершенстве как несложною системой управления авионом, так и кропотливым уходом за мотором.

Ах, друзья мои, давно уже известно, переизвестно, что судьба лишь в самых редчайших случаях приготовляет для человека ту профессию, к которой он всего наиболее склонен и способен. Посредственный генерал артистически играет на бейном басе, прирожденный талантливый цветовод становится плохим профессором римского права, писатель всю жизнь мечтает о тренировке породистых скаковых лошадей, и так без конца, а причина этой непоследовательности в мироздании нам – увы – неизвестна.

В Париже, в утлом беженском положении, Петру Ивановичу улыбнулась, наконец, нежданная удача. Зашел как-то в его ателье молодой французский летчик со своей хорошенькой невестой. Узнавши о профессии клиента, Петр Иванович с радостью напряг все свои фотографические силы, средства и возможности, чтобы снимки вышли на славу. Кроме обыкновенных альбомных карточек, он уже от себя, сделал три кабинетных портрета. Он не только назначил потрясающе дешевую цену за свою работу, но даже любезно предложил обрученным, в виде поздравления, выпить с ним по рюмочке портвейна, с бисквитом на закуску. Прекрасная пара была совершенно очарована им.

Спустя неделю пришел другой летчик, через три дня еще двое. Потом и еще и еще, пока Петр Иванович, почти незаметно для самого себя, не сделался домашним фотографом для всех летчиков коммерческой авиации на аэродроме Бурже. Всех их он снимал с большой любовной тщательностью. Все пилоты были им увековечены, все: и М. Файоль, и М. Фай, и М. Феврейль, и многие другие. Петра Ивановича немного удивило, что большинство из фамилий начинается с буквы Ф. и что все они летают на аппаратах Фармана. Имел он честь снимать и знаменитого военного летчика Фонка.

Вход на коммерческий аэродром довольно свободный, не то что на замкнутый военный. Петр Иванович нередко приезжал из Парижа в Бурже полюбоваться, как отлетают в Англию, в Румынию, в Прагу огромные двухвинтовые авионы «Голиафы». И жутко и весело ему бывало смотреть, как серое чудовище медленно разворачивалось перед подъемом, ревя, трепеща, содрогаясь, извергая из себя запах бензина и касторового масла, как от его могучего дыхания в стремительном урагане летели над землей, песок, камни, пыль, какие-то обрывки, осколки, деревяшки, тряпки и всякий мусор, и как величествен бывал момент, когда «Голиаф» отдирался от земли.

На аэродроме заметили это жадное любопытство фотографа, и как-то, в пригожее летнего утро, очередной пилот сказал ему: «Перед отправкой мы всегда делаем пробный полет, чтобы окончательно убедиться и убедить ожидающих пассажиров в ровной и четкой работе машины. Так не хотите ли немного прокатиться со мной?»

Петр Иванович с восторгом согласился. Его усадили в кабину, и в течение четверти часа он парил над Парижем.

Такие поездки повторялись потом еще раза три, четыре. По правде сказать, хоть Петр Иванович и держал себя молодцом, но в глубине души эти воздушные пробы ему совсем не понравились, в чем он, однако, никогда бы не сознался из самолюбия. Трудно было дышать и тяжело пахло. Авион то и дело клевал носом вниз, и тог-

да все тело падало вниз, а сердце почему-то запаздывало, как бы отделяясь на мгновение, и это было очень противно. В окно тяжело было смотреть, и все казалось непонятным, скучно перепутанным: небо и земля, деревья и дома… Но тем не менее Петр Иванович внутренно уже считал себя опытным воздухоплавателем. Недоставало ему только возможности и случая самому сесть к рулю и по своей воле управлять аэропланом. Но мыслимо ли это?

Стояла сухая и теплая зима. Наступали рождественские праздники. У Петра Ивановича давно уже завелся симпатичный обычай: всегда перед Новым годом покупал он и подносил самому себе какой-нибудь приятный и полезный подарок. Так и в этом году поехал он на Блошиный рынок, часа три потолкался на нем и присмотрел, наконец, довольно оригинальный старинный коврик, как раз для винтового табурета. Коврик был выткан в зелёный и черный цвета, а узор его походил на чередование римской и арабской цифры два. «Ничего. Живет», – подумал фотограф и приказал завернуть покупку.

Короткий зимний день скоро прошел. Поработав, как всегда, в лаборатории, Петр Иванович старательно вымыл желтые от реактивов руки, сварил на газе пару яиц, а из кипятка, рома, лимона и сахара приготовил себе любимый грог. Он сидел в освещенном ателье у стола на вертящемся табурете, покрытом обновою, старинным ковриком. Скромно поужинав, Петр Иванович, не спеша, потягивал благовонный напиток, тихонько покручивался влево и вправо на круглом табурете, глядел в черные ночные окна и отдавался случайным мыслям… Как и всегда, произвольное сцепление мыслей привело его к столь любимой авиации.

«Вот на таком же круглом табурете сидит пилот в своем носовом отделении. Ноги его упираются в педаль, а в руке у него руль глубины… Ах, полетал бы и я! Вот так взял бы в руку руль… (Петр Иванович взял пальцами бахрому свисавшего между его ногами коврика), потянув бы осторожно на себя – вот так…»

Фотограф потянул за бахрому и …вдруг коврик слабо колыхнулся, тихо поднялся в воздух и полетел, нежно неся на себя Петра Ивановича. Стеклянная крыша ателье мягко уступчиво растаяла, и ковровый самолет вылетел в пространство. Вверху – черное небо со звездами, под ногами бесчисленные огни огромного города, мощный ветер яростно дует в лицо. «Лечу! Лечу!» – в восторге воскликнул Петр Иванович.

На другой день в два часа пришла, по обычаю, фамдеменажка. Взяв у консьержки ключ, она отворила ателье и, к удивлению, заметила, что окна отворены настежь, электричество горит во всю,

а самого фотографа нет дома. Он не возвратился даже через неделю, даже через месяц. Заявления о розыске полиции не привели ни к чему.

Фотограф исчез навеки

Куда он улетел на своем волшебном коврике, на волшебной авионетке?

1929 г.

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ

Шестеро человек, в продолжение всего короткого зимнего дня, не выходили из громадного леса, составлявшего казенную лесную дачу. Впереди шел обыкновенно лесничий Станислав Андреевич Нат, за ним два объездчика: Алексеев, высокий, худой, длиннобородый и благообразный старик – говорили, из дворян – и плотный, ладный, кряжистый Нелиткин; а еще позади – трое лесников: глуповатый Егор, курчавый, добрый Михайло и лысый, лукавый Петр, бывший втайне охотником-шкурятником. Лес был старый, хвойный, но плохо береженный. Предыдущий лесничий ленился ухаживать за ним и расчищать; оттого в нем по окраинам возвышались прекрасные строевые и даже мачтовые хвойные гиганты, а в глуби теснился и, наклоняясь, сплошь, вершинами в сторону юга, погибал долговязый жидкий сухостой.

Перейдя по бесконечно длинным, прямым, как натянутая струна, просекам из одного кордона в другой, из квартала в квартал, господин Нат внимательным, опытным взглядом осматривал места будущих делянок и отдавал распоряжения. Здесь надо лес только разредить, очистить его от валежника, бурелома и негодного сухостоя. Там подлежит вырубке вся большая площадь, которая впоследствии будет искусственно засажена сосной и елью из питомника. А в этом квартале уже запроданы с торгов великолепные стволы, более аршина диаметром у корня… А вот тут намечается для зимнего вывоза леса. И лесники, по указаниям лесничего, делают топорами заметки на деревьях. Лысый Петр еще в семь часов утра на сборном пункте поглядел вверх и сказал, точно разговаривая с самим собой:

– А ветер будет нынче здоровый!..

– Брехня!.. – возразил самоуверенный старик Алексеев. – Если же и будет, то какая беда?.. Мы в лесу под укрытием.

– Это точно, – согласился неохотно Петр, – но только вот, сухое дерево…

И замолк, не докончив своего вялого соображения.

Оказалось, он был прав. Ветер поднялся в часу десятом, и лес загудел своими верхушками, – густо, монотонно и не переставая ни на секунду.

В полдень партия зашла на Чернореченский кордон в лесничему Михайле и там позавтракала: господин лесничий Нат – яичницей, лесная стража – хлебом и картофелем. А когда все шестеро в час с небольшим вышли из кордонной избы, то точно не узнали леса. Он весь потемнел. Деревья раскачивались и нагибались все разом то в одну, то в другую сторону, а над ними, чуть не цепляясь за верхушки, стремительно и низко мчались косматые, взъерошенные, перепуганные тучи. И лес теперь не гудел, а начинал уже реветь. Сухой треск, ломкий хруст раздавался из чащи.

– Переждать ли? – сказал негромко и вопросительно осторожный Нелиткин.

– Глупости!.. – твердо остановил его Нат.

Лесничий был человек еще молодой и по-настоящему отважный. Но он любил рисоваться своей храбростью, считая лесную службу почти что военной и высоко ценил свой авторитет в глазах подчиненных.

– Глупости! За Белыми Камнями будет просторно и пойдет широкая дорога.

И пошел вперед. Все замолчали. Да и говорить было бы трудно, из-за урагана.

Так прошли около трех-четырех верст, достигнув места, где перекрещивались просеки четырех самых густых и ценных кварталов. Тут лесничий Нат понял всю мудрость робкого нелиткинского совета, но возвращаться назад было теперь не только постыдно, а, пожалуй, даже бесполезно. Все эти шестеро лесных людей с холодом в сердце видели и чувствовали, что они попали в самый центр одного из тех редких и гибельных лесных ураганов, которые сносят начисто десятки десятин и по своей свирепости гораздо страшнее морских циклонов.

Кто испытал бурю в лесу, тот знает, как стихийно ужасны ее звуки, – это яростное смешение: воя, рева, визга, грохота, скрежета и пушечной пальбы. А главное, – этот содом безграничен в своем усилении. Вот-вот, кажется, что у самой природы уже больше не может хватить сил легких и злобы, а ураган становится все оглушительней с каждой секундой, и нет конца его растущему бешенству.

Неописуемый грохот, который можно себе вообразить только при крушении мироздания, послышался сзади лесников. Они все

обернулись в одно мгновение. Только что пройденный ими восемнадцатый квартал был весь пуст, точно его скосила одним взмахом сатанинская коса. Безобразные груды поверженных деревьев валялись на земле. По всему лесу шел непрерывный треск и гул валящихся деревьев. Ветки и обломки деревьев носились по воздуху и влеклись по земле. Впереди партии, в пяти шагах, вдруг оглушительно крякнула мощная, столетняя сосна и стала падать, увлекая за своею огромной кроной множество тонких соседних деревьев, затрещавших, застонавших при падении… И, тяжело упав поперек просеки, она вывернула наружу из земли свое путаное, трехсаженное, бесформенное корневище. Смерть, смерть, одна лишь смерть была в воздухе, на земле и на небе. И в этот-то момент послышался ясный повелительный голос Нелиткина:

– Ребята! На колени! Молись!

Тотчас же все опустились на колени, кроме лесничего – лютеранина.

– Отче наш, иже еси на небесех… – громко произнес Нелиткин и широко перекрестился, но ветер заставил его на минуту задохнуться, как бы вогнав святые слова ему обратно в горло. Вся стража тоже закрестилась.

– Да будет воля Твоя, яко на небеси…

Опять ветер унес следующие слова, и опять послышался строгий, глубокий голос разъездчика:

– Хлеб наш насущный даждь… долги наши, яко же и мы….

Лесничий, повинуясь какой-то неодолимой силе, стал на колени и, низко склонив голову, с трепетом вслушивался в простые и великие слова.

– Яко Твое есть царствие… во веки веков… Аминь.

Нелиткин перекрестился и встал. То же сделали его товарищи и лесничий. И странно – в ту же минуту, точно очнувшись от своего безумного порыва, ураган утих, как бы перевел дыхание и стал утихать. А через минут пять он уже был обыкновенным лесным ветром средней силы, а когда, очнувшись от смертельного страха, партия двинулась в путь, он совсем перестал.

Лесничий этот, весьма близкий мне человек, был не только лютеранином, но, кроме того, и своеобразным пантеистом. Но когда он рассказал мне о молитве Господней среди ревущего леса, в его голосе были оттенки глубокой веры. А кончил он так:

– Я не верую в чудеса. Но здесь я явственно увидел над собой всемогущую волю Бога…

1929 г.

ДЕДУШКА МОРОЗ

(Из старых времен)

Рождественские дни, стоят упорные сухие морозы. На всех пожарных каланчах Москвы выкинуты черные флаги, в знак того, что холод дошел до двадцати пяти градусов, а может быть, доползет и до тридцати. В такую стужу, как всей Москве известно, отменяются занятия во всех присутственных местах и во всех казенных заведениях и учреждениях, а чиновники и служащие могут у себя на квартирах отсиживаться от мороза, занимаясь семейными делами или преферансом по маленькой, для этого-то и вывешивают черные флаги. А для кадетов второго Московского кадетского корпуса жестокая обида. Ну что стоило бы Дедушке Морозу прийти в будний день! Тогда бы ни один учитель не пришел и выкроился бы сам собою развеселый прогульный денек, милый сюрприз доброй судьбы. А то угораздило Дедушку появиться на рождество, в самый разгар праздников, когда половина кадетов разъехалась на вакации в родные гнезда, а другая половина изнывает от скуки и безделья, оставшись на две недели в надоевших унылых казенных стенах.

Александрову пуще других товарищей несладко, ибо остался он в корпусе наказанным без отпуска на все рождество за очередную дерзкую проказу.

Наступает утро. Горнисты будят роту не в шесть, как всегда, но праздника ради, в семь. Обычная ручная и ножная гимнастика под команду сегодня отменена. «Вот это дело, – думает Александров, – на кой мне черт эти дурацкие выбрасывания рук, приседания, сгибания и другая кислая белиберда? Если мне уже восемнадцать лет! И я первый гимнаст во всей строевой роте. Ну-ка, кто из отделенных офицеров сможет притянуться одной рукою вверх, держась ладонью за штангу турника? Кто из них прыгнет с трамплином на высоту своего тела? Кто, играя в чехарду, перепрыгивает через правофлангового кадета, почти не прикасаясь к нему? Кто пройдется на руках, ногами вверх, на расстоянии целого класса? Нет! Куда им. Пусть они сами занимаются этой бабьей старческой гимнастикой». Но общую молитву он, как всегда, поет с увлечением, звонким, радостным и громким тенором. Это тропарь святому Александру Невскому, которого резвый мальчуган чтит как патрона строевой роты, как отечественного героя и как своего тезку: «... познай свою братию, Российский Иосифе не в Египтью на небеси царствующий благоверный княже Александре...»

Быстро выпит чай, на сегодняшний день со сдобными булочками. Маленькая передышка, как всегда унылый и безвкусный завтрак. Ротный командир зовет кадетов на прогулку: «Не забудьте, что сегодня большой мороз, наденьте шинели. Кто хочет, может остаться в ротном помещении. Смотрите, не отморозьте себе носов и ушей». Но его благоразумных наставлений никто и никогда не слушает, давно известно, что он глупый крикун и смешной пустобрех.

Минута – и все кадеты высыпали на просторный плац... Надели шинели только первые ученики и немногие юноши плохого сложения и прирожденной болезненности. Остальные, как были в тужурках, так и выкатились на свежий, пахнущий разрезанным арбузом мороз. Что за дурацкая мысль идти на каток в этой неуклюжей долговязой шинели из верблюжьей шерсти. Она только волочится напрасно и затрудняет свободу быстрых и сильных движений. Первое, куда бегут кадеты, – это огромная снежная баба, которую неделю назад вылепила общими усилиями вся строевая рота. Как-то баба выглядит на морозе? Интересно посмотреть. Чудо – как. Просто великолепно. Действительно, огромная снежная бабища вышла на славу. Дикая идиотская улыбка перекашивает наискось все ее толстое лицо. В одной руке у нее втиснута большая метла, в другой палка. Предполагалось раньше назвать ее по имени ротного командира Яблукинским, но сегодня раздумали: баба все-таки женского рода, и окрестили ее заново, назвавши Яблукиншей, скромной супругой капитана, и тут же родилась новая мысль: давайте-ка по случаю мороза обольем бабу водой. Сказано – сделано...

1920-е гг.

ДВОЕНОС

(Отрывок)

Маленький пароходик всего с тремя человеками команды и с двумя пассажирами азартно тащил нас от киевской плавучей пристани поперек Днепра до Труханова острова, где уже было рукой подать до берега Черниговской губернии. Я уже с рассвета начал ругать моего спутника и товарища по редакции Мишу Киселева и продолжаю ругать еще до сих пор…

− Ну, конечно же, ты меня вовлекаешь в свинскую историю. И на кой черт я тебя послушался? В самом деле: приехать незваным на обед к человеку, которого я ни разу не видел и который никог-

да в жизни обо мне не слышал, − это ли не верх провинциального свинства?

– Да брось ты! – отмахнулся Миша зараз от мух и от меня. – Всегда у вас, у москвичей, на каждый случай свои фигели-мигели и козьи потягушки! Я же тебе говорил, что Редькин, хотя и окончил агрономический институт, но остался простым радушным хохлом, Редькой, и нашему приезду он будет чрезвычайно рад. Правда, танцевать перед нами, извиваться и расшаркиваться не станет – человек он степенный, но накормит широко и радостно. И еще потом поблагодарит и на другие разы пригласит. Он – простой. И дочка у него премиленькая…

− Тьфу, час от часу не легче! Еще и дочка!

Пароход обходит Труханов остров. Он старался изо всех сил и дышал часто, как зарьявшаяся собака. Порою мне чудилось, что вот-вот на его носе вдруг разинется красная мокрая собачья пасть и из нее повиснет наружу пара красных слюнявых дрожащих языков.

Жара томила. От нее небо казалось сморщенным куском выцинявшего голубого ситца. Долгоногие, незлые речные комары равномерно скакали вверх-вниз, вверх-вниз.

– Эге, − крикнул Киселев. – Вот дуб подходит. Это Редькин за нами выслал своего Двоеноса.

− Ого-го! Двоенос! – рявкнул кто-то из рубки.

Пароход стал круто заворачивать, взрывая бугры грязноватой пены. К нам приближался широкий долбленый челн, в нем стоял голый по пояс человек, называемый Двоеносом, и быстро гнал его бурлящими движениями одного весла, как это делают гондольеры в Венеции. Я не мог не обратить внимания на нагой торс и на движения этого человека. Кожа его была от загара бронзово-шоколадного цвета, отливала против солнца золотистым лоском. Удивительно красивы, гармоничны и мощны были мускулы его плечей, спины, шеи, груди, рук и живота. И сама поза его – одна нога на дне челна, другая на борту; левая рука согнута и оперта на бедро, правая вращает весло – производила великолепное впечатление необычайной физической силы вместе с античной грацией. Так сложенные люди, даже при огромном весе, кажутся на ходу и в работе совсем легкими.

Он ловко подвел дуб к борту пароходика и принял сходню. Мы сошли в челн.

– Счастливо! – крикнул Двоенос.

– Счастливо! – ответили с парохода.

1920-1930-е гг.

КОСТЯ ПОПОВ

Оригинально мы с моим милым станичником познакомились. Случилось это в очень знойный июльский день, в вагоне поезда, шедшего из Петрограда в Гатчино, в году, должно быть, 1914-м.

Заочно мы, конечно, знали друг друга по маленькой и тесной гатчинской жизни – я и сотник 2-го Донского полка, Костя Попов, – но в этот день столкнулись поближе.

Стояла в вагоне чертовски душная жара. Сотник ходил по коридору, в руках у него была бутылка пива. Он просовывал голову в отделения – лёгкий, долговязый, весёлый рыжеватый блондин – и спрашивал учтиво:

– Простите, господа… Нет ли у кого на минутку штопора? Пить – смерть, как хочется.

Так он и дошёл и до нашего купе.

– Простите, господа…

Видно было, что – и правда – страдал казак от жажды ужасно, но и тут не терял прирождённой симпатичности и склонности к ребяческой улыбке.

Я сказал ему:

– Да чего проще? Отбейте у бутылки горлышко, оно вместе с пробкой отскочит. Это старый гусарский способ, который проделывают с шампанским либо саблей, либо шпорой, либо просто тяжелым столовым ножом: надо только быстро скользнуть острием по бутылке до упора, и вмиг готово.

Сотник поблагодарил за совет и вытащил из ножен шашку. Одно легкое движение, и головка бутылки вместе с пробкой мягко упала на вагонный ковер. Густая пена забила водопадом из бутылки. Кто-то из пассажиров предложил жестяной стаканчик. Сотник бережно налил и ему, и мне, и себе, по очереди. Я заметил, что очень его заинтересовал отвалившийся кусочек горлышка. Сотник поднял его с пола и внимательно рассматривал, то поворачивая в пальцах, то прилаживая к бутылочному концу. Оба обреза были геометрически правильны и точно отполированы.

– Чисто? – спросил я.

Сотник серьёзно покачал головой.

– Видите ли, – сказал он задумчиво, – если бы всадник рубил слева направо, полным размахом, а кистью сумел бы черкнуть вот такую кривую, скользящую линию, то у противника была бы вмиг срезана голова и так же правильно, как эта головка.

Услужливый пассажир, дрогнувшим голосом, в котором брезгливость смешивалось со страхом, спросил:

– Неужели это часто случается на войне?

– Ну, зачем же часто? – добродушно возразил сотник. – Рубятся всадники только во встречной атаке, а там разве уждёшь секунду для правильного удара? Крик, рёв, суета, теснота, полное самозабвение… бред какой-то. Однако такой ловкий удар, конечно, возможен и очень не трудён – только не впопыхах, а в полном спокойствии и хладнокровии. В бою – это случайность; один шанс на миллион.

Так-то, вот, мы и познакомились со славным, простодушным, милым и весёлым сотником. Вскоре он пригласил меня в свою сотню почитать что-нибудь станичникам вслух. Для начала я принёс «Тараса Бульбу». Нам его хватило на два вечера. Должен сказать, я неохотно и не хорошо читаю с эстрады: яркое освещение, многочисленная и какая-то холодная, чужая публика, необходимость говорить громко, повышенным тоном, и, следовательно, ненатурально, все это волнует и неприятно связывает. Но совсем другое дело, когда вокруг тебя, на койках, на скамейках, на подоконниках, на табуретках или просто на полу сидят доверчивые, чистосердечные люди; когда чуешь, что каждое слово принимается ими на веру, и что прекрасная выдумка превращается в их душах в волшебную, живую явь; когда по глубокому молчанию, по общему сдержанному вздоху, по рокоту подавленного смеха чувствуешь, что вместе с тобой слушатели переходят поочерёдно во власть восторга, юмора и умиления. Тогда читать и легко, и сладко, и уже инстинктом знаешь, как оттенить или подчеркнуть слово и где сделать секундную паузу.

«Тарас Бульба» был принят с общим молчаливым восхищением. Просили прочитать ещё раз «Тараса». Но я предпочёл угостить их «Казаками» Толстого. Конечно, пленил и очаровал станичников дядя Ерошка. Я заметил, что те места, которые трогали меня в этой чудесной повести, растрогали и славных донцов.

Доходит повесть до того места, где Ерошка корявыми своими пальцами спасает ночную бабочку от огня горящей свечки, и я вижу широкие, добрые улыбки… На неловкий вопрос Оленина: «Убивал ли ты людей?» – дядя Ерошка сердито огрызается: «Дурак, разве легко человеческую душу загубить?» И милые станичники переводят дыхание, будто крякают. А славные словечки Ерошки из его пантеистической философии я позднее ловил в их обиходных разговорах: «девку Бог на то и создал, чтобы ее любить». А вот, Оленин совсем не понравился: «Какую девку-то проморгал! Прозевал, раззява… Женился бы и стал человеком».

Но и станичники передо мною в долгу не оставались. Поняли быстро, что люблю я нелицемерно хоровое казачье пение, и с удо-

вольствием меня им потчевали, а я никогда не уставал слушать и про сборы казака в поход:

«Жена коня подводит,
Племянник пику подаёт…»

И про то как:

«Напрасно казачка, жена молодая,
И утро, и вечер на север глядит,
Все ждёт, не дождётся, с далёкого края
Когда её милый на зов к ней прилетит…»

И ту весёлую, резвую, что поётся под намет:

«Посею лебеду на берегу…»

И другое…

Так и прижился я у славных донских казаков. Конечно, не очень глубоко. Смотрели на меня приблизительно так, как в эскадроне смотрят на своего козла, в пехоте – на ротного медведя, а матросы – на корабельного кота. Да и не долго велась наша дружба. Вскорости послали славный 2-ой Донской на запад, на театр войны.

Весенним вечером в доме я был один.

Вдруг, слышу, возня во дворе, стучится кто-то в дверь. Выхожу.

Урядник Сладков подает мне записку от милого сотника: «Завтра едем бить немцев. Позвольте на прощание к Вам во двор войти со станичниками, в последний раз, может быть. Ваш Костя Попов».

На этой же записке я ответил: «Очень буду рад. А Вас, Костя, прошу не только во двор войти, но и в дом въехать. В доме никого, кроме меня».

Урядник Сладков исчез. Я попросил каменную бабу, Катерину Матвеевну, поставить самовар. Через небольшое время послышался стройный чёткий лошадиный топот. Я вышел из дома и отворил ворота. Это приехал верхом сам Костя Попов на своем рослом коне, «Голубок» по имени, – весь вороной, с белой запятой на лбу.

– А что же, Костя, где станичники?

– Идут пешие. Сейчас придут сюда.

– Ну, а в комнаты въедете на коне, Костя?

– Да отчего же? Это у нас на задалит. Только Вам не было бы тревожно?

Отлично взошел Голубок в полутьме по ступенькам крыльца в сени. У меня в деревянном домишке был всего один этаж в четыре комнаты, не считая кухаркиной – в этом-то домике, как потом оказалось, я и пил народную кровь. Ах, и теперь помню, как пытливо, осторожно пробовала умная лошадь ножками крутизну ступеней и прочность досок.

То склоняя, то подымая голову, Голубок изредка звучно похрапывал, а Костя, сидя на нем, ласково отвечал:

– О-о!

В передней и гостиной стало гораздо легче. Там горели лампы.

– Хотите, положу Голубка? – спросил Костя.

Я давно, будучи молодым офицером, видел, как на джигитовке синелампасные оренбургские казаки быстро и ловко заставляют лошадь лечь на землю, а сами из-за нее стреляют холостыми зарядами. Но куда оренбургским мелким и лохматеньким лошаденкам было до рослого холеного Голубка!

Голубок, не веря прочности пола, деликатно подгибал ножку за ножкой, пока не повалился крупом на бок, – а Костя одновременно соскочил с седла.

Моя была вина. Я не предупредил о маленьком старинном диване, стоявшем между двух окон. Под тяжёлым лоснящимся задом Голубка диван крякнул и плоско расползся всеми четырьмя ногами по полу, точно придавленный щенок. Костя сконфузился и стал было извиняться, но я быстро его успокоил.

И какие пустяки, в самом деле!

Диван этот я выменял у гатчинского антиквара и дезертира Сысоева всего лишь на облысевшую медвежью шкуру, в неособенно твердой уверенности, что он принадлежит эпохе Александра Благословенного.

После того, как невинный Голубок сокрушил его, и я потом его восстановил, скрепив железными скобами, он сразу повысился в цене: знатоки стали относить его к Елизаветинским временам.

Я только боялся: не ушибся ли Голубок? Но все было в порядке. Костя Попов очень легко его поднял и вывел во двор.

Но уже пришли станичники-песенники 2-й сотни.

Послышалось, как в передней откашливаются мужские голоса и глухо топчатся ноги.

– Входите, входите, дорогие гости!

Все милые, открытые знакомые мне лица, начиная от маленького, но широкоплечего, смуглого и толстогубого урядника Сладкова.

Только одного я вижу впервые, и Костя Попов нас знакомит:

– Племяш мой, Коля Гусев, хорунжий, только что из Новочеркасского училища.

Племянник Коля мне сразу понравился. Он мне рисуется тем самым племянником, который в песне «пику подает». Он высок, тонок и гибок, как молодая лоза; его длинное, ещё белое лицо все сплошь усеяно коричневыми веснушками; над левым виском рас-

пушился густой победный рыжий вихор. Его же называют иногда «шевелюр», потому что на рыси он лихо шевелится.

Костя Попов крепко хлопает племянника по плечу:

– Лихой донец! По рубке и по джигитовке первый в сотне, а, пожалуй, и во всём полку.

-Что это вы, Константин Хрисанфыч, – жеманно возражает Коля, – всегда у вас стремление к гиперболам!

– А ты молчи! Ну-ка, Сладков, заводи!

Певучим донским речитативом-говорком запевал Сладков, высочайшим подголоском подхватывал племянник, и даже безслухий Костя пробовал подпевать, но тотчас же умолкал, когда Сладков строго подёргивал на него головою. Пропели несколько раз и мою любимую «Посею лебеду…»

Какие там есть милые словечки!

…Раздушка, казак молодой,
Что не ходишь, что не жалуешь за мной?
Без тебя, милый, постелька холодна,
Одеяльце заиндевело,
Изголовьице мороза холодней…

Право же, вся эротическая поэзия последнего времени ничего не стоит перед этими простыми любовными словами.

Нагнувшись к Косте Попову, я спросил:

– Скажите, можно ли станичников поблагодарить деньгами? У меня есть совсем мне не нужные.

Он ответил:

– Я думаю, лучше не надо. Они как петь, как плясать, так и в бой идти – всегда с удовольствием. Да, кроме того, пожалуй, от вас и обидятся. Друзья. Вот если бы водчонки…

Дорогой мой друг, добрый фармацевт Векслер! Теперь вы вне досягаемости, и я свободно приношу вам мною глубокую признательность за то, что во многих случаях ваши аптекарские пузырьки и бутылочки служили мне лекарством и подпоркою духа, и помощью в работе, и средством от смертельной тоски, и возможностью увеселить друга, несмотря на строгий запрет!

Катерина Матвеевна сначала приветливо хозяйничала, а потом отошла к двери и стояла, подперши ладонью щеку. Вздыхая и покачивая головою, провожала.

А утром я проводил 2-ю сотню до артиллерийских казарм.

Три года о моих приятелях не было ни слуху ни духу.

Много-много прошло времени. Стали не то, что забываться, но как-то всё реже вспоминаться милые образы донского сотника Кости и его славных станичников.

Да ведь, впрочем, и была нам простительна немного такая рассеянность памяти: жизнь русская все круче катилась по наклону к бездне. Уже добежала до нас страшная и оскорбительная весть о том, что, вопреки заверениям военного министерства, в Карпатской армии отсутствуют пушечные снаряды и ружейные патроны, и что героические солдаты, отступая шаг за шагом, принуждены обороняться прикладами и камнями. Терялось доверие к правительству. Но патриотизм еще не начинал угасать: рабочие на военных заводах, по личному почину, утроили, удесятерили производство; на вагонах они писали мелом для солдат: снарядов не жалеть!

Расстройство тыла, гибель старых строевых кадров, непомерно огромная, сверхсильная жертва людьми, принесенная Россией делу союзников, долговременное сидение в окопах и деятельная пропаганда – доконали Родину.

Потянулись длинные хвосты в Петербурге и Москве у булочных, началось дезертирство… Печально, тоскливо пошли дни…

1933 г.

БАБИЛЬ

Удивительна та упорная инертность, с которой взрослые люди привыкают к новым машинам, особенно к движущимся. Но еще интереснее быстрота, с коей дети и животные осваиваются с ними. Первый паровоз внушал мистический ужас. Добрые обыватели не хотели и верить тому, что машина движется силою сгущенного пара: упрямо верили в дьявольское произволение и усердно осыпали локомотив камнями. Гениальный Наполеон не мог допустить мысли о том, что железный пароход способен держаться на воде. Я застал еще времена, когда и люди, и лошади в деревнях артачились и шарахались от велосипедов, а в городах велосипед называли веселопером. Лошади освоились раньше людей.

Первые, еще наивные опыты великого искусства воздухоплавания уже отмеченные героическими жертвами, ясно позволяли предвидеть, что на днях гордый и всемогущий человек полетит в безграничную воздушную высь, а скептические, трусливые стародумы иронически размахивали руками и презрительно бурчали: «Вздор!». Только ужасная война и бомбы, бросаемые с авионов на города, села и храмы, заставили их с сокрушением поверить.

Меньше всех живых тварей удивились и испугались аэроплана птицы. Случай с орлами, напавшими на авион летчика Ведрина – единственный, а, пожалуй, и не особенно достоверный, если учесть

то обстоятельство, что других свидетелей, кроме самого Ведрина, не было. Теперь не только орлы, но даже воробьи презрительно не обращают никакого внимания на эту огромную, ревущую, пахнущую бензином и касторовым маслом искусственную птицу. Но не удивились, а только обрадовались дети. Они за много-много лет до торжества авиации запускали в высь большущие змеи и ощущали в бичевке их упругие волшебные порывы. Конечно, не новостью была для них авиация, для них, знавших давным-давно очень многое о коврах-самолетах, о летающих сундуках и о всех произведениях Жюль Верна.

Почти то же было и с автомобилем на его первых шагах. Теперь автомобиль и, в особенности, таксомотор, сделались во всем мире предметами самой насущной необходимости, и бензинная тяга повсюду вытесняет конную, электрическую и водяную. Великое множество автомобильных заводов ежегодно выбрасывают миллионы моторов и разноцветных корпусов. На каждых десять человек приходится один автомобиль. Есть автомобили для бедных, уменьшенные до возможного минимума, и автомобили для миллиардеров, сказочной, неописуемой роскоши и силы. Воистину XX век можно назвать автомобильным веком. И как странно в наши дни представить себе, что когда-то очень зрелые и очень умные люди, смотря на первые автомобили, кривили насмешливо губы и солидно предрекали этой вздорной новинке, как летучей моде, короткое двухнедельное существование. «Помилуйте, – говорили они, растопыривая пальцы, – ведь все лошади перебесятся от этого грохота, и вся езда по улицам грозит публике ежеминутными катастрофами…» И, однако, автомобильное движение расширяется все больше и больше с каждым годом, и, вместе с этим, все больше растет неисчислимый кадр шоферов, в совершенстве знающих свою трудную и ответственную профессию, точно они и родились шоферами.

Но, впрочем, надо сказать по правде: первые образцы автомобилей, которые мне пришлось увидеть, были воистину уродливы и даже страшны. Впервые я увидел автомобиль в 1895 или шестом году, который показался в Киеве на Крещатике ужасной величины и громоздкости, черный, кривобокий фургон, он пыхтел, сопел, задыхался, переваливался с боку на бок и отравлял шикарную улицу отчаянной керосиновой вонью. Я спросил дворника: «Что это за чудовище?». Мне ответили с сомнением: «Говорят, что какой-то самодвижущийся аппарат. Да вы поглядите: там каких-то два человека внутри сидят. А движется он керосином».

Ну, почему же не признаться: «А ведь эта затея – сущие пустяки», – подумал я и перестал смотреть, и больше не интересовался.

И так прошло два года. Переехал я из Киева в Одессу и на другой день по приезде пошел на 12-й Фонтан, где жили мои знакомые. Взрослых я не застал. Зато увидел их детей, которые в саду с горячим увлечением играли в какую-то сложную и непонятную игру, сопровождаемую пыхтеньем, завываньем и топтаньем на месте со сжатыми кистями рук. Я ничего не разобрал и, когда ребятишки на минутку остановились для передышки, спросил у старшего, у Володи: «Вы это во что же играете? Я никак не пойму». Володя ответил со спокойной снисходительностью: «В бабиль». «Какой такой бабиль?» «Да в обыкновенный бабиль. Вот я – шофер, Костя – механик, Наташа с веером – она пассажирка, а Коля – он воняет». «Как так воняет?» – спросил я с удивлением. А толстый карапуз Коля, вытянув от важности губы вперед, сказал важно: «Да, я вуняю».

И тут-то я сразу понял, что автомобиль – вещь серьезная, раз ею заинтересовались дети. Они все знают и все предугадывают.

1933 г.

АЛЕША

Ещё начало мая, а душистая, теплая, сладостная весна уже развернула свои улыбчивые чары над древним, но сразу помолодевшим прекрасным Киевом. Из дальних пригородов, из Приорки, Демиевки, Соломенки, Щековики и Сырца, по крутым ярам, недоступным для извозчиков, спускаются на нарядный деловой город огромными бурными валами ароматная, нежно-волнующая, лиловая сирень и беззаботная, вызывающая, белая черемуха.

Широкий Крещатик слепит яркой пестротой весенних костюмов и шляпок. На улицах пропасть женщин и между ними ни одной хорошенькой, в этот солнечный день – все они красавицы. В жилах коренных киевлянок течет счастливое сочетание кровей: малорусской, великорусской, польской, еврейской и, отчасти, татарской. И вот сегодня торжественный парад этой великолепной южной красоты.

Внизу Киева, на Подоле, весна царит ещё более ярко, весело и непосредственно. Старинные, родовые обитатели Подола считают себя исконной аристократией Киева и гордятся этим. Маленький подольский портной, у которого в его скудной мастерской имеется всего-навсего одно окно, заплывшее радугой от времени и сырости, скажет с холодным достоинством богатому жильцу знатных «Липок»: «Не выбачайте на меня, що я швец с Подола. Говорите со

мной, як с простым». (Не обращайте внимание на то, что я подольской портной, говорите со мной, как с обыкновенным человеком).

На Подоле всегда оживление и всегда торговля: то огромная Контрактовая ярмарка, то второстепенные, но очень значительные базары, и каждый день на подольской широкой площади, с утра до вечера, идет оживленная, крикливая, озорная торговля чем угодно: от селедок до лошадей и от морозовских ослепительных набоек до жареной хохлацкой колбасы. А посредине площади брызжет изо рта бронзового льва в светлый бассейн беспрестанный фонтан. И часто можно наблюдать, как набожная киевлянка бросит в бассейн медную монетку, перекрестится и с наивной верой скажет:

– Преподобный отче Леве, моли Бога за нас.

Боже мой! Как говорлив, как шумен, как певуч, как хохотлив Подол в этот золотой и точно пьяный весенний день! Кажется, не хватает здесь только языческих страстных зовов в честь Лады и Леля. Цветов навезено видимо-невидимо. Они повсюду. На телегах, на лошадиных сбруях, на шапках хлопцев, в пазухах баб и дивчат, в руках бегающих ребятишек. Звонки певучи женские голоса, радостен и музыкален женский свободный смех, ярки и цветисты женские наряды, какие роскошные груди, какие мощные бедра, какие жаркие улыбки разверзают ослепительно белые зубы, какие царственные брови и какие стройные тела! И повсюду цветы и хохот. Украина ещё издавна, от времен Владимира-Красное солнышко, до времен Гоголя, и от Гоголя до наших лет, никогда не переставала любить свет, цветы, музыку, острое слово, привольный смех, чистоту в доме и вкусную еду. Такая крепкая страна никогда не пропадет.

Напротив базара и фонтана преподобного отца Лева, среди массивных старинных построек Святого Киевского братства, скромно выступает вперед бледно-голубоватое, фисташковое здание знаменитой Киевской духовной академии. Сквозь распахнутые двери ее можно видеть с улицы стройные ряды гигантских трехсотлетних липовых аллей. Теперь парк пустеет. Стоит время самых жестоких и суровых годовых экзаменов, когда строгие профессора ежедневно инквизиторски пытают осунувшихся студентов в знании множества наук и дисциплин.

Никого нет в саду, кроме студента Алеши Люминарского. Впрочем, имя этого рыже-золотистого молодого человека вовсе не Алексей, а Илья. Когда-то, давным-давно, еще в средних классах семинарии, читали семинаристы вслух запрещенного начальством Достоевского и нашли в его романе «Братья Карамазовы» в лице Алеши странное и умилительное сходство со своим сотоварищем, добрым

и всеми любимым Люминарским. С тех пор и пошло – Алеша, да Алеша и привилось крепко: даже иные профессора и инспектора называли Алешей этого здорового красивого умного и вежливого мальчика.

Сейчас у Алеши последний экзамен; после него он перейдет на четвертый курс, где уже будет не студент, а, в уважение к его прекрасным способностям, лектором и магистром богословия, откуда – прямой путь к профессорской кафедре и к почетному званию «доктора богословия», дающемуся лишь высокоталантливым богословам.

Алеше всего двадцать три года. Его карьера может быть очень широкой. Молодой магистр всегда легко может найти, вместе с богатой невестой, видный приход не только в одном из крупнейших приднепровских городов, но и в самом богоносном Киеве. Но была и другая дорога. Дорога фиолетовой раскраски: почему не остаться на всю жизнь верным и мудрым служителем не белой, но черной, великой и господствующей монашеской церкви.

Дорога здесь не легка, но верна. Она требует – особенно в начале – абсолютного послушания старшим, твердого и ровного характера, безупречной жизни, полного отрешения от всуе мятущегося внешнего мира и от личных симпатий, привязанностей, навыков, привычек и развлечений. Каждый шаг, каждое помышление, каждое слово и движение делается с молитвой и совершается во славу и благолепие пресвятой православной кафолической церкви. Алеша знает, что в начале тяжел и утомителен своим молчаливым однообразием этот иноческий искус. Но душа мягкая, тихая и ум более всего склонен к чистым размышлениям. Ему не трудно будет стать послушным, мягким воском в руках своего будущего Аввы, строгого иеромонаха.

В Академии существует испокон веков древнее установление. Отец-ректор, отец-инспектор и духовные профессора, ещё загодя, ещё с семинарских времен, тщательно присматриваются к развитию душевных и умственных качеств лучших из своих питомцев, а уже в Академии так: на третьем, на четвертом курсе начальство предлагало избранным юношам еще до окончания Академии принять пострижение в первый иноческий чин, не оставляя научных занятий и продолжая жить в общежитии. Студенты глядели на это косо. Принимали предложение облечься в монашеский образ лишь немногие: круглые сироты, бедняки и люди с исключительной ревностной и пылкой верой.

Алеша знал, по некоторым обстоятельствам, что не сегодня-завтра духовные высшие власти Академии обратятся к нему с ласко-

вым и дружеским предложением надеть черную ряску. Не напрасно же, по указанию самого его высокопреосвященства, митрополита Иннокентия, Алеше поручили еще на третьем курсе такую сложную и ответственную работу, которую он едва ли сможет окончить через год, к последним выпускным экзаменам. Тема устрашающе огромна, но и необычайно привлекательна – «Пределы Божьего милосердия».

Когда Алеше разъяснили содержание его темы и указали ему на огромнейший перечень источников, с которыми ему необходимо надо было познакомиться, то юноша сначала испугался и приуныл. Ему показалось, что не хватит десяти лет на то, чтобы перечитать и усвоить многие сотни толстенных фолиантов, переплетенных в свиную кожу и напечатанных на латинском, греческом и древнеславянских языках… Но ректор Академии архимандрит Порфирий, великий знаток богословия и замечательный полиглот, сумел ласково и терпеливо рассеять алешины недоумения и препятствия. Он на личном примере показал Люминарскому, как надо обращаться с книгами, как находить без излишней суеты необходимые тексты, как делать цитаты, и как сводить их в стройную систему. И так с нежной настойчивостью вел он своего любимого ученика до тех пор, пока Алеша не стал чувствовать себя в библиотеке, как в собственном родном доме, со множеством знакомых комнат и картин.

* * *

И вот, сидит Алеша под широко раскинувшейся могучей липой, на которой еще не начали распускаться клейкие, темные, блестящие почки. В руках у него большой ломоть черного хлеба, принесенный от завтрака. Со всего Подола слетаются в академический сад на привычное угощение разномастные голуби, любительские и дикие, и с приятным мягким шумом крыльев опускаются рядом с алешиной зеленой скамейкой. Ловкими, осторожными движениями (чтобы нечаянно не спугнуть птиц) Алеша швыряет им горсточки хлебных крошек и с детской ласковой улыбкой следит, как голуби с выразительно сладким воркованием топчутся в перевалку, описывая круги и затеивая быстрые ссоры из-за корма и надувая круглые зобы.

И, должно быть, уже в сотый раз смотрит он задумчиво на давно знакомую бронзовую надгробную плиту, на которой славянскою вязью вычеканена стихотворная эпитафия:

– Того Магницкаго сей покрывает камень,
В душе котораго возжегся веры пламень

И луч премудрости сошел к его уму.
Лишь вдохновением божественным питаем,
И более не внемля ничему,
Он тридцать лет ходил во край за краем...

И в сотый раз Алеша задумывается:

– Какой это Магницкий? Не математик ли и географ времен Екатерины Великой? Надо спросить у ректора. Стыдно, я всякий раз хочу это сделать и все забываю.

Потом его внимание само отвлекается и от воркующих голубей, и от могилы Магницкого. Начинается давнишняя, всегдашняя проверка самого себя в вопросе принятия или непринятия пострижения в монахи.

– Зачем же мне так долго думать? Решусь? Не решусь? Да ведь я уже, слава Богу, не маленький, чтобы так трепыхаться с боку на бок. Люблю, а потом еще больше полюблю маленькую, уютную, светлую келейку, где пахнет так кротко ладаном, воском и кипарисом, и где так сладка тихая работа среди задумчивого молчания. Люблю милую усталость при конце всенощнаго бдения, когда хор тихо поет «От юности моея мнози борят мя страсти». Люблю обедню с ея глубоким, великим, божественным смыслом, люблю весь церковный обиход, основанный и непоколебимый вот уже почти две тысячи лет… И потом? Что тяжелого или страшного в приятии простого пострижения? Это ведь не схима, не обет молчания или вечного одиночества, не столпничество, не наложение на себя вериг. Просто тихая, благообразная, богоугодная, размеренная жизнь в добром пристанище, за возлюбленным трудом.

И спрашиваю я себя: о чем могу я пожалеть, когда уйду невозвратимо из этого болтливого, крикливого, злого, грубого, лживого, всегда куда-то торопящегося светского мира. Роскошью еды и свинской привычкой виновкушения я никогда не пленялся. Танцы и театры меня никогда не интересовали. Ни славы, ни денег никогда я не стал бы искать, ибо знаю давно мудрый завет: «Лесть богатства и слава мира поглощают слово». Что же еще остается? Любовь к женщине?..

Едва заметная гримаса отвращения и боли на секунду пробегает по красивому и доброму лицу Алеши. Гадкое воспоминание! Но с академической высокой лестницы вдруг раздаются быстрые и легкие шаги бегущего вниз мальчугана. Алеша узнает его издали. Это Гришка, веселый и всею Академией любимый келейник отца-ректора.

– Ты ко мне, что ли, Гриша?

– Да, до вас господин Люминарский. Отец архимандрит наказали, чтобы вы зашли до их, пока в Академии передышка.

– Ну, что же? Пойдем, что ли, Гриша.

* * *

Ректор принял молодого студента в своем рабочем кабинете. Это был рослый монах с прекрасной холеной черной бородою; лет пятидесяти, восходящая звезда богословской и философской науки, четырежды доктор honoris causa европейских духовных университетов, удивительный проповедник и в глубине души тонкий аристократ ватиканской складки.

– Садитесь, Люминарский, – сказал он, указывая на глубокое кожаное кресло. – А ты, Гриша, принеси нам чаю, крендельков и малую скляницу мадеры.

– Я не пью, отче, – вежливо сказал Алеша. – Простите.

– Милый, да ведь и я не пью, – возразил ректор. – Но в такие дни, когда с раннего утра до поздней ночи экзаменуешь без перерыва сотни оболтусов и устаешь доупаду, то подкрепиться глотком вина я считаю не в укор, а в необходимость. Для чего же иначе в число своих творений включил милостивый Господь Бог наш и виноградную лозу? А кроме того: мадера эта – ежегодный дар мне от милейшего и добрейшего штурмана большого военного пароходо-крейсера. Он всегда, проходя островом Мадера, закупает его бочонками и провозит через Ост-Индию, отчего Мадера и получает наименование остиндской. Ну, скажите, мой милый студент и ученик Люминарский, что я должен сделать по совести с этим теплым, любезным подарком старого приятеля, прекрасного собеседника и доброго христианина? Принять его со скромною благодарностью или, отринув его, бросить к нечистотам?

– О, бесспорно, следует сохранить этот ценный дар. Ибо сказано, не помню где и кем: «Не грешно вино, укорительно пьянство».

– Вот так-то. И по этому поводу, – Гриша, а Гриша! Налейка нам мадерой две малые рюмочки из богемского хрусталя, да только уже постарайся, сын мой, не пролить ни одной капли мимо.

Он вдруг поднял вверх свою большую львиную голову и посмотрел на Алешу с искрящейся улыбкой.

– О, коллега, изречение, увы, взято не из священного писания и не из святоотческих творений, а есть вольное сочинение досужих семинаристов, и ни в какой православной симфонии его не найти. А вы попробуйте-ка, будущее богословское светило, процитировать текст из Соломона.

– Сию минуту, – с веселой готовностью согласился Алеша, любивший состязаться с о. викарием памятью и знанием Библии. – Извольте:

– Слова царя Лемуила, сказанные ему его матерью: не царям, Лемуил, не царям пить вино и не князьям – сикеру. Дайте вино отчаявшемуся в жизни и дайте сикеру приговоренному к смерти. Пусть выпьют и на время забудут горе свое.

– Прекрасно. Теперь из псалмов Давида?

– Готово. Вино веселит сердце человека.

– Из пасхальных ирмосов?

– Придите пиво пием новое…

– Из монастырского устава?

– Разрешение на вино и елей....

– Ну, хорошо. Пока и этого довольно. Теперь выпьем с добрым чувством за ваше здоровье и за тихий мир в душе вашей. Ну, как вы находите это винцо? Увеселяет оно или нет молодое сердце человека?

– Спасибо, отче. Вино, подобное нектару и амврозии, и действительно дает какую-то славную бодрость. Но уж очень оно крепко и сурьезно. Боюсь захмелеть.

– Ваше дело, ваше дело. Я же еще один наперсточек себе разрешу. Ах, Люминарский, Люминарский. Поступил я в монастырь молодым и бездетным вдовцом. Не повернись так судьба, у меня бы был сынок как раз однолетка с вами. Да и когда мы трудились с вами над древнеславянскими книгами, то часто в моем воображении казались вы мне родным и горячо любимым сыном.

Ректор торопливо провел широкой ладонью по лицу, задумчиво крякнул и глубоко вдохнул мощной грудью.

– Я понимаю, и очень ценю, – пролепетал растроганный Алеша.

– И я очень рад этому, – продолжал ректор, – и теперь еще больше уверен, что вы выслушаете внимательно и по-дружески то, что мне его высокопреосвященством поручено вам сообщить.

– Я догадываюсь, – тихо произнес Алеша, склонив голову.

– Тем для меня легче выполнить митрополитово поручение. Только убедительнейше прошу вас помнить о том, что я никакого давления на вашу совесть и на вашу волю себе не позволю, ибо считаю сие действие, как бы духовным насилием, – психологической ловушкой. Даже совета я себе не позволю. Вы настолько умны, чисты, честны и самостоятельны, что никакого совета вам не требуется. А теперь прошу вас совершенно искренно и откровенно высказаться, какого вы держитесь мнения относительно добровольного пострижения в монашеский чин, минуя послушание и не стесняясь сроком?

– Подумайте хорошенько, Алеша, а кстати, не обижайтесь, что я вас так фамильярно называю святым именем, данным вам еще смолоду чуткими товарищами, и этот мой грех, думаю, не велик и будет мне легко прощен. Милое, хорошее имя, такое ласковое. И как умилителен кроткий русский святой, Алексей, человек Божий. Подумайте же не спеша и не волнуясь. Помните, что вопрос идет о полном перевороте течения всей вашей жизни.

– Я уже думал, отче, и еще раз благодарю вас за участие, – медленно и тихо заговорил Алеша. – Позвольте мне только сказать два-три слова.

– Пожалуйста, Алеша, пожалуйста.

– Видите ли, ведь с самого раннего детства, с шестилетнего возраста (может быть, отче, об этом не знаете), я поступил в духовную первичную школу... Я ведь круглый сирота... Потом перешел в бурсу, потом в семинарию, потом в академию. И в продолжение всех этих многих лет, каждый дюйм материи, сношенный мною, каждый сапог, стоптанный мною, каждое слово, знание и дисциплина, понятые и усвоенные мною… то есть, – короче: весь я телом и душою, нервами и кровью, здоровьем и чувствами, мыслями и делами, умом и духом, безраздельно принадлежу Свято– Киевскому духовному братству, которое одно было мне во всю мою жизнь и отцом, и матерью, и кормильцем, и учителем. Я – его создание и каждую его волю или желание готов исполнить радостно и беспрекословно… Я уже давно монах в глубине сердца, отец Порфирий.

Ректор положил свою голову на согнутый локоть и сбоку глянул на Алешу с усталой улыбкой, в которой смешались странно и любовь, и ласка, и нежное умиление, и добродушная мягкая ирония.

– Ах, Алеша, Алеша, – воздохнул он, – милая у тебя душа, и, все-таки, надо поговорить с тобой посерьезнее… Иди-ка, Гришутка, прогуляйся в парк с полчасика. Ты мне теперь не нужен.

Юный келейник оживленно скользнул из покоя, а ректор продолжал:

– Ах, не думайте, Люминарский, что легко стать настоящим монахом. Скажу вам не по секрету, но с душевной горечью: великие, богатые и знаменитые русские монастыри ныне глубоко пали в святоотеческих строгих богоугодных началах. Теперь в постриг идут больше ленивые тунеядцы, пройдохи, жадные карьеристы, скучающие искатели приключений, тупые неудачники, переменившие бесплодно десятки профессий, а больше всего – озорные русские бродяги, землепроходы и непоседы, соблазненные не такой уж лживой клеветой на монастыри, что в них де житие – разлюли малина, что по легкости, что по сытости, что по веселью, что по выпивке, что

по разврату. Повторяю тебе, Алеша. В теперешние времена истинного монаха найдешь только одного на тысячу. И то в скитах или на Афоне. А то все либо Иллиодоры, или Варванки-сквернавки.

Приходят, правда, ко вратам монастыря, как к последней преграде от самоубийства, люди отчаявшиеся, люди, раздавленные нестерпимым горем. Конечно, жалко их, но ведь ты и сам знаешь, любезный мой, что предстательствовать перед Престолом Божиим и совершать святые таинства достойны лишь люди, не отмеченные ни глухотою, ни слепотою, ни хромотою, ни прочими пороками или уродством. Сам знаешь ведь, Алеша?

– Знаю, – прошептал еле слышно юноша, – знаю.

– Ну, вот… А я так думаю, что душевная болезнь, что сердечная, неизлечимая рана так же, если даже не сильнее, должны препятствовать святому, горнему богослужению. Горячие, обильные слезы покаяния чистыми доходят до небес. «Слезы, блудницы глаз, щедрее предлагаю, но яко благоутробен очисти мя», – говорит в своем вдохновенном каноне святой Андрей, пастырь Критский. Но еще слаще и ещё благодатнее те умильные радостные слезы, которые проливает человек, вдруг понявший внезапно всю доброту, лепоту, красоту, стройность и бесконечную милость всех деяний Божиих. Такой блаженный дар высокого умиления знали: и восторженный пророк Даниил, громогласно вызывавший все живущее в воздухе, на земле и под землею, на воде и под водою, воспевать и прославлять вместе с ним Творящаго Господа Бога; и святой Франциск Ассизский, называвший волка братом своим, а пчелу сестрою своей; и святой песнописец Иоанн Дамаскин, благословлявший в поле каждую былинку и в небе каждую звезду; и даже наши русские скромные, тихонькие святители, возносившие хвалу Зиждителю мироздания из глубины непроходимых Брынских и Муромских лесов. И не сам ли Отец и Бог наш, окончив творение мира, произнес: «Все сие зело добро есть».

Так-то, Алешенька. Беспредельное уныние, красные, выплакавшие все слезы глаза, запекшиеся искусанные губы, отчаяние без всякой надежды на высшее милосердие… Да разве эта жалкая, трусливая, горькая и – прости уж мне грубое слово, – сопливая вера не то самое в моральном смысле, что вопиющее безобразие в физическом?

– Ах, – робко вздохнул Алеша, – надо терпеть, снизойти, понять, облегчить....

Теперь глубоко и шумно вздохнул отец ректор.

– Верно, мой милый, мой душевный Алеша. Только ведь не к прославлению светлой, чистой, благостной христианской церкви – эти волдыри и болячки. Да что тут. Скажу про себя самого, про свой собственный грех. Вы, Алеша, станете на минуту, как бы

моим духовником, а я – вашим исповедником. Конечно, не в пределах таинства, в простом человеческом смысле.

– Боюсь, отец ректор, – смущенно возразил студент. – Глуп еще я и мало достоин.

– Это вы напрасно умаляете себя. Человек вы умный, чуткий, благодушный, а мое признание такого рода, что не может ни оскорбить вас, ни утомить. Послушайте-ка.

– Я женился двадцати семи лет от роду, будучи вторым диаконом в Софиевском соборе и профессором гомилетики в духовной Академии. Женился по любви взаимной. Был счастлив. Но, спустя ровно два года, возлюбленная супруга моя умерла от менингита. Молниеносно: проболела, в бесчувственности, всего только три дня. Я с ней даже проститься не успел. О, Боже! Как я тосковал! Человеческие слова слишком слабы и бедны, чтобы передать другому свою боль или свое несчастие. Потому-то люди так часто и говорят: «Никто не страдал подобно мне». Впрочем, и в экстазе любви часто восклицают: «Никто и никогда не любили так, как люблю я!». Нет, я не роптал на Вседержителя. Подобно Иову, я мысленно говорил про себя, не переставая: Бог дал, Бог взял – да будет Его святая воля. Бог дал – Бог взял… Но эта молитва была тупа, туманна и глуха.

В ней совсем не было вдохновения, а только механическое повторение привычных слов. Внутри же, в самой глубине души я, помимо своей воли, яростно проклинал жестокую и слепую судьбу. Почему – говорил я – коса смерти так нелепо скосила жизнь этой кроткой, милой, нежной двадцатилетней женщины, которая вся была доброта, любовь, ласка и прощение, которая за свое короткое земное бытие не обидела даже ничтожной букашки? Почему моя тихая Анюта, так трогательно любившая чужих детей, была лишена судьбою блаженной радости материнства? Почему? Зачем понадобилась внезапная смерть этого невинного светлого существа, когда рядом живут и благоденствуют сотни тысяч негодяев, насильников, развратников, воров, убийц и притеснителей?..

В голосе ректора послышалось дрожание слез, но он быстро отер лицо носовым платком, справился с собою и продолжал глухо:

– И часто я думал: «Или нет в человеческой судьбе ни порядка, ни логики, ни здравого смысла, ни очереди, ни справедливости, ни веса, ни меры?» Но, конечно, я сам понимал, что все эти бунтарские размышления идут далеко не из чистого источника, а побуждаются врагом человечества, князем уныния и своеначалия. И вот, настрадавшись и перекипевши свыше сил моих, отправился я в Оптину пустынь к давно знакомому мне умному и суровому старцу Евмению. Ну, он меня так пробрал, так прожучил, что сто

потов с меня сошло. А, в заключение, строго приказал: «Иди, бунтарь, в монастырь, прими пострижение и смиряй свой заблудший ум строгим постом с усердной молитвой, доколе не возвратишься духом на путь смиренный и праведный. Ступай с Богом». Я так и сделал, как указал старец Евмений: прервал свое служение в белом духовенстве, принял постриг в Свято-Троицкой лавре и успел-таки преоборотъ и потушить свой дерзкий ропот на судьбу, ибо понял, что судьба лежит в руках Единаго Всемогущаго.

– Но только знаешь что, Алеша? Тоску-то свою и горючую скорбь по незабвенной Анюте я ни угасить, ни уменьшить не мог и доселе не могу, хотя со смерти жены прошло уже восемнадцать лет. Вижу ее в сновидениях. Проснусь – вся подушка мокрая от слез. Или еще: были у нее богослужебные песнопения, особенно любимые, например: Свете Тихий, отверзи уста моя, Величит душа моя Господа… и другие. Услышу их за обедней или за всенощной и еле-еле сдерживаю себя, чтобы не разрыдаться на всю церковь и не закричать истошным голосом: Господи! Отдай мне ее хоть на мгновение, или возьми меня к ней! А ведь это, Алеша, мой милый, тяжкий и опасный грех. Сказано во главе всех заповедей Господних: Не сотвори себе кумира и всякаго подобия его. Подумай же, как ужасно грешу я, инок недостойный, да еще в Божьем доме!

Ректор опять закрыл лицо платком. У Алеши уже давно катились из глаз тихие, горячие слезы.

Но ректор первый овладел собой.

– Перестаньте, Алеша – сказал он ласково, но твердо. – Я вам рассказал про свое несчастие и про свою слабость единственно только для того, чтобы яснее и ближе к сердцу поняли, какого беспримерного отрешения от мира, от своих страстей и желаний и даже от собственной воли требует от человека вступление в иноческий сан. Чтобы сделаться настоящим, истинным, достойным монахом – мало одного лишь усердия. Нужна постоянная гимнастика воли, упражнение духа, постоянное проникновение в священную глубину молитвы, поста, раскаяния и блаженного восторга! Взгляните, Алеша, на художников, музыкантов, поэтов, ваятелей, певцов и других творцов искусства. Все они начинают служить своему призванию с робких проб, с неуверенных исканий, с долгой, тяжелой и мучительной науки. Сказал как-то один философ: «Чтобы создать бессмертное, надо наполовину гения, наполовину – терпения». И вот, однако, создают же люди бессмертные творения! О! Как труднее монаху, отрешившись от всего земного, вещественного и временного, посвятить свое тело, свою душу, свои мысли и каждую минуту своего земного бытия на служение Господу Богу и на

восхваление всех дивных и вечных благостных чудес Его. Большая внутренняя сила должна вырасти в душе монаха для этого бесконечного подвига. Вот почему, Алеша, я прошу вас и советую вам: прежде чем решиться на пострижение, подумайте хорошенько, не будет ли для вас тягостен и неудобоносим обет вечного иночества? Я нарочно говорю – вечного, потому что если человек постригся в монахи, то он монахом и должен остаться до конца дней своих. Иначе – немыслимо. Вот я и спрашиваю вас: нет ли у вас чего-нибудь в светской жизни, что жалко или трудно вам покинуть, по чему вы не перестанете жадно тосковать после принятия иноческого сана?

Алеша ответил тихо и уверенно:

– Ничего, отче. Я уже проверял свои мысли. Ничто не тянет меня к миру, и ничего мне не жаль в нем.

Они помолчали некоторое время. Потом ректор спросил:

– Любили ли вы когда-нибудь женщину?

– Нет, отче.

– Но скажите: хотя бы и не любя, познали ли вы когда-нибудь женщину? Вы понимаете, о чем я говорю?

– Да. Я понимаю, – и лицо Алеши залилось красной краской. – Это было однажды… Только я не знаю, я не умею сказать. Мне так стыдно и так жалко, что просто ужас. Это…это…

– Не говорите, если вам так трудно, – предложил ректор.

– Нет, я все-таки скажу, – пролепетал, заикаясь, Алеша. – Это было, когда мы с товарищами праздновали день окончания семинарии. Я тогда выпил, должно быть, не в меру, и мы куда-то поехали. Смутно припоминаю: поздний вечер, большой грязноватый зал, зажженные люстры. Тепер за фортепьяно и несколько девушек в причудливых костюмах. Потом меня насильно притащили в маленькую низкую комнату, где ничего не было, кроме кровати. Мы выпили ещё пива, и я уже не знаю, откуда там появилась молодая женщина в голубом платье, с обнаженными руками и голой шеей. Не могу также сказать, была ли она красива или нет. Какое-то обыкновенное, простоватое великорусское лицо, со вздернутым носом и толстыми губами. Товарищи толкнули меня к ней, и один из них сказал, смеясь: «Вот тебе, Эльвирка, новичок. Он еще никогда не пробовал женщины. Дай-ка ему первый урок любви. Он еще целенький».

Потом они сразу ушли, а женщина Эльвирка сказала мне: «Ну, что же, симпатичный блондинчик. Раздевайтесь, что ли». И сама помогла мне раздеться, и мы легли в кровать. Я все это делал как-то механически, без воли и без понимания. Распоряжалась одна она. Дальше у меня, как бы уплыло сознание. С ужасом почувствовал я во всем теле внезапную потрясающую судорогу, отдаленно по-

хожую на тот неудержимый спазм, который схватывает человека, втянувшего в нос большую щепоть крепкого нюхательного табаку. Затем я испытал невыносимую, постыдную резь живота и подумал: «Уж не заразился ли я от девушки какой-нибудь страшной половой болезнью?». А она все приставала ко мне: «Хорошо ли тебе, мой миленький? Сладко ли тебе было, мое солнышко?». Ах, лучше бы она ничего не говорила… Молчала бы! Я не мог произнести ни слова, не мог сдвинуться с места и сидел на постели, беспомощно опустив голову. Лютое животное отвращение овладело мною. У меня было такое противное чувство, будто я упал в вонючие нечистоты или попал рукой в чужой плевок. О! Как жестко тогда я ненавидел эту тупую, глупую женщину и все, что она со мной сделала. Ее слова, ее голос и движения возбуждали во мне тошноту. Она первая дала мне понять, что пора уже уходить, и показала мне на умывальник. Мы разошлись безмолвно, точно злодеи, совершившие первое убийство. Но никогда потом я не мог забыть ее последнего прощального лица. Были в нем и жалость, и обида, и неловкий стыд, и точно трусливая просьба о прощении. Тогда ведь я далек был от мысли, что в случившемся между нами грязном свинстве виновен был только один я, гораздо более свободный, сильный, умный и образованный, чем она, жалкая рабыня публичного дома, безвольная жертва общественных мерзостных страстей. Но теперь, став старше и обо многом подумав, я считаю свое тогдашнее брезгливое отвращение и эгоистическую ненависть самым тяжким, самым непростимым и самим гадким изо всех сделанных мною грехов.

И вот почему, отец-ректор, уже давно оставили меня в покое мысли о плотской любви, о женитьбе и о так называемых половых потребностях. Ведь в природе все устроено с необычайной мудростью, гармонией и логикой. Скажем, дали мне выкурить в первый раз папиросу. Втянул я табачный дым в легкие, и все передо мной позеленело, побледнело, заходило кругами, и сам я лежу, беспомощный, в полузабытьи. То же и с вином, и с морфием. Тут натура мне ясно говорит: эй, берегись, тленный человек, здесь яд, не увлекайся им. Вот, то же самое и любовь. Вкушая вкусих мало меду и се аз умираю. Простите, отче, что утруднил вас долгим и столь неприятным разговором. Но говорил всю правду, как на исповеди.

Алеша замолчал. Отец викарий, слушавший его слова с сердечным вниманием, долго не проронил ни звука. В келье стояла благостная тишина, углубляемая ритмическим стуком старинных часов. Наконец, он слегка откашлялся и устало заговорил:

– Вот, что я вам скажу, студент Люминарский. Всего два совета, не начальнических, не архипастырских, а чисто дружеских, как рав-

ный равному. Первое: не торопитесь с решением. Вот владыка митрополит, по своей доброте и по милостивой симпатии к вам, оказал вам такую любезность, что избавляет вас от предварительного искуса послушания перед посвящением. Это и есть внимание, чрезвычайно редкостное и его можно очень лестно для вас обьяснить тем трогательным интересом, с каким Высокопреосвященнейший владыка относится к вашей письменной работе «О пределах Божьего милосердия». Но я все-таки осмеливаюсь полагать в мыслях своих и при первом же случае доложу владыке, если, конечно, вы с этим будете согласны, что пробыть некоторое время послушником вам и необходимо, и полезно. Все-таки у вас будет больше времени приглядеться к монашеским нравам, обычаям и к иноческому обиходу. Ведь золото пробуют огнем, и к вам дурное не пристанет. Но важно то, что от послушания вы можете уйти в любую минуту. А уж после того, как иеромонах трижды бросит перед вами ножницы и вы трижды подымете их, и после того, когда он этими ножницами острижет волосы на вашей голове, – то уйти уже невозможно, не унеся на челе своем страшное, омерзительное клеймо «расстриги». А второе – вот что: так как завтра же надлежит мне идти к владыке митрополиту с докладом о вашем свободном решении, то позвольте рекомендовать вам один глубоко древний, но возвышенный и угодный Богу обычай. Хотите – поздно ночью, хотите – на ранней заре или в иной час, – пойдите в пустую церковь, запритесь в ней, и насколько хватит душевных и физических сил, предавайтесь молитве и размышлениям. Проверьте вашу волю, взвесьте вашу силу, посмотрите вашу память и всем сердцем ждите момента, когда внутренний голос скажем вам ясно и твердо – да или нет.

– Благодарю вас, отец ректор, – тихо сказал Алеша, – я так и сделаю.

– А я, – продолжал ректор, – я никогда не запираю дверей. Войдите ко мне смело в любой час. Вот здесь под лесенкой, на этом месте, я положу церковный ключ и пучок свечей. Возьмите их, и да поможет вам Бог. Давайте я вас поцелую, дорогой сын мой.

* * *

К обеду Алеша не пошел. Он так сильно переволновался в долгом и страстном разговоре с отцом Порфирием, что устал морально и ощущал полную потерю аппетита. Он вышел в липовую аллею, к утренней скамеечке. Голубей уже нет – они разлетелись по домам и заняты теперь своими предвечерними важными делами. «Того Магницкаго сей покрывает камень», – читает Алеша в сто первый раз. Всего только пятый час. Подольская площадь уже опустела и

замолкла. Издали ясно слышится звонкое и мелодичное журчание воды в живом фонтане преподобного Лева. И весь Киев начинает понемногу стихать. Небо бледнеет и слегка холодеет. Алеша выходит за открытые ворота и садится на тот старый дубовый чурбан, на котором испокон веков сидят ночные сторожа Академии. Мимо него мелькают головы и спины студентов, которые идут в город или возвращаются назад. Все они оживленно громко и разноголосо говорят о нынешней злобе дня, об экзаменах. Они торопятся, но почти у каждого из них находится веселое, ласковое словечко, чтобы бросить его мимоходом Алеше, общему другу, любимцу и помощнику.

Огромная фигура останавливается и застилает для Алеши свет.

– Олешенька, радость ты моя, дорогой! Вывез ты меня, остолопа несосветимого! – ревет сверху густой, могучий бас, от которого у Алеши дрожат лоб, нос и вся грудь. Это – окончивший сегодня счастливо последний курс Академии семипудовый вятич Пещуров, сын знаменитого вятского протоирея, необыкновенный силач, красавец и обладатель феноменального голоса, в жизни же простой, покладистый и добрый, как молочный теленок. Он никак не мог справиться с заданной ему для выпускного экзамена письменной темой: «Обличение ереси монофизитов», а, вернее сказать, абсолютно не обладал высоким даром письмотворчества. Всю задачу, от начала до конца, по его слезной просьбе, сделал Алеша Люминарский, бывший моложе его на целый курс, но уже заслуживший во всей духовной Академии репутацию восходящей звезды богословских наук. Мощному вятичу осталось только переписать начисто готовую работу. Он теперь сияет от радости, как огромный, жирный масленичный блин.

– Очень рад за тебя, Пещуров, – говорит Алеша с мягкой улыбкой. – Поздравляю со званием бакалавра. Заранее представляю себе, какой шум, какая пыль пойдет по славному городу Вятке, когда ты въедешь в нее. Помилуйте! Рост, как у Самсона, голос, как труба иерихонская, и к тому же блестящий диплом об окончании киевской Духовной Академии! Прямо – великолепие.

Пещуров громыхает низким октавным хохотом и говорит нарочно с вятским акцентом:

– Мы вятчкие, робята хватчкие, семеро одного не боимча. Но одно могу удостоверить: церковное благолепие и торжественность святого богослужения чтим мы на первом месте. Туда и я все свои способности и возможности, по мере сил, приложу.

– Чай и невеста уже у тебя припасена? – спрашивает кто-то из студентов.

– А как же! Разве без этого возможно? Да еще какая! Король девка. Что по красоте, что по дородности, что по уму, что по хозяйственности. А хозяйства-то у нас, у духовных, в вятских парафиях зело обширны и тучны. Я, вот, за своей свет Меланией Андреевной возьму с приходом шестьсот десятин черноземного поля, да сад, да огород, да дом каменный, двухэтажный, да скотный двор, да птичник, да курятник, да завод лошаденок. Чего же мне больше желать, спрашивается?

– Что и говорить, – с одобрением кивает головой Алеша. – Одно слово – рай земной.

– Воистину, – подтверждает Пещуров, и его праздничное лицо затуманивается. – Одного мне сегодня жалко. Ничем я не могу возблагодарить тебя, душа моя, Олешенька. Денег ты не берешь, вещиц не ценишь, в кабачок тебя не затащишь…

– Спасибо и на добром слове, – успокоительно говорит Алеша.

– Ах, Алеша, я придумал. Приеду к себе в Вятку, поступлю во диаконы, женюсь и первым долгом в своем доме отведу спокойную, тихую, светлую комнату с прекрасным видом на окрестности и прилеплю к дверце надпись: комната Алеши. И так она и будет твоей навсегда. И, как только захочешь, ты, дружочек мой, передохнуть от своих великих богословских трудов и набраться свежих сил, то прямо катай в Богом хранимую Вятку и живи, сколько тебе захочется, услаждаясь млеком, медом, груздями, рыжиками, домашними поросятами и наливками… А теперь, мой чудесный Алеша, позволь облобызать чело твое, – и он, нагнувшись, поцеловал товарища в голову, в самый затылок.

– Второй раз меня сегодня целуют в голову, – думает Алеша и прощается с Пещуровым.

* * *

Небу ещё далеко до заката, но дальние высокие крыши торгового города розовеют, как-то задумчиво печально и устало. Все студенты разошлись, Алеша один; потихонечку, совсем неслышно напевает он на самодельный церковный распев любимые кантики из любимейшей книги Пророка Даниила:

«Благословите, небеса, Господа, пойте и превоносите Его во веки.

Благословите Господа, все воды, которыя превыше небес, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, солнце и луна, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, всякий дождь и роса, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, все ветры, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, жар и огонь, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, холод и зной, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, ночи и дни, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, свет и тьма, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, молнии и облака, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословит земля Господа, да поет и превозносит Его во веки.

Благословите, горы и холмы, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, источники, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите Господа, все произрастания на земле, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, все птицы небесные, Господа, пойте и превозносите Его во веки».

Алеша переходит к своему излюбленнейшему стиху:

– Благословите Господа, киты и все движущееся под водою… пойте…

Но тут его восторженное мурлыкание вдруг прерывается женским, очень приятным и, как будто бы, усталым голосом:

– Будьте столь любезны, молодой человек, помогите мне, пожалуйста, в моем затруднении.

Алеша быстро и учтиво встает с чурбана. Перед ним стоит, опираясь на фиолетовый зонтик, дама среднего роста, лет под тридцать, с красивым, добрым и нежным лицом, в свободной руке у нее висит маленький сак из крокодиловой кожи. Соломенная весенняя шляпа не мешает белокурым волосам незнакомки выходить наружу мягкими кремовыми волнами. От дамы пахнет тонкими веселыми духами и еще чем-то радостным, человеческим.

– Я к вашим услугам, сударыня, – говорит Алеша почтительно. – Чем могу вам служить? И, пожалуйста, сядьте. Вы, по-видимому, утомились.

Дама смотрит на него и улыбается, а вместе с ней как бы тоже улыбаются все лукавые ямочки на ее щеках, губах и подбородке.

– Но зачем же вы встали, – возражает она. – Садитесь рядом. На этой скамьище найдется место для четверых. Присаживайтесь же и послушайте о моих мыканьях. А, кстати, простите за любопытство, не могу ли я узнать, кто вы такой?

– Я? Да как вам сказать? Покамест еще никто. Студент киевской Духовной Академии, только что перешедший на четвертый, последний курс.

– Ах, я так люблю студентов! Они такие милые и образованные, – восклицает блондинка. – Ну, так вот: я родилась в Киеве и прожила здесь до одиннадцати лет, у нас и дом есть собственный, на Щековике, с огромнейшим садом. Но только мы давным-давно переехали в Москву, где я вышла замуж и овдовела. Детей мне Бог не послал, а после мужа остался у меня солидный капитал в банке и дело на хорошем ходу: гостиница в Зарядьи и торговля железным ломом на Балчуге, которая идет чудесно, потому что Москва старые испытанные фирмы очень обожает и в них верит.

А о своем киевском домике с садом я почти что и забыла с давних пор и только на днях вспомнила, что есть у меня в Киеве славная дачка, и что в ней живет и от нее харчится какой-то древний далекий родственник, отставной офицер, которого – смутно об этом помню – все мы называли капитусей. А тут еще один заехавший в Москву дельный киевлянин сказывал, что Киев теперь переживает невиданную строительную горячку и цены на землю растут не по дням, а по часам. Вот я и списалась с нашим капитусей, и он эти известия подтвердил и, кстати, просил меня от наблюдения за домом и садом его уволить, так как намерен он малый остаток дней своих провести в родном Чернигове, поближе к могилкам предков своих, на что, говорит, милостями вашими и покойного супруга вашего скопил сумму не великую, но вполне достаточную. Я тот же час ему телеграмму – приготовьте комнаты, еду! И вот, сегодня приехала, оставила вещи в гостинице у Гладынюка, взяла ванну с дороги и побежала осматривать Киев. Но, Господи, что значит даль веков-то! Ничего прежнего во всем городе не нашла. Ни яров, ни холмов, ни перевозов. Чужой, совсем чужой стал Киев, и уж такой европейский, что куда! Нашей Москве матушке за ним – не угнаться! Ужас, как растут теперь города! Точно грибы после летнего дождя. Ведь прежде-то Киев для меня, для маленькой девчонки, весь был, как на ладони, а теперь ничего не могу понять. Спрашивала у прохожих: как пройти на Щековику? А они меня спрашивают: а шо оно таке, Щековыка? Нанимаю извозчика, а он говорит: теперь на Щековику нет пути лошадиного. Там весенним половодьем все мосты снесло. Другой извозчик взялся было везти, но у него лошадь рассупонилась, и я его бросила. Тут какой-то прохожий надо мной сжалился:

идите, говорит, все вниз, на Подол, там вам вернее всего укажут. Я пошла, бродила, пока на вас не наткнулась. Это что за фисташковое здание, у которого мы с вами сидим?

– Духовная Академия.

– В ней вы, значит, и обучаетесь божественным наукам?

– Точно так. Здесь, сударыня.

– А потом, что же вы будете делать, когда совсем все науки превзойдете насквозь?

Она говорит, спрашивает и отвечает с необычайной быстротой, прелестные ямочки у нее все время в кокетливых движениях. Иногда, увлекшись разговором, она кладет свою горячую руку на колено или на руку Алеши. Иногда так близко склоняется нежным душистым лицом к лицу Алеши, что он с наслаждением и со страхом чувствует и обоняет ее дыхание. Он нарочно встает, чтобы спокойнее ответить на ее вопрос:

– Я этого еще не знаю. Еще не решил. Знаю только, что с отроческих лет посвятил себя на духовное образование и, значит, вся моя будущая жизнь должна протечь в неустанном служении Господу Богу.

– Ах! Но ведь вы еще такой молодой. Сколько вам лет, извините за нескромный вопрос.

– Нет, почему же нескромный? Мне около двадцати четырех лет.

– О, боже! Как странно, я только на четыре года старше вас. Если бы мы поженились, так никому бы даже не кинулась в глаза наша разница лет. А знаете ли вы, что женщинам вы должны серьезно нравиться?

Алеша краснеет и неловко молчит, потупив глаза.

– Ах! Я бы от такого милого, прекрасного, вежливого любовника могла бы с ума сойти, задушила бы его ласками, извела бы любовью, я ненасытная!

– Оставим это, – говорит глухим, каким-то подземным голосом Алеша, чувствуя, что его руки и ноги начинают холодеть и дрожать. – Оставьте, сударыня, это грех, что вы говорите, и позвольте, сударыня, я вас сейчас провожу до Щековики. Она недалеко, всего с полверсты, а все мосты и плотины, немножко попорченные разливом, давно уже приведены в порядок. Надеюсь, сударыня, что вы уже отдохнули?

– О, как вы настойчиво хотите от меня поскорее избавиться, – произносит она с печалью и легкой обидой. – Ну, пусть будет по-вашему. Пойдемте.

– Ваш ведь дом – дом Поспеловых? – спрашивает Алеша.

– Да, Поспеловых. А как вы это знаете?

– А как же не знать. Ведь мы все-таки соседи, а ваш капитуся, Георгий Нилыч, так до сего времени и остался капитусей… Осто-

рожно, здесь ров, обопритесь на мою руку, уж начинает смеркаться. Теперь идите смело, дорога прямая.

И в продолжение всего пути до Щековики Алеша, не переставая ни на секунду, занимает молчащую блондинку всевозможной болтовней. Он говорит о том, что поспеловский дом сохраняется капитусей очень тщательно и рачительно, что поспеловский огород и плодовый сад содержатся хорошо и пользуются великолепным уходом, что поспеловские груши, яблоки, грецкие орехи, мед и кавуны славятся на весь Киев. Потом он рассказывает о весенних разливах Днепра – вот в позапрошлом году был разлив, так это был ужасающий разлив. Контрактовый дом залило на половину, а маленькие хибарки до самого верха. Убытков было столько для народа, что не пересчитать. От Днепра он перешел к Софийскому собору, а затем к собору Андрея Первозванного, построенному знаменитым итальянским зодчим Растрелли, а оттуда кинулся к выдающимся киевским художникам, словом, он чуть не вылезал из кожи, чтобы помешать своей даме сказать хоть одно слово. Когда же вблизи от них показался огонь в поспеловском доме и навстречу вышел с фонарем капитуся, хозяйски покрикивая на собаку, Алеша остановился и сказал:

– Вот вы и дома. Позвольте проститься с вами.

Она спросила тихо и с унынием:

– Не зайдете ли?

– Не могу, – ответил он, – у меня серьезное дело.

Она в полупотьмах взяла его руку и осторожно привлекла ее к себе.

– Жаль, жаль – сказала она, – но простимся все-таки друзьями, мой милый путеводитель. Дайте я перекрещу вас.

Он нагнулся к ней, и она, трижды перекрестив его мелкими быстрыми крестами, сказала:

– Христос с вами, мой дорогой, душенька вы моя.

И став на цыпочки быстро, с этими словами, поцеловала его в прическу.

– Опять меня в голову поцеловали, — подумал Алеша. – Это уже в третий раз в вечер.

Он пошел назад, успокоенный и растроганный. Он только теперь понял, что горячая капля, которая капнула ему на висок при прощаньи, была слеза блондинки. Придя в Академию, он взошел на ректорову лесенку, нашел ощупью церковный тяжелый ключ и десяток свечей и пошел в церковь.

1933 (1934) г.

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО

Начало этого повествования относится к первым весенним дням 1918 года...

Собралась у меня наша привычная преферансная публика: отец Евдоким, настоятель кладбищенской церкви, сосед мой, отставной хриплый полковник, инженер-электрик, маленький, толстенький, похожий на степенного попугайчика в белом фуляровом галстуке, и я. Жена принесла нам солидное угощение: чай из сушеной морковной ботвы (отвар весьма вкусный и полезный), пайковые леденцы, песочное пирожное из овсяной муки. Она же умело разбавила заветные 25 граммов аптекарского ректифицированного спирта – стоимость двенадцатикратного цейсовского бинокля.

Мы с удовольствием подкрепились, попили чайку, закусили, похвалили золотые хозяйкины ручки. Потом кто-то сказал:

– Зачем же нам терять золотое время? Другой поддержал:

– И, правда, не заняться ли делом? А я закончил:

– Чтоб укрепить наш альянс, сыграем, братья, в преферанс. Пулька наша была старинная, ладная, давно сыгравшаяся. Нам уже не надо было ни о чем договариваться. Все знали, что играем по четверти копейки, с четырьмя разбойниками на каждого и с розыгрышем распасовок. За долгое время практики мы уже безошибочно привыкли к своеобразным жестам и к любимым поговорочкам партнеров.

Отец Евдоким купил на шесть без козыря. Я нарочно протянул руку, делая вид, что хочу придвинуть ему прикупку, и заранее знал, что он загородит ладонью карты и скажет:

– Нет, уж, пожалуйста, не беспокойтесь. Я уж сам в моем курятнике похозяйничаю...

Затем он осторожно и медленно вскрыл одну за другой обе карты, заслоняя их от партнеров широким рукавом рясы.

Лицо его стало совсем кислым и разочарованным. Он покачал головою, вздохнул и сказал уныло:

– Готов Тартаков! Вынужден играть семь пик. Зарвался!

– С присидцем, отец Евдоким? –лукаво спросил полковник.

– Какой тут присидец? Дай Бог свое отыграть. Молча зашлепали толстыми грязными картами. Свежих уже нигде нельзя было найти с тех пор, когда современный нам Калиостро, он же талантливый актер и он же неожиданный и внезапный анархист Мамонт Дальский, одним росчерком пера реквизировал все карточные запасы с клеймом Воспитательного Дома: «Пеликан, кормящий своих детей собственным мясом».

Вскоре батюшка очутился в коробке. Предстояло ему: или бить тузом козырную даму, или прорезать маленькой. Все зависело от того, на чьей руке король. Положение было тяжелое и рискованное. Отец Евдоким уже постучал нервно ногтями по краешку стола. Партнеры ожидали, что он сейчас вытащит одно из своих любимых присловий, скажет: «Стала она призадумывать себя» или крякнет и воскликнет, точно в ужасе:

– Тут-то Менделеева и передернуло!

Он поглядел пронзительным взором на своих контрпартнеров, инженера и полковника, но лица их были холодны и замкнуты. Счастье мое, что я, как сдававший, в игре не участвовал; я бы никак не устоял перед этим пытливым взглядом.

– Да-а-а, – протянул отец Евдоким. – Да-с. Тут-то Менделеева и...

И вдруг священник мгновенно умолк и стал бледнеть, не отводя глаз от двери в переднюю. Мы все невольно повернули головы в этом же направлении. Там стояла перепуганная и тоже бледная Катерина Матвеевна, наша кухарка и наш давний друг, родом из Гдовского уезда, похожая обычно на солидную каменную бабу, но теперь совсем растерявшаяся. За ее спиною тускло поблескивали лезвия примкнутых штыков и смутно шевелились толпившиеся в передней люди. Катерине Матвеевне казалось, что она что-то говорит, губы ее двигались, но из них не выходило ни одного звука.

Это пришли ко мне с обыском: четыре распоясанных, расстегнутых солдата – настоящие вооруженные михрютки – под командованием стройного белесого маленького латышонка, туго и ловко одетого в походные желтые ремни новенького хаки. Шестым был долговязый комиссар в поношенном черном пиджаке; правой руки у него не хватало по локоть.

Два солдата остались на кухне, все остальные вошли в комнату. Однорукий протянул перед собой грязный почтовый листок и сказал:

– По мандату от Совета рабочих и солдатских депутатов мы должны произвести в этой квартире обыск. Прошу кого-нибудь из хозяев следовать за мною.

Я встал, но жена сказала мне движением ресниц – сядь. Я все сделаю сама.

Я послушался. В некоторых серьезных случаях женскому темному инстинкту нужно повиноваться без рассуждений. Она отлично знала, что в ту злую пору во мне еще не улеглась, не угасла склонность к сарказму и вредная несдержанность на слово. Кроме того, у нее в разных таинственных уголках и ящичках комодов, буфетов и шифоньерок были тщательно схоронены крошечные пакетики с

белой мукой, разного сорта крупами, сахаром, шоколадом, спиртом, табаком и другими вещами, на случай изнурения или болезни. Эти скудные припасы вскоре настоятельно понадобились нам, когда дочка наша и я заболели жестокой дизентерией после употребления в пищу жмыхов.

Конечно, беглый и невнимательный взгляд не мог бы сразу наткнуться на эти сокровища, если бы его не натолкнула какая-нибудь причина или примета. Потому-то обыскиваемому надо иметь при обыске свою душу в спокойных, холодных и уверенных руках. Но я бы, например, сопутствуя обыску, я бы, пожалуй, смог заставить себя молчать, не поднимать опущенных век и уж никак не косить глаза на питательное «табу». Но не думать о предметах и мысленно не видеть их – это было бы свыше моих психических сил. А ведь давно известно, что такое душевное напряжение непременно, как гипноз, передается мозгу мало-мальски опытного сыщика... и тут конец.

А ну-ка, закажите себе в течение двадцати минут не думать о белом медведе!

Однорукий комиссар и нарядный латыш пошли за женою. Она была восхитительно хладнокровна. В дверях столовой комиссар сказал ей любезно:

– Мы, собственно, интересуемся английской корреспонденцией вашего мужа. Поэтому, во избежание лишней возни и потери времени, покажите нам место, где находятся все его рукописи и документы. Домашних ваших пустяков мы трогать не будем.

«Хороши пустяки, – подумал я. – А заряженный на все восемь гнезд револьвер «веладог», который засунут в узкое пространство между ванной и стеной? А наган, лежащий под плинтусом на террасе? Слава Богу, что жена отвела меня от этой игры в обыск».

Мы четверо остались на тех же местах. Над нами стояли сонные, грязные, вонючие, поминутно чешущиеся за пазухой и зевающие солдаты. Я предложил докончить пульку. Но мои добрые друзья зашипели на меня:

– Какая уж тут пулька! Вы лучше спрячьте поскорее карты, пока не поздно. Сами знаете, как на это теперь смотрят... Да и вообще тут для нас в чужом пиру похмелье. Ну, мы понимаем, вы писатель, вы там могли что-нибудь такое написать. А за что же нас-то арестовали?

Вообще, они явно впадали в панику. Отец Евдоким сказал:

– Моя матушка точно предвидела. «Не ходи да не ходи. Что тебе по ночам шататься?» Да и мне, признаться, не особенно хотелось идти. Нет! Понесла-таки нелегкая.

И, заметно, они на меня глядели враждебно.

К счастью, обыск продолжался недолго. Минут через двадцать однорукий с латышом, вслед за женою, вошли в гостиную. Партнеры мои были немедленно и очень вежливо отпущены по домам. Должен все-таки сказать, что, по торопливости, ни один из них не попрощался с хозяевами дома.

Большевики оказались людьми гораздо более светскими. Однорукий попросил позволения сесть для составления протокола, а латыш, щелкнув каблуками, спросил:

– Не разрешите ли покурить?

Они опустошили весь мой огромный письменный ясеневый стол снаружи и изнутри, а также американский классер со множеством полок, и все их содержание вывалили горой на стол под большую лампу с широким золотистым абажуром. Там было несметное количество писем, деловые бумаги, контракты с издателями, десяток записных книжек, множество фотографических карточек, а больше всего черновиков, начатых и недоконченных повестей, беглых заметок, шутливых стихов и тому подобного мусора. Были и письма иностранцев, но они касались исключительно моих сочинений и никакой политикой не пахли.

Однорукий начал было составлять подробную опись всем этим забранным предметам, но потом махнул рукой и спросил:

– Нет ли у вас каких-нибудь весов?

Весы нашлись, кухонные медные, с плоской круглой тарелкой. Их принесли. Комиссар быстро взвесил весь реквизит и дал нам расписку в том, что принял вещей на девять фунтов. Весь бумажный скарб был затем упакован и запечатан.

– А теперь, – сказал однорукий, – вы уж нас извините, товарищ дама, но по распоряжению революционного трибунала мы обязаны доставить вашего супруга в местный Совдеп до дальнейших указаний.

– Можно ли мужу взять с собою некоторые необходимые вещи? – спросила хозяйка.

– Нет, зачем же? Если хотите, товарищ, возьмите с собою запас папирос. Больше вам ничего не понадобится. И дело ваше, по-видимому, совсем пустяшное... Какое-нибудь простое недоразумение... Сегодня же ночью, а самое крайнее, завтра поутру, вы будете свободны. Пойдемте, товарищ.

Мы вышли из дома и пошли по Елизаветинской улице: впереди – два солдата, позади – другие два с бравым маленьким латышом, посредине – я с комиссаром.

Время перевалилось за полночь. Большие чистые звезды дрожали и переливались в черном низком небе. Ноги наши упруго и

мягко ступали по слегка влажной дорожке. Смолисто и волнующе пахли развертывающиеся почки берез. Из палисадников доносился легкий радостный аромат зацветающей сирени. В такую пору – думалось мне – глухарь только что перестал играть свои страстные любовные песни, а тетерев на рассвете вот-вот начнет токовать. Господи! Как невыразимо прекрасны Твои ночи!

С жалостью и горькой злобой мелькнуло чувство утерянной свободы, и я, неожиданно для себя самого, громко спросил однорукого:

– Хорошо. А все-таки за что же меня арестовали?

– Не знаю, – сказал он грубо, точно тявкнул. – Да если бы и знал, то не уполномочен вас осведомлять.

Черт его возьми! На улице он растерял все свое джентльменство.

По Соборной улице и проспекту Павла I мы дошли до Совдепа. Помещался он в старинном просторном деревянном чудесном особняке, где раньше живали из поколения в поколение господа командиры синих кирасир. Теперь гордый полковой штандарт был сорван с вышки и заменен грязным красным бабьим передником.

Я бывал в этом прелестном домике в начальные годы войны, вплоть до семнадцатого, когда в нем проживал, в качестве гатчинского коменданта, старый, но крепкий кирасирский генерал Дрозд-Бонячевский, который несколько свысока дарил меня своей благосклонной дружбой. Как все русские добрые генералы, он был не без странностей. Говорил он в растяжку, хриповатым баском и величественно, не договаривал последних слогов: замеча-а-а... прекра-а-а-а, превосхо-о-о...

Чудаковат он был. Приезжая к нам домой инспектировать наш солдатский госпиталь, он неизменно интересовался тем, что читают солдаты. Одобрял «Новое Время» и «Колокол». Не терпел «Речи» и «Биржовки». «Слишком либера-а-а... И надеюсь также, что сочинений Куприна вы им читать не даете. Сам я этого писателя очень уважа-а-а, но согласитесь с тем, что для рядовых солдат чересчур, скажем, преждевре-е-е...».

У него была еще одна генеральская слабость: живопись акварелью. В свободные минуты он собственноручно раскрашивал комнатные стенные шпалеры, изображая на них – где дорогу в хвойном лесу, где березовую беседку. Чисто по-детски радовался он всякой похвале и печалился только о том, что ему не давались человеческие лица.

Идя теперь, вслед за одноруким, по комнатам особняка, я узнавал сквозь мутный свет керосиновой лампы милые, незатейливые картинки Дрозда-Бонячевского и с печальным умилением думал:

– Где же ты теперь, милый Дрозд, со своими теплыми странностями, человек, не причинивший никому огорчения в течение своей большой жизни?

Меня привели в самый верхний этаж, в бельведер с просторным балконом. Пахло затхлостью неотворяемого помещения.

Я взялся за ручку, чтобы открыть дверь, но комиссар быстро отвел мою руку.

– Этого вы уж, пожалуйста, не делайте. Очень попрошу вас! А лучше ложитесь-ка спать. Поглядите-ка, кресла-то какие царские! Об окне же и думать оставьте. Если ночью высунетесь наружу, то часовой раздробит вам голову пулей. Да, впрочем, и я проведу всю ночь, не отходя от вас. Хороших снов!

Старинное прапрадедовское раздвижное кресло, из какой-то потрепанной, но нежной неизносимой кожи было широко и уютно. Мне не спалось. Каждый раз, когда я закуривал папиросу, то в красноватом освещении мне мерещился зорко следящий за мною глаз.

Сосед мой не храпел, не бредил, но каждый раз, когда я переменял положение тела, он почти беззвучно шевелился.

Должно быть, все-таки, что прерывисто, на секунды, я засыпал очень глубоко, потому, что порою, открыв глаза, я видел сначала серо-побледневший воздух за окном, потом удивительно чистое голубое небо, чуть тронутое по закраинам розовой тонкой окраской, потом заорали петухи, и я почувствовал солнечный восход.

– Хотите, я открою окно? – спросил однорукий, поднимаясь на своем кресле.

– Пожалуйста.

Какая радость вторгнулась к нам в мансарду, когда широко распахнулись большие полукруглые рамы, навстречу весне и солнцу. В первый раз мне тогда пришло в голову: почему это наш тихий исторический посад называется так непонятно, по-чухонски «Гатчина». По-настоящему ему бы надо было называться посадом «Сирень». Теперь, стоя на высокой вышке, я понял, что никогда еще и нигде, за все время моих блужданий по России, я не видал такого буйного, обильного, жадного, великолепного цветения сирени, как в Гатчине. В ней утопали все маленькие разноцветные деревянные дома и домишки Большой Гатчины и Малой, Большой Загвоздки, Малой, Зверинца и Приората и, в особенности, дворцового парка и его окрестностей.

У Государыни Марии Федоровны сирень была любимым цветком, и она разводила ее с необычайным вниманием, со щедростью и заботой. За нею же потянулась, из подражания двору, вся оседлая Гатчина.

Как радостно и странно было глядеть сверху на этот мощный волнистый сиреневый прибой, набегавший на городишко жеманно-лиловыми, красно-фиолетовыми волнами и белыми грядами, рассыпавшимися, как густое белое овечье руно...

Однорукий комиссар поднялся снизу и сказал:

– Однако, собирайтесь. Сейчас поедете на автомобиле в Петроград, в революционный трибунал.

– Это где же находится? – спросил я.

– В бывшем дворце бывшего Николая Николаевича.

– Что же? Он и Николай Николаевичем перестал быть?

– Всех поскидали, – ответил однорукий мрачно. – Дальше и не то еще будет... Пойдемте. Автомобиль дожидается.

Мы уселись. Спереди – шофер и давно известный мне, давнишний, насквозь пропитанный злобою влиятельный большевик. Позади – я со вчерашним латышом, который был свеж, чист и весь подтянут ремнями, как будто бы только сию минуту выскочил из специальной фабрики, где выделываются эти нарядные белобрысые латыши с ледяными, на заказ, душами. Однорукий исчез. У ворот Совдепа толпились жители. Я успел найти между ними женское лицо и поймать ласковую ободряющую улыбку.

Легкий, изящный «пежо», тоже мой хороший знакомый, принадлежавший Гатчинской авиационной школе, бойко покатился по проспекту Павла I, густо обсаженному с обеих сторон пахучими березами, мимо артиллерийских казарм и заставы, мимо Пулковской обсерватории, по широкому шоссе. За всю нашу довольно длинную дорогу никто из нас четырех не обмолвился ни словом. Я – почему же не сознаться? – немножко нервничал и беспрестанно курил и каждый раз, закуривая новую папиросу, предлагал, по курительной массонской этике, другую моему латышу, и он принимал ее безмолвно и серьезно, точно мы с ним исполняли какую-то серьезную обязанность.

Так мы доехали до Нарвских ворот, завернули на Обводный канал, пересекли синюю Неву и, оставив за собою Петропавловский собор, остановились у малых ворот прекрасного дворца великого князя Николая Николаевича Старшего.

Латышонок быстро соскользнул с автомобиля, позвонил у железной решетчатой двери, скрылся на минутку за нею и вскорости выскочил обратно.

Он и тут не издал ни звука, а только поманил меня рукой.

Мы вошли в просторную, но невысокую комнату, весело освещенную двумя огромными полукруглыми окнами с цельными в высоту и ширину зеркальными богемскими стеклами. По всем сто-

ронам этой комнаты тянулись низкие скамьи, обитые манчестером, рисунок которого я сначала принял за настоящий текинский ковер. Вероятно, в прежние времена здесь помещалась не парадная, а просто деловая приемная.

К этой приемной прилегала другая полутемная комната высотою не больше среднего человеческого роста, освещенная крошечной электрической лампой. В этот-то просторный и низкий чулан и завел меня щеголеватый латыш. Немного освоившись с утлым светом, я увидел в глубине помещения простые деревянные нары, а ближе к выходу стоял небольшой солдат в серой шинели и с ружьем.

Латыш сказал ему:

– Вот, товарищ, сдаю вам арестованного. Примите и следите за ним. Теперь он находится на вашей полной ответственности. – А мне он сказал: До приятного свидания. – И вышел, оставив меня наедине с солдатом.

Я успел хорошо разглядеть солдата. Он был маленький, но крепкий и ладно сделанный парнишка. В своей серой, не по росту большой шинели, он был похож на мило неуклюжего медведя-овсяника.

Минут пять мы с ним помолчали. Потом он заговорил. В тоне его было грубое участие:

– Что, брат? Засыпался?

Я вежливо помычал.

– Да говори уж. Чего там стесняться? На чем вляпался-то? Небось, налетчик? Или шпикулянт?

У меня давно уже в голове родились мысли о том, что мой арест связан с каким-нибудь из моих антибольшевистских фельетонов.

Я сказал:

– По правде, и сам не знаю. Сам я газетчик, в газетах печатаю. Вот и думаю, что написал что-нибудь против начальства, а оно меня и засадило.

Солдат укоризненно покачал головой, вытер большим пальцем под носом и сказал, причмокнув:

– Э, папаша, начальство обижать – это, брат, не ладно. Начальство, голубчик, надо всегда уважать. Это ты, братец, напрасно сунулся.

Солдат замолчал и на минуту прислушался.

– Держись! – сказал он. – Это наш комендант идет.

Комендант трибунала, матрос Крандиенко, так крепко врезался в мою память, что и теперь, через двенадцать лет, мне очень легко вызвать его сумбурный образ: лихо загнутая матросская шапка чертовой кожи, ослепительная белая рубаха, вышитая малорусским красным узором, запрятана в необычайной, гоголевской ширины

шаровары, ниспадающие до сапожных лаковых носков, на груди, на солидной золотой цепочке, массивные золотые часы «с двуглавым орлом» – «Личный государев подарок, – говорил Крандиенко, – в память тех дней, когда я плавал на «Штандарте»...» (Да, вероятно, врал?).

Странна была наша встреча.

Я сидел на табуретке. Он вошел, сел на угол стола и заболтал ногою.

– Ага, пожаловали в нашу гостиницу, – заговорил он с ярким малорусским акцентом. – Добре, добре. Тут у нас на нарах иногда ночует развеселая компания. Но как только надумаете бунт или побег – расстреляю к чертовой матери! Кстати, – продолжал он, – звонила по телефону ваша супруга. Спрашивала, какие вещи вам требуется привезти?

Я начал перечислять:

– Папиросы, спички, четыре свечки, мыло, одеколон, десть бумаги, перья и чернила и т.д., и т.д., и т.д. ...

– А еще что?

– Красного вина, хотя бы удельного.

– Сколько? Полбутылки? Бутылку?

– Ну, бутылки две, самое большее три... Ну, еще ночное белье и постельное.

– Так и передадим. А ананасов и рябчиков не желаете ли?

Я понял, что он издевается надо мной, и замолчал. Он посидел еще немного, рассеянно посвистал «Виют витры», поболтал ногою и ушел. Потянулось скучное время дурацкого безделья. Солдат дремал, кивая носом, прислонившись к стене и опершись на ружье. Где-то близко за стеною наяривал без отдыха голосистый гнусавый фонограф.

– Кто это играет на граммофоне? – спросил я.

– А, тут наша матросня. Делать им нечего, так они целый день заводят эту машину да подсолнухи лузгают.

И опять зеленая скука. Опять дурацкие нудные мысли. И вдруг снова приходит комендант Крандиенко, на этот раз с открытым и оживленным лицом.

– Можете выйти из этой буцыгарни и можете ходить, где вам угодно, по всему дворцу. Так приказал председатель трибунала. Да, и правда, здесь для вас темно и еще вошей можете набраться. Идите, ну. Спать будете на коврах, я и подушку вам устрою. С семьею вам не воспрещено видеться. А теперь просю со мной уместе пообидать.

Еда у него была простая, но вкусная, сытная. Во время обеда привели ему каких-то мокрых грязных мужиков.

– Скобари? – закричал он на них.

– Точно так... Скопские мы...

– Сейчас же расстреляю к чертовой матери! Денисенко! Вестовой! Веди эту шпану на кухню и накорми, а потом – в темную. У меня так, – обернулся он ко мне, – первым делом забочусь об арестованных, потом о служащих, а потом только и сам поем. Мое правило.

К вечеру, когда мы с Крандиенко пили чай, приехала моя жена.

– Ты жив?! – вскричала она, ощупывая мое лицо, и вдруг накинулась на коменданта.

– Что это за безобразие у вас творится? Я спрашиваю, как чувствует себя мой муж? А какой-то глупый осел бухнул мне в телефон: «Расстрелян к чертовой матери».

Крандиенко улыбнулся светло и широко, от уха до уха...

– Не сирчайтэ, товарищ Куприна. Це я пошутковал трошки.

* * *

Посаженный в Революционный трибунал, помещавшийся в бывшем дворце в<еликого> кн<язя> Николая Николаевича Старшего, я мог бы свободно и беспрепятственно осмотреть все его роскошные помещения. Но никогда еще не чувствовал я себя ловко и уверенно, посещая чужие дома, покинутые их настоящими владельцами, хотя бы и много лет тому назад. Мне всегда в эти минуты приходило в голову тревожное ожидание: а вдруг придет сейчас истинный хозяин или его суровый призрак и скажет:

– А ну-ка, милостивый государь и наглый незнакомец. Не угодно ли вам будет немедленно убраться отсюда вон?

Воображал я также, для параллели, что вот прихожу я в свой собственный одноэтажный домик, нахожу его настежь растворенным. И вдруг с неприятным изумлением натыкаюсь на неведомого мне посетителя, который, без всякого позволения, бродит по моим комнатам и беспечно заглядывает в мой кабинет и мою спальню, в мои альбомы и рукописи... И не от этой ли стыдливой неловкости стоит в музеях, церквах и старых замках такая тяжелая тишина, чуть тревожимая осторожным шепотом.

Потому-то я и отказался учтиво от развязных хозяйских приглашений моего сторожа Крандиенки посетить вместе с ним верхние роскошные этажи.

Зато я охотно воспользовался его разрешением работать за огромным письменным столом, посреди упраздненной приемной, окруженной широкими скамьями из поддельных текинских ковров.

– Почем знать, – думал я, – сколько еще дней, а то и недель придется просидеть под этим, навязанным мне, кровом?

И если удастся свободно поработать здесь, на новом месте, то уж лучше, по старой писательской примете, начать сейчас же, чтобы потом не подпасть злым духам медлительности, лености и скуки.

Разложив на зеленом столе свои письменные принадлежности, я обмакнул перо номер 86 в чернила и на белом, приветливом, свежем листе вывел большущими буквами: «Однорукий комендант».

Крандиенко заглядывал мне через плечо, нагибая боком голову и кося глазом, как ворона на кость. Вдруг он сказал:

– Та я же ж не однорукий, а зовсим с двумя руками.

– Это не про вас, – ответил я.– Про вас будет потом, лет так через пять-шесть. А теперь очередь другого коменданта. Тут от вас, в двух шагах Петропавловский собор. И в нем царская усыпальница. Так вот, в ограде этой усыпальницы похоронен сто лет назад герой многих славных войн, впоследствии комендант Петропавловской крепости Иван Никитич Скобелев. Был он в бесчисленных сражениях весь изувечен. Левую руку ему начисто отрубили, а на правой осталось всего два с половиной пальца. Оттуда и прозвание: «однорукий». И завещал он перед смертью, чтобы положили его за оградой усыпальницы, головою как раз к ногам великого императора Петра Великого, перед памятью которого он всю жизнь преклонялся.

Крандиенко выпустил изо рта огромный клуб дыма и воскликнул уверенно:

– О, це я знаю. Той Скобелев, що воевал с турком.

– Нет, больше с французами. С турками дрался уже его внук, Михаил Дмитриевич Скобелев, знаменитый «Белый генерал». О всех трех Скобелевых, о внуке, отце и деде, на днях очень много и очень хорошо мне рассказывал личный ординарец Скобелева-третьего, почтенный и милый старик. Так вот, пока мне здесь делать нечего и пока память еще свежа, я и хотел записать его слова.

Крандиенке стало скучно.

– Ну, да, конечно, – сказал он, едва удерживая зевоту. – А все-таки написали бы вы лучше за нашу великую революцию и за нашу геройскую «Аврору».

– Не беспокойтесь, – сказал я, – история вас не забудет. А издали все-таки виднее.

Вечером он весьма заботливо постелил для меня постель на широкой ковровой скамье и сел у меня в ногах. Мы курили в темноте, а он рассказывал мне эпизоды из своей прежней жизни. («Вам, как писателю, это пригодится»).

Рассказывал о том, как был актером в «малороссической» драме. Упоминал небрежно имена Занковецкой, Саксаганского, Садов-

ского, Кропивницкого и Старицкого. Он даже напевал вполголоса куплеты из «Наталки-Полтавки»:

«Ей, Наталко, не дрочися,
Ей, Наталко, не дрочися,
Забудь Петра ланця
Пройдоху поганця,
Схаменися, Схаменися...»

Пел он также какие-то отрывки из оперы «Запорожец за Дунаем» и пробовал декламировать монологи из пьесы «Глитай, абож Павук». Но все это выходило у него плоховато. Ролей своих он окончательно не помнил или страшно перевирал их, а в пении так фальшивил, что, думаю, его не приняли бы ни в одну, даже самую захудалую театральную антрепризу. Ведь украинцы, как и итальянцы, родятся на свет с верным слухом и с голосами, поставленными самим Господом Богом. Вернее всего было предположить, что Крандиенко перевидал в своей жизни все пьесы скудного и незатейливого малорусского репертуара и играл раза два-три в любительских спектаклях, все остальное выдумал из хвастовства.

Гораздо ярче и правдоподобнее вышел у него рассказ о хохлацкой свадьбе. Самое лестное, по его словам, но зато и самое ответственное положение в свадебном ритуале выпадало на долю сватавьев с невестиной стороны. Пока, обвязанные рушниками, они носили над невестою венец вокруг аналоя; пока на свадебном пиру они, не уставая, пели старые хвалебные песни и говорили самые восторженные речи в честь новобрачной – они бывали настоящими королями пира. Их благодарили, всячески ублажали, поминутно целовали и обнимали, обливая водкой, дарили им платки, шарфы, вышивки для рубашек, полотенца и рукавицы. Потом молодых уводили в каморку, и тогда веселье на час ослабевало, становилось напряженным, натянутым. Всего неувереннее чувствовали себя невестины сватавья. Через час в каморку заходили две почтенные старые свахи и вскоре возвращались назад, держа торжественно в руках вещественные доказательства. Обыкновенно в этом случае гульба вспыхивала в удвоенных размерах. Сватавьев опять принимались целовать, обливая водкой. Снова им дарились отличные домотканые изделия. Гуляли весь этот день, а случалось, и на другой, и на третий. Всем свадебным поездом ходили по деревне, нося на высоком шесте красную рубашку, кричали громко, целовались с прохожими, опять пили и пели:

Ой, упала,
Ой, упала
Звезда с неба красна,
Звезда с неба кра-а-сна.

Но случались изредка маленькие недоразумения, вследствие которых пированье сразу расстраивалось, молодой мрачно и молчаливо сидел в углу, отец невесты трепал волосы и жене, и дочери. На шест надевался дырявый глиняный горшок и воздвигался над крышей. Бывало, что невестины ворота мазались дегтем. Но сватавьев в этих случаях неизбежно били (отняв у них предварительно все роскошные подарки) и били так крепко, «що треба бувало швидче утикати до дому».

Потом Крандиенко стал болтать что-то невнятное о своем друге Деревенко, о яхте «Штандарт», о своих часах с орлом, об Ораниенбауме и о том, как Государь однажды нашлепал маленького наследника за то, что тот, не слушаясь увещеваний дядьки и вопреки запрещению доктора, лазил по деревьям. А мальчик держался молодцом: закусил нижнюю губу и ни пик-пик. Потом подошел к матросу и сказал, протягивая ручонку: «Прости меня, Деревенко».

Потом проскользнуло точно в глухом тумане имя великого князя Михаила Александровича, и больше я уже ничего не слышал, потому что бухнулся в глубокий сон, как камень в воду.

Проснулся я, как мне показалось, через секунду. В матросской комнате уже наяривал крикливый гнусавый граммофон. Весенний радостный свет лился в громадные зеркальные окна такой чистоты, что их как будто совсем и не было. Выпуклая, многоводная синяя Нева несла тяжелые волны, дрожа от напряжения своей могучей силы. Надо мною стоял Крандиенко.

– Вставайте, товарищ. Пора умываться и чай пить. Пришло распоряжение отправить вас после обеда к следователю.

Сам не знаю, почему, может быть, как темный отголосок вчерашней ночной болтовни коменданта, у меня вдруг всплыло в уме имя великого князя Михаила Александровича и моя недавняя статья в его защиту от большевистских утеснений, напечатанная в одной из тогдашних бесчисленных летучих газет, не то в «Эхо», не то в «Эпохе». Статья совсем невинная, в ней положительно не к чему было придраться. Правда, я вспомнил одну забытую мною мелочь, на которую я раньше почти не обратил внимания: в конце этой статейки была сноска, в которой оба редактора – Муйжель и Василевский (Не-Буква) – заявляли, что они печатают этот фельетон своего постоянного сотрудника, оставляя, однако, его содержание на ответственности автора. Не эта ли глупая и трусливая приписка обратила на себя внимание новорожденной, а потому неопытной и суетливой советской цензуры?

За чаем Крандиенко вел себя как-то странно и загадочно. Он все постукивал ногтями по столу и потом мычал многозначительно:

– Да... Н-н-да-с... Такая-то штука... Н-н-нда... Такого-то рода вещь... Да-с...

– Что это вас так тревожит, господин комендант? – спросил я.

– Нехорошее ваше положение. Можно прямо сказать – пиковое положение. Н-н-да.

Я промолчал.

– Читали вы сегодняшнюю газету?

– Нет еще. Не успел.

– Так вот, нате, читайте своими глазами: вчера был убит вашими контрреволюционерами, проклятыми белогвардейцами, наш славный товарищ Володарский. Комиссар по делам печати. Понимаете ли? – И он произнес с глубоким нажимом: Пе-ча-ти!.. А эта история вам – не жук начихал. Н-да-с. В плохой переплет вы попали, товарищ. Не хотел бы я быть на вашем месте.

Я улыбнулся, но сам почувствовал, что улыбка у меня вышла криворотой.

– А что? Расстреляют?

– И очень просто. К чертовой матери. Не буду скрывать, товарищ: мне вас очень жалко, вы человек симпатичный. Но помочь вам, согласитесь, я ничем не могу. А потому примите мой дружеский совет. На допросе говорите следователям одну истинную правду, как попу на духу. Ничего не скрывайте и ничего не выдумывайте. Тогда, наверно, вам дадут снисхождение.

– Да за мной нет никакой вины!

Он махнул рукой.

– Э! Все так говорят... Пойду-ка я до ветру.

Еще сидя в трибунале и потом уже на свободе, дома, я много раз задумывался над сумбурною личностью Крандиенки и долго не мог понять ее, пока не решил, что мой пестрый комендант просто-напросто крикливая разновидность столь распространенной в России породы дураков. Человек он был очень неглупый, по-хохлацки хитрый, наблюдательный и не лишенный юмора, пожалуй, даже добросердечный, но в то же время бестолково упоенный безграничностью своей власти, слепо верящий в высоту своего положения и весь проникнутый насквозь ярой служебной ревностью. Его свирепые окрики, его страшные угрозы, его наборная ругань, его хвастливый цинизм – все это были лишь наезженные, настреканные приемы, грубая самовлюбленная актерская игра.

Переведенный впоследствии, после закрытия трибунала, в одну из главных петербургских тюрем в качестве коменданта, он нередко, по моим запискам, давал свидание своим заключенным с их родными, разрешал «передачу». О нем в Питере и его окрест-

ностях составилась репутация «зверя». Но очень могло быть, что она сложилась благодаря привычным громовым угрозам Крандиенки «расстрелять к чертовой матери в течение четырех секунд!». Но возможно и то, что, незаметно для самого себя, крикливый комендант под конец так глубоко въиграл, въелся, вжился в свою роль, что этот театр и взаправду сделался его настоящей жизнью. В начале нашего знакомства с ним я предполагал было, что задача Крандиенки заключалась в том, чтобы под маскою доброго общения, маленьких услуг и бесцеремонного свободного разговора выудить и выдоить из меня какие-нибудь веские сведения, но вскоре бросил эту мысль как вздорную. Во-первых, вытягивать из меня было абсолютно нечего, а во-вторых, я давно уже с печалью убедился в том, что злобный, разрушительный собирательный ум большевиков отличался большой практичностью и безошибочно знал – какому человеку определять какое место. Крандиенко здесь им не годился бы.

* * *

Тяжело влачились эти четыре-пять часов. Я – человек храбрости средней. В чем меня будут обвинять – я почти совсем не знал. А тут еще бурливый Крандиенко с его расстрелом «к чертовой матери» и Володарский, которого убили так не вовремя.

Расстрелять, думал я, конечно, не расстреляют, в крайнем случае, запрячут куда-нибудь на год, на два... Но эти дурацкие разговоры со следователем!..

Пробовал я писать – ничего не выходило. Курил до горечи во рту. Ходил взад и вперед по большой светлой комнате, которая казалась невыразимо скучной. Крандиенко не появлялся, точно был сердит на меня. За стеною, не умолкая, надрывался, хрипел, сипел и гнусил проклятый граммофон. От обеда я отказался.

Наконец в исходе четвертого часа (считал по дальним часам Петропавловской крепости) быстро вошел Крандиенко и сухо сказал:

– Пожалуйте к следователю на допрос.

И тотчас же крикнул в матросскую комнату:

– Эй! Кто очередной? Веди арестованного к следователю! Живо!

Повел меня наверх необычный матрос. Был он высок ростом и массивно широк как в плечах, так и от груди к спине. Вероятно, он обладал исключительной физической силой. Но ничего типически матросского в нем как будто не замечалось. Не было ловкой, чуть медвежеватой морской выправки. Голова его, немного склоненная

набок, была как бы немного приплюснута, точно неудачно выпеченный ржаной каравай.

– Ну, что же? Пойдемте, – сказал он лениво. Мы стали подыматься по задней, черной лестнице. Она была железная, узорчатая и винтообразная, со многими площадками. Над каждой площадкой гордо красовалась мощная рогастая голова зубра, а снизу висела золоченая дощечка с надписью, когда и где был убит зверь.

– Что за прекрасное животное! – обратился я к матросу.

– Очень, – ответил он небрежно. – К сожалению, вырождаются. Нуждаются в искусственной прикормке и в человеческой помощи. Дурацкая барская затея. Скоро их не будет ни одного.

Он поправил на боку деревянный кобур маузера. (К чему ему было брать оружие? Он свободно мог бы прихлопнуть меня ударом кулака).

Мы пришли в небольшой скромный кабинет, выходящий окнами на Неву. Следователь показал мне на место против себя. Матрос сел сбоку в кресло.

Странный был следователь. Точно из сказок Гофмана. Казалось, что лицо его было грубо вырезано из мореного дуба и вставлено в темно-серый костюм. Неподвижные глаза глядели, но в них не было никакого выражения. Он был похож на мертвеца, поздно вынутого из могилы, или на тех спокойных католических великомучеников, деревянные изображения которых так часто встречаются в каплицах Юго-Западного края, поставленных на перекрестках дорог. В голосе его не было никакого тембра. Фамилия его была Самойлов. Говорили, что он из румын, из той страны, где до сих пор водятся загадочные вурдалаки.

Он пошевелил бумагами, порылся в них и разгладил один газетный лист.

– Вот эта статья, – спросил он бесцветным голосом, – озаглавленная «Михаил Александрович», не вами ли она написана?

– Мной.

– Единолично или в сотрудничестве с другими лицами?

– Одним мною.

– Что же вы хотели этой статьей сказать?

– Да ведь в статье все сказано. Вы ее, конечно, прочитали?

– Прочитал или не прочитал – это другой вопрос. Мы желали бы только знать, какие мысли или идеи хотели вы внушить широкой публике посредством вашей статьи?

– Совсем я ничего не хотел. Мне просто стало стыдно за представителей нового режима. Зачем они подвергают великого князя таким незаслуженным оскорблениям, унижениям и стеснениям?

Он простой и добрый человек. Он совсем не властолюбив. Наоборот – у него отвращение к власти. Он родился в высокой царской семье, но душою и всеми помыслами он истинный прирожденный демократ. Он бесконечно щедр. Он не может видеть нужды, чтобы не помочь ей немедленно. Наездники Дикой дивизии обожали его, называя «наш джигит Мишя». Он женился без разрешения престола, на женщине, которую полюбил, и был за это долго в опале. Когда отрекшийся Государь оставил власть в его руки, он первый сказал: я последую воле народа. Он редкий, почти единственный человек в мире по чистоте и красоте души, – и т.д. и т.д. Я процитировал ему всю статью мою наизусть и закончил словами:

– Вот и все.

Настала тишина. Он долго, очень долго глядел на меня своими неглядящими глазами. Лицо его не изменилось. У меня было такое же тревожное и брезгливое чувство, которое невольно испытываешь, оставшись один на один с тихим сумасшедшим.

Вдруг он очнулся.

– Итак, – равнодушно сказал он. – Из ваших слов я могу вывести только одно заключение: что вы не только ненавидите, но и презираете установленную пролетарскую народно-рабочую власть и ждете взамен ее великого князя Михаила Александровича, как бы архистратига Михаила, стоящего с огненным мечом. Не так ли?

Мне хотелось сказать ему: «Балбес», – но я ответил уныло:

– Да какая же здесь связь?

И опять мы скучно замолчали. Я обернулся на матроса, моего проводника. Он сидел с кислым, но смешливым лицом, щурясь, курил папиросу. Я вспомнил, что забыл свой табак внизу, и попросил:

– Одолжите покурить.

Он охотно и предупредительно дал мне папиросу и зажег спичку. И еще прибавил другую папиросу про запас.

Мы опять довольно долго говорили со следователем, но у нас по-прежнему ничего не выходило. Я очень был обрадован, когда он, наконец, сказал:

– Можете идти. Все равно все ваши уловки, обходы и разные хитрости вам не помогут. Правосудие все равно доберется до ваших гнусных замыслов.

* * *

Мы медленно спускались вдвоем по узкой железной лестнице, часто останавливались на площадках. Слабо светили перегоревшие электрические лампочки. Зубры выставляли вперед свои грозные крутые рога.

– Что? Не особенно понравился вам следователь? – спросил вдруг матрос.

– А вам? – спросил я.

– Да, конечно, ишак карабахский, «трепло», как говорит наша матросня. Да ничего, придут и настоящие работники. К нам все придут.

– Вряд ли.

– А не придут – сами их нарожаем, новых. Какие чудеса делал Петр.

– Во имя Родины, – возразил я. Беседа с ним начала меня интересовать. Он говорил вовсе не так, как говорил бы рядовой матрос. Я с удивлением ловил в его спокойной речи и стройность оборотов, и привычную вежливость, и верный выбор необходимых слов.

– Да. Я отлично помню, – сказал он. – «А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога: жила бы только Россия. Ее слава и благоденствие». Может быть, я путаю немного текст. Во всяком случае, слова прекрасные и сказаны твердо, навеки. Но посудите сами, какую же непомерную тягу взвалил он на себя, чтобы чуть-чуть сдвинуть инертную, сонную Россию с мертвой точки. И притом один. Совсем один. Но ведь, поймите, товарищ, Петры Великие не повторяются, а вся сила русского Петра заключалась в том, что он был большевик, как были большевиками Иван Грозный, и Павел Первый, и Марат, и Наполеон, и Степан Разин. Большевизм – это не партия и не политическое убеждение. Это вера и метод. Нас, большевиков, теперь, – если отвеять присосавшуюся к нам жадную сволочь, – триста тысяч человек, а скоро нас будет миллион. Петрова гигантская задача будет для нас детской игрой. Киндершпиль. Мы революционируем весь земной шар, создадим во всем единую коллективную власть, но власть не ради власти, а ради высокого счастья всех будущих человеческих поколений. При таком задании кто же будет плакать о разбитых горшках!

– Знаю, знаю, – возразил я нетерпеливо. – Старая шарманка. Коммуны, фаланстерия, одинаковая пища, одинаковое платье, а чтобы отличать женщин от мужчин, клейма М. и Ж. на спинах. Общие спальни. Надзор за человеческим приплодом. Все творчество в пении «Интернационала». Рай под заряженными ружьями. Господи, как надоели эти жалкие фантазии. Сто первый опыт производится над живым человеческим мясом. Да вы, прежде чем лезть устраивать всемирное счастье, восстановили бы свою собственную Родину, вдребезги растоптанную проклятой войной. И какое, в самом деле, глупое безумие было вызвать революцию во время войны. Какое преступление перед Родиной.

– Не сердитесь, – спокойно сказал матрос. – Вот вы все родина и родина. А скажите мне, что такое родина? Я этого совсем не понимаю.

– Да вы где сами-то родились?

В его голосе послышалась улыбка, когда он ответил:

– В России. По рождению чистокровный и чистопородный русак. Вот, ваша фамилия мне давно известна, позвольте же представиться и мне: Георгий Семенов-Ольшанский.

Я поглядел удивленно и недоверчиво на грязного матроса с фамилией, известной всей России. Но он продолжал с мягкой улыбкой:

– Нет, не думайте, что это псевдоним. Это моя самая настоящая, самая законная фамилия. И все-таки нет у меня никакого чувства родины. Говорят, она тянет к себе какой-то неземной силой. Нет. Приходилось побывать мне за границей, почти повсюду, и никогда я тяги этой не испытывал. И, пересекая пограничную черту, все равно в Эйдкунене, Вержболове или Границе, никаких теплых слез на глазах я не чувствовал. Но вам я не могу не верить и без всякой шутки прошу вас: объясните мне, что такое Родина?

– Родина? Она вот что... – сказал я и на минуту задумался. – Родина это первая испытанная ласка, первая сознательная мысль, осенившая голову, это запах воздуха, деревьев, цветов и полей, первые игры, песни и танцы. Родина – это прелесть и тайна родного языка. Это последовательные впечатления бытия: детства, отрочества, юности, молодости и зрелости. Родина – как мать. Почему, смертельно раненный солдат, умирая, шепчет слово «мама», то самое имя, которое он произнес впервые в жизни. А почему так радостно и гордо делается на душе, когда наблюдаешь, понимаешь и чувствуешь, как твоя Родина постепенно здоровеет, богатеет и становится мощной. Нет. Я все-таки говорю не то, что нужно. Чувство Родины – оно необъяснимое. Оно – шестое чувство. Детские хрестоматии учили нас, что человек обладает пятью чувствами.

– Зрением, слухом, обонянием, осязанием и вкусом, – подсказал матрос.

– Так. Ну, а вот родина – это шестое чувство, и природа его так же необъяснима, как и природа первых пяти.

Матрос сказал искренно и с оттенком печали:

– Но вот, нет и нет у меня этого чувства. Вероятно, я уж так и появился на свет уродом, как бывают слепые и немые от рождения.

– А может быть, у вас просто притупилось это чувство от частых размышлений об «Интернационале».

– Может быть, – сказал он серьезно.

– А вот мы уже и пришли. Не хотите ли зайти к нам в дежурную. Граммофон послушайте.

– Ну, нет, эту машину я терпеть не могу и уже наслушался ее досыта. А вот не найдется ли у вас какой-нибудь книжки? Предчувствую, что долго не засну в эту ночь. Растревожил меня ваш следователь.

– Пожалуйста. У нас есть маленькая библиотечка. Книги очень хорошие: Маркс, Энгельс, Каутский...

– О, нет, спасибо. Эти сочинения не по мне. Слишком умно. Мне что-нибудь попроще.

– Так не могу же я вам предложить такую вещь, как Робинзон, например.

– Ах, голубчик, эту-то самую книжицу мне и надо. Какая прелесть. Я ее, пожалуй, лет уж десять не перечитывал.

Он уныло покачал своей сплюснутой головой.

– Что ж! Ваше дело. А то, право, взяли бы хоть Либкнехта. Он полегче будет. Ужасно мне обидно, товарищ К., что вы от нашего лагеря сторонитесь. Мимо какого великого дела проходите. Работали бы с нами заодно. И честь вам бы была и слава.

– Что поделаешь! Не могу. Этой самой родиной болен. Не по пути нам.

– Та-ак. Ну, входите в нашу хату. Милости просим.

Матросы сидели вокруг ревущего граммофона, курили и грызли подсолнухи. На мой полупоклон они кивнули головами и больше уже не обращали на меня внимания.

Из учтивости прослушал я со скукой несколько пластинок и хотел уже уходить, как поставили новый номер и из широкоразвернутой медной трубы полился стройный, тягучий, нежно-носовой, давно знакомый мне, но позабытый многоголосый мотив. Чем дальше развертывалась несложная, но захватывающая милая мелодия, тем ближе и слаще и знакомее она для меня становилась. Но вспомнить, где я ее слышал, мне все еще не удавалось.

Наконец, граммофон закозлил, заикал и остановился. Матросы стали догадываться:

– Может быть, это варган, – говорил один, – я вот такой однажды в трактире слышал.

– А может, эхто вовсе волынка.

– Не похоже. Эхто, должно быть, не играют, а поют. Какие-нибудь староверы поют...

Я вдруг вспомнил и сказал:

– Не играют и не поют. А это дудят владимирские рожечники. Поглядите на пластинке, наверное, есть надпись.

Оказалось, что я не ошибся. Надпись там гласила «Владимирские рожечники». Никто изо всей компании во Владимирской губернии не бывал и рожечников не слышал, и мне пришлось о них рассказывать.

Я тогда, лет двадцать тому назад, обмерял лесные площадки в некоторых волостях Меленковского уезда Владимирской губернии. Народ во всей губернии здоровый, крепкий и состоятельный. Большинство о крепостном праве и не слышали, происходили от государственных крестьян. Мужики редко дома бывали. Работали по городам, больше плотниками и мукомолами, а также сады арендовали. Деревни их были богатые. Рогатого скота множество, да не только ярославского, но и холмогорского, и даже симментальского. Выпасы огромнейшие. Заливные и пойменные луга. И сено у них было замечательнейшее. Про свое сено меленковские так хвастались: «Кабы наше сено, да с сахаром, так и попадья бы ела».

Каждая деревня сколько скота-то выгоняла? Голов триста, четыреста, а то и пятьсот! Деревни огромные были, многолюдные. Довольно того сказать, что наемный пастух от общества, в среднем, по более пятисот целковых за лето получал. Жалование прямо министерское! Расходы у него были только на собаку, да на подпаска, да на коровьи лекарства. Харчился же он дарма: в каждой избе по очереди.

Летние дни ужас какие долгие. Волки летом телят не режут, боятся людей, потому что на полях круглый день работа; к ночи же скот в хлева загоняют. Что им, пастухам, целый день от скуки делать? Вот и плетут они лапти. Где березового лыка надерут грубого, а где попадется и липовое; оно куда мягче и на ходу ногу веселит. На разные способы ухитрялись ковырять кочедыком, но хитрее плетения не было, чем мордовское. Недаром даже такая поговорка составилась про людей, которые сами себе на уме: «Прост-то ты, милый, прост, а только простота твоя, как мордовский лапоть, о восьми концах».

А еще пастухи, от нечего делать, собирали на дорогах всякие разные ходячие напевы для своих дудок. Ох, на проезжей дороге чего только не наслушаешься! Идет солдат отставной на родину – поет. Ямщик продольный катит – поет. Цыганский табор тащится – и там песня. Ребята деревенские вернутся к осени из Москвы или Питера – опять новые песни. Прежде ведь вся Русь бродила и пела... А у пастухов уши-то привычные, захватистые. Всю жизнь пасут они на широких просторах. Им не в труд, а в удовольствие новый напев поймать. Были и такие молодцы, что сочиняли песни от себя, да еще умудрялись играть их на два, а то иногда и на три

голоса. Инструменты у них были: самый тонкий и чистый свирель, погуще и попечальнее жалейка, потом еще дудка, а самый главный рожок – из коровьего пустого рога его мастерили, и бывали они разной величины и разных ладов. Иной уж надо было называть не рожком, а рогом.

На обширных смежных пастбищах, случалось, встречались пастух с пастухом, и давай играть друг перед другом на разные голоса. Коровы обступят их, смотрят черными мокрыми глазами, а потом давай разбредаться мало-помалу вширь, пока пастух не выпалит из пастушеского кнута и не закричит звонко: аря! аррря! А собаки давай коров за ноги кусать, только никогда чужую не тронет, а непременно свою норовит попугать. Так и сведут свой скот опять в кучу.

Начинали пастухи свою работу после Юрьева дня, в конце апреля, а кончали осенью после Покрова. Тогда и расчет получали: от полтинника до рубля за голову. Куда они потом девались, в каких щелях зимовали, кажется, никто не знал.

Но был у них один почтенный старый обычай: окончив пастьбу, надо было прежде, чем разбрестись по домам, обязательно завернуть в богатое и большое село Меленковского уезда – Сербово в положенный пастушеский день, в который искони веков, год за годом, происходили состязания между искусниками играть на рожках и жалейках.

Я и сам видел этот праздник. Очень занятно!

Воскресенье. Ясный холодноватый денек, небо тоже холодное, синее, без единого облачка. В полях тихо и пусто, все выкошено, сжато, свезено в амбары. Белые паутинки, «бабье лето», плывут в воздухе. Боком-боком бежит и крутится «перекати-поле». Тишина...

Послал Бог урожая. Сладко отдыхает мужик, отирая вспотевшее почернелое лицо. Благодать!..

По всем дорогам, ведущим в Сербово, тянутся пастухи, так разряженные, что их и не узнаешь. Белый армяк надет только на одно, на левое плечо, а с правой стороны волочится рукавом до земли. Шляпы новые, поярковые гречушником, поля повязаны яркими лентами. Идут, длинными коровьими бичами щелкают, как из ружей палят.

Так и сходятся они не спеша в селе Сербове у знаменитого каменного колодца, выкопанного, говорят, за тысячу лет до нас, в ту пору, когда русские христианством еще не просветились, а были язычниками... Эна, с каких годов повелись пастушеские дни!

Сойдутся они и рассядутся; кто по краям колодца, кто на старой каменной замшелой скамье, кто просто на гладко убитой земле. А тут их обступят кругом сельчане, впереди старики.

Раньше, говорят, на пастуший день издалече приезжали любители рожечной музыки. Не только из Владимирской губернии, но, сказывают, из Сергиева Посада, из Хотькова и даже из Костромских краев.

Ну, сначала, конечно, тары-бары, степенные хозяйственные разговоры, про скот, про рожь, про овсы, про озими... Потом уж, как-то сама собой появлялась и водочка и бублички на заедку. Мужик после урожая щедрый бывает. Впрочем, пьют в этот день не безобразно, а с толком, умеренно, чтобы не испортить праздника. По-настоящему-то пастухи выпьют завтра, на росстанях, и пойдут по домам, покачиваясь.

А тут, глядишь, два подпаска заиграли. Один на свирели, другой на жалейке, и так ловко друг к дружке приладились, что радостно слушать, до чего у них чисто и нежно выходит. А затем уж и большаки вступят. Потом и у стариков ноздрю разъест. Играют и поодиночке, и вдвоем, и втроем, и вчетвером. А старинные песни ведут все полным хором. Например: «Долина, моя долинушка, раздолье широ-о-о-окое». Старинчатая, славная песенка... Тут уж мужики и бабы начинали оделять рожечников небольшими подарками: кому кумача кусок, кому трубку для махорки или кисет, кому варежки вязаные, кому онучи теплые... А день уже спадает, спадает...

Дни теперь укоротились, зато ночи длинней становятся. Солнышко село за село. Закат малиновый, небо в зелень ударилось, и на нем звездочка серебряная задрожала. Пахнет по всем улицам молоком парным; коровий навоз гвоздичкой отдает. Дымом и варевом тянет изо всех труб. Ужинать пора. Дети уже по домам разбежались. Зовут рожечников ко столу. «Милости просим нашего хлеба-соли откушать...»

– Вот и все, – заключил я. – Простите, что не больно ладно рассказал. И доброй ночи вам. Позвольте-ка мне моего Робинзона.

Я ушел в свою большую комнату. Я уже предвидел, что мне очень долго не заснуть; сел у окна и растворил его широкие рамы и залюбовался на потухавший вечер. Прямо передо мною, на той стороне Невы, возвышался красный дом английского посольства, освещенный ярко уже не видимым для меня вечерним заходящим солнцем. Казалось, что весь он был построен из тонкого полупрозрачного сердолика и освещен изнутри, как в праздник, тысячами огней. И тут же я заметил удивительную волшебную особенность зеркальных стекол огромного окна: когда я медленно поворачивал правую раму, то передо мною так же медленно проплывал, отражаясь в стекле, левый берег Невы, а когда левую – то правый. Прошел

мимо меня, отраженный в чистом зеркале буровато-зеленый Литейный мост, и деревянный Дворцовый, и высокогорбый Троицкий, и прекрасные линии Николаевского. Между мостами проходила вся прелесть и все изящество Петербурга, этого красивейшего из мировых городов: ростральные колонны Биржи, Академические Сфинксы, купол св. Исаакия Далматского, Петропавловский шпиль и Адмиралтейская игла, и вздыбленный конь под Великим Всадником, и легкая красная громада Зимнего дворца, и спокойно-воздушный белый силуэт Смольного института...

Совсем близко и слева от меня простирался Летний сад с часовенкой впереди. Весь он был молодой, еще сквозной радостной зеленью. С его статуй уже были сняты зимние досчатые покровы, и они стыдливо белели сквозь нежный убор весенних еще клейких листьев.

И внутри зеркала Летний сад казался как будто бы глубже, четче и интимно-волшебнее, чем в действительности. Кабачки-поплавки тихо качались у причалов, и в них уже зажигались огни.

«Эх! Хорошо бы было поесть там раков!» Легонький невский пароходик пыхтел, собираясь отойти оттуда, и финский мальчуган-юнга кричал на всю Неву пронзительным и ужасно высоким голосом:

– Аттекари Отрови!!!

И я подумал с завистью: «Вот на Каменном я бывал и на Стрелке тоже, а Аптекарского не удалось видеть. Ах, поехать бы туда сейчас в этот тихий чудесный вечер, который никогда не повторится».

Большая тень беззвучно стала сзади меня. Я обернулся назад. Это был тот самый странный матрос, который назвал себя Семеновым-Ольшанским.

– Простите, что потревожил вас, – сказал он мягким тоном, так идущим к этому тихому вечеру. – Прекрасную вы себе устроили панораму, Александр Иваныч. А я вот все думал и передумывал о вашем чувстве к родине. Что оно такое, в самом деле: зоологическое ли влечение или, в самом деле, особое тонкое, шестое чувство, не всякому доступное и легко исчезающее? Нет, я еще продумаю этот вопрос.

– С Богом, – сказал я и пожал его руку. И до самой той поры, когда вышел на небо узкий серебряный челнок молодого месяца, влекшего за собою на невидимом буксире малую серебряную звездочку, мы сидели, глядя на бессонную Неву и на засыпающий Петербург.

1934 г.

ТЕОДОЛИТ

(Рассказ из воспоминаний пегого человека)

А то вот довелось мне однажды исходить, вдоль и поперек, весь огромный Зарайский уезд Рязанской губернии, жителей которой в просторечии называет языкатая Россия косопузыми. А вышло это вот каким образом: гостил я тогда у своего шурина, у мужа моей сестры, таксатора и лесника казенных лесов, в славном городе Рязани на даровых хлебах, и, должно быть, я в конце концов основательно перегостился.

Однажды Станислав Андреевич мне и говорит ласково:

– Слушай-ка, Шура, ты бы, чем болты болтать и слонов водить, занялся бы настоящим и нетрудным делом, на котором в течение месяца свободно заработаешь сто, а то и полтораста рублей и на них с триумфом въедешь в свою возлюбленную Москву. Дело, я тебе говорю, легкое и по твоему бродяческому вкусу. Ведь ты в кадетском корпусе, потом в военном училище, занимался съемками? Хотя бы и самыми примитивными, компасными?

– Как же, – говорю я, – кипрегель-дальномер, астролябия.

– Э, брат мой, – говорит Стась, – никакой здесь топографии не требуется. Дело ясное, как мармелад. Несколько рязанских сел, деревень и даже волостей, входящих больше в Зарайский уезд, гуртом собрались делать большие порубки в принадлежащих им лесных площадях. А этого делать нельзя без разрешения строгого лесоохранительного комитета, который неустанно следит за тем, чтобы не вырубались деревья моложе двадцати лет, а также деревья строевые и мачтовые, потребные для высших государственных целей.

Вот этому-то суровому и берущему крутые взятки комитету и преподносятся планы предполагаемых вырубок с количеством леса, с его сортом и качеством и с его примерным возрастом, и все это за подписью специалиста-лесоведа, имеющего необходимый диплом. Повторяю, – говорил Станислав Андреевич, – вычертить такой план – нет никакой трудности, любой приготовишка-гимназист сделает. Я тебе заранее дам список мужиков, хлопочущих о рубке. Ты к ним приезжаешь:

– Какие такие у вас места и площади назначены на порубку?

–Такие-то.

– Веди туда.

Приводят они тебя. Если пустяковое местечко, брось его, а корёчек побольше, вроде, скажем, рощицы или жидкого лесишка, так в пятьдесят квадратных сажень – не стоит и обмерять. Записывай на глаз и иди дальше. А уже такой лес, которому в поперечнике будет

не менее трех верст, на глазомер нельзя, уже надо промерить шагами, а то послать мужиков с цепью. Да смотри за ними зорко, во все глаза, чтобы верный и ровный шаг держали, а то ведь мужик-каналья рад вдесятеро, во сто раз прибавить. Жаден он до леса, и нет для него слаще занятия и свой и чужой, соседский лес поджигать. А уж когда в истинный, в настоящий лес попадешь, то, обмеривая его, без инструмента не обойдешься. Я тебе дам землемерные цепи, дам и для дальних дистанций мой теодолит. Ты его, пожалуйста, береги; он сработан в Австрии, а объектив у него цейсовский с замечательной дальностью и с чудесной четкостью. Я бы охотно дал тебе вместо него хороший компас, но, черт бы побрал эту сонную Рязань: здесь и детского ледащего компасика нигде не отыщешь.

Поезжай же завтра по утру. До Климанова на моем Мальчике поедешь, а там сдашь его объездчику Нелидкину, а потом уж тебя от этапа до этапа будут повсюду мужики провожать. Ты только говори: от господина лесницына по делу с лесом.

Тут тебе сестра Зина мешок со всякой съестной хурдой-мурдой приготовила, но ты, когда провизия твоя истощится, смело кормись у мужиков. Это им за честь и счастье будет. Еще бы – господин лесницын! Это куда громче звучит, чем господин агроном, исправник, учитель и доктор с фершалом. Лесницын – это хозяин леса и, пожалуй, что-то родственное с лешим.

На другой день я выехал, снабженный последними наставлениями шурина и со списком моих будущих клиентов.

Был тогда конец июля, рассчитывал вернуться назад к концу августа, но обстоятельства сложились так, что мне пришлось проработать до самого конца ноября месяца, да еще с небольшим хвостом.

Давно известно людям наблюдательным, что в тесной среде солдат, матросов и крестьян действуют какие-то невидимые беспроволочные телеграфы, необычайно быстро осведомляющие о вещах, явлениях и событиях первостепенной важности. По такому-то сверхземному и сверхчувственному телеграфу почти вся Рязань с соседними уездами узнали про рязанского лесничего и про лесоохранительные комитеты, которые мужиками назывались лесохоронительными, то лесосохранительними и даже лесоограбительными; узнали и про усердного и скоропомощного господина лесницина и даже про дорогу, по какой к нему надо ехать. И вот по широченной округе пронеслось, как поветрие, всеобщее неукротимое стремление: во что бы то ни стало рубить немедленно свои леса, начиная с древних заповедников и кончая оголенными пустырями, на которых, как половые метлы, торчали вверх редкие ветлы и грустная осина.

Я еще не окончил и первой съемки в деревне Бугаи, как ко мне от моего шурина прискакал босоногий вестник – рыжий деревенский мальчишка с экстренным письмом: «Торопись со съемками. Надвигается пропасть собственников, требующих обмерки своих площадей. Приеду к тебе на помощь не скоро, потому что занят свыше головы таксацией огромных хлудовских лесов. Тебе за скорость и за усердие в работе – двойной гонорар».

Вот таким-то образом я и влипнул в чертовски трудную, весьма ответственную и непрестанную работу. Утром вставал рано, еще до зари, и шел на обмерку площадей и занимался этим делом до сумерек, когда уже начинал выкатываться месяц. На помощь мне крестьянский мир присылал двух или трех человек. Обязанность их заключалась в том, чтобы таскать на себе тяжелый теодолит со всеми его приспособлениями и обмерительные цепи. Они же расставляли по моим указаниям показательные вешки. Просто беда бывала, когда присыпали мне на работу старых мужиков. Те только ерепенились, галдели и валяли круглых дураков и в каждом моем движении подозревали намерение их околпачить, да и вообще во всех пожилых крестьянах я встречал глубокое, твердое, как камень, недоверие ко всем господам и ко всем людям со штанами на выпуск. Зато я не мог достаточно нахвалиться и налюбоваться молодыми помощниками, лет так от четырнадцати до тридцати. Однако созревающая молодежь почти всегда бывала занята деревенскими работами или уходила на отхожие промыслы. Поневоле мне приходилось иметь дело с дуботолом.

Придя в отведённую мне избу, я еще долго разбирался в своих начерченных днем быстрых к<аракулях>, перенося их на черновые планы. Все мои тогдашние сновидения заключались в том, что я ходил, мерял, расставлял вешки, чертил и перечерчивал. Больше – ничего. Только в этой тяжелой, непрестанной работе я стал понимать, как велико, обильно и разнообразно это удивительное государство – Рязанская губерния и как оно безмерно. Разные уе<зды>, волости и деревни говорили на разных языках. Зарайский, например, уезд отличался безукоризненной, правильной, чистой и красивой речью, какой еще говорит незначительная часть Твери…

1936 – 1937 г.

ПЬЄСЫ

ГРАНЬ СТОЛЕТИЯ

(Драматическая трилогия (нет, даже больше!) в… действиях и… картинах)

Действующие лица:

Презус – особых, а даже и не особых примет не имеет, с значком.

Ешька – гласный и кавалер загадочных орденов, как то: «Зеленого крокодила», «Белого слона», «Веселых Эфиопов», «Чьей-то Подвязки» и пр. Человек экзотический, говорит громко, в особенности на торгах.

Подпрезус – вакансия.

Ахов – толстый, а, следовательно, добрый человек. Как говорил Сервантес – «хрипун, удавленник, фагот», кумир городских исполнительных приставов, а поэтому и торговок. Нелицеприятен. Из строевой службы хорошо удержал понятие «быть на взводе».

Подбережный – бравый «молодец», причисливший себя к крайней левой, дар слова получил на тридцать третьем году от рождения. Растучнел – сочувствует литературе… икре и прочим винно-гастрономическим препаратам.

Михель – длинный чухонец, а впрочем, может быть и немец. Длинноязычен. Напоминает те краны из арифметических задач, которые только тем и заняты, что наполняют и опорожняют бассейны без всего результата. Враг печатного слова, за исключением «Киевского» непечатного.

Тумба – пузообразный человек, готовый лопнуть каждую минуту за интересы Подола и его прачек. Артезианскую воду не пьет, питается бренными останками Балкина († декабря 1899 г.), поля орошения тож. Косноязычен и говорит с придыханием. Держится Подбрежного.

Урон С. – избран в магистрат театральными статистиками под режиссерством артиста «Кнорье и др.». Председатель так называемой «собачьей комиссии» и вообще мастер по бутафорской части во всех вопросах, не стоящих выеденного яйца. Писал.

Юс–Малый – силен в древних языках – как говорят, впрочем, его ученики, – но в русской грамоте более силен на язык. Язычок женский.

<в рукописи указание на вставку>

Кожа – секретарь.

Несколько сторожей в мундирах с зелеными кантами. Гласные без речей, из сдаточных, содержатели трактирных и иных прочих

заведений, боксеры, наемные убийцы, духи, репортеры, индийские факиры, престидижитаторы, заклинатели змей, народ, матросы и заговорщики. Кроме того, совершенно неожиданно для авторов, в разных местах и в разное время появляются и другие лица.

Прямо без пролога действие 1-е

При поднятии занавеса в зале заседания – мертвая тишина. Действующие лица не замечают, что занавес поднят и публика ждет начала представления, спят: тучные – с густым драматическим храпом, тщедушные – с лирическим присвистом. Вбегает впопыхах сторож и сметает с голов заседающих пыль.

Сторож. Эка спят-то! Диво, что ещё мохом не обросли. И то сказать, бывали ранее же заседаньица – посидят три, четыре, ну, скажем, пять дней без просыпа, а то слыханное ли дело: сорок дней и сорок ночей не раздевшись сидят. Всё равно как бы в писании всемирная наводнения была… А либо вот из сказки про спящих дев. А всё через Михея этого самого… Уу, образина немецкая! (*Усиленно трет тряпкой лысину Михеля*). Ишь! Пыли-то сколько за сорок дён накопилось, – не ототрешь, не отскребешь, не обмоешь.

Из зрительного зала раздаются шиканье и голоса: «Пора!», «Время!», «Времечко…», «Буди…», «Сторож! Буди, что-ли».

Сторож (*к публике*). Подь-ка сам попробуй. Иначе как на крещение их не разбудишь. К завтраку они у нас просыпаются. (*Действующим лицам)* Господа, просыпайтесь! Неловко… Публика ожидает. Я было не пушшал, да лезут. Господа! (*Трясет за плечо Подбережного. Подбережный на минутку открывает глаза, восклицает: «Мальчик, получи!» – и тотчас засыпает).* Ну что с этаким поделаешь. С ним, как с человеком, при всей вежливости, а он – мальчик! (*Пробует будить других, но не успешно)*

Голоса из публики: «Шевели –и! Пошевеливай. Вон того толстого садани!», «Что в самом деле!!», «Кишку бы с брандмайором», «Про закуску им помяни, авось опомнятся».

Сторож (*вдохновленный последним восклицанием, от которого несколько действующих лиц зачмокало спросонья).* Господа! Господа! (*Громовым голосом.)* Завтрак подан. Крещенский завтрак, проснитесь, не то!!

Презус (*вскакивая как уязвленный).* Ради бога, господа! Вопрос серьезный, высокой важности.

Михель (*взвиваясь как ракета, сгорая желанием сказать сразу за сорок дней и ночей).* Возвращаясь к вопросу о мостовых, как еди-

ницам торгового веса, и находя, что в силу этих данных публичная библиотека, как ненужное добавление к юридической части…

Тучные гласные (*не понимая, в чем дело).* Отклонить, отклонить.

Подбережный (*не совсем еще проснувшийся)*. Мальчик, получи.

Презус. Гласный Подбережный, значит, вы при особом мнении.

Подбережный (*придя в себя и беспомощно взирая на Тумбу).* Собственно по поводу возбужденного… в виду того, что ежели оберточная бумага и в бумагу ежели, например, семгу, то предложение иностранного капиталиста по уборке… по освещению то есть города Блейхе-хре-хе… (*Путается окончательно, старается закашляться и в то же время ищет глазками опоры у Тумбы.)*

Тумба (*голосом из подземелья).* Хедер, хедер.

Подбережный (*сразу оправившийся).* Блейхедер, говорю я.

В публике смех.

Презус *(вскакивает и кричит)*. Господа, ради бога, вопрос серьезный.

Тумба усаживает Подбережного; в благодарность за услугу Подбережный протягивает ему окурок сигары. Инцидент исчерпан.

Михель (*взвиваясь вновь).* Это негодяи…

Среди действующих лиц волнение; многие хватаются за стулья. Добродетельный чуть не вырывает от волнения глаз, Тумба чуть не лопается. Сторожа выкатывают ручной пожарный насос. В тумане виднеются черные усы и синий околышек брандмайора.

Презус. Ради бога, господа, вопрос серьезный.

Все. Просим взять негодяев обратно! Протестируем!.. Где негодяи!!!

Пронырович (*неожиданно завиляв хвостом, вкрадчиво).* Они сказали, если не изменяет мне слух, не негодяи, а негодяйство… А это уже безотносительно.

Михель. Вот, вот, действительно, я это самое и хотел сказать… Конечно, безотносительно…

Презус. Ради бога, господа, безотносительно. Г<осподин> Пронырович прав! …Вопрос высокой важности.

Волнение помалу стихает; усы и околыш исчезли; сторожа разносят чай. Только на самой отдаленной трибуне еще долго раздается глухое ворчание Урона, которого по обыкновению обнесли стаканом.

Презус. Ради бога, господа. Инцидент исчерпан… Вопрос серьезный. Прошу перейти к очередным делам. Слово за Пискорским 2-м, однофамильцем Пискорского 1-го.

Пискорский 2-й (однофамилец Пискорского 1-го). Окидывая ретроспективным и, так сказать, архивно-историческим взглядом цикл времен со времени изобретения Гуттенбергом его исключительного изобретения, нельзя не сомневаться в несомненности…

Тумба (*срываясь с места).* А в городском театре трещина!

Презус. Ради бога, господа, вопрос серьезный…

Тумба. Ах… да! (*Падает).*

Пискорский 2-й (однофамилец Пискорского 1-го). И потому, как я уже имел честь раньше сказать, нельзя сомневаться в несомненности того, что со времен Гуттенберга, нуждаясь в духовной пище...

Ахов (*неожиданно трезвея и причмокивая губами).* Семушки бы…

Пискорский 2-й (однофамилец Пискорского 1-го). Прошу не перебивать… Так как я вижу нескрываемое нетерпение моих сотоварищей, я чувствую необходимость перейти по возможности скорее к самой сути дела. Господа, город давно уже ощущает ощутительную потребность в трех вещах. Я говорю о собственном городском театре…

Тумба (*вскакивает*). Так как трещина… (*Спохватившись, поспешно зажимает себе рот.)* Виноват, виноват, не буду…

Пискорский 2-й (однофамилец Пискорского 1-го) (*презрительно).* Кладбищенская тумба! Ощущается потребность в народном просвещении, разветвляемом на несколько главных течений, под которыми я подразумеваю: во-первых, как я только что упоминал, – собственный городской театр с бесплатными местами для всех здесь присутствующих с их чадами и домочадцами, даже до седьмого колена включительно; во вторых, обязательное постановление об очистке усадеб, но только не в чертах Подола, а в третьих (*пауза. Все: «Слушайте, слушайте!»),* издание собственной городской газеты.

Урон (*сладострастно чавкая).* Мне-е-е бы!

Михель (*взвивается).* Позвольте! Газеты нельзя. Из газет дамы делают папильотки.

Ешька (*бьет себя в грудь кулаком).* Торги, значит, соревнования, аукцион!..

Ванька–встанька *(одно из тех лиц, которые появляются на сцене совершенно неожиданно для авторов. Из аптекарских учеников. – Примеч. автора). (С сигарой).* Баллотировать! Вопрос исчерпан.

Содержатель иного прочего заведения. Кака така газета? Это чтобы на нас клеветоны писали? Чтобы и копейки на проценты нельзя было пустить? Отклонить.

Один из сдаточных. Дурашка. Не кричи, печенка лопнет. Все ведь свои будут.

Другой сдаточный. Промеж себя оборудуем.

Презус. Господа, ради бога, дело серьезное.

Урон (*пламенно вскакивает. Его тянут сзади за фалды, но он оставляет их самоотверженно в посторонних руках, а сам без фалд, с одной пелериной, вспрыгивает на стол).* Бжжжзз… Ууу… Ау… оу… ррр…кр… кр… птту…

Ахов *(добродушно).* Прожуй сначала…

Урон. Господа, во-первых, раньше всего передовые, во-вторых, раньше всего фельетоны, в-третьих, раньше всего театральные воспоминания, в-четвертых, побольше заметочек (*потирает руки и хихикает),* заметочек с таким легоньким характерцем самого невинненького шан…

Юс–Малый (*толкает его в бок).*

Урон (*спохватившись).* Ну, да, что же тут особенного? Шантан? Это так в духе времени.

Все. Просим! Просим! Баллотировать! Не надо баллотировать! Долой!..

Урон. Господа, вопрос о сотрудниках и редакторе. Мне кажется, я мог бы…

Ешька. Торги! Аукцион.

Все. Торги, торги. Назначить конкурс, соревнования. Пригласить из Петербурга.

Презус. Господа, ради бога, вопрос серьезный. Итак, из дебатов выяснилось, что издание собственной городской газеты желательно?

Все. Да, да… Желательно.

Презус. Поэтому согласно предложению г<осподина> Ешьки назначить нужно торги и вызвать к сим соревнователей.

Все. Вызвать, вызвать, соревнователев вызвать!

Сторож (*убирая пожарную кишку).* Эхх!.. Опять на сорок дней и на сорок ночей запущено…

Добродетельный (*потирая руки, смеется мефистофельским смехом).* Хи, хи, хи, хе, хе, хе. Еще один протокольчик не совсем точненький. (*Обращаясь к машинисту за кулисы.)* Давай зановесочку!..

Голос из публики: «Эхх! Плакали наши денежки! Айда не то в трактир».

Действие 2-е

Думская площадь, именуемая, благодаря тому, что по ней раскиданы оберточная бумага, апельсинные и лимонные корки, скверном, состоящим под особым покровительством садовой комиссии. Неподалеку догорает последнее полено костра, разведенного по

случаю пятнадцатиградусного мороза. Из окрестных дворов слышится ругань, шум борьбы, проклятия. Это дворники делают запасы снега на всякий случай. Изредка откуда-то доносятся полицейские свистки. Выходит ***поэт 1-й****. Он худосочен, бледен, питается исключительно рифмами, спермином и новейшими открытиями о средствах к продлению жизни и сохранению трупов – которые он относит к бессмертию рифмами. Состояние панталон приближается к типу древнегреческих поэтов. Умывается изредка; женат. Ничего не пьет.*

Поэт 1-й. В этой думской газете, повидимому, будут ценить настоящее вдохновение не менее, как по пяти копеек! Я воскрешу в ней, наконец-то, заветы великих французских лириков… Чем непонятнее, тем лучше, – вот мой девиз, и да погибнет Буренин. Посмотрим, кто гордый устоит перед этими тройными созвучьями. (*Свисток городового приближается, но поэт, сбросив правую перчатку, начинает):*

Каскад мироздания,
Хрустальность страдания,
И дрожь расцветания
Ажурных цветов.
Пурпуровых оргий
Златые восторги
Над трупами в морге
Бескровных певцов.
И там, где безбрежно,
Змеисто и нежно,
Струятся прилежно
Волненье и звон,
Там снег раскаленный,
В свой мрамор влюбленный,
Во тьме пароконной
Погиб злой Пифон.

Городовой (*неожиданно вынырнув из отблесков костра).* Господин, пожалте!

Поэт 1-й (*которого еще не покинуло вдохновение):*

Зачем ты здесь, печальный гений?
Оставь меня! Мне утешений
Твоих не надо. Я один.

Тощие ноги поэта бессильно замелькали в воздухе, устремляясь к звездному небу; городовой, унося подмышкой поэта, сентенциозно прорицает: «Не мало я вас, шельмов, предоставил… Площадным словом больше норовишь вдарять в публику… Этого, брат, не показано».

На несколько минут площадь с виднеющейся на ней левой калошей с правой ноги поэта с чужими буквами Ф. Ч. остается пустой. Входит ***Второй поэт****. Он лохмат и восторжен. Пьет только пиво. Срывает высокую коническую шапку с наушниками и с ожесточением ударяет ею о землю.*

Поэт 2-й. Соперников нет. Они чуют мое приближение. Посмотрим, кто из них явится сегодня моим соперником на конкурсе. Я убью их одним тем стихотворением, которое я читал на Пушкинском юбилее в Литературно-артистическом обществе. *(Декламирует).*

Мавр на пьедестале!

Луна печально с высоты
Лила на землю свет печальный.
Она сняла убор венчальный
И погрузилася в мечты.
Не любит, как любил вначале!
Теперь он стал совсем другой…
(таинственно)
На улице во тьме ночной
Там мавр стоял на пьедестале.

Она была бледна, грустна,
Был тайный ужас в этой ночи,
С небес печальная луна
Глядела сумрачно ей в очи.
Она поникла головой,
Луна блеснула на кинжале…
(*умилительно*)
На улице во тьме ночной
Там мавр стоял на пьедестале.

Домой вернулся поздно он,
Взглянул угрюмо на иконы,
В ушах был погребальный звон,
И вдруг он слышит плач и стоны,

Он слышит шорох за собой,
Он видит кровь на одеяле.
(*восторженно*)
На улице во тьме ночной
Там мавр стоял на пьедестале.

В ее груди торчал кинжал,
Потухли сразу вдруг лампады,
К окну он в ужасе бежал –
Кивает тень ему из сада.
Он оглянулся – боже мой!
Луна играет на кинжале…
(исступленно, бия себя в грудь)
На улице во тьме ночной
Там мавр стоял на пьедестале.

Городовой (*совершенно неожиданно появляется сзади. В сторону*). Вторичный! Нет на вас пропасти. Ишь ты, про Марфу завел… Я те укомплектую. (*Громко*) Господин, не нарушайте… Это вы про что, например, разоряетесь стихом этим самым.

Поэт 2-й (*важно, прозой*). Жалкий голос из публики! Вы не можете жить без объяснений. Это новый вид стихотворного искусства, это поэзия, которую можно читать и спереди назад и сзаду наперед с одинаково колоссальным успехом! Слушай:

Там мавр стоял на пьедестале,
На улице во тьме ночной
Луна играет на кинжале.

Городовой. Так ты об этом! Ну-ка!..

Ноги поэта бессильно мелькают в воздухе, из кармана густыми хлопьями западали на землю не принятые редакциями рукописи. В это время влетает стремглав ***Поэт 3-й*** *и заучивает совершенно новое, никогда не бывшее в печати свое стихотворение: «Птичка божия не знает ни заботы, ни труда». Но увидев разбросанные рукописи* ***Поэта 2-го****, торопливо на них набрасывается и начинает рассовывать по карманам, громко восклицая: «Теперь уж примут в думскую газету!». Не успевает он докончить мысль, как со всех сторон сбегаются городовые, дворники и подручные. Поэт улепетывает. Между тем площадь начинает наполняться людьми. Как ящерицы, забегали репортеры, с кипами старых газет важ-*

но последовали вышедшие в тираж погашения редактора, рысцой затрусили тощие кандидаты на секретарские стулья, агенты по собиранию объявлений, подставляя друг другу ножки, издатели календарей и альманахов, полчища корректоров и прочего звания подлые людишки. Окна зала заседаний вспыхнули электрическим огнем, парадные двери широко распахнулись. В них показался сторож.

Сторож. Вы, которые торгующие на газете. Входи, што ли. И сколько этой мрази поползло нынче…тьфу.

Действие 3-е

Декорация первого действия. При открытии занавеса на сцене невообразимый шум и сутолока. Режиссеру, который будет ставить пьесу, советуем обратить особое внимание на то, что движение народных масс группировалось вокруг Ешьки. Участвуют все действующие лица и первого и второго действия, за исключением поэтов, своевременно взятых в участок.

Презус (*звоня и жестикулируя*). Ради бога, господа! Дело серьезное, вопрос высокой важности. Прошу начать торги… Прочтите кондиции.

Экзекутор читает кондиции, из которых понять решительно нельзя ничего. Несмотря на это, волнение и ажиотаж растут с изумительной силой. Особенно кипятится группа вышедших в тираж редакторов, числом около десяти. Каждый редактор перебирает корректурные листы, похвальные отзывы, расчетные книжки, увольнительные свидетельства, номера старых газет, на которых по какому-то странному стечению обстоятельств, независимо от наружности, звания, лет господ редакторов, красуется один заголовок «Канканирующая просфирьня».

Презус. Кондиции известны. Желающих принять участие в торгах и соревновании прошу подвинуться.

Толпа бросается, как угорелая, к столу, над которым Ешька уже занес роковой молоток. Раздаются крики, вопли, проклятия раздавившим мозоли. Вперед, давя пятой выи двух несчастных репортеров, выдвигается мощная фигура Геннадия ***Несчастливцева****, он же Соловцов, он же и Федоров. Общее смятение.*

Несчастливцев–Соловцов (*широко разевая от усталости рот*). Рубль двадцать копеек!

Голоса действующих лиц первого действия. Что же это такое! Так нельзя, что это за толкучка такая. Рубль двадцать! Ценз нужен, аттестаты, похвальные отзывы, литературные заслуги…

Презус (*призвав к порядку*). Да ради бога! Прошу представить литературные заслуги.

Несчастливцев–Соловцов *(выпрямляясь во весь рост, громовыми раскатами, от которых электрические фонари забились и затрепетали, как бабочки на оконном стекле*). Евла-ли-я Рра-мина – раз. Еще ни один любовник выговорить этих слов не мог, восемь суфлеров языки сломали. *(Понижая тон октавой*.) Теперь не ставлю, теперешний суфлер телосложения слабого – первой буквы не выдержит. Щажу… – два! <в рукописи пропуск> Хоть и не моя, да моя. Сказал так – и кончено – лично сказал.

Голоса. Утвердить! Баллотировать! На баллотировку! Долой, не надо, не надо!! Сдать ему в аренду театральную трещину!!!

Избирательные и неизбирательные шары, как горох, с сухим треском падают в урны. Начинается подсчет голосов. Большинством первый кандидат проваливается, смятение среди чающих движения воды увеличивается. Придавленные пятой Несчастливцева, редактора наклеивают на выи пластырь и снова готовятся ринуться в сечу.

Несчастливцев–Соловцов (*раздирая ризы жестом из «Смерти Иоанна Грозного»).*

Тигры и леопарды питают детей своих!!
О гордый дух! К чему встаешь ты на дыбы?!!
Чудовище, смирись! Не скрежещи неистово зубами,
Стань червяком! Склонись к земле, ползи,
Да ниже, ниже…

(Падает на предупредительно подставленные кем-то носилки, секунды полторы лежит с закрытыми глазами, затем вскакивает, как раненый стрелой олень, и гаркает на весь Старо-Киевский участок.)

Еврика!

Сторожа бросаются за Пискорским 1-м.

Несчастливцев–Соловцов *(заметив Пискорскогого 1-го, приближающегося с гуттаперчевой трубкой)*. Не надо!.. Издаю собственную, лично издаю… *(Сопровождаемый свитой проходит в*

дальний угол и оттуда наблюдает за редакторским течением. Его место у стола с молотком занимает редактор № 2-й.) <Примечание сочинителей: «Редактор 1-й в безвестном отсутствии. Фамилия неудобопроизносима>.

Презус *(обращаясь к редактору № 2)*. Дело, господа, серьезное. Литературные заслуги имеете?

Редактор 2-й *(глядя из-под очков, жестами показывает, что редактировал одну газету).*

Презус. Фамилия ваша?

Редактор 2-й. Богоданный…

Презус. Образовательный ценз?

Редактор 2-й. Доктор, врач…

Презус. ?

Редактор 2-й. Орган был болящий, телосложения слабого. Впрочем, я сильных средств не прописывал: деревянным маслицем больше, водичкой…

Голоса. Отклонить, не надо, не надо! Долой. Просим баллотировать.

Начинается та же процедура, как и при первом соревновании, результаты баллотировки тоже мало утешительны. ***Богоданный*** *удаляется, а его место занимает старец с наружностью преждевременно состарившегося типографского мальчика.*

Презус. Литературные заслуги?

Старец–редактор № 3-й. *(отрицательно качает головой)*

Презус. ??

Старец–редактор № 3-й. С малых годов при типографском деле и теперь типография собственная, так что лестно бы.

Шум. Старца уводят без баллотировки. На его месте вырастает детина протодьяконского кроя – ***редактор № 4-й***.

Презус. Литературные заслуги?

[**Редактор 4-й.**] Псаломщик есмь, Выскокоскоченский, и редактором стоял.

Презус. ???

Редактор № 4-й. При болящем органе для напутствования отходную читал.

Шум. Выскокоскоченского выпирают без баллотировки, его место занимает человечек – ***редактор № 5-й***.

Презус. Литературные заслуги?

Редактор 5-й. Владею стихом, полустихом, прозой, полупрозой. Меток, едок, остроумен. В деле с неприятелем был неоднократно контужен в выю навылет. Склонен к легкому шан…шан…тану… (*Поет с залихватскими манерами шансонеточной дивы*):

Когда вдвоем в отдельном кабинете
Мы пьем Клико в расстегнутом жилете,
Она . . . . . .

Свист, шум, свалка. Появляется пожарная кишка, и вдали вьется черный ус брандмайора. На тех же самых носилках, в которые упал ***Несчастливцев–Соловцов****, испещренного редактора № 5 уносят в дальний угол и склоняют к подножию* ***Несчастливцева****.*

Несчастливцев. Аркадий, ты, брат? Жив?

Редактор № 5-й. Жив. Только вот выя.

Несчастливцев. Пренебреги! Из тебя, парень, толк выйдет, я по глазам и по вые вижу. Быть тебе Счастливцевым… Идем.

Редактор № 5-й. Куда, Геннадий Демьянович?

Несчастливцев. Куда? Не видишь? Читай! (*Развертывает перед ним плакат; на плакате нарисована женщина, лишь слегка прикрывшая свою наготу пряжкой; над женщиной надпись: «И вот газета»*).

Редактор № 5-й *(сюсюкает от восторга и чуть не захлебывается)*.

Несчастливцев. Понравилось! Какова штучка? Идем, Аркадий, только не дерись, брат, и в чужие дома в ночное время не ломись… Знаешь меня… Идем. Я барин, а ты мой лакей.

Редактор № 5-й. Ну, нет, Геннадий Демьянович.

Несчастливцев. Аркашка! Разговаривать… (*Торжественно уходит, помахивая в воздухе плакатом, толпа расступается*).

Презус (*подошедшему к столу редактору № 6-й*). Литературные заслуги?

Редактор № 6-й. На скрипке играю, рецепты пишу.

Презус. Опять доктор! Зачем газете доктор? Господа, дело серьезное, прошу обратить внимание.

Редактор № 6-й (*чуть не плача*). Нужен был, полгода бесплатно лечил, по три визита в день делал…

Презус. Ну и что?

Редактор № 6-й. Безнадежно… анемия мозга. (*Жалобно*.) Да вы меня лучше и <не> баллотируйте. Я сам уйду, а то опять. *(Уходит, торопясь поспеть за Несчастливцевым и Аркашкой. В публике рыдания)*.

……
……
……

Конец

1899-1900 гг

ЛЕЙТЕНАНТ ФОН ПЛЯШКЕ

(Водевиль с пением и маршировкой)

Действующие лица:

Лейтенант фон-Пляшке – прусский лейтенант. Стек. Монокль. Корсет и проч.

Герр Пимперникель – коммерции советник, фабрикант резиновых изделий; важен, лыс.

Фрау Пимперникель – его жена, 45 лет. Драгоценности. Молодится.

Фрейлин Каролина Пимперникель – их дочь. Коса, как у Гретхен из «Фауста». Короткое платье.

Зигерле – коммивояжер, посредник, маклер, сводник, ростовщик, директор сталелитейного завода и вообще, что хотите. Лет от 30-ти до 60-ти. В клетчатом.

Толстый Карл – хозяин пивной в окрестностях Берлина под вывеской «К толстому Карлу» («Zum dicken Karl»). Толст, без пиджака, зеленый передник и кожаные нарукавники, колпак «Михеля».

Голос за сценой *(слева)*. Гей! Толстый Карл!

Толстый Карл *(появляется из дверей пивной. В каждой руке по шесть кружек. Танцует и поет, аккомпанирует звоном кружек)*. Сейчас! (*Поет)*.

У толстого Карла прекрасное пиво,
Сосиски в кулак толщиной,
Колбасы варю я и жарю на диво,
Готовлю омлет с ветчиной.
Бом!
И так мы поем
Диг-диг-бом-бом,
Танцуем и пьем
Диги-диги-бом-бом.
Бом!

Голос *(слева)*. Толстый Карл!

Толстый Карл. Сейчас! *(Бежит налево, возвращается с пустыми кружками. Поет)*.

У толстого Карла капустой тушеной
Вас, как во дворце, угостят,
Пред вами поставят с приправой зеленой,
Картофельный прусский салат.

Бом!
И так мы поем
Диг-диг... и т. д.

Голос *(справа).* Толстый Карл!

Толстый Карл. Сейчас! *(Бежит в пивную, возвращается с полными кружками. Поет).*

Заходят ко мне, и студент и асессор,
Купец, офицер, адвокат,
Актер, журналист, музыкант и профессор
И бочками пиво дудят.
Бом!
(Припев...)

Голос (*справа*). Толстый Карл!

Толстый Карл. Сейчас! *(Идет, возвращается с пустыми кружками. Поет).*

У толстого Карла не сердце, а гейзер.
Он пылкий пруссак – патриот,
Да здравствует Пруссия, пиво и кайзер
И толстого Карла живот!
Бом!
И так мы поем
Диг-диг-бом-бом
Танцуем и пьем
Диги-диги-бом-бом.

(Смотрит за кулисы).

Клянусь Гамбринусом. Что это значит? Вся левая сторона улицы полна народа, а на правой хоть бы один человек... Нет, вон кто-то виднеется вдали. Ну, конечно, так и есть. Это лейтенант фон-Пляшке изволит делать прогулку по окрестностям города! Фамозный лейтенант! Колоссальный лейтенант! Пирамидальный лейтенант! (*Вынимает из кармана записную книжку, читает*) Лейтенант фон-Пляшке... фон-Пляшке... Две тысячи 35 марок, пятьдесят пфеннигов. Да еще и сегодня, наверно, выпьет бутылок пять моего лучшего Либфрауенмильх и съест десяток рейнских форелей. Могу ли я ему отказать? Ведь, если я только подумаю это сделать – он разрушит мою пивную до основания, сравняет мой сад и все постройки с землей и велит на голом месте посадить капусту. Впрочем, Зигерле постоянно говорит, что каждый прусский лейтенант носит в кармане жезл. Ну, что же, пока потерпим и будем понемногу приписывать к счетам. Зигерле умный человек и никогда не говорит на ветер. А вот и он плетется там далеко сзади лейтенанта. (*Входит фон-Пляшке).*

Толстый Карл *(низко кланяясь)*. Высокородный господин лейтенант! Имею честь.

Фон-Пляшке. Здравствуй мой храбрый ландштурм.

Толстый Карл. Добрый день, г<осподин> лейтенант.

Фон-Пляшке *(сидит)*. Ты видел мое торжественное шествие?

Толстый Карл. О, это было сверхъестественно! Умопомрачительно! Сногсшибательно!

Фон-Пляшке. Когда я гуляю по одной стороне улицы, то все жители должны переходить на другую. Таков мой закон.

Толстый Карл. Чрезвычайно мудрый закон.

Фон-Пляшке. Да. (*Поет*). Я – лей-те-нант.

Толстый Карл. Фамозный, колоссальный, пирамидальный лейтенант. А сзади вас, далеко, далеко, точно собачка, плелся Зигерле.

Фон-Пляшке. На пятьдесят шагов. Каждый штатский, которого лейтенант фон-Пляшке удостоит взять с собою на прогулку, обязан идти на пятьдесят шагов сзади, садиться, только получив на это разрешение, и на вопросы *(кричит*) вставать!

Толстый Карл (*вытягивается*). Хох, лейтенант фон-Пляшке!

Фон-Пляшке. Постой, отвечай мне быстро: какие самые священный слова для каждого германского мужчины, начинающиеся с буквы «К»?

Толстый Карл *(твердо)*. Кайзер, кровь, контрибуция.

Фон-Пляшке. Кто самое совершенное существо на свете?

Толстый Карл. Прусский, гвардейский, кавалерский лейтенант.

Фон-Пляшке. Спасибо, мой ландштурм. А теперь позови этого болвана Зигерле и скажи ему, что лейтенант фон-Пляшке допускает его до лицезрения своей особы.

Толстый Карл (*в кулису)*. Зигерле! Эй! Зигерле!.. Сюда!

Фон-Пляшке. А кстати, ты, сейчас достанешь из погреба мое вино, приготовишь мою рыбу и подашь все это туда... в мою беседку вместе с моими сигарами.

Толстый Карл. Г<осподин> лейтенант (*вынимает книжку)*... здесь за вами...

Фон-Пляшке. Эп? Разговор? Непослушание? Забыл дисциплину? *(Протягивает над землей хлыст)*. Allez!

Толстый Карл. Г<осподин> лейтенант, очень жарко.

Фон-Пляшке. Эп? (*Разрезает хлыстом воздух)*.

Толстый Карл. Мой живот, г<осподин> лейтенант.

Фон-Пляшке. Кажется, я вынужден повторять? Эп? Гоп! Noch ein mall! Allez! Гоп... Браво, шен... Еще раз allez... Гоп! Молодец! (*Входит Зигерле)*.

Толстый Карл. Рад стараться, г<осподин> лейтенант.

Фон-Пляшке. Можешь расцеловать мою левую ногу *(тот целует почтительно)*. Иди... распорядись и помни дисциплину. А-а! Мой добрый ландвер. Я сегодня в духе дрессировать весь мир. Прыгай и ты.

Зигерле. С наслаждением, мой великодушный господин.

Фон-Пляшке. Стой. Отвечай сначала: какие три самых главных слова на букву «К»?

Зигерле. Кайзер, кровь, контрибуция.

Фон-Пляшке. А для чего существует мир?

Зигерле. Для Германии.

Фон-Пляшке. Германия?

Зигерле. Для Пруссии.

Фон-Пляшке. Пруссия?

Зигерле. Для кавалерийского гвардейского лейтенанта.

Фон-Пляшке. Лейтенант?

Зигерле. Для того, чтобы повелевать, разрушать, делать долги, пить, есть, ни за что не платить, наслаждаться и блестеть.

Фон-Пляшке. Как солнце?

Зигерле. Лучше. На солнце есть пятна, а мундир лейтенанта... безупречен.

Фон-Пляшке. Зигерле, ты льстец. Ну, allez! Гоп! Allez! Гоп... Allez! Гоп! Служи! Перевернись! *(Бросает хлыст)*. Шерш! Пиль!! Аппорт! Молодец!

Зигерле. Рад стараться, г<осподин> лейтенант.

Фон-Пляшке. Можешь поцеловать мою правую ногу. На!

Зигерле *(целует)*. Блаженство!

Фон-Пляшке. Сладко?

Зигерле. Химлиш. Небесно!

Фон-Пляшке. Садись вон туда. Подальше... вот так... чтобы от тебя не пахло демократическим духом. *(Зигерле садится на кончик стула)*. Теперь скажи мне, мой храбрый Зигерле. (*Зигерле встает)*. Что это ты мне такое толковал.

Зигерле. Я позволю себе спросить высокородного г<осподина> лейтенанта, много ли у его милости долгов?

Фон-Пляшке. А черт их знает! Я думаю, около полумиллиона марок. Садись, Зигерле. Немного больше, немного меньше, не все ли равно?

Зигерле (*встает)*. Замечательные слова! Удивительные слова! Исторические слова! Больше, меньше – не все ли равно. Но вы их, конечно, заплатите когда-нибудь позднее?

Фон-Пляшке. И не подумаю.

Зигерле. Но ведь мундир лейтенанта...

Фон-Пляшке. Должен быть без пятен. Садись. Заплатит какой-нибудь другой дурак.

Зигерле. Сама мудрость говорить вашими устами! Непременно найдется кто-нибудь другой.

Фон-Пляшке. Когда я был произведен в офицеры, то мои юнкерские долги заплатил фатер. Мои корнетские долги оплачивала мутер. Садись. Мои интрижки в балете и в цирке я покрываю деньгами моих светских любовниц. Когда меня произвели в лейтенанты, умерла моя тетка, оставив мне наследство. А три года тому назад все мои полковые долги по кутежам погасил корпусный командир генерал-лейтенант граф фон-Эссенбах. Он часто ласкал меня и находил, что я красив, породист и хорошо сложен. Ты не находишь этого? Эц?

Зигерле. Изумительно! Аполлон!

Фон-Пляшке. Н-да... Тогда это было в моде.

Зигерле. И *теперь* оно в почете. Только почему-то об этом не принято говорить. Ну, а с теперешними долгами как вы думаете поступить г<осподин> лейтенант?

Фон-Пляшке. Никак. Не платить и все тут *(грозно)*. Или подпись лейтенанта прусской гвардии...

Зигерле. Священное дело! Но времена теперь настали очень тугие, г<осподин> лейтенант... У меня одного ваших векселей на триста тысяч...

Фон-Пляшке. Пустое, подождешь.

Зигерле. Трудно, очень трудно ждать, г<осподин> лейтенант. Если даже я и подожду...

Фон-Пляшке (*уверенно*). Подождешь.

Зигерле. Но Кунце, Годке, Шмидт и фон-Брюкгоф не желают больше ждать. Биржа падает, в делах застой... У них ваших векселей на четыреста тысяч!

Фон-Пляшке. Черт возьми!

Зигерле. И они собираются подавать их к взысканию *(садится сам)*.

Фон-Пляшке. Швамдрюбер! Лейтенант прусской гвардии делает этим скотам честь, беря у них их грязные, свинские деньги, а они... *(строго)*. Почему ты сел без позволения, дерзкий Зигерле?! *(Зигерле встает)*. Что же мне делать, чудовище? Я без копейки.

Зигерле. И я тоже без копейки, г. лейтенант... Придется, видно, платить.

Фон-Пляшке. Откуда же, дьявол? Из каких источников?

Зигерле. Источник мы, положим, найдем и такой, что под него можно выудить еще несколько тысчонок. Главное то, что мундир лейтенанта...

Фон-Пляшке. ...Не должен иметь пятен... Это аксиома... Что же дальше? Эп?

Зигерле. Неоплаченные долги влекут за собою...

Фон-Пляшке. Черт возьми... Выход из полка.

Зигерле. Значит, прибегнем к женитьбе. Сотни таких же молодых и блестящих лейтенантов, как вы, употребляли его в решительную минуту.

Фон-Пляшке. Садись... Этот жезл...

Зигерле. Мой дорогой и обожаемый г. лейтенант. Добрая, хорошая, выгодная женитьба... Подумайте только... Все долги уплачены... Денег миллионы... Свои дома и виллы... Яхты, оранжереи, конюшни и автомобили... Блестящая карьера... Единственная дочь, в будущем огромное наследство. И, кроме того, вы ведь сами знаете, что пора остепениться. Каждый хороший пруссак до 30-ти лет бывает Адам Адамычем, а после 30-ти он уже становится Карл Карлычем.

Фон-Пляшке. Н-да-а. Это идея. Но вопрос – на ком? Ты сам знаешь, что...

Зигерле. Что мундир лейтенанта должен быть незапятнан. Конечно, высокородный г. фон-Пляшке, род которого восходит к временам первого Крестового похода, может претендовать на руку многих принцесс крови... из мелкоместных... но что за толк, если эти принцессы сами штопают свои чулки, чистят свои бальные перчатки бензином и имеют втроем одно выходное платье?

Фон-Пляшке. Н-да-а. Ты вовсе не так глуп, Зигерле, как сначала кажешься. Садись и говори дальше сидя. А то ты все скачешь, и у меня в голове кружится. Или нет, лучше стой, не садись. Дальше.

Зигерле. Так вот, решайтесь же, г. лейтенант. Это сначала только немножко страшно, как перед купаньем. А потом бух – и одно удовольствие.

Фон-Пляшке. Бух?

Зигерле. Бух и вы прямо нырнете в золото. Ого! в наше время деньги – это такой рычаг, такой поршень, такой двигатель, такой мотор... такой...

Фон-Пляшке. Заткнись. Знаю без тебя. А теперь признавайся, каналья. Ты кого-то уже имеешь в виду?

Зигерле. По чести?

Фон-Пляшке. Да. Если она у тебя когда-нибудь была.

Зигерле. По совести?

Фон-Пляшке. Да, если она у тебя еще осталась…

Зигерле. Какое сверкающее остроумие. Хорошо: дело идет на чистоту. Вы, кажется, знакомы с коммерции советником г. Пимперникель?

Фон-Пляшке. Немного. Я им делаю честь, иногда посещаю их вечера.

Зигерле. Значит и с фрау Пимперникель тоже знакомы?

Фон-Пляшке *(крутит усы)*. Немножко ближе…

Зигерле. …Ах, вы победитель. Немножко ближе. А, ведь дамочка прекрасно сохранилась. Не правда ли?

Фон-Пляшке. Мм… *(Самодовольно мычит)*

Зигерле. Точно роза, достигшая самого пышного расцвета. Э? Какие формы! Э?

Фон-Пляшке. Ммм… (очнувшись, строго). Довольно! Ты слишком разболтался, Зигерле! Что ты хочешь сказать в конце.

Зигерле. Да уже почти все сказано… Если вы знаете фрау Пимперникель, то вы, наверное, знаете и фрейлин Каролину Пимперникель?

Фон-Пляшке. Да, чуть-чуть. Танцевал с нею. Девчонка недурна. Этакая печеная рыбка.

Зигерле. Пунктум! Она и есть та самая...

Фон-Пляшке. Гм... Подожди, Зигерле. *(Лейтенант фон-Пляшке погрузился в размышление.... Пауза)*. Да. Но мундир лейтенанта прусской гвардейской кавалерии...

Зигерле. Останется сиять своей незапятнанностью, а его карманы наполнятся золотом, которое ничем не пахнет, прекрасно блестит и звенит очаровательно.

Фон-Пляшке. Да, но фамилия, фамилия. Вообрази себе ее визитную карточку. Каролина фон-Пляшке, рожденная Пимперникель... Брр...

Зигерле. Нет ничего легче, как обойти этот брр... Видите, вон там на горе развалины старого замка?

Фон-Пляшке. Это замок покойного барона фон-Диктермаркэк-Зондерсгаузен, который был последним в роде...

Зигерле. Точно, г. лейтенант, прежде он принадлежал барону. Но вот уже нисколько месяцев, как он принадлежит г-ну Пимперникель, коммерции советнику.

Фон-Пляшке. Пускай ему принадлежит вся Эльзас-Лотарингия, но от этого он не сделается герцогом Лотарингским, а останется всего лишь Пимперникелем. Бррр...

Зигерле. И вовсе не бррр... Умный г. Пимперникель давно уже внес в «ясли для воспитания недоношенных младенцев» очень

солидный куш. И ему весьма милостиво намекнули, что еще такой же взнос, – и за его дочерью будет укреплен титул прежних владельцев замка, в случай, если она выйдет замуж за родовитого дворянина.

Фон-Пляшке. Это – дело, мой верный Зигерле – это дело. Но все-таки папа Пимперникель так и останется Пимперникелем, фабрикантом резиновых... изделий... Понимаешь ли ты, что в нашем обществе нет ни одного мужчины, нет ни одной дамы, которым были бы незнакомы эти белые пакетики с розовой надписью полукругом: «Людвиг Пимперникель... Элегантно, прочно, гигиенично».

Зигерле. Это пустяки. Пимперникель не будет вам мешать. Его изделием переполнены: Россия, Англия, Австрия, Франция, Америка. Он давно уже хотел ликвидировать дело, принесшее ему миллионы. Вы женитесь на фрейлин Каролине, а папаша с мамашей скромно удалятся в свою великолепную виллу на Рейне. Там среди роскошных цветников и виноградников папа Пимперникель будет культивировать, как любитель, розы и спаржу, а мама Пимперникель будет вязать теплые штанишки, чулочки, юбочки и набрюшнички будущим маленьким фон-Пляшкам. И ничем: ни звуком, ни письмом, ни телеграммой они не омрачат вашего прекрасного существования... Это ли не идиллия? Итак, г. лейтенант?

Фон-Пляшке. Ты говоришь умно и дельно, Зигерле. Я подумаю и тогда...

Зигерле. Надо думать поскорее. Вся семья будет сегодня здесь... Очень удобный случай, воспользуйтесь им... Лоно природы... свежий воздух... трава... цветы...

Толстый Карл (*входит*). Все готово, г. лейтенант.

Фон-Пляшке. Зигерле, приглашаю тебя позавтракать со мною. Кстати поговорим о некоторых подробностях (*идет впереди Зигерле, вдруг останавливается).* Я иногда удивляюсь тебе, Зигерле. Сколько лет я тебя знаю и до сих пор не могу сообразить, что ты за существо? Ты все умеешь, все можешь, все понимаешь. Кто ты?

Зигерле *(поет).*

Я честный маклер, я посредник,
Коммивояжер, комиссионер,
Кулачной силы проповедник
И самовластья миссионер.

Порой шпион международный,
Порой подлец, порой нахал.
В обманах облик благородный
Я безвозвратно потерял.

Я обер-кельнер, шут и модник,
Я интриган, я дипломат,
По надобности ловкий сводник
И по расчету – тонкий сват.

Свободомыслия гонитель,
Нивеллирую дух и ум,
Героев тайный отравитель
Изобретатель пуль дум-дум.

Никто не сунет в рот мне палец,
Я германизма верный щит,
Я крикну «Дейтшланд юбер аллес»
И вся Европа закипит!

Но если мир без колебанья
Прикажет вдруг: «Барбос, тубо!»
Я тотчас с миной покаянья
Заплачу: «Дяденька, бобо».

Толстый Карл. Форель простынет, г. лейтенант, и вино согреется.

Фон-Пляшке. Иду. Зигерле у тебя высокая душа. На тебе правую руку (*Зигерле целует*). Я не забуду тебя. Идем.

Зигерле (*один*). Сейчас, мой лейтенант! (*Записываешь в книжку).* Итак, припишем к счету лейтенанта: за три поцелуя – три тысячи, за три «алле-гоп» – три тысячи, за то, что я служил – две тысячи, шерш, пиль, апорт – три тысячи – итого одиннадцать тысяч... Все равно, какой-нибудь идиот заплатит.

(За сценой напевают марш. Входит семья Пимперникелей, маршируя, обходят кругом сцены, выстраиваются в линию. Маршируют вперед и назад, у них бинокли, фотографические аппараты, гербарии, сачки для ловли бабочек, пледы, альпеншток, книги. Г. Пимперникель несет на плече свой сюртук и шляпу).

Г. Пимперникель. Стой. Привал. Что может быть ближе для доброй героической души, чем маршировка в ногу? Садитесь, друзья мои, выпьем сначала пива, а потом позавтракаем. Толстый Карл!

Толстый Карл. Сейчас! (*Появляется на сцене).* Добрый день, г. Пимперникель.

Г. Пимперникель. Добрый день, Толстый Карл.

Фрау Пимперникель. Добрый день, добрый Карл.

Каролина. Добрый день, милый Карл.

Г. Пимперникель. Пива! (*Показываешь размеры руками).* Для фрейлейн, для фрау, для меня.

Толстый Карл. Одна минута. *(Уходит).*

Г. Пимперникель. Прежде всего, как полагается каждому порядочному немцу, надо прочитать вслух все надписи и плакаты, чтобы знать, что можно делать, что нужно делать и чего нельзя делать. Каролинхен, читай!

Каролина *(читает плакаты)*. Здесь написано «дерево».

Г. Пимперникель. Раз написано «дерево», значит, это и есть дерево. Надо верить плакатам.

Каролина. «Кушайте Геркулес».

Фрау Пимперникель. Это полезно для здоровья.

Каролина. Наплевать! Немцы ничего не боятся.

Втроем и вошедший Толстый Карл. Кроме Бога. Гут!

Каролина. «Муж, не серди свою жену».

Фрау Пимперникель. Слышишь, мой толстячок. *(Щиплет его за подбородок*).

Г. Пимперникель. Ах ты, моя пампушечка. (*Щекочет ее).*

Каролина. «Вино, женщины и пение».

Г. Пимперникель. Толстый Карл, еще пива! Женщины здесь. А вот вам и пение.

(На мотив «Knoster den gelben hat uns Apollo prepariert»)

Светлого пива хозяин
Пусть нам принесет
И в кружки живо
Пусть разольет.

Припев:
Edite, bibite
Kollegiales
Post multa secula
Poculla nulla.

Каролина, читай дальше!

Каролина *(напевает, читая):*

«В неделю два, в год сто четыре
Обоим нам не повредит».

Г. Пимперникель.

Такие надписи в трактире!

Фрау Пимперникель.

О, Каролина, что за стыд!

Каролина.

Ты, папа, сам без затрудненья
В неделю кружек пьешь до ста.

Г. Пимперникель.

Что за невинное творенье!

Фрау Пимперникель.
Что за святая простота!
Каролина.
А здесь написано три слова,
Вот: кирха, кухня, колыбель.
Г. Пимперникель.
Да, это мудрая основа.
Фрау Пимперникель.
И для германки каждой цель.
Каролина (*читает).*
Здесь веселятся.
Г. Пимперникель.
Будем веселиться!
(Поет тот же мотив):

Пивом напиться,
Парочку выкурить сигар,
Так веселится
И мал и стар.

Edite, bibite
Kollegiales
Post multa secula
Poculla nulla.

Г. Пимперникель. И еще давайте веселиться. Толстый Карл!

Толстый Карл. Здесь.

Г. Пимперникель. Приготовьте нам один хороший, добрый немецкий завтрак. Накройте нам на южной террасе, где такой очаровательный вид на окрестности и на прекрасный старый замок покойного барона фон-Дистермарк-эк-Зондергаузен, и дайте меню, и будем еще и еще веселиться. *(Жене)* Анхен, дай мне мою большую хорошую добрую книгу «Сборник лучших немецких анекдотов и каламбуров».

Фрау Пимперникель. Вот она!

Г. Пимперникель (*развертывает*, *читает)*. Например: Когда великий господин Крупп бывает болен самостоятельно?

Фрау Пимперникель. Это очень трудно отгадать. Я это читал в 1905 году, но, к сожалению, забыл.

Г. Пимперникель. Когда у него бывает круп. Ха-ха-ха!

Фрау Пимперникель. Хо-хо-хо!

Каролина. Хи-хи-хи!

Г. Пимперникель. Когда Фукс бежит всего скорее?

Фрау Пимперникель. Какой Фукс? – Лисица?

Каролина. Какой Фукс? – Студент первого курса?

Г. Пимперникель. Тут не сказано. Тут просто напечатан ответ: когда он бежит за пивом. *(Общее глупое недоумение. Пауза)*. Но все-таки раз это написано в книге, то должно быть очень смешно. Будем смеяться. Ха-ха-ха!

Фрау Пимперникель. Хо-хо-хо!

Каролина. Хи-хи-хи.

Толстый Карл *(вбегая)*. Сюда изволит идти высокородный лейтенант фон-Пляшке. *(Все встают. Входит ф.-Пляшке, за ним Зигерле. Карл остается тут же. Ф.-Пляшке немного пьян).*

Фон-Пляшке *(к зрителям).* $^{4}/_{4}$.

Я – лей-те-нант.

Хор мужчин. $^{8}/_{8}$**.**

Он храбрый прусский лейтенант.

Хор женщин. $^{16}/_{16}$.

Ах, мой кумир, какой он франт,

Он храбрый прусский лейтенант.

Фон-Пляшке.

И адъ-ю-тант.

Хор мужчин.

В полку гвардейском адъютант.

Хор женщин.

Вот здесь орел, здесь аксельбант,

В полку гвардейском адъютант.

Фон-Пляшке.

Я на ко-не!

Хор мужчин.

На вороном своем коне.

Хор женщин.

И наяву и в сладком сне

На вороном своем коне.

Фон-Пляшке.

А конь в ог-не.

Хор мужчин.

А конь его дрожит в огне,

Хор женщин.

Ах, душно мне, ах жарко мне,

И я в огне, и конь в огне.

Фон-Пляшке.

Мой идеал...

Хор мужчин.

Его высокий идеал.

Хор женщин.
Должно быть, светский, шумный бал
Его высокий идеал?
Фон-Пляшке. Ге-льо-га-бал. Эп?
Хор мужчин.
Свирепый царь Гельогабал.
Хор женщин.
Ах, дурно мне, что он сказал!
Свирепый царь Гельогабал.
Фон-Пляшке.
Ру-би, ко-ли.
Хор мужчин.
Руби сплеча, смелей коли**.**
Хор женщин.
Не чую под собой земли.
Как страшен он.
Руби, коли.
Фон-Пляшке.
Ко-манда.
Все вместе.
Пли!!!

Фон-Пляшке (*быстро, по военному оборачиваясь, руку к козырьку*). Привет.

Все. Привет. (*Мужчины низко кланяются*, *дамы – глубокий реверанс)*.

Г. Пимперникель. Высокородный г. лейтенант.

Фон-Пляшке *(здоровается)*. Почтенный г. Пимперникель! Очаровательная фрау! Прелестная фрейлейн. Ах, фрейлейн, помните ли вы последний ваш бал?

Каролина. Ах, могу ли я его забыть? Самые чудные воспоминания!

Г. Пимперникель *(к Зигерле)*. Ну! Как?

Зигерле. Все в порядке. Клюнул. Приманка – старый замок.

Г. Пимперникель. Браво, Зигерле. За мной куртаж.

Зигерле. Чудесно.

Фон-Пляшке. (*Каролине*). Масса цветов... лучший берлинский оркестр... тонкий ужин... прекрасное вино... и... и...

Каролина. И!..

Фон-Пляшке. И пара самых волшебных, самых очаровательных глаз на свете.

Каролина *(потупись)*. Ах, чьи же это были глаза?

Фон-Пляшке. Угадайте сами, прелестная фрейлейн.

Г. Пимперникель *(к ф.-Пляшке).* О, наш превосходный, наш великолепный г. лейтенант. Такая милая встреча. Ее нужно отпраздновать повеселее. Не сделаете ли вы нам честь позавтракать с нами в дружеской компании. Мы устроились там – на южной террасе.

Фон-Пляшке. С удовольствием, г. коммерции советник, хотя признаться, я уже немного закусил. Но тогда позвольте мне распорядиться, чтобы к вам перенесли мое вино. Эта толстая каналья Карл даст мне удивительный Либфрауенмильх.

Г. Пимперникель. Г. лейтенант, вы меня обижаете.

Фон-Пляшке. Закон лейтенанта?

Все. Священен.

Г. Пимперникель. Хорошо, повинуюсь. Но извините, что оставлю вас. Я пойду распорядиться и там... вообще... *(К жене*). Анхен!

Фрау Пимперникель. Я думаю, мне, как матери...

Г. Пимперникель *(грозно).* Анхен! *(Сладко).* Я на одну минутку, г. лейтенант. Надеюсь, вы без меня не соскучитесь? *(Все понемногу уходят*).

Фон-Пляшке (*быстро подходить к рампе).* Первые качества германского воина – быстрота, решительность и смелость. Вперед! Налево кругом. (*Подходит к Каролине*, *берет ее за руку).* Дорогая фрейлейн, посмотрите на меня. Вы не замечаете во мне сегодня ничего особенного?

Каролина *(издает птичий писк).* Пи!

Фон-Пляшке. Вы не видите, что мои глаза подернуты облаком грусти? Что мои руки горят огнем? Что мое сердце пылает и трепещет?

Каролина. Пи-и!

Фон-Пляшке *(на коленях).* О, Каролина, о сладкая Каролина! О, невинная Каролина! Я люблю вас.

Каролина. Ах, встаньте, встаньте...

Я не понимаю, что такое за любовь.

Фон-Пляшке. О, вы отвергаете меня! Тогда я сегодня же отправляюсь на войну. Я сожгу сотни деревень, разрушу все храмы и музеи, расстреляю тысячи мужчин, женщин и детей и, наконец, умру, пронзенный жестокой казацкой пикой... и потом эти варвары русские съедят меня, потому что мясо прусских лейтенантов – самое лакомое для них блю-ю-ю-юдо.

Каролина. Ах, нет, нет, не надо, не наадо...

Фон-Пляшке (*встал*). О! Так ты любишь меня?

Каролина (*жалобно мычит со сжатым ртом).* Ну-у...

Фон-Пляшке (*обнимает ее).* И ты будешь моею?

Каролину. Пи-и.

Фон-Пляшке. Моей женой и верной подругой до самой смерти?

Каролина. Поговорите с папой, мамой.

Фон-Пляшке. Сейчас же! Но, Каролина, Каролина, Каролина, брак – серьезное, важное дело. Знаешь ли ты священные обязанности честной германки? Знаешь ли ты те великие буквы «К», с которых начинаются германские великие слова?

Каролина *(поет, подчеркивая К.)*.

Кирха, кухня, колыбель
Вот германки каждой цель.

Фон-Пляшке.

Ну, а кайзер, мадемуазель,
Вами позабыть ужель?

Каролина *(робко)*.

Слово есть — кавалерист.

Фон-Пляшке.

Как ваш ротик свеж и чист.
Кюсхен... тоже ничего.

Каролина.

Не получите его.
Поцелуев – никому.

Фон-Пляшке.

Я возьму и отыму. *(Целует)*.

Каролина.

Ах, во мне горит вся кровь!
Это стыд или любовь?

Фон-Пляшке.

Ваши губки ананас.

Каролина.

Ах, отстаньте, видят нас.

(Входить фрау Пимперникель).

Фрау Пимперникель. Каролина, иди, отец тебя зовет. Помоги ему немного.

Каролина. Мамахен!

Фрау Пимперникель. Я сказала! Марш! Негодная девчонка! *(Каролина уходить)*. Готова повеситься на шее у каждого мужчины. Г. лейтенант, вы, кажется, любезничали здесь с моей дочерью?

Фон-Пляшке. Я? Ничуть. Обыкновенный светский разговор.

Фрау Пимперникель. И мне даже показалось, что вы ее поцеловали?

Фон-Пляшке. Фрау Пимперникель! Это вам только послышалось. За кого вы меня принимаете?

Фрау Пимперникель. Ах, Адольф, Адольф, зачем ты так терзаешь мое бедное сердце! (*Садится. Слезы.)*.

Фон-Пляшке *(в сторону)*. У, ганноверская лошадь. *(Ей)*. Я? Твое нежное сердце? О, если бы ты знала, как изнывал я от тоски, не видя тебя, не лобызая твоих сладких губ. Süssen Lippen. *(В сторону*). Это не женщина, а водопад.

Фрау Пимперникель. Поклянись.

Фон-Пляшке. Клянусь

Фрау Пимперникель. Отчего же ты так долго не приходил ко мне? Ты ведь знаешь, что от двух до шести я всегда дома, всегда одна и всегда жду тебя, сгорая от любви.

Фон-Пляшке *(мрачно)*. Я рвался... но я не мог... у меня такие тяжелые денежные обстоятельства.

Фрау Пимперникель. Ах, мой бедный, дорогой, маленький Адольф. А я как нарочно не захватила с собой чековой книжки...

Фон-Пляшке *(машет рукой)*. Все равно... Это долг чести... Мундир лейтенанта должен быть незапятнанным... Хороший выстрел из револьвера в висок прекратит мои страдания и спасет мое древнее имя от позора.

Фрау Пимперникель. О, нет, нет, нет. Не ужасай меня, Адольф! Я солгала тебе насчет чековой книжки... Я захватила ее, захватила. Вот она. Я знала, что ты постоянно нуждаешься в маленькой поддержке, и я... точно предчувствовала. Сколько?

Фон-Пляшке. Увы! Тридцать тысяч, мое блаженство.

Фрау Пимперникель. Побойся Бога, Адольф. Ты разоряешь меня. Возьми десять...

Фон-Пляшке. Не могу... никак... Мундир лейтенанта... Выстрел в висок... Меньше двадцати пяти я никак не обойдусь.

Фрау Пимперникель. Ну, пятнадцать. Дорогой мой Адольф, примирись на пятнадцати.

Фон-Пляшке *(вздох)*. Нет, это невозможно. Не могу *(встает)*. Прощай... Иду... *(вынимает револьвер)*. Ты, мой старый товарищ, сослужишь лейтенанту фон-Пляшке последнюю верную службу.

Фрау Пимперникель. Ай-ай-ай. Нет, нет, нет. Спрячь скорее эту ужасную вещь. Ну, двадцать, мой милый, нежный Адольф. Клянусь, что я не могу больше. Ну, двадцать? Ну? Хорошо?

Фон-Пляшке *(мнется. Устало*, *с горечью)*. Хорошо. *(Смотрит ей через плечо. Томно.)* Не позабудь поставить число... Благодарю...

Фрау Пимперникель. А теперь один поцелуй... Один сладкий, горячий поцелуй твоей маленькой Анхен.

Фон-Пляшке *(в сторону)*. О, першерон *(ей)*. Хоть тысячу, моя возлюбленная. *(Она душит его в объятьях, он с трудом вырывает-*

ся). Тише, тише... ты меня задушишь... Чертовский темперамент! Пусти же! Сюда могут войти. Потом. *(Вырвался)*.

Фрау Пимперникель. О, моя любовь... *(Пауза)*. Но теперь, мой нежный Адольф, ты все-таки можешь мне сказать, зачем тебе понадобились эти деньги?

Фон-Пляшке. Видишь ли, мамахен. Мне нужно сделать кое-какие подарки... так, разные драгоценности, безделушки... Понимаешь ли, моя радость... я тебя, конечно, обожаю и все прочее, но мне необходимо жениться.

Фрау Пимперникель. Ах! отдайте сейчас же назад мой чек, негодяй.

Фон-Пляшке. Ну, уж этой-то глупости я не сделаю.

Фрау Пимперникель. Слышите, что я вам говорю: сейчас же назад...

Фон-Пляшке. Успокойся же, мой благоуханный цветок. Я женюсь не по любви, а только потому, что мои денежные обстоятельства ужасны. А мундир лейтенанта... он... понимаешь, без пятен. И ведь все равно надо же будет когда-нибудь жениться. Каждый немец до тридцати лет может быть Адам Адамычем, а после тридцати он уже Карл Карлыч... Да не реви же, глупая, добрая, толстая Шлезвиг-Голштинская корова. Любить я буду все равно только тебя одну, до гробовой доски.

Фрау Пимперникель. Обманешь.

Фон-Пляшке. Никогда.

Фрау Пимперникель. Поклянись.

Фон-Пляшке. Клянусь белой звездой на морде моего скакового жеребца Фихте.

Фрау Пимперникель. О, мой Адольф! (*Обнимает. Голову ему на плечо. Он старается выскользнуть)*. Скажи мне, по крайней мере, ее имя.

Фон-Пляшке. Ея имя? Каролина Пимперникель.

Фрау Пимперникель *(вскакивая)*. Каролина? Этому не бывать!

Фон-Пляшке. Это будет.

Фрау Пимперникель. Я не дам согласия.

Фон-Пляшке. Дашь.

Фрау Пимперникель. Я расстрою эту подлую свадьбу.

Фон-Пляшке. Ты устроишь ее.

Фрау Пимперникель. Я лишу Каролину моей части наследства.

Фон-Пляшке. Нет. Ты еще прибавишь.

Фрау Пимперникель. О, теперь я все понимаю! Но в таком случае я расскажу всем, всему свету, с какой целью мой идиот Пим-

перникель купил этот замок и собирается купить для дочери баронский титул. Вот тебе и будет титул.

Фон-Пляшке. Нет, ты этого не посмеешь сделать. У меня против тебя есть чудное орудие.

Фрау Пимперникель. Какое, подлец?

Фон-Пляшке. Твои письма ко мне. Твои дурацкие пылкие письма. Старый Пимперникель прочтет их с большим художественным удовольствием...

Фрау Пимперникель. Ты лжешь, чудовище. Ты мне зимою возвратил все мои письма. Я заплатила тебе за них тридцать тысяч марок.

Фон-Пляшке. И ты, в самом деле, считаешь меня таким дураком? О, нет!

Каждый лейтенант должен раньше всего заботиться о незапятнанности своего мундира. Прежде чем тебе отослать твои письма, я взял и каждое из них чик, чик, чик... *(жест: нажимает фотографическую грушу)*.

Фрау Пимперникель. Чик?

Фон-Пляшке. Ну, да. Каждое из них я взял и щелкнул фотографическим аппаратом – чик и готово. (*Показывает письма*).

Фрау Пимперникель. О, негодяй! О, мошенник! Что мне делать! Что мне делать! *(Закрывает лицо платком)*. О, мейн Гот!

Фон-Пляшке. Что делать? Я сейчас помогу тебе. Но прошу, не забывай одного. Я женюсь только по необходимости. Сердце же мое принадлежит одной тебе *(кричит)*. Г. коммерции советник г. Пимперникель!

Фрау Пимперникель. Я умираю.

Фон-Пляшке. Ничего, не умрешь.

Г. Пимперникель *(выходит)*. Что такое? В чем дело? Что случилось с Анхен?

Фон-Пляшке. Г. Пимперникель. Приготовьтесь выслушать очень важное сообщение. Я давно и безумно люблю вашу дочь.

Г. Пимперникель. О-о!

Фрау Пимперникель. А-ах!

Фон-Пляшке. Я объяснился сегодня вашей дочери. Фрейлейн Каролина, как подобает всякой благовоспитанной немецкой девушке, посоветовала мне переговорить с ее родителями.

Г. Пимперникель. Да, да... Узнаю мое кроткое дитя.

Фрау Пимперникель. А-ах!

Фон-Пляшке. Я переговорил с фрау Пимперникель, и вы видите – она плачет от радости.

Г. Пимперникель. Бедная, добрая Анхен.

Фон-Пляшке. И теперь мне только остается, г. коммерции советник, просить вашего разрешения и благословения.

Г. Пимперникель. Дорогой мой! Красавец! Лучшая жемчужина гвардейской кавалерии! Сегодня самый счастливый день в моей жизни... Исполнились мои лучшие мечты. О, скорее сюда на грудь ко мне, к моему сердцу, мой прекрасный будущий зять *(объятия)*.

Фон-Пляшке *(через плечо ему)*. О, мой толстый, славный, кожаный мешок с золотом.

Г. Пимперникель. Анхен! Перестань же плакать. Поди, обними г. лейтенанта как нашего будущего сына. Почему же ты плачешь? Надо радоваться, а не плакать!

Фрау Пимперникель. *(плача, обнимает).* Я плачу оттого... оттого, что потеряла свою чековую книжку.

Г. Пимперникель. Какие пустяки... Завтра заведем новую.

Фрау Пимперникель. Да, но там на некоторых листках я заранее сделала свою подпись и боюсь, что какой-нибудь подлец *(выразительный взгляд на Пляшке),* какой-нибудь негодяй, вор и мошенник найдет эту книжку и, воспользовавшись моими подписями, возьмет из банка какую угодно сумму.

Фон-Пляшке *(в сторону)*.О! Старая ведьма!

Г. Пимперникель. Только-то? Ха-ха-ха. Вот и видно сразу, что женщина никогда не будет деловым человеком. Да я сейчас же пойду и скажу директору банка по телефону, что если какой-нибудь жулик и подлец явится с твоим чеком – немедленно арестовать его и отправить в полицию.

Фон-Пляшке. Непременно в полицию мерзавца.

Г. Пимперникель. Видишь, как просто. Долой же слезы. Анхен, обними еще раз нашего дорогого лейтенанта. Вот так. А теперь ко мне... опять в мои объятия, и позволь мне... позволь мне, мой сын, называть тебя на ты.

Фон-Пляшке. Ничего, папочка *(треплет его по плечу)*. Называй, если тебе это так нравится.

Г. Пимперникель. И, кроме того, я не могу удержаться! Моя грудь разорвется от радости! Я хочу, чтобы весь мир знал о моем счастье. Я хочу прыгать, танцевать, веселиться. Каролина! Зигерле! Толстый Карл! Идите все сюда. (*Входят Зигерле*, *Каролина, Толстый Карл)*. Каролина, обними меня, я все знал, я все предчувствовал. Обними свою мать (*берет ее за руку)*. Г. лейтенант, вручаю тебе мое сокровище. Береги и люби ее и держи в строгости. *(Объятья)*. Зигерле! Толстый Карл! Поздравьте нас. Г. лейтенант фон-Пляшке сделал нам честь и просил руки нашей единственной дочери Каролины!

(Поздравления: желаю счастья, как я рад, что за прелестная парочка. Поздравляю вас, г. Пимперникель, фрау Пимперникель от всего сердца и т. д.).

Г. Пимперникель. Я горд и счастлив. Я лопну от восторга. Толстый Карл, две бутылки шампанского!

Фон-Пляшке *(обнимая Каролину).* Четыре бутылки шампанского.

Г. Пимперникель. Дюжину шампанского.

Фон-Пляшке. Нет, остановись, Толстый Карл! (*Торжественно*). Слушайте вы все, мои друзья, мой храбрый ландвер и мой верный ландштурм. Все вы – свидетели нашего великого семейного торжества. Вы новые тевтоны, непобедимые потомки Атиллы, ответьте мне: когда пламенное сердце германца объято восторгом, то какое первое стремление пробуждается в его душе?

Все. Маршировать!

Фон-Пляшке. Итак, стройся. Направо. Шагом марш! (*Все, напевая прусский марш, маршируют вокруг сцены*, *выстраиваются в одну линию, маршируют к рампе и назад. В это время за кулисами разгорается отдаленное зарево. Карл убегает).* Стой! Молодцы!

Все. Рады стараться, г. лейтенант.

Фон-Пляшке. Повторим же незабвенные слова нашего вождя. Вы, германские женщины, сестры, жены и матери героев, скажите мне священные германские слова, начинающаяся на букву К.

Женщины. Кирха, кухня, ко-лы-бель!

Каролина. Пи-и. (*Зарево сильнее, слышится казачья песня).*

Фон-Пляшке. Дорогая моя невеста! Я знаю, ты хочешь сказать еще: и кюссе? Но это потом! Раньше – дело. Вы, северные богатыри... Куда это девался чертов Карл? Вы, ландвер и ландштурм, вы, мужественные белокурые гиганты, назовите мне те великие слова на букву «К», от которых восторженно трепещут германские сердца? (*Песня громче*, *зарево сильнее).*

Зигерле и Г. Пимперникель. Кайзер, кровь, контрибуция.

Толстый Карл *(вбегая в ужасе).* К... к... к...

Фон-Пляшке. Какое еще «К» застряло у него в горле? *(За сценой громче слышится песня, мандолина*, *бубен. Дальний топот коней).* Ну, живо!

Толстый Карл. К... К... казаки! Казаки в Берлине!

Все *(в ужасе).* Казаки!

Фон-Пляшке *(вынимает дрожащей рукой шпагу).* Армия! Ландвер, ландштурм!.. Спасайся, кто может! *(Бежит. Все за ним. Толкотня. Крики.)*

Песня за сценой.

С донским с молодым казаком,
С донским с молодым казаком,
С разудалым добрым молодцем,
С разудалым добрым молодцем,

(Сцена пуста. За деревьями и домами топот подков. Плывут концы пик и бунчук.)

Занавес. (*Тихо).*

Эх, кабы мне шапку да коня (2 раза)
Я бы вольною казачкой была (2 раза)
Скакала бы, летала по лугам (2 раза)
С донским с молодым казаком (2 раза)
С донским… и т.д.

1914 г.

МОЯ ЗВЕЗДА

(Кинематографическая пьеса в <...> актах)

Действующие лица:

Аннибал III Роверэ, король Соллерийский, 54-х лет.
Юлия, королева, его супруга, 48-ми лет.
Лианора, их дочь, инфанта, 19-ти лет.
Франческо Атти, сын великого герцога Верройского, 22-х лет.
Андреа Кэй, капитан торгового брига «Моя звезда», мореход, искатель жемчуга, воин, открыватель дальних земель, 35-ти лет.
Лео Дориа, министр соллерийской полиции, 55-ти лет.
Альба Кастелляно, министр соллерийского двора, старый интриган, 65-ти лет.
Адамо Делио, министр наук и искусств, либерал, 40 лет.
Великий инквизитор соллерийский, древний старик.
Граф Маттео Дино, начальник гвардии и дворцовой стражи, военный министр, конквистадор, 45 лет.
Фреско Бальдо, секретарь короля.
Граф Варани, главный казначей королевства.
Беппо (впоследствии **Бьянка**), девушка, переодетая юнгой. Для публики это тайна, почти до конца пьесы. Артистка должна в совершенстве играть роль юноши лет 15–16. Еще лучше, если бы эта роль исполнялась очень похожими артисткой и артистом, что, увы, вряд ли возможно.

Уго Однорукий, пират.

Альдо Мирето, астролог, алхимик.

Палач соллерийский...

Министры, придворные, фрейлины, пажи, слуги, скороходы, писцы, гонцы, герольды, доминиканские монахи, матросы, солдаты, наемные убийцы, толпа.

(Действие происходит в В[еликом] герцогстве Соллерийском, в дворцовых комнатах и саду, частью на пристани. Относится оно, в сущности, ко всяким эпохам и ко всяким странам. Поэтому полная свобода в костюмах и в перемене имен собственных.)

Характеристики главных действующих лиц:

Великий герцог. Горд, высокомерен. Твердо верит в божественное происхождение своей власти, с высоты которой не видит разницы между первым из своих сановников и последним крестьянином. Деспотичен, жесток, но отважен и сам любит смелых людей. Данное однажды слово хранит строго, не боясь ни страшного, ни смешного. Холоден, кроме редких случаев бешеного гнева. Почти недоступен человеческим слабостям, за исключением нежной любви к дочери. Находит тонкое наслаждение в испытании человеческих душ.

Юлия. Нравственный и физический облик Екатерины Медичи (французской). Остатки мрачной, трагической и злой красоты. Властолюбива до болезни. Постоянно ведет интриги, причем без угрызения совести прибегает к кинжалу и яду. Набожна. Склонна к мистицизму и тайным наукам. С герцогом в молчаливой, давней вражде. Дочь свою боготворит.

Лианора. Веселая, здоровая девушка. Кокетлива, проказлива и капризна, но в меру. Добра и отважна. Скучает в сфере дворцовых интриг и политики. Великодушна, отзывчива, но не глубока. Быстро увлекается, еще быстрее забывает и остывает.

Андреа Кэй. Один из тех великих характеров, какие выковала эпоха Возрождения, к тому закаленный трудами и опасностями дальних морских путешествий. Один из многих людей, рожденных властвовать, но черпающих во власти не наслаждение, а необходимое средство. В нем есть что-то напоминающее прекрасное дикое животное: мягкая сила и грация в движениях, сжатая, как пружина, энергия, в состоянии покоя; сверхъестественная быстрота *[нрзб]* и движений в минуты опасности.

Умеет подчинять себе людей одним взглядом, одним движением ресниц. В душе – поэт; делать добро для него так же естественно, как дышать, но в каждую нужную минуту способен проявить гигантскую силу воли и, если нужно, жестокость. Никогда ему в голову

не приходит вопрос – признает ли он над собой чью-либо власть, но естественно и уверенно он знает, что он один во всем мире и что ему все позволено; поэтому он умерен во всем, целомудрен, трезв; ему легко делать людей счастливыми и прощать их ошибки. Он из тех, кого непринужденно боготворят сильные мужчины и любят нежные девушки. Воплощенная здоровая жизнь – он влюблен в мир. Находчивость, светлая улыбка, признательность за услугу, страсть к новизне впечатлений – вот его другие черты. Он красив, умен, много читает. Верит в свою звезду, которую находит в созвездии Кассиопеи.

Маттео Дино. Конквистадор. Из тех железных солдат, что завоевывали для государей города, но иногда и свергали герцогов с тронов. Бешено храбр, горд, остро чувствителен к лести и к обиде. Поклонник физической силы и величия духа. Грубая, несложная, суеверная, но фантастическая натура. Верен лишь по срок контракта или словесного договора, но верен, как самый верный пес. Пролил много крови. Убийство для него – жест.

Беппо (Бьянка). Соединяет в себе редкие, почти несовместимые, благородные свойства: силу страсти, силу души и воли, чистоту мысли и смелую радость подвига. Из тех женщин, что любят однажды и до смерти, хотя бы любовь их была не признана и не замечена; что самоотверженно подавляют в себе под видом внешнего спокойствия муки ревности и мучительно рады, если любимый человек счастлив с другой. Цельный и ясный характер, недоступный лжи и мелочи.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

(Для перевода: П. П.– передний план: В. П. П. – великий передний план.)

Третий день бури.

1. *(Издали)*. Парусный корабль трехмачтовый, застигнутый сильным ураганом, скрывается и показывается среди волны.

2. *(Из 1-й)*. Корабль ближе.

3. *(Из 2-й)*. Капитанский мостик. Два матроса стоят у рулевого колеса. Андреа за компасом.

4. *(В.П.П.)* Андреа за компасом.

5. *(Диафрагма)*. Лицо Кэя. Пристальные, зоркие, прищуренные глаза. Резкие морщины между бровями. Выражение лица суровое и энергичное.

6. *(Продолжение 3-й)*. По трапу взбегает наверх юнга Беппо с дождевым плащом в руках.

7. *(П. П.)* Беппо дотрагивается до плеча капитана. Тот оборачивается с улыбкой. Беппо надевает заботливо на него плащ. Капитан дружелюбно хлопает его по плечу. Знаком показывает: «Иди вниз». Беппо недоволен.

8. *(П. П.)* Беппо медленно спускается по трапу. На середине останавливается, оборачивается и смотрит вверх.

9. *(Диафрагма)*. Лицо Беппо поворачивается назад и вверх, Беппо надеется, не позволит ли ему капитан остаться с ним. Очевидно, капитан не позволил. Разочарованно отворачивается.

10. Легко и небрежно спускается вниз.

11. Комната королевы Юлии. Королева стоит на коленях перед низеньким аналоем, читает молитвенник, перебирая четки. Встает, идет, садится в кресло около стола. Звонит в колокольчик.

12. Входит камеристка. «Доложите принцессе, что я ее жду». Та с низким поклоном уходит.

13. Королева одна. Опустив глаза, перебирает четки.

14. *(Диафрагма)*. Лицо королевы Юлии с опущенными глазами и шевелящимися губами. Вдруг губы перестают шевелиться и строго сжимаются. Глубокая мысль появляется в суровых складках бровей. Глаза внезапно широко раскрываются: взгляд Медузы – непреклонный, повелительный, холодный...

15. Комната принцессы Лианоры. Она стоит перед зеркалом, у ног ее придворная портниха оправляет роскошное платье.

16. *(В.П.П.)*. Стоя спиной к зеркалу, принцесса оборачивает назад голову, чтобы увидеть свою обнаженную спину.

17. *(Диафрагма)*. Показывается двойное изображение принцессы. Она заглядывает в зеркало с другой стороны и на секунду показывает лицо en face.

18. (*Продолжение 15)*. Стук в дверь. «Войдите!» Камеристка королевы докладывает. Несколько взглядов в зеркало. Камеристка в неподдельном суетливом восторге от красоты принцессы. Лианора польщена. Две-три поправленные ленточки. Улыбнувшись самой себе, принцесса с сожалением отходит от зеркала, знаком велит камеристке идти и следует за нею.

19. Спускаются по лестнице, увешанной по обеим сторонам трофеями охоты, рогами лосей и оленей, кабаньими и медвежьими мордами.

20. *(Продолжение 13)*. Королева оборачивает лицо к двери. Дверь отворяется. Входит фрейлина, докладывает о принцессе и тотчас же отступает, широко открывает ей дверь. Принцесса издали делает матери низкий поклон.

21. *(В. П. П.)* Поклон принцессы: в нем сознание своей красоты и грации, и насмешливо подчеркнутый этикет, и шаловливость избалованной любимицы.

22. Два шага ближе, еще поклон. Подбегает к матери, целует ее руки и лицо. Опускается рядом, на низенький табурет. Смотрит ласково, смеясь, снизу вверх на мать.

23. Нежная сцена.

24. *(Продолжение 23).* Королева нежно гладит волосы дочери. «Покажись, как ты одета!» Дочь подымается, отходит на пять шагов.

25. *(В. П. П.)* Взявшись кончиками пальцев за края юбки, Лианора позирует, изящно и медленно поворачиваясь, застенчиво и изящно склоняя голову, зная, что ею мать любуется. Особый род кокетства перед обожающей матерью.

26. *(П. П.)* Королева довольна. Одобрительно кивает головой. Затем: «Сегодня прием молодого сына герцога Верройского». Лианора слышала об этом. «Говорят, он является к нам в качестве жениха». Лианора пожимает плечами. «Это очень недурная партия». Лианора смеется, отрицательно трясет головой: нет, нет, нет, она совсем не хочет замуж. Ей хорошо в семье... Подбегает к матери, обнимает ее...

27. *(В. П. П.)* Прижимается щекой к ее лицу, принимающему ласковое, почти доброе выражение.

28. Внутренний двор. Дворец. Высокая каменная стена с зубцами и бойницами. В стене полукруглые, дубовые, окованные ворота, запертые на засовы. Сбоку караульня. По выступу на стене, высоко над землей, вдоль зубцов ходит часовой с пищалью. Останавливается.

29. Часовой заглядывает между зубцов, присматривается в даль. Защищает глаза ладонью. Оборачивается назад. Подняв кверху руку, что-то кричит в караульное отделение.

30. *(Продолжение 29).* Из караульни выходят двое солдат, подходят к воротам.

31. Вид со стены. Издали приближается кавалькада. Принц Франческо со своей свитой.

32. Вид на замок, к которому приближается Франческо Верройский со своей свитой.

33. Подъезжает к подъемному мосту. Герольд принца выезжает вперед.

34. *(П. П.)* Герольд, привстав на стременах, объявляет имя и титул приезжего.

35. Внутренний двор. Стена. Часовой со стены слушает герольда, оборачивается назад и вниз к караульным.

36. *(П. П.)* Часовой повторяет имя приезжего. Караульные берутся за цепи подъемного моста.

37. *(Продолжение 34)*. Опускается подъемный мост. Растворяются ворота. Принц со свитой въезжает в замок.

38. «Любимцы короля Соллерийского». Королевская псарня. Множество породистых собак теснятся вокруг него. В руке у него хлыст.

39. *(В. П. П.)* Одна из собак, поднявшись на задние ноги, кладет ему лапы на плечи. Король ласкает ее.

40. *(Продолжение 39)*. Входит церемониймейстер, почтительно кланяется и докладывает о приезде принца Верройского.

41. Главный подъезд дворца. Въезжает принц Франческо со свитою. Слезают с коней. Встреченные придворными, подымаются по ступеням и входят во дворец.

42. *(Продолжение 27)*. Принцесса Лианора, стоя рядом с сидящей матерью, обнимает ее. Камеристка входит и докладывает о церемониймейстере. «Пусть входят!» Церемониймейстер с низким поклоном: «Король просит пожаловать в приемный зал для встречи принца Верройского». Все уходят. Впереди королева, за ней принцесса Лианора, сзади церемониймейстер.

43. Большой приемный зал. Два ряда придворных. Между ними величественно идет король, довольно далеко сзади него королева и принцесса Лианора. На низкие поклоны король отвечает движением головы.

44. *(В. П. П.)* Фигура шествующего короля. Сквозь привычное – гордое и строгое – выражение, разнообразные оттенки в выражении лица (все зависит от того, на кого король смотрит): равнодушие, умышленная холодность, приветливая полуулыбка, безразличие. Обидное удивление: «Почему этот здесь?» Взор покровительства или обещания. Иногда подозрительный быстрый, боковой взгляд и недоверчивое движение головы; иногда король смотрит пристально, с открытой враждой и, очевидно, не ответив на поклон, отворачивается и т. д. Особенно любезная улыбка графу Дино, командиру гвардии.

45. (*Продолжение 44)*. При приближении открывается часть зала, где стоят три кресла. Два одинаковых больших кресла под балдахином для короля и королевы. Кресло принца сбоку и внизу. Всходят на ступени и садятся.

46. *(П. П.)* Три кресла-трона. Сзади пажи. Сбоку короля Фреско Бальдо, секретарь. Если есть возможность, то рядом с королем паж, держащий на цепи с большими кольцами пантеру, тигра или льва. Изображение этого животного, как эмблема, повторяется на украшениях трона, на королевских знаменах и т. д.

47. *(Продолжение 46).* Приближается церемониймейстер в роскошной одежде (эмблемы). Поклон. «Наследный принц Верройский со свитой». Король, важно наклоняет голову. Церемониймейстер делает полупоклон в сторону входных дверей.

48. Принц Франческо. Сзади свита. *(Вид от тронов).* Приближаются.

49. Франческо со свитой перед тронами. *(Вид сбоку).* Франческо выделяется несколько вперед. Глубокие поклоны королю, королеве, инфанте. Королевская чета отвечает важными поклонами. Принцесса отдает поклон, вставая с места. Герольд принца приближается к тронному месту, всходит на ступени и, преклонив одно колено, подает королю Аннибалу письмо с висящей на шнурке большой печатью. Король передает письмо секретарю, который принимает его с низким поклоном. Герольд отступает назад, не поворачиваясь к тронам спиной. Секретарь Фреско Бальдо снимает печать, разворачивает и пергамент. Король: «Письмо от любезного брата нашего, светлейшего герцога Верройского». Секретарь начинает чтение.

Принц Франческо, делая вид, что слушает чтение, иногда украдкою бросает взгляды на принцессу. С ее стороны та же игра.

50. *(В. П. П.)* Фигура принца Франческо. Он старается не привлекать на себя внимания, но в лице ясно выражается искреннее восхищение цветущей красотой принцессы.

51. *(В. П. П.)* Фигура принцессы. Она также рассеянно, как будто мимоходом, поглядывает на принца. В ее глазах чуть заметная улыбка и сознание своей красоты, и чувство превосходства, и легкая насмешка над восторгом принца. Она успела уже отметить изнеженность, почти женственность Франческо *(при желании можно диафрагмой).*

52. *(Продолжение 50).* Секретарь кончил читать. Король встает, за ним жена и дочь. Король: «Приветствую вас, принц, в Соллерии! Дайте мне обнять вас, как сына моего брата и лучшего друга!» Сходит с двух ступеней трона. Принц, в свою очередь, подымается на две ступени. Король обнимает его. Вслед за тем [принц] с глубокими поклонами: целует руки у королевы Юлии и принцессы Лианоры.

53. *(Повторение картины 1).* «Пятый день бури».

54. *(Из нее).* Судно в опасности. Ветер рвет паруса.

55. *(Обстановка картины 3).* Капитанский мостик. Капитан берет рупор, прикладывает ко рту. Ветер треплет его волосы.

56. *(В. П. П.)* Капитан кричит в рупор: «Все наверх!»

57. Палуба. Выбегают матросы. Разбегаются по реям и вантам, стараясь закрепить паруса. Работы на реях.

58. Падает грот-мачта. Корабль на боку. Общий ужас. Конец реи задевает матроса.

59. *(П. П.)* Матрос падает через перила в море.

60. (*П. П.) (Вид на борт)*. Падение матроса в море.

61. *(В. П. П.)* Тонущий матрос. (Кругом море и волны).

62. Часть мостика и лестницы. Капитан сбегает по трапу вниз.

63. Палуба. Капитан среди матросов распоряжается.

64. Шкипер и капитан. Шкипер показывает капитану за борт в море.

65. Матрос в море. Борется с волнами.

66. *(П. П.)* Капитан развертывает канат и бросает его.

67. Матрос в море. Брошенный канат ложится близ него. Он с усилием доплывает, обворачивает вокруг себя.

68. Палуба. Матросы тянут канат.

69. Другая часть палубы. Матросы стараются освободить мачту. Рубят концы рей и канаты. Капитан работает с ними.

70. *(В. П. П.)* Капитан рубит застрявший обломок.

71. Первая часть палубы. Матросы тянут канат. Между прутьями борта показывается голова.

72. *(П. П.)* Матросы руками помогают товарищу перелезть через борт. Он еле стоит на ногах.

73. Мачта освобождена. Команда, взявшись за нее с обеих сторон, подталкивает ее за борт дружными, согласованными усилиями. Сверху она подтягивается блоком. Корабль на боку.

74. Последние усилия. Мачта падает в море. Корабль выправляется.

75. Трап, ведущий на капитанский мостик. Капитан подымается вверх.

76. *(П. П.)* Капитан за компасом. Переходит вперед, на парусный балкон мостика.

77. Балкон перед мостиком. Судорожно вцепившись руками в поручни балкона, он всматривается в [даль].

78. *(Место картины 76)*. Вверх подымается Беппо (юнга). В руках поднос, на нем кувшин вина, бокал и морские галеты.

79. *(Место картины 78)*. Беппо подходит к капитану, предлагает ему подкрепиться вином.

80. *(П. П.) (Та же картина)*. Кэй знаком отказывается от вина. Берет несколько галет и кладет их в карман. Знаком благодарит Беппо. Берет одну галету и ест ее. «Однако я сам не заметил, что чертовски проголодался!». Беппо: «Вам надо отдохнуть, капитан. Пять суток без сна». Капитан: «Некогда!». Пауза. Оба смотрят в море. Кэй вдруг обнимает Беппо за плечо и прижимает к себе. «Тебе не

было страшно, Беппо?» – «Нет! Я верю в вас, капитан». «А я верю в свою звезду. Посмотри вверх, влево. Следи за моим пальцем. Видишь эту блестящую синюю звезду. Когда я ее вижу, я спокоен». Пауза. Капитан еще ближе привлекает к себе Беппо.

81. *(В. П. П.)* Гладит его по щеке. «Ты славный мальчик, Беппо. Мне иногда кажется, что ты мой сын или младший брат». Беппо берет со своего плеча концы его пальцев и целует их. Капитан: «У меня никогда не было ни брата, ни сестры. Но иди ляг, ты устал! К утру буря утихнет».

82. Беппо медленно уходит. (В этой нежной сцене ни на момент не должна зрителем быть угадываема женщина в образе юнги).

83. Кабинет короля. Король сидит у стола. У ног его лежит любимая собака. У дверей стоит в выжидательной позе секретарь, весь в черном, с белым кружевным воротником. Король: «Пусть войдет министр искусств». Секретарь с поклоном берется за ручку двери.

84. Приемная перед кабинетом. Все высшие сановники дожидаются очереди доклада. Они с портфелями или пергаментами. Настроение, как всегда, торжественное и приподнятое. У дверей два солдата дворцовой стражи. Все стоят, кроме графа Маттео Дино, который развалился в креслах, нога на ногу, положив на колени огромную шпагу.

85. *(В. П. П.)* Секретарь выходит из дверей. Все присутствующие делают невольное, взволнованное движение к нему. Граф Дино смотрит на это с пренебрежением. Секретарь делает полупоклон министру искусств Адамо Делио. Тот торопливо идет к дверям, секретарь пропускает его, оставаясь в приемной.

86. *(Продолжение 84)*. Кабинет короля. Министр Адамо Делио. Делает глубокий поклон, на который король отвечает холодным кивком и указывает министру на стул. Министр Адамо Делио развертывает пергамент и начинает чтение.

87. *(Продолжение 85)*. Из входных дверей появляется начальник полиции Лео Дориа. Подходит к графу Дино и наклоняется к его уху.

88. *(П. П.)* Граф Дино и начальник полиции Лео Дориа. Брови графа сурово нахмуриваются, лицо выражает тревогу.

89. Граф встает, отстраняет начальника полиции, решительно идет к дверям королевского кабинета.

90. *(Продолжение 87)*. Министр искусств Адамо Делио продолжает чтение. Дверь раскрывается. Твердыми шагами входит граф Дино. Министр, обернувшись и увидя его, прекращает чтение и дает ему дорогу к королю. Король привстал. На лице его легкое удивление и недовольство.

91. *(П. П.)* Выражение лица Дино. «Серьезные вести! Можно ли говорить при третьем лице?». Король: «Говорите при министре, граф Дино». «Чернь взбунтовалась. Толпа у подъемного моста».

92. *(Диафрагма)*. Лицо короля. Первые признаки гнева.

93. *(Продолжение 91)*. «Требуют хлеба и мяса. Просят об отмене новых налогов». Король свирепо и вызывающе смотрит на министра искусств.

94. *(В. П. П.)* Фигура и лицо министра Адамо Делио выражают растерянность и беспомощность.

95. *(Продолжение 94)*. «И о пересмотре основных законов!»

96. *(Продолжение 93. Диафрагма)*. Лицо короля искажается страшным гневом и презрением.

97. *(Продолжение 96)*. Король встает, выпрямляется, берет со стола хлыст и укоризненно указывает им на министра Адамо Делио: «Вот плоды ваших либеральных советов». Обращаясь к Дино, делает хлыстом энергичный жест. «Им нужен хлыст, а не мягкие реформы». Король звонит.

98. *(Продолжение 97)*. Входит секретарь Фреско Бальдо. Король: «Скажите всем, кто там дожидается, что сегодня я никого больше не приму». Секретарь идет к дверям.

99. *(Продолжение 84)*. Секретарь появляется в дверях приемной. «По распоряжению его светлости, приема больше не будет». Его окружают, тревожно спрашивают. «Я ничего не знаю». Сановники медленно, в недоумении расходятся.

100. *(Продолжение 99)*. Король Соллерийский: «Я сам хочу видеть этот бунт из сторожевой башни. Граф Дино, потрудитесь идти вперед. Министр за мною!» В таком порядке покидают кабинет, выходя не через приемную, а в другую дверь

101. Проходят коридором.

102. Проходят винтовой лестницей.

103. Дверь в башенную комнату. Граф открывает ее. Все входят в том же порядке.

104. Башенная комната с двумя узкими амбразурами. Король подходит к одной.

105. *(В. П. П.)* Король смотрит через амбразуру.

106. *(Диафрагма)*. Щель амбразуры снаружи. Лицо короля среди двух каменных [стен].

107. *(Декорация картины 33)*. Несметная толпа народа в самых разнообразных одеждах. Между ними много женщин, детей, стариков. Над толпою какие-то белые плакаты на палках.

108. *(Продолжение 107)*. Толпа стала ближе. Видны отдельные лица и пока еще не четкие надписи на плакатах.

109. *(В. П. П.)* Можно прочитать плакаты. «Хлеба и мяса. Просим отменить последние налоги. Пересмотр основных законов. Жалость к старикам, женщинам и детям».

110. *(Продолжение 108)*.

111. *(Продолжение 107)*. Яростное лицо короля *(Диафрагма)*.

112. *(Продолжение 106)*. *(В. П. П.)* Король смотрит через амбразуру. Отрывается от нее.

113. Король знаком велит приблизиться к себе графу и министру, указывает им через амбразуру на площадь. К графу Дино: «Граф, откройте ворота, опустите мост и бросьте ваших всадников на эту сволочь! Не щадить! Прикажите спустить с цепей моих собак!»

114. *(Продолжение 111)*.

115. *(Обстановка картины 41)*. Площадь. Из-за дворца выезжают всадники, граф Дино, справа по шести проезжают поперек сцены. Один, два, три отряда.

116. *(Обстановка картины 29)*. Всадники подъезжают к воротам. Стража отворяет их. Спускают к воротам мост. Всадники устремляются в ворота.

117. *(Продолжение 116)*. Подъемный мост опускается. Толпа в ужасе бежит.

118. *(Показать бегство сбоку)*.

119. Когда площадь почти пуста, из ворот через мост скачут карьером всадники с обнаженными мечами. Проскакав мост, рассыпаются веером. Один отряд, другой, третий. Следом за ними мчатся собаки. Площадь пуста. Валяются раненые и убитые.

120. *(Обстановка карт[ины] 117)*. Площадь перед дворцом. На ступенях крыльца стоит король. Полукругом сзади и с боков королева, принцесса, принц и придворные.

121. Сбоку из ворот проезжают несколько захваченных связанных бунтовщиков, окруженных пешей стражей из воинов. Король делает знак остановиться. Несколько секунд глядит на них с великолепным презрением.

(В. П. П.) Делает знак рукою, чтобы их увели. «В тюрьму, завтра суд!» Бунтовщиков проводят мимо.

122. Тюремный коридор, по которому их ведут с факелами.

123. Дверь одной из тюремных [камер]. Тюремщик открывает ее ключом. Бунтовщики входят один за другим.

124. Внутренность камеры. Солома. На ней сидят схваченные люди в цепях.

125. Гладкое спокойное море. Корабль Андреа Кэя, сильно потрепанный бурею, тихо скользит с попутным ветром.

126. То же, ближе.

127. Трап на мостик. Капитан спускается с трапа, видно, страшно измучен бессонницей. За ним Беппо.

128. *(П. П.)* Оба сталкиваются на спардеке. Капитан: «Сейчас откроется Соллерийская гавань. Еще несколько часов, и твердая земля. Ах, ты, бедный мой Беппо! Иди скорее спать!» Беппо: «А вы, капитан?» Капитан: «Мне нельзя! Если я только лягу, то просплю двадцать часов подряд, и ни пушки, ни трубы архангелов меня не разбудят».

129. Объектив берет низ моста, подымается вверх по такелажу, еще выше. До верхней реи, где устроено нечто вроде наблюдательной вышки. В ней матрос.

130. *(П. П.)* Матрос на вышке смотрит в зрительную трубу. Отставляет ее, наклоняется вниз и кричит: «Под ветром судно! Идет на нас!»

131. *(Продолжение 129)*. Капитан и Беппо смотрят вверх. К ним подходит шкипер и тоже смотрит вверх.

132. *(Обстановка картины 131*, *продолжение 131)*. Вышка. Та же игра. Судно двухмачтовое, бригантиновое. Паруса черные.

133. Капитан быстро поворачивается. Идет. За ним Беппо и шкипер.

134. *(Обстановка картины 128)*. Все трое быстро подымаются по трапу.

135. *(Обстановка карт[ин] 3 и 56)*. Капитанский мостик. Снизу по трапу поднимаются капитан, шкипер и Беппо. Два матроса у рулевого колеса. Подшкипер у компаса.

136. (*П. П.)* Капитан подходит к перилам, всматривается.

137. Море и вдали корабль, двухмачтовый.

138. *(Продолжение 136)*. *(П. П.)* Капитан делает, не оглядываясь, знак Беппо и протягивает руку назад. Беппо подает ему зрительную трубу.

139. *(В. П. П.)* Капитан смотрит в трубу.

140. Круглое поле бинокля. Совсем ясно видно двухмачтовое судно, которое быстро приближается. Все паруса надуты ветром.

141. *(Продолжение 140)*. *(П. П.)* Капитан с биноклем.

142. Капитан с биноклем у перил. Рядом Беппо, шкипер. Рулевые и подшкипер обернулись к ним.

143. *(Продолжение 132)*. Вышка [наблюдательная]. Матрос кричит: «Судно подымает флаг».

144. *(Продолжение 142)*. Капитан и прочие у перил.

145. *(Продолжение 140)*. Поле бинокля. Видно совсем мачты бригантины. Бинокль усиливает. Виден верх мачты и как по шкоту ползет вверх свернутый флаг.

146. Еще усиленнее. Флаг развертывается на черном поле: череп и две кости.

147. Вышка. Та же игра. Матрос: «Пират!»

148. *(Продолжение 142).* (У перил). Капитан передает трубу Беппо. Сам быстро идет вперед.

149. Бригантина хорошо видна невооруженному глазу.

150. *(П. П.)* Капитан у переднего трапа мостика. Немного нагнувшись вперед, кричит: «Все наверх! К бою! Зажечь фитили, зарядить мушкеты! Приготовить абордажные крючья и открыть пушечные люки!»

151. *(Обстановка картины 57).* Палуба. На нее высыпают все матросы. Исполняют приказания капитана. Около них курятся фитили. Все вооружаются саблями, пистолетами, мушкетами, топора ми.

152. *(П. П.)* Нижняя палуба. Матросы подкатывают одну пушку так, чтобы она высунулась в люк.

153. Довольно близко видна бригантина. Из борта ее торчат пушки. Залп. Весь борт опоясывается пламенем и дымом.

154. Борт корабля Кэя. Из него высовываются дула пушек.

155. *(Продолжение 151),* У перил капитанского мостика. Капитан: «Огонь!»

156. *(Продолжение 152).* Нижняя палуба около пушки. Один из матросов отступает на шаг вправо и дергает за шнурок...

157. *(Продолжение 154).* Борт корабля Кэя. Залп из всех орудий.

158. Оба корабля со стороны. Стрельба из пушек и из орудий. На обеих палубах кипучее движение.

159. Абордаж. Оба корабля сошлись борт о борт. Рукопашная схватка. Капитан показывается среди своих матросов, пробивается вперед, пролезает на перила и с них бросается в толпу [пиратов]. Рубят, режут, бьют прикладами. Стреляют отовсюду: с вант, со скамеек... Много дыма.

160. Бой окончен. Пираты побеждены. Палуба корабля Кэя. Убитые и раненые. Матросы связывают пиратов.

161. «Однорукий Уго». Кэй стоит, прислонившись к мачте, скрестив руки на груди. Два матроса проводят мимо него связанного Уго, капитана пиратского судна.

162. *(П.П.)* Уго и Кэй встречаются глазами Лицо Кэя озарено радостью победы, сознанием своей мощи. (Одежда его в лохмотьях.) Несмотря на усилие матросов, Уго оборачивается назад, на Кэя и кричит ему вызывающее ругательство.

163. *(В.П.П.)* Около трапа, ведущего в трюм. Туда спускают Уго, а за ним еще пятерых связанных пиратов.

164. Добыча. Пиратского судна не видно, но между обоими судами положены широкие мостики, по которым матросы катят бочки и тюки, несут сундуки, шкатулки, оружие, ковры, меха, редкую утварь и прочее.

165. (*Продолжение 162)*. Капитан у мачты. Кругом матросы. «Кто взорвет бригантину?». Беппо: «Я». Капитан позволяет. Беппо бежит к помосту.

166. Беппо перебегает помост между кораблями. В руке у него конец веревки от ялика.

167. На бригантине. Беппо привязывает конец веревки за перила и бежит в дальний план палубы. На палубе трупы.

168. Трюм. Беппо исчезает по трапу.

169. Беппо спускается по трапу.

170. Крюйт-камера. Множество бочек с порохом.

171. *(В.П.П.)* Одна бочка и около нее Беппо. Складным ножом просверливает дыру, вкладывает в нее фитиль.

172. *(В.П.П.)* Беппо на коленях протягивает фитиль, зажигает его, высекая огонь из кремня и стали. Дымок. Беппо уходит.

173. Беппо подымается по трапу.

174. Беппо на палубе. Отвязывает от перил веревку. Около него:

175. Один из лежащих, смертельно раненный, с трудом приподнимается на локте *(П.П.)* и со страшными усилиями дотягивается до пистолета, взводит курок, подымает оружие, чтобы прицелиться.

176. На борту корабля Кэя. Капитан и все матросы столпились около перил. Капитан: «Скорее мне ружье!» Ему подают. (*П.П.*) Капитан целится и стреляет.

177. *(Продолжение 175)*. Целящийся пират падает навзничь. Пистолет его стреляет вверх. Беппо быстро оборачивается на него. Понимает сразу, в чем дело, и посылает на бригантину воздушный поцелуй. Смеется.

178. Борт бригантины. Беппо спускается по парусному трапу или по канату.

179. Низ бока бригантины. Беппо прыгает в лодку, берет весла, гребет.

180. Беппо у корабля. Взбирается наверх, перелезает через перила.

181. Беппо перед капитаном. Тот берет его обеими руками за голову, притягивает к себе и целует в лоб. «Еще бы одна секунда и... страшно подумать, Беппо!..» Смотрит на него с нежной полуулыбкой.

182. Борт корабля. Все матросы смотрят вдаль. Общее ожидание.

183. Бригантина издали. Пауза. Взрыв. Огромный столб черного дыма.

184. *(Обстановка картины 132)*. Вышка. Та же игра. Матрос: «Открылась Соллерийская гавань!»

185. Капитан на мостике.

186. Нос корабля, а за ним видна красивая широкая Соллерийская бухта, освещенная солнцем.

187. Уголок в дворцовом парке. Принцесса Лианора и принц играют в волан (серсо). Сбоку на скамейке сидит старшая фрейлина. Лианора гораздо ловчее своего партнера, и это ее заметно сердит. Бросает игру. Предлагает принцу прогуляться.

188. Несколько видов аллей, мостиков и т. д. Сзади следует статс-дама.

189. Подходят к боковому подъезду, выходят на крыльцо.

190. Лестница. Идут по ней.

191. Комната принцессы. Лианора и фрейлина садятся за шахматы. Статс-дама в сторонке.

192. Порт. Набережная. Бухта. Несколько судов. По площади слева трактир. Несколько столиков и стульев прямо на улице. На набережной несколько жителей смотрят вперед, в море. Постепенно толпа увеличивается. Оживление. Показывают пальцем.

193. Маяк в бухте. Его красиво огибает корабль капитана Кэя.

194. Борт корабля. Вид на бухту.

195. *(Продолжение 191)*. Комната принцессы. Продолжение игры в шахматы.

196. *(Диафрагма)*. Шахматная доска и две руки на ней. Игра. Внезапно руки принцессы смешивают все фигуры.

197. *(Продолжение 191)*. Принцесса смешивает фигуры, встает, подходит к попугаю в клетке (можно какого-нибудь зверя, напр[имер], обезьяну), дразнит и ласкает его. Входит камеристка.

198. *(Продолжение 197)*. Камеристка – принцессе: «Ваша светлость. Какой странный корабль входит в бухту!» (указывает). Принцесса делает ей знак. Камеристка раздвигает легкие занавески на очень широком окне. Принцесса и Франческо подходят к окну. Камеристка в стороне.

199. *(П.П.)*. Окно. Около него полусилуэтами, очень красивыми на фоне неба, Лианора и Франческо.

200. Бухта. Плывущий корабль Кэя.

201. *(Продолжение 199)*. Лианора: «Принц, вам никогда не хотелось быть моряком?». Принц отрицательно качает головою. Лианора: «Если бы я была мужчиной, то была бы только моряком».

202. *(Обстановка 84).* Кабинет короля. Король и министр двора. Министр читает доклад. Король, сидящий у окна, слушает очень рассеянно, изредка кивает головою. Наконец, сделав министру Адамо Делио рукою знак «продолжайте, я слушаю», привстает с кресла, чтобы лучше видеть. Опять садится. Министр читает. Те же знаки нетерпения. Министр кончил. Встает с поклоном. Король показывает ему на окно. Министр глядит туда.

203. *(Продолжение 200).* Корабль Кэя.

204. *(Обстановка картины 202).* Входит Фреско Бальдо (секретарь), кланяется. «Согласно вчерашнему приказанию вашего величества, верховный совет для суда над бунтовщиками собрался в полицейском зале и дожидается распоряжений вашего величества. Король: «Отложить до завтра! Сейчас я еду». (Секретарю.) «Лошадей!». Идет в дверь, ведущую в приемную. Министр двора за ним. Секретарь уходит в другую дверь.

205. *(Продолжение 85).* Приемная перед кабинетом. Там находятся: министр искусств Адамо Делио, начальник полиции Лео Дориа и граф Дино. Входит король. Отвечает на поклоны. Из другой двери входит Фреско Бальдо, за ним камердинер короля, которому он подает шляпу, хлыст и перчатки с крагами. Король: «Я еду в гавань. Господа, кому угодно со мною?» Граф Дино пробует отговорить короля: «После вчерашнего бунта народ смотрит неукрощенным зверем». «Вы, кажется, боитесь этого зверя, граф Дино?» – «Я? Никогда, ваше величество!» – «Так мне бояться ли?» Граф Дино молча и низко кланяется, восхищенный королем, обеспокоенный за него и как бы слагающий с себя ответственность: «Но я возьму своих всадников». «Как хотите!». Король выходит, за ним свита.

206. *(Обстановка картины 193).* Набережная. На ней большая толпа. Все приветствуют шляпами и платками подходящий корабль Кэя. Корабль ближе. Пристает. (Здесь, как покажет возможность. Хорошо подвести корабль прямо к набережной, во всю длину. Можно только сбросить с его кормы канат, за который тотчас же хватаются люди и укрепляют его вокруг [столба] или старой пушки, вкопанной вертикально в землю. Самого же корабля не видно.)

207. Корма корабля. Опускание якоря на цепи.

208. Середина корабля. Спускают сходню. По ней сбегают несколько матросов. Наскоро здороваются кое с кем и исчезают со сцены. Обычная корабельная суета.

209. Большая нижняя галерея во дворце. Одна из ее стен сплошь от пола до потолка состоит из трех занавесов: одного большого, двух маленьких, которые висят на крупных кольцах из слоновой кости, нанизанных на прямые горизонтальные плети; посредине

–колонны. (Такое устройство зала очень необходимо для конца последнего акта, где развертывается вся пьеса.) Из другого конца залы сходят с лестницы принцесса, принц и статс-дама, очень измученная и недовольная. Принцесса отодвигает левую малую занавеску. На минуту через нее видно море и кусочек бухты с деревьями и домами. Принц и статс-дама проходят за нею.

210. Тот же занавес, взятый с наружной стороны, от моря. Фасад дворца и на нем занавес, от него вниз идет пять или шесть очень широких и низких ступенек. Затем большая площадь, выходящая на море. (Если удобно – показать, что площадь с обеих сторон окружена железными решетками, идущими параллельно в море, чтобы посторонние не могли сюда пристать.) За решетками виден густой парк. По бокам лестницы стоят пушки. Внизу лестницы ходит часовой с мушкетом. Принцесса, принц и статс-дама спускаются вниз и идут на зрителя.

211. Они же со стороны дворца. Подходят к маленькой пристани.

212. *(П.П.)* Пристань (с моря). Принц и принцесса садятся в роскошную маленькую лодочку. Принц неумело раскидывает весла. Принцесса смеется над ним. Статс-дама с неудовольствием качает головою. Отплывают.

213. Принц и принцесса в море.

214. *(П.П.)* Пристань. Статс-дама на скамейке одна. Укоризненно смотрит в море, вздыхает. Вынимает из кармана книжку, читает.

215. *(Диафрагма*). Руки статс-дамы и в них книжка: «Любовные приключения Амазелиуса и Оделинды».

216. *(Обстановка картины 207)*. Средина корабля. По сходне матросы сводят закованных: Уго Однорукого и четырех пиратов. Вверху сходни стоит капитан Кэй. Уго внизу, оборачивается.

217. *(В.П.П.)* Уго проклинает Кэя и грозит ему.

218. *(Продолжение 217)*. Несколько вооруженных солдат приходят, окружают пиратов и уводят.

219. *(Продолжение 216)*. Капитан Кэй сходит вниз на набережную, за ним Беппо (у Беппо в руках ящичек с золотом) и шкипер. За ними остальные матросы.

220. *(Обстановка картины 192)*. Трактир на набережной. К одному из столиков подходит Кэй и садится. По сторонам его Беппо и шкипер. Беппо ставит на стол ящичек. Матросы – иные садятся за другие столики, иные подходят к прилавку и пьют. Дочь хозяина трактирщика наполняет бокал вина, ставит на поднос и идет к столу Кэя.

221. Стол Кэя. Он открывает ящик и вытаскивает на стол золотые монеты. Подходит девушка с подносом и вином. Кэй оборачивается к ней, ласково благодарит, но от вина отказывается: «Я вина не пью». Показывает рукою на фонтан, откуда бежит струя воды: «Вот мое вино». Девушка понимает. Идет к фонтану.

222. *(П.П.)* Фонтан. Девушка выливает вино, споласкивает бокал, наполняет его водою, возвращается.

223. *(Обстановка картины 221)*. Девушка подходит к Кэю с водою. Он улыбается ей, благодарит, берет со стола горсть золотых монет. Бросает ей на поднос.

224. *(Диафрагма)*. Поднос в руках девушки. Рука Кэя, сыплющая монеты.

225. *(Продолжение 223)*. Девушка в восторге. Низкий поклон. Уходит. По очереди подходят к Кэю матросы. Он расплачивается с ними, вероятно, очень щедро, потому что лица у них сияют. Шкиперу подают бутылку вина и стакан. Он с жадностью пьет. Кэй смотрит на него с укором. Шкипер смущен. «Только одну бутылку! За счастливое плавание»...

226. Главный подъезд *(Обстановка картин 41 и 116)*. У крыльца несколько лошадей. Король, министры двора и искусств, начальник полиции, граф Дино сходят с крыльца и садятся на лошадей. Едут на зрителя. После них, несколько спустя, взвод военных всадников.

227. *(Обстановка картин 28 и 116)*. Подъезжают к воротам, стража открывает их. Проезжает король со свитою. Потом всадники.

228. *(Обстановка картин 33 и 37)*. Опускается подъемный мост. По нему проезжают все участники картины 226 и 227.

229. Городская улица. Толпа. Внезапно общая тревога и суета. Люди прячутся в дома и ворота. Закрываются лавки и ставни окон. Когда показывается король со свитою и охраной – улица почти пуста. У короля надменный и грозный вид. Дино крутит усы.

230. *(Прод[олжение] 225)*. Кэй расплачивается последним матросом. Потягивается. Хватается за голову. «Я смертельно устал!». Внезапно падает головою на расставленные локти и засыпает самым глубоким сном.

231: *(Обстан[овка] картин 192 и 219)*. Площадь с трактиром. Кэй спит. На площади города меньше народа. Внезапно вбегают два жителя. Они взволнованы, кричат в испуге с торопливыми жестами: «Король! Король! Сюда едет король со свитою!» Площадь мгновенно пустеет. Хозяин велит своей дочери спрятаться. Сам поспешно закрывает окна и двери.

232. . *(Продолжение 230).* Беппо и шкипер пробуют изо всех сил разбудить капитана. Тщетно. Он спит именно «как мертвый» после [семи] бессонных ночей. Тело его только мотается от толчков. Вдруг Беппо и шкипер сразу оглядываются и отбегают в сторону. Беппо за деревом, готовый каждую минуту прийти на помощь. В эту минуту руки Кэя расползаются на столе. Локоть задевает за бутылку. Она падает. Вино льется по столу.

233. *(Диафрагма)*. Капитан спит, склонившись головой на стол. Лежащая бутылка и лужа от вина.

234. *(Продолжение 229).* Король входит со свитой. (На сцене начинает темнеть.)

235. (Ближе к королю). Увидев, что площадь пуста, он презрительно улыбается.

236. *(Продолжение 234).* Идет к столу, за которым спит Кэй. Остальные за ним.

237. *(Обстановка картин 231 и 232).* Стол Кэя. Король долго всматривается в фигуру спящего Кэя.

238. *(В.П.П.)* Лицо короля выражает отвращение, высокомерие, презрение, холодную ненависть. (Очень большая пауза.)

239. *(Продолжение 237).* Король обращается к своей свите, концом хлыста указывая на спящего. Потом отдельно обращается к министру искусств и говорит ему с насмешливой улыбкой: «И вот о ком вы говорите ваши возвышенные слова, с кем вы хотите поделить свою власть... с пьяными рабами!». Задумывается. Какая-то необычная мысль приходит ему в голову.

240. *(Диафрагма).* Ум короля усиленно работает. Король колеблется. «Да. Нет! Да! Можно ли?». И наконец решительное: «Да! я это сделаю!»

241. *(Продолжение 233).* Лицо и жесты короля повелительны. Он говорит: «Мне пришла в голову мысль устроить маленький маскарад. Меня он насмешит, а для некоторых (смотрит пристально на министра искусств) послужит уроком. Пусть сейчас же это пьяное животное будет перенесено в мой дворец. Пусть, пока он спит, его переоденут в лучшие королевские одежды. А когда он проснется, то нетрудно будет вбить в его глупую голову, что он прирожденный король, что вся его прежняя жизнь – болезнь, бред или долгое сновидение. И когда он поверит окончательно в свое королевское достоинство, то я дам ему царствовать ровно три дня. Три дня каждое его приказание будет исполняться, как мое собственное. Граф Дино, вы ручаетесь мне за его неприкосновенность в течение этих трех дней». Граф Дино кланяется. Его забавляют эти королевские шутки. Министр двора, Альба Кастелляно: «Ваше величество, не

слишком ли продолжительна будет эта шутка? Не опасно ли?»... Король: «Я сказал. И не хочу слышать ничьих советов и предостережений». (Подзывает к себе начальника полиции.) «Сейчас же доставить это чудовище во дворец! Но не улицами, чтобы не дразнить любопытства моего доброго народа, а морем» (показывает). Начальник полиции, Лео Дориа, отдает приказание своему агенту, тот поспешно убегает. Король: «И главное – молчание. Чем меньше людей будет знать об этой комедии, тем сладостнее она выйдет. Следуйте за мною, господа!»

242. *(Продолжение 234).* На сцене совсем темно. Зажигаются факелы. Король и свита удаляются. Часть конвоя остается с зажженными факелами. Входят четверо полицейских с носилками, у носилок занавеска. Подходят к Кэю.

243. *(Обстановка картин 230 и 236).* Двое из них берут на руки Кэя и поднимают его.

244. Кэй в носилках. Полицейские поправляют его ноги. Подымают носилки с земли. Несут. Сцена пустеет.

245. *(Обстановка картины 242).* Уносят Кэя направо. Сцена пустеет. Выходит откуда-то хозяин трактира. Открывает трактир. Зажигает факел. Беппо что-то горячо говорит шкиперу, убеждает его. Шкипер согласен. Оба подходят к прилавку

246. Стойка трактира. Беппо дает хозяину деньги. Тот в мешок кладет ему хлеба, вина, окорок, кусок сыру. Шкипер в это время успевает сбегать на корабль и возвращается с подзорной трубой и веревками. Шкипер взваливает мешок на плечи. Затем оба уходят.

247. Беппо и шкипер поспешно идут по тому направлению, куда унесли Кэя.

248. Другое место набережной. У берега полицейский катер. Входят полицейские с носилками. Вносят носилки в лодку. Гребцы с факелами. Устраиваются. Катер отчаливает... Беппо захватил с собою канат и веревки. Берут вторую лодку, садятся в нее. Гребут изо всех сил.

249. Море. Полицейский катер с факелами проходит на веслах, скрывается. Пауза. Проходит лодочка с Беппо и шкипером.

250. Пристань около дворца с видом от моря на террасу, по которой ходит часовой. Полицейский катер подходит к пристани. Вдали по лестнице всходят Лианора, Франческо и статс-дама. Услышав плеск весел, останавливаются и оборачиваются назад.

251. Море. Беппо и шкипер перестают грести, смотрят напряженно вдаль. Чуть виден дворец, пристань и входящий катер.

252. *(Обстановка картины 213).* Пристань (ближе). Полицейский катер пристает к пристани.

253. *(Обстановка картины 211).* Площадь перед террасой. Полицейские несут Кэя в носилках по лестнице, ведущей на террасу. Сбоку старший агент. Принц спускается вниз. Лианора за ним. Тревога.

254. У подножия лестницы *(ближе).* Принц знаком останавливает носилки. Спрашивает агента, что это значит.

255. *(П.П.)* Принц, агент, немного вдали носилки. Принц делает знаки: «Откройте занавеску. Пусть посветят!» Агент открывает занавески. Один из полицейских светит. Принц смотрит. Принцесса заглядывает из-за его плеча.

256. *(В.П.П.) (Диафрагма).* Кэй неподвижно спит, откинувшись головой в угол носилок.

257. *(Продолжение 254).* Принц: «Кто это?» Агент: «Какой-то пьяный матрос! Его величество приказал отнести его во дворец».

258. Принц знаком приказывает закрыть занавески и продолжать путь. Носилки подымаются. Принц, с насмешливым полупоклоном к Лианоре: «Не правда ли, принцесса, как хорошо быть моряком?»

259. (*Продолжение 253).* Боковая занавеска на террасе открывается. Выходят слуги навстречу носилкам. С факелами. Все вместе уходят во дворец. Лианора, Франческо и статс-дама следуют за ними. На террасе остается один часовой. Подплывает лодка Беппо. Часовой кричит что-то. Прицеливается. Беппо и шкипер гребут назад.

260. Море. Лодка с Беппо и шкипером останавливается против дворца, сбоку от фасада. Здесь дворец отделен от моря неприступной преградой, крутым берегом, стеной и проч. Беппо встает в лодке и пристально смотрит на дворец.

261. Коридор внутри дворца. Слуги несут Кэя в носилках, вдоль коридора.

262. *(Прод[олжение*] *260).* Вид с лодки Беппо на дворец. Все окна дворца темны. Внезапно открывается одно из окон в нижнем этаже, посредине. Беппо делает знак шкиперу. Тот подает ему подзорную трубу.

263. Слуги несут Кэя по лестнице, входят в зал.

264. Несут Кэя через зал.

265. *(Продолжение 262).* Вид с лодки на дворец. Освещается последовательно ряд окон во 2-м этаже. Беппо глядит в трубу... Темно.

266. Дверь в спальню, приготовленную для Кэя. Слуги с носилками у двери. Дверь отворяется.

267. Спальня Кэя. Направо огромная комната. Кровать с балдахином. Ширмы. Огромное окно. Налево диван (кушетка, оттоманка), куда кладут Кэя.

268. Угол около кушетки. С Кэя снимают сапоги, куртку и т. д.

269. *(Прод[олжение] 262).* Вид с лодки на дворец. Беппо смотрит в трубу.

270. Круглое поле зрительной трубы. Огромное освещенное окно. На стеклах двигаются тени. (Можно ли их показать?).

271. *(Обстановка 267).* Спальня Кэя. Один из слуг подходит к окну.

272. *(П.П.)* Окно и слуга. Слуга задергивает занавески с одной и другой стороны.

273. *(Продолжение 270).* Круглое поле трубы. Видно, как задергиваются занавески на окне.

274. *(Продолжение 262).* Беппо делает знак шкиперу грести.

275. Спальня Кэя. (Угол постели.) Кэй в постели. Слуга прикрывает его пальто. Прикрывает занавески балдахина. Тихо уходит.

276. Море. Беппо и шкипер перестают грести. Вдали едва виден дворец.

277. Корма лодки на переднем плане. Шкипер достает из-под кормы якорь, привязывает его к веревке и опускает в воду. Укрепляет веревку. Беппо и шкипер укладываются спать. Беппо глядит на небо, говорит: «Его звезда прекрасна».

(Если бы кинематограф, не знающий пределов в своих чудесах, изобразил и звездное небо и если бы при взгляде капитана Кэя или Беппо одна из звезд Кассиопеи внезапно разгорелась!)

АКТ II

После семи бессонных ночей Андреа Кэй спал ровно 30 часов.

1. *(В.П.П.)* Одна из башен города. Утро. Часы на башне показывают 3.

2. *(Место картины 231, акт I)* Улица. По ней ходит ночной сторож. Смотрит наверх, на часы. Подходит к колоколу. Ударяет три раза.

3. *(Диафрагма).* Колокол. Веревка дергается три раза, язык колокола отсчитывает три.

4. *(Продолжение 2).* Сторож бросает веревку. Поворачивается к зрителю и кричит.

5. *(В.П.П.)* Кричащий сторож. Три часа пополуночи. Утро тихое и ясное.

6. *(Продолжение 3).* Сторож кричит и проходит дальше. В одном из верхних этажей открывается ставень, показывается полуодетая женщина.

7. *(П.П.)* Открытое окно. Женщина опускает вниз по веревке корзину.

8. *(Прод[олжение] 6)*. Корзина спускается вниз. Проезжает повозка, запряженная осликом, на ней куча овощей, рыбы. Рядом торговец. Останавливается, накладывает припасы в корзину. Корзина за веревку тянется наверх. Открываются другие ставни. (NB. Для постановки. Подробности этих картин мне необходимы так же, как и повторение первой надписи на экране для обозначения времени, когда Беппо всего удобней пробраться во дворец.)

9. *(Продолжение 277*, *акт /)*. Лодка Беппо в море. Беппо спит. Шкипер наживляет длинную удочку кусками ветчины, забрасывает в море. (Если есть время и возможность показать рыбную ловлю.) Время от времени шкипер поглядывает пристально на дворец.

После семи бессонных ночей Андреа Кэй спал ровно 30 часов. (Это повторение необходимо – примеч. автора).

10. *(Место карт[ины] 271, акт I, спальня Кэя)*. Портьеры на широком окне сдвинуты неплотно. Слабый рассеянный свет проникает через щель в комнату. Занавеси балдахина над кроватью шевелятся. Показывается лицо Кэя. Скрывается. Через минуту Кэй, осторожно раздвигая занавески, выходит из алькова. Оглядывается по сторонам. Он в одних чулках, поверх тела роскошный вышитый халат, рубашка на груди расстегнута. Крадущимися, звериными шагами приближается к окну, внезапно распахивает портьеры. Осматривается недоверчиво. Быстро идет к двери.

11. *(Вид спальни от окна)*. Кэй у двери. Отворяет ее. Ищет ключ. Ключа нет. Поспешно баррикадирует дверь оттоманкой, стульями, другой мебелью. Идет к окну.

12. *(П.П.) (Место карт[ины] 267. Окно)*. Кэй распахивает его настежь. Оглядывает местность.

13. *(В.П.П.)* (Открытое окно снаружи). Фигура Кэя в окне. Кэй глядит в море, по сторонам, вверх, вниз.

14. *(Продолжение картины 9)*. Шкипер еще пристальнее вглядывается. Торопливо вытаскивает свой самолов (удочку). Будит Беппо. Беппо тотчас же вскакивает. Берет подзорную трубу. Шкипер подставляет ему плечо.

15. *(Круглое поле бинокля)*. Сначала дворец издали, потом ближе, еще ближе, второй этаж дворца. Окно. Фигура Кэя.

16. *(Продолжение картины 14)*. Беппо отнимает бинокль от глаз. Приказывает шкиперу грести. Сам берет весло, привязывает к его лопасти большое полотно, подымает весло кверху и машет им.

17. *(Продолжение карт[ины] 12. У окна)*. Кэй, видимо, за[мечает] сигнал. Весь высовывается в окно.

18. Море, вдалеке лодка.

19. То же, несколько ближе. Лодка. Видно, что один человек гребет. Другой, стоя на носу, машет веслом, на котором развевается полотно.

20. *(Место карт[ины] 10)*. Кэй отбегает от окна. Кэй подбегает к кровати, стаскивает одну из простынь, заматывает угол на руку. Бежит к окну. Высовывается в него, машет.

21. *(Место карт[ины] 13. Окно снаружи)*. Кэй высунулся в окно и машет простынею.

22. *(Продолжение карт[ины] 16)*. Беппо увидел сигнал, посылает рукой приветственный знак, опускает весло, садится за весла, гребет вместе со шкипером. Спешат.

23. Море. Лодка с гребущими Беппо и шкипером. Вдали дворец. Весь дворец еще объят крепким сном.

24. (*В.П.П. Место картины 29 из акта I. Верх стены*, *между зубцами)*. Часовой спит, склонившись на алебарду.

25. *(В.П.П. Место из 1-го акта карт[ины] 19. Площадка лестницы, увешанной трофеями охоты)*. На верхней ступеньке, прислонившись головою к перилам, дежурная камеристка.

26. *(П.П. Место карт[ины] из 1-го акта 86. Приемная перед кабинетом)*. Два солдата мирно спят в креслах.

27. *(П.П. Место картины 212, из 1-го акта. Терраса от моря)*. Часовой с мушкетом дремлет, прислонившись к пушке.

28. *(В.П.П. Продолжение карт[ины] 266 из 1-го акта. Дверь в спальню Кэя)*. Придворный лакей спит, согнувшись на стуле.

29. *(Продолжение картины 23)* Море, лодка Беппо. Дворец близко.

30. Крутой берег подымается из моря. Наверху стеной вершины деревьев. К берегу подплывает лодка.

31. *(То же, карт[ина] 30, но ближе)*. Беппо прыгает из лодки, с трудом карабкается на почти отвесный берег. За спиной у него связка веревок и абордажный крюк.

32. *(П.П.)* Беппо карабкается *(объектив следит за ним)*.

33. *(Место карт[ины] 29)*. Лодка, в которой сидит шкипер и следит, как Беппо лезет по крутизне.

34. Беппо у подножия стены. Закидывает веревку, на конце которой большой крюк, на стену. Лезет по веревке вверх. Достигает верха стены и садится на нее. Свешивает ноги на другую сторону. За стеной деревья парка.

35. *(Место карт[ины] 20)*. Кэй смотрит вниз из окна.

36. *(Стена со стороны дворца)*. Беппо отцепил крюк и бросил его вниз и сам прыгает вниз.

37. *(Вид от стены на дворцовый парк)*. Беппо взбирается в гору между деревьями. Глаза Беппо устремлены вверх *(объектив следит за ним)*.

38. Сквозь деревья видна стена дворца. Беппо подошел к ней на расстоянии двух сажен. Оглядывается. Намечает одно дерево с мощным стволом.

39. *(П.П.)* Беппо под деревом. Несколько раз закидывает вверх веревку с крюком. Наконец ему удается захватить крюком за ветвь. Он лезет вверх *(объектив следит за ним)*.

40. Издали дерево и стена дворца в продольно косвенном направлении, так что видно и Беппо, ползущего вверх, и Кэя, высунувшегося из окна. Беппо останавливается на высоте окна.

41. *(П.П.)* Окно и дерево. *(Снято очень близко.)* Беппо и Кэй обмениваются знаками приветствия. Между ними около 2 S сажень. (Дерево не прямо перед окном, а наискось). Беппо сматывает веревку корабельным бунтом. Бросает в окно привязанный крюк. Кэй ловит его,

42. *(П. П.) (Место картины 17. Вид на окно из комнаты)*. Кэй, поймав крюк, соскакивает с подоконника, тянет к себе веревку.

43. *(В.П.П.)* Беппо на дереве. Тщательно обматывает веревку вокруг дерева, завязывает крепким морским узлом, пробует прочность веревки.

44. *(П.П. Продолжение карт[ины] 42)*. Кэй натягивает веревку до отказа. Обматывает ее вокруг правой руки, хватается левой за подоконник и упирается ногами в стену, изо всех сил натягивает веревку.

45. *(В.П.П. Продолжение карт[ины] 43)*. Беппо ступает на веревку сначала одной ногой, потом другой, делает два первых шага.

46. *(Вид снизу)*. Беппо, идущий по веревке.

47. *(Место карт[ины] 41)*. Беппо подходит по веревке к окну, ступает на него.

48. *(Прод[ол жение] карт[ины] 44)*. Кэй, натягивающий веревку. Беппо появляется в окне, радостно смеется. Кэй выпрямляется. Стремительно протягивает обе руки к Беппо, чтобы помочь ему сойти. Беппо знаком отказывается. Спрыгивает на пол и, прежде всего, зацепляет крюк за край подоконника. Кэй берет обе руки Беппо и так крепко жмет их, что Беппо морщится от боли и потом дует на пальцы. Кэй чрезвычайно рад встрече. Кладет руку на плечо Беппо и ведет его на середину комнаты.

49. *(Место картины 10. Спальня Кэя)*. Кэй и Беппо на середине комнаты. Мимоходом Беппо прикрывает занавески балдахина над

кроватью. Кэй берет стул, предлагает сесть Беппо. Беппо остается стоять все время. Кэй с нетерпением показывает Беппо на пышную обстановку комнаты.

«Где я нахожусь? Что со мной случилось? Я ничего не понимаю... Не знаешь ли Беппо?» (Садится.)

50. *(П.П. Продолжение картины 49)*. Кэй сидит. Беппо стоит. Беппо, наклонясь к Кэю, рассказывает ему все, что случилось в вечер прихода в Соллерийскую гавань. (Его рассказ прерывается, как иллюстрациями, картинами на экране из I акта: 233, 235, 236, 240, 241, 243, 246. Игра лица Кэя в переднем плане и диафрагма: внимание, тревога, насмешка, любопытство, самоуверенность, негодование, вызов. Когда Беппо окончил рассказ, Кэй вскакивает, взволнованный, гордый.

51. *(В.П.П.)*. Кэй: «Они осмелились разыграть со мною фарс! Хорошо же! Я принимаю эту игру и доведу ее до конца».

1916 г.

ПУБЛИЧНЫЙ ТОРГ

(Историческая пьеса в 2-х действиях)

Действие I.

Невольничий рынок в Александрии I века до Р.Х.
Действующие лица:
Силий – продавец рабов
Лаиса – рабыня
Евмений – надсмотрщик
Покупатели. Чернь. Голоса из толпы.

Явление первое.

Силий. – Раб, бей в бубен! Высокопочтенные сенаторы, благородные всадники, мудрые философы, риторы, мистагоги и элопты, добрые купцы, знаменитые художники и славные граждане Александрии!

Вот перед вами очаровательная рабыня Лаиса, рождением которой справедливо гордится остров Кипр! Вглядитесь внимательно в линии ее тела и в черты ее лица! С каким легким изяществом носит она свои цепи, надетые на нее лишь как украшение! Повернись немного, о, подобие пеннорожденной! Еще! Еще чуть-чуть! (Евме-

ний, покажи ей незаметно гиппопотамовый бич). Какая грация во всех ее движениях и позах! И всего три тысячи! Только три тысячи талантов, мои дорогие господа!

Первый голос. – Боги! Да ведь это Силий, старый Силий из Родоса! Когда же он успел сделаться торговцем невольниками? Здравствуй, гнусная помесь плачущего крокодила и смеющейся гиены!

Силий. – Узнаю твой острый язык, о Марк Публий, да будет к тебе, как и всегда, благосклонна богиня любви. Ты – всеми признанный orbiter elegantiarum – разве ты не скажешь, что эта прекрасная девушка – лучшая жемчужина из целой корзины отборнейших. Купи ее, благородный Марк Публий! Всего три тысячи талантов! Когда ты поближе оценишь ее достоинства, ты сам скажешь, что старый Силий сделал тебе императорский подарок!

Марк Публий (на ухо своему другу). – Как жалко, Леонид, что я вчера проигрался дотла в кости, и что ни один александрийский ростовщик не даст мне больше в долг. Эта женщина – совершенство.

Силий. – Да, да, да! Любуйтесь ею, любуйтесь, поклонники, служители и творцы прекрасного. Вот золото ее волос! Вот, глядите, ее стройная белая нога! Вот… голову влево, Лаиса!.. Вот ее безукоризненный профиль, не уступающий профилю Афины-Паллады на знаменитой камее Александра! Но, что вы скажете, когда увидите ее спину? (Евмений, сними с нее покрывало). О, какое благородство, какая чистота линий! Это сама Каллипига! (Что? Она упрямится? Покажи ей бич, Евмений, вот так…) Услаждайте же свое зрение, прекрасные граждане Александрии. Я ничего с вас не возьму за эту радость!

Второй голос. – Клянусь тенями Аида, у нее на спине рубцы от ударов!

Селий. (быстро набрасывая покрывало) – Свиной ублюдок! Сын слепой верблюдицы! Погонщик мулов! Следы, оставшиеся во время сладкого сна от складок одежды, ты принял за рубцы! Потому что тело моей Лаисы нежнее, чем самое лучшее сливочное масло, о, вислоухий критик! Покупайте же, покупайте, благородные господа! Три тысячи талантов!

Третий голос (тихо). – Надо непременно купить эту женщину. Она совершенство.

Четвертый голос (также). – Да, но деньги?

Третий. – Попробуем сообща. Ты, я… Пригласим еще Сильвию и Хромого Филиппа. Если мы умело пустим ее в оборот среди золотой молодежи Рима, то за один год вдесятеро вернем наши ставки.

Четвертый. – Хорошо, но подождем немного. Тсс… Он опять говорит.

Силий. – Я бы мог в продолжение целых суток восхвалять красоту этой девушки, и у меня осталось бы времени еще на четыре склянки! Но вы все, надеюсь, не лишены глаз! Истина сама говорит за себя! Красота – лишь внешнее достоинство Лаисы, дарованное ей случайной милостью богов. Но я не могу не перечислить тех редких внутренних качеств, которые заключаются в ее тонком уме, блестящем образовании и, главное, заботливом воспитании. Лаиса поет, как соловей, играет на флейте, систре и арфе, танцует греческие, египетские и сирийские танцы, неподражаемо составляет любовные букеты и пиршественные венки, говорит на трех языках, знакома с философией и историей.. Она умеет вышивать золотом, ткать ковры, массировать…

Третий голос. – Довольно. А каков у нее характер?

Первый голос (тихо). – Кто этот рыжий долговязый выскочка?

Второй. – Это, кажется, настоящий покупатель. Его зовут Валерий. Он патрицианского рода, но давно погряз в сомнительной торговле. Больше всего он нажился во время войны божественного Юлия, хотя в сражениях всегда попадал только к разделу добычи. Говорят, он несказанно богат.

Первый. – Слушай…

Силий. – Представь себе нежность лани и кротость сосущего ягненка, соедини их вместе, и ты получишь характер Лаисы. Она скромна, стыдлива, послушна и так не требовательна, что может жить одной любовью. Погляди, о, Валерий, она уже краснеет (Лаиса, подыми глаза!) как она глядит на тебя, о прекрасный Валерий, как глядит!

Валерий. – Нет ли у нее какого-нибудь небольшого порока? Например, затаенного упрямства, припадков, вспыльчивости?..

Селий. – О, высокородный господин, у какой женщины нет маленьких капризов, и разве они не составляют часть из их прелестей? Но, если даже и случится, что тебе будет трудно с ней справиться – позови меня или Евмения. Она смотрит на нас, как на своих отцов, и с удовольствием следует нашим увещаниям. Не правда ли, Евмений?

Евмений. – Да.

Валерий. – Я думаю, мне ваша помощь не понадобится. Впрочем, дай мне твой гиппопотамовый бич, Евмений. У себя в каменоломнях я справлялся с целыми сотнями озлобленных рабов. Ловите! *(бросает деньги. Силий и Евмений падают на землю и вступают в драку)*. А ты, рабыня, следуй за мною *(хлопает бичом)*.

Лаиса. – Господин! Господин, сжалься! Я свободная и рождена от свободных родителей! Эти негодяи обманули меня и насильно заковали в цепи! Будь великодушен, о, господин!

Валерий (бьет ее). – Иди!

Марк Публий. – Зачем я так беден, что не мог купить ее! Несчастная девушка *(закрывает лицо тогой)*.

Действие второе.

(Мировой рынок XX века по Р. Х.)
(Государственные правители, дипломаты, чернь).

Ленин. – Бей в барабан, Красин! Троцкий, подведи поближе китайцев!

Неуважаемые правительства и полупочтенные дипломаты! Продается целиком или по частям, одному лицу или вскладчину замечательно богатая страна – Россия. Ее природные сокровища состоят в следующем: 160. 000. 000 десятин леса, четыре миллиона десятин черноземных пашен, миллиарды тонн каменного угля, миллиарды пудов железной и медной руды; золото, серебро, целые горы магнитного железняка, вольфрам, свинец, олово, глауберова соль, графит и еще очень много сюрпризов, которые вы сами разыщете. Бей в барабан, Красин!

(Дальнейшее происходит так же, как и в I действии).

1921 г.

ПУБЛИЦИСТИКА

(статьи, фельетоны, памфлеты)

Публицистика дореволюционная (1906–1914 гг.)

АРМИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ

Вы спрашиваете меня, как будет реагировать на роспуск Думы та воинская часть, где я служил и откуда почерпнул материал для моего романа «Поединок»? На это я отвечу коротко: никак.

Здесь я должен сделать маленькое замечание. Когда я писал свой роман, я не имел в виду исключительно мой полк. Я не взял оттуда ни одного живого образа. Все выведенные в романе черты и эпизоды из жизни военных были мной взяты из всех войсковых частей, всех родов оружия. И если я охотно признаю в своем произведении слабые в художественном отношении стороны, то признаю еще охотнее, что как нравоописательный роман – он совсем слаб. Боязнь показаться тенденциозным, а еще более – ужасы нашей цензуры вынудили меня смягчить краски, так что вместо большой, потрясающей до ужаса картины получилась маленькая, бледная акварель. Но и та только чудом была вырвана из когтей цензуры.

Офицерская корпорация полка, в котором я служил, не считалась худшей, хотя и там офицеры дурно обращались с солдатами, предавались пьянству, пренебрегали службой и презирали мирных граждан. Но посторонний едва ли может представить себе, какую жизнь ведут в различных маленьких отдаленных гарнизонах, в дальних степях и горных местностях и в деревнях «люди чести и незапятнанной чистоты мундира». Да не обвинят меня в преувеличении. Я буду говорить только об офицерстве, живущем в совершенно некультурных и богом забытых местечках, но оно-то и составляет подавляющее большинство нашей армии.

Службу они рассматривают как невыносимое, ужасно скучное бремя и, и чтобы уклониться от нее, прибегают к таким ребяческим средствам, как симуляция болезни и тайный побег с учебного плаца. В солдате они видят ожесточенное, жалкое, лукавое животное, на которое воздействовать могут только побои и наказания. Дисциплины нет, есть страх и раболепие. В присутствии солдат и младших офицеров командир роты критикует и поносит отсутствующего командира полка, тогда как этот последний не стесняется во время больших военных учений в присутствии офицеров и солдат поносить командира дивизии. Но и солдаты, когда они одни, без начальства, никогда не назовут офицера по имени без того, чтобы не присовокупить к нему ужасного русского ругательства, опошляющего и унижающего святость материнства.

Как они живут между собой? Так, как могут жить ограниченные, невежественные, изнывающие от скуки люди, вынужденные к тому же роковой необходимостью вращаться днями, неделями, годами исключительно в полковом обществе, не имея возможности выйти из этого заколдованного круга. На службе они шпионят друг за другом, причем донос вообще играет видную роль. И все пьют, пьют и пьют. Пьют до белой горячки, до потери человеческого облика. Нередко можно видеть, как бравый денщик ведет по улицам маленького городишки своего офицера; офицер в расстегнутом кителе, с сорванной саблей, испачканный в грязи, с погасшим свинцовым взглядом и с фуражкой на затылке; бессильною рукою он время от времени бьет по лицу своего денщика и в промежутках страдает приступами морской болезни.

Их развлечения? Биллиард, карты, водка, девочки, водка и водка. Слышали ли вы когда-нибудь об офицерской игре в кукушку? Пьяные офицеры забираются в темную конюшню. У каждого в руках заряженный револьвер. Один из офицеров кричит: «Кукушка, кукушка!», и по этому зову все офицеры стреляют и целятся именно в том направлении, откуда слышен крик. Эта игра практикуется и теперь еще в Ташкенте и в Закаспийской области. Недавно один генерал отдал приказ: представить ему списки пьющих офицеров, «но не просто пьющих, каковыми являются все офицеры, а алкоголиков».

Что они читают? Абсолютно ничего, если не считать «Русского Инвалида», где печатаются только приказы. Существуют маленькие потрепанные полковые библиотеки. Еще подпоручики раза два в год берут какие-то бульварные романы, а поручики пренебрегают даже и этим родом литературы.

Полковой командир, считавший Бетховена французским писателем с вредным направлением, является не единичным явлением в офицерской среде. Военные произведения вовсе не читаются.

Как они относятся к мирным гражданам? С невозмутимым величественным презрением. Ученые, писатели, профессора, артисты являются в их представлении не чем иным, как убогими, неполноценными штатскими тварями, сбродом… Оскорбить, избить, обесчестить штатского можно совершенно безнаказанно. Можно верхом на лошади въехать в иноверческую церковь, можно в пьяном виде учинить потасовку в синагоге... Это только шутки... Можно с помощью солдат подвергнуть избиению все еврейское население местечка. Это – забавное происшествие и только. Убийство штатского в ресторане и на прогулке или в ином общественном месте совершается безнаказанно, если не считать двух-трех месяцев ареста. Товарищи видят в этом только молодечество. Таков наш офицерский корпус. Как же

может он как-либо реагировать на последние события и на разгон Думы? Само собой разумеется – никак. Если бы даже либеральные листовки нашли доступ в военные собрания, то они остались бы нераскрытыми и нечитанными. Кто интересуется этими листовками? О роспуске Думы офицеры узнали, но не все, а двое, трое, да и те случайно, из лживого и сухого военного листка, другие же – по слухам. Не подлежит сомнению, что большая часть их не отличает Государственную Думу от Петербургской Городской Думы. И в скудном темном мозгу этих людей создается такое представление: «Разные бездельники собрались для того, чтобы доложить о своих нуждах. Этот сброд всегда недоволен и тянет руку за подаянием, а поэтому их, за наглое поведение, разогнали. И прекрасно сделали! Какие могут быть нужды у этого сброда? Надо отдать приказ – проучить их всех, и баста!» При этом необходимо отметить, что обыкновенный офицер проникнут убеждением, что Дума создалась благодаря махинациям евреев и что члены Думы состоят у евреев на жалованье. Что происходит в Думе и о чем там говорят – об этом у него нет ни малейшего понятия. Однажды он схватил в казино, мимоходом, газету случайно прочел краткий официальный отчет о заседании Думы. Но то, что он прочитал, показалось ему настолько диким, настолько недоступным для его узкой, затхлой сферы, что он скомкал газету, пожал плечами, презрительно усмехнулся и, поднявшись с места, воскликнул: «Черт знает какие глупости пишут в газетах… В этих статьях говорят об экспроприации, о прогрессивном налоге – но ведь это чушь!» И он идет в биллиардную, чтобы сыграть партию.

Как относится офицер к революции? Точно так же. Он и не догадывается о ней. Но если смутные слухи о революции коснутся его ушей, он всплеснет руками, широко раскроет глаза и с неподдельным изумлением произнесет: «Свобода? К черту ее, каких еще свобод они хотят? Во всем виноваты студенты. Они не хотят учиться и поэтому бунтуют. Забрить их всех в солдаты, а рабочих наказать физически!» И каждый из этих офицеров при этом заявляет, что, если бы ему предоставили право подавить мятеж, тогда, о, тогда!. И случается так, что это право ему предоставляется, что его ставят во главе карательной экспедиции. О целях этих экспедиций в Москве, провинциях, на Кавказе, об испепеленных деревнях, о расстрелянных детях и изнасилованных женщинах и девушках слыхал каждый. Офицерами во время карательных экспедиций овладевал род кровавого безумия. Необходимо заметить, что эти офицеры добровольно брали на себя обязанности палача.

Русский офицерский корпус, замкнутый в своей узкой, пропитанной удушающим воздухом среде, осужден на полнейшее одино-

чество и одичание. От солдат их отделяет непроходимая пропасть, от невоенного мира – еще большая. Военные неудачи никого не научили и не устыдили: то же хвастовство, то же пренебрежение к образованию и знаниям, то же нелепое высокомерие и глубокий духовный мрак.

Несколько иначе обстоят дела в гвардии. Там имеют представление об освободительном движении и видят его опасный размах. Я считаю поэтому вполне достоверными сведения о том, что в гвардейских частях путем заговора образовано тайное военное общество, готовое по собственной инициативе взяться за насильственное, даже кровавое закрытие Думы. Привилегированная часть армии, состоящая из цвета дворянской молодежи, по-видимому, ясно сознает, что в борьбе с народной свободой она сражается во имя своих классовых интересов.

Могут спросить: возможно ли, чтобы дух освободительной борьбы не проникал в армию? Да, он проникал туда. Но офицер, захваченный общим движением, недолго задерживался в полку. Если даже на чтение журналов и серьезных книг смотрят косо, то малейшая попытка высказать смелую мысль, осудить тяжесть режима, проявить чувство симпатии к студентам или рабочим вызывает целую бурю ненависти. «Нам таких не нужно, оставьте полк и идите к своим студентам», – кричит офицерство. Совсем недавно по постановлению офицерского суда был исключен из Петербургского гвардейского полка молодой, интеллигентный офицер только за то, что в разговоре о возможности роспуска Думы он на вопрос, применил ли бы он вооруженную силу против членов Думы, ответил: нет. Это означало бы насилие над волей народа». И более того. Духовно развитые, честно мыслящие и сознательные офицеры не остаются на службе без насильственного воздействия со стороны товарищей. Уже через несколько лет военной службы они сами стремятся вырваться из удушливых катакомб этой мрачной, жестокой, одичавшей и замкнутой касты. И такие офицеры становятся самыми страстными и самыми смелыми революционерами. Кропоткин и Бакунин не единичные явления. Но они составляют каплю в море. Добровольный шпионаж со стороны товарищей тотчас предает их суду. Общеизвестно, что в казематах Петропавловской крепости заключены многие офицеры. Это преимущественно артиллеристы и саперы и менее всего пехотинцы.

Что делает и о чем думает в это время солдат? Наш солдат – это наш крестьянин. На всем протяжении первого года службы, пока в нем не угасла тоска по родным местам, он все еще крестьянин. И уже через год по окончании службы в нем ни при каких услови-

ях нельзя узнать бывшего солдата. Как воин русский крестьянин – превосходный солдат: он неутомим, тверд, верен как в удаче, так и в неудаче, бесстрашен перед лицом смерти. Эти исключительные черты характера выработались в русском народе под влиянием многовекового рабства, нужды и борьбы со скудной природой. К тому же наш солдат, как и крестьянин, неразвит, лишен инициативы и критики. Я глубоко убежден, что при наличии всех этих качеств наших солдат Россия вышла бы победительницей в войне с Японией, если бы наши офицеры были образованными и самоотверженными.

Офицер чужд всем и всему: природе, земле, обществу, которое им пренебрегает и которое его боится, и, в сущности, даже родине. Солдат же, не утративший своей крестьянской души, связан крепкими узами с народом. Эти узы закрепляются письмами с родины, рассказами рекрутов из родной деревни, главным же образом нежной любовью к деревне, которая продолжает жить в сердцах солдат, подвергающихся бесчисленным дисциплинарным взысканиям со стороны унтер-офицера, сжившегося уже со службой, – продолжает жить в смутных мечтах, в сладкой сердечной тоске и в песнях.

Крестьянин повинуется своему начальству, т. е. губернатору, исправнику и земскому начальнику, но он их не уважает и не любит. Он повинуется из чувства исконного многовекового страха, косности и непонимания. Точно так же относится солдат и к своему офицеру. Крестьянин не питает никакого доверия к барину: в учителе, в либераль6ном помещике, в земском враче, в народном агитаторе он видит всегда переодетого мошенника, эксплуататора, интригана, обнищавшего рабовладельца.

Точно так же смотрит солдат на усилия революционеров расширить его социальный кругозор. Народ и армия еще и теперь далеко стоят от политики и постыдно равнодушны к свободе.

Мне могут возразить: «Чем же можно тогда объяснить все ужасы последних лет? В армии вспыхивают непрестанные бунты, солдаты убивают своих начальников, целые полки предъявляют не только экономические, но также и политические требования; с другой стороны, крестьяне сжигают помещичья усадьбы, убивают чужой скот, убивают арендаторов имений и требуют раздела земли… Почему оба эти движения идут параллельно одно с другим?».

А почему мы часто наблюдаем взрыв двух вулканов на разных концах материка? Причина, несомненно, объясняется тем, что где-то происходит какой-то большой подземный взрыв, в результате которого лава, скопившаяся в недрах земли, выбрасывается наружу. И именно с первыми колебаниями страшных внутренних эле-

ментов, ведущих к взрыву, можно сравнить движение, начинающее разливаться в народе и армии. Я повторяю еще раз: наша армия – крестьянская армия. Сила действия равна силе противодействия. Этот непреложный закон остается законом также и в истории. Нигде рабство и насилие не достигали таких крайних пределов, как на протяжении столетий в России.

И на протяжении этих столетий накопилась безмерная историческая народная ненависть, не обнаружившаяся до сего времени, но с каждым годом все более и более сгущавшаяся и разгоравшаяся. Восстание Стеньки Разина, движение под руководством Пугачева, мятеж в военных поселениях при Аракчееве, – эти выступления, как и нынешние аграрные волнения, являются лишь первыми симптомами, первыми колебаниями почвы.

Многие склонны предполагать, что народом и армией руководят агитаторы. Возможно. Но если они где-либо и были, то служили только громоотводами для суровой народной ненависти. Замечено: как только мятеж подавлялся, мятежники выдавали зачинщиков и молили о помиловании.

Поэт Пушкин, почти пророк, с ужасом думал о том времени, когда разразится «бессмысленный и беспощадный русский бунт». Теперь мы находимся накануне такого бунта, армия и народ обоюдно поставили себе это целью и взаимно подбадривают друг друга. Если пожар охватит армию, то тем же пламенем будет воспламенено и крестьянство, а произойдет среди крестьянства – зажжет и армию.

Массовое русское восстание – это такое явление, одна мысль о котором внушает ужас, которого не знает история и о котором не может иметь представления воображение европейца.

Вековая слепая ненависть к аристократической культуре, вскормленной народными соками, разрушит и уничтожит города, музеи, библиотеки, театры, академии, памятники искусства. Голод, разбивший цепи, предаст уничтожению магазины, поля, леса и сады. Отвратительное невежество прикончит красоту и науку. Суеверие, еще и поныне разжигаемое служителями культа, приведет к коренному уничтожению церквей. И вчерашний раб, упившийся и покрытый кровью, будет плясать на этих развалинах при зареве горящих зданий с куском человеческого мяса в руках.

Как это случится? Я думаю, что начало положит армия и непременно при подавлении вооруженного восстания партийных революционеров. Нужно отдать справедливость русским революционерам: они обладают безумной героической отвагой и невероятным презрением к смерти. Вожди далеко не гениальны, но в противовес

безголовому и бесталанному правительству они демонстрируют стратегическую безопасность, изобретательность и боевую готовность. До сего времени их вооруженные восстания из-за случайности и спешки носили ограниченный, детский характер и поэтому были всегда быстро и жестоко подавляемы. Они действуют не по готовым образцам и не по мертвым канцелярским приказам, а по собственной инициативе и вдохновению, и в этом заключается их сила. Поэтому легко можно себе представить, что однажды им удастся с успехом осуществить по всем правилам военного искусства большое восстание с захватом укрепленных позиций, при содействии артиллерии, кавалерии и автоматических пушек. И нельзя ни одной минуты сомневаться в том, что первым же метким артиллерийским залпом они обратят в бегство офицеров, выступивших для подавления восстания: ведь они нисколько не хуже и не лучше тех офицеров, которые постыдно, без боя сдавали целые эскадроны неприятелю, низко вели себя на восставших судах «Потемкин» и «Очаков» и теперь, при взрыве недовольства среди солдат, совершенно потеряли голову. И этот первый пушечный залп будет сигналом ко всеобщему, почти моментальному разложению армии и к народному возвышению.

Пусть не думают, что восставшие солдаты будут маршировать под красным, черным или белым знаменем. Они будут шагать вперед, неся перед собой кол, на острие которого будут красоваться отрубленные человеческие головы. И за этим символом пойдет более чем стомиллионный народ, для того чтобы совершить грабежи, убийства и разбой.

Удастся ли кому-нибудь удержать этот поток лавы? Великие эпохи создают великих героев; поэтому и в это страшное мгновенье могут родиться герои. Русский народ, родивший Петра Великого, может родить Наполеона. Это был бы превосходный выход.

Но есть еще один выход, более мирный и, как я думаю, более верный. Правительство должно пойти на крайние уступки желанию народа получить свободу. Мы не знаем, как будет выглядеть будущая Дума. В России все возможно: Дума может оказаться реакционной, умеренной и крайне революционной. Но правительство должно понять, что для него настал момент пойти самому навстречу народным нуждам, без подстрекательства и угроз.

Другого не кровавого выхода нет. Это ясно всему русскому обществу.

Теперь много говорят о военной диктатуре. Но смешно предполагать, что она могла бы сколько-нибудь помочь… Это походило бы на попытку преградить путь рвущемуся потоку. Некоторые утверж-

дают, что поток с течением времени иссякнет сам по себе. Нет, он не иссякнет. Он только теперь вырвался из необозримых растаявших ледяных залежей, наслаивавшихся столетиями.

1906 г.

ОКОЛО ВОЙНЫ. ДВИНСК.

В Двинске мы впервые увидали раненых. Правда, когда сиделка вынесла на руках из перевязочной палаты солдата пудов около четырех весом и положила его на носилки, то и у меня, и у моего товарища как будто пол под ногами пошел куда-то в бок, и мы на момент потеряли равновесие. Я помню только, что у него были очень крепко сжаты зубы, белые, а губы открыты. Затем мы разговаривали с ними. Вот что рассказал один из них:

– Выступили мы в поход 17-го числа из Августова на Сувалки. Передали нам, что неприятель находится возле Сувалок. Мы пошли. Оказывается, там шел бой по фронту, а наши войска зашли в тыл ему. Мы целый день ходили. Уж вечер стал. Мы зашли в лес. Разведчики донесли, что неприятель недалеко находится. Мы простояли в лесу часов с 7-ми вечера до 12-ти. Потом ночью прибыл приказ атаковать неприятеля без выстрела и на штыках взять, – подойти прямо до окопов и взять на штыках. Це пошли мы шагов двести до ихних окопов, ихняя передовая застава заметила, что идут войска. Они дали выстрел по нас. Тут сейчас начали палить пулеметы. Начали палить с фронта и с флангов. Скомандовали ложиться. Целую ночь стреляли, и мы так лежали. Кому суждено было, – убит, тяжело ранен… До самого утра стрелял. А мы не стреляли, мы не могли встать, – такой опальный огонь был по нас. Ни один начальник не мог встать скомандовать, и мы не знали, где офицер находится. Он не допускал до себя до самого утра, а потом отступил. Как он отступил утром, получился приказ перейти версты на четыре, не доходя Сувалок. Мы отошли. Потом прибыло приказание командира, чтобы наступать. Наша рота пошла передней заставой, а за нами – остальные роты. Пошли фронтом, где, по своим соображениям должен находиться неприятель. Тут доложили, что неприятель цепью со всего фронта наступает. Скомандовали остальным ротам. Началось наступление фронтом и с флангов. Неприятель начал палить. Бой шел приблизительно около часа. Так по нас стреляли, а мы отбивались. Здесь я был ранен в колено, в чашечку. Пуля осталась, мне ее вырезали в Каменке. Больше я не могу знать как было…

Приблизительно так говорят о войне все герои, делающие войну. Перед вами стенограмма рассказа, и вряд ли я ошибаюсь, думая, что беседы с ранеными, написанные в героическом стиле, – едва ли не ложь. Правда, у всех у них есть какая-то напряженная говорливость, желание рассказать, что они пережили, проведя без сна несколько суток, не раздеваясь, и почти каждый момент под неизбежностью смерти. Но из каждого из них можно, в конце концов, выжать две-три фразы. Этот же самый раненый рассказывает далее:

– Мы отняли у германцев обоз – шестьдесят повозок с выкладкой; там мука, крупа, рис, какао… И лошадей забрали: шестьдесят повозок, по паре лошадей в телеге, – сто двадцать лошадей. Каждая лошадь по тысяче стоит: настоящие экономические, заводские лошади.

Я спрашиваю:

– Почему ты знаешь толк в экономических лошадях? Служил в экономии?

– Конечно же, служил… Такая лошадь свободно в гору повезет двести пудов…

А вот что рассказывает раненный кавалерист солдат-гвардеец Вишневский:

– Прямо мы наступали на неприятеля. Дрались жестоко, но только когда мы пришли в деревню, то нас встретили очень гостеприимно, а потом они нашего офицера убили из-за угла. За это мы расстреляли их пятьдесят человек, в возрасте от 17-ти до 45-ти лет.

– И ты расстреливал?

– Обязательно!

У него довольно тяжела, опасная рана: пуля чуть-чуть не коснулась сонной артерии.

Я его спрашиваю:

– Ну, а когда ты выздоровеешь, – куда пойдешь?

– Конечно, на войну.

Унтер-офицер, ярославец…

Он не очень прост, – снимает с себя одеяло и показывает пятку, которая у него перестала ощущать боль.

– Вот говорят, что мне уж больше не ходить…

Фельдшер подтверждает:

– Да, вам уж больше не ходить.

– А я бы хотел еще подраться…

И он, и я, вместе щупаем его холодную, крепкую пятку. Да, оказывается, у него перерван нерв.

Но мимоходом он, точно шутя, говорит:

– Еще у меня в боку есть дурацкая рана: вошла пуля маленькой дырочкой, а вышла – разворотила спину в кулак… Отчего это?

– Я не знаю, отчего это происходит…

Шутя, мы разговаривали об его губернии.

– Что и говорить, – отвечает он и машет рукой, – самая бедная губерния на всем свете. Так про нас поговорка и сложилась: когда обедаем, так окна от людей занавешиваем, а когда чай пьем, – открываем, чтобы все видели…

О, милый русский солдат, простой в своем героизме и великий своим духом: раненый, будущий калека, он и тут не утерпел добродушно пошутить над своими маленькими деревенскими невзгодами.

Мне везет на неожиданные встречи…

Я и мой товарищ стоим и от скуки глазеем на афишу кинематографа,– чем иначе убить время в Двинске? Вдруг меня окликают по имени и отчеству. Я смотрю и не верю своим собственным глазам: это мой издатель – Г.Г. Блюменберг, в форме прапорщика кавалерийского запаса, со своей молодой женой.

– Каким образом вы здесь? – спрашиваю я, – Ведь, вы, кажется, где-то обучали кавалеристов?

– Да, – отвечает он с гордостью, – и довели нашу сотню парней до образца настоящей кавалерийской части. Немного был труден переезд через три географических широты, но, во всяком случае, мы довезли и наших людей, одетых и обутых в чем Господь послал, и наших коней в полной неприкосновенности.

В Двинске нас очень скоро одели и обули и распределили по квартирам. Все это было сделано быстро, точно и аккуратно, если разве не считать только маленького недоразумения.

– Какого?

– А просто…Один хозяин двора, где были помещены солдаты, начал брать по три копейки за каждый солдатский чайник кипятка. Конечно, мы, трое офицеров, сейчас же сложились между собой и заплатили, что нужно, но чуть-чуть обидно было думать, что мы встретили неласковый прием… А в соседнем дворе другой хозяин прямо выбивался из сил, чтобы услужить солдатам: таскал им и чай, и сахар, и молоко. Старый, пятидесятилетний человек, вспотевший от беготни, человек с лицом библейского патриарха. И еще находил время с трогательной, отеческой заботливостью угощать солдат:

– Кушайте, кушайте. Может быть, вам не придется в другой раз…

– Но скажите, Г.Г., какое настроение у ваших солдат насчет войны?

– Ну, об этом нечего и говорить! Кончено, пойдут, куда угодно, куда прикажут. Это – все деловитый народ.

Но вдруг в нем просыпается старый кавалерист.

– Одно только было неприятно для меня лично. Черт знает, какая лошаденка попалась: местной вологодской породы, меньше двух вершков ростом. Правда, с железными ногами, способная без устали для себя делать переходы в пятьдесят– шестьдесят вест в сутки, но...

– Но что?

– … но вообразите себе меня, кавалериста, сидящего на мерине цвета кофе с молоком, да еще вдобавок с белой гривой и с белым хвостом. Понимаете ли вы, как возмущается кавалерийская душа?!

1914 г.

ЛИФЛЯНДИЯ

Ч. I. Латыши.

В мой теперешний приезд я совсем не узнал Риги. Раньше это был веселый, шумный, живой, богатый город, один из самых прелестных торговых портов России. Я до сих пор помню, как на Двине стояли тесно сотни пароходов и парусных судов: огромные стройные трехмачтовики, мощные двухтрубные океанские пароходы, сотрясавшие воздух своим глубоким, волнующим ревом, неуклюжие черные, степенные баржи с лесом и хлебом, и как между ними сновали туда и сюда хлопотливые, запыхавшиеся паровые катера, и плавно, точно лебеди, скользили, едва наклонившись набок, изящные белые парусные яхточки. Я помню целый лес мачт и снастей, точно перепутавшихся между собою. Помню ряд могучих пароходных труб – белых, черных, желтых, красных, с опоясочками наверху...

Часами следил я, бывало, за пароходом, грузящимся куда-нибудь в Англию, Испанию или Америку. Ловкие, мускулистые, крепкие матросы разворачивают на палубе просмоленный бунт каната. С визгом и грохотом идет вверх якорная цепь. По сходням, как муравьи, ползут грузчики, обремененные страшными грузами... Свистки, звонки, команда, окрики, ругань, песня... Медленно движутся в воздухе целые штабели досок, подхваченных кривым хоботом лебедки. Суетня, толкотня и гам на набережной. Сердце сжимается от сладкого волнения, от беззлобной зависти, от страстного желания плыть морем, далеко, в чужой край...

Теперь на Двине нет кораблей. Большинство ушло тотчас же по объявлении войны. Те, которые не успели погрузиться или задержались по другим причинам, отведены куда-то в безопасный залив, под надежное прикрытие. Остались всего только два-три плохоньких суденышка, и на каждом из них дежурит какой-нибудь старик, заплесневелый, глухой и ворчливый – именно тот, который во время рейсов был лишним бременем.

И рижских домов не узнаешь. Почти во всех домах на окнах, на каждом стекле расклеены вкось, аккуратно, по-немецки белые полоски бумаги. Это значит, что квартиры сдаются. Раньше этого не бывало. Обыкновенно к этому самому горячему торговому времени, квартиры брались нарасхват… Ах, есть ли на свете зрелища печальнее опустелых домов, вымерших портов и остановившихся заводов?

Рига – сердце Прибалтийского края. Не бьется сердце – немеют руки и ноги. Но это кажущееся бездействие обманет лишь поверхностного наблюдателя. Под внешним спокойствием совершается теперь во всем крае героическая, может быть, последняя схватка. Видали ли вы когда-нибудь тот решительный, страшный момент состязания, когда борцы, опоясав друг друга руками, замирают неподвижно, точно каменная группа? Все мускулы напряглись, как клубки корабельных канатов, ступни ушли по щиколотки в тырсу арены, на лбах вспухли ижицей синие жилы, зубы стиснуты, пальцы рук побелели, и только слышатся хриплое дыхание и хрустение костей... Именно в этом состоянии максимального, но со стороны незаметного напряжения сил находятся теперь бароны и латыши, господа и вчерашние рабы, праздные землевладельцы и люди, оросившие каждый клочок бесплодного края своим потом и унавозившие его своею кровью и трупами.

Сейчас латыш идет на войну, как на настоящее, серьезное дело, которое обеспечит его маленькому народу земельный простор и участие в великом деле всероссийской гражданственности. И как идет! С тем же невозмутимым деловым видом, с тем же каменным упорством, с той же непреклонной волей, с какой он корчует болотистый лес под пашню или среди песков выгоняет в оранжереях абрикосы и раннюю землянику.

За эти три дня мне удалось поговорить с несколькими местными людьми, знающими хорошо Прибалтийский край: с латышами, немцами, русскими и евреями. Все, что я слышал интересного, попробую передать.

Заранее извиняюсь в моем невежестве: я совсем не знал латышской истории. Да и вряд ли кто ее знает по-настоящему. А она страшна и кровава, как длинный исторический кошмар.

Вот что мне рассказал о ней интеллигентный латыш – присяжный поверенный.

В самом начале XIII столетия, кажется, около 1201 г., крестоносцы завоевали Лифляндию, и все местное население сделалось полной собственностью пришельцев. Если раб-латыш убегал, то к нему применялась очень простая мера: ему отсекали ногу...

Король Стефан Баторий признал, что крестьяне-латыши чрезвычайно угнетены. Он собирался было улучшить их положение, но не успел, потому что вскоре умер.

Шведы после поляков принялись за реформы.

Густав-Адольф запретил дворянам налагать произвольно взыскания на крестьян за разного рода проступки, подчинив эти проступки юрисдикции земского суда. Вместе с тем крестьянам предоставлено было право жаловаться на притеснения и вымогательства дворян.

После Густава-Адольфа горячее участие в судьбе латышей принял Карл XII. Он указал дворянству на необходимость отменить крепостное право, объявив его противным человеческому достоинству, но дворянство упорно, вопреки воле короля, стояло за свои железные привилегии (1681 г.).

В 1710 г. Остзейский край перешел во власть России, а в 1764 г. Екатерина Великая предприняла путешествие по Остзейскому краю и предложила рассмотреть вопрос о принятии мер к прекращению угнетения и разорения, причиняемых крестьянам.

Результат был очень краток: воспретили продажу крестьян на рынках и супругов врозь, а также было обеспечено за крестьянами право собственности на движимое (корова, лошадь) имущество.

Дальше идет история латышей при Александре I, которого давно уже мы рассматриваем до Наполеона и после Наполеона, или, вернее сказать, Александра – светлого, кроткого, любвеобильного юношу, друга Новосильцева и Чарторыжского, и Александра – мрачного мистика, ученика баронессы Крюндер, архимандрита Фотия и Аракчеева.

Для того чтобы не быть голословным, я приведу указы Александра I от 1804 и 1819 гг.

В 1804 г. за крестьянами было обеспечено потомственное пользование землей за известное вознаграждение, но личной свободы у народа не было.

В 1819 г. была дарована крестьянам личная свобода, но отменено положение 1804 г.

Итак, раньше они пользовались землей, но не имели свободы; потом им дали свободу, но отняли землю. Злая шутка истории!

Великая эпоха освобождения крестьян от крепостной зависимости совсем не коснулась латышей. Призрачную свободу они имели и раньше, а землей их все-таки не наделили, не считая жалких клочков среди песков и болотистых пространств. Их фактически лишили даже права арендовать землю. Если хочешь заработать кусок хлеба, иди на мызу, в батраки, за нищенское вознаграждение и скверную пищу (исключительно картофель и то жидкое молоко, которое остается после маслобойных сепараторов, нечто вроде сыворотки, по-русски «обрат»).

У баронов главный принцип: никогда не продавать на сторону ни клочка земли. Но без латыша им все-таки не прожить, это – почти даровая сила. Латыш способен работать более чем за двух лошадей. Он нетребователен, по внешности покорен, силен, вынослив и умеет сокращать свои жизненные потребности до поразительно малых размеров. «Это наш рабочий скот», – говорят про него землевладельцы, твердо убежденные в том, что «человек начинается с барона». После 1905 г., напуганные латышским движением (в котором, кстати, не было ничего революционного, – все волнения происходили исключительно на почве земельной тесноты), а также в наказание латышам бароны выписали из Германии рабочих на свои мызы. Но те предъявили такие высокие требования в смысле еды, комфорта и вознаграждения, что бароны ахнули, схватились в ужасе за головы и ... опять обратились к своему латышскому скоту, хотя тот недавно осмелился заговорить человеческим языком.

Почти повсюду в Прибалтийском крае господствует майоратное право. Землею владеет наследственно старший в баронском роде. Остальные члены семьи идут в «отхожие промыслы», конечно, в Россию и главным образом на хлебные и влиятельные должности. Правда, иные, неудачники, выбирают скользкие карьеры международных шпионов (особенно шпионок), шулеров и подставных титулованных «лиц без речей» в темных биржевых операциях, держат игорные притоны, меблированные комнаты, дома свиданий и даже прямо публичные заведения (баронесса Т.). Но зато другие достигают значительных бюрократических степеней, с высоты которых они могут и умеют влиять на судьбы Русской империи. Надо ли говорить о том, что сердцем, душою, плотью и кровью они остаются теми же остзейскими баронами, которым интересы родных гербов и фамильных замков бесконечно дороже всей этой огромной, несуразной, дикой, чужой им и по вере русской земли. Таким-то образом несколько десятков баронских родов (горожане-немцы не в счет; их всего насчитывается около 750000 чел.) фактически попирают же-

лезной господской пятою исконное бесправное десятимиллионное население Прибалтийского края, связывая его тесными путами.

Но и среди немцев, однако, находились изредка люди с честью и совестью, которые поднимали слабые голоса в защиту угнетенных латышей.

Сейчас я назову три имени: барон Сиверс, Фелькерзам и Меркель. Великодушные люди имели смелость преодолеть личный шовинизм и сказать, что надо, наконец, обратить внимание на положение латышей.

Из них Сиверс был объявлен изменником, Фелькерзам был утеснен и разорен как помещик, а Меркель провел остаток своих дней в Америке как изгнанник.

Теперь надо только представить себе, какими удивительными путями настойчивости, терпения и суровой бережливости сумели латыши не только сохранить за собою жалкие земельные наделы, но даже и расширить их, округлить и упорным трудом поднять их культуру до высокой степени! Поистине это – какое-то чудо человеческой энергии, поразительный пример стихийного, вековечного тяготения к земле!

Как-то само собой случилось, что латыши однажды поняли, что колотить друг друга палками по головам и распарывать ножами животы при дележе земли – нерасчетливо и неубедительно. Тогда от своих бывших, а фактически и теперешних господ они переняли обычай майората. Владелец землею – старший в роде, а пасынки судьбы идут во внутренние губернии, переселяются в Америку. Кому неизвестно, что латыши – лучшие в России садоводы и огородники? Но и другими окольными путями они умудряются то там, то здесь скупать небольшие земельные участки и соединять их вместе. Народился уже тип богатого латыша-землевладельца, которого иронически именуют «серым бароном». Однако, этих домодельных баронов земляки не очень одобряют: уж очень в них ярко сказывается пренебрежительное равнодушие разъевшегося мужика к своим и льстивое тяготение к немцам.

«Правда, – прибавляет мой собеседник, – мы добились многого. Мы поголовно грамотны, жилища наши чисты и удобны. Мы со скромной гордостью стремимся стать в ряды европейских наций, и что самое важное – главный наш враг – алкоголь – почти побежден, и побежден не мероприятиями правительства, а личным народным самосознанием. Но все-таки часто становится больно и обидно, когда задумаешься над тем, что же, наконец, выше: культура рода или культура труда? Подумайте, в какое положение ставят нас немецкие бароны. Они до сих пор относятся к нам так же, как

относились в XIII столетии. Они повсеместно пользуются правами охоты, рыбной ловли, винокурения и т. д. Мы же несем одни тяжелые земские и иные повинности. Как батраки на мызах, мы – средневековые рабы. Нам чинят утеснения и несправедливости на каждом шагу, а мы не смеем и пикнуть.

Представьте себе положение крестьянина, который любовно и терпеливо ухаживает за землей.

Его хозяин и сосед – барон, крестьянский начальник – двоюродный брат барона, в городе, в полиции, в губернаторском управлении – троюродный брат, а четвероюродный сидит высоко, в Петрограде, и выходит то, что немец немца тащит кверху за хвост, а самый близкий к ним немец жмет латыша в своих когтях.

Вот вам пример: выборы в Государственную Думу. Как бы мы ни старались, мы наперед знаем, что непременно пройдут немцы, и мы здесь бессильны: немец – домовладелец, и он всегда может показать, что дом построен им в компании на паях с сорока человеками. А все городское немецкое население, бюргеры, лежит перед баронами в таком же раболепном страхе, как, скажем, прусские мещане перед лейтенантом.

Таким образом, получается большинство голосов. Если и посылают в Государственную Думу латыша, то он непременно прихвостень, лизоблюд, тот самый «серый барон», о котором говорилось раньше.

Обратите внимание на события самых последних дней.

Мы первые в Риге устроили общество для вспомоществования вдовам и детям воинов. Поглядите, какая картина. Я являюсь в канцелярию губернатора, но меня не принимают и говорят, что сейчас идет фильтровка германских подданных. На другой день то же самое. Я думаю: разрешат ли нам или не разрешат собрание нашего общества? Прихожу на четвертый день. Ну, конечно, губернатор не принимает. Через два дня приехал генерал, очень быстро разобрался в нашем деле, и собрание было разрешено с опозданием на месяц.

Это пустяки, а вот что интересно. Наша студенческая латышская корпорация первая устроила госпиталь из своих помещений. Польская и немецкая корпорации опоздали на два дня. У нас уже были подготовлены врачи, санитары, носилки. После этого все корпорации получили благодарность, кроме нашей.

Или вот еще неприятность.

На днях Государственный банк дал ссуду Рижскому банку в размере десяти миллионов рублей. Латышские кооперативные общества не получили из них ни копейки. Местная учетная комиссия,

состоящая сплошь из немцев, обслужила немецкие учреждения – биржевой, коммерческий и учетный банки, а о латышах точно забыла. А у нас дело молодое, едва только наладившееся, ему всего только пять лет от роду. Многие из обществ приносили уже дивиденд, около 10% (потребительные, магазины сельскохозяйственных машин, строительные и т.д.), а теперь приходится уплачивать по счетам, суетливые члены требуют назад свои взносы, и прекрасному делу, может быть, грозит разорение...

Таково отношение к нам немцев. Они не только боятся нас, трудолюбивых и скромных латышей, как конкурентов в торговле и промышленности, они ненавидят нас, как вчерашних рабов, которые сегодня осмелились проснуться, прозреть и поднять головы. Они никогда не останавливались перед клеветой против нас. Так, в 1905 г. все наше аграрное брожение они услужливо приписали крайним и опасным революционным идеям. Так и теперь перед нынешней войной они наводнили наш край брошюрами, призывавшими латышей от имени латышей к общему революционному восстанию. Знаете ли, кто оказались инициаторами, авторами и распространителями этих прокламаций? Два остзейских барона. Оба теперь схвачены и спрятаны куда надо.

Мы, латыши, твердо верим в близкое торжество русского оружия. Мы верим, победа над Германией собьет с наших баронов их чванливую спесь и надменную жестокость. Мы верим, что голоса и влияние четвероюродных баронских братцев в Петрограде не будут заглушать истинного голоса латышского народа, который всегда хотел и хочет быть не пасынком, а сыном великой России. Оттого-то мы вовсе и не рвемся в бой, как принято теперь говорить, а идем отвоевывать свое право на жизнь и честь, идем решительно, спокойно и просто, как идет мужик на пахоту».

Когда он произносил последние слова, я подумал: «Уж и правда, как на пахоту». Я вспомнил то, что мне (приблизительно) рассказывали порознь два офицера, которые вернулись с войны, один лечиться от ран, а другой – за огнестрельными припасами.

– Черт их побери, этих латышей! Хоть бы когда-нибудь он рассердился или взволновался. Нет, прет себе вперед, молчит и сопит, как медведь. Другие солдаты торопятся стрелять как можно чаще... все-таки шум выстрелов немного заглушает страх... А этот уляжется в цепи, умнет под собою аккуратно валик из скатанной шинели, целится-целится, точно на учебной стрельбе, просто терпение лопнет смотреть... «Бац» – и опять методически целится. А стрелки, надо сказать, они все первоклассные, обученные еще у себя дома, в вольных стрелковых обществах. И потом еще очень трудно его

заставить отступать. Не подталкивать его приходится, а останавливать.

Вот так-то этот молчаливый, угрюмый, корявый народ и отстаивает свою самостоятельность и право свободно дышать воздухом своей неприветливой земли.

Ч. II. Немцы.

Выслушав нескольких латышей, этих холодно-пылких и разумно-фанатических патриотов своего маленького отечества, я счел нужным повидаться и с немцами, представителями торговой и интеллигентной буржуазии.

Вот, например, г. Х., один из деятелей промышленного мира. Высокий обнаженный лоб, длинное благообразное лицо, прямая, правильная седеющая борода, голубые, чуть блеклые глаза смотрят устало и внимательно. Разговор сдержанный и осторожный, каждое слово взвешено.

– Мне до сих пор и в голову не приходило, – говорит он тихим голосом, – подчеркивать для самого себя то, что я немец. Я очень долго жил в Москве, женат на русской, за мои политические симпатии к России я давно считаюсь в Риге «левым». Объявление войны я принял, конечно, не с радостью (да и вряд ли хоть одному разумному человеку пришло бы в голову радоваться в эти дни), но с сознанием роковой необходимости этой войны, неуклонной ее неизбежности. Война России с Германией давно уже назрела, она, так сказать, висла в воздухе, – это было ясно для каждого маломальски наблюдательного ума. И вернее – война не с Германией, а с Пруссией, которая как впала с 1870 года в шовинистическое военное безумие, так из него и не выходила до сих пор. Бряцание шпор надменного прусского лейтенанта чересчур дорого обходилось Европе, – и сгущенная, напряженная атмосфера вечных военных приготовлений должна была когда-нибудь разрешиться.

Но теперь дело приняло другой оборот. Мы уже слышим о священной войне, нам навязывают мысль не о политической распре между соседями, а о великой, последней, решительной борьбе между славянской и немецкой расами. Я – лояльный человек и настоящий русский верноподданный. Но в такую минуту отказаться от сознания, что и я, ведь, немец, я считал бы признаком низости и слабости духа. Да! Первые слова, услышанные мною от матери и произнесенные мною, были немецкие; первую молитву я пролепетал на немецком языке; первые детские игры, радости и маленькие огорчения были связаны с родным мне языком, с родным строем

фразы и мысли. И вот по-прежнему, не изменяя моим верным чувствам к России, я с гордостью говорю и думаю: «Да, я немец».

Мы коснулись взаимных отношений остзейских землевладельцев к латышам, и на несколько секунд мой собеседник разгорячился.

– Я еще до войны много раз говорил и даже неоднократно писал о том, что политика баронов всегда была без нужды надменной, близорукой и для них же невыгодной. 1905 год – не единственный пример, когда прибалтийские владыки раздували в глазах правительства маленькое аграрное недоразумение до размеров целого революционного бунта и заливали страну огнем и кровью. Так было, например, в конце сороковых годов. В целях скорейшей русификации края, уже не знаю, по чьему мудрому совету, правительство направило тогда в Лифляндию отряд миссионеров для обращения латышей из лютеранства в православие. Дело шло довольно туго до тех пор, пока какой-то злой демон в образе человека не посеял из-под полы слуха о том, что всех новообращенных православных латышей правительство одарит бесплатно землей. Переходить в новую церковь латыши стали гораздо охотнее, пожалуй, даже с излишней торопливостью, но зато сначала робко, а потом все тверже и, наконец, совсем решительно потребовали фантастической награды. Это естественное волнение народа, дрожащего над каждым вершком никуда негодного болота, было представлено и разъяснено в Петрограде, как вооруженное восстание, как что-то в роде латышской Жакерии, и в результате – грандиозное усмирение со всеми его ужасами. Нечего и говорить о том, что слухи о земельных наделах были пущены из баронского лагеря. И такие примеры не единичны.

– Говорят, – вставляю я, – говорят, что и теперь, перед нынешней войной, среди латышей распространялись прокламации из того же источника.

Г. Х. занавешивает ресницами свои усталые глаза.

– Не будем говорить об этом... Но я никогда не мог постигнуть вот чего. По одному из прошлых опросов, произведенных в начальных школах, оказалось что для 70% учащихся материнским языком был немецкий. Последние опросы показывают все меньшие и меньшие проценты. Из этого можно твердо заключить, что немецкие помещики, – захоти они идти путем ума, справедливости и сердца, – могли бы без труда онемечить и мирно завоевать весь край. Но они предпочитают дорогу надменности, презрения и утеснения, и вне этой дороги ничего не видят. И вот между двумя народностями все выше воздвигается стена взаимно-враждебного недоверия, увеличенная, с одной стороны, бедностью угнетенного, а с другой – боязнью угнетателя.

Редактор газеты «Rigasclie Rundschau» г. Руэтц.

Таким я всегда воображал себе редактора или главного корреспондента видной английской газеты. Все в нем, начиная с ровного пробора в темных волосах над безукоризненно выбритым свежим лицом и кончая лакированными туфлями, из которых выглядывают черные шелковые чулки, от сдержанных манер до приятного и дельного разговора, – полно элегантности, простоты и достоинства настоящего джентльмена. Газета его – самая распространенная во всем Прибалтийском крае. Ее читают и бароны и плебс. И, пожалуйста, не подумайте, чтобы эта газета была консервативна... Нет, для Остзейского края она левого, и даже очень левого, направления. Ну, вот как в государственной Думе октябристы... чуточку поправее.

– Вы прекрасно владеете немецким языком, – говорил мне любезно г. Руэтц, – но, должно быть, очень давно не практиковались в разговоре. Я говорю по-русски еще хуже. Но для того, чтобы ввести вас в курс наших здешних мыслей, мнений и настроений, я познакомлю вас по этой вот корректуре с одной из моих будущих статей.

Дело в том, что одна узко-националистическая германская газетка однажды обмолвилась впопыхах мнением, что Рига, этот немецкий кремль, ядро Прибалтийского края, представляет собою город, который даже не нужно завоевывать, потому что он есть не что иное, как открытые ворота для германцев, в виду, якобы, всеобщих пангерманских рижских симпатий. Статья была довольно ничтожной по своему содержанию и достаточно неуместной, потому и не стоило бы на все тратить лишних слов, но «Новое Время», не разобравшись в ней, взяло и, на основании этой статейки, в большой статье приписало всему рижскому населению пламенную готовность упасть в объятия прусского владычества.

И вот мне, вовсе не любителю журнальной полемики, пришлось возразить на артикль «Нового Времени» целой специальной статьей.

Ни в политическом, ни в стратегическом, ни в моральном, ни даже в экономическом отношениях для нас не только не выгоден, но даже опасен был бы такой шаг, потому что, во-первых, подав руку германцам, мы создадим себе конкурента, которого одолеть мы не сможем, как более культурного, энергичного и беззастенчивого работника.

Затем, стратегические соображения: признав прусское владычество, мы станем вечным буфером между Германией и Россией, – буфером, который непримиримые враги будут нажимать все время и с той, и с другой стороны, пока не расплющат нашей самобытнос-

ти, обагрив всю страну и своей и нашей кровью. А ведь, мы – вовсе не воинственное племя. Мы –мирные, честные купцы, и только...

Что касается экономической стороны, то потрудитесь посмотреть цифры ввоза и вывоза товаров, которые проходят через Ригу.

	Ценность ввозимых морским пут. тов. в милл. р.	Ценность вывозимых морским пут. тов. в милл. р.	Общая сумма внешней торговли Риги в милл. р.
1886-90 средн.	21	53	74
1900	59	71	130
1910	144	192	336
1913	179	216	405

Ввоз+вывоз Риги составили:

В 1911 г. – 14 S

В 1912 г. – 16 S

В 1913 г. – 17 % (процентов общей суммы внешней торговли Европейской России)

Подумайте только: семнадцать процентов всей внешней торговли России!

Если и мы вообразим себе Прибалтийский край, покоренный германцами, с сухопутной границей и с таможнями в Двинске и других городах, то неизбежно упадет материальное благополучие Риги, и из прекрасного порта, из богатого торгового города она обратится в маленький рядовой городок, а вместе с ней упадет и все благополучие Прибалтийского края, для которого Рига – то же, что сердце для живого организма.

– Кроме того, – прибавил г. Руэтц, – я умышленно оставил под конец самую главную причину нашей верности русской державе, это – моральные основания.

Мы связаны словом, верноподданническим обещанием, которое для нас, – торговых людей, – стоит гораздо больше любого векселя.

А что касается наших местных желаний, то они очень скромны.

Пусть нам только разрешат в городских училищах и в гимназиях хоть до четвертого класса учить детей на своем родном, немецком языке. Ведь, материнский язык для ребенка – его естественная, природная музыка. И в эти годы, когда человек наиболее впечатлителен, развиваются в нем, благодаря языку, те лучшие стороны души, которые, конечно, есть в каждой нации.

Также мы не отказались бы от земского самоуправления, хотя бы в такой форме, в какой оно существует в центральной России.

На прощанье я спрашиваю:

– А что вы скажете об отношениях баронов к латышам?

Г. Руэтц пожимает мою руку и уклончиво-мягко улыбается.

– То, что в деревне считается маленьким соседским неприятным разговором, превращается здесь, в больших городах, в политические ураганы. Очень советую вам: возьмите завтра автомобиль и поезжайте по окрестным, мызам, фермам и деревням. Я охотно дам вам рекомендации... Впрочем, вам трудно будет без языка... А что касается баронов... то разве мы вами не читаем каждый день в газетах о том, что их сыновья умирают героями на поле брани?..

Ч. III. Евреи.

Вы сами знаете, что где бы люди ни дрались, где бы ни происходило международное недоразумение, всегда достается нам, евреям.

Поэтому мы – убежденные противники войны.

Да и благодаря нашей десятитысячелетней религии, у каждого из нас в крови живут боязнь крови и брезгливость к ней, хотя нас и обвиняют даже в совершении ритуальных убийств.

Но если бы вы посмотрели на нас в великий день объявления войны! (так рассказывал мне местный еврей, видный адвокат). Не только синагога, но и вся площадь перед нею и все окрестные улицы были переполнены еврейским народом.

И смотрите, насколько это было серьезно.

Мы, евреи, охотно шутим и острим и на свадьбах, и на похоронах. Острота, меткое словечко – всегда ценятся в нашем обиходе, хотя от некоторых шуток мороз пробегает по спине.

Если еврею трамвай отрежет руку, он, несмотря на боль, все-таки найдет в себе столько присутствия духа, чтобы пошутить:

– А все-таки, слава Богу, я владею еще одной рукой.

Повторяю, это – в духе народа.

Но когда вышел раввин и в нескольких горячих словах произнес благословение русскому оружию, то случилось, точно чудо.

Видали ли вы когда-нибудь плачущего еврея? Ведь, никогда?

– Никогда.

– Да. Мы это предоставляем женщинам и детям. А в этот день я видал вокруг себя мужские лица, орошенные слезами...

Сейчас же, не сходя с места, еврейская община собрала пятьдесят тысяч рублей в пользу жен и сирот запасных и устроила на

свои средства два лазарета. В самой синагоге, – обратите внимание: в синагоге, – с величайшим подъемом был пропет русский гимн. Чуть ли не впервые за всю печальную историю еврейства стены нашего храма услышали песнопение на чужом, не древнееврейском языке.

– Наши потомки, – продолжал он, – будут нам удивляться: «Неужели вы утратили всю свою энергию, весь гений расы, всю свою образованность и национальную дисциплину только на то, чтобы дать еще одному еврею право жить вне черты оседлости?».

Но и с этим мы миримся.

Если нас спрашивают:

– Кто вы?

Мы отвечаем:

– Русские евреи. Потому, что и в Петрограде, и в Нью-Йорке мы помним и тоскуем об этих захолустных местечках, где нам позволено жить, и где мы родились, помним первый поцелуй матери и помним маленькие еврейские кладбища со скромными камнями, под которыми похоронены наши предки.

– Есть ли у вас какая-нибудь надежда на расширение прав? – спрашиваю я своего собеседника.

– Конечно, есть. Что может быть ужаснее потери надежды? У нас даже есть традиционное полушутливое пасхальное приветствие: «Дай Бог нам встретиться на будущий год в Иерусалиме». Может быть, при лучших условиях и нам выпадет счастье скромно, без преследований справлять нашу субботу и есть нашу фаршированную рыбу-фиш. Но если бы и не было никакой надежды, – все равно, мы также безропотно идем на войну и посылаем туда своих сыновей, как делали бы это, видя впереди золотые горы. Ах, может быть, нам поверят, наконец, что мы – более верноподданные Царю и России, чем патентованные патриоты, делающие темную карьеру на кровавых клеветах и призывах к насилию.

Обидны мелочи: в то время, когда Пуришкевич целует Тору, в то время, когда Замысловский объявляет себя другом еврейства, в это время один военный доктор-еврей, который опять отправился на войну, имея уже два ордена, заслуженные в боксерское восстание и японскую кампанию, и вдобавок посылает двух своих сыновей на этот ужас, – обращается с просьбой в министерство о принятии его двух маленьких детей, вне процентной нормы, в гимназию, и ему отвечают холодным словом: «Отклонить». А еврейские семьи, бежавшие из разоренных германцами городов внутрь России, опять возвращают через полицию в черту оседлости, не смотря на то, что их главные кормильцы находятся сейчас на войне.

Когда же поймут, что сейчас встала против жестокости и безумия Германии вся разноликая, пестрая, но единая великая Россия!...

Ах, не надо забывать, что теперь вся страна, от Печорской губы до Черного моря и от Варшавы до Читы, требует наибольшая напряжения сил, а не мелких бюрократических придирок и прижимок.

Мы переходим в разговоре к местным рижским коммерческим интересам.

– Из рук вон плохо, – говорит адвокат. – Рига бездействует, и все купечество, особенно еврейское, сидит, сложа руки. Многие успели разориться за это время. У меня есть один знакомый. Он торгует лесом. До войны его годовой оборот достигал 60–70 тысяч рублей. А на днях он приходит ко мне и боязливо, на ушко, просит: «Одолжите мне пятьдесят рублей. Не на что на базар послать».

Ч. IV. Русские.

Это – местный архитектор. Человек еще молодой, но обладающий той быстрой практической сметкой, которая так естественно приобретается в строительном деле, и той немножко лукавой, острой наблюдательностью, по которой узнаешь ярославца. Я делюсь с ним своими впечатлениями. Он внимательно слушает и тонко улыбается.

– И, конечно, немцы среднего класса говорили вам о лояльности рижской буржуазии? – спрашивает он.

– Да.

– По-моему, это вовсе не лояльность, а равнодушие купцов к политике. Вообще же, они – слепое орудие в руках баронов. Прибалтийское баронство – это страшная, могучая, тесно сплоченная семья. Члены ее – повсюду: в банках, в петроградских сферах, в городской думе и в Государственной, а самое важное – во главе всех дворянских и земских учреждениях. Они – настоящие полные правители и хозяева губернии и смотрят на себя, как на то же правительство, связанное с Россией только договором побежденного с победителем.

– Вот замечательное выражение! – продолжал г. В. – Беру его из этой книжки, которую принес с собою, и предлагаю вашему вниманию. Она называется: «Земское хозяйство Прибалтийского края», а цитируемые слова принадлежат официальному исследователю лифляндских земских учреждений г. Яновичу. Правда, Янович писал о восьмидесятых годах, и с тех пор многое переменилось, но и до нашего времени бароны считают себя лишь вассалами русской власти. Насколько сильно их влияние в стране, –видно из следующих слов покойного лифляндского губернатора Зиновьева: «Лан-

драт, это как бы второе правительство, с той же сферой деятельности и, если не de jure, то de facto, с тою же, а иногда и большей властью, нежели та, которая была предоставлена генерал-губернаторам и губернаторам» («Опыт исследования земского устройства Лиф<ляндской> губ.», М. А. Зиновьев, 1906 г., стр. 19).

Что думают и чего хотят дворяне, – мы не знаем. Их ландтаги собираются обыкновенно раз в три года. Тайна этих собраний ревностно охраняется, и закон особо оговаривает, что прокурор на них не присутствует. Участники собраний обязаны хранить полное молчание о всем, происходившем на ландтагах.

Мы, – сторонние наблюдатели в крае, – в состоянии только отмечать факты. Так, мы знаем, например, что граф Цеппелин, женатый па лифляндке, баронессе фон-В., имел в ее приданом существенный ресурс для постройки своих первых воздушных сигар. Знаем, что многие из сыновей родовитых остзейских фамилий получили военное воспитание в Пруссии и теперь состоят офицерами германской армии. Знаем, что некоторые прибалтийские поместья принадлежат, по праву майората, подданным враждебной страны. Знаем и еще много того, что, кажется, вовсе не подлежит оглашению в печати.

Надо сказать, что высшая богатая финансовая буржуазия тянется за баронами. Они стремятся воспитывать своих детей в Германии, а если это почему-либо неудобно, то, во всяком случае, обзаводятся всеми учебными пособиями и книгами германского происхождения. Очень часто разбогатевший рижской негоциант выгодно прекращает свое дело, передав его германскому подданному, а сам навсегда переселяется в Германию и предается отдыху где-нибудь на берегах Рейна, в роскошной вилле.

1914 г.

О ВОЙНЕ

Прежде чем сказать несколько слов о настоящей войне, я считаю необходимым сделать небольшую оговорку. Многие знают, что я – бывший офицер, и потому, читая эту беседу, могут ожидать авторитетного мнения о текущих событиях. Никогда не переставая чувствовать себя военным, я тем не менее вот уже несколько лет как бросил заниматься стратегическими выкладками и построениями и в области военного искусства совершенно отошел в сторону. И потому, беседуя на данную тему, совершенно не буду касаться стратегических манипуляций воюющих армий, каковые, если они и зародились в моем воображении, я все равно не раскрыл бы читателю.

Настоящая война или, вернее, настоящее народное настроение очень сильно напоминают Севастопольскую кампанию. Тот же подъем патриотизма, то же стремление стать в ряды действующей армии, то же спокойствие и такая же трезвая мобилизация.

Только потому, что результаты несколько дневной подготовки прошли у всех на глазах можно поверить в такое волшебное превращение нашего рабочего, мужика, обывателя в солдата, готового к бою. Интересно, что нигде не слышно бравирующего «воинственного» настроения. Все удивительно деловиты, спокойны, с полным сознанием своей обязанности перед родиной, с твердым желанием бороться до конца. Вот в этом спокойном деловитом отношении к предстоящей войне и виден дух, скрепивший в настоящее время нашу армию в единую компактную массу. Наш генеральный штаб в эти тревожные дни был на высоте своей сложной задачи. Несмотря на внезапную, никем не ожидаемую бурю, – ни капли растерянности, ни одного промаха, все как будто сразу подпало под власть железного механизма, пунктуального, таинственного, непреклонного.

Мне уже приходилось слышать недовольство по поводу медлительности и как будто нерешительности наших армий. Удивительно, как люди не могут понять, что большая серьезная стратегическая программа не может базировать свой успех на частичных победах или поражениях и такие скоропалительные победы часто кроме вреда ничего не приносят. Я считаю, что на войне царит один принцип: побеждает тот, кто в нужный момент в наиболее важном пункте сумеет стянуть наибольшее количество войск.

И особенно теперь, когда против германских армий выросли новые враги, России не следует торопиться и гнаться за дешевыми лаврами. Ибо война, несомненно, будет долгая и упорная, и расчет должен падать на дальнее будущее.

Против нас идут полчища диких, некультурных гуннов, которые будут все жечь и уничтожать на своем пути и которых надо уничтожить до конца. Я очень боюсь, что мягкость нашего правительства в вопросах внешней политики и на этот раз сыграет пагубную роль. Россия не сможет быть вполне последовательной и справедливо-строгой, и в тот момент, когда враг будет умолять о пощаде, мы милостиво дадим ее (удовлетворившись каким-нибудь территориальным кусочком), гидра снова будет расти и злобствовать.

В истории России таких примеров было немало и по характерной мягкости нашей нации можно ожидать, что и в ближайшем будущем наше правительство не станет, быть может, на весьма суровую, но правильную точку зрения.

Все зверства и бесчинства, учиняемые над нашими соотечественниками в Германии и Австро-Венгрии, особенно ярко подчеркивают глубокую некультурность германских народов. Эти народы, культивировавшие сотни лет прикладные знания и фабрикующие прекрасных техников и инженеров, только с этой чисто внешней стороны и носят следы культуры – интеллектуальная же их сущность немногим отличается от сущности средневекового варвара. Насколько в русском народе развито чувство огромной терпимости к другим нациям и беспристрастной оценке их достоинств, настолько немцы всех ненавидят, презирают и лишь себя считают непогрешимыми властителями мира.

Особенно прямо-таки неприятна злоба и неприязнь против русских. Что сделала Россия и русские плохого Германии? За что такая ненависть к нам царит на берегах Рейна? Разве за то, что Россия кормила их своим хлебом, за то, что у них сотни тысяч немцев имели самый радушный приют.

Немецкий ученый Момзен в своих статьях вполне определенно указал, что Россия страна рабов, страна с ясно выраженным женским началом. А Германия – страна властелинов с мужским элементом, и что она по праву должна властвовать над Россией и оплодотворять ее своими духовными ценностями.

Эта германская злоба, неприязнь, чрезмерные самолюбие и самовлюбленность есть плоды строго обдуманной германской программы. Запугать окружающие народы, внушить им понятие о силе, могуществе и беспощадности германской нации, показать всем бронированный кулак и после собирать обильную жатву. Но так как теория не всегда сходится с практикой, то и германские государственные умы не учли всех последствий, распространяемых теорий жестокости и беспощадности. Эта теория, попав в массы, превратилась в грубую мясницкую психологию. Эта теория сделала то, что пропасть между прусским офицером и его солдатом стала огромной, и связи подчиненного с начальником в германской армии, кроме кулака, нет решительно никакой. Там офицерство обращается с солдатами, как со скотами, и надеюсь, что уже эта война покажет результаты такого отношения. Я должен отметить, что в нашей армии в настоящее время (в противоположность русско-японской кампании) царит редкое единение.

Такая теория жестокости и запугивания уже вылилась сейчас в невероятные и никому ненужные зверства в Берлине и сделала то, что каждый русский воин будет биться на поле брани с утроенной энергией, зная, что пощады и великодушия от своего врага ждать не придется.

Недавно я слышал, как деревенская баба рассказывала, что придут немцы и будут молодых сажать на кол, а старым отрубать головы. У японцев тоже существует строгая дисциплина, которой они стараются всем подчиненным внушить героизм, мужество, силу, военную доблесть, но в их теории нет совершенно элементов жестокости.

Я не сомневаюсь, что союзные войска победят германские народы.

1914 г.

О ЖЕСТОКОСТИ

В одном месте своей прекрасной книги «Тактика» замечательный военный писатель, покойный генерал Драгомиров, с мудрой осторожностью рассказывает о том, что бывают на войне (изредка) и такие – увы – неизбежные случаи, когда приходится встречать огнем свою же часть, бегущую от огня неприятеля (к счастью в истории русской армии таких случаев мы не знаем). И в заключение он, точно со вздохом, приводит слова одного французского генерала, подавлявшего в Африке восстание арабов: «Страшно становится, когда подумаешь о том, на что можно отважиться на войне».

В этих железных словах есть жестокая логика и неумолимая правда войны, которая состоит в разрушении всех человеческих правил, которая перешагивает через доводы повседневного рассудка, которая отметает, как сор, со своего красного пути все накопленные миром драгоценности: радость жития, доброту, жалость, красоту отношений… Война перетасовывает в несколько дней все наши понятия – белое делает черным, голубое – пурпуровым.

Убийство, воровство, грабеж, поджог, предательство, обман – все эти в мирное время такие опасные, презренные и преступные явления вдруг становятся на войне не только возможными, допустимыми, неизбежными, но порою прямо даже героическими.

Мы, с истерическим содроганием убегавшие, чтобы не видеть, как кухарка режет цыпленка, мы свыкаемся с мыслью о необходимости ужасов проволочных заграждений, волчьих ям, камнеметных фугасов и пулеметов, и разве мы, читая в газетах о десятках тысяч людей, погибающих в один день, в одном большом сражении, не говорим: «Да, все это ужасно, но логично».

Разве, вопреки нашему обычному, мирному разуму, мы не соглашаемся с тем, что можно и нужно, ведя войну, захватывать чужие города и объявлять их своею собственностью, выпускать чужие фальшивые ассигнации, отбирать и, если понадобится, даже

силою, для нужд армии частное имущество, сжигать по стратегическим соображениям деревни и города, обманывать врага ложными устными и газетными известиями, оплачивать предательство?

Разве не настоящими исполинами терпения, самоотверженности, присутствия духа и безграничной любви к родине представляются теперь для нас, так брезгливых всегда к сыску и шпионажу, те офицеры японского генерального штаба, которые из святых патриотических побуждений служили бойками, прачками, носильщиками, чистильщиками сапог, рикшами, – служили в чужой, враждебной стране, терпя унижения, брань, побои, всегда на волосок от позорной, наглой смерти?

А разве не жестоки случаи расстрела трусов и беглецов. Во всякой даже самой дисциплинированной армии найдутся на первых порах люди, которые по душевному складу, по особо нервной организации, наконец, благодаря внезапному безумию, не смогут противостоять ни разумом, ни волей животному, паническому страху. Ведь смелость и храбрость далеко не общее достояние, и труса мы склонны в мирное время свысока пожалеть или пренебрежительно посмеяться над ним. Но важность примера и неумолимые требования военной дисциплины гасят в настоящем военачальнике голос сердца. И судить ли нам человека, осуждающего в течение четверти часа, иногда пяти минут, даже секунд на неизбежную смерть своего ближнего, своего брата.

Наконец, на войне, всегда бесконечно разнообразной и многогранной, могут быть изредка и такие ужасные случаи, когда сравнительно небольшой отряд, непомерно обремененный пленными и в то же время исполняющий назначение громадной важности, может очутиться в таком безвыходном положении, когда перед ним встает неотвратимый вопрос: что предпочесть – обычное ли, живущее в душе, врожденное милосердие, или собственную погибель, и с нею, что еще главнее, погибель принятого на себя дела, имеющего в данную минуту огромное, решающее значение? И военачальник, власть которого безгранична и ответственность безмерна, может быть, с бесконечной болью в душе, – с болью, которой не представит себе никогда мирное воображение, приходит к кровавому, но неизбежному решению.

Это то, что можно даже в самой жестокой войне назвать самой жестокой из жестокостей.

Но то, что сейчас делают германцы и о чем мы говорим ежесекундно, в домах, в ресторанах, в избах, на площадях и на улицах, – это вовсе не жестокость и не повальное, как полагают иные, стихийное, садическое безумие, несущееся в пропасть, мрак, в кровь и в грязь, а нечто более непонятное и более ужасное, чем безумие,

более отвратительное, чем подлость и, несомненно, впоследствии более гибельное для Германии, чем правильная война.

Надо вообразить себе не гнев, а холодную злобу, бешеную и расчетливую, облеченную высокой техникой и великолепной внешней культурой и в тоже время сознательно топчущую в прах и разрушающую до основания все, чем гордится истинный человеческий прогресс, созданный гениями мысли, учителями добра и служителями красоты. Вообразите себе кровожадность, как меру, введенную в строгую систему.

Насилие над женщинами и убийство детей, как кабинетный способ обескровливания дочиста враждебной страны.

Поджоги, разгромы и добивание раненых, как механический рецепт устрашения.

Глумление над ни в чем неповинными людьми, толчки, плевки, кулаки, приклады и мерзости, каких не предвидел ни один знаток сексуальной психиатрии, как закон морального воздействия, закон, предписанный свыше людьми безграничной власти, высокого образования и редкой религиозности!

Нет, видимо, сам Бог отступился от страны, покарав ее этим неизлечимым, злобным, хитрым и холодным сумасшествием.

И следует помнить нам всем точно и твердо, что никогда еще проявление безмерной и безумной жестокости не действовало устрашающим образом на воинов, идущих сознательно и спокойно в защиту своей родины, идущих не с тем, чтобы умереть или победить, а с тем, чтобы победить. Не надо вовсе быть пророком, чтобы предвидеть, что змея кончит тем, что начнет пожирать самое себя, истекая бешеной слюной и кровью.

Надо помнить еще, что Германия с ее вежливыми саксонцами и добродушными мюнхенцами состоит не из одной только Пруссии, которой и в Германии не терпят.

И, конечно, наступит время, когда России придется быть беспощадно жестокой, но жестокой не в избиении стариков, женщин и младенцев, а в неумолимости своих требований ради того, чтобы на несколько сот лет, если не навсегда обеспечить земле мир, одной из хранительниц которого будет возвеличенная Россия.

А перед скорбью тех отцов, жен, невест и сестер, чьи сыновья, братья и возлюбленные пали первыми святыми жертвами необузданной германской жажды крови, мы тихо, благоговейно склоним обнаженные головы. Их скорбь – наша скорбь. И если Богу угодно будет дать нам победу – победа будет отмщением за мученические тени.

1915 г.

СОЮЗНИКИ

Если бы кто-нибудь следовал заветам практической мудрости, – как умна и ладна была бы жизнь! Но – увы – все соглашаются с их шаблонною справедливостью, верят им в теории, но поступают наперекор. И чаще всего сами советчики.

Так и я давно и часто повторял вовсе не новое изречение: «Не возвращайся никогда, после многолетнего промежутка, в те места, где прошла твоя ранняя молодость с ее мятежностью, ошибками, увлечениями, нуждой, падением, надеждами и мечтами, со всем, что было так волшебно скрашено собственной неутолимой жаждой впечатлений и упругой кошачьей живучестью». И сам же я на днях испытал в Киеве всю тяжесть и всю ноющую печаль такого возвращения.

Вот местный фельетонист. Я долго не могу признать его, хотя мы вместе с ним начинали есть горький литературный хлеб – он от злободневных стишков, я – от судебного и думского репортажа. Тогда это был высокий, черноглазый, меланхолический, матоволицый брюнет, у которого курчавые волосы на голове торчали врозь крутыми штопорами. Теперь он – маленький толстяк, окончательно плешивый, седобородый и в очках. Или эта дама в красном тяжелом капоте, мать четверых детей – в том числе одного боевого прапорщика, – ожидающая пятого, оплывшая, эгоистичная в своем святом материнстве – неужели она была когда-то тонкой, изящной, грациозной, нежной принцессой Грезой, в которую безнадежно и поголовно было влюблено все наше поколение? И узнаешь ли в важном, суровом прокуроре, каменно глядящем тебе в переносицу невидящим взором, прежнего беззаботного студента, милого Ваську Арапа, исполнявшего так неподражаемо танец людоедов с острова Фиджи вокруг жареного миссионера?

А еще тяжелее смотреть на посыльного Овчинникова и на письмоводителя мирового судьи Пожидаева, которые и в наши времена казались патриархами. Но они ничуть не изменились, даже не поседели. Они точно мумифицировались временем… И с гнетущей тоской чувствуешь себя их сверстником… А об остальных… о ком не спросишь… слышишь в ответ мрачное слово: умер… умер… умер… И кажется, точно внемлешь густым, медленным ударам колокола, гудящего на твоих похоронах. И да будет прощен этот грустный лирический подступ – невольная дань моим недавним киевским переживаниям.

В прошлом месяце я был вызван в Киев, в местный отдел всероссийского земского союза, которому хотел послужить по мере сил и разумения. Жаль, что послужить мне все-таки не пришлось

по многим причинам, из которых чуть ли не самая главная – полная моя неспособность к регулярной, постоянной, усидчивой, кабинетной работе. Просто: я сразу понял, что на моем месте будет во много раз удобнее и выгоднее для дела рядовой, усердный работник, чем я, более двадцати лет привыкший жить в фантастической области вымысла, жить без всякой отчетности, без всякого контроля. Кроме отеческого попечения бдительной полиции.

И на фронт мне не пришлось съездить. То не случалось оказии, то не было свободного автомобиля. А в конце концов, я и сам решил, что ездить туда из праздного любопытства, с комфортом и полной безопасностью… ну, как-то неловко что ли, как неловко наблюдать для темы страдания, смерть или роды… И, все равно, ведь из мимолетных картин, из беглых расспросов, из отрывочных рассказов никак не уловить даже тени того великого, страшного и простого, что свершается там, впереди. Я уверен даже, что самый искусный, точный рассказчик, самый даровитый художник слова никогда не сумеет этого передать.

Но благодаря любезному вниманию и радушному гостеприимству гг. уполномоченных и их помощников, мне удалось многое ясно увидеть и, так сказать, ощупать и обнюхать в самом Киеве. Несколько дней подряд я посещал так быстро возникшие и все вновь возникающие учреждения союза: фабрики, заводы, гаражи, мастерские, швальни и т.д. И если сообразить себе, что киевский отдел лишь малая ячейка в общем улье, то невольно представишь, какой живой, плодотворной, бьющей могучим пульсом силой является весь всероссийский земский союз.

Наряду с внешними политическими союзниками он, поистине, в этой всемирной несказанно великой войне – наш внутренний союзник – неутомимый, деятельный, кипучий, претворяющий без промедления и без личных разговоров, без нудной бумажной волокиты живое слово в живое дело.

Вот, например, завод выработки дубильных веществ, секвестрированный для нужд военного времени у частного общества. Построен он где-то на окраинной местности города, на самом конце Приорки или, может быть, Демиевки. Вдали завод этот не был единственным в России, получавшей до сих пор свои кожи в отделанном виде из заграницы, или дубившей их первобытным способом в чанах с прокисшей <неразб.> и дубовой коркой. Заводская выработка – чрезвычайно сложная и длительная процедура, но надо видеть, как быстро и ловко освоились с ней русские рабочие и техники. И не только освоились, но понизили стоимость драгоценной жидкости с двенадцати до шести рублей за пуд.

Излазал я этот завод снизу до верху, от подвалов до чердачных вышек, по каким-то трясучим винтовым лестницам, по воздушным мостам под настилами, где приходилось пробираться на четвереньках, то обливаясь потом от сухой невыносимой жары, от пронзительного воздушного тока в сушилках, среди удушающих запахов ужасной кислятины и противных серных паров. Водили меня заведующий заводом г. Д. и уполномоченный союза г. Е.: первый – расчетливый в движениях и жестах, скупой на слова, спокойный, уверенный и точный человек, коренной русак, которого я сначала по наружности и манерам принял за англичанина (обличье не новое среди теперешних русских инженеров и техников, учившихся в Англии); второй – весь порыв, внутреннее кипение, устремленность вперед, маленький, смуглый, с образной речью, с живыми и резкими интонациями, решительный и бодрый, из тех двужильных людей, что любят работать и способны работать, не уставая и не спя по нескольку суток подряд.

Я с чувством глубокого уважения вижу, что и до сих пор, после многих месяцев ежедневной работы им обоим еще близка и дорога, точно родственница, каждая строчка, каждая мелочь в громадной жизни завода.

Уполномоченные союза с чувством легкой гордости показывают мне, как огромный, толстый, стальной, острозубый вал в своем непрестанном вращении медленно забирает под себя несуразную столетнюю дубовую корягу; мнет, плющит, дробит ее мощной челюстью, разрывает на куски, на стружки и, наконец, разжевывает в мелкие крошки. Дрожит машина, дрожат круглые перильца, дрожит пол под нашими ногами, дрожит длинный дрючок в руках подавальщика… Мы орем что-то друг другу в самое ухо и ничего не слышим, и только видим напряженные лица, движущиеся рты и шевелящиеся губы…

Измельченное дубье поднимается в полуовальных ковшах, прикрепленных к бесконечному ремню, наверх, в следующий этаж и поступает там в большие, гораздо выше человеческого роста, цилиндрические котлы, где оно парится, преет и потеет в безвоздушном пространстве, нагреваемом системой змеевиков. Можно подняться по лесенке и заглянуть внутрь, в котел, через круглое, толстое стекло. Видно, как там, в густых парах, шевелится, ходит, вздымается, пузырится, лопается живая кашеобразная масса, мутно освещенная электрической лампочкой. Вытянутые из нее, в виде пара, сока, идут в другой котел, из него в следующий и т.д., пока из последнего не вытекает в новые, белые, нарядные, осиновые бочки густая едкая жидкость. А отработанная, выпаренная, высосанная дубовая труха идет по элеватору наверх, в сушильное отделение,

где подвергается сушке, и опять опускается вниз, в топки паровой машины, обслуживающей весь завод.

Великолепная машина – в 50.000 лошадиных сил – сердце и душа завода. Она царственно занимает целую, самую большую, дворцовую, двухсветную залу. Пол вымощен мозаикой из белых и черных квадратиков. Громадные окна дают очень много света. Бесшумно вращается двухсаженное колесо, бесшумно ходят могучие поршни, сжимают и разжимают свои стальные мускулы блестящие рычаги, кружатся то быстро, то медленно золотники. Сухой воздух ритмически вздрагивает. И какой-то маленький человечек в черной блузе, с черным лицом и черными руками тычет то туда, то сюда длинный носик маслянки и чуть трогает какие-то винтики. Он – мошка в сравнении с этим железным чудовищем и в то же время – его безграничный властелин… И привычное, почтительное восхищение овладевает мною…

Потом мне показали механическую фабрикацию бочек и их укупорку, показали отделение, где кипятится пронизываемая молниями синих огней, издающая удушливый запах сера, идущая на приготовление сульфита, и, наконец, повели в лабораторию. Там случилась какая-то неприятность. Дубильная жидкость, цвета желтого пива, не светлела от прибавки в пробирку сульфита, как ей подобало бы, а, наоборот, становилась постепенно темной, как деготь. Молодая лаборантка, щуря узенькие темные глазки, показывала пробирку на свет и шептала что-то с таинственным, встревоженным видом. Управляющий хмурился и неодобрительно покачивал головой. А пылкий уполномоченный сразу вскипел:

– Я давно говорил о том, что не надо было оставлять на службе прежнего инженера. Он нарочно дискредитирует дело, чтобы потом все свалить на нас, в интересах своих патронов. Сегодня же буду настаивать на его удалении!

И с неподдельной горечью всплеснув руками, он горячо говорит: «Подумать только! Владельцы завода просят за завод только миллион: в руках у казны останется чудесное, богатейшее, совсем новое предприятие. И на полном ходу. Но нет денег, нет денег! Что поделаешь?»

Мы выходим на заводской двор. Звонят к обеду. Рабочие идут на кухню и возвращаются из нее. Иные рассаживаются по двое, по трое в опустевших мастерских. Густые щи с крошеным мясом и малороссийским салом, жирная гречневая каша со шкварками, отличный черный хлеб. Среди рабочих много военнопленных, каких-то штирийцев, каринтийцев, словаков и далматов. Все они рослые, худые, со спутанными черными бородами, с хмурым взглядом ис-

подлобья. Проходя мимо нас, слегка притрагиваются рукой к своему форменному колпаку и мрачно буркают: «Добрый день».

– Как они работают? – спрашиваю я.

– Ничего себе, – неопределенно отвечает управляющий. – Вяло, конечно, неохотно… Симулируют болезни, а сами жрут за обе щеки… Зато наши солдаты, – и лицо его засияло оживлением, – прекрасный народ. Схватывают все с непостижимой быстротой, за дело берутся весело, живо… всегда в духе, неутомимы, находчивы, изобретательны. С ротой русских солдат можно выстроить дом, построить яхту, сделать мост, скопировать аэроплан. И как приятно с ними работать!

Мы очень долго дожидаемся нашего автомобиля. В нем случилось что-то со штучкой, называемой магнето, и шофер чрезвычайно долго возится около машины, то согнувшись над ней в три погибели, то ползая под колесами.

– Замечательно искусный шофер, – говорит г. Е. – Но только одно в нем… я уж не знаю, как назвать, достоинство или недостаток? Ни один самый страстный жених не был так влюблен в невесту, как он влюблен в свою машину. Целыми днями все что-то прибирает, устанавливает, разбирает, чистит и отвинчивает. Ну? Готово… что ли?

– Еще минуточку, вашескродие… Сейчас.

Г. Е. мог бы смело прибавить к своим словам то, что все служащие земскому союзу от великих до малых чинов также радостно влюблены в свое дело и этой влюбленностью поддерживают и одушевляют друг друга.

В последующие дни мне любезно показывали мыльный завод, автомобильный гараж с починочными мастерскими, конный двор, обозы, хлебопекарни, заготовку перевязочного материала, швальные мастерские, где склонившись над сотнями швейных машин, с утра до вечера строчат несколько сот мужчин и женщин солдатскую одежду и белье. И дороже всего мне было видеть и слышать, что всероссийский земский союз нигде не останавливается, достигнув известной ступени, а идет по пути непрерывного творчества все дальше и выше. В этом глубокий залог его жизнеспособности.

Мыльный завод трудолюбивые союзники построили сами. Автомобильный отдел начался у них ровно с одной машины, а теперь в гараже стоит сотня стальных самобегов, курьерских, пассажирских и грузовых: Фордов, Бенцев, Мерседес, Оппелей и не знаю еще каких, не считая множества проворных, трескучих мотоциклеток. Вчера из окна здания союза я видел шесть двуколок и пару повозок, на завтра ими заставлена вся широкая площадь, а для прислуги, в

течение восьми часов, сооружен прочный, переносный барак с окнами, трубами и полом.

Почти на моих глазах создается издательский отдел, ведущий хронику действий союза и выпускающий в тысяче экземпляров свои бюллетени. Возник информационный отдел, возникает фотографический. И все эти новые приобретения идут не из дома, а в дом. После войны союз оставит казне и обществу богатое и разнообразное наследство.

И вот блестящее доказательство того, как оценивается труд союза. Первые его бюллетени были выпущены в сравнительно небольшом количестве и разосланы, по настоянию военной цензуры, лишь лицам, занимающим в армии административное положение. Но постепенно на эти ежемесячные брошюры поднялся сильный спрос: о них справляются, их требуют не только генералы, но и начальники отдельных частей до ротных командиров для сведений, соображений, заказов и пр. И тираж брошюр растет, удовлетворяя (да это и понятно) лишь лиц, имеющих непосредственное сношение с войском. Надобна ли союзу лучшая рекомендация в глазах общества, чем доверие армии?

Интересно заглянуть и в центральный орган союза, в его управление на Столыпинской улице, которое занимает бывшее здание женских медицинских курсов. Это – целое министерство, но министерство без надменных, раздражительных и невежливых бюрократов, без ненужных и бесцельных скитаний из отделения в отделение, куда тебя брезгливо спихивают ленивые руки, без томительных и унизительных часов ожидания в передних и приемных, без грубых взяточников, мордатых ливрейных швейцаров, без зловещих «завтра, через неделю, через месяц». Всякое дело, большое и малое, совершается в союзе быстро, гладко, точно – совсем на военную ногу. А последние ревизии показали, что и в живом кипучем деле возможна аптекарская аккуратность.

И всегда в этом здании труба непротолченная народа. Поднимаются и спускаются по широким лестницам две непрерывные вереницы: военные, студенты, доктора, старухи, барышни, посыльные, курьеры…

Широкие круги общества и армии захватила эта мощная организация, и следы ее находились в Киеве на каждом шагу.

И так и надо. Ведь кончится же когда-нибудь эта страшная война, размеров и ужасов которой не могло предвидеть самое жаркое человеческое воображение. Но даже в случае победы (а мы хотим, можем, должны победить, а, стало быть, и победим) все-таки Россия, вынесшая разрушительное бремя войны, долгое время будет

походить на муравейник, по которому прошли тяжелые колеса телеги. Тогда потребуется многолетнее, всеобщее, упорное и напряженное строительство. Понадобится твердая вера в собственные силы, чтобы не пасть духом и не опустить рук. И тогда-то общественные организации, подобные всероссийскому земскому союзу, придут на настоящую помощь разоренной, истощенной и окровавленной родине. Нельзя не верить стране! Или мы только платонически, точно из театрального зала, точно «понарочну» умилялись над терпеливейшим, умным, безгранично стойким, самоотверженным русским солдатом, восхищались рабочими, писавшими на стенках воинских вагонов: «не жалейте снарядов», – поражались отзывчивости и чуткости лучшей части русского общества к нуждам войны, радовались Пуришкевичу, выявившему на войне свое истинное сердце русского человека из прежней фигуры «истинно-русского» буффона?

Учреждения вроде всероссийского земского союза громко говорят о нашей способности к самостоятельности.

И как сладко, думая об этом, мечтать о временах, когда грамотная, свободная, трезвая и по-человечески сытая Россия покроется сетью железных дорог, когда выйдут из недр земных неисчислимые природные богатства, когда наполнятся до краев Волга и Днепр, обводнятся сухие равнины, облесятся песчаные пустыри, утучнится тощая почва, когда великая страна займет со спокойным достоинством то настоящее место на земном шаре, которое ей по силе и по духу подобает.

Ей, Господи, верю.

1916 г.

ПУБЛИЦИСТИКА 1917 г.

В НАШИ ДНИ: ПАХНЕТ ГАРЬЮ

Статья

Разруха – вот навязчивое словцо, на которое теперь натыкаешься повсюду: в газетах, манифестах и приказах, в вагонных разговорах и в семейной болтовне.

Страшное слово. Оно знаменует собою разрушение, страх, полный развал, пыль, мусор, обломки, щебень, а в итоге – загрязнённое, пустое, дикое место, не поддающееся ни лопате, ни сохе.

Но не будем отчаиваться. Может быть, все то, чему мы были в наши дни смятенные свидетели, вовсе не означает края гибели? Мо-

жет быть, это только обычная русская неразбериха, внезапно принявшая особенно большие, уродливые и жестокие размеры? Ведь, протекли же первые, красные – не от крови, а от общей радости – дни великой революции в стройном порядке, в спокойствии, единодушии и самообладании, восхитившими весь цивилизованный мир?

Нет, не осуждена на бесславное разрушение страна, которая вынесла на своих плечах более того, что отмерено нам судьбою: татарское иго, московскую византийщину, пугачевщину, крепостное бесправие, ужасы аракчеевщины и николаевщины, тягости непрестанных и безуспешных войн, начатых по почину политических шулеров или по капризу славолюбивых деспотов – вынесла это непосильное бремя и все-таки под налетом рабства сохранила живучесть, упорство и доброту души. Угнетаемый народ никогда не уставал протестовать. Лучшие, наиболее сильные люди, из темной массы снизу, шли в подвижники, шли в разбойничьи шайки. Гонимые старообрядцы сплотились в могучее сильное, несокрушимое ядро. Два перста протопопа Аввакума, поднятые вверх из пламени костра – вот он – бунт русского духа. В Сибирь ссылало правительство и гнали помещики все страстное и живое из народа, не мирящееся с колодками закона и с безумным произволом власти – и вот вам теперешние сибиряки, сыновья и внуки ссыльнопоселенцев – этот суровый, кряжистый, сильный, смелый, свободолюбивый народ, владеющий сказочно богатым краем.

А разве спрессованная бессмысленным грузом самодержавия, не протестовала русская интеллигенция? Не та интеллигенция, какою ее себе представлял скверной памяти бывший околоточный надзиратель, который отечески распекал нашумевшего обывателя: «А еще интеллигентный человек, в крахмале и при цепочке и брюках навыпуск!», – а истинные печальники и великомученики страны, ее совесть, мозг и нервы. Вспомните декабристов, петрашевцев, народовольцев, переберите в уме весь кровавый синодик наших современников, борцов, сознательно погибших на наших глазах за святое и сладкое слово – свобода. Посмотрите: весь цвет и свет России, целые ряды ее молодых поколений, ее лучшие умы и чистейшие души прошли сквозь тяжкое горе каторги, ссылки, жандармских завистников, одиночек – прошли и вышли оттуда, сохранив твердую веру в человечество и горячую любовь к человечеству. Вспомните и нашу многострадальную литературу, этот термометр угнетенного общественного самосознания. Она задыхалась, принужденная к молчанию, надолго совсем замолкала, временами жалко мелела, но никогда и никто не мог поставить ее на колени и приказать говорить холопским языком.

Нет, мне хочется верить, и я верю, что не разруху мы переживаем, а вечную нашу неразбериху. Неразбериха, это – галдеж на сельских сходах, нескончаемость, нелепость и грубость русских споров, острота и жестокость семейных ссор, взаимное недоверие, общее разгильдяйство и распущенность, презрение к чужим мнениям, быстрый переход от злобы к унижению, и от дерзости к унынию, склонность к панике, стадное поддакивание крикуну – «галману», свирепая ненависть к отдельному смелому, хотя бы даже правдивому голосу.

С особенной силой выявляются эти особенности русской неразберихи во время общественных бедствий: холерных и голодных бунтов, аграрных беспорядков, наводнений, народных катастроф и всего чаще и жарче на пожарах. Всякий, кому приходилось наблюдать большой пожар в деревне или захолустном городишке, может воскресить в памяти виденную картину. Гам, бестолочь, несуразность, растерянность, беспомощность, бессмысленная ругань, истерические причитания баб, безнадежный молитвенный лепет старушек. Все учат друг друга, но никто не тушит пожар, а если и работают, то только мешаются один другому, свирепо и глупо бьют стекла, ожесточенно валят заборы, тянут бревно в разные стороны, плескают в огонь кислое молоко или скорбно разводят руками: «Божье попущение, все равно всем погибать». И уже чей-то тайный голос сеет кровавую смуту: «А где Никешка? Не иначе, как его рук дело». А огонь полыхает, переходя от лачуги к лачуге.

Подумайте же, вообразите себе, как страшен пожар, стихийно охвативший всю громадную многомиллионную страну! Что может быть страшнее разнуздавшейся анархии и общественной паники, когда, как дикие звери из клеток, вырываются на волю все гнусные и низменные инстинкты человечества: страсть к разрушению, жажда охмеления кровью, чувство безнаказанного мщения, насилия и грабежа.

Такого пожара еще нет и, даст Бог, не будет. Горе и позор тому трусливому уроду, злому подлецу, коварному предателю или хищнику с затаенным алканием крови и огня, который первый закричит «пожар»! Пожара нет, но надо сознаться, что в воздухе пахнет гарью.

Надо бы всем нам вспомнить один случай, необычайного величия и красоты. В Лондонском театре, битком набитом публикой, что-то затлелось за кулисами. Почувствовался запах дыма. Зрителями овладело легкое беспокойство, шепчутся, переглядываются, тревога растет с секунды на секунду, многие уже повставали со своих мест, еще мгновение – и культурные, уравновешенные люди превратятся в стадо овец и помчатся к дверям, крича, падая, топча

слабых, избивая женщин. Но вот в партере спокойно встаёт на стул джентльмен и, высясь над толпою, начинает громким голосом петь великолепный, гордый, народный гимн: «Rule Britain». И когда он доходит до прекрасных слов: «никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом», то мотив подхватывает вся публика партера, лож и галереи, железный занавес опускается, не вызывая никакого волнения, и зрители в образцовом прядке, как на параде, как на торжественной процессии, покидают театр, не переставая петь гимн.

Мы не Англия. Но мы уже и не рабы. Мы еще не выработали в себе чувств национальной гордости и мужественного гражданского достоинства. Но мы уже можем насчитать десятки, пожалуй, сотни людей воли, энергии и пламенной любви к родине, чьи слова много весят, а имена внушают полное доверие. В них наша надежда и к ним страстная мольба: спасите Россию, остановите ее, не дайте ей, как стаду гадаринских свиней, ринуться в бездну.

Пожара еще нет, но гарью пахнет из армии. Вот где самая главная, может быть, даже единственная опасность. Страшно не братание: кто же поверит братским словам этих германских братальщиков, чудесно владеющих русским языком? Не так уж страшны и массовые побеги: пять храбрых, честных и верных солдат стоят больше пяти тысячи беглой сволочи, которую влекут с фронта трусость и жадность, под предводительством полной безнаказанности. Бесконечно страшнее упадок дисциплины и унизительное положение, в которые поставлен офицерский командный состав

Военный министр объявил наступление. В добрый час! Мы слышали слова генерала Алексеева, Брусилова и Драгомирова, а также сердечные и умные речи делегатов от флота и армии и верим, что, как ни тяжела и ни опасна болезнь, охватившая войско, – надежда на успех еще не потеряна.

Но тыл должен помочь фронту. Авторы и вдохновители пресловутого Приказа №1! Несомненно, вы давно уже осознали вашу политически ошибку и почувствовали весь громадный вред. Сознайтесь же в ней громко, как подобает честным, сильным и смелым мужчинам. Ваше слово дойдет до сердца. Вам верят.

Штатские люди, тихие миролюбцы! Не связывайте солдата дружественными объятиями сзади. Так вы верно подставляете его под удар.

Граждане, не путайтесь в распоряжения военачальников! Кто-то, говорят, сделал замечание генералу Алексееву: «Генерал, ваше дело воевать, а не произносить речи». На эту реплику есть одно возражение: хорошо, но если ваше дело говорить речи, то не надо командовать боем.

Если вернется армия победоносной и крепко спаянной – она будет громадной и послушной силой в руках мудрых строителей нового здания русской республики против анархии и распада. Пусть она даже будет оттеснена (во что я все-таки не верю), но у нее останется сознание выполненного долга. Но армия, растаявшая без боя, армия, предавшая и родину и союзников – это вечный срам и позор, несмываемое Каиново клеймо, готовая шайка мародеров. Ей не остановить пожара анархии. Она только раздует огонь, который, пожалуй, придется потушить не пораженцам и не оборонцам…

Или противники войны, проповедники братания боятся возврата к прежнему? Или им чудится призрак диктатора на белом коне? Нет, это праздные страхи. Дело в том, что нам тысячу лет подряд снился тяжелый, кошмарный сон, от которого мы, наконец, проснулись, с тревожным биением сердца, еще не веря, что проснулись, не веря тому, что светлый день за окнами.

Но разве мы не видели в февральские дни и 23 марта ясного неба над нами и сияющего солнца?

1917 г.

В НАШИ ДНИ:
ГЕНЕРАЛ ПФУЛЬ

Странное явление происходит на наших глазах. Вчера еще мало кому известный человек, писатель, знакомый лишь узким партийным кругам и весьма ограниченному числу читателей – вдруг, в каких-нибудь три-четыре дня становится центром внимания всей грамотной и полуграмотной России, вырастает в громадную, чуть ли не в историческую величину, и заботливая торопливая молва уже плетет вокруг его имени вязь слухов, сплетен и небылиц.

Ленин, ленинизм, ленинцы, ленинята… Запломбированный вагон… Секретное поручение Вильгельма… Предательство… Продажа России… Провокация… Миллион, два миллиона…

Особенно здесь характерен для обывательского воображения миллион: «Як бы я был царем, то всё ел бы сало, а потом украл бы мильонт и утек».

Но в том то и беда, что все эти устные басни – праздная выдумка пугливых, смятенных умов. Газета «Правда» весьма спокойно и здраво раскрыла загадочную причину свободного и даже предупредительного пропуска через Германию Ленина с присными его.

Причина проста и логична. Вильгельм, который однажды, когда демократы уперлись против нового военного кредита, сказал,

указывая на рейхстаг: «Я прикажу моим гренадерам разогнать этот курятник» (Октав Мирбо). Вильгельм, глубоко верящий в божественное начало своей власти и в сильное обожание народа, этот Вильгельм по внутреннему складу – умный и хозяйственный немец. «Зачем – рассудил он, – буду я держать у себя под боком, во время суматохи в доме, подозрительную бомбу? Отошлю-ка ее враждебному соседу. Он дурак еще рад будет».

Совсем не страшен Ленин обывательского воображения. Но опасен кабинетный теоретик, Ленин – шахматист, Ленин – генерал Пфуль. Вспомните в романе «Война и мир» военный совет по поводу Дрисской позиции. Припомните и генерала Пфуля, написанного Толстым так кратко и поразительно ярко, как он умел обрисовывать второстепенные мимоходные лица: неуклюже сшитый мешковатый русский мундир, кисточки волос на затылке, костлявый палец, стучащий по карте, и самоуверенный немецкий бас: «Одна колонна марширует налево, другая марширует направо». Этот Пфуль был замечателен тем, что под его командованием войска терпели неизбежные поражения, но виною тому был вовсе не бумажный гений безупречного Пфуля, а то, что Пфуля не поняли или Пфуля не послушались – и вот, все полетело к черту. Вместе с жалким и смешным впечатлением, которое он производил на князя Андрея, он все-таки внушал ему и уважение фантастической верой в теорию, безграничной преданностью идее.

Вот также и Ленин. Он сидит в тиши кабинета и передвигает шахматы на доске. Что из того, что ход конем стоит сотни, а в будущем и тысячи человеческих жизней? Этого требует великолепно обдуманный план игры. Правая колона марширует! Неужели его оставят мысли о том, что Россия и без его шахмат истекает кровью? По его теории, человечество выше родины, а идея выше человечества. Максимум его утопических стремлений – социал-демократическое равенство вселенной со всеми обитаемыми мирами. Остальное – к черту.

И, пока учение Ленина не выходило из пределов математических выкладок – все было прекрасно, и сам Ленин начинал заслуживать уважение. Но генералу Пфулю место в военной академии, а не на поле битвы. Ведь он не первый из русских генералов Пфулей. Шигалев в «Бесах» страстно уверял, что достаточно в России отрубить только пятьдесят тысяч голов и наступит идиллическая эпоха. И делал при этом рукой такой короткий жест, как будто бы рубит голову. Бог избавил нас от практической шигалевщины. Когда-то Маркс, пророчески, отгораживаясь от крайностей грядущих своих последователей, сказал:

– Извините, я не марксист.

Не пора ли и Ленину сказать в свою очередь:

– Я не ленинец.

Потому что за его учением, озаренным сухим и жестким пламенем теоретической нетерпимости, бежит самая желторотая, святая молодежь, всегда падкая на эксцентричность. Но правда и то, что под его честным знаменем толпятся и пронырливые ловители момента.

Кстати. Кончая эту статью, я позволю себе остановить внимание просвещенных читателей на следующих, заранее обдуманных позициях, выбранных генералами Пфулями.

1) Конец войне во что бы то ни стало.

2) Братание.

3) Оборонительная война.

4) Оборонительная с криком: «Наступаем!»

5) Приготовление к войне наступательной. Наступление. Победа. Реверансы.

6) Возвращаемся условно на старые позиции.

7) Кушайте нас. Мы нагишом.

1917 г.

ПЕСТРАЯ КНИГА (ФЕЛЬЕТОНЫ)

Пестрая книга I

Полковник Якубович упомянул, как о решенном проекте, о намерении правительства обратить монахов в военные санитары, а послушников отослать на фронт. А надо вспомнить, что – за вычетом одного на сто тысяч – среди всех русских тунеядцев самый развращенный, ленивый, лживый и наглый бродяга – именно монастырский послушник. Хорошенькая же компания засядет в передовых окопах для пассивной обороны отечества. Жандарм, городовой, охранник, провокатор, дезертир и «злой чернец», полурасстрига. Для полноты фигур в этой талии не хватает только бывшего палача.

Как лестно это будет старым, закаленным в огне солдатам, которые переживают уже пятую или шестую – полную смену, целого состава своего доблестного полка!

А ведь в начале войны (Господи, точно сто лет прошло с того времени!) как были возмущены общество и армия, когда пылкий Ренненкампф, выпоров какого-то бунтаря, велел отослать его на первые позиции.

Впрочем мало что переменилось и перевернулось в течение войны! В тяжелые дни Сольдау, Бзуры и отступления с голыми руками от Перемышля мы вопили в отчаянии: «Что же делают союзники? Предают они нас или норовят слопать каштаны, вытащенные нашими руками»? Воображаю, что теперь говорят союзники о нас.

* * *

Монастырские имущества с первых же дней революции привлекли к себе общее внимание. Что касается недвижимости, т.е. пахотных земель, лесов, лугов, рыбных заводов и пр. – то этот вопрос несомненно подлежит справедливому решению будущего Учредительного Собрания. Но есть у многих монастырей и другие богатства, о которых, пожалуй, можно и должно поговорить теперь же.

После отлучения Толстого от церкви жена его написала митрополиту Антонию (Вадковскому) чисто женское письмо: пламенное, несправедливое и нелогичное. Вероятно это письмо явилось неприятным сюрпризом для самого Толстого а, может быть, он, по своему обычаю, просто не противился злу в форме…бестактности.

В своем послании Софья Андреевна упрекала высшее духовенство за то, что на деньги народные оно ездит шестериком, облачается в шелк и парчу, носит золотые митры и панагии и наперсные кресты, осыпанные драгоценными камнями. Печатный ответ митрополита Антония был краток, полон достоинства и, по своему, трогателен. Не помня его наизусть, передаю по памяти.

«Преподобный Сергий Радонежский и многие святые отцы и учители, в простом смирении и бедности своей, сами пилили дрова и пекли хлебы, облачались в небеленые, холщевые ризы и приобщались Св. Таин из деревянных потиров. Правда, теперь мы, ради возвеличения веры совершаем богослужения с видимым внешним торжеством и благолепием, оставаясь в душе смиренными пастырями стада своего. Но, когда настанет година бедствий, мы охотно последуем великим примерам приснопамятных учителей церкви и молитвенников земли русской».

Отцы и владыки! Година бедствий пришла. Отечество страшно нуждается и, ставя заплату на заплате, судорожно изворачивается из последних сил. А ведь у вас еще таятся под спудом колоссальные богатства.

Пусть останутся фиолетовые мантии и златотканые ризы, и сверкающие бриллиантами митры, и фелони, и панагии, и саккосы, и посохи, и все великолепие церковных служб под малиновый звон серебро-медных колоколов. Но пора бы и потрясти мошною, святые отцы.

* * *

Лет двадцать тому назад мне пришлось написать для маленькой провинциальной газеты статейку о приблизительных богатствах Киево-Печерской Лавры. Статья, конечно, оказалась неприемлемой для цензуры и теперь, наверное, в редакционном архиве. Но цифры в ней приводились весьма солидные, хотя и были для большей достоверности, преуменьшены.

Киевская Лавра имела в то время около двенадцати миллионов годового дохода от хозяйственных оборотов, от аренды земель, лугов и рыбных ловель, а главное – процентами с неприкосновенного капитала. Ведение монахами финансового дела не было подвержено никакому светскому контролю, но как смело и широко они помещали свои деньги, явствует уже из того, что лаврская казна, хотя немного, но все-таки пострадала во время краха Панамского предприятия, в котором участвовала держателем акций.

Но и счет в 12 милл<ионов> далеко не точен. В него не вошли случайные жертвования, отказы по завещаниям, платы за молебны, сорокоусты, неугасимые лампады, вечные поминовения и прочее. Один лишь кружечный сбор, делимый между братией пропорционально высоте ангельских чинов, выслуге лет и влиянию, давал священноархимандриту лавры (тогда митр<ополиту> Иоанникию) 80000 рублей в год, а самому последнему служке-хлебопеку – 15 р. в месяц.

* * *

Это одна Киевская лавра. А Троице-Сергиевская под Москвой? А Александро-Невская? Боголюбовский Валаам? Соловки? Иверская? Можно сказать, не впадая в грубую ошибку, что, немного понатужась, монастырские казнохранилища, без особого ущерба для себя, смогли бы в три дня покрыть половину любого из прежних военных займов.

Не пора ли вам, отцы и в самом деле открыть, наконец, заветные сундуки и укладки? Широкой поддержкой займа свободы вы приблизите конец войны. А страна не забудет вашего прекрасного жеста и, когда будет надо, вспомнит о нем.

1917 г.

Пестрая книга II

Кому не знаком этот трагический образ русского гимназиста, оставшегося на второй год в шестом классе? Мрачный вид, склоненная вихрастая голова, хмурые бровки, взгляд исподлобья, суту-

лые плечи, руки глубоко запущены в карманы, походка стремительна, речь отрывиста. Единицы по всем предметам.

Когда гимназистки с боязливым замиранием сердца спрашивают его:

– Какой вы партии, товарищ?

Он отвечает хриплым басом, сквозь который продергивается петушиная фистула:

– Партии А-А.

Милые девичьи глазки расширяются и блестят от любопытства и страха.

– Это… собственно… что же такое?..

– Отчаянный анархист.

– Боже, какой ужас!

Гимназист презрительно фыркает.

– Ничего подобного. Очень просто. Никакой власти. Полное безвластие. Абсолютная свобода личности. Делай, что хочешь. Чем хуже, тем лучше. Наша задача – разрушить мир до основания. На его обломках – новая жизнь. Свободная и счастливая.

Черное знамя. Кинжал и бомба. Долой все!

И, повернувшись к девочкам спиною, «отчаянный анархист» гордо удаляется. Ему некогда. Гигантские мысли кипят в его голове, как в мировом котле под давлением 80-ти атмосфер.

* * *

Он смешон немного, этот А-А, своей наивной безграмотностью. Его героический маскарад так понятен в полудетском возрасте. (Подумайте – в шестом классе и уже анархист! Какая сила и какая смелость!) Он еще очень неуклюж, подобно тем молодым, не сложившимся собакам большой породы, которых потешно называют «щенком о пяти ног». Но в нем много теплого и трогательного. Судьба его товарища – благонравного первого ученика – для меня и ясна и мало интересна. Грядущее же «отчаянного анархиста» непререкаемо и полно всяких возможностей. При теперешних условиях он анархист, два года тому назад он стремился добровольцем на фронт, в 90-х годах убегал в Америку, и, в сущности, никогда и нельзя было толком догадаться, что для него важнее: «…Разрушить государство // Или инспектора побить?»

Главное – это то, что в нем бьется и кипит живая кровь, а воображение его играет, как молодое игристое вино. В нем нет преждевременного застоя мысли, старческого благоразумия, сердечной сухости и раннего окаменения души. Он перебродит, устоится и, кто знает, в какие формы выльется его теперешний бурливый дух! Будет ли он

поэтом, которому суждено расширить границы искусства, или безупречным борцом за свободу родины, или бесславно погибнет, разбив свою пылкую голову в мятежных исканиях правды и света?

В нем еще очень много детского. Ведь дети – истинные анархисты. Им естественно, без всяких усилий, радостно принадлежит весь мир, как он беззлобно принадлежит растению, птице и зверю. И весьма, вероятно, что мой несуразный анархист, перепробовав в своей жизни много горьких трав и перестрадав большую ломку чувств и убеждений, перейдет на склоне своих дней к тому же анархизму, но просветленному сиянием мудрости и теплотою простой человеческой любви. Детство и старость являются как бы первым и последним звеньями одной и той же цепи, концы которой спаяны темным небытием. В самом деле: как величественно-трогательны образы истинных анархистов: Элизе Реклю, Толстого, Кропоткина. Отблеск чистого, незапятнанного христианства лежит на их высоком учении.

* * *

Я вовсе не удивился, когда прочитал в газете, что на собраниях анархистов выступает самым деятельным оратором Мамонт Дальский. Этот артист с большим настоящим дарованием и с темпераментом Везувия. Несомненно и то, что в нем, как во всяком искреннем художнике, живет, не поддаваясь годам, много детской непосредственности. А кроме того – жест! Какой великолепный трагический жест на фоне пожара революции, среди веяния черных знамен: «Свергнем древних идолов и возвеличим человека».

Но, кстати, и удобно быть кабинетным и митинговым анархистом. Принадлежа к организованным партиям с<оциал>-р<еволюционеров>, с<оциал>-д<емократов> или к<онституционных>-д<емократов> – надо все-таки кое-чему научиться и кое-что вызубрить наизусть: идеологию, язык, доктрины, оттенки платформ и программ, историю рабочего движения и социального вопроса, просто историю и т.д. Необходимо также пройти и тяжелую партийную дисциплину, оставаясь сначала скромным рядовым работником. Не брезговать постоянным, упорным, кропотливым, черным трудом. Нет, это положительно не для пламенных душ и раскаленных умов. Анархия проще и страшнее. Долой все – и конец.

* * *

На прошлой неделе я видел демонстративную процессию анархистов на Невском. Двадцать человек, при черном знамени, представляли из себя вовсе не грозное и не внушительное зрелище, хотя

все они и были вооружены винтовками. И публика на них глядела только мимоходом, без особого любопытства и без всякого волнения. Безусая, зеленая молодежь… растерянные, немного смущенные лица, неуверенные движения… Именно – кусочек партии А-А.

Но мне понравилось равнодушие публики. Недавно встревоженная захватами чужих домов, она быстро справилась и теперь склонна скорей юмористически, чем серьезно, глядеть на активное выступление анархистов. Даже ружья их кажутся ей какими-то «невсамделишными» в этих непривычных руках. В этом есть нечто успокоительное. Как будто бы проходит суетливое смятение, исчезают напрасные страхи, и обыватель, слава Богу, приучается держать в руках свою скачущую душу.

Зато шествие литовского полка по Литейному проспекту и по Владимирской было настоящим триумфальным шествием. Впереди по обеим сторонам улицы бегут, расчищая дорогу, две живые стены солдат, сцепившихся рука в руку. В середине едут офицеры на лошадях. За ними высоко реет в воздухе красный, гордый в своей простоте плакат «Литовцы». Серебряные звучные трубы оркестра сияют на солнце. А за ними идут вольными, но стройными рядами высокие, загорелые, бодрые солдаты с такими простыми светлыми близкими лицами. «До свидания, товарищи!» «Умереть за родину!» «Вспомните о нас!» «Ура, литовцы!»

И еще красные плакаты плывут над серо-зелеными рядами: «Сначала победа, потом земля». «Идем сражаться за великую демократическую республику». На обеих панелях густо столпились провожающие всех классов и возрастов. Обнаженные головы. Слезы на глазах. Сердечные возгласы и наивные благословления. И волнами перекатывается вдоль улиц многотысячный гул… Не здесь ли истинная дорога заблудившейся России?

1917 г.

Пестрая книга V

Товарищ Слицан, со свойственным всем фельетонистам легкобрейством, пишет остроумный фельетон об отмене буквы «ять». Сквозь строки его забавной статьи, однако, сквозит полное равнодушие к рудиментарным формам языка, к его этапам, к его истории.

Вяземский однажды сказал: «Твердый знак существует для того, чтобы отличать грамотного от безграмотного».

Но, да простит мне товарищ Слицан, я продолжу мысль друга Пушкина.

Юсы большие и малые – носовые звуки – оставили свой след в строении письменной речи.

«Ять» ничуть не хуже французской «е», «ai» и т. д.

Фита, классическая фита адресного стола, была нужна в продолжение столетий, как придыхательный византийский звук.

И так далее.

Но уже давно советом неведомых товарищей решено уничтожить все памятники. А, кстати, и памятники слова.

Министр «чего-то» только сказал: «Бей мельчей, подбирай ловчей».

1917 г.

Пестрая книга VI

Как своеобразно относится русский народ к ненавистному чертогу – можно видеть из трех маленьких случаев.

Случай первый происходит во время японской войны. Идет ремонт Царскосельского дворца. Жаркий день. Вися высоко в воздухе, раскачивается в своей люльке молодой маляр, тычет кистью в ведерко, мажет широкими взмахами дворцовую стену и безмятежно распевает приятным баритоном:

«Нам не надо златого кумира,
Ненавистен нам царский чертог»

Проходящие мимо со своим англичанином-гувернером двое мальчиков Константиновичей не удерживаются и фыркают. Воспитатель строго спрашивает о причине. Ему объясняют. Через полчаса злополучный маляр таинственно исчезает из Царского Села. Воображаю, как недоуменно хлопал он глазами!

Случай второй. 9 янв<аря> 1905 года. На улице выстрелы, гневные возгласы, свистки. Толпа перебила стекла во дворце в<еликого> к<нязя> Сергея Александровича и, оттесненная конным разъездом, быстро тает. По Невскому мчится восторженный мальчуган, сапожный подмастерье. Во все горло орет он потешный куплет, им самим только что вдохновенно созданный:

«У московского Сережки
Перебили все окошки»!

И тут же, без всякой логики, трах увесистым булыжником в огромное зеркальное стекло гастрономического магазина Соловьева!

Случай третий. В наши дни. В гатчинском парке совершенно обезображены два архитектурных памятника XVIII столетия «Березовый дворец» и «Павильон Венеры». Выломаны двери, разби-

ты зеркала и зеркальные бордюры, украдены дверные бронзовые ручки, шторы и драпировки, расколоты мраморные фонтаны, разрушены свинцовые трубы, попорчены статуи. В большом дворце похищены часы и пирамида бильярдных шаров слоновой кости и т. д. О, неведомые товарищи! О, безымянная сволочь! Ведь не цари создавали дворцы, статуи и картины, а художник и рабочий.

Воображаю, как в один сумасшедший день вы нагрянете в Эрмитаж и станете в нем хозяйничать. Камею из сардоникса, над которой греческий художник трудился целых тридцать лет, вы швырнете в Неву. А тысячелетнюю танагрскую богиню растопчете каблуками и обзовете ее мерзким словом.

* * *

В числе полков, реформированных справедливым приказом военного министра, значится и номер того полка, за жизнью которого я – по некоторым причинам – пристально, неустанно и ревностно следил с 1894-го года т. е. более двадцати лет. За это время я видел, как постепенно изменялся внутренний лик полка, как преображалась его душа. Уходили, один за другим, древние закоренелые мордобойцы, бурбоны, трынчики, и питухи с образованием шморгонской академии. Офицерский состав обновлялся воспитанной, вежливой, гуманной молодежью. Прививалась забота офицера о солдате и доверие солдата к офицеру. Право, эти этапы казались мне чудесными.

С самого начала нынешней злополучной войны до меня доносились об этом полке весьма почетные для него сведения. Он участвовал в быстром натиске на Львов и Перемышль и в том легендарном безоружном, но и безропотном отступлении, которое было вызвано предательством, продажностью, интригами и постыдным равнодушием власти.

И вот теперь этот же полк выступил на позиции всего лишь в половинном составе. Где же причины такому позору?

Причина только одна – та, что армию по глупой близорукости и по подлому расчету вовлекли в бездействие, самоуправство и политическую болтовню, чего не случилось ни разу, ни с одной из армий, начиная с первой человеческой войны.

Живая страна может перенести все: чуму, голод, землетрясение, опустошительную войну, кровавую революцию, – и все-таки остаться живой. Но разложилась армия – умерла страна.

Или – демагоги – вы думаете, что в международной политике цветут такие важные маргаритки, как сентиментальная жалость, бескорыстие и справедливость? Их нет даже в современных книжках для детей младшего возраста.

* * *

Недавно ехала на площадке трамвая одна моя знакомая. Солдаты, стиснувшие ее, стали зубоскалить над тем, что на ней надето каракулевое пальто. Издевались над этим пальто, определяли примерную цену, строили догадки о том, каким путем приобретена дорогая вещь. Дама, наконец, не стерпела и, сдерживая слезы, сказала:

«Этот сак я купила случайно, по объявлению, за сто рублей. А деньги я зарабатываю тем, что бегаю с утра до вечера по урокам. Стыдно смеяться над честным трудом и над беззащитной женщиной».

«А ты, мразь, поговори еще!» – возразил солдат. И, схватив даму за воротник, выбросил ее из трамвая на мостовую.

И – Бог ты мой! – в каком они виде, эти свободные солдаты петроградского гарнизона! Расстегнутые, распоясанные, немытые, нестриженные, курят без перерыва, харкают и плюют, где попало. Казарма обратилась для них в ночлежку и в игорный вертеп. Мне известны случаи, когда в казармах, за игрой в «двадцать одно», ставилось на карту около 7000 рублей. А на Александровском рынке до сих пор толкутся праздные солдаты и что-то продают из-под полы.

* * *

По слухам, на днях местность Холмуши отъединяется от России и объявляет себя самостоятельной республикой на коммунистических началах. Временная власть сосредоточена в руках трех вождей восстания: дезертира Якова, сутенера Кольки Изюма и известной деятельницы Варьки Станцуй.

1917 г.

Пестрая книга VII

Г<осподин> Луначарский в Совете С<олдатских> и Р<абочих> Депутатов заговорил, наконец, речью «не мальчика, но мужа».

Нам нужен мир во что бы то ни стало. Мы должны предъявить правительству Франции и Англии ультиматум в течение определенного срока, присоединиться к нашей формуле мира без аннексий и контрибуций и объявить перемирие на всех фронтах.

Но если союзные правительства в течение определённого срока не примут нашего ультиматума, мы умываем руки. Мы не заключим сепаратного мира с германским правительством, но мы должны заключить перемирие на всем нашем фронте. Это «мы» лучше всего. Если г. Луначарский говорит от имени своей уважаемой партии, то

слово его веско. Но, ведь, заключение мира зависит не от г. Луначарского с партией, а от воли всей, хотя издерганной и измученной, но все-таки великой России. «Мы в последний раз предупреждаем Англию» – пишет передовик из «Мамадышского Эха»…

И что за детская простота! «Если союзники не примут нашего ультиматума»… Непременно, обязательно, радостно примут. Именно в ту самую минуту, когда они ежедневно берут в плен по семи тысяч немцев.

Да, уж видно, придется г. Луначарскому умыть руки и… оставить стыд на дне умывальника (Рошфор).

А не вспомнит ли г. Луначарский: кто и при каких обстоятельствах однажды умыл публично руки? Об этом сказано в книге более древней, чем «Капитал».

Во вчерашнем номере «Свободной России» приводились очень умные слова Людовика Нодо: «Они не говорят, мы заключим сепаратный мир, но делают все, чтобы привить гражданам мысль о нравственной безнаказанности измены».

1917 г.

Пестрая книга VIII

Ворон и лиса

Вот какую назидательную сказочку рассказывает Шахерезада в «Тысяче и одной ночи».

Старая лиса увидела, что на вершину спустился утомленный ворон. И она тотчас подумала в сердце своем: «Если бы мне удалось убедить этого ворона вступить со мною в дружбу? Он помогал бы мне добывать пищу и, кроме того, избавил бы меня от одиночества, которое, по правде, начинает уже меня тяготить!»

Задумано — сделано. Лиса подошла поближе к дереву, чтобы ворону было лучше слышно ее, и после самых сладких приветствий сказала ему: «О, сосед мой, тебе, конечно, известно, что всякий мусульманин имеет два достоинства в глазах своего соседа: первое, что он мусульманин, а второе, что он сосед. Я признаю в тебе оба эти качества. Но сверх того, я сразу почувствовала себя пораженной прямо в сердце твоей неотразимой миловидностью и добротой и ощущаю неодолимое стремление заключить с тобой братскую дружбу. А ты, о ворон, что чувствуешь ты ко мне?»

При этих словах ворон так расхохотался, что чуть не свалился с дерева. Оправившись немного, он отвечал лисе: «Признаться, ты меня удивила. И откуда у тебя, лиса, прилив такой необыкновенной

дружбы. И с каких это пор искренность проникла в твою душу, тогда как она всегда была у тебя лишь на конце языка? И с каких пор наши породы, столь различные, стали способны к братским объятиям? Ведь ты принадлежишь к породе зверей, а я к породе птиц. И, главное, о лиса, не может ли твое красноречие поведать мне, с какого же времени ваша порода перестала быть истребителями, а наша истребляемыми? Полно, лиса, старая плутовка. Спрячь в карман свои прекрасные изречения и избавь меня от дружбы, которой я ни за что не поверю».

Так говорили вороны тысячу лет тому назад. Нынешний ворон стал глупее и доверчивее. «А что и в самом деле, – думает он, – не побрататься ли»?

1917 г.

Пестрая книга X

Пирамида

Раньше всего был Бог.

Потом царь.

Потом князья.

И народ.

Бог изливал произволением своим благодать на царя через святое миропомазание и наказывал ему справедливо владеть и управлять землей, недрами ее и всем существующим на ней и над ней.

Царь передавал частично свои священные полномочия князьям: «Не мне вы служите, а Богу, поставившему меня на сие тяжкое поприще».

Князья же благоговейно и неусыпно блюли веления высшей, нездешней власти.

Народ же рождался, множился и умирал, «исполняя землю». Воевал, голодал и по божественному приказу платил подати для устойчивости той пирамиды, где он был основанием, а Бог вершиной.

И никто ни за что не отвечал. Посредники в передаче божественных предначертаний так и говорили:

– Извините. Но этого хочет Бог.

* * *

Итак: стройная пирамида перевернута. Вершина очутилась внизу, основание вверху, так как тело было не геометрическое, но физическое, и даже из такого липкого состава, как человеческое мясо, то оно естественно должно было принять иную новую форму, – так

или иначе безобразную, в зависимости от его состава и внешних давлений.

Мы знаем исторические примеры. Франция после многих скульптурных приемов установилась пока в виде неправильного глазированного конуса с очень малой высотой. Англия отлилась навеки в нечто вроде тяжелого пудинга с помпоном наверху для красоты. Германия, сохранив намеки вотановского первоначального строения, похожа на один из падающих архитектурных парадоксов.

* * *

Россия же совсем статья особая. Она из какого-то неведомого материала, похожего и на съедобное филипповское тесто, и на сдвигающиеся гранитные глыбы, и на сырую огнеупорную доломитовую глину, дожидающуюся огня.

И вот все, кому только не лень, с выгодой и без выгоды, с усердием и зевая, нежными и грубыми, чистыми и грязными руками мнут ее и тискают во всех направлениях. Опрокинутая вершина – Бог – осталась крепко неприкосновенной. Даже большевики (ну и словечки: паровик, бытовик, передовик, меньшевик, большевик), даже они не осмеливаются разбивать свои шайки в церквях. И, говорят, что когда какой-то молодой, но услужливый наглец предложил официально свергнуть Бога, а вместо него публично чествовать, по примеру прежних лет, живую богиню разума, то m-me Коллонтай первая этому воспротивилась.

Середина пирамиды оказалась неустойчивой. Бывшее основание ползет и давит с неимоверной быстротой и скоростью. Подпорки не помогают.

Неужели мы выпечем огромную, нелепую, твердую и пресную лепешку, которую история пожует-пожует, потом размелет, посолит, польет бардой и выбросит свиньям на корм, а потомству в поучение.

1917 г.

Пестрая книга XI

Агенты

«Покажите нам союзные договоры!» – кричали в исступлении наши доморощенные Мараты, Дантоны, Сен-Жюсты и Камиль-Демулены, окруженные толпой.

Им не показали. Договоры – государственная тайна. Несомненно, она давно знакома Германии, но все-таки и секреты полишинеля суть секреты.

Как бы то ни было, война Германии с Россией рано или поздно должна была произойти. Напрасно говорить, что Германия готовилась к этому 44 года, т. е. начиная с 1870 г., она готовилась за много лет. Франко-русская кампания была пробой отточенности меча. Германские политики давно говорили о том, что весьма разумно, возможно и необходимо загнать Россию, эту страну варваров и свиней, за Уральский хребет, туда, в Азию, где ей и есть настоящее место. Германские философы рассуждали так: немцы мужественны, смелы, предприимчивы, деловиты, трудолюбивы. Они настоящая творческая раса мужчин. Славяне же в своей натуре таят женственное начало: они мягки, безвольны, мечтательны, ленивы. Следовательно, – прямой долг Германии покорить славянство, овладеть им и оплодотворить для создания новой породы сильных людей. А германские стратеги в это время разрабатывали план будущего великого наступления, разрабатывали в глубокой тайне и с такой поразительной, кропотливой точностью, которая привела бы меня в восхищение, если бы дело не касалось остроумно-расчетливого поджога моего собственного дома.

Обратите когда-нибудь внимание на подробную географическую карту России и проследите по ней расположение немецких колоний. Вы увидите, что эти колонии планомерно рассеяны по трем главным направлениям – Петербург, Москва, Киев – и, кроме того, сгруппированы около главных крепостей. Подумайте: во сколько десятков лет растянулась такая колонизация!

Настоящая война обнаружила с беспримерной яркостью страшный прусский принцип: на войне все дозволено и для победы все пригодно.

Германцы беспощадно и гениально использовали, во имя этого принципа, все, что доступно для человеческого воображения в мире. Воздух, воду, огонь и землю. Электричество, газы, яды и микробы. Жестокость, подкуп, риски, ловушки, сплетни, слухи, литературу, прессу, честолюбие, рабство, трусость, пьянство и еще тысячи человеческих пороков, слабостей.

Надо ли говорить о том, как изумительно метко и широко были ими разбросаны сети агентуры, подкупа? На днях мне рассказывали о том, что как-то, не то в Луцке, не то в Ковеле, был обнаружен начальник германской осведомительной партии по фамилии Петров или Сидоров, оказавшийся Мюллером (подробности забыл) и служивший по министерству народного просвещения в звании инспектора народных училищ. Тридцать лет безупречной службы у России и тридцать лет обстоятельнейшей микроскопической работы для германского генерального штаба! Я глубоко убежден, что

есть целые ряды немецких поколений, от деда до внука, которые преемственно и, если хотите, самоотверженно, патриотично несут такие же двойственные обязанности. Это почти честная деятельность.

Говорить ли о смелости агентурной немецкой работы? Вспомните взрыв на Охте весной 1915 года, взрыв поезда со снарядами в Гатчине летом того же года, взрыв в Архангельске, взрыв броненосца «Мария» в Севастополе, недавний пожар на Гутуевском острове? Какова их причина?

Говорить ли о том, как оплачивают немцы предательство? Их короли и фельдмаршалы дарят знаменитым артистам кожаные портсигары, а любовницам редиски из собственного огорода. Но измену они вознаграждают как сказочные Гарун-аль-Рашиды. «Гораздо дешевле купить противника, чем быть им побежденным», – практично рассуждают они.

И, наконец, надо ли сомневаться в том, чтобы немцы не учли физических и моральных, больших и малых (впрочем, в этом страшном деле мелочей нет), чтобы они не использовали такого явления русской жизни – революции? В 1916 году, когда впервые зашатался старый 500-вековой порядок, не Вильгельм ли приказал стянуть свои корпусы к восточной границе? Тогда несвоевременная революция была страшна всем. Но в 1914 году, когда в Петербурге и в Москве вспыхнули грандиозные забастовки, она уже считалась одним из крупных слагаемых в сумме благоприятных обстоятельств, говоривших об объявлении войны. Неужели же великолепный германский главный штаб смотрит на совершающиеся внутри России события только с внимательной улыбкой исторического наблюдателя?

Нет, логика вещей и событий убеждают нас в том, что последняя революция, начавшаяся так неожиданно, светло и просто и перешедшая во власть злых, фанатических, враждебных, корыстных и, попросту, подлых интересов, – далеко не чужда и германского влияния.

Да и можно ли думать иначе? Исчерпав все, что может придумать для выигрыша человеческий ум, могла ли бы Германия упустить такой замечательный козырь? Тем более что навстречу ее агентам идут все низменные инстинкты толпы: растерянность, стадность, трусость, леность, хищничество и старинная, давно накопленная мстительность.

И потому, когда я вижу на улице плакаты с надписями: «Долой войну!», «Да здравствует Германия!», «Немедленный мир!», «Долой Временное правительство!», «Братание на фронте!» – и когда я

читаю в газетах о мародерстве и дезертирстве, о призывах к захватам и насилиям, о бедствии и попустительстве, созданными русской злобой, глупостью, трусостью и продажностью, я вижу ясный, холодный, трезвый, расчетливый ум германского политического и военного агента, совершающего ответственную и тяжелую, но (по-своему) высокую и патриотическую задачу.

Подумайте же, граждане, о том, за какими знаменами нас иногда заставляет идти ваша милая привычка протестовать ради одного только протеста. «Протестую, не весьма против чего!» – как говорит польское присловье.

1917 г.

НЕОБХОДИМАЯ ОГОВОРКА

(Письмо в редакцию)

Вполне соглашаясь с напечатанной вчера «Нашей программой», и сам приняв участие в ее обсуждении, я хотел бы в этих строках подчеркнуть лишь одно место, мне лично кажущееся особенно нужным. В программе я хотел бы видеть более определенно выраженным отношение газеты к войне и формулировал бы его словами Наполеона: «Самая лучшая система обороны – это наступление».

А. Куприн

1917 г.

О КАЗАЧЕСТВЕ

(Особое мнение)

На днях я терпеливо выслушал полусправедливый упрек. Мне было указано, что как, мол, это я, один из редакторов газеты «Свободная Россия», выступил после появления программной статьи с отдельным личным мнением о войне, обороне и о наилучшей системе обороны. Тогда я хотел лишь слегка подчеркнуть то, что в серьезной, искренней, но немного бледноватой статье мне казалось неясным и недоговоренным. Конечно, не дело подымать какую бы то ни было рознь, если дружно везешь целой семьей одну и ту же тяжелую телегу. И я на упрек промолчал. Я только внутренне порадовался, когда мое мнение (или, вернее сказать, повторение наполеоновского афоризма), нашло авторитетное подтверждение в нашей

же газете, в статье военного писателя Георгия К., и когда несколько дней спустя эти же слова выговорил с высокой трибуны А. Ф. Керенский: «Лучшая система обороны – наступление».

Но теперь, да простит мне газетная этика, я принужден резко остаться при особом мнении.

В номере 27 «Свободной России» от 8 июня была напечатана статья «Под знаком контрреволюции». Подписи под ней не значилось, а такие анонимные статьи считаются обычным выражением коллективного мнения всей газеты, т. е. всего состава ее редакции и сотрудников. Ну, так вот: с этой статьей, появившейся без моего ведома, я не согласен.

Будь статья подписана, дело другого рода. Ответственность лежала бы на авторе. Тем более, что эта передовая была написана честно и искренно, хотя и без близкого знания вопроса. Но газета наша, сочувствуя всеми помышлениями идеям народных социалистов, в то же время не является вовсе органом сплоченной партии. Поэтому и оттенки убеждений имеют в ней более широкую амплитуду.

Казачий съезд, по словам упомянутой статьи, таит в себе серьезную контрреволюционную опасность.

Но ведь казаки ясно сказали: «Отдаем беспрекословно нашу жизнь и кровь в руки А.Ф. Керенского и всегда готовы по его слову стать на защиту свободного русского народа на фронте и здесь». Что же? Или и Керенский контрреволюционер?

Дальше: «Мы тоже боремся с анархистами и ленинцами, но не можем не протестовать против размахивания ногайкой».

А чем же, позвольте спросить, вы боретесь против ленинцев и анархистов? (Оставляю в стороне чистых идейных анархистов – перед ними я снимаю шляпу). Речами? Статьями? Митингами? Дискуссиями? Да ведь это все равно, что убеждать бешеную собаку: «Ай, ай-ай, собачка, как нехорошо с твоей стороны кусать и своих и чужих в такую жаркую погоду!» Или усилиями вашей замечательной милиции, этой карикатурой на старинные карикатуры? Или здоровым самосознанием уличной массы?

Но, по-моему, вы закрываете глаза на то зловещее облако, которое самым явным образом грозит не только контрреволюцией, но прямым разгромом всей, так долгожданной свободы.

Ради истинной свободы можно пролить кровь и даже не одну каплю. Но никакими, хотя бы самыми возвышенными, утопическими целями нельзя оправдать искусственного, а, стало быть, и сознательного ведения родины к разорению, одичанию и озверению. Свобода, достигнутая такими путями – не свобода, а новое,

безмерно злейшее рабство страны в руках взбесившихся обезьян, разнуздавших свои страсти, похоти и все низменные инстинкты.

Вот чем грозят России активные выступления ленинцев и большевиков. Пусть учение Ленина в своей идеологии – высоко. Но оно отворяет широко двери русскому бунту – бессмысленному и беспощадному. Ницше сказал: «Сверхчеловеку все дозволено». А безграмотный человек, почитав эту ужасную истину, пойдет и взломает кассу, и изнасилует ребенка, и зарежет сонную тетку. И разве мы не видим уже, как отборные семена Циммервальда приносят в России безобразные, колючие и гнилые плоды?

Вы забыли уроки истории, а они подтверждают мою мысль. Кровавый бред великой французской революции (да, воистину великой!) родил Наполеона I; революция 48 года родила узурпатора, Наполеона III; коммуна 1870 года вызвала маркиза Галифе, а за ним теперешнюю французскую республику. Я преклоняюсь в данную минуту перед всей героической, прекрасной Францией, но кто же не знает того, что в мирное время ее правительство было самой буржуазной лавочкой?

Вот где опасность, грозящая свободе! «В казаках до сих пор еще силен опричный дух. Казачество до сих пор было оплотом агрессивного самодержавия». Но опричный казачий дух гнездится в далеких и совсем непрезренных причинах. Это – тихий свободный Дон. Это – былинные «молодые казачки, все разбойники, что Яицкие». Это удалые республиканцы, коммунисты Запорожской Сечи. Это природное всадничество: «Сам есть не буду – лошадь покормлю». «Пехота, не пыли»!

Другое дело – оплот самодержавия. Но назовите мне хоть одну из гвардейских частей, которая во времена Романовых не участвовала бы в карательных экспедициях и в разгонах безоружных манифестаций залпами, в дворцовых переворотах, когда одна потаскушка сменяла другую на троне. Однако из этих полков, по вашему мнению, сразу выветрился рабий дух. Но не знаете ли вы того, что казак был всегда развитее, самостоятельнее и свободолюбивее русского крестьянина, или что, все равно, солдата. Самодержавие, прежде чем опереться на казачество, лишило его льгот и вольностей, а потом уже медленно проституировало его на позорную службу. Но в нем, в казачестве, никогда не умирал опричный былинный дух — дух, взлелеявший Разина и вскормивший пугачевщину. Разве казаки не одни из первых присягнули Временному правительству? И разве не одним из решающих моментов февральской революции был тот момент, когда донской сотник, вместо того, чтобы исполнить приказание начальника

конной стражи рубить безоружных, повернул и, скомандовав к атаке, первый обнажил оружие против полиции и разрубил голову приставу, как спелый арбуз.

И вот теперь это войско, не растаявшее от дезертирства, не расслабленное болтовней, разгильдяйством и праздностью, предлагает себя доверчиво и послушно в полное подчинение Керенскому, а, стало быть, и Временному Правительству, а значит, и совету Р<абочих> и С<олдатских> Депутатов, ибо здесь неразделимая спайка.

Я должен признаться, что меня очень радует то знамение, что многие части русской армии остались трезвыми и непоколебимыми на страже истинной свободы. Вообразите себе, закройте только на минуту глаза и вообразите: что нас ждет дальше, может быть, завтра, при полной растерянности общества, при надвигающемся голоде и при такой безнаказанности, с которой лжепророки делают свои теоретические лабораторные, вивисекционные опыты над огромной окровавленной страной.

Призрак реставрации? Оттого-то вы и боитесь организованного дружного войска, хотя бы и отдавшегося всецело делу революции? Оттого вы в нем и видите предвестие контрреволюции? Какая слепая боязнь. Казачество более чем кто-либо почуяло прелесть запаха народной свободы.

И кроме того.

«Тупой конец» – это простое казачье словечко. Оно значит «без крови». Гучков, правда, бухнул не в тот колокол, когда «оказачил» Россию. У всякого срывается обмолвка. Все-таки Гучков первый потребовал у царя акт отречения. А если Родзянко и назвал государственную Думу представителями народа, то он на это имел стократно более прав, нежели Ленин и большевики, выскочившие, как вонючие пузыри на воде, на течении русской жизни.

И наконец.

Через номер после разбираемой статьи в газете «Свободная Россия» появляются к ней комментарии под заглавием «Казачий дух». Оказывается, видите ли, что и «Новая Жизнь» солидарна в общих чертах с нашей статьей. Благодарю покорно за такой маяк, как «Новая Жизнь». Этак мы, пожалуй, однажды утром объявим себя и за братание, и за сепаратный мир, и даже за то, что дикой России полезны новые культуртрегеры, новые варяги в лице германских завоевателей, которые все, конечно, социал-демократы, за немногими исключениями.

1917 г.

СЕРДЦЕ НАРОДНОЕ (А.Ф. Керенский).

Я только один раз видел Керенского и слышал его голос. Это было на громком процессе О'Бриен-де-Лассе, д-ра Панченко, Бутурлина и др. Тогда его защита не произвела большого впечатления. Она как-то выцвела, сплющилась между актерским пафосом Карабчевского и обвинительной речью Струве, речью длинной и сухой, но замечательно дельной и глубоко разработанной.

Был ли тогда Керенский не в ударе, или достался ему невыигрышный кусок защиты, или все, довольно-таки грязное дело претило его душевному вкусу – я не знаю. Но тогда же сидевший со мной рядом В. Дорошевич – человек несомненно громадного житейского опыта – сказал, обращаясь ко мне вполголоса:

«Какая искренность и какая настойчивость. И, в сущности, по пустякам. Но, поверьте, этот блондин, с прической ёжиком, когда-нибудь найдет себя и так широко развернется, что мы только ахнем».

Право, эти слова были пророческими.

Вскоре мы увидели Керенского – членом государственной Думы. В эту пору он, Милюков, Гучков, Родзянко и Чхеидзе, отчасти Пуришкевич и Шульгин, сделали очень много для разрушения древнего капища. Ведь, что ни говорите, а их слова и дела произносились и делались в эпоху почти людоедственную, в стране еще похожую на прежнюю Персию, где скучающий шах сажал для развлечения людей на кол под окнами своего дворца, в государстве, где с печальной иронией признавались: «У нас все возможно». Поистине, они и еще немногие другие были тогда похожи на первых ротных охотников, добровольно взявшихся перебежать под огнем крепостной мост.

И тогда-то, мне кажется, Керенский начинает находить себя. Среди голосов единомышленников и соратников яснее всех слышен его голос. Это голос попранной правды, страстной ненависти и горячей любви. Как будто бы один человек вмещает в себе всю боль и всю обиду великой, угнетенной страны. Как будто бы в его груди бьется само сердце народное, и в жилах его пульсирует народная кровь.

И, может быть, неожиданно для самого Керенского, к нему инстинктом, ощупью, уже тянутся в это время народные симпатии. «Он не оставит, он вникнет, он поймет, он заступится». И сотнями несутся к нему со всех концов России письма и телеграммы, просьбы и приветствия. Он – свой. И я вижу, как перед ним чудесным образом расширяется арена деятельности: из тесной залы суда в колонную залу Таврического дворца – и еще шире, еще далее – в ту аудиторию, которая зовется родиной.

Но сказать ли, по совести, в какой момент, по моему мнению, он и мы нашли сами себя и друг друга? Нет, не тогда, когда он присутствовал при отречении, а потом при аресте Николая II. И не тогда, когда он назвал зарвавшуюся толпу пьяными рабами. И не в Гельсингфорсе, и не на фронте, и не в пламенных ответах большевикам.

А тогда, когда он так просто и так по-человечески, слишком по-человечески, сказал: «Я стражду». Тогда вся здоровая Россия почувствовала, что у нее на секунду остановилось сердце, зашлось дыхание, и почва зыбко поплыла под ногами.

Да. Он – свой. Свой вне партий, подпартий, мнений, толков, сплетен, интриг и борьбы низких властолюбивых интересов. Он вернулся с объезда фронта, и мы с нежностью узнали, что он загорел и окреп. Он сказал нам своим правдивым голосом, что армия дезорганизована в сотни раз менее тыла, и мы доверчиво вздохнули. Он рекомендует наступление. И наступление будет.

Будет не оттого, что этого хочет Керенский. А оттого, что этого хочет народ. Во все века и у всех народов в годины тяжелых испытаний всегда находился тот непостижимый и непосредственный душевный преемник, тот божественный резонатор, тот таинственный выявитель воли народной, что я и называю живым, бьющимся сердцем народа. Керенским руководит его сердце, сердце народа, коллективная воля. Лениным – его личный сухой ум озлобленного теоретика.

Политические враги Керенского, ослепленные злобой, завистью и фанатической нетерпимостью, одурманенные подлым принципом – цель оправдывает средства, – однажды дошли до того, что кинули в толпу зловещую и зловредную мысль: «А не метит ли Керенский в Наполеоны?»

Поистине предположение достойно ублюдка Усть-Сысольской просвирни со Смердяковым.

Наполеон – это французский великолепный жест. По-русски же такое явление называется Степан Тимофеевич Разин. И разве не ясно, что мы по самому строению нашей народной души неспособны выдавить из себя не только Наполеона, но даже и диктатора. И такое душевное свойство я отношу отнюдь не к расхлябанности народа, а к его великодушию. А от Стеньки – сохрани нас Никола Милостивый.

Керенский же, это наш – возьмем простое мужичье слово – ходок. Перед Богом за тех, кто в него верит, перед родиной за тех, кто ее любит, перед потомством за тех, кто еще не потерял способности краснеть при мысли о той пощечине, которая нас ждет от руки всемирной истории.

«Но Брут сказал:
Он был властолюбив.
А Брут, конечно, честный человек».

Но в том-то и дело, что наш Брут вовсе не честный человек, а мелкий шулер. И Керенский не Цезарь, а дисциплинированный социалист и в то же время человек сердца.

И я представляю себе фантастическую куртину. Ленин одолел Керенского. Тогда Керенский слагает с себя власть и почти буквально повторяет слова, сказанные Кавеньяком в 1848 г. в момент передачи власти президенту Луи Наполеону: «О, если бы я знал, что он не изменит обещанию. Я опустился бы перед ним на колено и поцеловал бы его руку. Но беда страны в том, что он непременно обманет».

Кавеньяк был прав. Наполеон узурпировал власть, купив голоса плебисцита и сделав себя императором. Кавеньяк отказался присягнуть ему и был арестован.

Мы очень рады тому, что враги Керенского даже не Наполеоны Третьи. Это исторические болтуны, трибунные паяцы, честолюбивые мизантропы, сумасшедшие алхимики и, в самом невинном случае, – продажная челядь.

В Керенском же кипит наша кровь и бьется наше сердце.

Поклон ему.

P.S. Сейчас, просматривая корректуру этой статьи, я вспомнил слово о Керенском одного глубоко военного человека: «Его попрекнули декларацией прав солдата. Это были булавочные уколы. Я, боевой офицер, с удовольствием расширил бы солдатские права. Но за то потребовал бы и “декларации обязанностей солдата”. А Керенский всеми своими действиями уже создает эту вторую, еще не написанную декларацию».

1917 г.

ЗВЕЗДНЫЙ ФЛАГ

Я думаю, что никто не верил и не верит в искренность союзов, заключаемых государствами в мирное время с политическими целями. Попытки дружественного слияния различных наций всегда выходили натянутыми и смешными и такими неестественными, как, например, дружба опытного в ловле кота с крысой. Еще в начале царствования Александра III русские солдаты допевали нелепую военную песню, сочиненную кем-то к политическому случаю:

Русский царь собрал дружину
И велел своим орлам

Плыть по морю на чужбину
В гости к добрым пруссакам.

А через десять лет весь земной шар был свидетелем самого комического из мировых зрелищ. Две эскадры – французская и русская – встретясь на лазурных водах Средиземного моря, приветствовали друг друга союзными гимнами.

«A bas la tyrannie!» – гремели русские оркестры на кораблях самодержавнейшего из монархов. «Боже, царя храни!» – звенели фанфары великой Французской Республики. Но попробовал бы в то время какой-нибудь экспансивный молодой человек закричать на площади Зимнего дворца: «Долой самодержавие!» Ого!

Но есть одно волшебное, упоительное, одинаково радостное на всех языках слово *свобода*, которое выше государственных выгод, дипломатических ухищрений, национального себялюбия и торговых расчетов. Оттого-то современная война, начатая против надменного немецкого милитаризма, вечно державшего в тревоге весь старый мир, приняла грандиозные размеры невиданной по упорству Священной войны. Оттого-то начало ее было встречено в России с небывалым патриотическим всенародным подъемом, в котором, в отличие от всех прошлых войн, впереди стояла Родина и где-то на заднем плане Царь. Оттого-то союзники и приветствовали прекрасное зарождение русской революции так дружественно, горячо и доверчиво. Оттого-то они даже и теперь заявляют перед лицом мира и истории, что не покинут России ни при каких условиях, а между тем, ведись эта война из интересов обогащения, то не только расчет, но и долг повелевал бы им прекратить бойню и заключить самый почетный, самый фантастически выгодный мир с Германией за счет трусов, беглецов, убийц отечества, подлых подстрекателей и поджигателей, против рабов, недостойных свободы.

Оттого-то и Америка, давно, еще задолго до войны, пристально изучающая Россию, так широко готова идти нам на помощь золотом своей богатой страны и кровью своего свободного народа.

Соединенные Штаты хорошо знают по своему историческому опыту, какое великое сокровище свобода и как тяжело она достается. Первые законы для колонистов, созданные в начале XVII столетия назначенным от английского правительства виргинским губернатором Далем, оставили за собою навеки название «черных законов» («black laws»). Телесные наказания, жестокие пытки и смертная казнь были обыкновенными наказаниями. Колонист, замеченный впервые в непосещении церкви, подвергался розгам, на третий раз его приговаривали к каторжным работам. Богохульство влекло за собой прокалывание языка, а повторение его – смертную казнь.

Губернаторы при Стюартах строго следили за незыблемостью престижа королевской власти. Свободная мысль, независимое мнение беспощадно преследовались. На печать и на школу они глядели совершенно так же, как и недавние русские громовержцы. В середине XVII столетия губернатор Беркли произнес поистине нетленные слова: «Я надеюсь, – сказал он, – что наши колонии никогда не будут нуждаться ни в школах, ни в типографиях: эти учреждения суть средства дьявола в его борьбе против Бога и Его помазанника Короля».

Север Америки был всегда демократическим, но он испытал всю нетерпимость пуританских проповедников. Так, из Массачусетса под угрозой смертной казни были изгнаны католические священники. Та же участь постигла и «проклятое племя еретиков, именующих себя квакерами». Угроза оказалась не напрасной. Квакеры, вернувшиеся в 1656 году обратно, подверглись пыткам и смертной казни.

Нелегка была для Америки борьба с королевской властью, осуществляемой в Лондоне «лордами торговли», а в колониях губернаторами, которые, начиная с 1675 года, постоянно жаловались на колонистов, как на мятежников, попирающих законы и увлеченных политическими бреднями. По этим жалобам лорды торговли распускали народное собрание, ограничивали свободу печати, приостанавливали Habeas Corpus, но победа всегда оказывалась не на стороне митрополии.

Колонии одна за другой вырабатывали свои конституции. На петиции изменников и бунтовщиков Король ответил тем, что в 1776 году прислал в С<евернную> Америку наемных немецких солдат. Тогда-то, при общем взрыве патриотизма, и была принята Конгрессом великолепная по своей простоте и достоинству декларация Джефферсона: «Мы утверждаем, – гласит ее начало, – следующие истины: все люди сотворены равными и наделены от Бога неотъемлемыми правами, в числе которых первые суть жизнь, свобода и счастие. Для обеспечения этих прав люди учреждают правительства, передавая им свою власть. Если форма правительства становится вредной для этой цели, народ может ее исправить или вовсе уничтожить, заменив новой». Конец же декларации таков: «В силу сказанного мы, представители С<оединенных> Ш<татов> Америки, призывая Судию мира в свидетели нашей правоты, объявляем по воле народа и от его имени, что эти колонии отныне и по праву суть свободные и независимые Штаты. Они с сего времени освобождаются от британского подданства, и связь между ними и Британией порвана навсегда».

Война за независимость была вначале неудачна для американцев. Англичане взяли Нью-Йорк, овладели Филадельфией и уже продвигались на юг, где в аристократических колониях могли рассчитывать на верную и крепкую помощь. Американская армия состояла в большинстве из фермеров, плохо знакомых с воинской дисциплиной. Они вступали в армию и *покидали ее*, когда им хотелось. *Командиры не пользовались полнотой власти*. Первые поражения влекли за собой уныние и растерянность, вследствие чего *целые полки разбредались по домам. Англичане стали вербовать для себя солдат в самой Америке.* Два известных генерала передались на сторону англичан. *Не хватало оружия и снарядов. Армия голодала, ходила оборванной и без сапог.* Лишь с огромным трудом удалось Вашингтону организовать постоянную, регулярную, дисциплинированную армию, и то *вопреки общественному мнению.* Патриотический дух пал в колониях. *В Нью-Йорке половина граждан приветствовала англичан, как вестников мира и освободителей от революционной тирании. Среди членов Конгресса находились трусы, позволившие себе изъявить покорность Королю**, чтобы воспользоваться амнистией, объявленной в прокламации английского главнокомандующего. Ни одно из иностранных государств, даже враждебных Англии, не верило в победу Америки и не шло ей на помощь.

И все-таки, при этих трагических, почти безвыходных условиях, одержали верх американцы, благодаря неугасимому стремлению их вождей к народной свободе, благодаря мужественной помощи таких рыцарей духа, как Лафайет и Костюшко, благодаря стойкости континентальных солдат, проникшихся, наконец, твердой воинской дисциплиной. Первая победа над англичанами осенью 1777 года при Сароточи склонила Францию признать независимость Штатов и вступить с ними в союз. Следующее поражение английских войск при Иорктауне решило судьбу войны. 3-го сентября 1783 года Англия подписала мирный договор с уступкой территории и с признанием независимости С<еверно>-А<мериканских> Соединенных Штатов.

Эта великая освободительная война была, поистине, началом раскрепощения человечества. Отголоски ее донеслись через океан до самого сердца Франции, подобно электрическим искрам, попавшим в открытый пороховой погреб, а Франция передала огонь всему миру.

Американцы правы, гордясь своей историей. Америка всегда была второй матерью для гонимых за веру, убеждения и национальность. И ее привет русской революции, ее спокойная, великодушная вера в то, что свободная армия не может упасть до полного

духовного разложения, до позорной измены родине, служит нам живым утешением и нравственной поддержкой в эти тяжелые дни смятения и крови.

* * *

Покойный Чехов, один из самых тонких, умных и прозорливых наблюдателей жизни, нередко и с особенным удовольствием возвращался памятью к своей поездке через Сибирь. «Поезжайте, непременно поезжайте в Сибирь, – советовал он иногда знакомым писателям. – Какой это чудесный край: интересный, красивый, богатый и своеобразный. У него громадное будущее. Уверяю вас, что лет через двадцать Сибирь отложится от России и образует из себя Соединенные Штаты, в роде Северо-Американских. Там такой же народ, как и в Америке – крепкий и самоуверенный. И с головой».

И в самом деле, в истории Сибири есть многие черты, общие с образованием С<еверно>-А<мериканских> Штатов. Чрезвычайно пестро и разнообразно слагалось ее население. Государственные крестьяне, казенные рабочие, беглые крепостные, старообрядцы всех толков, гонимые церковью и государством и оседавшие в недоступных полиции звериных уголках тайги, политические преступники, начиная от Радищева и декабристов, до наших современников, предприимчивые люди, уходившие пытать счастья в «Сибирь – золотое дно», прирожденные бродяги, вольные казаки, искатели приключений, широкие души, непоседы, которым было тесно в рамках закона и душно в серенькой, тусклой, испуганной, грязненькой жизни молчаливых городов, приплюснутых пятою самодержавия… Достоевский утверждал, что при условиях старого режима в Сибирь попадало в качестве ссыльных и каторжных все самое живое, страстное, непокорное, талантливое и выдающееся из народа.

На наших глазах Сибирь растет со сказочной быстротой в своем умственном быте. Об этом живо свидетельствует спрос из Сибири на газеты и книги, о чем каждый может справиться у любого издателя и книгопродавца. Нигде научно-популярные и литературные лекции, концерты и театральные спектакли не имеют таких громадных успехов, как в Сибири. Русское самодержавное правительство не напрасно тысячами ссылало в Сибирь в продолжение целого столетия всех, чьи смелые умы, горячие сердца и правдивый язык не мирились ни с вынужденным молчаливым рабством, ни с добровольным низкопоклонством.

И человеческие характеры создает Сибирь в широком масштабе. Необозримые земельные просторы, великие полноводные реки, торжественное молчание тайги, дикая красота Урала и Забайкалья,

дальние сказочные пути на оленях и собаках, борьба с суровым климатом, а в прежнем и с диким зверем, неисчислимые, нетронутые богатства края, привольная и сытая жизнь, – все эти условия воспитывали и закаляли поколение за поколением в духе свободы, самостоятельности, здоровья и силы. Вдали от бестолковых попечений митрополии, от барского и чиновничьего рукосуйства Сибирь сохранила и резко выявила сквозь нынешнюю суровость истинную русскую душу – большую, спокойную, добрую и хозяйственную.

Если России суждено устроиться на началах федеративной республики, то несомненно, что Сибирь будет – и по своему духу и, и по интересам торговли и промышленности, и по географическому соседству – тем естественным звеном, которое соединит будущий свободный русский флаг с многозвездным флагом Северо-Американских Штатов.

** Я нарочно подчеркнул некоторые фразы, взятые мною из статьи И.М. Хераскова «Американская Республика». Пусть слабые души знают, что не одна Россия доходила до последней черты, за которой пропасть и смерть.*

Нива, 1917, 11 ноября, № 52.

ДОМЕННАЯ ПЕЧЬ

Доменная печь представляет из себя гигантское сооружение, пятнадцатисаженную башню, выстроенную из огнеупорного шамотового кирпича, скрепленную стальными кольцами, одетую снаружи в железный клепаный кожух. Ее внутренняя вместимость – около 700 кубических метров, и все это огромное пространство заполнено слоями железной руды, кокса и особых примесей, так называемых флюсов, состоящих, в зависимости от химического содержания руды, то из кварца, или известняка, то из марганцевых хромистых соединений. Горячий воздух, нагнетаемый в печь через массивные трубы, поддерживает в ней, особенно внизу, там, где жидкий чугун стекает в горн, страшную температуру, около 1600 гр. по Цельсию. Несколько раз в день рабочие ломом пробивают в горне отверстие, и оттуда сначала бежит расплавленный, никуда не годный, зеленый шлак, а потом начинает бить великолепной, ослепительно-белой мощной струею чугун. Такая доменная печь дает до 40 000 пудов металла в сутки. Деятельность ее никогда не прекращается: ни днем, ни ночью, ни в великие праздники. Однажды разожженная и «задутая», она работает без перерыва несколько

лет подряд, в течение всей своей «кампании», и беспрестанно в ее пылающее жерло всыпают с верхней площадки все новые и новые вагонетки с сырым и горючим материалом. Приостановить доменную печь или понизить ее внутреннюю температуру – это значит погубить ее. Из остывающего чугуна в ней образуется плотная масса, по-заводскому – «козел», и тогда приходится либо совсем остановить печь и разобрать ее, либо взорвать на щебень всю миллионную махину.

* * *

За последние дни мы ко всему привыкли, ко всему готовы и, кажется, нас не способны больше удивлять или возмущать ни кровь, ни грязь, ни насилие, ни смерть, ни позор. Должно быть, одинаково без волнения мы встретим в утренних газетах известие о сооружении гильотины на Марсовом поле, о чуме в Москве, о случаях людоедства в Петрограде, о переходе России в вассальную зависимость от Германии. Притупились нервы, застыло воображение, вылиняла и охамела душа, отчаяние перешло предельные границы и растворилось в пищепроводном равнодушии. Но с кем не случается изредка, что, бывает, проснешься среди одной из этих бесконечно-длинных декабрьских ночей и лежишь без огня в темноте, наедине со своими мыслями, которые тяжело и нудно, как булыжник, переворачиваются в голове. Тогда-то на мгновение вспыхивает в мозгу с необычайной яркостью и глубиною сознание ужаса, позора, бессилия и рабства, охвативших Россию и тебя.

В такие минуты мне вспоминаются доменные печи, которые я когда-то видел на юге России, на Юзовском заводе. И вся страна представляется мне одной чудовищно-громадной доменной печью, упирающейся своим основанием в самые недра земли, между тем, как ее вершина высится над облаками. Когда-то, давным-давно, в благословенные мартовские дни, все мы в радостном ликовании видели, как первый священный огонь был заброшен в ее прочную грудь и как она пошла работать дружным, «спелым» ходом, накапливая в своих формах чистый металл для прочных, вековых построек будущего. Именно с доменной печью мне хочется сравнить революцию, которая плавит в своем высоком и бурном пламени все богатства грубой, темной и бесхитростной, но драгоценной породы.

Но великое предприятие постигла печальная и жестокая участь. Во главе ее сначала стояли люди знающие, образованные, преданные работе, но слабые, нерешительные, белоручки и тяжкодумы. Они выпустили дело из-под своего надзора, отошли от него в сторону, и

оно стало переходить из рук в руки, пока его не захватила беспардонная кучка международных авантюристов, темных дельцов, наемных агентов злобствующего конкурента, безграмотных самоучек и тех фантастов-изобретателей, которым слепой случай дал, наконец, возможность осуществить на практике свои несбыточные, сумасбродные, наивные, маниакальные теории. Из всех правил литейного дела они знают только одно: температура внутри печи должна держаться в тысячу градусов и выше, иначе конец всему предприятию. Но у них уже почти нет ни материала, ни кредита, ни опытных мастеров. У них нет ни времени, ни умения раздробить и обжечь руду или проверить лабораторным путем необходимые качества плавня. Они только командуют толпе сбродных, неумелых и, вдобавок, пьяных, оголтелых оборванцев: «Разжигай веселей, что-нибудь да выйдет». И те валят в пламенное устье печи все, что попадает им под руку: уголь, дерево, тряпье, керосин, смолу, куски разломанных машин, обломки разрушенных зданий, железную обшивку самой домны; если подвернется – бросят туда бочку с порохом или динамитный патрон. «Топи жарче!» А из доменного отверстия внизу ползет лишь один безобразный, никому не нужный, бессмысленный шлак.

Конечно, я говорю о большевиках. Разве не ясно, что страшнее всего для них – это остановиться в своей разрушительной работе, которую они называют так значительно – углублением революции. Им нужна лишь температура в 1600 градусов, о последствиях они подумают потом, теперь им некогда заниматься такими пустяками. Замедлиться хоть на день, передохнуть, оглядеться, одуматься – для них равносильно тому, что в доменном производстве именуется «козел». Образовался настыл, и конец всей их самодельной металлургии. Самозваным инженерам предстоит тогда один лишь выход: тайком уложить чемоданчик, сунуть в карман фальшивый паспорт, надеть привязную бороду и дымчатые окуляры, опустить на брови поля широкой шляпы и бежать ночью в тьму и безвестность, оставив за собою неоплаченные счета, разрушенное великое дело и тысячи обманутых и обворованных людей.

И сколько уже они пошвыряли несомненных ценностей в это нелепое, раскаленное добела чрево. Честь армии, достоинство и богатство родины, уважение к революции, браку и семье, свободе слова и печати, неприкосновенность личности, имущества и жизни, интеллект страны и ее, хоть жалкая, но все-таки культура – все пошло на растопку этой дьявольской печи – глупой, прожорливой и бесцельной. А конец?

16 декабря 1917 г.

ПУБЛИЦИСТИКА 1918 г.

ПАМЯТНИКИ

Мне очень жаль, что благодаря моей рассеянной жизни, а еще больше стараниям моих многочисленных и пылких друзей, мое литературное имя не пользуется солидным удельным весом. Поэтому я твердо уверен: меня-то уж во всяком случае никто не пригласит в эту художественную комиссию при ц.и.к, которая будет ведать снятием старых гнусных памятников и постановкою на освободившихся цоколях новых – прекрасных, вдохновенных, вечных памятников пролетарской свободы и пролетарского искусства.

Но мечтать никому невозбранно, а область мечты беспредельна. И я иногда думал: почем знать, может быть, и ко мне однажды утром явятся два посланца в драповых пальто, в легких фетровых шляпах, с винтовками за плечами и вручат мне пригласительную повестку. В знак особой нежной заботливости они возьмут меня подмышку с обеих сторон и доведут до автомобиля. И мы тронемся в путь, один товарищ слева, другой – справа, а я посередине, на почетном месте. Так мы домчимся до Академии Наук. По дороге нас увидят некоторые знакомые. Они подумают, что меня везут в академию для вручения мне премии покойного Ясинского, и порадуются за меня. Другие же сочтут меня за посла из Румынии или из Украины, если только не за спекулянта по кокаиновой части.

В академии меня введут в большой двусторонний конференц-зал и посадят за стол, покрытый красным сукном с золотой бахромой, неподалеку от товарища Луначарского, который благосклонно блеснет мне сквозь стекла очков своей пленительной улыбкой. А передо мной поставят стакан теплого чая с сахаром и положат стопку бумаги и карандаш для рисования петухов, лошадиных морд и женских ножек. Товарищ Луначарский обратится ко мне с такими словами:

– Мы пригласили вас с тем, чтобы услышать ваше просвещенное мнение касательно уничтожения памятников, воздвигнутых в ненавистные времена царского режима и господства гнилой буржуазии, а также об увековечивании в бронзе и мраморе величайших моментов из этой эпохи великой русской революции, равно как и образов ее замечательных вождей. Прошу вас высказываться со свойственной вам глубиною и прямотою мысли.

Я возражу учтиво:

– Не угодно ли вам будет предлагать мне вопросы? Я позволяю себе думать, что целесообразнее будет разобраться поочередно в достоинствах и недостатках каждого памятника в отдельности.

Тов. Луначарский. Пожалуй, вы и правы. В таком случае, в первую голову, что вы скажете о памятнике Петру I на Сенатской площади?

Я. По-моему, это великолепный памятник. Ведь, если хорошенько вдуматься, в Петре было что-то эдакое… словом, было что-то от большевизма. Самое главное – он не признавал никакой постепенности, этого рахитического метода кадетов и меньшевиков. У него все делалось сразу и круто. Вместе с боярскими бородами и длинными полами кафтанов, вместе со старыми предрассудками летели на землю и головы. В стиле его приказов есть какое-то отдаленное сходство с блестящим языком декретов Троцкого, конечно, без той выразительной железной мощности, которой дышит стиль достойного современника. Да и припомните: лицо Петра и лицо Троцкого. Несомненно, общие духовные черты. Тот же пламенный гнев в широко открытых очах, та же непреклонная воля в движении руки и в твердости рисунка рта, та же гордая сила борца в энергичном повороте головы. Наконец, портретное сходство… конечно, у Петра черты лица мельче и не так экспрессивны, но с этим можно помириться в виду спешки, а самый памятник сохранить, переделать лишь подпись. Вместо «Петру I – Екатерина II» я проектировал бы увековечить прелестное острое выражение о машине, укорачивающей человека на голову, но очень жалко, что его кто-то позаимствовал у товарища Троцкого сто с четвертью лет тому назад. Впрочем, я не особо настаиваю на точности надписи, я полагаю, что со временем ее можно будет снова переделать.

Тов. Луначарский. Весьма ценная мысль. А каков ваш взгляд на памятник Александру III на Знаменской площади?

Я. Я считаю его изумительным. Он производит большое и никогда неизгладимое впечатление. Особенно сильно он поражает, когда приедешь в Петроград после долгого отсутствия и сразу выйдешь с крыльца Николаевского вокзала. На улице не то раннее утро, которое никак не может разродиться в день, не то зевающие, бессонные сумерки. В воздухе вонючий, плотный, мокрый, ржавый туман. На мостовой грязный, липкий кисель. Так сразу и чувствуется город неврастеников, город флюсов, зубной боли, геморроя, раздраженной печени, рабства, пресмыкания. А тут же среди площади, сквозь водянистый холодный кисель, возвышается грязно-зеленый гиперболический битюг, попирающий плиту тяжкими копытами, а на нем исполинский бородач, скрутивший шею своему коню и раздирающий удилами ему рот.

Это зрелище всегда бывало так страшно и уныло, что у новичков с непривычки сразу же начинала ныть поясница и ниже. По-

лагаю памятник оставить неприкосновенным, уничтожив лишь надпись. Со временем сотрется даже и тень памяти об Александре III, а сознательные товарищи увидят в этой конной фигуре символ могучего народа, оседлавшего жирную и бездельную буржуазию.

Тов. Луначарский. А памятник Пушкину в скверике на Пушкинской?

Я. Плохой памятник. Жалкий, нищенский, уродливый, плюгавый и безграмотный. Немедленно разрушить. Да и сам сочинительто был хорош, нечего сказать: камер-юнкер, помещик, кровинушку народную пил, при дворе болтался… И, потом, как он обратился к детям народа? «Подите прочь, – говорит, – какое мне до вас дело». Постыдное буржуазное равнодушие. Нет, долой этот памятник. Воздвиньте здесь бюст Демьяна Бедного.

Тов. Луначарский. Что вы скажите о Глинке?

Я. То же самое, что и о пушкинском памятнике. Безобразное впечатление. Кто-то, не помню, именно, кто писал о нем стихами:

На площади Мариинской в тумане
Не Глинку ль в бронзе испохабил Бах?
Не он ли ищет мелочи в карманах –
В жилете и в штанах?

Принять, кроме того, во внимание, что Глинке принадлежит сочинение оперы «Жизнь за Царя», явно написанной к возвеличению самодержавия, сей монумент достоин разрушения. Вместо него против бывшего Мариинского театра следует поставить бронзовую группу: молодой рабочий и сознательная девушка сидят на скамейке; она лузгает семечки, он наяривает на гармони, а на граните начертано: народная песня или отдых от восьмичасового рабочего дня.

Тов. Луначарский. Что вы думаете сделать с памятником Екатерины на Невском?

Я. Посвятить его товарищу Коллонтай. Это будет вполне справедливо. Не она ли была комиссаром по призванию, не она ли основала дворец материнства, не она ли так неусыпно заботилась о воспитательном доме?

Тов. Луначарский. Мнение правильное. Не придумаете ли вы чего-нибудь еще?

Я. В Александровском сквере есть бюст бывшего полковника Пржевальского. Его, пожалуй, можно и пощадить, срезать только с него ненавистные эполеты и снять ордена, как воспрещенные последним декретом. Товарища же верблюда оставить неприкосновенным... Что касается многочисленных конных истуканов, то лошадей и цоколи сохранить, всадников же снять, а в седла посадить товарищей Иоффе, Карахана, Стеклова и других.

Тов. Луначарский. Но нам бы, кроме того, хотелось поставить несколько монументов, которые воскресили бы в памяти потомства великие дни революции.

Я. Ничего нет легче. Сбросьте Суворова, что на Марсовом поле, а вместо него поставьте фигуру матроса. Вообразите себе такую красоту: ворот у его голландки низко вырезан, обнажая крепкую шею и мужественную волосатую грудь, гладко припомаженная челка волос падает на глаза, в одной руке револьвер, в другой – молот, а внизу надпись: «Краса и гордость русской революции».

Таким образом, я разовью перед тов. Луначарским несколько проектов отдельных и групповых памятников. Он крепко, с удовольствием пожмет мою руку и скажет:

– Благодарю вас за мудрые советы. Итак, значит, 1 мая Петроград украсится новыми чудесными памятниками?

Но я возражу почтительно.

– Ну, это уж наверно нет. Тот, кто первый назначил такой смехотворно короткий срок – посмеется над вами, или он круглый невежда. Знаете ли, сколько времени лепил Паоло Трубецкой своего Александра III? Четыре года. Он употреблял для лепки пластилин, и после отливки этот недорогой материал был продан за 50.000 рублей – столько его пошло в работу! А прибавьте к лепке еще отливку в металле, охлаждение, перевозку статуи из мастерских, установку ее на постамент, и вы убедитесь, что при самом рьяном усердии ни один из ваших памятников революции не поспеет и через два года. А к тому времени…

– Вывести его вон! – закричит тов. Луначарский и…

На этом обрываются мои сладкие мечты.

1918 г.

СТЫДЛИВОЕ ПРИЗНАНИЕ

(Фельетон)

Один семнадцатилетний мальчик заявил с детской прямотой о том, что он не признает власти советов. Петроградский суд приговорил его, по числу лет, к 17-ти годам каторжной работы. Это соломоново решение невольно наводит на здравую и опасную мысль: не лучше ли таить подобные мнения про себя, не делясь ими с толпою?

Мальчику еще хорошо: выйдя из рудника по окончании своего стажа, он снова вступит в жизнь цветущим мужчиною, полным сил. Одиночество, труд и тюремная дисциплина углубят и расширят его миропонимание, острожный режим воспитает его волю и

убеждение. Перед ним останется еще много плодотворных лет, в которые он успеет загладить легкомысленную ошибку юности. Я завидую судьбе мальчика.

Дело другое – мы, уже прошедшие <нрзб>. Приговоренные за такую же тяжкую вину к нескольким десяткам лет принудительных работ, мы очень малое время проскрипели бы прикованные к тачке. Когда, через три-четыре года, мы погибнем внезапной ночной смертью, без напутствия и христианского погребения, а главное – без раскаяния и духовного исправления, которые, несомненно, пришли бы к нам, несмотря на нашу закоренелость, к концу каторжного срока, лет так сорок, пятьдесят. И не только дети наши, но и внуки, в эпоху торжества всемирного социализма, будут стыдиться своего невольного родства с нами, заматерелыми преступниками, погибшими гнусно, безраскаянно и бесславно в пучине грязного беззакония.

Поэтому я мудро не суюсь с конями на торг и не вывешиваю своего мнения на публичном назойливом плакате аршинными буквами. Но если меня притиснут в угол (все может случиться в наше лихорадочное время) и настойчиво спросят: «Гражданин, признаешь ли ты власть советов?», – я отвечу без запинки, но и без торопливости: «Да. Признаю».

И в этом ответе не будет ни тени лжи, криводушия или лицемерия. Признаю ли я град, дождь, извержение сопки, нашествие саранчи или гусеницы? Да, признаю. Признаю ли я, что лопнул городской коллектор и улицы были затоплены нечистотами? Признаю. Признаю ли я, что во двор ко мне забежал бешеный бык и сокрушал рогами деревья, стены, хозяйственную утварь, цветочные грядки, а я в то время, безоружный, сидел, поджавши ноги на заборе?! Признаю. И так же не мог бы я не признать всей наличности, очевидности и неотвратимости фактов, если бы в доме у меня случился пожар, во время которого все мое маленькое достояние было бы разбито, сожжено, залито водой и разворовано… Страшно, противно, досадно, жалко, позорно, – но что поделаешь? Божье попущение. Против рожна не попрешь.

Однако я знаю и такой случай. При всеобщей демобилизации готовился разойтись по домам один молодой сформированный во время войны полк. На общем собрании возник вопрос, что делать с полковыми суммами, которых оказалось около 40 000 рублей. Кто-то подал совет: поступить, как везде, раздуванить поровну, и делу крышка. Но полки, как и семьи, не все похожи друг на друга. Этот полк был дружный, не расхлябанный, с доброй закваской. Арестантский совет не прошел, а, наоборот, солдаты без особых споров и в очень короткое время пришли к единогласному заключению:

полковые суммы целиком передать в учреждение, ведающее интересами солдат-инвалидов, их семейств, их сирот и вдов.

Но в этот трогательный момент к полку подлетает шикарный беззвучный «Пежо», и из него выскакивает член ближайшего совдепа. «Не хотите деньги делить, давайте их в распоряжение совета». «Не отдадим». «Вы должны подчиниться решению совета». «Совет нам не указ, у нас свое решение». «Вы саботируете власть». «Ничего с властью не сделается, не облиняет, а от своего постановления не попятимся ни на один вершок». «Вы идете на помощь бывшим защитникам международной буржуазии, контрреволюции, империализма…» «Нет, мы помогаем кровным братьям». «Совет заставит вас отдать эти деньги». Тут по солдатскому собранию пробежала точно волна, не то густого ядовитого смеха, не то гневного ропота: «Не заставит!» «Немедленно сдайте оружие и патроны». «Попробуй. Возьми».

Член совдепа осекся и, захлопав глазами, на секунду примолк. Но малый он был все-таки находчивый, за что, собственно, и занимал свой высокий пост. Он вдруг закричал устрашающе: «По крайности, буржуи, признаете ли вы власть советов?» Тут уж солдаты рассмеялись совсем искренно. Туча миновала. Грозовая атмосфера разрядилась. «Власть-то! Да, признаем, милый, признаем. Чего ее не признавать? Отвяжись только, сделай милость». «Ну, то-то же, смотрите!» – потрясло пальцем начальство и, впорхнув в автомобиль, быстро скрылось, оставив после себя облако пыли и вонь отработанного бензина.

Да. Я признаю советскую власть, и – признаю не только за страх, но и за совесть… Нужна ли мне хлебная карточка, билет на собаку, пропуск на Васильевский остров, – я иду в Совдепию (оно же и претория) как раз к назначенным 11 часам утра и жду до трех появления моего владыки, а до пяти – своей очереди. Туда же – я несу деньги в уплату странных, недоступных моему пониманию и карману налогов. Вооруженному человеку я показываю по первому его требованию мой проездной билет, паспорт, фотографию, метрику и содержимое бумажника. Подымаю, по его приказанию, руки вверх и опускаю их вниз. Беспрекословно иду за десять верст рыть окопы, презирая свой атеросклероз и порок сердца, а через неделю так же послушно иду окопы закапывать. В годовщину Брестского мира и в день равноапостольного князя Владимира я вывешиваю красные флаги, или, при нежелании или бедности, плачу 500 руб. штрафа, причем, однако, мне предоставляется утлое право именоваться контрреволюционером. Если даже мне прикажут очень убедительно, то я, безоружный, пожалуй, пойду нога в ногу с вооруженными товарищами и буду громко выговаривать слова, нет новую, похабную, походную, победную песню:

Шаг вперед, шаг назад,
Полоборот направо,
Кто буржуя догрызет,
Тому – честь и слава.

Но если меня дружелюбно и пытливо спросят, уважаю ли я эту власть, я окажусь в положении воспитанной девицы, от которой впервые домогаются признания. С потупленным взором, с яркой краской на ланитах, я пролепечу дрожащим шепотом: «Ах, зачем вы домогаетесь ответа? К чему слова? Разве горячие чувства нуждаются в доказательствах или клятвах? Разве выраженные словами они не простывают, подобно раскаленному углю, брошенному в снег?»

И в глазах моих никто не прочитает стыдливого признания.

1918 г.

КУДА ПОЙДЕМ? КОМУ СКАЖЕМ?

(Фельетон)

Помню я, года за два до войны пришлось мне летом совершить очаровательное путешествие вдоль всей Финляндии, начав его в Выборге и окончив на черте полярного круга в Раваньеми.

Прелесть этого вояжа заключается в том, что большую часть пути надо плыть водою на пароходе от Выборга до Куопио по Сайменскому каналу, с его замечательными шлюзами, и по Сайменскому озеру – мимо бесчисленных островов, а потом в плоскодонной и осмоленной лодке от Ваало до Улеаборга, по страшно быстрой реке Улео, кипящей водоворотами и мчащейся местами в узком, темном ложе, между двумя отвесными гранитными стенами. Если к этому прибавить еще поэзию северного лета, немеркнущий темный свет белых ночей, огни Иванова праздника, чудесный воздух, простосердечный, милый быт далекой финской окраины, то в общем получается ряд незабываемых, нежных и радостных впечатлений.

Они усиливаются еще тем, что путник как бы догоняет в обратном порядке оставленную им у себя «на юге» весну. В Москве уже отцветают сирени, в Петербурге они в полном цвету, между тем как в Куопио не развернулись лиловые и белые бутоны, а в Ваало – только что начала распускаться черемуха. В гатчинском парке поет уже соловей, а в Раваньеми только что прилетели скворцы.

Но на всю светлую панораму этого волшебного путешествия легло в моей памяти одно черное пятно: беседа с капитаном парохода, называвшегося «Hinavessi». Это был серьезный, даже, пожалуй, несколько суровый финн, рыжеватый, в веснушках, с очень точными,

резкими и холодными чертами лица, несколько напоминавшего, судя по портретам, лицо Гамсуна. Должно быть, в его жилах была примешана значительная доля шведской или норвежской крови.

Когда-то он был настоящим, заправским моряком и совершал дальние рейсы на больших океанских судах. Но с ним случилось несчастье. По неосторожности он упал в глубокий пароходный трюм и так сильно ушиб становой хребет, что навсегда стал негодным к тяжелой морской службе, требующей прочного здоровья и, прежде всего, крепких ног. Ему пришлось перейти в спокойное озерное судоходство. Однако любимую стихию он никогда не мог позабыть и, по его словам, только потому жил в Выборге, в стороне от своего обычного рейса, чтобы видеть постоянно из окна своей квартиры море. Сказал он об этом очень просто, мимоходом, без всякой рисовки или наигранной поэтической грусти. И я сразу почувствовал к нему уважение.

Начался у нас разговор с того, что я спросил его: можно ли успеть пройти пешком расстояние между двумя соседними шлюзами, пока пароход будет подниматься наверх по этим трехэтажным сооружениям? А потом беседа развернулась как-то сама собою и дальше. Говорили мы, однако, на странной смеси из французского и немецкого языков, причем я не мог воздержаться и от употребления русских слов. По некоторым мелким наблюдениям, я был твердо убежден, что русская речь далеко не незнакома ему. Но он явно не хотел говорить по-русски, попросту – не признавал языка угнетателей своей родины.

Такое явление не было для меня новостью, и я давно объяснил его себе: с одной стороны – недоверием и антипатией финнов к обрусителям школы Бобрикова, а с другой – национальными, слегка шовинистическими чувствами молодой возрождающейся Suomi, гордо начертавшей на своем бело-голубом знамени – «Финляндия только для финнов».

Сейчас передо мною лежит роман г-жи Миккола, жены гельсингфорского профессора, известного слависта. На книжке есть благосклонная товарищеская надпись по-фински, сделанная рукою этой талантливой писательницы, печатающей свои красивые произведения под звучным псевдонимом Maila Talvio. Подпись эта относится к 1907 г., когда я впервые имел честь быть приглашенным в дом Миккола. Тогда, я помню, мы говорили с гостеприимной хозяйкой по-французски, но если временами затруднялись понимать друг друга, она изредка вставляла и русские слова, произнося их с той неправильностью, которая бывает так мила у образованной изящной женщины. Но при нашей вторичной встрече, три года спустя, она не только вычеркнула из обихода и памяти русские слова, но не хотела говорить и по-французски. Одна из руководительниц демократичес-

кого младо-финского движения – она совсем и навсегда отказалась говорить и понимать на каком-либо другом языке, кроме финского.

Без всякой личной вражды мы по-прежнему дружественно беседовали с нею… но через переводчика. Всем нам троим – г-же Миккола, магистру Калима и мне – было чуть-чуть смешна эта нарочитая серьезная комедия, хотя мы не выдали себя ни одной улыбкой. Но я не интернационалист, Maila Talvio! По-прежнему почтительно снимаю перед вами шляпу.

Разговор наш с капитаном парохода, наконец, коснулся политики, именно, русско-финских отношений. И вот он, без всякой тени озлобления, патриотического задора или воинственного пафоса, совершенно деловым тоном произнес следующую жестокую фразу: «Всем нам известно, что рано или поздно, но война России с Германией неизбежна. И как только она загорится, то вся Финляндия, за исключением горсточки русофильствующих ренегатов и помещичьей шведоманской партии, встретят немцев, как своих избавителей, с распростертыми объятиями, и окажет им самое живое содействие».

И он тотчас же привел мне причины ненависти финнов к России: нарушение Конституции, подписанной Александром I и подтвержденной Александром II, презрение к языку, нравам и традициям страны, роспуски ее сеймов, аресты ее популярнейших деятелей, разорительные таможенные пошлины, уничтожение национальной армии, тягость военного постоя, развращающее влияние русских культуртрегеров, и пр., и пр., и пр…

Я скромно возразил ему, что нельзя же смешивать русское правительство с лучшей частью русского общества, которое само исходит слезами и кровью под пятою самодержавия и в неравной борьбе с ним переполняет тюрьмы и места отдаленных ссылок. Но он спросил, что же мы, интеллигенция, сделали в защиту попранных прав Финляндии? Почему наши Думы ни разу не коснулись жгучего финского вопроса? Я ответил ему на это, что он сам должен знать о том, по каким невинным поводам и как грубо разгоняют наш парламент, как бесцеремонно сажают в «Кресты» лучших русских избранников, как связано и изуродовано цензурой наше печатное слово, и еще о многом, многом другом. Он посмотрел мне в глаза долгим взглядом и сказал, точно с сожалением: «Ну, что же. Каждая страна достойна такого правительства, какое она имеет».

* * *

Да. Мы никогда не увлекались иллюзиями. Когда заграничные соседи, будущие наши враги и союзники, заключали с нами союзы, вели дипломатические отношения, устраивали наши займы, хвали-

ли нашу литературу, делали нам визиты ради альянса или политического равновесия, любовались нашим балетом и скупали нашу церковную и кустарную старину, мы внутренним чутьем знали истинный взгляд на нас просвещенных европейцев: «А все-таки вы рабы, никуда не годные без жандарма и кнута». Или еще хуже и короче: «Русские свиньи». Ах, заслужили мы это проклятое мнение, мы, так много отдавшие самых лучших, самых молодых, самых ценных и святых людей в борьбе хотя бы за призрак свободы, хотя бы за самую плюгавенькую конституцию. И что всего обиднее, так это то, что, презирая и ругая нас, Европа делала нам улыбки – именно в лице нашего свирепого самодержавия.

И, вот, здравствуйте: у нас новое правительство. Но нам уже никто не делает реверансов. С нами считаются лишь, как с опасностью всемирной анархической эпидемии. Нашим словам и обещаниям, нашей дипломатической политике, нашей внутренней работе не верит ни один государственный человек. В нашем выздоровлении отчаялись. Весь цивилизованный мир с ужасом и отвращением глядит на пылающую, окровавленную, обезумевшую Россию, пляшущую танец каннибалов среди дымящихся развалин, смотрит и повторяет брезгливо: «Эта страна достойна своего правительства».

За что? Не за то ли, что мы так доверчиво и радостно, как дети к огню, потянулись к первому пламени свободы? Или за то, что мы так стыдимся и боимся мудрости слова «постепенность»? Или прежнее, давнишнее рабство выело из нас окончательно и гордость, и честь, и уважение к себе, и любовь к Родине, и даже простое чувство самозащиты? Или, обнищавшие души, мы без протеста, без горечи, слабо махнули рукой и совсем уж равнодушно превратились во всемирную плевательницу?

Куда пойдем? Кому скажем?

1918 г.

ЖЕЛТУГИНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

(Фельетон)

Нынешняя жизнь России – потрясающая и жалкая, фантастическая и пошлая, странная и глупая, кровавая без величия, свободная, но с револьвером у виска, – породила множество суеверов, пророков и лжетолкователей.

Доморощенные Мартыны Задеки занимаются каббалистикой слов и цифр или корпят над туманными текстами Апокалипсиса и пророка Даниила. Необыкновенным спросом пользуются книги

лжемонаха Нилуса, этого черносотенного предсказателя из Троицко-Сергиевской лавры, бредящего жидо-масонством и призывающего к погромам. Толпа на улице благоговейно внимает юродивым. Газетные Нострадамусы из бывших дьячков вычисляют на соннике и на кофейной гуще времена и сроки и предрекают близкую кончину мира.

Библейские прообразы никогда не смущали моего воображения. Мой реалистический ум одинаково равнодушен как к потустороннему миру, так и к запечатанной книге грядущего. Но меня иногда волнует, но чаще забавляет, когда меткое слово, взгляд, привычный жест рисуют всего человека – его внешность, породу и душу, и когда мелкий, но яркий штришок мгновенно освещает сложную картину быта или целую эпоху. Как странно наблюдать повторяемость разновременных событий и отмечать их подобие то в поразительном сходстве, то в карикатуре, то в преувеличении, то в уменьшении до микроскопических результатов.

Тут сама жизнь как бы становится перед вашими глазами пророческой, хотя, конечно, без всякого закулисного участия провидения.

Одно из таких замечательных и сравнительно недавних явлений – Желтугинская республика. Ее краткая двухгодовая история с удивительной ясностью показывает, как просто, спокойно, умно, справедливо и великодушно может русский народ самостоятельно слагать вольную общественную жизнь на извечных артельно-вечевых началах и как, по натуре своей, он, воистину, социален и демократичен. Но она также свидетельствует о полной неспособности этого народа к финансовой, дипломатической и военной политике, ко всему, что «от диавола».

Эта своеобразная республика основалась в 1884 году на безвестной реченьке Желтуге, на границе России и Китая. Необычное богатство золотых россыпей (на 100 пудов породы до 1 S ф<унта> шлихтового золота; самородки до 5 фунтов) привлекло туда огромное количество народа; из кучки пионеров в 300 человек через полгода возник поселок с 12-тысячным населением. Приходили ссыльные, беглые, каторжники, хлебопашцы, купцы, чиновники, шулера, кабатчики, отставные военные, казаки, маньчжуры, китайцы. Русские сбивались в артели, человек по двенадцати. Азиаты составляли отдельное общество. Однако раздоров не было.

Артельное начало само собой давало уже материал к самоуправлению. Весь прииск разделялся на участки, которыми ведали участковые старосты. Их возглавлял старшина с властью президента или председателя. Пятеро участковых судей судили гласно, строго, быстро и справедливо. Важные дела решались на сходе, на

«Орлином поле», куда глашатай собирал поселок, громко трубя в трубу. Там же и казначей предъявлял во всеуслышание свой счет. Там, на «Орлином поле», царствовали порядок и тишина: галдеть и прекословить не полагалось, это знал всякий.

Желтугинские законы, вывешиваемые на столбах, были кратки, но драконовски жестоки. Убийцу живым закапывали в землю. Вор, помимо наказания 500-ми розог, навсегда изгонялся из Желтуги. Неповиновение, драки, буйство также наказывались телесно. Никто из желтугинцев не имел права выходить на работу в нетрезвом виде, хотя вне работы и схода процветало великое, всеобщее пьянство. Замечательно было отсутствие алчности или недоброжелательства к новым поселенцам. Их принимали охотно, размещая заботливо; ни у кого не было боязни, что золота не хватит…

Рядом с бесшабашным разгулом в Желтугине господствовало уважение к чужим правам и чужой собственности. Товар и провизия оставались на улице без присмотра. Дома не запирались. Никому и в мысль не приходило, что может что-нибудь пропасть. Изгнание с прииска считалось хуже смерти.

Не забывали и Бога. Из ближайшей станицы Покровской наезжал не один раз священник исполнять требы. Настоятель из г. Читы, о. Петр, посетив Желтугу, вывез на 3000 р<ублей>. пожертвований для своего прихода… Не правда ли – идиллические нравы и времена? Заметьте еще, что женщин сначала вовсе не допускали в Желтугу. Они появились, и то в малом числе, лишь в середине 1885 года.

Но вот, в 1886 году китайское и русское правительства обратили внимание на молодую республику и решили положить конец хищническому добыванию золота. Надо, однако, сказать, что, против обычая, русские власти проявили в этом деле очень много такта, добродушия и внимания; очень вероятно, что желтугинцам и удалось бы сговориться с ними на каких-нибудь общих уступках. Главный почин и всю жестокость разорения желтугинского гнезда взяло на себя китайское начальство.

Достойно удивления: сильные, влиятельные и богатые артели – Семейская, Благовещенская, Гармоновская, Зыковская и другие, не смогли и не сумели дать китайцам отпора. Они без сопротивления покинули свою республику многочисленными отрядами.

Позднее желтугинцы спохватились. Соединясь в два отряда, они двинулись обратно на прииск, который к этому времени уже представлял из себя груды дымящихся развалин, устланных изувеченными трупами. Обоими отрядами распоряжался главнокомандующий, некто «господин военный», отставной телеграфист Крей-

тер, который, однако, не выказал ничем тактических дарований. Так, захватив большой отряд заснувших китайских солдат, отлично вооруженных скорострельными ружьями, он не знал, что делать с этими военнопленными, и, наконец, решил отпустить их с оружием и лошадьми.

Китайский отряд стянулся и занял позицию в боевом порядке. Вся храбрость покинула военного телеграфиста, и он прибегнул к «военной хитрости»: послал в китайский лагерь парламентера, фельдшера Ромбаха, сказать, что мы-де пришли убрать трупы товарищей. Китайский генерал принял посла надменно, но трупы убрать позволил… Обрадованные авантюристы устроили привал, выпили, закусили и по распоряжению своего фельдмаршала отправили во главе с самим Крейтером новых депутатов, которые должны были прямо объяснить цель своего прихода и просить разрешить копать золото.

Но на этот раз генерал совсем не принял посланников, а, приказав их задержать вместе с их фельдмаршалом, окружил русских. Китайцы, желая вызвать наших на кровопролитие, кричали: «Ну, стреляйте, стреляйте, война, война». Русские долго и молчаливо жались. Вдруг кто-то крикнул: «Ребята, спасайтесь, кто может!» Вся масса бросилась врассыпную, избиваемая китайцами, и бежала 17 верст без оглядки и только в виду нашего селения Ашазора очнулась и разглядела, что ее гонят 15 китайцев. Крейтер с другими предводителями были сданы русским властям.

Таким бесславным эпизодом окончилась история удивительной Желтугинской республики.

1918 г.

ВСЕ КАЧЕСТВА

(Фельетон)

«Пуришкевич относится с уважением к нашей власти», – решил совнарком и, польщенный, выпустил Владимира Митрофановича на свободу.

«Дело было вовсе не так, – возразил Пуришкевич, выходя из тюрьмы и закуривая сигару, – я вовсе не расшаркивался перед большевиками и не рассыпался в комплиментах. Я только сказал, что они в настоящее время представляют собою в России единственную твердую власть».

Вот с этой-то оговоркой Пуришкевича я и не согласен. Если хотите, жесткая власть, но, во всяком случае, не твердая… Власть

в руках правительства – то же, что повод в руке всадника. Повод может быть твердым, как сталь, но и эластичным, как резина, и нежным, как шелковая нитка, и освежающим. Жесткая власть уместна разве только при карательных экспедициях, но не против кротких буржуев, так же, как и жесткий повод употребляется лишь для усмирения бешеных и порывистых лошадей.

Продолжая эту иппическую аналогию, я представляю себе Россию и ее нынешнее правительство в таком виде: на мохнатой костлявой лошаденке, ошалевшей от голода и ужаса, мчится огромный, осоловелый солдат, болтая локтями и пудовыми сапожищами, свистя и причмокивая во всю улицу, раздирая до крови рот бедному одру и лупя его кнутовищем по чему попало: по ушам, по глазам, по бокам, по храпу.

Я не вижу в такой власти и особенно ярких признаков законности, необходимых, чтобы называть ее властью, той законности, которая хоть и в слабой, призрачной степени почивала на правительстве Керенского. Генеалогия власти большевиков начинается с октябрьского разгона Думы.

Правда, мировая история знает счастливые случаи узурпации власти, когда над избранниками сияла особая приятствующая звезда, а народное благоволение незримо благословляло их. Но зато это были они, прозорливцы, ценные гребни многомиллионной воли – Цезарь, Наполеон. О Наполеоне сказано: ему следовало или вовсе не родиться или жить вечно. К Троцкому это замечание применимо лишь наполовину.

Государственная власть должна пользоваться весом и уважением в других странах. Мы лишь из случайных бледных источников можем судить о том презрении и отвращении, которое к нам чувствуют союзники. Что касается до немцев, то с нашим правительством они считаются так же, как считались бы с дикарями.

Государственная власть должна быть чистой, но мы видим слишком часто ее представителей опозоренными и заклейменными. Троцкий сказал как-то: к нам, людям высокой идеи, примазались проходимцы, жулики и преступники. Одного человека раздели догола, вымазали дегтем и вываляли в перьях, а он говорит: ко мне пристало несколько пушинок.

Власть должна быть и опрятна.

Мало ли на какие суровые, подчас ужасные шаги может толкнуть правительство государственная необходимость, но власть никогда не должна марать себя невольным сотрудничеством с убийцами, случайным попустительством насилию, неосмотрительным укрывательством преступников.

Убийцы Шингарева, Кокошкина, Янушкевича, Генглезов, множества священников, генералов, офицеров и пр. Где вы теперь? И кто вы: краса и гордость революции или презренная дичь для виселицы?

Власть должна обладать способностью планомерно и умело проводить в жизнь свои требования. Но наша власть мечется во все стороны без смысла и без причины, как хорек в позолоченной клетке. Хлеща кнутом по буржую, она выхлестывает глаза рабочему. Вчера нас приглашают сражаться за интернационал, а сегодня зовут умирать за добытую кровью «пролетарскую» родину. Сегодня разоряют банки, в видах их национализации, а завтра стараются восстановить разрушенное, подобно ребенку, который хочет слюнями приклеить кукле отбитую голову. Социализнув храбро землю, замолчали об этом в тряпочку.

Мы решаемся защищать красный Петроград до последней капли крови, мы называем лжецами и сплетниками всех тех, кто распускает слухи о нашем намерении перебраться в Москву, и в те же дни складываем чемоданы и отправляемся в Москву.

В шахматной игре попадаются иногда препротивные партнеры, которые способны довести нервного игрока до скандала. Они суетятся, по нескольку раз переменяют ходы, хватаются то за одну, то за другую фигуру, путаются, изворачиваются. Но самым лучшим их ходом бывает, когда они вдруг со смущенною улыбкою признаются: «Послушайте, а, ведь, я, собственно говоря, того: никогда не играл в шахматы. Я так себе. Для пробы пера…»

Власть должна быть серьезной. Казаться или быть в смешном положении для нее равно смерти. Народу, издыхающему от голода, в полуобмороке от потери крови, предложили первомайское гулянье с шутовскими колпаками, дурацкими бубенцами, ночными фейерверками, водяными столбами, декоративными плакатами и панно. Улицы, площади, пароходы, автомобили получают новые клички в духе революционной свободы, и жалко смотреть, как в неуклюжей сыроводородной бледности бездарного вымысла стираются, опошляются, выцветают огненные слова: свобода и революция. Троцкий со своим сногсшибательным изобретением новой формулы: «Мы мира не заключаем, а воевать не будем»; Карахан, с гордостью заявляющий: «Подписал, не читавши»; Крыленко, обвиняющий Дыбенко в неумелом командовании и тут же, на суде, аттестуемый свидетелями как из рук вон плохой стратег; свадебная поездка Коллонтай; тот же Троцкий, неизбежный, вечный в цилиндре и в глубоких галошах, распекающий армию: «Что? Шевеление? Чтобы у меня этого не было!» – все это, прости Господи, и смех и грех!..

Скверно, когда вооруженная власть расправляется над безоружными манифестантами. Пагубные последствия этой истины испытал на себе Николай II. Один из матросов, убийц братьев Генглезов, совал мальчикам в глаза и в рот револьвер и кричал товарищам: «Вы их у меня не отнимете! Чтобы спасти их, вы перешагнете через мой труп! Это мои революционные трофеи: я давно жаждал убить от своей руки офицеров!..»

Правда, по стилю видно, что матрос читал плохие романы, но мысль, которую он облек в такие пошлые слова, принадлежит не ему.

Наконец, во власти, даже самой крутой, пленяет иногда ее бесстрашие. Бесстрашна ли нынешняя власть? Она боится печати гораздо больше, чем ее боялись дряхлые ходячие песочницы бюрократического режима.

Наконец, я должен сказать еще одно. Я не сомневаюсь в честности советской власти, но вот печальное последствие ее усердия и несуразности. Вся ее внешняя политика, как будто нарочно подготовляла и упрочивала, а теперь, как будто, назло, еще цементирует победное торжество Германии. Вся же внутренняя политика точно умышленно разрушает и истощает Россию. Если бы мы заведомо не знали людей Совнаркома за людей кристальной чистоты, то, право, со стороны можно было бы подумать, что отдельные лица получают за свои тайные заслуги от кого-то благодарность.

Вот и все отрицательные качества теперешней власти, которые я хотел перечислить. Их не особенно много. Без ошибок и не обойдешься в молодом, святом и горячем деле. Да к тому же они поглощаются массою других прекрасных и возвышенных свойств, которые блестят, как алмаз и звенят, как золото. И потому-то, вместе с Пуришкевичем, я признаю, хотя и не твердую, но все-таки, власть советов и отношусь к ней с уважением, которое она заслуживает.

1918 г.

ГДЕ КОНЕЦ?

Ежедневно, по несколько раз, задают мне один и тот же вопрос люди знакомые, полузнакомые и просто случайные встречные в вагоне.

– Скажите, чем же все это кончится?

И, право, каждый раз я нахожусь в весьма затруднительном положении. Отмахнуться от этого скорбного, настойчивого, умоляющего вопроса, отделаться от него пожатием плеч, шуткой или

вздорным пророчеством – я не считаю возможным. Сказать «не знаю» – значит, ничего не сказать. Хорошо было бы найти хоть самую слабенькую точку опоры, хотя бы какую-нибудь сомнительную аналогию в исторических событиях прошлого. Однако ничего даже чуточку похожего на охвативший нас ужас, падение, безумие, обнищание, трусость, подлость, жестокость и глупость, ничего подобного история не знавала. Но зато я также не позволю себе вместе с некоторыми газетами выкликать уныло и злорадно:

– Да. Россия при последнем издыхании. Россия гибнет. Россия погибла. России нет.

Потому что большинство газетчиков черпают свой запас наблюдений из созерцания соседнего брандмауэра на шестом этаже, свой опыт – из сосания собственного пальца и ковыряния в носу, свои знания – из беглого чтения множества книг и неустанной болтовни по редакциям.

Меня не тянет больше ни к политике, когда стынет душа, ни к брани, когда хочется плакать, ни к иронии, когда мутит от смрада и крови. И вот, вопреки здравому смыслу, я все-таки пытаюсь разобраться в том безобразном клубке, в который спуталась нынешняя русская действительность, ощупью стараюсь прислушаться к сокровенному, замирающему пульсу страны…

И лишь в одном, пожалуй, еще никем не оцененном, во всяком случае, мало отмеченном явлении я провижу какой-то крошечный или едва теплящийся огонек надежды. А именно: мы далеко не в той великой мере отчаялись, до какой нас должно было бы довести наше прогрессирующее скольжение в бездну. Не считая базарных вестунов и зловредных сплетников и трусливых сеятелей паники – я почти совсем не встречаю (газетчики не в счет) людей, окончательно потерявших душевное равновесие и с головой погрузившихся во мрак безнадежности. Мне теперь нередко случается встретить человека, с которым я не виделся в течение, скажем, года. Не знаю, как это точнее выразить словами… но какое-то сложное чувство стыда, боли и жалости охватывает меня, когда я вижу его обвисшие, пожелтевшие щеки, запавшие глаза, поседевшую голову – все эти следы быстрого и жестокого разрушения. Он, конечно, скулит и ноет, как все мы. Но, спустя малое время, я подхожу ближе, нежнее и плотнее к его душе и спрашиваю:

– А теперь скажи мне… Ну вот, приблизились мы к пределу возможного, к самой последней границе терпения. Скажи мне по совести, много ли, соразмерно с ужасом нашего положения, ты встретил людей окончательно унывших, бесповоротно выбитых из надежды на спасение?

И в глазах его я вижу мягкий, робкий свет, когда он отвечает: «По правде сказать, не так уж много… Да, да, гораздо меньше, чем можно предположить… Правда, во что-то еще веришь.. Там где-то… Глубоко… Внутри».

Этот вопрос за последнее время я задал сотням людей и всегда получал такой же, согретый тихой, неуверенной теплотою, ответ. И все опрашиваемые мною, подумавши внимательно, проверив внутреннюю массу впечатлений, удостоверяют, что людей, бесповоротно отчаявшихся, они, как будто, не встречали…

Это не чаяние чуда. Чудо может быть только от Бога. Но Ему, в Его неизмеримом величии и непостижимой нам мудрости так же неуместно сострадать нашим бедствиям, как и мстить громовым ударом тому митинговому хлысту, который публично вызывал Его на единоборство.

Но я глубоко верю в то, что существует на свете и еще не умерло в России национальное чувство и что еще жива коллективная, недоступная пониманию огромная душа народа. Ей свойственны жизненные инстинкты, и глубокие предчувствия, и бессознательная вера, превозмогающие самые чрезмерные физические страдания тела.

И в этом мой ответ на тот постоянный вопрос, который мне задают ежедневно: «Ах, чем же все это кончится?»

Ибо именно теперь каркать о гибели родины так же позорно, как покушаться на самоубийство оттого, что пьяный и буйный раб оплевал порог твоего дома.

1918 г.

ПИСАКИ

(Фельетон)

Позвольте… Кто это на днях назвал нас писаками? Кто, маститый, прославленный и надменный, – приклеил нам эту уничижительную, обывательскую кличку, ляпнул ее нам в лицо, в озлоблении на то, что мы, честные журналисты, люди с негнущейся спиною и с горячей любовью к родине, осмелились, пользуясь республиканской свободой слова, робко критиковать действия наркомов, нархозов, советов, румчеродов и красармов, что мы вопреки ласковым увещаниям не стремились в земной социальный рай, куда неучи гонят Россию прикладами, пулеметом, голодом и словоблудием, что мы сомневаемся в возможности существования двух правосудий, как сомневаемся и в том, что между двумя точками мыслимы два

различных кратчайших расстояния, или что истина двулика, что мы наконец в своей детской наивности, называем вещи и явления своими именами: кровь – кровью, воровство – воровством, холуйство – холуйством, невежество – невежеством, а нынешнюю военную мощь России – истерической бледной немочью.

Кто? Во всяком случае, словечко исходило от лица официального, потому что вкраплено оно было в полудекрет, помещенный во всех, всех, всех буржуазных газетах, помещенный ниже подзаголовка: «печатается на основании временных правил о печати».

Кто же, наконец, этот высокомерный остряк? Может быть, кряжистый и колоритный городничий Антон Антонович Сквозняк-Дмухановский? Нет, у него стиль сочнее и не так пошл. «У, щелкоперы, бумагомараки проклятые!» Значит, не городничий, а кто-то другой?

* * *

Во все века и у всех народов подвергались борцы оппозиции жестоким гонениям. Но торжествующее большинство опошляется. Но толпа, даже опирающаяся на чистую и великую идею, ленива и низменна в своем недоброжелательстве. Что значат ее словесные укусы избиваемому, но презирающему меньшинству? Народ недаром говорит: «Не укусил, а послюнил».

Шевалье де Роанн за меткую политическую остроту приказал своим слугам прибить палками Вольтера, а так как этого показалось ему мало, сумел засадить поэта в Бастилию. Мопертюи (впрочем, может быть, и Фрерон), после великолепной защиты Вольтером имени и чести неправо казненных супругов Монбальи назвал его лакеем лакеев.

Когда Золя с героической, благородной пылкостью выносил на своих плечах позорные дни Дрейфуса, весь черный Париж ходил по улицам, скандируя на распев два подлых слова: Conspuez Zola! (Оплюем Золя!).

Помрачилось ли от этих плевков прекрасное имя великого вождя реальной школы?

Кем были Радищев и Новиков в глазах похабного табуна екатерининских эталонов*. Как презирал Пушкина за его писательство двор Николая I!.. А когда казнили, таскали по вонючим предварилкам и ссылали на каторгу – наших светочей, нашу совесть, наших чудесных писателей – страстотерпцев, разве не ржал, почесывая пузо, сытый обыватель, слушая пакостные, клеветнические анекдоты из их личной, интимной жизни? И разве не было в глухих медвежьих углах привычным смехотворным развлечением бить

«скоропадента», «писаку» – этого честного, наивного, полуголодного и страстного обличителя?

Ну что же. Мы – писаки. Но мы находимся в чистой, талантливой и великодушной компании. И опыт веков дает нам твердую уверенность в том, что ни копытами жандармских лошадей, ни ктиторским жирным задом, ни уменьшенным хлебным пайком не задавишь и не задушишь свободного, правдивого, гневного слова.

А прозвище? Черт возьми! Когда к герцогу Альба пришли с прошением бедно одетые сыны попранной Фландрии, кто-то из придворных остряков назвал их брезгливо гёзами (нищими). И пламенные борцы за свободу страны приняли эту кличку, как священное боевое имя.

Вот вам и писаки!

Оклеветанные, оплеванные и бессильно осмеянные имена сияют в столетиях, как немеркнущие звезды. А где имя Видока Фиглярина? Где имена Пинара и Стамира, лизоблюдов Наполеона III; политических и литературных шавок, облаивавших Рошфора? И где неистовый Карл-Амалия Грингмут?

* * *

Да, мы писаки. Но, в заключение, позвольте маленькое пророчество.

Те из нас, кому теперь лет 30-40, имеют несколько шансов прожить еще столько же лет. И я воображаю, как они, тогда уже седовласые крепкие дедушки, будут рассказывать своим внукам о теперешних событиях. Давным-давно их кровавые и смешные легенды потеряют последнюю каплю достоверности даже в детском смелом и остром внимании… «Ну, опять заплел дедушка свои небылицы в лицах…» Но старость болтлива. В угоду непоседливым слушателям, минуя все самое страшное и неправдоподобное, хотя и верное, как истина, дедушка попробует рассказать самый пустяковый невинный анекдот.

«А то еще были процессы оппозиционной печати. И закрывали они одну независимую газету за другой. И, наконец, закрыли все, до единой. «Теперь, думали, повалит к казенным газетам читатель, как рыба во время икромета». Ан, глядь, никого. Только всего и читателей, что редактор, да какой-то глухой родственник, да преданная старуха кухарка Секлетея. Сотрудники и те читали лишь подпольные издания».

Но тут самый младший внук, крепко ударив литым мячом о пол, воскликнет: «Да будет вам его слушать. Все путает старичок. Где это слыхано, чтобы в социалистической республике свободную печать душили».

* * *

Не робей, малое стадо!

**Etalon – образцовая мера, жеребец (примеч. автора)*

1918 г.

БЛИЗКОЕ (Письмо В. Г. Тану)
(Фельетон)

Я Вас понимаю, глубоко и нежно мною уважаемый Тан. У Вас не было случайно темы, и Вы нашли зацепку в моем фельетоне и написали Ваше жестокое пророчество под заглавием «Сумерки богов». Ну, что же. Я очень рад и тому, что мои слова дали Вам возможность полакомить публику блестящей, страстной, хотя и парадоксальной статьей, с доводами которой я, однако, не могу согласиться, с ее начала до конца. Возражаю же я Вам только потому, что Вы, по моему мнению, немножко преждевременно уморили с голоду и притом в очень короткий срок себя, меня, а также подписчиков и читателей газеты «Молва».

Прежде всего, предоставим ссылки на историю в распоряжение тому полуграмотному митинговому дилетантизму, который, например, установляя аналогию между кровавой, но великой французской и маленькой, но грязной русской революциями, как бы уподобляет вскрытие злокачественного нарыва извержению Эребуса. В математике есть один, весьма изящный прием: если несколько рядовых случаев подчиняются видимой закономерности, то наклевывающийся закон только тогда может быть утвержден незыблемо, если мы сумеем доказать, что энный и эн – плюс – первый случай подчинены таковому же порядку. Но, увы! – Земной шар так малолюден, а опыт веков так молод, а старательные летописцы так много врут, что гадание даже на Шлоссере и Момсене равняется в моих глазах предсказанию на кофейной гуще.

И мне вовсе не стало бы жалко, если бы погибла та европейская культура, которая заключается в паровозе, автомобиле, кинематографе, телеграфе и граммофоне и которая только понапрасну уторапливает, опошляет, усложняет и ожесточает жизнь. С ее падением люди опять приникли бы к благостной земле. Но в том-то и дело, что мир никогда уже больше не выкарабкается из-под гнета машины. По Тану, если я не ошибаюсь, одна машина разрушения будет пожирать другую, а другая третью и так далее, до тех пор, пока земля не оголится вовсе и по ней не заскачет в буйном веселье

обнаженный «Homo novus», потрясая обглоданной берцовою костью прадедушки. А потом придет новая культура и опять начнется сказочка про белого бычка. Ах, до этого времени остается еще десять тысяч лет. За такой предел ни мое любопытство, ни моя пылкая любовь к грядущему человечеству не заглядывают.

Я говорил лишь о близком времени, когда говорил о том, что собирательная душа России жива и тронута не гангреной, а поверхностной плесенью. Я ответил не пытателям мировых судеб, а маленьким, суетливым, нынешним, будничным людям, страдания которых меня волнуют. Если бы я был Таном, умеющим рассматривать человечество на расстоянии исторической перспективы, то я не удержался бы и шагнул бы дальше. Я сказал бы: зачем копошитесь? Один год и миллион лет, а также и миллиард миллиардов столетий равно мгновенны в вечной истории мироздания. Сгорим? Замерзнем? Напоремся на иррациональную орбиту другой планеты? Все равно погибнем. Черта ли думать?

Я говорил о моем родном народе. Оттого, что моя святыня оплевана и чужими и своими, она не перестала быть для меня дорогой. Я никогда, во время народничества, не вешал в красном углу Климову подоплеку, ныне замененную портретом почтенного издателя «Нивы». Но вопреки Бунину, Горькому и автору «Наше преступление», фамилию которого я забыл, я верю в разум, живучесть и глубокое христианство мужика. От него я и вел мои надежды, когда талантливый Тан временно помешал мне высказаться, вынудив меня к полемике. Но к этой мечте я все-таки вернусь.

Знаю ли я рецепт, или вернее, неизбежный путь спасения? Отвечу твердо: знаю. Знал и раньше, но не говорил по тысяче причин. Нет, нет, это ни Романов, ни Гогенцоллерн, ни чудом прозревший Ленин, ни Сибирь, ни союзники, ни самозванец. Секрет в том, что народ (настоящий, серый, земельный народ, а не тот воображаемый, имя которого еще поминают декреты) рано или поздно возьмет все русское хозяйство в свои корявые, но крепкие руки. А покуражился он уже досыта. Будет.

Но если бы даже у меня и не было этой теплой и твердой уверенности, я все-таки не стал бы каркать о гибели страны. Я предпочел бы трижды быть самому повешенным, чем очутиться в положении прокурора, который утром будит приговоренного к смерти словами: «Потрудитесь совершить ваш последний туалет».

И еще одного места в иеремиаде Тана я никак не сумел разжевать. Умертвив – и не далее как в 1912 году – себя, меня и читателей голодной смертью, он прибавляет: «Поделом вору мука». Кто же этот вор: Вы, я или читатель? Вас во всяком случае этим полупочтенным именем назвать нельзя. За Вами большое и светлое бунтар-

ское прошлое и прекрасный литературный багаж, в котором одна только повесть «Восемь племен» достойна академических лавров. Не читатель ли? Но я не думаю, чтобы Вы отважились так поносно бранить того человека, хлеб и соль которого мы с вами едим.

Остаюсь один я. И в горестном недоумении развожу руками: «За что меня так жестоко обложил милый добрый Тан?

1918 г.

БЕРЛОГА

(Фельетон)

Очень, очень давно, мне кажется, лет двести тому назад, еще в эпоху царствования низложенного, скорбного главою царя Додона, случилось вашему покорному слуге писать беглые очерки о Финляндии. Перечислив все положительные черты финнов, их крепкое здоровье, их уважение к детям, их огромную любовь к своим гранитам, соснам и озерам, их, подобную японской, легкую восприимчивость ко всему полезному в чужой культуре, я (конечно, попутно) намекал усердным обрусителям Финляндии, что насильственная задача их также щекотлива и бесполезна, как, например, покушение задавить голым сиденьем ежа.

Помню, какой-то самоуверенный фельетонист из официальной русской газеты остроумно заметил: «И придумал же Куприн странное занятие – садиться на ежей, раздевшись».

Однако вчерашний день показал с жестокой наглядностью всю колючую справедливость моего грубого сравнения. А мы ли не хвалились уничтожить крошечную страну в один присест?

Мы много чего нахвастали перед лицом истории и мира. Так однажды мы воскликнули патетически: «Да. Мы подписали поистине похабный мир. Но это временная передышка, необходимая для устройства дел семейных. Однако, горе тебе, о Германия, если ты нарушишь хотя одну йоту Брестского договора. Священную войну объявим мы тебе, жестоковыйная!»

И Малороссию собирались мы вернуть к федеративно-республиканско-советскому порядку, встряхнуть ее могучей дланью, одетой в железную перчатку. Вышло ли из этой похвалы что-нибудь путное, кроме того, что мы лишены керосина, угля и пшеницы. Мне возразят: но за спинами Финляндии и Малороссии стояла Германия. И на это отвечу: везде, во всякой веревочке современного мирового театра красных марионеток, чувствуется дерганье германской лицемерной

руки.. Всюду, за исключением Сибири. Но почему же не предположить, что и там за кулисами незримо орудует дюжая желтая рука?

Мой здравый смысл отказывается верить в возможность объявления войны Сибири. Это карательная авантюра, предпринятая вглубь суровой и богатой страны, с растянутой чуть ли не на четверть земного шара коммуникационной линией, при однорельсовой железной дороге, при давнишнем враждебном отношении к русским монгольских племен, при несомненном выступлении Японии, грозит новым позорным и кровавым крахом.

А, главное, бесцельным крахом. Спрашивается: ну, какая же в самом деле, серьезная причина для объявления войны Сибири? Оказывается, Сибирь, видите ли, свергла Советскую власть. Ну и Бог с нею, с этой далекой и глупой Сибирью. Почем знать, может быть, ей по этнографическим, климатическим и другим условиям власть Советов не с руки? Зачем же навязываться, проявляя ревность, чувствительность, нервозность и обидчивость? Тем более, что отказываясь от советских благодеяний, Сибирь вовсе не хочет порывать с западной Россией ни духовной, ни коммерческой связи.

Сибирь ясно и толково отвечает на воинственные ноты: «Лучше не будем драться. У нас, у чалдонов, есть такой обычай. Зимою, по ночам мы выставляем за окно на наружный подоконник такие хлебы, савостейки, нарочно для бродячих варнаков. Он пройдет своим каторжным, беглым путем, хлеб сунет в мешок, а жителей за то не тронет. Ну и житель его, конечно, не выдаст. Вот, как мы щедры. Не цепляйтесь к нам, тогда у нас и для вас савостеек хватит досыта. А надо еще и то припомнить, что Сибирь населена крепкими, кондовыми людьми, потомками неуживчивых, дерзновенных бунтарей, фанатиков старой веры, неутомимыми охотниками и стрельцами, не особенно высоко ставящими ценность человеческой жизни. И стремиться с ними к бою, это уже не покушение усесться на ежа в неудобной позиции, а нечто более рискованное. Это значит пойти в берлогу к матерой, только что проснувшейся медведице, ждущей гостя с пестуном и медвежатами…

Вспомните-ка вы, Аники-воины, легендарные сибирские стрелковые полки.

1918 г.

ВСКЛАДЧИНУ

Одна из бесчисленных русских сект, не могу теперь вспомнить какая именно, доводит протестантское учение о спасении верою до

абсурда: всякое, даже самое тягчайшее преступление – убийство, кровосмешение, хула на Духа Святого – все тебе прощается сполна и на веки вечные, если ты хотя бы внешне усердствуешь в молитве. («Бегуны» – те идут еще дальше, до признания необходимости греха, как повода к покаянию).

У иных большевиков нечто вроде этого. Убийство, растрата, клевета в печати, самое чрезмерное злоупотребление властью, взяточничество, вооруженный грабеж – все находит смягчение, оправдание, все сводится на нет, если виновный сумеет произнести более или менее членораздельно три великие формулы:

– Вся власть советам.

– Смерть буржуям и контрреволюционерам.

– Да здравствует пролетариат.

Мало того. Достаточно лишь гласного публичного исповедания этого краткого символа веры, чтобы человека сразу осенило вдохновение к исполнению таких государственных обязанностей к которым он ни по своему образованию, ни по прошлому житейскому опыту, ни по умственному багажу не имеет никакого касательства. Бывший метранпаж может встать во главе военного госпиталя, товарищ Сара – сделаться командиром армейского корпуса, закройщик – цензором, фармацевт – флотоводцем, курьер – директором банка и т.д. Все это уже чудо, нечто вроде сошествия огненных языков.

Таким-то образом высшее руководительство средней школы попадает в честные, корявые революционные руки бывшего училищного столяра или бывшей судомойки. «Умеешь свое фамилие подписать?» – «Немножко могу». – Валяй. Остальное приложится от твоего учения. Таким образом школе грозит не только зараза безграмотности, но и опасность партийного сыска, и утеснение инакомыслящих педагогов, и вся возможность прачкиного самодурства. И все это, конечно, получит название новой, революционной, пролетарской педагогики.

Но что поделать. Учение необходимо, а власть советов продержится еще, Бог знает, сколько времени. В этом-то колючем положении я и даю родителям очень простой, но практически-верный совет, почерпнутый мною из недавнего русского прошлого.

Всем известно, какое гнусное зло представляла из себя в монархически-бюрократическую эпоху пресловутая процентная норма для еврейской молодежи, ищущей образования. Попасть в гимназию еврейскому мальчику или девочке было труднее, чем канату пролезть в игольное ушко, да, если они чудом туда и попадали, то учение в гимназиях черты оседлости, где педагогический персонал почти сплошь состоял из ярых жидоедов, было тоже не сахар.

Был один только путь: подготовляться дома и держать экзамен на аттестат зрелости экстерном. Можно вообразить себе, как эта система была неудобна, дорога и с какой излишней напрасной затратой умственного напряжения она была соединена.

И вот умные настойчивые одесские евреи придумали, выражаясь одесским языком, – свежий выход.

Они среди своих многочисленных знакомых подбирали достаточно необходимое количество мальчиков или девочек, собирали вскладчину деньги и нанимали на весь учебный сезон наиболее просвещенных, умелых и еще не утерявших «духа живого» учителей. Занятия происходили поочередно, то в одной, то в другой семье. Много значил негласный и очень деликатный родительский контроль. В общем, такая система образования вскладчину давала блестящие результаты, которые ясно сказывались на выпускных экзаменах.

Если нас и наших детей уж очень сильно угнетают судомойки, – ну, что же! – придется прибегнуть к одесскому «свежему выходу».

1918 г.

ЗАКОННЫЙ СРОК

Со времен седой древности знает мир этот величавый и страшный обычай. У порога храма, в пыли и прахе ложился лицом вниз, распростерши руки, кающийся преступник, или отважный дерзатель, и входящие в чистилище попирали его тело ногами. В католической церкви отчасти остался след этого всенародного покаянного подвига, в виде лежания «крижем» (крестом) на церковных плитах в дни Страстной недели.

В день открытия Учредит<ного> Собрания, когда уже заранее был предрешен его разгон, именно таким образом лежал на паркете Таврического дворца Ленин. Тогда в народе очень много и разноречиво толковали об этом горизонтальном жесте. Для меня же он сразу был ясен во всем его древнем, трогательном значении.

М. Горький как-то, в одной из своих статей, вскользь заметил, что он увидел в России совсем не того Ленина, которого знал раньше. Эти слова, помню, дали повод к вздорным кривотолкам.

Среди доверчивых читателей, которым «печатный каждый лист быть кажется святым», пошел темный слух, что из заграницы приехал к нам совсем не тот известный Ленин, что настоящий Ленин умер в Женеве, а его именем назвался будто бы «подкупленный немцами жид».

Но в том-то и дело, что лежал на полу самый подлинный Ленин, он же Ильин, он же Тулин, он же Ульянов, он же увеличенный в тысячу раз Шигалев из «Бесов», фанатик идей, идущий неуклонно и, по-своему честно, к ее крайним выводам, вплоть до абсурда. Ульянов, который по свидетельству М. Неведомского, еще в середине восьмидесятых годов, будучи студентом Казанского университета, страстно и упорно мечтал о захвате огромной власти для насильственного проведения в жизнь утопических планов.

Повергший сам себя на паперть государственного храма, вот что – представляется мне – говорит он без слов в эти странные минуты: «Я знаю, что более ста лет русское общество всеми помыслами стремилось к созыву Учредительного Собрания, не смея назвать вслух эту запретную, священную, недосягаемую мечту. Я знаю, что завтра русской душе будет нанесен ужасный, почти смертельный удар. Но я также предвижу, что Учредительное Собрание явится лишь нерешительной полумерой, будет готовой опорой для будущей реакции, сведет на нет все возможности счастливого случая, повторяющегося раз в тысячелетия, обесценит народную кровь и героические усилия. И, вот, разбивая великие и святые, но узкие надежды настоящего – ради величайших и святейших планов широкого будущего, я бестрепетно беру на себя одного всю тяжесть ответственности.

Я лежу здесь, на полу, в позе унижения и скорби. Роковая необходимость заставляет меня причинить вам страшную боль. И пусть толкнет меня ногою каждый, в чьем сердце кипит справедливый, но близорукий и немудрый гнев.

От того момента прошло почти девять месяцев – законный срок для того, чтобы семя дало плоды. Но мы ничего не видим, кроме мрачной и кровавой фантасмагории, безвыходного тупика, неслыханного позорного унижения, обнищания, голода.

Прежние устроители русской жизни, Бог им прости, упивались – о, да, конечно с самыми светлыми намерениями! – праздной и бесцельной болтовней. Стоя среди рождавшегося народа, они учили друг друга, ссорились, спорили, толковали, все разом и поодиночке, о гибельности огня и полезности воды и зловеще топтались на месте. Большевики, возглавляемые Лениным, наоборот проявили через советы пламенную энергию. Они не только выпустили миллион декретов, которых с избытком хватило бы для окончательного разрушения всей нашей планетной системы, и проводили их мгновенно в исполнение. Они лили бочками бензин и масло в полыхавший пожар. «Сожжено все старое, – кричали они в буйном упоении – и на развалинах его построим новый, прекрасный мир!.. Из чего построим? Из воздуха? Из нета? Из така? Из воздушных грез?

В России едва хватает строительного материала, чтобы построить временный шалашик от непогоды. Последние тревожные признания большевиков ясно подтверждают это оскудение, ясно доказывают, что ожидаемый роскошный плод оказался пустоцветом, выкидышем. Но много ли найдется на свете людей, которые умеют, даже и очень поздно сознав свою ошибку, открыто покаяться в ней? Нет, лучше громоздить ошибку на ошибку и с зажмуренными глазами с покаянием в сердце переть по ложному пути.

Я считаю Ленина безусловно честным и смелым человеком. У него бы хватило этого мужества. Но он в своей воображаемой миссии подобен тем открывателям северного полюса, которые писали коченеющей рукою в своих дневниках: «Весь экипаж умер от цинги, тифа и голода. Сегодня моя очередь, дошел до 83 гр. 23 м., 11 S с., верю, что следующий достигнет точки». Да, Полюс всегда был, и он уже открыт. А утопическая мечта, упираясь в видимое небо, летит в бесконечность, в философский парадокс.

Но может быть и другое. Может быть, что Ленин, никогда не знавший глубины реальной бытовой жизни и ныне вознесенный волною событий на страшную высоту, совершенно потерял всякие действительные представления о человеческих трудах, страданиях и силах? Ведь и Николай II на полях донесения о Мукденской катастрофе начертал: «Не весьма утешительно».

19 июня 1918 г.

К УБИЙСТВУ В. ВОЛОДАРСКОГО. У МОГИЛЫ.

Умер Володарский, и на этом покончена вся наша неприязнь к нему. Перед его телом я почтительно склоняю голову. Когда он был жив, мы могли судить его ошибки, вызванные страстностью борьбы и партийным ожесточением. Теперь мы скажем только, что если он и был нашим непримиримым врагом, то – врагом честным и открытым.

Русская печать хранит в своей памяти очень много имен преследователей свободного слова. Но все эти Бируковы, Тимковские, Красовские, Мерзляковы, Цветаевы, Очнины, Адикаевские, Соколовы и сотни других компрачикосов, кромсая, уродуя и умертвляя живое слово, совершали свою омерзительную деятельность из-за угла, злорадно, втихомолку, под тройною защитою – престола, жандармов и народного невежества, – за что и были в законном порядке награждаемы чинами, орденами, жалованьем, пенсиями и арендами. И – да будут прокляты и никогда не прощены их имена – ника-

кой лозунг к ним не приклеивается так прочно, как знаменитые, по своей подлости, слова: «Прикажут акушеркой быть – буду».

Володарский, ведя войну с оппозиционной печатью, выступал ее публичным обвинителем, не ища личных выгод и не имея в виду личных целей. Он весь был во власти горевшей в нем идеи. Он знал, что противник его искуснее в бою и вооружен лучше. Но он твердо верил в то, что на его стороне – огромная и святая правда.

Большевизм, в обнаженной основе своей, представляет бескорыстное, чистое, великое и неизбежное для человечества учение. Он вовсе не помрачается оттого, что его мысли перешли в дело не вовремя и попали в недобрые руки. Так и прекрасная глубина христианского учения не повинна в инквизиции, в Варфоломеевской ночи, в еврейских погромах и в уродстве монашества.

Те, лучшие из большевиков, к которым я отношусь с истинным уважением и с которыми можно говорить без утайки и до конца, всегда напоминают мне доброго и умного детского доктора.

«Ребенок опасно, почти смертельно, болен, – рассуждает доктор, – а лекарство мое горько и противно, и глупый пациент по-своему прав, если кричит и брыкает ногами. И как ни печально, а придется насильно разжать ему челюсти и влить в рот микстуру». Но, в том-то и беда, что рецепт его лекарства составлен терапевтом-теоретиком, никем еще на практике не проверен и дозирован не для ослабшего ребенка, а для крепкого тридцатилетнего дроворуба.

Мне совершенно непонятно, – кому и для каких целей – могло бы понадобиться это отвратительное убийство. Защитник независимой печати не мог бы этого сделать, потому что все мы хорошо знаем, что если до сих пор нас стегали плетьми, то теперь начнут бичевать скорпионами. Ни при чем здесь и буржуазия, которой впопыхах объявлена беспощадная месть. Куда ей до политических убийств. У нее теперь все мысли сосредоточены на самом маленьком и гнусненьком преступленьице: украсть бы где-нибудь обгрызок хлебца и сожрать его, запершись в темный чулан, потихоньку от жены, детей и слепенькой бабушки. Вернее всего, что прав Камков, утверждающий, что убийство совершено на личной почве. Иначе приходится остановиться на провокации, столь гадкой, сложной и пагубной, что нет для нее ни названия, ни сравнения, ни достаточно злой казни.

Может быть, следствие отыщет истинные мотивы преступления. Этого надо желать всеми силами. А перед гробом почившего врага, перед образом честного, светлого и пылкого борца за идею, встанем молча и с почтением.

1918 г.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(Фельетон)

«Танечка! Чем я вам докажу свои пылкие чувства? Хотите, я вам презентую замшевые полусапожки на 64 пуговицы? Или, может быть, желаете, я завтра же пойду и в вашу честь пристрелю хоть самого бывшего царя?» Так на танцульке говорил обольстительный матрос Пунаков, во время падеспаня, крутобедрой, смешливой, розовой девице с масляными глазами, вздернутым носом и жирными, пунцовыми губами. А если и не говорил, то во всяком случае мог сказать, и тогда лишь слабая паутинка преграждала бы ему путь от слова к делу. Недаром мне предлагал во времена Керенского один репортер: «Хотите, принесу вам подлинное интервью с бывшим царем! И возьму совсем недорого, по четвертачку за строчку. Это не трудно, надо только сторожу сунуть красненькую, а там – говорите сколько вам угодно». Шингарев и Кокошкин были убиты в самом неприкосновенном убежище, в больнице, на больничных койках, ночью. Бонч-Бруевич отечески пожурил убийц: «Нехорошо, очень нехорошо, молодые люди. Не одобряю и, можно сказать, даже осуждаю».

Убийцы, расстрелявшие милых мальчиков Генглезов, до сих пор не разысканы. Говорят, что они погибли в одном из междоусобных сражений. Но, если бы они и были живы, то, наверно, вместе с Басовым, они считали свой зверский поступок великим революционным актом. Ведь говорил же матрос, тащивший Генглезов на расстрел: «Это мои трофеи! Наконец-то от моей руки погибнут офицеры!..»

И, в самом деле, Танькиному матросу ничего не стоило бы доказать убийством кого-нибудь из Романовых глубину своих сердечных чувств к даме или пылкость своей ненависти к монархическому принципу. Среди ночи приходит в крепость самозваный караул. Пароль и отзыв узнать не трудно. Поддельная записка коменданта и печать на лицо. Старый караул сменен и вот… имя Танькиного ухажера становится достоянием истории, рядом со многими громкими именами.

У меня не имеется никаких поводов питать к великому князю Михаилу Александровичу личную приязнь. Однако, я должен указать, что Михаил Александрович обладает необычным благородством. Он не властолюбив, не эгоистичен, не двуличен, мягкосердечен, необычайно добр и сострадателен. Еще очень давно я заинтересовался моментальным фотографическим снимком, где тогдашний великий князь был схвачен во время <нрзб > скачки, на очень трудном препятствии. И с тех пор все, что мне о нем приходилось слышать или читать, как-то невольно задерживалось у меня в голове и укладывалось там на определенную полочку.

Его брак с любимой женщиной, которая никогда не могла сказать словами покойного недурного поэта К.Р. «что царская во мне струится кровь». Этот брак у многих еще жив в памяти. Михаилу Александровичу пришлось тогда, принимая во внимание его все-таки исключительное положение, – перенести настоящее мученичество. Он испытал угрозу лишения титула и высылки за границу и действительную ссылку в армейский полк. А он на это отвечал: «А я все-таки люблю, и вы со мной ничего не поделаете». На войне он зарекомендовал себя человеком стойкой храбрости: без тени рисовки, суетливости или задора. Всадники его дикой дивизии титуловали его «ва, султаном», «ва, падишахом», но, конечно, на «ты», а за глаза звали – «наш джигит Миша».

Обладая обыденным, но прямым и здоровым умом, он никогда не дилетантствовал ни в музыке, ни в поэзии, ни в истории, ни в военном искусстве. Все его сослуживцы, с которыми мне приходилось встречаться – солдаты и офицеры – отзываются о нем, как о человеке чрезвычайно вежливом и внимательном, светлом и простом в отношениях, добром товарище и хорошем строевом офицере. Его обычная скромность часто граничит с застенчивостью. Он нежно, без усилий, любит всех детей, любит цветы и животных. Он прекрасный семьянин. Вот и весь узенький круг его жизненных радостей. Он необыкновенно щедр и не отказывает ни в одной просьбе, помогая в нужде широкою рукою не только деньгами, но и другим, более тугим капиталом – личным влиянием. А главное – он совсем, окончательно, бесповоротно, безнадежно болен полным отсутствием властолюбия. Живя постоянно в Гатчине, но не видев до сих пор ни разу Михаила Александровича в лицо, я был почти свидетелем той беспредельной радости, которая им овладела, когда он узнал, что вместе с рождением Алексея от него отошла необходимость быть наследником. Тогда счастье, переполнявшее его, так и хлестало наружу, потому что он всех вокруг себя хотел видеть счастливыми в эти дни.

Его отказ в 1917 г. от принятия власти без воли народа звучит достоинством, спокойствием и любовью к родине. Мне говорят, что он продиктован Керенским. Форма – может быть, смысл – нет. Он, вероятно, охотно в силу естественного влечения, отказался бы тогда от всякой формы власти, как и от всяких титулов и всевозможных будущих благ, если бы это не было в его тогдашнем положении малодушием, граничащим с трусостью. А вот скажите вы мне, многие ли из тех, что довели Россию, – допустим из чистых идейных побуждений, – до черной гибели: найдут в себе мужество, отказавшись от власти, признаться: «Простите нас, мы ошиблись».

Михаил Александрович скрылся неожиданно из Перми. Оно и понятно. Ведь не мог же он ждать лестного визита Танькиного кавалера. Конечно, можно при умении верить гарантиям большевиков о безопасности. Но верить ли его рьяным и крайним приверженцам? Если так – забавный рассказ: еврей-разносчик, зашедший в усадьбу, пятится от лающей большой собаки. Помещик его успокаивает: «Не бойтесь, Шепшерович, она не кусается». А еврей возражает: «Ну, хорошо. Положим, вы знаете, что она не кусается. А она это знает?»

22 июня 1918 г.

ТРЕТИЙ ПУНКТ

На днях вернулся из германского плена один артиллерийский офицер, знакомство с которым у меня началось лет 35 тому назад, т.е. с ученических скамеек 2-го Московского кадетского корпуса. Был он взят в плен тяжело раненным, испытал все ужасы и унижения концентрационного лагеря, потом за порывистый протест против грубости прусского конвойного был переведен в крепость, где и отсидел два года, вплоть до последних дней. О его прискорбном житии у наших нынешних друзей я непременно расскажу в своем месте поподробнее.

Человек этот оказался до смешного неподготовленным к тому, что его ожидало в той сумбурной каше, которая неизвестно почему называется Россией. На него градом посыпались, оглушив, ослепив, ошеломив его, совершенно новые слова и понятия: совдеп, совнарком, искосол, перманентный, саботаж, пролеткульт, трибунал, комиссариат и т.д. до бесконечности. В своем непрестанном удивлении походил он на человека, внезапно свалившегося с луны. Трогательно неуклюж, жалок, смешон и беспомощен был он, расплачиваясь на вокзальной кассе и в газетном киоске замусоленными марками, в которых он никак не мог разобраться и потому отказывался понимать, как это наши двигательные и зрительные нервы успели привыкнуть к нынешней системе крошечных бумажных ассигнаций.

– Ну, как же тебя встретила родина? – спросил я.

– Чрезвычайно спокойно. Нас, офицеров и солдат, приняли по списку. Проверили. Затем выдали каждому по 10 рублей. Эти деньги так и называются «встречными». И всё.

– Неужели всё?

– Ах, нет. Виноват. Еще нам сказали: А теперь можете идти на все четыре стороны. А вы, бывшие офицеры (почему я оказался вдруг бывшим, не понимаю!) не забудьте зарегистрироваться на учет.

– И конец?

– Да. Кратко, сухо, деловито. Я пошел, обратился к одному полуофициальному лицу за разъяснением, что означает это холодное равнодушие. Он долго растолковывал мне, но, должно быть, после тяжелой контузии, у меня не особенно хорошо варит котелок, – я ничего не понял. По его словам выходило как-то так, что война начата была империалистами, в интересах международной буржуазии и, значит, с ясной целью обескровить рабочий пролетариат. А я, стало быть, пособник и участник в этом гнусном предприятии. И выходит, что вся моя военная полоса – трудности похода, преодоление инстинкта самосохранения, почти смертельная рана, незабываемый кошмар прусского плена, разбитые вдребезги нервы – все пошло насмарку, на нет, вылетело в чертову трубу. А, главное, случилось это совсем без моего ведома каким-то зловещим сюрпризом, первоапрельской шуткой, громом в зимний полдень. В секунду я очутился не только бывшим офицером, но и бывшим человеком.

И вот, теперь я, автор этих строк, сижу и размышляю над плачевой участью моего старого однокашника. И у меня не выходит из головы мысль о спасении человечества от первородного греха, через благодать христианского учения.

Средневековые отцы и учители церкви разбирали весьма подробно и глубоко тонкий казуистический вопрос: будут ли на страшном суде прощены и избавлены от адовых мук те великие мужи древности, которые, как Платон, Сократ, Будда, хотя и пребывали в мерзости заблуждений язычества, но жизнь вели добродетельную и современников своих учили высокой нравственности. Мнения церковных авторитетов по этому поводу весьма разделились. Либеральные мыслители, вроде Блаженного Августина, Тертулиана и Оригена Адамантового, полагали решительно: «Будут прощены безусловно. Ибо при воскресении из мертвых узрят истинный свет христианского учения и уверуют в него всем сердцем». Другие высказывались с мудрой условной осторожностью: «Пройдя испытания чистилища, искупив в нем вину своего невольного язычества, будут сопричислены к праведникам». Но крайние, ортодоксальные монахи мыслили прямолинейно: «По истиной твердой букве писания, нет им прощения, если даже и покаются, и обратятся».

Я не знаю, к какой категории будет отнесен мой артиллерийский полковник, больной, с 10 рублями в кармане, но своевременно не озаренный светом нового учения. Еще до войны я знал его, как доброго офицера, товарища, брата и отца солдатам. Чистилище – да еще какое! – он перенес. Следовательно, по двум первым категориям почтенных язычников, он как будто бы и имеет право не умереть

с голоду на улице. А вот пройдет ли он по третьему, самому непримиримому пункту? Зато я знаю, кто по этому пункту прошел блестяще. Товарищ Елдырин. Еще в маршевой роте, по пути к войне, он услышал верхним чутьем, огненные, великие слова: «Долой войну! Мир во что бы то ни стало! Смерть буржуазии! Да здравствует пролетариат!». Тогда с гордостью и с омерзением бросил он грязную банду контрреволюционеров и стремительно полетел туда, в глубину России, где шло великое дело перманентной революции и додушения буржуазии. Вскоре он был замечен, отличен и почтен. Неизвестно, как высоко залетела бы его счастливая судьба, если бы он не попался неловко на тридцатой краже народных денег и, представ пред грозные очи трибунала, был изъят из употребления и потом заглох где-то в неизвестности.

И тогда-то, именно по поводу осиянного Елдырина, сказал Троцкий свое острое и горькое слово:

– И сколько к нам всякой сволочи примазалось. Точно людей.

15 июля 1918 г.

Публицистика периода эмиграции

ВЫСОКИЕ ПОКРОВИТЕЛИ

Биограф Оскара Уайльда рассказывает: против окна этого утонченнейшего поэта и денди, на ступенях церкви имел обыкновение сидеть, много лет подряд, один нищий, грязный, обтрепанный, жалкий старик самого отталкивающего вида. И, вот, наступил день, когда художественная душа Уайльда почувствовала, что она не может дальше переносить этого постоянного антиэстетического зрелища. За приличное ежемесячное жалование изысканный джентльмен уговорил старика облачиться в живописные лохмотья, сделанные по особому рисунку, и надеть на голову театральный парик Велизария. С тех пор фигура нищего уже не оскорбляла нежного вкуса: кстати, она подошла и к стилю храма…

Европа предпочла прямо захлопнуть окно и повернуться к нему спиною, сделав это для усыпления собственной совести. Показаниям о России очевидцев, свидетельствам сотен беженцев она не хочет верить.

Ее национальному эгоизму, ее чувству самосохранения, ее всеобщей усталости, ее боязни домашних ссор выгоднее и приятнее воображать несчастную страну в том фальшиво-героическом освещении, в каком подают ее ультра-фиолетовые советские газеты.

Оттуда-то и идут все эти нелепые, смешные россказни про высокое покровительство, оказанное большевиками наукам, искусствам и свободному, райскому воспитанию юношества.

Очень тяжело приходится нам – русским журналистам и писателям! Говорить настоящую, неприкрытую проверенную единственную правду, передавать на бумаге вопль близкой истерзанной, окровавленной души – и знать, что твои слова встречаются с холодной, скептической усмешкой – есть ли положение хуже этого? А молчать мы не можем, не имеем права.

Но кроме этого мы еще связаны по рукам и по ногам одним страшным условием: мы не смеем называть не только имен, но иногда даже дат и городов. Смеем ли мы увеличивать своей неосторожностью бесконечный синодик великомучеников, гонимых самым свободным правительством в веках и народах? Ведь там мстят до третьего поколения!

Итак: немного облегчив сердце, о Высоких Покровителях.

* * *

Ученый с европейским именем, старый профессор государственного права, ректор бывшего Петроградского университета, с горечью, печалью и сдержанным негодованием говорил мне: «Лекции не посещаются даже и пятью процентами всех слушателей, у каждого есть какая-нибудь работа или служба, кроме того часами приходится стоять в хвосте у столовой или у продовольственной лавки.

Аудитории не отапливаются. И профессор, и студенты сидят в шубах и шапках, калошах и перчатках (у кого, конечно, они есть). В лабораториях от холода потрескались дорогие приборы. Для поступления в университет и Медицинскую Академию ничего не требуется, кроме свидетельства о половой зрелости, т.е. возраст не менее 16-ти лет. В Академии читаются настолько сокращенные лекции, что в лучшем случае из студентов могут выйти лишь посредственные фельдшера.

Один из профессоров юридического факультета, назначенный советской властью, начал свои лекции таким вступлением: «Старое, буржуазное понятие о праве обветшало и умерло. В основе всех юридических понятий лежит отныне новая *революционная* совесть»…

Во главе Публичной Библиотеки стоит полуграмотный комиссар, бывший пожарный репортер «Биржевки».

* * *

А вот что рассказывали И.А. Бунину его близкие друзья, артисты Московского Художественного Театра: Нам было предоставлено

что-то вроде призрачной автономии, которая, однако, не избавляла нас от положений, порою весьма унизительных. Судите сами.

Нам объявляют по телефону, что на спектакле будет присутствовать высокопоставленное лицо, не то из Чрезвычайки, не то из Исполкома, и потому просят подождать несколько минут, если означенное лицо, обремененное важными работами, немного опоздает к назначенным 7-ми часам... Ждем до 8 часов. К этому времени приезжает кто-то вроде адъютанта или правителя канцелярии при лице. Он не просит, а просто приказывает ждать еще.

– «Как долго ждать?» – «Сколько понадобится». Ждем до 8-ми. Публика наша удивительная, дисциплинированная, милая публика – начинает роптать. Решаемся скромно указать на это грозному начальству. «Подождете и до полуночи, если будет надо».

Наконец, в девять часов нам объявляют, что лицо не приедет, и милостиво разрешают начать спектакль.

Такой и подобные случаи – мелочь; ради высокой цели мы могли бы, сохраняя известный взгляд на вещи, терпеть такое издевательство. Но представьте: вдруг нам суют, в нашу художественную студию, по чьей-то высокой протекции, чью-то советскую свояченицу или сожительницу. Приписка: «Годится для сезонных (салонных?) пьес; сколько угодно туалетов и настоящие бриллианты; горячая любовь к искусству». А сама будущая артистка подает руку лопаткой, сбоку, ходит носками внутрь и говорит жаргоном типичной московской горничной из Рязанской губернии…

И все это еще пустяки. Но нам начали усиленно рекомендовать пьесы новых, красных драматургов и рекомендовать в таком недвусмысленном тоне, что не принять – значит погубить театр. Помнится нам всем какая-то пьеса какого-то Безсалько… Эту галиматью можно было бы счесть идиотски веселой пародией на великую советскую республику, если бы сам автор и его высокие покровители не считали ее последним словом пролетарского искусства…

* * *

Мне, автору этих строк, приходилось уже писать о низшей советской школе. Не могу не привести несколько строк по этому вопросу, почерпнутых мною из частного письма, вчера лишь полученного, после долгого пути из Москвы.

Пишет учительница. «К нам поступают дети из приютов, странные, ужасные дети. Все старички, боязливы, скрытны; на малейшую ласку отвечают с бурной страстью, подозрительны, болезненно самолюбивы и обидчивы; просят рисовать или Христа и Божию Матерь, и крадут все, что попало».

«На днях в одной из школ произошел страшный случай. Его удостоверяет член Компроса. Мальчик (из приюта), десяти лет, подговорил другого, тринадцатилетнего, убить слабенького товарища и закопать его в углу сада. Мясом убитого они питались несколько дней, поджаривая его на лучинках, и сырым. Младший на допросе говорил хладнокровно: «Сначала было ничего, вкусно… А потом стало неприятно пахнуть».

* * *

Наука, Искусство, Юношество.

1920 г.

ПАРАЛЛЕЛИ

Рослый упитанный человек, лет сорока, видный русский партийный работник, с пятнадцати лет эмигрировавший за границу, с такими бледно-голубыми глазами, какие бывают только у молочных поросят, говорил:

– Более всего меня возмущает та изумительная – скажу мягко – смелость, с которой один видный французский социалист провел параллель между двумя революциями: так называемой Великой Французской и нынешней большевистской, пролетарской, найдя в них, якобы, одинаковые исходные точки и логическую повторяемость событий…

Всем нам давно известно, что наша партия уже давно разойдясь с большевистским крылом в идеологии и методе, объявила ему войну не на жизнь, а на смерть. О, конечно не пошлую солдатскую войну, с пулеметами и сквозными ранами, и лужами крови и прочей гадостью, а настоящую войну, достойную Рыцарей Духа: на бумаге, с пером в руках, или с высоты трибуны… В этом смысле мы дали Аннибалову клятву. Ни шагу назад и ни шагу вперед.

Будущее нас рассудит. Учредительное Собрание в успокоенной России станет широким полем для нашего грозного словесного турнира. Мы победим – в этом не может быть никакого сомнения. (Гром аплодисментов).

Но!.. Тут оратор вздымает над головой указательный палец… Но ни один волос да не упадет с голов Владимира Ильича, Льва Давидовича, Григория Зиновьевича, Леонида Борисовича, Николая Ивановича, Алексея Максимовича, Федора Ивановича, Льва Борисовича и Зинаиды Петровны. Перейдя из области чистого социального мышления в область экспериментальную, они хотя и сделали несколько несущественных ошибок, но опыт, произведенный ими, колоссален по своим размерам и достоин всяческого признания и почета.

– Итак, постараемся же вникнуть в существо моего параллелизма обеих революций!

Французы предают смертной казни своего короля Людовика XVI. Весь Париж присутствует при этом торжестве. «Pere Duchesne» печатает на другой день о том, что король вел себя перед лицом смерти трусливо. Через день палач Сансон помещает в газете письмо: «Считаю долгом свидетельствовать, что бывший король Луи Капет принял свою смерть, как подобает мужчине и христианину, держа себя с достоинством и простотой, свойственными настоящему королю. И вместе с этим письмом Сансон отказывается от своего высокого звания – Maitre de Paris. Последние слова бывшего короля до сих пор еще волнуют слабые, малосознательные, сентиментальные головы.

– Посмотрите, товарищи, как поступили у нас! Бывший царь с семьей были не казнены, а ликвидированы. От них не осталось никакой памяти. Ни последних слов, ни жестов, ни лоскутка кожи, ни кусочка кости, ни одной реликвии. Все было облито моторной смесью и уничтожено в лесу, глухой ночью. И это сделал не народ, а лишь малая кучка убежденных товарищей. Какая широта перспектив в будущем, и какой простор для личного почина! Представьте же себе по этому примеру, на какие высокие подвиги будет способен весь народ, родивший таких героев, когда он всецело проникнется идеями коммунизма!

Большевики использовали имя бывшего императора для дальнейшей агитации. Сначала центральная власть выразила свою полную солидарность с мотивами, руководившими славными екатеринбургскими борцами за свободу. Это откровенное заявление сплотило все коммунистические ячейки в одном мощном порыве пролетарского энтузиазма. Однако, когда подоспело время ожесточенной борьбы с эсерами, Московский центральный комитет не захотел скрывать тяжелой правды: в бестактном и мало мотивированном преступлении были виноваты никто иные, как эсеры, эти прихвостни западной буржуазии. И все же истина екатеринбургского происшествия окончательно выяснилась лишь во время подготовки мирного соглашения с Англией. Отвратительное убийство, вопреки человеческим планам Советской власти, было совершено случайно бандой негодяев, самовольно прикрывавшихся чистым знаменем большевизма; тяжелая кара, вплоть до смертной казни, ожидает злодеев.

Какая изумительная гениальная гибкость!

– Но я иду дальше… Французы предали смерти Лавуазье… кажется, то был химик или физик?.. Товарищи большевики считают

в своих рядах профессоров Рейснера, Покровского и Гредескула. Никто не знает об их ученых трудах, но имена их услужливая история оставит в веках.

Французами был казнен Андре Шенье, написавший в ночь перед смертью какое-то стихотворение, настолько, должно быть, легкомысленное, что на него даже обратил свое слезливое внимание камер-юнкер и помещик Пушкин. Зато в нашей красной печати незакатными звездами сияют пролетарские имена Василия Князева, Сергея Городецкого, Иеронима Ясинского, Демьяна Бедного и Серафимовича. Большевики не угрожают им смертной казнью. Они только положили на порогах их домов по куску хлеба с маслом, и они мгновенно пропитались насквозь идеями и чувствами пролетарской революции. Товарищи! Да здравствуют законы материальной необходимости! Да здравствует категорический императив желудка!

– Французы, – продолжаю я, – шли навстречу смерти с бестолковой героичностью, высоко подняв голову. Бесполезная поза! Напрасно пропавший жест! Вспомните Дантона, Камиль Демулена, Сен-Жюста, Робеспьера и др. Какая детская игра на фоне младенческой революции. Современные вожди социализма поступают иначе. Они знают, как бесценно дорога их работа в перманентной мировой революции и поэтому дорожат своей жизнью. Их чемоданы и саквояжи всегда готовы. Бумажники их набиты валютой всех стран, а также паспортами и визами всех государств. При первой же тревоге они готовы скрыться, чтобы нести в другие страны неугасимый пламень мировой классовой борьбы!

– Наконец, товарищи, – последняя антитеза. Французы времен революции умирали радостно со словом «patrie» на устах.

Наименование «патриоты» служило для них знаком благонадежности, честности и доблести. О, молокососы революции!

У нас же объявили родину географическим абсурдом, любовь к ней пережитком, слово патриот сделали таким позорным, как кличка шпион и провокатор. Еще во время великой войны все наши помыслы, все наши слова и дела мы устремляли на поражение так называемой русской армии, точно так же, как и во время нынешней войны, мы употребляем все силы к тому, чтобы последовательно разложить и дискредитировать так называемые белые армии, возникающие одна за другой…

И вы сами видите, товарищи, как могуча и непобедима советская республика! Она станет еще величественнее, когда власть естественным порядком перейдет в руки нашей партии. Это произошло и произойдет именно по тем причинам, которые и исключают вся-

кое представление о подобии или параллелизме обеих революций: французской и русской. Я кончил, товарищи.

(Голоса: «Браво, верно!» Бас в задних рядах: «Послать телеграмму товарищу Ленину!»)

1920 г.

МИР – ДУРАК

Нет на свете людей, одаренных более, чем русские. Почти в каждом из них сидит какой-нибудь талант, иногда даже несколько, чаще всего – все таланты, кроме таланта. Взятые порознь, они удивительно толковы и понятливы. Соединенные вместе, но для дела и *непременно* под чьим-нибудь крепким водительством, они способны творить чудеса. Я всегда утверждал, что прежняя любая пехотная рота, если только она не была сплюснута бессмысленной свирепостью начальства, могла сделать решительно все: построить кирпичный завод, плотину, паром, барку, мост, мельницу, кухню, хлебопекарню. Стоит вспомнить русские артели − каменщиков, плотников, рыбаков, продольных пильщиков − с их выборно-монархическим началом и свободно-суровой дисциплиной… Как чисто, весело, дружно и быстро они работали, когда хотели!

Но если те же русские люди соберутся самостоятельно для решения – все равно, своих ли собственных, маленьких дел, или больших государственных судеб – они мгновенно обращаются в беспастушное стадо. «Мир – дурак», – давно уже сказано жестокое, горькое мужицкое слово. Откуда-то из мрачных недр древней, рабьей души внезапно восстают: самоуверенное невежество, крикливое упрямство, вязкая месть по личным счетам, пренебрежение к чужому мнению, придирки не к мысли, а к ошибочному слову, злобное преднамеренное решение дать скорее провалиться всему делу, чем хоть в малой части согласиться с правотой противника.

Это свойство повелось от времен Гостомысла, сказалось в удельной борьбе и в религиозном расколе, прошло через все крестьянские деревенские сходы, которые, как известно, всегда кончались тем, что спорщики вытягивали колья из заборов. Еще новогородцы такали, такали, да и протакали и вольность свою, и вече, и вечевой колокол. Наконец, разве не в потоке слов и разногласий утонул весь 17-й год, а Учредительное Собрание появилось на свет Божий восьмимесячным выкидышем. Сейчас перед русскими зарубежниками встал вопрос большой важности: создание национального центра, аппарата, не только объединяющего наши эмигрантские мысли и чувства, но

и являющегося нашим представителем перед лицом Европы, мира, – почем знать, может быть, и истории. В сущности, дело это могло быть вопросом одного дня, а уже прошел почти месяц в партийном перекорячивании. Почему так? Среди русских в Европе я могу насчитать до ста человек (число необходимое и достаточное) из тех людей, которых я знаю лично и заглазно. Мне все равно, к каким партиям они принадлежат. Главное то, что каждого из них я искренне считаю человеком не только порядочным, умным и дельным, и непритворно любящим мою родину, но еще и таким человеком, которому я без колебания доверю свое имущество, свою честь и жизнь самых близких мне людей. Почему же они бодаются вместо того, чтобы быть нашими представителями и ходатаями в общем, постигшем нас горе? Я уважаю партийность. Вероятно, она нужна. Но, господин партийный человек, если, скажем, вы идете в баню – вы тоже партийный? (были в старину такие удивительные чиновники, которые не снимали нашейного Владимира, даже на банном полке). А когда ловите рыбу, любуетесь звездным небом, едите буйабез?

А во время общественного бедствия, – пожара, наводнения, крушения корабля – разве вы останетесь *только* партийными людьми? Нет, я убежден, что произойди пожар в доме, где случайно вместе живут Авксентьев, Алексинский, Винавер, Бурцев, Гучков, Кривошеин, Маклаков, Струве и другие – все они дружно выведут из огня сначала детей, потом женщин, а потом уже, если хватит времени, спасут свои умные книги и самих себя. Теперь дело так и обстоит. И я не верю, чтобы про них сказали бы некогда: «Мир – дурак».

1920 г.

НЕДОЧЕТЫ

Всей душой я приветствую начало и конец Учредительного Собрания. Не оттого, чтобы я ждал от него какого-нибудь толка, а потому что это все-таки наглядный пример попытки единения противубольшевистской мысли.

Пусть Керенский и Чернов. Пускай однобокость, пускай притянутая связанность и состав по несущественным признакам. Почем знать? Может быть, разговорясь, люди потеплеют и поумнеют, станут шире и дружнее. Русские люди – люди больших возможностей… А за ними и с ними пойдут и другие.

Но почему, почему, объясните мне, в речах и декларациях этого почтенного Собрания я постоянно натыкаюсь на недочеты? Натыкаюсь и спотыкаюсь. До такой степени, что порой мне кажется, что это не государственные мужи говорят, а, так себе, болтает милая,

добрая, рыжеволосая девочка, вся в веснушках, лет 5-8-ми, и, отходя ко сну, капризничает под сказку.

– Спи, спи, а то придет Серый Волк.

– А я его не боюсь.

– Он большой, страшный…

– Я сама страсная!

– Он тебя съест.

– А я его за хвост и выброшу вот в это окно!

– Он злой, он с зубами.

– И я ш жубами. (У нее только что выпали молочные).

* * *

Первое. *«С момента снятия блокады народ поймет все ничтожество власти большевизма».*

– Наоборот: снятие блокады большевики истолкуют как пятую уступку капитализма и империализма напору вооруженного пролетариата. «А что – скажут они – мы говорили!». И в сотый раз вздохнет Людендорф (один из умнейших людей в Европе): «В чем они нас сильнее, так это в пропаганде». А компросы, литжурны и пропкомы сошьют себе по новому комплекту френчей, галифе и краг со шпорами.

Второе. *«России нечем торговать».*

– Девочка, сложи ручки и не трогай носика. России еще есть чем торговать. Коллекции Эрмитажа, Музея Александра III, Третьяковской галереи, Цветковский и Боткинский, Румянцевский и Политехнический музеи в Москве. Публичные библиотеки, множество усадеб и частных музеев под Москвой. Чудесные особняки от Пресни, через Арбат до Пречистенки. Разве не найдется покупателя, обалделого американского миллиардера, какого-нибудь трестового короля, который купит Кремль для своей зимней резиденции, а храм Василия Блаженного, как уксусницу в приданое своей дочери? А платина? Уголь? Нефть? Коалин? Леса? Да, ведь, уступил же Ленин Польше четыре уезда за 400 миллионов рублей?

Третье. *«Мы, конечно, не против торговли с советской Россией, но чтобы только она не вредила коренным интересам страны. В противном случае…»*

Что, девочка, в противном случае? Соберешь заседание? Выразишь порицание перед лицом всего мира? Занесешь свой младенческий писк в протоколы, достояние истории? Заплачешь?

Ах, ты, сопливая!..

1921 г.

ОТЕЧЕСТВО

(От редакции)

Дав нашему журналу название «Отечество», мы тем самым определили его беспартийный характер. Все для израненной России, все для спасения, освобождения, оздоровления, все для блага нашей несчастной Родины.

Для нас не существует ни наций, ни религии или партийных перегородок. Каждый великодушный поступок, каждое страстное слово, направленное к нашей единой цели, встретят в журнале горячий отклик, внимание и место.

У нас лишь один враг – враг общий с отечеством – большевизм. Борьба с ним не есть война, а истребление. Человек может быть по убежденьям врагом всякого кровопролития, вплоть до того, что дает дорогу жучку, чтобы не раздавить его. Но если ко мне забежит во двор разъяренный бык, то никто, даже моя совесть, не осудят меня, если я пристрелю его.

Долг соседей помочь мне в этом. Не будут же они, в момент всеобщей опасности, вспоминать о старых ссорах…

Вместе с тем «Отечество» приложит все усилия к тому, чтобы возможно шире в статьях, фотографиях и рисунках осветить не только жизнь невольных эмигрантов и несчастных беженцев заграницей, но и быт советской России. Большое место мы дадим также чисто художественным произведениям наших лучших писателей, статьям по всем отраслям искусства и иллюстрациям к ним; мы твердо верим, что русское искусство – один из прочнейших залогов жизнеспособности нашего отечества.

1921 г.

БОЛЬШЕВИКИ

(Заметка)

Негодовать на большевизм, бичевать его стало бессмысленной тратой времени и усилий. Также бесполезно пугать общественное воображение потоками безвинной крови, заливающей русскую землю. Сначала это трогало, возмущало, приводило в ужас, ранило сердце. Ныне – увы! – на мировой совести в этом месте образовалась привычная, мозолистая кора.

Другое дело – зрительные впечатления. Перед нашими читателями пройдет галерея одиночных и групповых снимков с выдающихся советских деятелей: от главных вождей коммунизма до скромного палача Ч.К. Фотографии совершенно достоверны. К

счастью (если можно так выразиться), большинство красных героев, подобно дикарям и врожденным преступникам, очень любят не только пудриться, душиться, украшать себя безделушками, танцевать, но и сниматься.

Вглядитесь же в их лица со вниманием и надлежащими чувствами.

1921 г.

ПАМЯТИ ЖЕРТВ БОЛЬШЕВИКОВ

2 февраля (н<ового> с<тиля>) 1918 г. были на Миллионной улице, в скромной квартире, схвачены полупьяными матросами шестеро мальчиков – старшему из них не исполнилось 21-го года. Это были три брата Генглез (французские подданные), Штробиндер, Благовещенский и Ильин – все только что окончившие реальное училище в Гатчине, братья по школьной скамейке. Братьями они приняли и мученическую смерть…

Их вина только в том и заключалась, что все шестеро стремились на фронт, на войну с германцами. Вечеринка их была прощальная перед расставаньем. Нужно было убийцам найти предлог для убийства. Предлог нашли в виде офицерского погона. Зачем и кому понадобилась их смерть? Была ли это проба красного оружия? Экзамен на способность красного матроса к бесцельной кровожадности? Проверка общественного мнения: насколько оно обработалось? Ведь тогда еще были живы и здоровы не только Урицкий, но и Володарский.

Приходится сказать странные слова. В то время даже у профессиональных убийц оставалось еще в душах нечто подобное совести и жалости. Целую ночь они водили юношей по Петербургу, точно не решаясь, точно стыдясь совершить свое позорное дело. Один из палачей глубокой ночью забежал к Ленину в Смольный, с недоуменным, может быть, *даже тоскливым вопросом:*

– Что же делать с этими шестью мальчиками?

Ленин в эту секунду писал что-то. Не обернувшись назад, не поинтересовавшись даже узнать, кто это говорит за его спиной, он ответил сурово: «Разве не видите, товарищ, что я занят? Зачем лезете с пустяками? Делайте, что нужно…» Юношей потащили на Калашниковские буяны, на Неву, за Невскую Лавру. Боже мой! Целую длинную, зимнюю ночь продолжалось их страстотерпчество! Убийцы не могли, не смели переступить какого-то страшного порога. Только первая кровь на рассвете разбудила в них тигров

и павианов. Издевались над живыми, оскорбляли и трупы… Тела мальчиков были найдены в таком виде, что нет слов описывать это. И. М. Генглез в одну ночь лишился трех сыновей. Больше детей у него не было. Мне жутко и подумать, что вынесла душа этого железного человека. И тем трогательнее звучали для меня его слова, когда он говорил мне: «Нет, Россию я по-прежнему люблю и уважаю, как мою вторую родину, − милую, несчастную, приветливую страну. Но пускай судит Бог тех, кто извратил, ожесточил и изуродовал чистый лик русского народа».

Сегодня будет отслужена в русской церкви после литургии панихида по шести замученным и убиенным юношам.

1921 г.

ДОКТОР ШАТУНОВСКИЙ

Сегодня с тяжелым чувством прочитал я в газете перепечатку из московской «Правды».

Какой-то товарищ Шатуновский додумался до замечательно глубокой и острой мысли. «Зачем – пишет он – возвращать шахты, фабрики, мастерские, заводы, пароходства и доходные дома в руки прежних хозяев и специалистов, т. е. буржуев, хотя бы от этого и ожидалась некоторая выгода государству? Не лучше ли и не благоразумнее ли передать их в аренду коммунистам – всё равно группам или отдельным личностям. Несомненно, опытный коммунист, блюдя свои интересы и с привычной энергией пользуясь принудительным, милитаризованным трудом, сумеет основательно выжать все соки из людей и предметов, к обоюдной пользе: своей и советской. Кто же, наконец, как не коммунист, достоин награды более высокой, чем все эти красные ленты, банты и звёзды, почётные часы и шашки, или ничтожные премиальные кусочки? И какое широкое открывается поле для соревнования в коммунистических доблестях».

Я стал припоминать.

– Шатуновский… Странно-знакомая фамилия… Шатуновский… Шатуновский… Где я её слышал? Кажется, это было очень давно. Стоп! Нашёл!

Как же не помнить доктора Шатуновского. Кто из москвичей 90-х годов и из всех старых газетчиков может забыть это имя, с которым связан скандальный уголовный процесс, единственный в мире по чудовищной изобретательности и холодной жестокости преступника.

Д-р Шатуновский был из тех скороспелых молодых врачей, которые, развязно прибив у подъезда дощечку «Доктор Медици-

ны», лечат от всех болезней: ушных, глазных, женских, нервных, детских, внутренних, венерических, а также занимаются с отвагою акушерством и хирургией. Впрочем, венерическим болезням он отдавал специфическое предпочтение. Попросту говоря, он ухитрялся, незаметным образом, искусственно прививать своим больным сифилис.

Эта интимная часть его клиентуры состояла из кутящих купеческих сынков, молодых офицеров и студентов, но следствие выяснило, что, в подавляющем количестве такими несчастными его пациентами были мальчики из богатых и строгих семейств: реалисты, гимназисты, лицеисты, реже – кадеты и юнкера, у которых введены обязательные, регулярные физические осмотры.

Бедных юношей он лечил быстро, старательно и дёшево, обольщая их дружеской фамильярностью и успокаивая рассказами о крепости «врачебной тайны». Они служили ему живой, ходячей, почти бесплатной рекламой: известно, что мальчики болеют разными половыми болезнями гораздо чаще, чем думают их родители и наставники, но склонны они быть в этих случаях откровенными только с товарищами.

Зато, заполучив богатого молодого пациента, д-р Шатуновский вцеплялся в него, как паук в муху. Здесь на его стороне было всё: невежество мальчика, его доверчивость, стыдливость, робость и беспомощность. Не довольствуясь искусственной затяжкой болезни, он под разными предлогами повышал свои требования, пока не доходил до угрозы разоблачения ужасной тайны перед родителями, а то и перед невестой. Чего не делали, как низко не падали даже очень сильные люди под давлением шантажа? Наконец, один юноша – лицеист, долго воровавший дорогие вещи дома и у знакомых, чтобы удовлетворить жадность доктора, попался с чьими-то золотыми часами. Следствие с трудом вырвало у него истинное признание. В дальнейшем, следствие выяснило также, что некоторые из этих бедных, желторотых птенцов, молча предпочли смерть тому позору, на который их толкал Шатуновский.

Судебная палата приговорила Шатуновского к бессрочной каторге. В своём последнем слове подсудимый попробовал привести в свою защиту изумительное, фантастическое оправдание: он, действительно, прививал сифилис, но имея в виду исключительно интересы науки. Так как ни в одной клинике или госпитале ему не разрешили бы проводить опыты над живыми людьми, то он производил их над пациентами, благо молодые организмы легко переносят эту болезнь. Он, видите ли, ради высоких целей будущего, перешагнул грани нынешней будничной мещанской

морали. Этим оправданием он похоронил себя на суде. Обвинительный акт чересчур ясно говорил о самой безжалостной паучьей жадности.

* * *

Теперь меня жгуче интересует вопрос: тот ли самый доктор Шатуновский, который выскочил со своим грандиозным проектом у большевиков, или это просто Шатуновский – его дальний родственник, если не однофамилец?

И многие веские данные убеждают меня, что это именно тот самый, который…

Во-первых, каторга. Из неё, правда, выходили цельными и даже закалялись в ней такие возвышенные натуры, какие были у декабристов и у некоторых позднейших политических бунтарей. Но сколько слабых и средних людей морально съели её ужасные условия. Шатуновский не мог погибнуть на каторге: он лишь широко развил присущие ему душевные качества…

Большевики, раскрывшие настежь двери уголовных тюрем, нашли в вышедших каторжниках самое надёжное подспорье. В Шатуновском созрел для них тяжёлый, полный соками плод. Могли ли они, осведомившись о биографии доктора, не принять его в своё лоно?

Во-вторых: как изумительно близки, почти родственны, по мысли и духу д-р Шатуновский и Ленин. И тот и другой предпочитают оперировать в среде невежественной, доверчивой и беспомощной массы. Оба преследуют высшие цели, перешагивая через современное человечество. И тот и другой обольщают и заманивают своих пациентов, но равнодушны к их страданиям и гибели. Угроза и вымогательство – их обычные средства. И, наконец, один и тот же метод: заболевшему, но крепкому организму привить новую тягчайшую позорную болезнь.

Мне живо рисуется их первая тёплая встреча в Кремлёвском дворце:

– Вот кресло, доктор, – сказал Ленин, склоняя голову, – Вам сидеть, мне стоять перед вами. Маркс напитал меня теорией, у вас я научился практике. Вы были первым моим наставником в пору возмужания моей мысли…

И последнее: если мы по рисунку, по стилю, по музыкальному отрывку безошибочно сразу угадываем автора, то как не узнать старого доктора Шатуновского по его проекту поставить кровесосные банки больному, умирающему от анемии.

1921 г.

ГУСЛИЦКАЯ ФАБРИКА

Нет такого грубейшего обмана, такой явной симуляции, подделки, фальши, злой шутки, дерзкой мистификации, на которые нельзя было бы поймать почтеннейшую публику. Здесь игра на доверчивость, скудость воображения, необразованность, массовый гипноз, ротозейство, а главное, на человеческую глупость.

Рассказывают же, что какой-то парижский аферист ежедневно, в продолжение года печатал в газетах такое туманное объявление: «Не забудьте внести по почте два франка в контору, помещающуюся: № улицы, № дома, такому-то». В конце года этот проницательный человек все-таки собрал кругленькую сумму, и скрылся с нею в пространство.

То – Париж. Но, конечно, нигде почтеннейшую публику не дурачили такими наивно-арапскими приемами, как у нас в России. Надо вспомнить всех русских самозванцев, ревизоров, прожектеров, попрошаек, сектантов, индийских врачей, предсказателей, старцев, бродячих языкатых странниц-продавщиц «египетской тьмы» в баночках, маклаков, лошадиных барышников, уличных и поездных шулеров и пр. и пр., чтобы лишний раз согласиться с этим.

В какой, скажите, стране мог явиться второй Пугачев, который (по записи Пушкина) велел открыть Царские врата в собор, уселся на престол и сказал: «Давненько я не сидел на своем престоле»? Где еще жулики на базаре могут сбывать полоротым мужикам разноцветные этикетки с табачных коробок за сторубл<евые> кред<итные> билеты? В каком углу земного шара приняло бы светское и полусветское общество за святого – Григория Распутина, с его страшной наружностью и роковой фамилией? Где умели бы процветать барон Вревский и Бадмаев, Корейша и Керенский, Рыков и Ольга Штейн, епископ Варнава и Хлестаков? Где поверили бы Золотым грамотам, Голубиным книгам и Черновским манифестом?

Наконец, в каком царстве, в каком государстве были бы так страстно прочитаны, возбудили столько слепой веры, породили столько диких, кривых толкований – вздорные, нелепые и, тем не менее, вредные книги лжемонаха Нилуса?

До конца 17 года об этих книгах мало было известно, во всяком случае, мне о них раньше не было ведомо. Первую толстую книгу Нилуса я увидел в июле 1918 г. Помечена она была 1905-м или 1906-м годом, хотя имела вид довольно свежий. Но уже до того, как она попала мне в руки, я слышал, как о ней говорили боязливым и важным шепотом, озираясь на двери, как о книге глубоко пророческой, чрезвычайно редкой и строго преследуемой.

Состояла она из двух частей. Одной из них, с некоторой натяжкой, пожалуй, можно было бы приписать подобие ясновидения или прозорливости, если бы меня не смущала легкая возможность (для автора такой книги) проставить на обложке любой год издания, все равно будь это книга совсем новая или старая, но переработанная сообразно с вновь обрисовавшимися событиями. С другой стороны уже самый остервенелый язык этой части книги обличал не спокойного провидца, не проникновенного созерцателя грядущего, а яростного врага социализма и еврейства, начитанного не основательно, но пестро и разнообразно, как в идеологиях революционных партий, так и в практических руководствах к постепенному захвату и к удержанию власти, и в историях кратковременных коммун, и немножко в Библии, и чуть-чуть в Талмуде, в трактовке его Лютостанским.

Вторая часть, меньшая, елейно-лепечущая, врезывалась в книгу каким-то неуклюжим клином. Она содержала некоторые поучения и предвиденья Серафима Саровского, со слов какой-то старицы Макриды, а также и пересказы ее собственных тусклых сновидений. Заглавье этой жалкой книги я забыл.

Зато вторая книга, на обложке которой была нарисована огромная пентаграмма, окруженная какими-то кинжалами, дымящимися кубками, кольчатым змием и, кажется, маской дьявола, книга, содержащая в себе пресловутые Сионские протоколы, яснее ясного убедила меня в том, что печатная фабрика Нилуса также аляповато, грубо, неумело изготовляет лубочные апокрифы, как некогда знаменитое старообрядческое село Гуслицы печатало поддельные кредитки.

Где-то в уединенной, скалистой местности, чуть ли не в оперной пещере, собираются 70 сионских мудрецов, семьдесят еврейских избранников, представляющих собою квинт-эссенцию ума, знаний, образования, духовной мощи и воли всего еврейского народа. Нет сомнения, каждый не еврей, – будь он самым завзятым антисемитом, – никогда не откажет даже среднему обывательскому еврею в уме, проницательности, практичности, осторожности и дальновидности. Отчего же эти таинственные семьдесят светочей мудрости, порешившие перестроить весь мир, вернуть его в рабство избранному племени, отчего они ведут себя так неумно и нарочито откровенно у Нилуса?

Для чего, прежде всего, понадобилось им вести протоколы своим заседаниям? Ведь здесь было не заседание правления банка, или судебной палаты, или дипломатического конгресса, где каждое мнение и постановление полагается закреплять на бумаге для будущих ссылок, справок и руководства. Здесь соединились люди одинаково исключительной духовной ценности, одинакового безуслов-

ного, безграничного, всестороннего доверия, люди, очевидно, еще до своего съезда в совершенстве знавшие и его цель и его будущие результаты, фактического и цифрового, т.е. трудно-запоминаемого материала в протоколах совсем нет, точно также как в нем отсутствуют названия имен, фамилий и местностей. Их смысл и значение сводятся к чрезвычайно простым отвлеченным формулам. «Настала ли для евреев пора начать общую борьбу со всеми христианами и язычниками мира, для сосредоточения земной власти в еврейских руках?» «Да, настала!». «Есть ли в этой борьбе, так называемые, недозволенные средства?» «Нет!». «Заседание закрыто». Вот и все! И все 70 мудрецов в тот же день разъехались по своим странам, чтобы на местах, своей волей и властью, создать страшную согласованную организацию, которая должна опутать весь мир. В крайнем случае, можно, пожалуй, допустить, что у них, как у генералов перед решительной битвой, было распределение обязанностей по специальностям: X – уделит свое внимание прессе, Y – займется дипломатией, Z – революциями. Но и у них, как у генералов до последней диспозиции, все это должно было происходить устно: здесь совсем не могло встретиться надобности ни в спорах, ни в разъяснениях, ни в отдельных мотивировках.

Но – позвольте – тогда каким же путем был бы Нилус извещен о том, что происходило на съезде? Может быть, где-нибудь под столом или за портьерой скрывался тайный соглядатай, второй Бловиц, подслушавший, – как говорили – речи на Берлинском конгрессе в 1879-м г.? Неправдоподобно: сионские мудрецы будут похитрее дипломатов. Остаются протоколы. Правда, здесь натяжка, но... «публика дура, публика и не такую штуку слопает». Отсюда и появились сионские протоколы. Мне удивительно только одно: как это 70 мудрецов забыли подписать под ними свои фамилии? Или Нилус скрыл их по врожденной вежливости?

Но мудрецы все-таки оказали ему предупредительно и другие услуги. Мало того, что они составили протоколы, – они еще размножили их на ротаторе и на печатном станке. Существует версия, по которой один из протоколов был похищен у масона 33-й степени. Если мы предположим, что один из семидесяти мудрецов был Главным Мастером своей ложи, состоявшей, скромно скажем, из 10-ти членов, а каждый из этих членов был мастером ложи 2-го порядка такого же состава, а этот в свою очередь возглавлял 10 третьестепенных членов и т.д. до 33-й степени, то количество людей, входивших в это одно из 70-ти ответвлений, должно было превышать не только численность всех людей, живущих на земном шаре, но и всех прежде живших, ибо оно выразилось бы числом в виде единицы с 32-мя

нулями, и нам оставалось бы лишь удивляться, что Нилусу в руки попал один экземпляр протоколов, а не целый вагон.

Однако, если мне не изменяет память, Нилус оказался сообразительнее в математике, чем показывает версия, упоминаемая нами. Насколько я помню, протоколы были выкрадены непосредственно у одного из участников съезда, одного из 70-ти мудрецов, – парижского архимиллионера, финансового гения – его любовницей. Так и ближе к первоисточнику, и подлинность документов достовернее. «Помилуйте, масон какой-то 33-й степени… Долго ли ему, хотя бы из проказливости, состряпать подложную бумаженку?»

Совсем неизвестно, откуда эта любовница знала о существовании этого документа, о его содержании и его ценности. Не предположить ли, что в промежутках между нежностями, сионский мудрец доставал из-под подушки протоколы и читал их вслух, причем проказник и проказница весьма смеялись. Потом он опять их прятал среди важных бумаг, денег и векселей в несгораемый шкаф, который, по свойственной ему рассеянности, часто оставлял раскрытым настежь. Очевидно, конспиративность его была сортом ниже хитростей прежнего социалиста из 7-го класса гимназии, который записывал в свой блокнот, – только сзаду наперед – фамилии «сознательных партийных работников нашего класса».

Поражает в протоколах та прямолинейная слепая и тупая штампованная ненависть к христианству, которую мог, по своим чувствам к евреям, приписать Сионским мудрецам только неизобретательный заурядный жидоед. Каждое их слово дышит кровью, местью, порабощением, разложением, разрушением. Чувствуется не смертельно ядовитая сила слова, а оглушительная дубина. Теперь даже дипломаты двух стран, собирающиеся откромсать ломоть у третьей, даже два директора банка, готовящиеся остричь совместно доверчивых баранов, не называют вещей своими именами, а облекают их жесткую сущность в приличные, благожелательные, сдобной формы. Сами перед собою эти 70 мудрецов, высший разум умного племени, несомненно, люди большой культуры, постыдились бы такой примитивной погромной грубости, какую им приписывают протоколы.

Еще замечательно, что язык протоколов – это язык всех прочих пророчеств Нилуса, а их основные положения – это предыдущие выводы того же Нилуса. Кроме того, мудрецы так болтливы, так толкутся на одном месте, так подчеркивают и без того ясное, так повторяются, а, главное, так неудержимо, несносно падки к общим местам, к засиженным мухами пошлым фразам, что, право, можно подумать, будто мудрецов выбирали из русских интеллигентов.

«Напишем – сказали они – свои протоколы так, как написал бы их Нилус, облегчим ему достойный труд».

* * *

Так-то вот и становится очевидной вся неловкая придуманность пресловутых протоколов Гуслицкой фабрики. И не стоят они никакого более тщательного анализа.

Если вам дадут одно из самых безграмотных похабных стихотворений и скажут, что его не только сочинил Пушкин, но даже и списал его собственной своей рукой, то зачем вам подвергать экспертизе почерк, качество бумаги и чернил и фабричную марку, зачем проверять длинную историю странствования этих стихов из рук в руки, зачем рыться в «Трудах и днях Пушкина»? Вы просто скажете: Пушкин таких бездарных пошлых стихов не мог бы придумать ни за все блага мира, ни ради спасения своего живота.

1921 г.

ПАСПАРТУ

Паспарту – это универсальный ключ, подходящий ко всем замкам, это – таинственная книжка, дающая право входа во все открытые и забронированные учреждения, это – словечко, лозунг или истина, объединяющие людей.

В настоящие дни всех истинно и неистинно русских людей: социалистов, кадетов и монархистов – трогательно сливает воедино, во многом извиняя и почти все объясняя, следующая формула, слишком широкая, когда ее относят ко всему народу, и немного узкая, когда она касается исключительно мужика, ибо надо признать, что понятия о народе и мужике у нас как-то недостаточно различимы, сбивчивы и спутаны. Вот эта формула, находящая отзвук даже в большевистских сердцах:

«Всем нашим несчастиям причина – мужик. Он – вор, скот, пьяница, раб, грабитель, погромщик и насильник. Русский народ – дрянь народ, ничего не знающий, ничего не умеющий, некультурный, сонный, ленивый, скоро приходящий в отчаяние и уныние, народ с бесславной историей».

«Русский народ любит палку, – говорят иные ортодоксы. – Спасибо большевикам, они указали нам настоящие методы государственного правления».

«Какой он, извините за выражение, богоносец? – восклицает кислый эмигрант. – Он – разбойник по натуре, пещерный человек, он своего Бога с кашей слопал».

«Русский мужик – это михрютка», – определяет эс-эр, на знамени которого стоит: все для народа и через народ. А старые, честные эн-эсы сокрушенно помахивают длинными бородами...

«Ненавижу мужика! Презираю темную, скучную, варварскую Россию!» – говорит Горький, и слова его, с разными вариантами, повторяют многие родственные ему эстетические души.

Бывший помещик рассуждает, наливаясь синей кровью от мстительной злобы:

«Куда ему к черту свобода – вашему мужику, если он прирожденный хам! Это из-за него мы так бесславно вышли из войны. "Мы не русские, мы рязанские" – вот он, его патриотизм. Революция дли него – разделюция. Услышав первый демагогический клич, он бросил окопы и побежал домой грабить чужую землю и резать репицы породистым лошадям. Кнут ему, свинье, надобен, а не свобода».

Мне кажется, я уже исчерпал все те общеупотребительные слова, которые ныне обеспечивают любезный прием и сочувственное внимание в любом обществе. Однако, я с позволения, а то и без позволения почтеннейшей публикум и, во всяком случае, без малейшего уважения к ней, не перестаю держаться совсем при особом мнении и не перестану его держаться даже в том случае, если окажусь в полнейшем одиночестве.

Для ясности изложения моей мысли, я сначала должен уговориться, что под понятием русского народа я подразумеваю именно русского мужика, хотя бы уже ввиду того, что в численном отношении мужик составляет подавляющее большинство русского населения. К мужикам я причисляю и рабочих, потому что в никакой другой стране рабочий и крестьянский классы не были так тесно и неразрывно связаны множеством самых близких отношений, а затем я предлагаю следующие вопросы:

– Вы наверное не откажетесь от всех гордых слов, которыми вы еще так недавно и громогласно восхваляли русского солдата: его стойкость, выносливость, терпение, беззаветную храбрость, милость к побежденным и т. д., и т. д. И заметьте, в этом славословии я охотно иду вслед за вами и даже дальше, утверждая, что не было более самостоятельного и изобретательного солдата, чем русский. Я знаю, что средняя пехотная рота, предоставленная самой себе, может сделать почти все: построить мост, мельницу, плотину, провести дорогу, из ничего сладить жилье, кухню, кузницу, хлебопекарню, хотя надо также сказать, что русские армии слишком часто бывали предоставляемы самим себе в то время, когда за английским солдатом возили ванны и приспособления для лаун-тенниса. А

умирать безропотно, бестрепетно, «беззаветно», как вы говорили, разве не русские солдаты были мастера?

Суворовские походы, наполеоновские войны, севастопольское сиденье, Шипка, Плевна, Порт-Артур, отступление от Карпат, когда, оставшись без единого патрона, солдаты оборонялись камнями, – этих страниц не пересчитаешь. И всюду солдат умел найтись и устроиться. Очень необходимо навсегда удержать в памяти Галлиполийское пленение, когда на голом камне, при невероятно тяжелых условиях, русский солдат сумел не только построить свой дом, но и восстановить в нем твердый, строгий воинский дух.

Но ведь солдат – это тот же мужик, только иначе одетый, немного обученный и с ружьем, и так как вся русская армия исключительно формировалась из крестьян, то каким же невероятным чудом из народа, презренного, развращенного, ничего не стоящего ни в физическом, ни в моральном смыслах, составлялись прекрасные, стойкие войска, героизму которых невольно удивлялись мировые военные авторитеты? Как совершались эти магические превращения? Играла ли здесь роль только патентованная палка, или, кроме того, высокий пример старших начальников, которые, как известно, бывали безупречны**,** или наконец, может быть, мужик, показывавший себя таким славным христолюбивым воином на войне, был вовсе не столь плох, как о нем пишут, говорят и думают? Из скверной глины не сделаешь хорошего горшка.

В сотый раз и с прежним упорством я утверждаю, что в еврейских погромах русский народ никогда не был виноват. Более широкого и терпимого народа в религиозном и национальном смысле, чем русский, я не знаю. Иудей, мусульманин, протестант, католик, даже язычник никогда не встретят с его стороны ни вражды, ни укора во всем, что касается его верования.

Всякие попытки втравить народ в религиозную ненависть всегда проходили мимо него, не затрагивая его души. Не говоря уже о великом расколе, вспомним молокан, духоборов, штундистов. «Ну, что ж, худого о них не скажешь. Чисто вокруг себя ходят, живут дружно и не пьяницы», – вот был голос народа. С отвращением смотрели на скопцов и с насмешливым удивлением на хлыстов. Только и всего.

Ругая презренного мужика и разыгрывая в глазах Европы казанских сирот, вы никогда не устаете тыкать ей в нос русским искусством: литературой**,** музыкой, балетом, живописью... Но вы точно или не хотите знать, или умышленно закрываете глаза на то, что русское искусство там, где оно не является жалким скворечьим пересвистыванием с иностранного, где оно самостоятельно и

мощно, – там оно всеми корнями уходит в русскую музыку, сказку, пейзаж и в русский язык. Я особенно настаиваю на русском языке, потому что только его неизмеримые богатства, его послушность, гибкость и выразительность дают и будут давать нашим великим писателям те безграничные возможности, которые делают слово почти ощутимым, почти видимым, почти весомым. И этот язык во всей его чистоте получили у мужика, и у него же еще долго будем черпать. А разве язык народа – не мерило его души? Так неужели же народ, выковавший этот изумительный язык, всего только раб, подлец и нищенка?

Да и надо, наконец, перенести вопрос на самую прозаическую почву. Все мы думаем, что мужик существовал только для наших надобностей и социальных опытов. А нельзя ли взглянуть с той точки зрения, что мы были у него просто приживальщиками, захребетниками. Кто был плательщиком налогов? Кто поставлял пушечное мясо? Кто кормил нас утром булкой с маслом, а за обедом вкусным черным хлебом? (А ведь только при большевиках мы узнали наивную истину, что самое существенное в питании человека это не устрицы и не спаржа, а хлеб). И спрашивается, что же мы давали ему взамен? Если кто и давал, допустим, не очень много, так это, только государство. Мы же, – интеллигенция, – ровно ничего. Оттого-то, когда большевики не смогли дать мужику ни гвоздя, ни топора, он не захотел давать хлеба. А мы ему в обмен ничего не смогли, не сумели дать, кроме мехов, бриллиантов и зеркальных комодов. Так и вышло: раньше мы не хотели хоть чем-нибудь отплатить мужику за то, что он кормил – право же, задаром – нас, совсем ему ненужных людей, а теперь мы ропщем, почему он хлеб дает нам в тяжелый обмен, а не в благотворительных видах.

И наконец, не напрасно ли и справедливо ли мы уж так заплевали нашу историю? Конечно, истории русского народа надо учиться не по Иловайскому, но – согласитесь – также и не по Шишко. Для меня здесь, как и во многих других случаях, лучшим судьей является светлый и всеобъемлющий ум Пушкина. Это ведь он сказал о Петре Великом, что его временные указы и постановления обличают жестокого человека, азиатского деспота, но законы, им составленные, обнаруживают великого государя и человека, глубоко любящего родину. И он же сказал, что ему всегда будет дорога история русского народа, его трудов и завоеваний, его царей и великих государственных людей.

Все мы знаем, что Россия много раз доходила до последней черты, за которой, казалось, ждала ее неминуемая гибель. Татарское иго, страшная чума, истребившая треть Европы, смутное время,

двенадцатый год... И всегда она вставала, вздыхала глубоко, точно после обморока, и опять начинала жить полной, широкой жизнью. Чудо? Но с массами чудес не бывает. Точно так же, как подъем многомиллионного народа никогда не может быть приписан отдельным личностям: Дмитрию ли Донскому, Ивану Калите, Минину и Пожарскому, или Петру – так и в его падениях всегда бывала причиной – стихия, а не отдельные люди: не Чингисхан, не Батый и уж подавно, в наше время, не Ленин с большевиками. Народ, умевший вставать с одра смерти своими собственными силами, вследствие жизнетворных способностей, такой народ, несомненно, должен заключать в своей вселенской душе добрые и крепкие, здоровые начала, необходимые и достаточные для его полезного существования на земном шаре.

Я никогда не скажу: «Я люблю мой народ». Русский глагол «любить» слишком растяжим, его относят и к родине, и к собачке, и к жареной колбасе, и к женщине.

Я просто верю в его творческую мощь даже во время его болезни. И за многое – я ему глубоко благодарен, даже в пору его обнищания. Благодарен мужику за ласку, за память, за дружбу, за гостеприимство, за все**,** в чем остаюсь его неоплатным должником.

P. S. Я забыл сказать, что это же паспарту – ключ для большевиков. Воистину многострадален наш бессмертный народишко. И всеобъемлющ.

1922 г.

ВЕЛИКАЯ РУСЬ

В русской газете «За свободу» (Варшава) зажегся горячий спор, поднятый вокруг одной из статей М. П. Арцыбашева по «Украинскому вопросу». Я не хочу входить в самую глубь этой полемики, тем более, что Арцыбашев стоит здесь на твёрдой почве открытой искренности и внутренней убедительности. Но когда оппонентами нашего талантливого писателя вновь достаются из-под полы старые рассуждения о главенствующем значении Украины в истории Всероссийской культуры и цивилизации, то да будет позволено мне высказать некоторые мысли, может быть, умышленно обойдённые Арцыбашевым.

У нас очень скудны исторические сведения о том, как жила Россия, тогдашняя Русь, при первых киевских князьях. Однако памятники церковной архитектуры и великолепная церковная живопись говорят о высоком искусстве. Первоначальный судебный кодекс отличается особой мягкостью и терпимостью. Дочь Ярослава Анна

выходит замуж за французского принца крови: её прекрасная биография свидетельствует о её высоком христианском облике. Новгород и его младший брат Псков с незапамятных времён состояли в вольном Ганзейском союзе, а их отважные пионеры колонизировали дальние богатые земли. Старые новгородские церкви, псковские башни и палаты и старые былины красноречиво говорят о богатстве и духовном развитии этих городов.

Словом, можно смело предполагать, что стояла тогдашняя Русь прочно и жила хорошо, вплоть до татарского нашествия.

Вопрос: кто же её строил и охранял? Те ли, чьи потомки ныне называют себя украинцами и утверждают свою «щиру украинску мову», вместе со своей самостийностью, или мы, говорящие и думающие на языке Пушкина, хотя и потеряв временно свою национальную силу?

Вот тут-то и помогают нам разобраться письменные памятники древности. Попробуйте ещё раз поглубже вникнуть в дух и в звук таких живых свидетелей, как «Поучение Мономаха», «Песнь о Полку Игореве», «Остромирово Евангелие», «Летопись Нестора» и наконец русские былины. С поразительной ясностью вы увидите, что язык их несравненно ближе не только письмам Грозного и указам Петра, но и к Ломоносову и к Пушкину.

Обратите также внимание на то, что былины, относящиеся по времени к эпохе Владимира-Красного Солнышка, а по месту действия к Киеву, сохранились и были научно закреплены не в послетатарском Киеве, а в великорусских городах – Владимире, Суздале, Новгороде, Пскове, да ещё в Олонецком краю, в этом предельном поиске ушкуйников. И на Поморье.

Очевидно, русская, а не украинская Русь создала древнее величие Киева. Какие политические и военные причины заставили её переместиться на Север – об этом мы не будем говорить. Несомненно то, что эта Русь перенесла с собой свои творческие способности и свой язык – этот величайший залог мощи и жизнеспособности, не испорченный даже татарским игом, также, как она сохранила в Рязанской, Новгородской и Владимирской губерниях, в Поволжье и Вятке крепкий тип величавой славянской красоты.

Этот же первоначальный, прекрасный язык стерся, обмелел, иссяк на Украине, попав, главным образом, под влияние Польши. Впрочем, почитайте об этом у Костомарова («Смутное время на Украине») и в переписке Гоголя с Данилевским.

1924 г.

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ, ЗАМЕТКИ

Производственные очерки (1895–1900 гг.)

КИЕВСКИЙ БЕДЛАМ

Очерк

Кирилловская больница построена на месте упраздненного лет 100 тому назад монастыря во имя св. Кирилла, чем и объясняется ее название. В настоящее время в ней содержится около 720 больных, из которых 450 сумасшедших, 200 сифилитиков и 50 человек хирургических и терапевтических больных. Содержится больница иждивением приказа общественного призрения с платой (7 руб. 50 коп. в месяц), взимаемой с больных. Насколько она переполнена, можно судить по тому, что вместо положенного числа 64 душевнобольных женщин их в больнице находится 130. На стол каждого больного отпускается ежедневно 16,98 коп., причем дробь идет на покупку добавочных продуктов: молока, яиц, лимонов и т.д.

Вот и все почти цифровые данные, которые вы можете собрать о Кирилловской больнице. Затем вам остается только посетить ее во время докторского обхода. Но из одного праздного любопытства этого делать не стоит, потому что впечатление, которое уносишь оттуда, чрезвычайно тяжело и неизгладимо.

Павильоны для душевнобольных (их 6 – 3 женских и 3 мужских) представляют из себя высокие и темные бревенчатые постройки с крутыми крышами, с мезонинами, с громаднейшими окнами, о 50-ти маленьких квадратных стекол каждое. Цель таких странных окон, незащищенных изнутри решетками даже в буйных отделениях, становится для вас загадочной, когда при обходе павильонов вы в ежедневных журналах, в графе «событий», будете то и дело натыкаться на следующие заметки: X – буянил, придирался к больным и разбил 8 стекол; Y – опрокинул за обедом миску с супом и без всякого повода разбил 13 стекол; Z – весь день танцует и хохочет, разбил 19 стекол. Когда же вы увидите, что таких ремарок за день во всех журналах наберется до десяти, а то и до двадцати, то вам невольно придет в голову, что, вероятно, всей администрации больницы приходится только и делать, что вставлять стекла.

Вид павильонов снаружи смешанный: не то имитация русской избы о двух этажах, не то что-то средневековое, почти готическое.

Вы приходите к одному из женских павильонов. Вряд ли ваше сердце бьется совершенно спокойно. Поймав себя на этом, вы обращаетесь к доктору с дипломатическим вопросом:

– Скажите, пожалуйста, доктор, вы в первое время не чувствовали себя... ну, как бы это сказать, немножко неловко, когда входили сюда?

Доктор взглядывает вам в лицо и улыбается.

– Нет, я привык к этому постепенно. Да не беспокойтесь, здесь все тихие.

Вы взбираетесь вверх по лестнице, доктор отпирает универсальным складным ключом (passe portout) дверь и из вежливости, которая заставляет вас на секунду похолодеть, пропускает вас вперед.

Большая, невысокая комната с побеленными стенами и потолком, с некрашеным полом, со скамейками вокруг стен. Исхудалые, желтолицые, похожие на привидения в своих длинных белых халатах, женщины наполняют ее. Те трое сидят неподвижно рядом на лавке и едва удостаивают вас равнодушным взглядом, та лежит на той же лавке с обвязанной компрессом головой – у нее только что окончился припадок падучей, те валяются прямо на полу, скорчившись и закрыв голову халатом, те сидят в углах на корточках, спрятав лицо в колени, неподвижные, как молящиеся турки, та, не обращая никакого внимания на вошедших, быстро ходит взад и вперед и с оживленным негодованием доказывает кому-то, только ею одному видимому, что *никто не имеет права отнимать у нее подарунков и что она знакома с самими господами Финиковыми*.

Не успели вы еще войти, как к вам, не спеша, подходит одна из худых белых фигур и с бессмысленно-ласковой улыбкой протягивает вам руку. Одну секунду вы колеблетесь. «А что, если в ее безумном мозгу явится в это мгновение какая-нибудь разрушительная идея? – думаете вы. – Что если ей придет в голову откусить мне палец?» Однако вы тоже протягиваете, в свою очередь, руку. Больная берет ее своими холодными, мягкими, вялыми пальцами и... подносит ко рту. Вы готовы закричать от испуга, но больная медленно и почтительно, как у принца крови, целует вашу руку, потом переворачивает ее вверх ладонью, проводит по ней высунутым языком и отходит в сторону с довольным и значительным видом. Потом уже вы больше не удивляетесь таким явлениям. Многие больные будут целовать ваши руки, плечи, даже полы вашего пальто, исключая, впрочем, тех редких случаев, когда вместо поцелуя вы неожиданно можете получить значительный удар кулаком в лицо.

– Здесь все – слабоумные. Пойдемте дальше, – говорит доктор. Но прежде, чем вы уходите, вас обступают со всех сторон больные. Каждая здоровается с доктором и просит у него «*папиросочку*». Доктор никому не отказывает в такой просьбе; и если вы выразите по этому поводу изумление, он ответит вам, что эти больные все равно неизлечимы, вреда им никакого от папиросы не будет, так зачем же их лишать последнего удовольствия в жизни? Доктор постоянно носит с собою два портсигара: один сереб-

ряный – для себя и кожаный – для больных. Раздачей папирос он самым верным способом завоевывает симпатии вообще недоверчивых сумасшедших.

Вы переходите в следующее отделение. Впереди идет доктор, после него вы и сзади фельдшер с надзирательницею. То же, что и в отделении слабоумных, только немного больше мебели (в одной комнате даже подобие мягкого дивана и двух кресел). Здесь уже есть больные, подающие надежды на выздоровление; около них доктор останавливается на некоторое время и беседует с ними. Вот, например, больная П. Она невольно обращает внимание своим худым, темно-желтым лицом, на котором горят громадные черные глаза, окруженные черными тенями. Она страдает алкогольной манией и нервным параличом. Правая рука висит у нее на повязке.

– Как вы себя чувствуете, П.? – спрашивает ее доктор.

– Благодарю вас, гораздо лучше. Аппетит есть и ночью гораздо реже просыпаюсь.

– Можете вы поднять правую руку? Попробуйте.

Она делает громадные усилия, но вместо правой руки приподымает левую. Доктор делает вид, что не заметил этого.

– Выпишите меня, пожалуйста, доктор, – просит П. – Вы видите, я совершенно поправилась.

– Хорошо, мы посмотрим. А какое у нас сегодня число?

– Семнадцатое.

– А месяц?

П. улыбается с таким видом, как человек, которого спросили о пустяках, известных каждому ребенку.

– Октябрь.

– Хорошо. А перед октябрем что у нас было?

– Ах, доктор, что вы спрашиваете! Ну, конечно, сентябрь.

– А перед сентябрем?

Больная вдруг сразу конфузится и только через несколько секунд произносит тихо:

– Не знаю... Я этих чисел не знаю...

В этом отделении больные уже не в белых халатах, а в желтых, из той материи, какая идет на солдатские шинели. В большой комнате с мягкой мебелью сидят только две больные: одна на диване шьет какое-то полосатое, по-видимому, собственное платье, другая сидит глубоко и неподвижно в кресле, опустив голову на грудь, и кажется спящей. Отсюда мы выходим в коридор. Там, у окна, оборотясь к нему лицом, стоит очень полная, высокая, пожилая блондинка и чешет волосы.

– Это бывшая здешняя фельдшерица, – говорит тихо доктор, – она одержима бредом преследования. Ей все кажется, что ее хотят

отравить, зарезать или загипнотизировать. Впрочем, я попытаюсь заговорить с ней. Он подходит к больной и говорит:

– Здравствуйте, Марья Александровна.

Она молчит, не поворачивая головы.

– Как вы себя чувствуете?

Тогда она быстро обращает к нему свое лицо с дряблыми щеками, изборожденными от постоянных притоков крови целой сетью мелких красных жилочек, с глазами, полными непримиримой ненависти.

– Конечно, скверно! – говорит она с сардоническим подчеркиванием. – А вы бы лучше сделали, если бы ушли отсюда. Слышите? Я вам говорю, убирайтесь вон! Я не хочу, чтобы ты меня гипнотизировал, негодяй! Ты не имеешь права расстраивать нервных больных!

Постепенно она приходит все в большее и большее волнение. Багровея, задыхаясь и трясясь, она осыпает доктора целым градом ругательств. В это время вы подходите к ней и вежливо спрашиваете:

– Марья Александровна, а мне вы позволите остаться?

Она мгновенно утихает и отвечает с ласковым достоинством:

– Останьтесь. Только стойте между мной и этим мерзавцем, потому что вы парализуете его токи.

И она величественно протягивает вам свою полную руку, на которой еще не высохли от недавнего умывания капли воды.

На другом конце коридора, взобравшись ногами на лавку, сидит девушка, блондинка, лет 17-ти, с нежным лицом, белым и розовым, с тоненьким, немного вульгарным профилем, с волосами не остриженными, как у всех больных, а кокетливо и тщательно собранными на затылке. Она босая и ноги у нее белые, маленькие, изящной формы. На все вопросы доктора она только отворачивает лицо к окну, нервно и тихо смеется и бормочет что-то об Иисусе Христе, о Паньковской улице, о Люцифере и о каком-то знакомом провизоре.

– Кто это? – спрашиваете вы у доктора, и он говорит вам, что это – Христина К., та самая девушка, служившая у кондитера, о действительном или мнимом изнасиловании которой недавно так много было слухов в городе. «Она вряд ли поправится», – прибавляет доктор. Но если вы, движимый желанием проникнуть в это ужасное и темное дело, спросите доктора: была ли, по его мнению, на самом деле изнасилована девушка, он ответит вам сухо, даже почти недружелюбно:

– Извините, но это уже не наше дело входить в рассмотрение подобных вопросов.

В то время, когда вы разговариваете с доктором, до вашего слуха доносятся отчаянные, раздирающие крики. Доктор бросается на крики, вы спешите за ним и, остановившись у дверей только что пройденной комнаты, видите, что две больные, из которых одна

была так прилежно занята шитьем, а другая – сном, – остервенением вцепились друг в друга и, катаясь по дивану, обе кричат от боли и озлобления. Увидев доктора, они бросаются к нему с объяснениями, каждая оказывается невинной и потерпевшей: одна сидела и ничего не ожидала, а другая подошла к ней и ни с того, ни с сего ударила ее по лицу. Доктор стыдит их как детей, и они успокаиваются. Затем вы, кстати, осматриваете спальню, которая в продолжение дня заперта на ключ. Каждая спальня на пять, на шесть человек. Несколько железных кроватей, застланных тоненькими байковыми одеялами, и лампадка с деревянным маслом, подвешенная к потолку и заменяющая ночник, составляют всю их меблировку. Днем лежать на постелях позволяют только особенно слабым больным.

Вы идете в следующий павильон. «Здесь уже более острые формы болезни», – предупреждает вас доктор, и вы, действительно, еще издали слышите, доносящиеся из павильона резкие, пронзительные крики, хохот, напряженно-громкий разговор и пение, больше похожее на звериный вой. Вы входите и видите ту же белую невысокую комнату, что и в отделении тихих больных, только совершенно лишенную мебели. Здесь больные уже не сидят и не лежат так неподвижно, как в других отделениях: большинство мечется из угла в угол, иные поют, набирая первые попавшиеся слова, другие говорят, обращаясь в пространство, волнуясь и жестикулируя. Одна женщина сидит в углу обхватив колени руками. Она качается вперед и назад и без устали, без перерыва бормочет нараспев: «па, па, па, па, па, па». А над ней другая, прищелкивая пальцами, притоптывая ногами, подрагивая плечом и поворачиваясь телом то налево, то направо, танцует казачка. Некоторые, не сходя с места, с остановившимися глазами широко открытым ртом, кричат без слов, но пронзительно и отчаянно.

Вы проходите мимо маленькой, необыкновенно худой женщины, которая одна среди этого ада сидит неподвижно и молча на корточках, прижавшись к стене.

– Это была когда-то очень интеллигентной, богатой и красивой женщиной, – говорит доктор, указывая на нее глазами, и вам не хочется верить: до такой степени жестокие и частые припадки эпилепсии обессмыслили это лицо. В коридоре на лежанке сидит молодая еще женщина и во все горло поет самую ужасную из солдатских песен.

– Здравствуйте, Сашенька, – обращается к ней доктор.

– Здравствуйте, – протягивает она ему с улыбкой руку. – Только вы напрасно говорите: Кирилловская больница – надо говорить: больница Кирилла и Мефодия. – И вслед за этим она продолжает свое прерванное циничное пение.

– Представьте себе, – сообщает вам доктор, – эта девушка окончила высшие женские курсы. Она – дочь протопопа.

Мимо вас медленно, точно крадучись, проходит крошечная фигурка, закутанная с головой в халат, из-под которого видны только два острых, внимательно следящих за нами глаза.

– Берегитесь этой больной, – предупреждает доктор. – У нее есть обыкновение накинуться сзади и ударить или укусить. Недавно она одной больной чуть не прокусила нижнюю губу.

С момента нашего появления в этой палате за нами неотступно следует по пятам высокая женщина с кирпичным цветом лица, брюнетка, с сурово сросшимися густыми бровями. Относительно нее доктор также предупреждает: «Это – эротоманка. От нее всегда можно ожидать какой-нибудь неприличной выходки». И вы на самом деле начинаете замечать, что, как только вы обращаете на нее внимание, ее глаза принимают кокетливое и сладострастное выражение. Если вы отстанете от доктора, то, в лучшем случае, рискуете попасть в самые горячие объятия этой больной.

Это еще не «буйное», а только «острое» отделение, но и здесь уже есть камера для изолирования бешеных. Это небольшая, совершенно пустая комната, около сажени в квадрате: стены ее обиты красными деревянными планками, упруго поддающимися при ударе. Здесь же в стене вделан клозет, но он для больных в припадке бешенства не только бесполезен, а скорее опасен: недавно одного сумасшедшего, который влез туда головою, насилу вытащили наружу. В этих камерах необыкновенно холодно, и воздух такой зловонный, что поскорее спешишь из них выбраться. Прежде чем посадить сюда больного, его раздевают донага (иначе он растерзает все платье, а в худшем случае – удавится им) и задвигают окно тяжелым ставнем. Холод и темнота довольно скоро успокаивают больного. И удивительно: никто из них никогда не простуживается в этих холодильниках, не отапливающихся, кажется, и зимою.

Выйдя их этого павильона, вы направляетесь, наконец, в буйное отделение. Ваши нервы, уже привыкшие несколько к зрелищам безумия, опять напрягаются от ожидания чего-то ужасного. В буйном отделении совершенно нет спален, только на ночь для больных вносятся тюфяки, которые расстилаются на полу. Вас сразу удивляет здесь сравнительная тишина; только из одной запертой камеры доносится чей-то хриплый визг. Женщины кажутся спокойными, но доктор объясняет вам, что бывают такие дни, когда почти всеми больными овладевает бешенство. Такие явления зависят, вероятнее всего, от барометрических влияний. Еще недавно между женщинами во время обеда произошла общая драка, которую насилу удалось прекратить.

Вам невольно бросается в глаза лицо старой еврейки, сидящей на полу, между дверью и печкой. Это желтое, все изборожденное морщинами лицо ни на одну секунду не остается в покое; отвратительные, чудовищные и самые разнообразные гримасы сменяются на нем с поразительной быстротой. В то же время еврейка, качая головой, перебирает пальцами и поет нараспев дикий набор звуков: «каля», «пита», «сана», «мана» – как иногда делают шаля дети. Это состояние у нее никогда не прекращается.

Дальше на скамейке скорчилась в обезьяньей позе женщина с пухлым бледным лицом. Она страдает эпилептическими припадками и замечательна тем, что раз сто покушалась убежать из больницы, но никогда не успевала выбраться дальше больничного забора. Вообще покушение на побег представляет в Кирилловской больнице явление самое обыкновенное. Уже давно известны всем рассказы о том, с какой хитростью приводит сумасшедший в исполнение какой-нибудь заранее обдуманный обман. Некоторые из них в этом отношении доходят до виртуозности. Не так давно в Кирилловской больнице содержался некто, одержимый бредом преследования. Он ухитрился запастись заблаговременно, при помощи кражи, целым костюмом и в один прекрасный день переоделся и бежал. Несмотря на все тщательные розыски – его не удалось найти. А он, между тем, добрался до Одессы, долгое время работал там на пристани и впоследствии, поступив рабочим на пароход, сумел даже выхлопотать себе временный вид на жительство. Но как он ни сдерживал свои безумия, оно все-таки взяло в конце концов верх, выразившись однажды в сильнейшем припадке бешенства. Беглеца схватили, навели о нем справки и поэтому отослали обратно туда, откуда он бежал с такой необыкновенной ловкостью.

Дальше вы видите разостланный на полу тюфяк, на котором лежит женщина, едва прикрытая простынею. Она лежит уже третий день, кричит, не переставая, и отказывается от пищи, которую ей принуждены вводить в желудок зондом. Ее обнаженное тело – эти тонкие, бессильно протянутые кисти, обтянуты сухой желтой кожей, покрытой сплошь ранами от пролежней и синяками от ушибов, – возбуждает в вас неудержимо чувство брезгливого ужаса. Дни этой несчастной – сочтены.

Затем вы направляетесь в мужские павильоны. Но внимание ваше до такой степени утомлено целым рядом тяжелых, удручающих картин безумия, что вы с трудом разбираетесь в массе дальнейших впечатлений. Точно во сне мелькает перед вами галерея желтых изможденных лиц, то бессмысленно улыбающихся, то зловещих и угрожающих; проносятся отрывки причудливого бреда, длинные рассказы, в которых одна нелепая мысль прихотливо цепляется за другую.

Вот, бывший иеродиакон – отец Антоний: громадная фигура с выкатившимися желтыми белками глаз. Он вам расскажет о том, что он окончил двенадцать академий и здесь же, прервав рассказ, затянет густым, до сих пор еще красивым баритоном: «О все-ей пал-лате и воинстве». Вы наблюдаете при этом у него характерное для прогрессивного паралича дрожание щек и нижней губы. Вот помощник метранпажа типографии Кушнерева. Он на пути к выздоровлению, когда доктор напоминает ему, что он когда-то летал на небо, бедняк с конфузливой улыбкой потупляет глаза. Вот бывший монах – О. П., к которому не так давно стекались наивные богомолки, считавшие его одаренным способностью пророчества...

Наконец, вы входите в буйное мужское отделение. Небольшая комната, рассчитанная первоначально на три человека, вся битком набита больными. Все они в беспрерывном движении: ходят, хохочут, кривляются, бранятся, ежеминутно толкают друг друга. Вероятно, в этом отделении не успевают вставлять разбитых стекол, так как окно в одном месте заткнуто подушкой. К комнате прилегает коридор с тремя дверьми, ведущими в смирительные комнаты.

Больные тотчас же обступают вас густою толпой. Один плачет навзрыд, рассказывая о том, что Николай-угодник предложил ему быть Спасителем. Но он на это не согласился; другой просит у вас позволения надеть вашу шляпу, третий – поляк, почти еще мальчик, с выжженным (причина его сумасшествия) глазом, яростно доказывает вам, что у него одна половина тела – польская, а другая – русская и что бедного Езуса хотят вторично пригвоздить гвоздями ко кресту. Один сумасшедший, среднего роста, коренастый, быстро бегает по диагонали комнаты с сосредоточенным и злобным видом. Сторожа следят за ним особенно внимательно, потому что он весь находится в самом подозрительном настроении. Потом вы видите, что его лицо как-то сразу темнеет, глаза становятся бессмысленными и грозными. Он неожиданно, с размаху, бросается всем телом в запертую дверь и с бешеным рычанием старается ее выломать. Его оттаскивают прочь, но он тотчас же кидается с пеной у рта к другой двери. Тогда, по знаку доктора, служители быстро схватывают его за руки, влекут в коридор, кладут на пол и раздевают донага. И он сам, точно торопясь, судорожными движениями рук и ног помогает им снять с себя платье. Затем быстро отворяется дверь в совершенно темную комнату. Сумасшедший стремительно вбегает в нее, дверь захлопывается, и из-за нее слышатся только дикие крики, пронзительный свист, мягкие звуки прыжков и ударов голого тела об стены. На остальных больных этот припадок действует эпидемически. Они тоже начинают волноваться, сжимать кулаки, оскорблять друг друга бранью, плеваться. Служителям насилу

удается их успокоить... Впрочем, вы были свидетелем незначительного припадка, но бывают (очень редко сравнительно) ужасные, неукротимые припадки бешенства (raptus), когда усилия десятка служителей оказываются бессмысленными против сопротивления больного, силы которого удесятеряет бешенство.

Окончив этот беглый осмотр, вы, наконец, выходите на воздух. Более обстоятельных сведений о больных получить невозможно. Их литературные произведения, к которым они почти все питают слабость, хранятся где-то в глубине канцелярского архива. О прежней жизни больных нет никаких данных, а некоторые даже не имеют фамилии и в графах журналов их обозначают просто: «Неизвестная еврейка», «Неизвестный старик», «Елена» и т.д.

Вообще больница обставлена очень скудно, благодаря недостатку средств и малости помещения. Доктора жалуются на то, что совершенно невозможно найти знающих, сильных, кротких и трезвых служителей и сиделок к больным. Да и сомнительно, чтобы человек, соединяющий в себе такие прекрасные и редкие качества, пошел бы за 5 руб. месячной оплаты на такую утомительную и сложную работу.

Развлечений у душевнобольных нет никаких, если не считать десятка-другого разрозненных томов, составляющих «библиотеку». Впрочем, некоторые из врачей больницы устраивают изредка в своих квартирах подобие музыкально-литературных вечеров, где в качестве исполнителей выступают сумасшедшие, которые, по словам докторов, ведут себя на этих вечерах удивительно чинно.

Выздоравливает душевнобольных около 20%. Остальные или умирают в больнице или отпускаются на поруки. Большинство больных – евреи.

1895 г.

В БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

Очерк

I. Прививки против бешенства.

По ту сторону железнодорожного полотна, на самой вершине Байковой горы возвышается здание бактериологического института. Ещё издали, с самой Васильковской улицы, видишь эту лёгкую, хорошенькую, кокетливую постройку, окрашенную в нежный светло палевый цвет и окруженную реденькой рощицей. Ничего в ней нет напоминающего наши обыкновенные лечебницы и больницы с их

тяжелыми угрюмыми казарменными фасадами и большими каменными заборами острожного типа. Скорее – это загородный коттедж или барский дом-особняк, построенный на самую широкую ногу.

Зато путь в институт тяжеловат: дорога хотя и вымощена, но покрыта толстым слоем мелкой, лёгкой, глинистой пыли. Поэтому, когда навстречу нам попадались экипажи или крестьянские тележки, то я и мой спутник вместе с извозчиком, пролеткой и лошадью утопали в густом мутно-жёлтом облаке, в котором нельзя было ни смотреть, ни продохнуть.

Расплатившись с извозчиком, мы вошли в самое здание, и нас сразу охватило бодрое, приятное, почти веселое впечатление. Просторный и высокий вестибюль буквально весь залит светом, обильно падающим с потолка через огромное стеклянное окно. Пол плиточный, шлифованный, в серых и красных квадратиках. Прямо перед нами широкая лестница и под ней в полуцилиндрической стенной нише гипсовый, а впрочем, может быть, и терракотовый бюст великого maitre'a – Пастера. Дальше лестница разделяется надвое и, обнесенная лёгкими чугунными перилами, идёт вдоль боковых стен.

Мы попросили проводить нас к профессору В.К. Высоковичу, заведующему прививочным отделением института. Дело прошлое, и потому сознаюсь, что шёл я не с легким сердцем. Интервьюерского наскока у меня нет, и поэтому страшные надписи «воспрещается» и «строго воспрещается» всегда ставят меня в тупик, а административное величие окончательно уничтожает. И тем более очаровал нас простой и любезный прием почтенного профессора.

– Я очень рад, господа, вашему желанию осмотреть и описать наш институт и с удовольствием готов оказать вам в этом помощь, – сказал профессор после того, как мы ему представились. – Нам было бы очень желательно, чтобы корреспонденты, прежде чем помещать какие-то заметки об институте в газетах, проверяли их на месте.

В.К. Высокович познакомил нас со всеми своими сотрудниками, рекомендовал нас их вниманию. Таким образом, обойдя сверху вниз весь институт, мы побывали и в приемных, и в лабораториях, и в конюшне, и в кролятнике, встречая повсюду самое радушное гостеприимство и выслушивая самые подробные и точные объяснения.

Внешняя сторона всего, что мы видели, прямо поразила нас: помещения просторны, света и воздуха – пропасть, и главное – во всём умопомрачительная, сверкающая чистота. Правила дезинфекции, асептики и стерильности возведены здесь в догмат, в какой-то фанатический культ, которому подвержены не только доктора, но и простые служители при лабораториях. Никто не дотронется до инструмента, трубочки, пузырька, пробирочки без того, чтобы раньше не обмакнуть

из в раствор сулемы и карболки, или не погреть их на газовом рожке, или не обтереть и прикрыть стерилизованной пропускной бумагой.

Прежде всего мы попадаем в приемную прививочного отделения. Это высокий, просторный зал с голыми стенами, длинным рядом окон и скамейками вдоль стен, – весьма похожий на зал III класса, только чистый, светлый и полный свежего воздуха. И так же, как в зале III класса, пришлые крестьяне и крестьянки сидят прямо на полу со своими ребятишками и узелками, потому что мест на скамьях не хватает. Детей вообще очень много. Довольно большое количество публики одето по городскому, виднеется даже несколько нарядных детских шляп и светлых летних блузок. Всего народу в приёмной, на мой взгляд, дожидается человек около ста. Вид у пациентов бодрый и здоровый: как то даже не верится, что все они покусаны бешеными животными.

Мы переходим в прививочную, очень чистую, очень светлую и уже совершенно голую комнатку (принимал больных д-р И.М. Цвиткис). Как он, так и помогающий ему служитель, облечены в длинные балахоны ослепительной белизны, с завязками на спине и с перехватами на кистях рук. Перед доктором стоят на столе: стеклянная коробочками с катышками гироскопической ваты, флакон с серно-кислым эфиром и блюдечко с подогретым 3%-м раствором карболовой кислоты. Служитель помещается перед большим стеклянным ящиком, в котором стоят, прикрытые пропускной бумагой, несколько бокальчиков с белесоватой, похожей на густое молоко прививочной эмульсией. Рядом с ящиком кипит в небольшом цилиндрике растопленное, постоянно подогреваемое парафиновое масло. Вот и вся обстановка прививочной.

Прием больных производится быстро и аккуратно, точно ход хорошо заведенной и раз навсегда пущенной машины. Доктор смотрит лежащий перед ним список и говорит:

– Остап Гарбуз.

Сторож, находящийся у дверей, растворяет их и громогласно бросает в приемную:

– Остап Гарбуз.

Входит пожилой хохол с бронзовым морщинистым лицом и колючей давно небритой бородой. Видно, что он уже не в первый раз в прививочной, так равнодушно подымает он кверху свою рубашку и так доверчиво подставляет доктору свой темный, почти черный живот. Доктор привычными, ловкими движениями пропитывает ватный шарик эфиром и крепко трёт им смуглое тело, при чём поясняет в нашу сторону:

– Это для того, чтобы смыть жир и грязь.

Затем проделывает то же самое с другим шариком, обмоченным в раствор карболки.

– А это для дезинфекции.

Покамест доктор проделывает эти манипуляции с крестьянским животом, служитель уже успел набрать в правацевский шприц прививочной эмульсии и опустить на секунду его иглу в кипящее стерилизованное масло. И всё это делается с такой взаимной сноровкой и точностью, что едва только доктор, отбросив в сторону вату, успевает протянуть руку, как в ней, точно сам собой, оказывается уже приготовленный шприц. Оттянув немного пальцами левой руки кожу на животе пациента, доктор слегка прокалывает её иглой шприца, вводит эмульсию, и операция, во время которой бронзовое лицо хохла ни на один момент не изменяет своего равнодушного выражения, окончена. Уколотое место ещё раз вытирается карболкой, и г. Цвиткис, нагнувшись к списку, уже вызывает следующего больного.

Впрыскивания эти почти безболезненны. На один момент является ощущение как бы укуса от большого комара – и ничего больше. По крайней мере при мне большинство пациентов даже и не морщились при введении под кожу иглы. Правда, две барышни заохали было, но тотчас же рассмеялись, когда доктор шутливо пристыдил их. Какой-то толстый бутуз, совсем уже решивший разреветься, вдруг необыкновенно быстро и комично изменил плаксивое выражение своей круглой рожицы на крайне удивленное, когда увидел, что страшная игла не причиняет почти никакой боли…

Каким же образом добывается и обрабатывается благодетельная прививочная эмульсия? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я попрошу читателя последовать за нами в лабораторию прививочного отделения. Там в одной из комнат стоят вдоль стен на невысоких столах клетки с кроликами. На каждой клетке приклеен бумажный ярлычок с обозначением месяца и числа, в которое бедного хорошенького зверка заразили ядом бешенства. В первые четыре-пять дней после заражения кролик чувствует себя довольно бодро, охотно есть, пьёт и двигается. Но мало-помалу он становится всё более скучным и вялым, теряет аппетит, а к концу седьмого дня уже совсем перестает двигаться, лежит на боку и то только по слабому дыханию можно заметить, что он ещё жив. Только в этом неподвижном оцепенении и выражаются у кролика признаки бешенства, которое у других животных принимает такой буйный и грозный характер.

На восьмой-девятый день кролик умирает. Тотчас же производят вскрытие с целью извлечь из него головной и спинной мозги. Головной мозг идёт на заражение других кроликов, а из спинного приготовляется предохранительная против бешенства прививочная эмульсия для людей и для животных.

Производя свои первоначальные опыты Пастер старался найти такое животное, которое заболевало бы лёгким бешенством, напо-

добие того, как коровы болеют легкой оспой, чтобы потом от этого животного делать людям предохранительные прививки от настоящего бешенства. Сначала он остановился было на обезьяне, но так как обезьяна животное сравнительно редкое и дорогое, то Пастер придумал другой, более простой способ получать яд от бешенства.*

Он заметил, что если вынуть спинной мозг у бешеного животного и высушивать его, то яд в мозгу делается всё слабее и слабее и через несколько дней совсем теряет свою ядовитость. Для своих опытов Пастер брал мозги кроликов. Первого кролика он заразил мозгом бешеной собаки, а следующих заражал уже кроличьими мозгами от одного кролика к другому.

Пастер заражал кроликов прямо под твёрдую оболочку головного мозга, сделавши небольшое отверстие в кости черепа круглой пилкой. Первый кролик погиб от собачьего мозга на 17 день, следующие же кролики, уже от кроличьих мозгов, заболевали всё раньше и раньше. Яд как бы делался всё сильнее и сильнее, но после нескольких десятков заражений он дошёл до определенной силы и кролики заболевали от заражения таким ядом всегда в определённое время. Эти наблюдений и опыты продолжаются уже несколько лет и произведены на многих тысячах кроликов, в результате чего и получился стойкий, усиленный кроличий яд.

Затем Пастер заметил, что если мозгом, сушившимся в банке с едким калием в продолжении же 5 дней, заразить кролика, то кролик умирает от бешенства не на 8-й или 9-й день, а на 12-й или 14-й; мозг, сушившийся 6 дней, производит то же действие ещё позднее, именно на 23-й и даже 30-й день, а мозг, просушившийся 7 дней и больше уже совсем теряет свою ядовитость и кролики от него не заражаются и не умирают.

Когда Пастер узнал, что мозги бешеных кроликов от просушки мало-помалу теряют свою ядовитость, он произвёл многочисленные опыты на собаках. Здоровым собакам он прививал под кожу кроличьи мозги, сначала совсем не ядовитые, потом слабые и под конец самые ядовитые и увидел, что эти собаки не умирают от бешенства, даже если их после таких прививок заразить собачьим ядом прямо в головной мозг.

Когда таким образом Пастер убедился в верности своего способа прививок, он перешел и к лечению людей. Один раз вечером – это было 6 июля 1885 года – два доктора привели к Пастеру 9-летнего мальчика, сильно покусанного бешеной собакой. У мальчика были глубокие раны на руках, ногах и на лице, так что он непременно должен был умереть от бешенства. Эти доктора знали, что Пастор лечит собак от бешенства прививками и предложили ему попробо-

вать свой способ на мальчике. Пастер согласился. В первый день он привил мальчику совсем не ядовитый мозг кролика, провисевший в банке 14 дней, а потом с каждым днем прививал всё более и более сильный яд. Прививки делались под кожу живота, утром с одной стороны, а вечером с другой. К удивлению всех и великой радости Пастера мальчик не заболел бешенством. Пастер своим лечением предохранил его от страшной болезни и смерти.

В настоящее время способ пастеровских прививок получил широкое всемирное распространение, и не вылечиваются ими только те, которые или очень поздно после покусов начали лечение, так что у них яд из ранок прошёл уже в мозг, или же некоторые из них, у которых были очень глубокие покусы на лице и ранены крупные нервы, потому что у таких субъектов яд из ран очень скоро достигает головного мозга. Поэтому особенно опасны укусы бешеного волка, почти всегда хватающего за голову и лицо и при том весьма глубоко вонзающего в тело свои острые зубы.

Самый процесс добывания кроличьих мозгов и приготовления из них прививочной эмульсии весьма прост. Мертвого кролика обмывают сначала раствором сулемы и затем, распялив его вверх спиной на мраморной доске, производят вскрытие. Несколькими штрихами скальпеля тоненькая кожица отделяется от красноватого, влажного мяса; мясо, в свою очередь, отрезываемое пластами, обнажает спинной хребет во всю его длину. Тогда человек, производящий вскрытие, особыми кривыми и острыми щипцами как бы скусывает один за другим позвонки спинного хребта и осторожно освобождает скальпелем длинную тонкую, похожую на белого червяка полоску спинного мозга от обволакивающей его верхней бесцветной плёнки. Червячка этого разделяют надвое, под каждую половину подводят ниточку с заранее приготовленной петлей и, затянув петлю, извлекают отпрепарированный мозг, для того, чтобы тотчас же опустить его на той же ниточке в большую стеклянную банку, которая сверху прикрывается гигроскопической ватой. Положенный на дне банки едкий калий очень быстро впитывает в себя влагу, и через день, через два, и т.д. до восьми дней из банки вынимают уже готовый к употреблению мозг, тем более содержащий в себе ядовитого начала, чем меньше дней подвергался сушке. Остается только при соблюдении самых строгих правил дезинфекции, растереть высушенный мозг в стеклянном бокале и развести его в слабом растворе поваренной соли – и прививочная эмульсия готова. Добытым из черепа того же кролика головным мозгом заражают других кроликов, заражают, как уже выше было сказано, введением ядовитого вещества прямо под твёрдые покровы головного мозга, через пропиленное в черепе

круглое отверстие. Но на этой операции мне не удалось присутствовать, может быть, и к лучшему для меня. Впрочем, говорят, что кролики особенной боли при этом не чувствуют и сохраняют после операции бодрый вид и даже едят и пьют с прежним аппетитом.

Кроме приготовления антирабической** эмульсии, в прививочном отделении производятся опыты чисто научного характера. Так, напр<имер>, проф. Высокович занят в настоящее время весьма интересными наблюдениями над действием на животных яда индийской кобры, но так как профессор намерен в недалеком будущем сообщить результаты этих опытов в собрании врачей, то мы о них и не будем распространяться. Непосредственными помощниками В.К. Высоковича состоят врачи И.М. Цвиткис и В.Е. Краснитский.

В Киевский бактериологический институт, при его основании, мозг зараженного бешенством кролика был доставлен прямо из парижского Пастеровского института в сосуде, наполненном глицерином (известно, что под действием глицерина яд бешенства не претерпевает долгое время никакого изменения). В настоящее время благодаря последовательным прививкам бешенства от одного животного другому, в нашем институте всегда имеется достаточное для насущной потребности количество зараженных кроликов. А что потребность эта весьма значительна , видно из того, что в некоторые дни июня и июля месяцев число принимаемых больных достигает очень крупной цифры – 123-х. Кроме того эта потребность очевидно разрастается с каждым годом: так, в 1898 г. (по 12 августа) предохранительными прививками пользовалось значительно менее 600 человек, в прошлом 1899-м за то же время 647 чел., а в настоящем – 844. И если мы обратим внимание на то, что из лечившихся более половины было крестьян и казаков, – нельзя не порадоваться тому успеху, который с каждым годом завоевывает в темной крестьянской среде открытие великого французского ученого. Вероятно, недалеко уже то время, когда в деревнях и селах отойдет в область преданий лечение бешенства чесноком, молочаем, нечуй-ветром, куриными очами, собачником, шелудивником и приточником, когда «деды» и «бабы» перестанут прокалывать заболевшим какие-то пузыри под языком, шептать на воду или делать раскаленным ключом каббалистические метки на лбах своих несчастных пациентов, когда истинная наука сделает в косной, недоверчивой народной массе новое прочное завоевание. Тогда в громадной степени уменьшится и смертность от этой ужасной болезни. В настоящее время, как показывает отчет, на всё число укушенных несомненно бешеными животными и пользованных предохранительными прививками пришлось всего 1/<неразб.> % случаев смерти, а с сомнительными укусами и того меньше. Как

прибавляет отчет, необходимо принять во внимание, что только в одном из смертных случаев прививки начаты через день после укушения, а в остальных через 4-7 и более дней. Поэтому совершенно ясно, что и этот незначительный процент скоро падёт до микроскопических размеров, если через школы или хорошую и толковую книжку, или через объяснение людей грамотных, в народное сознание широко проникнет доверие и уважение к людям науки, неустанно и самоотверженно работающим на пользу человечества.

P.S. Как проф<ессор> Высокович, так и его помощники жалуются на трудность, которая сопряжена с доставкой в нужном количестве необходимых для опытов кроликов и морских свинок. Несмотря на то, что институтом назначена весьма изрядная сумма за каждое из этих животных (по 30 и больше коп.), никому ещё в Киеве не пришла в голову мысль заняться их разведением в коммерческих целях. А ведь если принять во внимание с одной стороны поразительную плодовитость кроликов и свинок, а с другой – всё увеличивающуюся в них потребность, – дело выходит далеко не безвыгодное. За границей при больших университетах и бактериологических институтах давно уже существуют специальные поставщики кроликов, собак, кошек, морских свинок, белых мышей, голубей и лягушек. Говорят, что эти поставщики зарабатывают кругленькие суммы.

** Д-р Педригайлов. О бешенстве у людей и животных. (примеч. автора).*

*** Rabies – бешенство (примеч. автора).*

1900 г.

В БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

Очерк

II. Антидифтеритная сыворотка.

«Das Blut das ist ein ganz besonderes Saft».
Goethe «Faust»

Мы не будем говорить об истории великого открытия XIX века, – лечения дифтерита кровью животных, искусственно сделанных к этой болезни невосприимчивыми. Имена Беринга, японца Китазато и, в особенности, Ру достаточно известны всему образованному миру, восторженно приветствовавшему их замечательные опыты. Без сомнения, известны также многолетние труды в этой области

киевского профессора А.Д. Павловского. Мне только хочется поделиться с читателями теми мимолетными и, может быть, поверхностными впечатлениями, которые я вынес при осмотре антидифтеритного (буду так называть для краткости) отделения Киевского бактериологического института. Надо сказать, что техническая сторона приготовления антидифтеритной сыворотки – дело крайне сложное, медленное и кропотливое, поэтому я не рискую пускаться в объяснение мелких лабораторных деталей, а ограничусь лишь схематическим изложением всего виденного мною.

Так как профессор А.Д. Павловский во время моего визита в институте находился заграницей, то мне пришлось обратиться к любезному содействию его непосредственного помощника врача В.Ю. Любинского.

– Конечно, более всего времени мы уделяем приготовлению антидифтеритной сыворотки и опытам над её действием, – сказал В.Ю., после того, когда я изложил ему цель своего посещения. – Но основная наша цель – исследование инфекционных болезней, их возбудителей и способов борьбы с последними. Да вот, кстати, я вам покажу, если хотите, наш музей, коллекцию бактерий, являющихся предметом наших исследований.

В.Ю. открыл дверцу небольшого черного лакированного шкафчика, и я увидел то, что он так громко называл «музеем». Это были три или четыре полочки, сплошь заставленные целой армией маленьких стеклянных, закрытых ваткой пробирок, в которых содержались чистые культуры бактерий, то в виде серовато-белых пленок, то виде плавающих в жидкости зернистых масс белого, жёлтого, фиолетового и красного цветов. Однако, при дальнейших объяснениях я почувствовал к «музею» боязливое почтение.

– Вот это культура дифтеритных лефлеровских палочек, – говорил В.Ю., вынимая один за другим стеклянные цилиндрики и показывая их мне. – Это – запятые азиатской холеры. Это – стрептококк человеческой рожи. Вот – микробы чумы…

– Чумы? – переспросил я, и в моей памяти быстро промелькнули Вена и Глазго и трагически-геройская смерть проф<ессора> Мюллера.

– Да, чумы, – равнодушно ответил г. Любинский – Но мы держим чумные культуры в умерщвленном виде и при том герметически закупоренными… В этой пробирке, продолжал он, – бактерии сибирской язвы, а вот в этой – туберкулезные микробы, – понюхайте – они отличаются довольно приятным запахом. Здесь прекрасная колония бактерий лошадиного сапа, а вот – палочки брюшного тифа… Вообще музей у нас, надо сказать правду, довольно обширный и весьма интересный.

Окончив осмотр этого «интересного музея», которым в случае надобности можно было бы начинить сотни три или четыре микробоносных бомб, проектированных каким-то фантастическим романом из жизни XXX столетия, мы переходим к самому процессу изготовления антидифтеритной сыворотки.

Раньше всего маленькой губочкой, насаженной на пинцет, достают несколько плёнок из горла ребенка, больного тяжелой формой дифтерита. Плёнки эти содержат бесчисленные разводки лефлеровских палочек, но во всяком случае необходимо получить их в чистом виде, отделив от множества других микробов, всегда в обилии находящихся в полости рта даже самого здорового человека. Этого достигают тем, что засеивают дифтеритными колониями пластинки из бычьей сыворотки – почвы чрезвычайно благоприятной для быстрого размножения дифтеритных палочек, – а потом, осторожно и тщательно пересаживая вновь народившиеся колонии на новые места, получают постепенно чистые дифтеритные разводки.

Дальнейшее размножение палочек происходит в пробирках, наполненных пептоновым бульоном, куда бактерии пересеиваются с сывороточных пластинок. Впрочем, вместо бульона можно употреблять отвар водоросли, известной под названием «агар-агара». Попав в одну из таких питательных сред, палочки размножаются со страшной быстротой. Сегодня их перенесли в пробирку на самом кончике иглы, а через несколько дней они уже плавают над бульоном сплошным, толстым, беловатым слоем.

Но размножение это имеет свой предел, за которым оно, вероятно, вследствие иссякновения питательных частиц бульона, прекращается и далее не идет. Из маленьких пробирок рассаживают полученные разводки по большим литровым колбам, наполненным тем же бульоном. Размножаясь теперь в более обширных размерах, бактерии в то же время постепенно выделяют из себя свой яд, тот страшный яд, который находят в органах детей, умерших от дифтерита, и который, будучи впрыснут животным, производит у них характерное воспаление и параличи. Этот-то яд и необходим лаборанту для дальнейшей обработки и для впрыскивания его здоровым лошадям. И так как потребность бактериологического института в дифтеритном токсине была очень велика, то и засеивание бактерий производится в громадных размерах. Целые сотни колб стоят в особенных металлических шкафах (термостатах), где, благодаря системе двойных стенок и равномерному подогреванию газовыми лампочками, достигаемому особыми регуляторами поддерживается постоянная температура в 37 гр<адусов>, т.е. нормальная температура человеческого тела.

Через три или четыре недели вынимают колбы из термостата. Над желтоватым, мутным бульоном лежит солидный слой бактерий, похожий скорее всего на протертый сквозь мелкую тёрку швейцарский сыр. Эти разводки необходимо отделить от бульона, для чего всё содержимое колбы осторожно пропускают сквозь бумажный фильтр. Колонии бактерий остаются на бумаге, а жидкость, прошедшая через пропускную бумагу, для окончательного освобождения от бактерий процеживается сквозь прибор, называемый по именам его изобретателя и усовершенствователя «свечой Шамберланд – Пастера».

Схематически свеча Шамберланд – Пастера представляет из себя полый открытый с одного лишь конца каолиновый цилиндр, действительно имеющий некоторое сходство со стеариновой свечой. Свеча соединяется посредством металлической гильзы с особым резервуаром, в который вливают профильтрованный через бумагу бульон. Под влиянием сильного давления, производимого насосом, бульон просачивается сквозь мельчайшие, незаметные глазу поры каолина и собирается в отдельный сосуд, а на наружных стенках свечи оседают лишние примеси. Прошедшая сквозь свечу Шамберланд – Пастера жидкость и есть яд, вырабатываемый дифтеритными палочками в органах человека, яд, полученный в наивозможно чистом виде.

– Знаете ли вы, какова сила этого токсина? – спросил В.Ю. Любинский, показывая на большую бутыль, наполненную жидкостью цвета хорошего портвейна. – Одна десятая часть его капли смертельна для морской свинки, а тридцати капель вполне достаточно для того, чтобы убить здоровую лошадь.

– В таком случае, для чего же вам целые фунты, целые пуды этого страшного яда, – спросил я в недоумении.

– Это вы сейчас увидите, – улыбнулся В.Ю. – Но для этого нам нужно спуститься в конюшню, Там сегодня есть на что поглядеть.

Мы миновали несколько больших светлых комнат со множеством столов, тесно уставленных банками, колбами, ретортами, пробирками и ещё какими-то химическими приборами, сверкавшими под случайным лучом солнца своим тонким стеклом; заглянули на минутку в фотографическую комнату; прошли через обширную залу заседаний, где бюст великого Пастера и портрет Л.И. Бродского в торжественном безмолвии созерцают длинный стол, покрытый красным сукном, и примкнувшие к нему два ряда кресел с высокими спинками; спустились по великолепной лестнице вестибюля и вышли на крыльцо, от которого маленькая тропинка, едва заметная в густой траве, покрывающей двор, ведет мимо игрушечного кроличьего павильона в просторное здание конюшни.

В конюшню входишь через небольшой коридор, к которому справа и слева прилегают две маленькие комнатки: в одной хранятся инструменты и сосуды, употребляемые для добывания сыворотки, в другой находится холодильник, где эта самая сыворотка отстаивается. Коридор выходит в «прививочную» – большую совершенно пустую комнату с асфальтовым полом и огромными венецианскими окнами. В правом углу прививочной возвышается станок, куда вводят лошадей для кровопускания: четыре массивных столба, идущих от пола до потолка, а между ними надёжные деревянные засовы и широкие ремни.

Прививочная тоже небольшим коридором сообщается с самой конюшней, куда я и прохожу, пока г. Любинский хлопочет над чем-то в одной из передних маленьких комнат.

В коридоре я натыкаюсь на милую жанровую сценку. Дюжий малый, в красной рубахе навыпуск, поливает из водопроводной кишки сытого, круглого, как огурчик, бойкого серого конька. И конюх, и лошадка, видимо, одинаково довольны: лошадка весело фыркает и охотно подставляет под сильную струю свои глянцевитые, потемневшие от воды бока, а конюх приговаривает с любовной суровостью: «Ишь, рад, подлец… Нагулял жиру-то, животная этакая…». Так как мне нельзя пройти, то я дожидаюсь. Конюх, окончив обливание, звонко шлепает по круглому с желобком посредине крупу, и лошадь резвой шаловливой рысцой бежит в своё стойло.

Это обливание, производимое всегда в определенный час (не надо забывать, что дело происходит в середине августа), должно быть, всем лошадям доставляет одинаковое удовольствие, потому что когда мы с молодцом в красной рубахе входим в конюшню, они поворачивают к нему свои умные, настороженные мордочки и ласково, точно на овёс, покряхтывают.

Не знаю почему, но мне казалось, что я увижу здесь заморенных, колченогих, костлявых, извозчицких одров. Тем более я был просто удивлен при виде двух или трёх десятков рослых, сытых и бодрых коней. Конюх, сам, вероятно, втайне – под маской традиционной кучерской суровости, – страстный охотник до лошадей, с удовольствием показывает мне своё хозяйство.

– Изволите ли видеть, каков конишко, – говорит он, похлопывая огромного флегматичного першерона по жирному, широкому, как печь, заду. – И сми-ирны-ый, всё равно, что корова. Когда кровь пускают, так хоть и не привязывай… А это вот Орлик, настоящей английской породы, недавно у одного помещика купили. Орлик, о–о! о–о! – ласковым баском подманивает он высокую, стройную рыжую лошадь, и та тихонько подходит к решётке денника, просо-

вывает в неё свою изящную тонкую головку и осторожно вздрагивающими мягкими губами ловит гладящую её руку.

– Совсем, как человек, – продолжает не без гордости конюх, – только говорить не может, а то всё, как есть, понимает. Скажешь ему – Орлик, он за тобой так и пойдет…

В это время приходит г. Любинский.

– Вы спрашивали, зачем мы приготовляем такое большое количество яда, – обращается он ко мне. – Так я теперь удовлетворю ваше любопытство. Этому самому Орлику, например, мы, как новичку, вводим в кровь самое незначительное количество токсина никак не более пяти капель. Затем это количество постепенно увеличивается до 10-ти, 20-ти, 50-ти и так далее капель. Посмотрите на этого молодца, – указал В.Ю. на рослую гнедую лошадь, – как вы думаете, сколько теперь можно без вреда впрыснуть за раз? Более пяти стаканов токсина.

Действительно, лошадь глядела таким молодцом, что я невольно задал вопрос.

– Но, вероятно, это отражается на её здоровье?

– Нимало. Во время первых впрыскиваний замечается, правда, некоторое повышение температуры, лёгкая лихорадочка, вялость. А потом прекрасно втягиваются. Кстати, если вам интересно, пойдемте в прививочную. Вы увидите, как делается инъекция токсина и как производится кровопускание.

В прививочную приводят на недоуздке красавца Орлика, который бережно, с недоверием ступает по звучному асфальтовому полу. Увидев подходящую к нему фигуру доктора, одетого в белый халат, он тревожно косит неё левый глаз и переступает задними ногами. Но конюх ободрительно оглаживает его, и он успокаивается. Доктор собирает в складку тонкую кожу на боку лошади, быстро погружает в неё длинную иглу шприца и также быстро впускает ядовитую жидкость.

– Этой лошади, как я вам уже сказал, только что начали делать впрыскивания, – говорит В.Ю. – Тем же, которым вводятся под кожу большие дозы, мы впрыскиваем токсин посредством особых, весьма вместительных баллонов. К сожалению, сегодня вы этого не увидите. Зато сейчас вы будете присутствовать при кровопускании.

Ввели рослого, крепконогого, каракового коня и поставили его в станок. Сначала он ничем не проявлял беспокойства и даже заигрывал с конюхом, делая вид, что хочет укусить его за рукав рубашки, но когда задвинули спереди его и сзади деревянные засовы, перекинули ему через спину ремень и прикрутили его шею к столбу, он начал тревожиться, храпеть и нервно перебирать ногами.

Между тем два служителя в длинных белых халатах принесли всё необходимое для операции: восемь стеклянных цилиндров, около полуаршина вышины и вершка полтора диаметром, каждый из них закрыт сверху пропускной бумагой и обвязан ниткой; длинную гуттаперчевую трубку, на конце которой прикреплена стальная игла, похожая размером и формой на гусиное перо-зубочистку, и, наконец, ватные шарики, пропитанные сулемой.

Прежде всего промыли сулемой то место на шее лошади, куда предназначался укол. Затем, нащупав левой рукой вену, оператор точным и ловким движением вонзает в неё иглу. Тотчас же один из служителей подставил стеклянный цилиндр, а другой свободным концом гуттаперчевой трубки проткнул бумагу, закрывавшую отверстие. Густая, тёмно-вишневая кровь сильной струёй, журча и пенясь, потекла в сосуд и от её толчков ритмически вздрагивала стальная игла. Когда первый сосуд наполнился почти до верху, его поспешно приняли и увязали новым листом пропускной бумаги, а конец трубки опустили в следующий цилиндр. Таким образом у бедного каракового коня взяли целых восемь цилиндров крови, фунтов, кажется, около 10-ти, если не больше. Когда его выводили из станка, он слегка пошатывался на ослабевших ногах и жадно набросился на ведро с водой, которое перед ним держал, сочувственно подсвистывая, сострадательный конюх.

– Лошади легко переносят эти кровопускания, – заметил В.Ю. Любинский. Первый день, правда, поскучает немного, а к концу второго прекрасно себя чувствует. Иным это даже как будто бы в пользу идёт. Впрыскивания те, пожалуй, тяжелее, потому что после них делаются иногда у лошадей на животе отёки.

Цилиндры с кровью поставили на несколько минут в тёмный холодильник, большой цинковый ящик с двойными стенками, между которыми были набросаны куски льда. Когда же цилиндры вынули наружу, кровь в них уже свернулась, осев в них большими черными массами, похожими на колбасы, между тем как сыворотка, жидкость цвета светлого пива, стояла над ними до самого верха цилиндров, Вся полученная из восьми цилиндров сыворотка через сутки была слита в один большой сосуд, указывая на который, г. Любинский сказал:

– В этой склянке лечебной жидкости больше, чем на 200 рублей.

Прежде, чем употребить сыворотку в дело, её подвергают испытаниям на морских свинках. Вообще принято, что сыворотка считается пригодной, если её две тысячные доли (0,002) нейтрализуют десятерную, смертельную для морской свинки дозу яда. Для проверки смешивают в пробирке 0,002 испытуемой сыворот-

ки с десятерной смертельной для свинки дозой яда и впрыскивают эту смесь свинке. Если свинка перенесёт впрыскивание легко, без образования местной припухлости и потери веса, значит, данную сыворотку можно употреблять в дело.

Такая сыворотка содержит всего лишь 50 единиц антитоксина в 1 куб<ическом> сант<иметре>, и её надо впрыскивать человеку 20 куб<ических> сантиметров. Но эта сыворотка теперь считается слабой. В лаборатории бактериологического института получается сыворотка с 200 единицами антитоксина в 1 куб<ическом> сант<иметре>, причем для лечения дифтерита достаточно ввести такой сыворотки всего лишь 5 куб<ических> сант<иметров>, вместо прежних 20 куб<ических> сантиметров.

Когда сыворотка собрана в большие стеклянные сосуды, предстоит целый ряд манипуляций с целью её сохранения и разливки в мелкие, удобные для употребления склянки. Сыворотка, как белковая жидкость, обладает способностью легко портиться и загнивать. С целью её сохранения школа Беринга приливает к ней до 0,5% карболовой кислоты. Карболовая кислота, правда, до известной степени предохраняет сыворотку от порчи, но в применяемых дозах она едва ли безразлична для организма. Поэтому в лаборатории института антидифтеритная сыворотка, во избежание прибавления карболовой кислоты, фильтруется через ту же фарфоровую свечу Шамберланда и только после этого разливается в маленькие стерилизованные флакончики – ампулы, куда раньше бросается кусочек камфары, прекрасно предохраняющей сыворотку. Вслед за тем горлышко ампулы запаивается на пламени и на стенку её наклеивается этикет. Цена такой ампулы – 1 руб. и достать её можно во всякой аптеке.

При употреблении сыворотки отбивают шейку ампулы, причем образуется отверстие, в которое вводится игла дезинфицированного шприца. Содержание флакона вводится под кожу больному в один прием. Успех лечения тем вернее, чем раньше начать введение сыворотки. Процент смертности (по Kossel'ю, Павловскому и др.) при впрыскивании на первый день болезни = 0; во 2-й и 3-й дни он выражается незначительными цифрами, колеблясь от 5 до 10 % и лишь на четвертый день заметно увеличивается.

Целебное действие сыворотки, употребленной в надлежащей дозе и в надлежащее время, поразительно: высокая температура быстро падает, пульс становится реже, самочувствие больного улучшается, плёнки быстро удаляются, и через 2-3 дня ребенок выглядит совсем здоровым.

Напоследок маленькая хронологическая справка: 8 ноября 1894 года началась в Киеве иммунизация первых пяти лошадей, приобре-

тенных на общественные пожертвования; 18 января 1895 года были уже готовы первые лошади, а 20 января началось лечение больных дифтеритом детей первой русской антидифтеритной сывороткой. В настоящее время дело поставлено на широкую ногу. Более двадцати лошадей дают ежегодно на несколько десятков тысяч рублей драгоценной жидкости, и, тем не менее, институт пока получает от приготовления сыворотки убытки, так как приготовление её обходится очень дорого.

1900 г.

НОВОРОССИЙСКИЙ ЭЛЕВАТОР

Очерк

Если вы спросите обыкновенного новороссийского обывателя, чем замечателен его родной город, он наверно ответит вам: во-первых, норд-остом, а во-вторых, хлебным элеватором, – и при этом непременно прибавит с гордостью местного патриота: «Ведь наш элеватор второй в мире после чикагского»

Норд-ост – это, как всякому известно, ветер, дующий в направлении от северо-востока к юго-западу. Для Новороссийска, а в особенности для его великолепной первоклассной бухты, он является настоящим бичом Божьим. Сорвавшись ни с того, ни с сего откуда-то с гор, он ураганом налетает на город, разрушая, коверкая и унося за собой в бешеном вихре всё, что попадается ему навстречу в его опустошительном набеге. Нет никакой возможности предугадать момент его возникновения, точно также как нельзя с уверенностью сказать, сколько времени он будет продолжаться. Иногда он дует в течение всего лишь каких-нибудь двух-трёх минут, но зато бывают периоды, когда он неистовствует подряд целую неделю, а то и больше, обращаясь в истинное народное бедствие.

Происхождение норд-оста покрыто тайной, относительно которой существует множество гипотез. Одни говорят, что это явление циклонического характера, вызываемое разницей температур воздуха в горах и в лощинах. Другие видят причину его в сквозняках, образующихся в узких и длинных горных ущельях. Что же касается черкесов, некогда заполонявших благословенное западное побережье Черного моря, то они наивно и нерушимо приписывали его происхождение злостным выходкам шайтана.

Сила этого ветра поразительна. Он разрушает каменные стены, сносит долой крепления при постройках, срывает и уносит с домов железные крыши, опрокидывает вагоны и тяжело нагруженные те-

леги. Чтобы составить понятие об его свирепости, достаточно поглядеть на горы, окружающие сплошным кольцом прелестную новороссийскую бухту. Эти горы, начиная от своих развязистых подошв, одеты густой зарослью мелкого кустарника, но вершины их вечно остаются голыми, точно плешивыми, потому что норд-ост в своей страшной стремительности сметает с них всё живое и растущее.

Особенно жесток бывает норд-ост зимою. Как разъяренный зверь бросается он с горных вершин в море, взрывает его до самого дна и бурей ледяных брызг несется на городские постройки. Тогда морская вода совсем затопляет прилежащие к бухте улицы, дома обращаются в ледяные дворцы, фонарные столбы скрываются под массой сосулек, обледенелые проволоки телеграфа рвутся. В это время особенно жутко приходится пароходам, гостящим в гавани. Если только есть возможность, они торопятся при приближении норд-оста убраться в открытое море; в противном случае отдают якоря и упорно держатся на парах против ветра. Что же касается маленьких парусных фелюг, то их нередко загоняет бурей далеко в море, где они и пропадают без вести; в лучшем случае их заносит в Константинополь или в Трапезунд.

В эти роковые дни всякое сообщение в городе прекращается, и жители чувствуют себя совершенно в осадном положении. Они прячутся по своим углам, дрожа ежеминутно за своё существование и боясь высунуть за двери кончик носа. Во время норд-оста вы во всем городе ни за какие деньги не достанете ни ломтя хлеба, ни куска каменного угля.

Я нарочно так подробно остановился на разрушительных свойствах норд-оста, потому что это чудовище в значительной мере обесценивает высокие качества новороссийской бухты, а вместе с тем тормозит, задерживает биение её главного пульса – элеватора. Количество хлеба, отправляемого через элеватор, достигает в некоторые годы внушительной цифры – 38 миллионов пудов. Без сомнения вывоз выразился бы в ещё более почтенных цифрах, если бы этому не мешала дурная репутация, установившаяся за новороссийской бухтой, благодаря её пресловутому норд-осту.

Весь элеватор представляет собой колоссальное сооружение, состоящее из множества башен, амбаров, галерей, разбросанных на громадном пространстве. Все они возведены из красного кирпича и занумерованы. Число этих построек сурового фабричного типа мне неизвестно, но помню, что на одной из них я видел надпись, сделанную большими черными буквами «башня № 32».

Посредине всех элеваторных сооружений возвышается главная башня – огромное красное девятиэтажное здание. От него протяну-

лись к самому морю, точно гигантские щупальца, деревянные крытые галереи, которые сначала идут по земле, потом поднимаются на деревянные подмостки и, наконец, взобравшись на высокие эстакады и пройдя около полутора верст, выдвигаются далеко в бухту.

У основания башни со всех четырех сторон прорезаны в её фундаменте около тридцати люков, соединенных между собою рельсовым путем. Вы видите, как один за другим подходят к этим люкам железнодорожные вагоны, как рабочие быстро развязывают мешок за мешком, и как сверкающее на солнце зерно потоками льётся в эти разверстые ненасытные пасти. Ссыпка хлеба из вагонов – единственный вид ручного труда на элеваторе. Всё остальное делает машина. Она подымает зерно на высоту девяти этажей, очищает всё от пыли и посторонних примесей, сортирует его по величине и качеству, взвешивает его с точностью до десятых долей фунта, ссыпает его в солидные зернохранилища и, когда понадобится, опять выпускает из них, мчит его по галереям к самому морю и там выливает золотой рекой наше драгоценное, русское, потом вспоенное зерно в бездонный трюм английского или германского судна.

Если читателю интересно посмотреть, как просто, остроумно и вместе с тем грандиозно работает элеватор, я попрошу его последовать за мной в главную башню. При этом считаю своим долгом предупредить, что нам придется карабкаться на высоту почти 200 ступеней, пролезать под широкими приводами и нередко купаться в удушающих облаках зерновой пыли…

Первое, что приятно поражает вас при входе в элеватор, это утонченная внимательность и предупредительность администрации, с удовольствием идущей навстречу вашему просвещенному любопытству. Оказывается, что вы совсем напрасно старались заручиться визитной карточкой влиятельной персоны. Сюда не только впускают охотно всех желающих, но даже делают им самые пространные и толковые объяснения. Здесь гордятся и щеголяют своим элеватором.

Так как во всем надо начинать с начала, то раньше всего вас ведут в подвальный этаж. Здесь вы видите с внутренней стороны те же самые люки, в которые ссыпают зерно из вагонов. Под люками бежит широкий, аршина в два, бесконечный пояс, приводимый в движение стальными валами. Сделан он из металлической проволоки, облит с обеих сторон гуттаперчей и настолько прочен, что севши на него, вы очень плавно и удобно совершите путешествие сажен примерно в двести или триста. Зерно прямо из люка сыплется водопадом на эту подвижную дорожку и быстро уносится по ней в глубину длинного каменного коридора, наполненного густой пылью, в облаках которой еле-еле мерцают электрические лампоч-

ки. Текущая мимо вас хлебная река так обильна, что гуттаперчевое русло совсем выгибается под её тяжестью, и так стремительно, что, опустив в неё руку, вы обожжетесь.

Над люками вы замечаете целый ряд выходящих из потолка коридора широких закрытых книзу клапанов. Это выходы из зернохранилищ, куда в настоящее время безостановочно вливается бегущий перед нашими глазами зерновой поток. Когда является надобность, отпирается один из клапанов, и зерно на том же гуттаперчевом ремне мчится в бухту, чтобы наполнить пароходные трюмы со скоростью шести и даже семи тысяч пудов в час. Конечно, для того, чтобы хлеб не вернулся обратно в свои зернохранилища, гуттаперчевым ремням дают другое направление. Производится это очень просто. В том месте, где один из ремней делает оборот, скрываясь под валом, устанавливается коленчатая, широкая труба. Всыпаясь по закону инерции в её отверстие, зерно меняет своё первоначальное направление и выливается уже на следующий ремень, бегущий вдоль галереи прямо в бухту.

Высыпавшись из люков на транспортер (техническое название гуттаперчевой дорожки), зерно пробегает вместе с ним всю длину коридора и по небольшому наклону взбирается на второй этаж. Так как далее предстоит путешествие на девятый этаж, то горизонтальная передача заменяется ковшевой. От верху до низу через весь элеватор проходят деревянные, пустые внутри столбы, а в этих столбах вращаются бесконечные вертикальные ремни, снабженные на своей поверхности рядом полукруглых ковшей. Трубы, принимающие зерно, идущее из подвала, высыпают его в ковши, ковши же в свою очередь несут его наверх и там, сделав оборот вокруг вала, выбрасывают его в другие приёмники.

Однако хлебу не суждено сразу попасть в хранилища. По дороге его ждут многочисленные испытания. В одном этаже он подвергается действию электрических вентиляторов, отделяющих от него пыль и уносящих её в особые пыльные камеры. В другом его заставляют проходить сквозь движущиеся металлические сита и решета различных калибров, которые механически сортируют зерно, пропуская его по 3 тысячи пудов в час. В следующем этаже его взвешивают и уже после всего этого ссыпают в подвалы. Управление всеми этими приборами крайне несложное. Рабочий только поворачивает ручку одного из бесчисленных коммутаторов, и в то же мгновение начинают вращаться бесконечные ремни, приводящие в движение ту или другую часть этого огромного механизма.

Весы помещаются на 8 этаже. Они представляют из себя большой деревянный ящик, около кубической сажени в объёме, движу-

щийся на рычагах вверх и вниз. Над ящиком расположена одна деревянная воронка, имеющая вид гигантской формы для пасхи, под ящиком – другая, такого же устройства. Самое взвешивание производится таким образом: зерно, поднявшись на 9 этаж, сыплется через верхнюю воронку в весовой ящик, который под действием тяжести опускается всё ниже и ниже, увлекая за собой горизонтальный стержень обыкновенных сотенных весов. За движением стержня следят внимательно: с одной стороны механик элеватора, а с другой – заинтересованный в точности взвешивания владелец зерна или его приказчик. Как только стержень укажет определенный вес, механик быстрым поворотом рукоятки закрывает отверстие верхней воронки и прекращает таким образом приток зерна. Определив с помощью остроумно устроенных паннусов истинный вес зерна, заключающегося в ящике (потому что всегда пересыплется или не досыплется лишний фунт в самый момент закрывания воронки), механик поворачивает другую рукоятку, и хлеб из ящика почти мгновенно проваливается в нижнюю воронку. Когда ящик опустеет, что можно заметить сквозь стеклянное окошечко, прорезанное у его основания, его снова закрывают снизу, а из верхней воронки снова впускают поток зерна.

Ниже, в 7 этаже, происходит распределение зерна, уже прошедшего сквозь весы. Этим специально занимается машинист с целым штатом помощников. Он стоит на просторном возвышении, похожем на капитанскую рубку, от которого идут десять бесконечных транспортеров – пять в одну сторону и пять в другую. Посредством коленчатых подвижных труб машинист заставляет зерно, выливающееся из нижней воронки весов, идти именно по тому из ремней, по какому оно должно идти в настоящую минуту, чтобы попасть наконец после долгих мытарств в предназначенное для него хранилище.

Представьте себе обширное пустое помещение такой длины, что человек, стоящий на его конце, кажется с другого конца совсем маленьким. Затем представьте, что в полу этого сарая проделано правильными рядами 374 квадратных отверстия, прикрытых сверху деревянными крышками. Если всё это помещение разрезать по горизонтальной площади, получится нечто похожее на пчелиные соты или на пачку гильз. Затем остается только вообразить , что каждая ячейка этого улья может вместить до 10.000 пудов хлеба – и вы получите приблизительную картину зернохранилища новороссийского элеватора.

Хлеб, направленный из весов по одному из транспортеров, перехватывается подвижным приемником-тележкой как раз над от-

верстием того хранилища, номер которого выкрикнули откуда-то снизу по слуховой трубе. И зерно льётся в подвал весёлым потоком, шумя и брызгаясь точно вода, бегущая после весеннего ливня из водосточной трубы.

Выше уже говорили о том, каким образом отправляют хлеб из хранилища на пароходы. Остается только прибавить, что пользование каждым отдельным помещением оплачивается 20 рублями в месяц, не считая особых расходов за очистку и сортировку зерна и транспортирование его на суда.

После осмотра элеватора вам предлагают большую посетительную книгу, куда вы вписываете свои имена, звания и места жительства. Книга эта уже порядком исписана. Здесь и крупные, властно-небрежные штрихи отставных генерал-майоров, и замысловатые очерки не служащих дворян, и мелкие, тщательно выписанные имена лиц духовных, и даже какая-то Ульяна Трофимовна Шелудякова из города Уржума заняла три четверти страницы вершковыми кривыми буквами, катящимися вниз, точно с горки… Выходите вы из элеватора, перепачканные хлебной пылью и усталые, но в душе уносите сильное и бодрое впечатление от всего того, что только что видели.

Впрочем, если вы любитель сильных ощущений, я советую вам, прежде чем покинуть элеватор, выйти на лёгонький ажурный балкончик, что прилепился к одному из окон девятого этажа. Сначала вы почувствуете, как у вас захолодеет в груди и как по ногам пробежит что-то щекотное и расслабляющее, когда вы оглянетесь вокруг этой страшной высоты. Но потом вы долго не будете в состоянии оторваться от очаровательной панорамы, развернувшейся перед вашими глазами. Круглая бухта, светло-голубая, точно полинявший старинный шёлк, радостно нежится под прямыми лучами осеннего солнца. Окружившие её сплошным зубчатым кольцом далекие горы тихо дремлют, одевшись в лёгкую фиолетовую дымку, и купают в воде свои длинные, похожие на растопыренные пальцы, отроги. Живописным пестрым амфитеатром сбегает к бухте разбросанный городишко. А дальше покоится безбрежное море, такого могучего, глубоко аметистового цвета, что смотришь на него и не насмотришься вдоволь. И эта страшная высь, и эта огромная панорама сообщают душе и телу ощущение такой лёгкости и такой свободы, что кажется, вот-вот ты почувствуешь за своей спиной пару сильных крыльев и полетишь, и полетишь над тихим смеющимся ласковым морем.

1900 г.

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ О СПОРТЕ И ЦИРКЕ (1911–1933 гг.)

О СТРЕЛЬБЕ

Я поклонник и любитель всякого вида спорта, исключая, конечно, катанья на роликовых коньках в закрытом помещении, среди духоты, вони, пыли и адского грохота. Одним из самых благородных и полезных спортивных упражнений (если не самым лучшим) я считаю стрельбу в цель, пулькою.

В самом деле — искусство стрельбы в цель вовсе не легкое искусство. Оно требует от стрелка многих данных: спокойствия, хладнокровия, уверенности, душевного и физического равновесия, внимания, зоркости взгляда, находчивости, терпения, тщательного изучения оружия и, наконец, умения аккуратно, даже, если хотите, любовно ухаживать за ним.

Замечательно, что люди, неумеренно пьющие и развратные, никогда в искусстве стрельбы не поднимаются выше среднего уровня.

Также неряхи и рассеянные субъекты.

Стрелковый спорт интересен еще и потому, что в нем нет пределов для совершенствования. Мне приходилось видеть людей, которые без промаха на расстоянии тридцати шагов попадали в спичку, поставленную вертикально.

При мне во время облавной охоты некто г. Обрихт, управляющий кн<язя> Голицына, на пари из штуцера убил бегущую лису на расстоянии 300 шагов.

У кн<язя> Потоцкого (известного охотника) был «похолек», всегда его сопровождавший в его рискованных охотах на диких зверей в Азии и Африке.

Этот человек из скорострельного ружья (типа браунинг) разбивал одно за другим три яйца, брошенных в воздух с промежутком менее чем полсекунды...

Если вы спросите моего совета, я горячо рекомендовал бы насаждать стрелковый спорт в среднеучебных заведениях.

Он прекрасен в воспитательном смысле.

1913 г.

БОРЬБА И БОКС

Спортсмены до сих пор не могут решить, какой род состязаний интереснее и полезней: бокс или борьба (прежде называвшая-

ся «греко-римской», а теперь переименованная в «французскую»). Попробуем разобрать те преимущества. которые дают своим адептам оба эти вида спорта. Бокс развивает в человеке выносливость, смелость и бесстрашие, доводя эти качества до высшего предела.

Борьба дает пластичность, красоту движений и поз, силу и «длинное дыхание».

Противники бокса уверяют, что это — кровавое искусство, или, как говорит мой друг И. В. Лебедев, «кровавый соус», но...

Но ведь и двойные нельсоны, ныне допускаемые в чемпионатах, или приемы вольно-американской борьбы тоже не отличаются нежностью и вполне равняют борьбу с боксом.

Мне кажется, что вполне нетрудно примирить сторонников борьбы и бокса, заставив их понять, что всякий спорт можно сделать искусством — прекрасным до совершенства: все зависит лишь от вдохновения противников.

Если это вдохновение налицо, то зрителям одинаково передается красота момента и в резком, рассекающем воздух ударе боксера, и в каскаде приемов борцов, беззлобно сплетших свои прекрасные мускулистые тела.

От силы вдохновения противников зависит заставить весь амфитеатр сидеть в напряженном внимательном молчании, которое можно назвать благоговейным.

В результате желаю каждому обнаженному прекрасному победителю, – будь он боксер или борец, – лавровый венок. А молодежь пусть смотрит, учится и соревнуется, потому что в спортивных состязаниях – школа жизни.

1916 г.

ЛАПТА

Это народная игра, к сожалению, забытая и находящаяся в пренебрежении, – одна из самых интересных и полезных игр. Она не доведет мальчишек, как например, в футболе, до того, чтобы, попасть противнику в ноги, ребра…

Она также не останавливается на лаун-теннисном жонглировании (модный спорт). Она включает в себя достоинства и той и той без их недостатков.

В лапте нужны: находчивость, глубокое дыхание, верность своей «партии», внимательность, изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, твердость удара руки и вечная уверенность в том, что тебя не победят.

Делятся на две партии: верхняя и нижняя, или водящая и ловящая. В верхней начинают слабые игроки.

Надо палкой длиною около метра и толщиною дюйма в два ловко попасть по подаваемому мячу…

Мяч взвивается на такую высоту, что его не видно.

Полет мяча длится секунд пятнадцать, а иногда же и тридцать, когда он перелетает через заборы, дома и колокольни (особенно высок полет мяча при «свечке»).

Потом играет второй, третий и так далее… Каждый из участников водящей партии должен успеть пробежать во время полета мяча в лагерь противника до черты (сажен 30, 100 и даже 200) и вернуться домой «незапятнанным». Но у противника бывают мастера, которые налету ловят мяч, обжигающий руки, и успевают его запустить бегущему в то место, где спина теряет свое почетное наименование.

Раз игрок запятнан, партия переходит в другие руки. Но бывают сыгравшиеся партии, которые держатся непоколебимо часа два-три и более. Одни работают, другие отдыхают.

Трусам и лентяям в этой игре не место.

Я усердно рекомендую эту народную русскую игру не только как механическое упражнение, но и как безобидную забаву, в которой вырабатывается товарищеская спайка: «своего выручай»…

УТОЧКИН

Когда впервые появились слухи о сумасшествии Уточкина, я не хотел им верить. Более спокойного, уравновешенного, хладнокровного и расчетливого в риске человека я никогда не видал (кроме М. Н. Ефимова) в жизни. Все, что угодно, только не безумие. Падение вместе с аэропланом с громадной высоты, прыжок в море при помощи парашюта, гибель во время гонки, когда автомобиль развивает скорость около 120 верст в час, волна, которая может захлестнуть и перевернуть вверх килем маленькую парусную лодку, – все это не удивило бы меня, а только заставило бы пожалеть о том, что ушел из жизни смелый, веселый, остроумный и на редкость своеобразный человек. Но теперь ужас в том, что этот человек жив, что, может быть, он не сознает своей болезни и что от него отвернулось общество, которое одинаково легко осыпает своих героев цветами, аплодисментами и улыбками при успехе, а при неуспехе провожает его в могилу равнодушным молчанием.

Уточкин был настоящим богом, кумиром одесской толпы. Его страстное стремление поработить все виды кровавого спорта дава-

ло ему и деньги, и славу, и широкие знакомства. Но тот, кто знает Одессу, тот знает, что этот город изумительно похож на обезьяну, которая срывает самые лучшие плоды с дерева и, едва откусив от них кусочек, бросает пренебрежительно на землю. Впрочем, для того чтобы это понять, нужно знать суетливую, жадную до зрелищ, безалаберную, эгоистическую Одессу.

Перепробовав все виды спорта, Уточкин, наконец, нашел себя.

Он непоколебимо остановился на воздухоплавании и ему решил посвятить все, что у него было в запасе его 35-летней жизни: мускульную силу, наблюдательность, знание машин, звериную ловкость, громадный предыдущий опыт и свой холодный аналитический ум.

– Д-дальше идти нек-к-куда, – говорил он качаясь на плетеном стуле в кофейной у Робина в Одессе на Екатерининской улице и, по своему обыкновению, заикаясь: – В ав-авиации можно еще работать с-сто лет, для того чтобы д-достигнуть свободного п-полета, а еще триста, ч-чтобы научиться управлять аппаратом. Н-на мой век хватит. Я б-буду рад, если наши п-правнуки полетят.

Он никогда не был ни корыстолюбивым, ни карьеристом. Но все-таки он до конца своих дней был баловнем толпы, иначе – прекрасным цветком, попавшим в грубые лапы. «Лесть, богатство и слава мира» заставили его самонадеянно идти на перелет Петербург – Москва. Аппарат у него был старенький, заплатанный, а мотор изношенный, уже отработавший не сто положенных часов, а двести.

Где-то на Валдайских высотах он зарылся вместе со своим аэропланом в болото. Известно, что людей нужно ценить в минуты горя и опасности. Рядом с ним, почти в том же месте, падают Лерхе, Васильев и какой-то третий авиатор. Лерхе печально стоит над своим безнадежно разбитым аппаратом, но, однако, отказывается дать своему товарищу, конкуренту по полету, бензин и масло. Уточкин снабжает Васильева и тем, и другим. С трудом влача ушибленную ногу, он тщательно проверяет тяжки и винты аппарата своего соперника, пуская в ход его пропеллер и – господи, благослови – желает ему благополучно добраться до Москвы.

Как же здесь не вспомнить того же Уточкина в 1905 году, в эпоху еврейских погромов. Этот человек, которому внутренняя политика была совершенно чужда, вдруг увидел на улице, что пьяная оголтелая толпа бьет старую седовласую еврейку и издевается над ней с той беспощадностью, на которою способна только разнуздавшаяся чернь, обеспеченная заранее безнаказанностью.

Не раздумывая о последствиях, Уточкин вступился за женщину. Он растопыривает руки и ноги и сдерживает толпу (а надо сказать, что он очень силен физически) на несколько мгновений:

– И в-вот я слышу с-сзади: «Н-не бей. Эт-то наш… Уточкин». Но было поздно. Я ч-чувствую, как будто у меня в спине ск-квозняк. Это меня ударили ножом. Я потом семь недель лежал в б-больнице.

Таков он весь, с его мгновенными порывами, с его инстинктивным великодушием, с вечным вызовом смерти.

Неудача перелета Петербург-Москва сразу уронила его в мнении одесских обезьян. В Одессе он родился, учился, основал семью, приобрел там громадную известность, и вот вчерашняя золотая игрушка, полубог восторженно орущей толпы, лежит сегодня в грязи, и все уже забыли его и проходят мимо Икара, спалившего свои крылья на солнце, как мимо падали. Учтем же: какая жестокая боль заключается для триумфатора в падении. Отсюда и начало болезни Уточкина.

Одесса забыла о своем любимце. Растерявшийся Уточкин обращается в какое-то воздухоплавательное общество за пособием на постройку нового аэроплана, и ему великодушно дают тысячу рублей. Говоря откровенно, это почти то же самое, что дать на чай двугривенный человеку, который на ваших глазах рисковал жизнью, честью и последним жалким имуществом. Вполне понятно, что после подачки генерала Каульбарса усилия «Русского слова» собрать деньги самоотверженному авиатору не привели ни к чему. И мне кажется, что именно теперь, когда этот бесстрашный человек забыт друзьями, почти равнодушием покровителей и лукаво-вежливым молчанием врагов, теперь нам всем, стремящимся ввысь, к небу надо было бы сплотиться и прийти на помощь Уточкину. Ведь, в самом деле, он, Ефимов и двое других шли первыми в неизведанные небесные пространства, расчищая путь будущему воздушного флота России. Да и помощь нужна пустяшная: перевести С. И. Уточкина из ужасных условий больницы Николая Чудотворца в приличную, комфортабельную клинику по нервным болезням. Подумайте только: человек сжег кровь своего сердца и сок своих нервов ради будущности ваших детей!..

1913 г.

ПОБЕДА ДУХА

Я заранее знал, что победит Дэмпси. Целых восемь доказательств убедили меня в этом, и одно из них было настолько важным, что совершенно поглотило собою все остальные. Это то, что состязание происходило в Америке, накануне национального американского праздника, в близком и отдаленном присутствии сотен тысяч американцев, среди которых иностранцы – в частнос-

ти французы – насчитывались единицами, и их единичные воли тонули, тускнели, таяли, теряли свою силу в мощном приказе единой, собирательной, миллионной воли: «Дэмпси победит!» Не надо быть даже оккультистом, чтобы признавать странное могущество массового, устремленного в одну точку гипноза. Карпантье, сам того не зная, почувствовал его сковывающее влияние с первых минут состязания.

Говорят, что каждый человек, за всю свою жизнь, в очень маленьком масштабе переживает всю историю человечества, начиная с его бесконечно далекого прошлого, когда оно ходило на четвереньках, но было хищно, весело и сильно, до не так далекого будущего, когда оно угасает от мудрости, бессилия и отвращение к жизни. Детство человека – это вторичное переживание зари человечества.

Вспомните, господа мужчины, разве во времена вашей юности не доставляла вам резкого буйного наслаждения хорошая драка, внутри тесного кольца беспристрастных товарищей? А если вспомнили, то, может быть, вспомните, кстати, какую страшную боль причинял крепкий удар под ложечку, под середину груди? Я помню эту боль до сих пор, хотя прошло уже 35 лет с того дня, когда в переменку, после французского урока, два кадета 6 класса, Куприн и Козлов публично оспаривали в умывальнике четвертое место среди сильнейших. Тогда я на практике понял смысл страшного выражения «позеленело в глазах». Согнувшись вдвое, я схватился за живот и так долго не мог втянуть в сжавшееся горло воздух, что, казалось, вот-вот задохнусь. От нестерпимой боли ослабели и задрожали ноги, а под челюстями и в животе было вязкое, противное, горькое чувство приближающегося обморока или чего-то похожего на смерть.

На другой день после джерсейского матча я с волнением читал газетные отчеты. Я мысленно следил за каждым движением боксеров. Попеременно, то страх за Карпантье, то сожаление к нему овладевало моим сердцем; вся моя душа была за него и с ним.

Когда Дэмпси ударил его раз за разом, обеими руками в верх живота, мне казалось, что я сам вторично испытываю вместе с ним ужасную боль. Но что эта боль значила в сравнении с моей детской? По выражению одного спортивного хроникера, удар Дэмпси похож на то, как если бы человека лягнул задней ногой подкованный мул!

Медленно текут девять секунд. Карпантье пробует встать, но не может. Дэмпси, в трех шагах, пригнулся, весь собрался для нового прыжка, нового удара.

Падает последняя условная секунда. Карпантье недвижен и бессилен. Какая острая, жгучая жалость! Сильный человек – мо-

лодой, красивый, здоровый – похож на маленького зверка, который еще жив и хочет встать, хотя его, среди каменной дороги, переехало пополам колесо тяжелой телеги!

Дэмпси подходит к нему. И вот, мгновенно, и жалость, и ужас оставляют меня. Окровавленное лицо Карпантье освещается слабой улыбкой. Он находит в себе героическую силу протянуть руку победителю для пожатия. Губы его с трудом выговаривают великодушные слова: «Утешением мне служит, что я побежден самым сильным человеком».

С этого момента я в своем воображения уже не вижу Карпантье побежденным и заслуживающим сожаления. Кто-нибудь возразит мне цинично: «Э! Фраза!..»

Нет! Твердо знаю и убежденно говорю, что в такие секунды не до фраз. Наоборот, в такие тяжелые секунды у Карпантье совсем неподготовленно сказался, как древний инстинкт, дух всей воинственной, храброй и выносливой доброй нации, дух, который может восторжествовать и над физическим страданием, и над горечью поражения, и даже над полуобморочным состоянием.

И потому-то, когда Карпантье вернется во Францию, я буду ему аплодировать, как победителю.

1921 г.

АНАТОЛИЙ ДУРОВ. К 10-летию смерти А. Л. Дурова

Десять лет назад, 7 января 1916 года, скончался замечательный цирковой артист, несравненный дрессировщик животных и всемирно знаменитый клоун Анатолий Леонидович Дуров.

Дуров был кумиром градена (галереи). Солдаты, рабочие, дети и юноши его обожали. Московское купечество неизменно любило его: «Московский!» – и, покряхтывая, прощало ему дерзкие шуточки насчет «толстопузых» и «Кит Китычей», и грандиозной широты их натуры. Только интеллигенты, забыв свои отроческие увлечения, – о неблагодарные! – кисло глядели на цирк, а в особенности, на клоунов.

– Помилуйте, варварское зрелище, грубый пережиток старины. Полуголые люди в жалких тряпках выламывают свои руки, и ноги на потеху кровожадной черни, побуждаемые к этому голодом и непрестанной угрозой хлыста! Клоуны, с вымазанными лицами, валяются по песку и награждают друг друга звонкими пощечинами. Израненные старые клячи, выбиваясь из последних сил, обливаясь предсмертным потом, скачут по кругу для удо-

вольствия сладострастных селадонов, которые, сидя в передних рядах, любуются ногами посиневшей от холода, испитой чахоточной наездницы.

Повторяю, писать в то время о цирке было немыслимо. Перед писателем, «подающим надежды», захлопывались двери толстых журналов и передовых газет, раз только он был увлечен в частом посещении цирка.

Воздух Франции не таков. Здесь свято чтут память великого канатоходца Блонделя, переходившего впервые по канату через Ниагару. Здесь клоун Шоколадный был любимым гостем во всех избранных домах. Здесь гордятся братьями Фрателлини, вспоминают с благодарностью их веселую работу в госпиталях, и правительство украсило их петлички заветными красными ленточками. Здесь популярного шталмейстера Лионеля, который в течение тридцати пяти лет подавал четкие реплики клоунам, чествовали торжественно в прошлом году почти все газеты и театры, почти все артисты и художники. И я рад, что могу теперь гораздо свободнее сказать, что Анатолий Дуров, дававший людям во всю свою большую жизнь так бесконечно много беззлобного, свежего смеха, приковывавший их глубокое и здоровое внимание к своим ученым, веселым и милым зверятам, что этот величайший русский цирковой артист, впервые показавший, что клоун не шут, а художник и сатирик, что он достоин своего памятника: пусть по нынешним временам не в бронзе, а хотя бы в благородных признательных сердцах.

Род Дуровых – старый дворянский московский род. Н.А. Дурова – известная героиня наполеоновских войн, «девица-кавалерист», столь поощряемая Пушкиным, была прямой прабабушкой Анатолия Дурова. И вся семья была талантлива. Младший брат Владимир, живущий доныне в Москве, вступил позднее и Анатолия на песок и тырсу манежа, но сделал блестящую карьеру, в особенности как превосходный дрессировщик. Сестра их Конкордия Леонидовна обладала крупнейшим драматическим талантом, в том прекрасном стиле, в котором гораздо позднее расцвел талант Рощиной-Инсаровой. На ее выступлении в Москве (театры Немчинова и Охотничий) ей пророчили громкую будущность. Неудачный тяжелый брак пресек ее высокий путь. Родной сын Анатолия Дурова, Анатолий Анатольевич, выступает теперь в Париже со своим маленьким ученым зверинцем. Он несомненно талантлив и голосом трогательно напоминает отца. В его работе очень нравится публике та особая мягкая и свободная дружба, которая чувствуется между хозяином и его труппой…

Учился Анатолий Дуров в I Московском кадетском корпусе, но дошел всего лишь до третьего курса. Способности он имел ис-

ключительные, но был непоседа, крикун, спорщик, забияка, притом прекрасный товарищ и коновод во всех проказах. Начальству не нравилась его склонность к сатирическому остроумию, а кроме того, вечно у него под партой гостили всякие животные: ящерицы, лягушки, мыши, кузнечики и т.д. или перед экзаменационным столом вдруг выпархивал из его кармана живой воробей… Пришлось бедняге расстаться с корпусом, с военной карьерой и генеральским чином в будущем!

Из дому он однажды сбежал в балаган. Вернули. Наказали. Но призвание взяло свое. Приблудился он к какому-то странствующему шапито, а там и пошла тяжкая, суровая школа, полная приключений, выведших его, наконец, на путь мировой известности.

1926 г.

УМИРАЮЩЕЕ ИСКУССТВО

Я говорю о том скромном искусстве, которому даже в древности не полагалось особой, отдельной музы, которое в настоящее время походит на бедного родственника и которое многие считают вовсе не искусством, а ломанием, одним словом, я говорю о цирке.

Мы, люди XIX–XX века, только понаслышке знаем о прекрасной «Комедии дель арте», но наши потомки уже не застанут многих чудесных и милых, наивных зрелищ, которые еще видели мы, современники.

Уходят или ушли в прошлое: святочная тройка – козел, гусь и медведь; исчезает или совсем исчез казавшийся бессмертным наш Пульчинелло, Петрушка, вместе с его антуражем – доктором-немцем, будошником, Матреной Ивановной, капралом, чертом и московским барашком; не воскреснут ни рождественское «пещерное действо», ни король Максимилиан с непокорным его сыном Адольфием, ни вертеп с колядками, ни гусляры, ни лирники. Кто знает: не вытеснит ли кинематограф, в своем чудовищном росте, серьезный театр? А про классическое цирковое искусство можно с уверенностью и с печалью сказать, что оно умирает на наших глазах.

Сколько детских сказочно-ярких воспоминаний связано у каждого из нас с цирком. Там, глубоко внизу (если смотреть с галерки), там, на песочном манеже, происходила, в течение трех часов, сверхъестественная блестящая героическая забава. Красивые люди в розовом трико, с аграмантом из драгоценных камней, весело играли в одиночку, вдвоем и целыми группами, вопреки законам притяжения и равновесия. Они строили из своих тел высокие живые пирамиды, перепрыгивали через восемь лошадей или через гру-

зовой автомобиль, делая в воздухе сальто-мортале, жонглировали, стоя на мчащейся лошади, сотнями разных предметов, в том числе и горящими лампами, вращали свои тела вокруг турника, подобно мельничному крылу, беззаботно ходили по тонкой стальной проволоке и ложились удобно отдыхать на ней; на пятисаженной высоте делали дьявольские воздушные полеты под куполом цирка и, мало ли, что еще они делали, играючи.

Выйдя из цирка, мы поневоле шли по домам, выпрямляя спины, выпятив грудь, мужественно распялив локти, шли эластичным гимнастическим шагом. Душа еще вся была полна впечатлениями силы, ловкости и отваги.

В нашей вялой гимназической жизни, с шестичасовым сидением за партами, с трехчасовою зубрежкой дома, цирк был для нас какой-то чудотворной пилюлей, озонировавшей наши легкие и вливавшей в тело потребность к ловким, быстрым, сильным, красивым движениям. И любимейшей игрою детишек был все-таки повсюду цирк, устраиваемый, правда, кустарными домашними средствами, но весь полный серьезного веселья.

А пантомимы, милые, наивные, смешные пантомимы, в которых, как бы еще слышалось легкое дыхание Комедии дель арте! Старый, противный Селадон ухаживает за прелестной Коломбиной. Жадный папаша Панталоне не прочь выдать дочку за старика. Но Коломбина любит веселого Пьеро. У Пьеро есть приятель Арлекин, у Коломбины есть преданная служанка, лукавая и разбитная Розита, в свою очередь Арлекин и Розита тоже влюблены друг в дружку, и вот, закипает препотешная комедия, полная шума пощечин, палочных ударов, взрывов петард, западней и провалов, и все это под неистовый хохот цирка. В заключение Селадон попадает головою в миску с тестом, обсыпается мукой, теряет парик и с позором выгоняется, к великому удовольствию публики и обеих влюбленных пар, которые в заключение танцуют развеселую кадриль.

А если вспомнить еще добрых умных животных, которые выступали на манеже вместе со своими хозяевами. Большие и маленькие, белые и черные пудели и простые дворняжки, коты, свиньи, мартышки, великодушные громадные слоны, верблюды, тюлени с их поразительной ловкостью – все они дарили нас настоящей радостью, скрашивали нашу сероватую жизнь.

* * *

Теперь для цирка наступило время увядания. Старые номера забываются или не имеют успеха. Новые акробатические трюки идут не в цирк, а в мюзик-холлы. Вы уже не увидите больше в цирке

того традиционного прыжка через воображаемый барьер, который делала, окончив свой номер, грациозная наездница Лианора, а клоун или шталмейстер помогал ей, слегка поддерживая рукой ее руку. Этому жесту насчитывалось более тысячи лет, от того времени, когда арена бывала обнесена сплошным, без перерывов, каменным высоким барьером, когда артисты, гладиаторы и животные выходили на манеж из подземных коридоров, ниже барьера, и когда во избежание закулисной толчеи и сумятицы прыжок через барьер был коротким и необходимым путем.

Так бледнеет и уходит постепенно в прошлое наша немудреная, но такая простодушно забавная пантомима. Ряды настоящих, кровных, потомственных артистов цирка редеют с каждым годом, а новых нет на смену…

Я был как-то на представлении в очень большом цирке-шапито около Луна-парка. Работали в этот вечер артисты превосходно. Особенно поразили меня два номера: полеты с трапеции на трапецию под куполом и выход дрессировщицы с белыми и бурыми медведями. Я еще никогда не видал в моей жизни такой чудесной, отчетливой, безукоризненной работы, как в этот вечер.

В антракте я увидал за кулисами этих артистов. Увы! У каждого из них время уже успело напудрить виски, и у дам в волосах протянулись серебряные нити, и годы начертали свои глубокие заметки на славных лицах. А где же молодежь?

1928 г.

СВОБОДНЫЙ ЦИРК

(У г. Молье).

Мне кажется, что нет в мире другого города, столь широко и богато открытого для внешних впечатлений, как Париж, и столь замкнутого, непроницаемого, как он, для внутреннего изучения. Конечно, спрос всегда родит предложение, и поэтому пресыщенные исканиями пряных ощущений всегда найдут в Париже картонные ужасы, бутафорские страсти и механически поставленные зрелища крайнего разврата. Но это только вынужденная, неизбежная подачка скучающей накипи космополитов.

Наоборот: крепко заперта на ключ интимная, семейная жизнь трудолюбивой, бережливой и скромной французской буржуазии. Еще более прочной и высокой стеной огородила себя подлинная, старинная французская аристократия: эту чудесную породу homo sapiens не увидишь теперь даже мельком, случайно, на прогулках в Булонском

лесу. Демократический автомобиль, в быстром беге, ничего не позволяет разглядеть за своими сверкающими, слепящими окнами.

* * *

Еще в конце 20-го года я впервые услышал о любительском, недоступном для постороннего взгляда, цирке Молье, и только лишь в этом году, 30 июня, мне удалось попасть в него, отчасти по милости всесильного господина Случая, а, главным образом, через любезное содействие русского скульптора, барона Рауш-фон-Траубенберга, большого знатока лошади и цирка.

Этот цирк возник еще в 1880 году. Основал его г. Молье, человек обеспеченный, независимый, – главное – бескорыстный поклонник древнего циркового искусства. С самого начала на его манеже сплотилась дружная, совершенно исключительная по своему составу, труппа верных артистов-любителей, принадлежащая к знатнейшим французским фамилиям.

В продолжение года ничего об этом цирке не слышно. Обычная работа, т.е. уроки, тренировка, и репетиции, – идет при закрытых дверях в полной безвестности. Но есть два дня в каждом году, вскорости после розыгрыша «Гран-При» в Лоншане, когда цирк Молье открывает и свой манеж немногим, особо приглашённым зрителям: для генеральной репетиции и для торжественного представления.

* * *

Мне уже приходилось писать в «Русском времени» о том любовном уважении, которым пользуется в Париже цирковое искусство. Самые модные, талантливые французские писатели суть обычные и приятные гости за кулисами цирка, в артистических уборных. Печать и общество одинаково внимательны к цирковым артистам, которые, в свою очередь знают, что, если в других столицах их ждут деньги, то лишь в Париже они получат высшую оценку и славное имя, – лучшую рекомендацию для манежа всего мира. Отсюда понятен жгучий интерес, с которым сопряжено столь редкое и редкостное зрелище, как ежегодное представление в цирке Молье.

* * *

Начало в 9 часов вечера. Но уже задолго до этого времени по улице «де ла Фезандери» скользит, по направлению «авеню де Буа де Булон», непрерывная цепь блестящих автомобилей. От узкой, высокой входной двери, вдоль по тротуару, – длинная очередь ожидающих. И какая милая, спокойная выдержанность. Никто не торопится, никто не пытается выиграть места: ни натиском, ни хитрой

лавировкой. С серьезной вежливостью, уступают мужчины места дамам и людям пожилым. Все – в строгих вечерних туалетах. Судя по поклонам, по взглядам, по приветствиям, которыми обмениваются, видно, что все здесь принадлежат к одному своему узкому и, в то же время, свободному кругу. Контроль и администрация выше всяких похвал. И для каждого гостя находится любезное приветствие у господина и госпожи Молье.

* * *

Я не напрасно дал этой короткой статье заглавие: «Свободный цирк». Именно, со «Свободным Театром» великого Антуана я его сравниваю, с тем самым свободным Театром, у которого «Московский Художественный Театр» брал начало, образец и идею, когда еще на клубных любительских сценах его первые артисты, в прекрасном, ревностном равноправии, свободно творили новое, славное дело.

Этого чудесного, непринужденного взаимного согласия давно уже нет у высокоталантливых, но давно механизированных москвичей.

У Молье его не нарушили и не испортили 46 лет, – почти полстолетие, – существования. Здесь, как и в профессиональном цирке, нет ни больших, ни малых артистов. Здесь крепко помнится и живет § 9-й обычного циркового контракта, о котором не забыл упомянуть и Гонкур в своем знаменитом романе «Братья Земгано». Вот он:

«§ 9. Нижеподписавшийся артист обязан, одетый в униформу, участвовать в парадах при выходах гг. Директора и Директрисы, а также указанных ими артистов и артисток. Он же обязан помогать во всех работах по приготовлению очередных номеров, а равно и в уборке самого манежа».

Артистов цирка Молье, конечно, никто не обязывал, да и не мог бы обязать никаким контрактом, но все, чего требуют старые цирковые традиции, ими исполняется с безукоризненной готовностью, вплоть до установки, вместе с темно-синими конюхами составного деревянного помоста, вплоть до неизбежных черновых забот о лошади на манеже. Впрочем, еще генерал Бюжо, покоритель Абд-Эль-Кадера, приводит с вескостью одно арабское изречение: «Даже вождь, как бы он ни был знатен, не должен пренебрегать уходом за лошадью».

* * *

Манеж – строго-классический по размерам и обнесен низким красным барьером. Рядов в партере всего лишь два. В первом – тесным правильным кругом сидят мужчины, все до единого в

черных фраках и смокингах с ослепительной белизной одинаковых треугольных вырезов. Зрелище однообразное и несколько сурово-торжественное, но тем живее, ярче и радостнее второй ряд, представленный исключительно дамами. Наверху, вокруг манежа, под островерхим деревянным «кумполом», под сложной паутиной веревок, лестниц, приборов и проволок, идет деревянный балкон, обнесенный зеленой решеткой с росписью розанами, в деревенском наивном стиле.

На балконе – тоже дамы. Ах, если бы вы знали, какое это неожиданное и чистое счастье; в теперешнее время необузданной и чудовищно преувеличенной публичной женской гримировки, – увидеть так много очаровательных лиц, совсем не испорченных макильяжем или тронутых им лишь слегка, незаметно, в величайшей умеренности. И такое тонкое, непринужденное простое изящество во всем: в чертах лиц, глаз, голосе, в улыбках, в поворотах голов, в движениях, в жестах и, наконец, в костюмах, таких скромных, при всей их роскоши.

* * *

Оркестр тоже свой: три-четыре инструмента с аккомпанементом пианино. Конечно, он знает и современные мотивы, но классические манежные номера он неизменно сопровождает старинными вальсами, наивными польками, отставными маршами, под незатейливые звуки которых когда-то несомненно работали: и великий Блондель, и Мария Годфруа, и Джемс Кук, и – тогда еще юный, тогда еще не хромой, Крюнионе Чинизелли. О, сладкая власть старых воспоминаний.

Дают яркий свет. Оркестр начинает резвый марш. Униформа становится двумя шпалерами по обе стороны выхода. Красные фраки, шелковые, черные, короткие панталоны, черные чулки, туфли с пряжками, кое-кто в красных костюмах парфорсной охоты. Есть между ними люди очень пожилые, с бритыми важными лицами римских сенаторов и в пенсне. Какие древние имена между этими «нижними чинами» цирка и какие громкие титулы.

Под звуки марша выезжает сам г. Молье на рослом гнедом жеребце, у которого сытый, гнедой круп приглажен щетками в рисунок шахматной доски. Он во фраке, с белыми металлическими пуговицами и в цилиндре; голова и большие усы не только седы, но как бы слегка зеленоваты. Сколько ему лет? Я думаю, что не меньше 70-ти. Но его посадка, его работа поводьями, шенкелями и шпорами, вся согласованность движений тела с движениями лошади, показывает в нем настоящего мэтра и наездника высшей школы. Четырежды в

четырех пунктах манежа, его лошадь дергает затравку игрушечной пушки и четырежды пушка выстреливает в балконы пучками программ. И радостными, дружными благодарными аплодисментами провожает вся изысканная публика славного старого артиста, когда он, пятя своего коня задом, медленно отступает в конюшню, между рядами униформы, которая, однако, по старому регламенту цирка, от оваций воздерживается.

Еще красивее был уход с манежа г<оспо>жи Бланш Аллярти-Молье. В этот момент все джентльмены униформы подняли вверх, каждый по большому букету живых цветов и наездница на своей лошади, медленно исчезла в своей пышной, многолюдной аллее.

Г<оспо>жа Аллярти-Молье – цветущая, красивая женщина и такая законченная артистка высшей школы, что если подыскивать для нее достойные сравнения – приходится вспомнить отдаленные времена, когда мы любовались на манеже Люцией Чинизелли, Мартой Сур, Маргаритой Труцци, Марией Соломонской. В точности ее управления лошадью, в грации ее посадки, в легкости, с которой берет препятствия и скользит между ними, в огромных прыжках, которые она заставляет лошадь делать сразу четырьмя ногами, – есть неуловимое и непередаваемое «каше», свойственное лишь истинному цирковому таланту. Ее вольтаж изящен. И сама она очень стройна в своем черном костюме, в черном шелковом, цирковом цилиндре на голове, с тонким стеком в руке.

* * *

Очень жаль, что у меня нет достаточно места, чтобы подробно и отдельно остановиться на всех исполнителях и исполнительницах чрезвычайно обширной программы. Приходится вскользь перечислить мимические танцы м<адмуа>зелль Жозетт де Нисс, античные греческие танцы мисс Лули Дорис; веселых клоунов, тонко острящих, беззаботно кувыркающихся, танцующих, играющих на музыкальных инструментах и пресмешно пародирующих английский и американский акцент во французском разговоре. Но нельзя не упомянуть о любимой ученице м<адмуазе>ль Лизианне Аллярти, с ее акробатическими номерами, с ее поразительным исполнением модного «чарльстоуна» и замаскированной Пьеро. Вот артистка, которая в любом из больших цирков заняла бы самое видное положение. Но она любительница и еще находится в таком нежном возрасте, когда из девочки слагается девушка, во всей наивной и невинной прелести этих лет.

Была, между прочим, отдана дань и русскому искусству, в виде двух оживленных русских кукол: он – Тотошки, она – Тотошка.

Имена, как будто пахнут немножко развесистой клюквой. Но когда эти куклы, показавшись сначала в классическом петрушкином балаганчике, выбегают на подмостки манежа и пляшут русскую, то делают это так мило и грациозно, что у них стоило бы поучиться многим эстрадным чисто-русским профессионалкам.

* * *

Откланявшись обворожительной директрисе, благодаря ее за честь приглашения, я спросил:

– Не разрешите ли вы написать в газете несколько слов об этом прекрасном представлении.

Любезная, светская улыбка:

– Отчего же. Если вам будет приятно.

Вот я и пользуюсь приятным случаем еще раз, печатно выразить хозяевам этого удивительного, вероятно единственного в мире, прекрасного, свободного цирка мою глубокую признательность. Этого чудесного вечера я никогда не забуду. Я увидел, впервые столь любимый мною цирк, верный старым, очень древним традициям, но свободный от профессионального равнодушия, полный индивидуального увлечения, своеобразной красоты и утонченной прелести.

1929 г.

ПИСЬМО И. А. БУНИНУ О ЦИРКЕ

Милый Иван Алексеевич!

Те, что стоят при выходе из конюшен в манеж, называются обще – униформа.

Из них те, что в камзолах, в сапожках с крагами (ныне б<ольшей> частью в синих, серых или даже красных рейтузах), зовутся берейторами, пикерами, реже – штальмейстерами.

Это все цирковые артисты, обязанные по контракту делать парад директору, членам его семьи, наездницам и гастролерам, помогать в установке и укреплении аппаратов, держать обручи и ленты, убирать и чистить манеж, расстилать ковер и т. д. Но грязной работой занимаются всегда конюхи: они тоже стоят в проходе, в наше время в гимнастерках защитного цвета, позади фрачников. Собственно, штальмейстер – это старший над униформой. Он обыкновенно подает реплики клоунам. Он руководит работой униформы. Это важное лицо. В Cirqne de Paris это всем известный Lionn. В позапрошлом году весь Париж справлял его пятидесятилетний юбилей; он получил приветствия, цветы и подарки. Ему говорили речи видные писатели.

Укротитель входит сначала по ступенькам в маленькую клетку, пристроенную к большой со зверями. Заперев за собой дверь этой малой клетки, он отворяет двери большой, быстро входит в нее и еще быстрее захлопывает. В руках у него два хлыста: большой – шамбарьер для щелкания и для поощрения издали, малый – для угрозы и воздействия на близком расстоянии. Звери (в данном случае львы и тигры) рассаживаются по бочкообразным белым табуретам, всегда в одинаковом порядке. Если кто из них капризничает, балуется, ему намекают о порядке хлыстом, то же и при ссоре. Львы делают такие номера: скачут внутри клетки по кругу – просто и с препятствиями в виде белых шестов. Прыгают сквозь обручи, простые и затянутые папиросной бумагой. Делают живописные группы: для этого служат табуреты и еще двускатная переносная белая лестница. Самый эффектный номер, когда все звери располагаются снизу доверху пирамидой. Скачут также через огненные обручи. Всегда в звериной колонии есть два заметных зверя. Один (чаще всего тигр), который ревет и все норовит кинуться на укротителя или на его хлыст. Его иногда приходится бить хлыстом с усердием. Это для ужаса зрителей. Другой обыкновенно большой, старый, траченный молью лев (говорят, еще с возраста котенка привыкший к укротителю и его любящий).

С ним укротитель показывает жуткие номера. Борется с ним, укладывает его на пол, сам ложится рядом и кладет ему голову на грудь. Берет кусочек мяса в зубы, и лев осторожно берет его пастью. Кроме того, часто разверзает ему пасть обеими руками и сует в нее голову и т. д.

К зверям укротитель старается не становиться спиной, а если это неизбежно – рассчитывает так, чтобы между ним и зверями всегда оказывался старый, преданный лев.

Униформа только помогает ему успокаивать клетку. Но при исполнении номеров у него есть двое своих постоянных слуг, которым он платит жалованье. Они все время следят за его работой, подают ему сквозь прутья необходимые предметы. Они же вооружены железными вилами или пиками, чтобы вовремя притиснуть ослушника. Одеты они просто, чтобы одежда не развлекала зверей и не раздражала. Последний номер бывает пирамида, через которую перепрыгивает лучший гимнаст из животных.

Когда наступает момент ухода, укротитель устраивается так, чтобы у него за спиной была выходная дверь, а звери в противоположном углу. Тогда он зажигает фейерверк – ракеты, фонтан, римскую свечу, от которой много огня, дыма, вони и треску, и палит раз десять подряд из револьвера холостыми выстрелами.

Когда звери обалдели, он в таком же быстром и точном порядке как входил – так и уходит. Замечательно: только он выскочит из клетки, как звери злобно кидаются за ним.

Еще номер бревно. Через него положена балансирующая доска. Два зверя становятся по краям и движением тел вперед и назад заставляют доску качаться вниз и вверх: качели.

Это львы. Медведи делают множество изумительных вещей. Катаются на роликах и велосипедах, ходят по канату или по огромному деревянному шару.

Если чего не дописал – скажешь. Я постараюсь дополнить.

Твой А. Куприн.

P.S. Еще номер: лев стреляет из ружья. Оно укреплено на шесте. К собачке привязана веревка с кусочком мяса. Дальше просто».

1933 г.

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ ОБ ИСКУССТВЕ (1902–1932 гг.)

МОТ

(К картине И. Дангаузера)

Австрийский художник Дангаузер (род. в 1805 г. – ум. 1845 г.) пользовался в свое время довольно широкой известностью. Его бытовые картины, написанные с законченностью, напоминающей работы старых голландских художников, всегда настолько богаты содержанием, что их идейный смысл, их, если так можно выразиться, мораль приобретает подчеркнутый, несколько анекдотический характер. Такова, напр<имер>, помещенная в настоящем номере его картина «Мот». В монастырскую трапезную, где, во имя Христово, доминиканские монахи кормят бесплатно странников, убогих и нищих, зашёл промотавшийся барин, носитель, по всей вероятности, славного, уходящего вглубь веков имени. Его лицо еще хранит следы бывшей породистой и гордой красоты, но давно небритый подбородок, волосы, спутавшиеся на беспорядочных ночлегах, обрюзгшие щеки, заплывшие глаза и оборванное, грязное платье красноречиво говорят о теперешнем образе жизни этого опустившегося аристократа, когда-то, много лет тому назад, поражавшего окрестных жителей своими кутежами и неслыханным мотовством. От прежней роскоши ничего не осталось, кро-

ме старой, преданной собаки, последнего отпрыска знаменитой в былые годы охоты, и сам титулованный бедняк, стыдясь своего имени и скрывая его, принужден питаться скудной монастырской «похлебкой для бедных». В столовой, кроме мота, обедают еще двое странников. Один из них старик, обыкновенный придорожный нищий, другой бродяга-негр. В то время, как нищий, должно быть, тронутый печальным положением голодного «старого барина», участливо придвигает к нему хлеб, бродяга-негр развалился на лавке и пристально, с насмешливой злобой разглядывает случайного товарища по несчастью. Не узнал ли этот негр в сидящем напротив него опустившемся и оборванном человеке с трясущимися руками того самого великолепного барона или графа, у которого он когда-то служил ливрейным лакеем, почтительно покачиваясь на запятках его украшенной гербами кареты?

1902 г.

ПРЕЛЕСТНЫЙ ПРИНЦ

(Рецензия)

Не мое дело писать о кинематографе. Тут нужен особый стиль и привычный размах. Их когда-то так уморительно пародировал Аверченко. Но об этой пьесе мне давно хотелось сказать несколько слов, и, если я делаю это с опозданием, то кто же в Париже теперь не страдает гриппом?

Начну с ее маленьких недостатков. Во-первых, пояснительные надписи на французском языке. Автор их был даже анонсирован на оглавительном экране. Но он порою оказывает чисто медвежьи услуги не только пьесе, а и первым персонажам. Второе – сцены морской качки. Каюта (вертикальный разрез) качалась точно клетка с канарейкой – почти детская крестьянская зыбка, точно коротенькие детские качели. Океанская яхта делала поворот на байдевинд со скоростью волчка или монеты, пущенной на орел-решку.

На публику, привыкшую к современной высокой технике кино, эта семейная постановка производила жалкое нудное впечатление. Думаю, здесь вина не на В.К. Туржанском, замечательном metteur en scène’re, а на вредном для дела стремлении фирмы нагнать во что бы то ни стало экономию. Публика-де все слопает, если вывезут премьеры и два-три эффектных трюка.

Третье: массовые сцены, особенно балет во дворце Сундук-Башлык-Хомут-паши (простите, таков грим этого падишаха) тянутся слишком долго. Кстати, русская публика часто и добродушно

улыбалась, узнавая в анонимных и вторых персонажах многих старых знакомых по эмиграции.

Наконец, четвертое: в финале пьесы, из окончательной развязки фабулы, выпало маленькое, но чрезвычайно верное звено. Принц едет в обозе венчаться со своей титулованной кузиной: брак этот предрешен еще в раннем их детстве. Но принц любит вовсе не кузину, а спасенную им из гарема девушку и жениться решил только на ней. Между тем зритель созерцает поочередно свадебный туалет обоих невест и нетерпеливо думает: «Как это ловкому, хитрому, преданному Колину удастся совершить подмену? Обе кандидатки одеты одинаково: белое платье, белая фата, совершенно скрывающая лицо и фигуру, флердоранжи… Внимание напряжено. Но в церкви появляется лишь одна из соперниц. Где другая? Когда она появится? Ее нет и нет. Последний момент. Жених и невеста должны дать друг другу обет вечной верности. Отодвинута с лица фата. Конечно, это Н.И. Кованько, девушка из гарема, прелестная как всегда. Но куда же девалась высокорожденная кузина? Дал ли ей Колин усыпительного или иного порошка? Направил ли он ее разукрашенную колесницу другой дорогой? Запер ли он ее на ключ в уединенной комнате, и она теперь колотит руками и ногами в дверь? Зритель, несомненно, доволен развязкой, но в душе у него сидит ощущение какой-то пустоты, несвязки, недоделанности и небрежности. «Я понимаю, – говорит он, – некоторый туман, легкую неразбериху в начале или в середине пьесы: потом все объяснится, уладится, сведется. Но конец должен быть точен, исчерпывающ и достоверен. Зрителю хорошо. Его мгновенная маленькая досада сейчас же ушла и забылась. Каково же автору сюжета, особенно если он не успел еще привыкнуть к нравам фильмовых иродов, которым оттяпать у авторского любимого дитяти ручку, ножку, головку ничего не стоит: один взмах ножниц. Разве не нашлось бы в ленте места для объяснения отсутствия кузины, если бы хоть немного потеснить сцену бала? И кстати, как легко было сделать прекрасную пленницу гарема принцессой крови, хотя бы и восточной. Демократизм, положим, от этого не пострадал бы, зато выиграл бы зритель.

Тема пьесы не поражает резкою новизною (впрочем, выдумайте-ка теперь совершенно новую тему!) Но А. И. Филиппов сделал свой сценарий находчиво, умно, тонко и очень интересно. Видно, что он работал над ним с любовью и вниманием. Такой сценарий сделает большую честь и опытному кино-закройщику.

Затем все было хорошо: декорации дворцов, море, толпа, придворные евнухи, групповые сцены, побег по канату на страшной высоте, коронация и т.д. В.К. Туржанский – неистощим в постановочном блеске и вкусе.

Что сказать о Колине? Колин есть Колин. Огромный артист о многих гранях, и ему, покамест – тесно. Когда же мы увидим Колина в пьесе, специально для него сделанной? Посмотрите, как его горячо полюбила французская публика – V'la mon Colin! – приветствует его в скромных кино-ящиках Батиньоля и Билневура серая, но теплая публика.

Теперь – главное – о Н. И. Кованько. Что она прекрасна – кто же это не знает. Говорить о ней кратко – это значит, повторять общее место. Но вот что меня поразило в этой пьесе и почему, собственно, взялся я за настоящую статью. Все мы помнили Н.И. Кованько царевну Несмеяну, принцессу на горошинке, спящую красавицу. И вот грустящая, скучающая королева очнулась от наваждения, улыбнулась, засмеялась, сумела и показала некий свой характер совсем с неожиданной стороны. Всегда приятно отметить знаки, по которым можно судить об истоках таланта и о его росте. Пусть перестроение привычного строя сопряжено с маленькими шероховатостями и зацепками: это всегда бывает. Но расширить свой диапазон, найти свое новое я – великое дело. Это мы нередко наблюдали у артистов драмы. В кино – труднее. В кино – неизбежный штамп. Оттого-то я и приветствую нынешние попытки Н. И. Кованько.

А о штампе, об условиях экрана, о постановках, о постановщиках, авторах и т.д. я непременно напишу отдельную статью или даже несколько статей.

1925 г.

ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК

Удивительный город Париж. В нем все можно встретить, даже самое невероятное, самое неправдоподобное. Так, однажды я имел высокую честь разговаривать с абсолютным владыкою могучего негритянского племени. С полным спокойствием, мимоходом, он сказал мне, что он, кстати, еще и наследственный бог своего народа. Согласитесь – видеть живого бога и непринужденно с ним беседовать – это не везде и не каждый раз приходится. Также, вот, на днях, в Фонтенэ-су-Буа, в очень миленькой маленькой хижине, меня принял и кое-что показал из своего магического репертуара живой настоящий волшебник В.А. Старевич.

Вот что удивительно в его демонстрациях: всех его героев и героинь можно видеть до волшебного превращения собственными глазами. Они валяются на столике, некоторые, составившие себе почетную, славную репутацию, мирно отдыхают в стеклянных витринках. На

вид это причудливые куколки в вершок и менее ростом, и при том совершенно, окончательно неодушевленные. Есть там лягушки, аисты, мухи, стрекозы, птицы, муравьи, сильфиды, гномы, эльфы; водяные и лесные пучеглазые человечки, рыцари в шлемах и латах и страшные боевые кони; и еще великое множество сказочных персонажей.

В.А. Старевич терпеливо работает с ними на своей студии, с кадрика на кадрик, видоизменяя их положение. Когда же, через много месяцев, пьеса готова и ее показывают на экране, то с удивлением видишь, как разрешилось вдруг колдовство, тяготевшее над уснувшими героями г. Старевича, и как они, внезапно пробудившись, зажили той таинственной, чудной, сказочной жизнью, которую мы в раннем детстве так близко, так ярко знали, чувствовали у Перро и Андерсена, и у Мамина-Сибиряка.

Уже многие фильмы Старевича обошли весь Старый и Новый Свет. Мы напомним «Стрекозу и Муравья», «Городские приключения Бабочки», «Соловья», «Лягушек, просящих царя» и др.

«Лягушки, просящие царя» – особенно замечательная фильма. В ней есть легкий юмористический привкус пародии. Надо видеть лягушиный парламент, со всеми преувеличенными политическими страстями и бурными выступлениями, чтобы понять всю прелесть этой шутки, остро понятной для взрослых и такой забавной для детей… Как уморителен главный делегат – лягушонок, читающий бесконечно длинное приветствие новому монарху, солидному аисту, и с какой торжественной простотой аист спокойно, одним клевком, заглатывает и оратора, и его тетрадь.

Теперешняя новая фильма совсем своеобразна и довольно сложна по постановке. Девочка, внучка часовщика, большая фантазерка, грезит о том, что часы – это вовсе не простой механизм, а целое особое царство, где у каждого часа есть свой рыцарь и есть высшее лицо – Следящий за Порядком. И девочка чудесным образом входит в этот мир, открывшийся для нее в страшных и прекрасных сонных образах. Внучку часовщика играет молодая дочка г. Старевича, единственное человеческое существо во всех его фильмах: еще девочка, но уже со всеми признаками несомненного большого таланта, чувствующего одинаково глубоко и трогательное, и смешное. Творчество г. Старевича удивляет, восхищает и заставляет задуматься. В самом деле: изо всех трюков и волшебства, каким располагает теперь синема, – чудеса Старевича более всего имеют под собою опоры и заслуги. Сказочное идет сказке. Но оно неуклюже и даже противно в обыденной комнатной жизни.

1928 г.

СИНЕМА

Отчего же не признаться в том, что я не люблю кинематографического искусства? Однако, все причины моей нелюбви – такого беззлобного характера, что, конечно, ни один умный человек, – все равно, будь он артистом или поклонником синема, – никак не может на меня обидеться.

Во-первых, все неудобства и тяготы, сопряженные с пребыванием в густой толпе; сидение в одном и том же месте в течение четырех часов без возможности встать или переменить место.

Во-вторых, абсолютная тьма в зрительном зале и режущий электрический свет на экране, боль в глазах и усталость во всем теле.

В-третьих, та причина, что ни одна из моих попыток сделать сценарий для Великого Немого не увенчалась успехом. Но тут никто не виноват, кроме меня самого. Тот же провал постиг меня и с пьесами драматическими. Видите ли: я хочу видеть пьесу или сценарий в том виде, как они представляются моему личному воображению, а между тем надо видеть их именно так, как они представляются публике, глядящей на экран или на сцену. Ну, что же? Мне очень хочется попасть в милый, уютный, приятный дом и, скажем, меня туда не раз приглашали. Но одно суровое условие: непременно – фрак, а фрака у меня нет. Так я и не могу попасть на вечер. Конечно, жаль. Но прекрасный дом от всего этого вовсе не стал хуже. Не правда ли? И инстинктивно, проходя мимо этого дома, я все-таки перехожу на другую сторону.

В-четвертых (и это мнение со мной разделяют многие), синематограф как бы затенил, затоптал драматическую сцену. Но, если разобраться поглубже, то мы увидим, что веселая комедия, фарс, скетч, остро и тонко запутанная интрига или парадоксальная мысль идут да идут себе, иногда и до тысячного спектакля. Но к Шекспиру долго еще не вернутся драматические театры. Попытки же воскресить Эсхила и Еврепида и до кинематографа были бесплодны и скучны.

В-пятых, ужасно то, что только лишь появилась на экранах интересная фильма, то, куда бы ты ни пришел, тебе непременно расскажут вслух, со всеми подробностями, тему этой фильмы, и она для тебя уже потеряла прелесть новизны. Люди ведь не умеют молчать, по крайней мере, дольше, чем в течение трех минут. Но быль легко рассказать, а сон почти невозможно. Так и вещь, напечатанную или услышанную с голоса, гораздо легче передать, чем тайну кинематографа, где потрясение или очарование подчас недоступны разбору. Вот умирает Кин (синема), умирает очень длинно, реально, с внешней стороны безукоризненно, а у ног его на табу-

ретке сидит суфлер Соломон (играет его Колин) и читает отходящему гению случайные выдержки из Шекспира (слова на экране). Колин – спиною к публике, ей видны только его плечи, но по почти неуловимому сотрясению этих плеч видно, что маленький Соломон переживает отчаянное и святое горе: тут и великие слова, и близкая смерть обожаемого гения, и великая сдержанность: нельзя же тревожить умирающего своими слезами, и слезы льются внутрь. Согласитесь, что такой длинной паузы драматический театр не вынесет, а каждое слово было бы здесь ложью. Ведь я и сотой доли мощности этих четырех-пяти минут не сумел бы передать, а дамы, не останавливаясь на запятых, рассказывают вам о том, как эффектно умирал Кин-Мозжухин.

Да, правда: прелесть и власть человеческого голоса! Но я думаю, что эта роскошь, кажется, не для Кинематографа с модными ныне звуковыми выдумками. Ведь за Шаляпиным, который на днях будет говорить из экрана, неизбежно последует стереоскопичность, т.е. действующие лица выйдут из двух в третье измерение. Они отдернутся от плоскости, и тогда, при наличии этих двух новых условий: перспективы и голоса, Кинематограф может сделаться драматическим театром для бедных и малограмотных. Ибо сила Синема именно в молчании. Здесь он интимнее, чем театр. Ведь, недаром, мы замечали, как в театрах, даже самых отличных, публика чихает, сморкается, кашляет и шикает друг на друга. А в синема этого нет. Там публика молчит, и этот эффект молчания и, значит, пристального внимания, есть корень власти синема над душами. Это надо помнить.

Рассказав, и, мне кажется, дружелюбно, о том, почему я не люблю Синема, я в следующем номере расскажу, за что я люблю его и за что ему благодарен.

1929 г.

ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ

Признаюсь, я не особенно люблю Великого Немого, но я отлично понимаю, в чем заключается его могущественные качества, которые могут одинаково легко быть использованы на службу добру и злу.

Эллинский закон о трех единствах, ограничивающих простор драматического театра, не существует для экрана. Фильма в десятую долю секунды может перенести зрителя с северного полюса на экватор, из пятнадцатого столетия в тридцать второе, из дворца в хижину тряпичника; она заставляет людей проходить сквозь стены, ходить по потолку или медленно, на глазах зрителей, постепенно

таять и исчезать без следа, – словом, возможности ее безграничны. Одного только она не может: ее служителям – актерам, сыгравшим на первом представлении бездарно, вяло или безграмотно, никак уже нельзя поправиться во втором: ее единственный штамп остается навсегда без вариаций.

Но вот где кинематограф увлекателен, благороден и чрезвычайно полезен, – это там, где он является спутником, сотрудником и иллюстратором знания. Он в движении, в живых образах расскажет людям и о семейной жизни соловья, и о нравах пчел, и о военной пляске дикарей, и о ловле крокодилов, и об охоте на львов, и об извержении вулканов, и о производстве шелковой материи, и о том, как делается хирургическая операция.

Правда, тот же аппарат может объяснить желторотым мальчуганам о том, как совершаются налеты на банки и как вскрываются несгораемые ящики, и много раз малолетние преступники признавались на следствии, что ввел их в соблазн кинематограф. Однако такое двоякое лицо есть и у театра. Это давно учитывают чуткие люди. В Париже, например, существуют «Бон Театр» (к. де Пасси) и «Бон синема» (ул. Франсуа Премье). В обоих идут очень хорошие нравственные представления, но – увы! – они всегда пусты. Слишком пресно. Но из этого вовсе не следует, чтобы синема и театр, будучи свободными, веселыми, занимательными, изящными, играли на дурных чувствах толпы.

Уже после того, как я поделился с читателями журнала «Театр и Жизнь» моими мыслями о грядущем говорящем кинематографе – я неожиданно нашел в газетах довольно веское им подтверждение. Высказался сам Чарли Чаплин. Конечно, у этого человека в широких штанах – мировая слава. Но все-таки, он, конечно, не велик, как о нем кричала, угождая всевластной публике, услужливая пресса. Ведь написал же однажды какой-то не в меру пылкий театральный критик, что в новой эре человечества блестят немеркнущими звездами лишь два великих имени: одно – начинающее эру, другое – ее венчающее, одно – Иисуса Христа, другое – Чарли Чаплина. Конечно, такое преувеличение и нелепо, и нагло, и противно, но авторитет Чаплина, все же, несомненен в делах и вещах, касающихся синема.

И еще я услыхал с удовлетворением о том, что фотография за последние дни сделала много замечательных завоеваний. Она одолевает, наконец, свойственную ей перспективную ложь. Исходящую из того оптического закона, что сила света пропорциональна не расстоянию, а квадрату расстояния. Каждый из нас, например, замечал, с какой старательной заботливостью опытный фотограф

заставляет клиента убирать руки назад и отнюдь не держать их на коленях. И он прав. На наш, человеческий взгляд, выставленная вперед кисть руки кажется больше своей натуральной величины, ну, скажем, на три вершка: фотографический снимок увеличит ее на девять вершков. Также и со съемкой ландшафтов: предмет, стоящий от вас на шесть сажен, отдаляется от вас на тридцать шесть, и т.д. Как удалось современному фотоаппарату исправить эту ошибку, я, по скудости моих знаний, не представляю себе. Поживем, увидим и поймем.

Другой громадный шаг вперед Великого Немого состоит в том, о чем я лишь мечтал в прошлых статьях: синеартист уже на самом деле вскоре вышагнет из двухмерного плоского экрана, и сзади него мы не почувствуем полотно, в которое он был втиснут, а свободное пространство, наполненное воздухом.

Представьте себе, что на ваших глазах рафаэлевская Мадонна вдруг вышла бы из рамы и свободно пошла бы по галерее Дрезденского Музея. Подобного чуда и добьется кинематограф при помощи стереоскопа. Все мы помним стереоскоп, милую детскую игрушку, в котором мы так выпукло и радостно видели и Рим, и плантации в Азии.

И опять одно торжество – цветная фотография. Мы, старое поколение, помним ее давным-давно, с тех времен, когда она была еще игрушкой. Сначала ей очень увлекались, легкомысленно сулили ей громадную будущность. Я видел, как ею искренно, любовно и кропотливо занимался покойный Л. Андреев. Увы, она оказалась лживой, ненужной, неестественной, скучной. Вскоре о ней забыли. Но, замечательно! Очень многие игрушки, которые мы, взрослые дети, поиграв ими, бросали в сорный ящик, эти игрушки вдруг, точно чудом, выбирались из мусора и превращались в великие изобретения. Так случилось и с картонным телефоном, с тою малой вертушкой, из щелки которой мы видели дровосека, рубящего дрова, а бумажный змий был родоначальником авиации… Так пришла и новая цветная фотография, в которой все правдиво и верно, до точности, природе.

Что говорить, громадные ресурсы у Великого Немого, особенно, когда в его средствах будет возможность передавать все стихийные звуки, какие знает природа. Но одно ему не доступно: самый прекрасный из всех звуков в мире – сладостный звук человеческого голоса. И если на нем заговорит кинематограф, то это все-таки будет голос глухонемого – жесткий и страшный.

1929 г.

«КАРМЕН»

Я и сам не знаю, почему это так случилось, что из всех опер я особенно полюбил «Кармен», и в какой бы город ни заносила меня капризная судьба, я неизменно пользуюсь первой возможностью еще лишний раз послушать прелестное творение Просперо Мериме, с такой пленительной мощью положенное на музыку Жоржем Бизе, несмотря на плохо сделанное либретто. Во всяком случае, могу сказать, что в этом моем пристрастии ничем не повинен философ Ницше, который, сбросив с себя влияние Вагнера, так страстно влюбился в «Кармен».

Я видел и слышал эту оперу во всех русских городах, слышал в Финляндии и Варшаве, во Франции и Италии. Слышал в знаменитом «La Scala» и под открытым небом на развалинах древнего римского цирка в Фрежюсе…

Странное сложилось у меня впечатление от этого многообразного опыта. Я заметил, что никогда в этой опере не было ровного и полного ансамбля. Всегда выделялся один из главных персонажей и доминировал над всем составом и вел его за собою.

Чаще всего, такою вдохновительницею бывала Кармен; среди русских исполнительниц этой роли на первое место надо, конечно, поставить Медею Мей (Фигнер). Хороша была и Давыдова в Музыкальной драме, но только ей не следовало бы танцевать во втором акте. Да и вообще русские Кармен уж очень бывали грузноваты для легкого, быстрого образа змееподобной гибкой испанки, и грузноваты не только телом, но, преимущественно, духом. Ведь вот, итальянская «Кармен» Муниос, которую я видел в 1895 году в Киеве, в театре Бергонье, она была не только полна, а даже, скорее, массивна, но она носила свое тяжелое тело с изумительной свободой и легкостью, она пела так же непринужденно, как дышала, у нее был прекрасный, необыкновенной широты, голос, а игра ее вызывала трепет чистого восторга.

В Петербургском Мариинском театре я видел и слышал знаменитую Марию Гай. Про нее говорили, что в ранней молодости она была гитаной и пела в темных кабачках Севильи. На сцене она держалась великолепно. Кто видел, тот никогда не забудет, как одним прыжком она вскакивала на стол и плясала с упоительным безумством, как, окончив танец, она швыряла через всю сцену свой тамбурин, как она разрывала ногтями апельсин и жадно ела его неочищенным, а кожу бросала небрежно на пол.

Изумительный трюк у нее был в последнем акте, перед смертью. Дон Хозе, бедняжка, разливается перед нею в своих горестях, оплакивает свою страстную любовь, из-за которой он покинул се-

мью и прелестную невесту Микаэлу, стал контрабандистом и, вероятно, убийцею, будущим клиентом гарроты, которая удушит его при помощи палача на севильской площади. И все-таки: Кармен, я тебя обожаю! Кармен, я тебя обожаю!..

Но трудно вольнолюбивую испанскую гитану растрогать слезами. Стоит она, обернувшись к дону Хозе спиной, и, презрительно, сверху вниз, вполоборота, окидывает холодным взглядом своего пылкого любовника.

«Ты думаешь вернуть меня своими жалобами. Ведь все женщины так плаксивы. А когда они плачут, то непременно сморкаются. Ну, вот, смотри и думай, что я уже поплакала. Теперь остается лишь высморкаться, и старая песенка окончена». Она вынимает из корсажа кружевной платочек и сморкается дерзко и громко.

Повторяю, Мария Гай «Кармен» незабываема. Но она уж чересчур Кармен. Она густая эссенция Кармен, и в этом ее единственный недостаток, который покоробил бы не раз и самого Мериме.

1929 г.
(продолжение в № 5 – номер не найден)

ЛИКИ ТЕАТРАЛЬНОЙ РОССИИ: Н. П. РОЩИН-ИНСАРОВ

Теперь уже мало найдется в живых людей, которые видели этого замечательного артиста драматической сцены: самому молодому из них должно быть, по крайней мере, не менее пятидесяти лет.

Ужасно обидна судьба великих актеров! Жизнь дает им бездну впечатлений и чувств: слава и обожание, лукавая женская любовь, аплодисменты, восторги и слезы зрителей, газетная хвала, сотни, тысячи, десятки тысяч преданных поклонников и верных друзей. Города, реки, вагоны, гостиницы, деревянные и каменные – бегучий калейдоскоп; но также и отравленные тернии, ревности, зависти, интриги, мнительности вечной боязни «сдать», «выдохнуться»… И никогда не проходящий страх сценической случайности: вдруг, ни с того ни с сего изменит память, вдруг величественная фраза столь нелепо, столь фатально-глупо перепутается, что в самом трагическом месте из зрительного зала донесется сдавленный, но такой роковой, такой убийственный смех!

И все эти сильные ощущения переживаются нервной, чуткой, всегда вибрирующей душою актера с удвоенной, с утроенной, с удесятеренной глубиной и остротой.

Да! Венки, цветы, подношения, овации громкие, льстивые речи. Но умер он… И могила его вскоре забыта, и через год никто не покажет холмика, на кресте которого опадают последние лавровые листы. Безвестность – вот награда за шумную, страстную, тревожную фейерверочную жизнь. Писатели, живописцы, скульпторы, композиторы, философы оставляют по себе почти нетленные памятки. Артисты эстрады – ничего! Ничего, кроме вялых рассказов современников. Но кто же передаст очарование голосового тембра, красоту движения, прелесть улыбки или тот быстрый взмах ресниц, который сказал больше, чем длинный монолог?

Все мы слыхали имена Кина, Гаррика, Мочалова, Щепкина, Ермоловой, Мунэ-Сюлли, братьев Коклен, Элеоноры Дузэ, Сарры Бернар, Поссэрта, Сальвини и других… Но, не видав их на эстраде, мы ровно ничего о них не знаем, и никакое художественное воспоминание не удовлетворит нашей любознательности.

Но это не значит вовсе, что об ушедших актерах не надо и не стоит писать. Иногда удачно найденное слово как будто бы разверзает на секунду узенькую щель в неизъяснимое прошлое и освещает его мгновенным светом… Рассказывают, что когда Мочалов–Гамлет в сцене с актерами медленно поднимался со словами: «Оленя ранили стрелой», – то, невольно в молчании, подымался за ним и весь театр.

Настоящая фамилия Николая Петровича Рощина была Пашенный – хорошее дворянское имя. В молодости он служил в Сумских гусарах, в столь любимом Москвою кавалерийском полку. Как сложился его путь на сцену, я не знаю.

У него было две дочери. Обе артистки. Одна взяла для сцены его настоящее имя, другая – псевдоним. Первой я не видел, но Екатерину Николаевну отлично знаю по сцене, очень ценю ее талант и всегда восхищался им. Однако, я должен сказать, в дарованиях отца и дочери совсем нет общих черт или взаимовлияния. Их сценические пути вместе с подходами, манерами, симпатиями, вкусами – это две совершенно разные дороги, которые никогда не шли параллельно и никогда не скрещивались. У них только одно общее и то лишь в наружности. Это – горячие глаза.

Впервые я увидел Рощина-Инсарова мальчуганом лет десятиодиннадцати в Пензе, в летнем театре. Видал два раза подряд, в изумительных мелодрамах: «Жертвы Ваала» и, можете себе представить, «Рокамболь» – трагедия в семи актах и восемнадцати картинах! Тогда еще трогательные монологи сопровождались игрой на скрипке под сурдинку.

Я в то время совсем не умел разбираться в достоинствах и недостатках актерской игры. Главное, что пленяло – это была чертовски

занимательная и увлекательная фабула, раздирательность которой щедро расцвечивало мое воображение. Помню: в антрактах в буфете пел прекрасный и очень нарядный цыганский хор. Но я его слышал и не слышал. Душа моя оставалась в зрительном зале и там трепетала в ожидании дальнейших злодейств, высоких проявлений героизма и трогательного оправдания поруганной невинности.

Прошло достаточно времени. Москва. Малый театр. Ермолова, Федотова, Эгмонт и Орлеанская Дева. Мы, кадеты, благоговели. Есть ли в России, да и во всем мире, театр равный великому московскому Малому. Но уже с переходом в Александровское училище наши классические вкусы пошатнулись. Еще не восходил Художественный театр. Он был еще в зерне, но уже его предшественник Корш стал переманивать театралов Белокаменной. Труппа у него подобралась чудесная: Давыдов, Киселевский, Рощин-Инсаров, Солонин, Градов, Соколов, Соловцов, Гламма-Мещерская, Яблочкина, Мартынова, Зверева… И репертуар был легкий, веселый, разнообразный. Ну да, мы знали и с почтением верили, что «Малый» – это святилище, почти храм, но, однако, почему не провести приятно время на балу, в салоне, на катке или в балагане на Девичьем поле? Молодая часть Москвы отхлынула к Коршу. Театр в Богословском переулке рос со сказочной быстротой.

Ходил по Москве такой анекдот: голосистый диакон церкви Иоанна Богослова, которая находилась всего шагов в пятидесяти от Корша, был в самых лучших отношениях с коршевскими артистами и, кажется, нередко похаживал по контрамаркам на галерку, спрятав волосы под воротник штатского платья. У Корша же были для учащейся молодежи субботники.

И вот субботним вечером, когда бесконечные очереди змеились у касс, встретил о<тец> диакон своего дружка-актера, идущего в театр, и сказал укоризненно: «Это что ж? К вам в вертеп публика валом валит, а в Божию обитель идут еле-еле, как по капелькам». Актер ответил: «Да ведь у нас, о<тец> диакон, репертуарчик всегда новенький. Диакон подумал и ответил на самой густой ноте: «Соглашаюсь, но не одобряю».

(продолжение в ТиЖ, 1929, № 11 – номер не найден)
1929 г.

КОМЕДИЯ ДЕЛЬ АРТЕ

Очень обидно, что некоторые наши совсем невинные мечты так и увядают, не исполнившись хоть бы отчасти. Ну, вот, например, за-

думали вы, еще в дни ранней кипучей юности, попасть куда-нибудь в Париж, купить здесь надежную верховую лошадь и, не торопясь, проехать на ней через всю Францию, так, скажем, до Ниццы, Нарбонны или Биаррица. Вы даже мысленно пролагали путь по следам отважных героев Дюма-отца, с остановками в древних замках и соборах, с ночлегами в старинных гостиницах и обержах. Ну, вот, превратной волею судьбы нас теперь выбросило во Францию, в ее прекрасную столицу… и что же?

Порядочная верховая лошадь стоит не менее двенадцати тысяч франков (правда, достигнув конца пути, ее можно будет продать за треть ее стоимости). Вся страна изрезана вдоль и поперек и вкось частой сетью железных дорог. Все шоссе забронированы жестким гудронированным цементом, мягких дерновых обочин и тенистых проселков уже не существует.

В каждой мало-мало исторической деревушке несколько трехэтажных отелей, занесенных во все путеводители, с соответствующими вывесками. Так, в скромной деревне «Дом Реми», в месте рождения Жанны д'Арк, где перед каждым домиком преют простодушно на улице жирные, пахучие кубы навоза, уже имеются две гостиницы: одна La Poucelle, другая La Heroine, – и на обеих плакаты: «Говорят по-английски». А уже известно: где «говорят по-английски», там живет толстопузый фунт и перестает жить поэзия. И напрасно взор и аппетит наш будут искать прежнюю уютную гостиницу, с обширными конюшнями, с толстым хозяином на пороге, с огромным почерневшим очагом, с вертелом, на котором жарятся индюки, гуси и куропатки, с двумя хорошенькими дочерьми хозяина и со смазливой лукаво-веселой горничной. И милые легенды рассеялись в пространстве. И весь ваш путь по славной героической Франции будет отравлен бешеной ездой, дикими воплями и мерзким запахом тысячи автомобилей… Лопнула милая мечта.

* * *

Вот так-то я грезил много лет назад о Комедии дель Арте. Что за прелестная идея! Театр – передвижной, под полотняной складной крышей – шапито. Весь он, с кулисами, с декорациями, с реквизитом, с костюмами и труппой, легко умещается в повозке-вагоне, запряженной одной крупной, старой лошадью, светло-серой, усеянной рыжей гречкой.

Остановки – где угодно. Бьют в барабан, дудят в рожок и раскидывают шапито. Вечером на свет масляных ламп идут местные жители, заботливо вытягивая из тугих кошельков мелочь, которая ненадежнее и посомнительнее. Сегодня благородные и благосклонные

зрители могут вдоволь насладиться и кровавой трагедией в одном акте, и длинным водевилем с пантомимою, в которой не скупятся на пощечины, палочные удары и самые комические падения. Если публики наберется достаточно много, можно и повторить программу. Для большего успеха не вредно искусно ввернуть в водевиль какую-нибудь местную злобу дня, еще не переставшую волновать обывателей. Такой трюк надолго оставляет память о бродячем театре.

Труппа очень невелика. Папаша, он же дядя, он же Панталоне; Пьеро и Пьеретта – веселые любовники; Арлекин и Коломбина – любовники томные; Трифальдино и Скрифучилио: они бывают и сладострастными старцами, и разбойниками, и обжорами, и скупцами; прибавить развязную лукавую субретку – и состав труппы готов.

И когда эта труппа тесно сыгралась и приобрела солидную репутацию в разных городах, городках и селах, тогда она уже может позволить себе высшее достижение Комедии дель Арте – импровизацию.

В начале одного из спектаклей Пьеро, с лицом, натертым мукою, в белом широком балахоне, украшенном красными помпонам, в тугом черном берете на стриженой голове, выходит к рампе и предлагает почтеннейшей публике написать на бумажках те темы пьес, которые просвещенным зрителям угодно будет услышать и увидеть не более, чем через десять минут.

В деревне всегда есть несколько грамотных человек: нотариус с его писарем, судья со своим секретарем, аптекарь, доктор и сборщик налогов. Они пишут записки, записки бросаются в чью-нибудь шляпу и перемешиваются; наконец, невинный мальчик или невинная девочка тянут жребий. Маленькая интермедия, а после нее, и в самом деле, разыгрывается по заданной теме легкая веселая комедийка. Публика в восторге. И она права. В пьеске много импровизации и горячего искусства.

Правда, дело происходит в Италии, где у людей кровь и слово бегут необычайно быстро. Правда, артисты играют словом, точно клоуны мячами. Правда и то, что человеческие страсти, радости, горести, пороки и добродетели не так уж сложны и разнообразны, правда и то, что у труппы на слуху и в памяти живут десятки старых пьес, из которых легко выкроить большие куски… Но все-таки Комедия дель Арте – настоящее искусство, творимое почти на глазах свидетелей…

Да, о таком бродячем театре я мечтал еще в Петербурге, и скольких, скольких талантливых, энергичных, веселых, легких людей, даже бродяг по натуре, я соблазнял на устройство переносного шапито.

Но, увы! – Пензенская губерния не Лигурия, и Калуга не Турин, и кровь у нас иная, и климат другой, и язык у нас толст и тяжело подвешен, и воображение наше бежит черепашьим магом.

Последний, кого я соблазнял планом Комедии дель Арте, был покойный Потемкин. А из живых мою мечту понял бы один Евреинов, искатель новых берегов, морей и стран.

1929 г.

СЕМЬЯ КЕДРОВЫХ

Возвратился из Нью-Йорка во Францию этот изумительный русский квартет: два брата Кедровы, да Денисов с Казаковым. Вот они, мирные завоеватели взыскательного Парижа, чопорного Лондона, строгого к музыке Берлина, чуткой, веселой, но требовательной Вены, экспансивной Америки, и, в будущем, чуть ли не всего земного шара, потому что упорно приглашают квартет Кедрова и в Австралию, и в Японию.

О Кедровых я говорил очень часто и скажу, что еще много раз буду говорить о них с глубокой признательностью. Но теперь мне хочется поговорить о молодом потомстве братьев Кедровых.

Увы! Этот молодняк совершенно опрокинул вверх ногами один закон, который я считал установленным впервые мною. Видите ли, я дерзал утверждать, что люди исключительного таланта как бы исчерпывают, опустошают, обкрадывают творческие дары своего младшего поколения, оставляя на его долю только посредственность.

И – вот: обе семьи, как Николая, так и Константина Кедровых – блистательно для себя, унизительно для моей философской прозорливости, – опровергают весело и, по-детски, беззаботно мою выдуманную теорию.

Елизавета Николаевна Кедрова играет – и прекрасно играет – в европейском отколе Художественного театра, где отличные артистки и опытные артисты ее берегут, ценят и любят. Сын Николая Николаевича (и тоже Николай Николаевич; по-домашнему – Колюн), чрезвычайно музыкальный и даровитый юноша, вот уже второй год ревностно и с большим успехом, изучает в Консерватории таинственные законы контрапункта, генер-баса и септаккорда.

Наталия Константиновна Кедрова, старшая дочка Кости Кедрова, берет уроки пения у г-жи Терезы Лешетицкой. Она в очень хороших, искусных и – что особенно ценно – в строгих руках. Наташа уже разучила с нею четыре оперы, но не только выступать в них, а даже

и петь публично простые романсы, ей строго запрещено. Учительница-профессор основательно опасается: и того, чтобы преждевременная ответственная и тяжелая работа на сцене не отразилась вредно на ее очень молодом, едва окрепшем голосе; и того, чтобы ранние успехи на эстраде не вскружили ей голову… Да, я знаю, как строги учители и руководители настоящего искусства. Вспомним великого Эверарди. Он, по-моему, даже слишком сурово обращался со своими ученицами: «Твой поет, как коров», «У тебя ни кож, ни рож, ни вуа», «Опирай голос на диафрагм! Пой, как будто у тебя болит живот!» С учениками он обращался еще круче. Но никто и не думал на него обижаться. Все знали, что с ученицами бездарными и безголосыми он был учтив и любезен, как пети-мэтр начала 17-го столетия, а ничтожным, слабым певцам срывал голоса…

От г-жи Т. Лешетицкой никто не добьется ее настоящего мнения о таланте Наташи Кедровой. Но стороною, кружным путем, мы узнали, что… впрочем, этика заграждает нам уста…

Самая младшая изо всех Кедровых – это Оля Константиновна. Она так юна, так еще, по-детски, весела и беспечна, что ее никак не назовешь Ольгой. Она – будущая «prima-balerina absoluta». Она уже много раз танцевала в Барселоне, в русской опере, под руководством Васильева, и танцевала с успехом.

Маленьким триумфом был для нее в начале апреля этого года вечер, организованный в зале Иена парижским землячеством жителей франш-конте в пользу детских яслей. Ее гавот пленил и восхитил взыскательную публику, и о нем много и тепло писали во французских газетах. Я жалею, что не видели ее танца такие знатоки, как Светлов и Плещеев. Я в искусстве Терпсихоры, как Сазан в Библии, но непосредственную красоту я как будто бы чуть-чуть чувствую инстинктивным путем.

Я видел ее гавот, но как описать всю его прелесть? Вся задача – рассказать о сияющем полудетском лице и радостной и стыдливой улыбке, об упоении светом, музыкой, темпом и своей счастливой легкостью и волшебным ощущением непосредственного восхищения. Но как рассказать о таких невидимых и невесомых вещах?..

Я едва только начинал эту дилетантскую заметку, как узнал, что Ольга Кедрова ангажирована на турне по Италии и уже выехала из Парижа.

Милая девочка! Дай тебе Бог счастья. Ничто дурное, злое и темное тебя не коснется. Доброго, крепкого и сильного рода ты отпрыск.

1930 г.

РЕВНИВ ЛИ ОТЕЛЛО?

На русской сцене Отелло появлялся сравнительно редко. До 30-х годов XIX в. в русских театрах вообще давали Шекспира не настоящего, а маргаринового, т.е. в переделках француза Дюиса, который старался причесать и облагообразить «дикаря Шекспира» применительно к вкусам парижского изысканного света. Иначе говоря, Дюис выхолащивал Шекспира, вытравлял из него весь его подлинный трагический пафос, всю его гениально-смелую анатомию человеческих душ и заменял все это прилизанными, слащавыми сценами в угоду салонной чопорной благопристойности. В такой Дюисовской переделке изображал Отелло Дмитриевский, − самый выдающийся русский актер XVIII столетия.

Настоящего Шекспира впервые продвинул на русскую сцену Мочалов, когда в 30-х г. г. XIX ст. он поставил в свой бенефис «Гамлета» в переводе Полевого. Гамлет − подлинный шекспировский Гамлет — стал коронной ролью Мочалова.

В мое время в Москве выступали два замечательных исполнителя Отелло: немецкий трагик Барнай и гениальный итальянец Сальвини. Как они исполняли эту роль?

— «Отелло не ревнив, он – доверчив». Это – поистине гениальное указание Пушкина нужно было бы помнить каждому артисту, берущемуся за эту роль. Все твердят, походя, что «Отелло» есть трагедия ревности. А между тем нет ничего ошибочнее этого мнения.

Разве прирожденного ревнивца нужно усердно убеждать в неверности его подруги? И Сальвини и Барнай − каждый по своему, − ярко оттеняли сопротивляемость Отелло наветам Яго… Ревнивец не стал бы сопротивляться, наоборот, он жадно ухватился бы за первый же намек и сам тотчас добавил бы к нему подозрения собственного изобретения. Вот этой-то сопротивляемостью наветам Яго Отелло и получает право на наше сочувствие в тот момент, когда он, наконец, становится жертвой обмана Яго. И вот, наступает акт мщения. И здесь, как явственно проступает отличие Отелло от настоящего маниака ревности! Отелло не упивается своею местью, а совершает ее, испытывая глубочайшие муки.

Существенный оттенок в игре Барная и Сальвини в этой роли состоял в том, что Барнай выдвигал на первый план страстную импульсивность мавра, а Сальвини с потрясающей силой изображал величавую грозную мощь его страстей.

Сцена перед задушением Дездемоны в исполнении Сальвини была исполнена изумительной силы. Сальвини употреблял здесь минимальное количество внешних приемов − жестов, поз, мимики.

Но от артиста к зрителям протягивался какой-то магнетический соединительный ток.

− «Молилась ли ты, Дездемона?»… — и после этого зловещего вопроса Сальвини молча ходил по сцене грузными шагами, и от его молчания и от этих однообразных грузных шагов становилось так жутко, что, смотря на Сальвини в этот момент, я почувствовал корни своих волос. Комиссаржевская, изображавшая Дездемону в этом спектакле, потом говорила, что и ее на сцене в этот момент охватил ужас. «У меня, − рассказывала она, − вдруг мелькнула мысль, что он и на самом деле меня задушит, так он был страшен». И когда наступил момент удушения, зрители застыли в ужасе, а между тем, − как говорила Комиссаржевская, − Сальвини даже не прикоснулся к ее шее, он и без этого сумел изобразить акт удушения с потрясающей выразительностью. И у Барная, и у Сальвини Отелло выходил не злостным себялюбивым ревнивцем, трясущимся над обладанием своей собственностью, а грозным великаном с душой доверчивого ребенка. Оба трагика − и немецкий, и итальянский, − Сальвини с гораздо большей мощью, нежели Барнай, − соприкоснулись с тем пониманием души Отелло, которое Пушкин выразил в своем афоризме.

1932 г.

Литературная критика. Статьи и рецензии (1901-1933 гг.)

ГЕНРИК СЕНКЕВИЧ

Имя польского писателя Генрика Сенкевича приобрело в последнее время почти всемирную известность. Многие из его произведений переведены на все европейские языки и пользуются громадным успехом. Но особенно посчастливилось им у нас. Не говоря уже о том, что в переводе на русский язык имеются почти все сочинения польского романиста, некоторые из них появились одновременно в нескольких изданиях. Правда, не все переводы удовлетворительно передают красоту подлинника, но есть и вполне удачные, как, например, В. Лаврова и др.

Популярность писателя, как бы велика она ни была, не может, конечно, служить бесспорным доказательством достоинств его произведения. Во всех областях искусства найдутся посредственные сочинения, имевшие, однако, в свое время колоссальный успех.

Что касается Сенкевича, то значение его художественной деятельности стоит вне всяких сомнений. Люди самых различных направлений и литературных вкусов признают в нем крупное дарование и большой изобразительный талант. Если и возникает разногласие, то разве в сравнительной оценке отдельных произведений.

Хотя на литературном поприще Сенкевич выступил давно, но начало его известности как талантливого писателя относится к 1876 г., когда, путешествуя по Америке, он стал помещать под псевдонимом Литвоса полные художественной правды и бодрого юмора путевые очерки, новеллы и корреспонденции.

Впоследствии он расширил рамки своего творчества и создал ряд крупных бытовых и исторических картин, доставивших ему громкую известность.

Появление романа «Огнем и мечом» составило, можно сказать, эпоху в истории польской литературы и создало автору ту широкую популярность и славу, какою он пользуется и теперь. С той поры Сенкевич становится любимым национальным писателем, предметом народной гордости. Да оно и понятно, если вспомнить, что силой своего таланта он воскресил в ярких образах блестящее прошлое своей родины, создал народную эпопею и воплотил в своих героях былые доблести.

Романы «Потоп» и «Пан Володыёвский», составляющие с предыдущим одну трилогию, также изобилуют блестящими по выполнению и жизненности эпизодами (как например, осада Ченстохова), превосходными описаниями природы и интересными бытовыми сценами.

Теми же качествами отличается и недавно законченный исторический роман «Крестоносцы», в котором изображена борьба поляков с тевтонским орденом.

Успех исторических романов Сенкевича объясняется как крупным достоинством этих произведений, так и особого рода художественными приемами. Перед взором читателя проходит ряд картин в таком эффектном, ослепительном освещении, что он невольно поддается художественному гипнозу и не замечает ни преувеличений в обрисовке героев и событий, ни других недостатков этой колоссальной панорамы. К числу последних и польская и русская критика относит недостаточное освещение внутреннего быта народных масс, излишнее нагромождение кровавых сцен и проявлений грубой физической силы и, наконец, несоразмерное распределение света и теней. Но вместе с тем отмечаются и крупные художественные достоинства этого рода сочинений, умение автора придать изображаемым событиям такую жизненность и выпуклость, что они встают перед читателем как живая действительность.

Что же, однако, побудило Сенкевича принять на себя трудную задачу художественного воспроизведения давно минувшей старины?

В ответном письме на просьбу редакции одного польского журнала сообщить, кем он желал сделаться, будучи ребенком, Сенкевич пишет, что еще в раннем детстве, увлекаясь патриотическими песнями польского поэта Немцевича, он хотел быть рыцарем и воображал себя на коне в той битве с татарами, где потерпел поражение польский гетман Жолкевский. Особенно сильное впечатление произвело на него иллюстрированное жизнеописание Наполеона I. После прочтения этой книги у него явилось желание сделаться великим полководцем. Позднейшая любовь к историческим повестям возникла, по его мнению, именно в те времена.

Таковы признания Сенкевича; и если принять во внимание, что в его роде были сильные военные традиции, то пристрастие к боевым картинам и геройским подвигам станет вполне понятным.

Но кроме этих стремлений, были и другие, вполне сознательные, о которых он говорит в одном частном письме.

«Я потерял вкус (и может быть, к моему благополучию), – писал Сенкевич к одному из своих знакомых, – к новеллам, к героям-лилипутам, к трогательным мотивам, наигрываемым на тихо звучащей квинте, к своим и чужим произведениям этого рода. Я сказал себе: «jam satis!» и пробую иную ноту».

Вот какие мотивы вызвали поворот в художественной деятельности знаменитого польского писателя. Его влекло к себе героическое прошлое родного края: «Там все так ясно и величаво в сравнении с ничтожеством современной жизни», – изображение этой величавой простоты стало теперь его серьезной жизненной задачей. Исполненный горячего патриотического воодушевления, Сенкевич принимается за пристальное изучение прошлого и превращается в певца героических подвигов.

В исторических романах Сенкевича нет того тонкого, глубоко продуманного анализа массовой психологии, который так восхищает нас при чтении романа гр<афа> Л. Н. Толстого «Война и мир», нет и мрачного колорита Верещагинских картин, изображающих отрицательные стороны войны, но зато культ героев, которым проникнуты его произведения, освещен примирительным светом самопожертвования во имя общественного блага.

Впоследствии, словно пресытившись зрелищем кровавой борьбы и сверхчеловеческих подвигов, Сенкевич создает произведение, центральная фигура которого является полной противоположностью богатырям знаменитой трилогии.

Герой романа «Без догмата» Леон Плошовский, материально обеспеченный и образованный, тратит свои недюжинные способности и тонкую наблюдательность на бесконечное копание в собственной душе и на игру в бесплодный скептицизм. Изъеденный болезненными сомнениями, он кидается из стороны в сторону, и когда дело доходит до разрешения какой-нибудь жизненной задачи, его «ум теряется в лабиринте мелочей и побочных соображений, воле не на что опереться, и поступки попадают в зависимость и от нервов и от внешних обстоятельств».

Такова самооценка этого изломанного человека, лишенного точки опоры и потому вечно колеблющегося. Он не только сомневается в самом себе, но даже в своих сомнениях и, «мучаясь и шалея в этой тьме», мечтает о блаженстве иметь догмат. Этим талисманом обладает женщина, которою он увлекается. Только когда Анелька выходит замуж за другого, истинная страсть разгорается в душе Плошовского и приводит обоих к роковому концу.

В этом романе, написанном в форме дневника, Сенкевич выказал лучшие стороны своего дарования. Едва уловимые, крайне сложные и капризные оттенки душевных движений переданы тут с тонкостью и отчетливостью поистине изумительными. Вообще по мастерству выполнения и по отступлениям, часто глубоким и оригинальным, этот психологический роман ставит автора наряду с наиболее выдающимися писателями нашего времени. Плошовский – герой безвременья. Болезненная раздвоенность, которой он страдает, – явление, конечно, исключительное в той стадии развития, с какою мы знакомимся, но было бы ошибкою отрицать типичность той фигуры: безволие и беспочвенный скептицизм. Это болезнь века, и Сенкевич только пополняет богатую галерею лишних людей.

Совсем в другом духе герой другого крупного романа Сенкевича.

Поланецкий не желает, подобно Плошовскому, «катать шарики из готового хлеба». Это человек в полном смысле слова энергичный. Его шляхетское происхождение не служит помехой для коммерческих предприятий, и он без устали идет к материальному благополучию. Когда-то и он задавался разного рода проклятыми вопросами. «Мы вчитывались, – говорит Поланецкий, – в пессимистов и терялись в бездонных вопросах, как те птицы, что летят за море и им не на что сесть во время полета. Но я заметил, что у меня проходит охота к труду, и что я становлюсь слабосильным человеком; тогда я потянул себя за уши и стал красить на убой свои ситцы. Я сказал себе следующее: жизнь есть закон природы; глуп он или мудр, этот закон, я не знаю, но я знаю, что он есть. Жить надо, значит, надо из жизни извлечь все, что она может дать». Такова житейская филосо-

фия Поланецкого. Избрав узкую сферу практической деятельности, он сузил свой кругозор и превратился в трезвого дельца. И в делах любви он действует с той же твердостью и настойчивостью, как и в своих деловых предприятиях.

«Семья Поланецких» – роман бытовой по преимуществу, но в нем есть и немалая доля психологического элемента, развивающегося на почве взаимных отношений четы Поланецких. Несмотря на свою выдержку и уравновешенность, Поланецкий увлекается пустой, бесцветной бабенкой, и это падение создает ряд мучительных угрызений совести, психология которых передана с обычною правдивостью. Теперь все окружающее кажется ему смешной человеческой комедией, где все обманывают друг друга, а иные самих себя.

«И это жизнь!» – восклицает Поланецкий. Но пессимистическая волна ненадолго увлекает его. Вовремя опомнившись, он с новым усилием принимается за устройство домашнего очага.

«Для него, – говорит автор, – вновь началось однообразие жизни, или, вернее, однообразие ясного спокойствия и счастья».

Мажорный аккорд, которым заканчивается семейная хроника Поланецких, не удовлетворил многих критиков, в том числе и польских. Сенкевича не без основания обвиняли в том, что он является проповедником узких буржуазных идеалов и сочувствует представителям польской шляхты, застывшим в узких рамках семейного и сословного благоденствия.

«Семья Поланецких» вышла в свет в 1895 г., а уже в следующем году появляется исторический роман «Камо грядеши», создавший Сенкевичу, можно сказать, всесветную известность.

На этот раз автор дал яркую, широкую картину умирающего языческого мира и нарождающегося христианского.

На фоне изменчивой, грубой и жадной до зрелищ толпы выделяется ряд фигур, окружающих Нерона, этого «бездарного фигляра», как его называет Петроний. Последний немного сродни Плошовскому. Он эстетик по природе и образованию, патриций до мозга костей, эпикуреец по складу жизни и привычкам, скептик по образу мыслей.

Петроний не примет христианства, хотя бы в нем заключалась правда и мудрость не только человеческая, но и божеская, потому что это потребовало бы усилий, а он не любит трудиться; потребовало бы отречения, а он не любит отказываться ни от чего в жизни. Этот поклонник земных наслаждений и телесной красоты признает злом христиан только потому, что они враги жизни.

Фигура Петрония, как он изображен в романе, удовлетворяет и тех, кто находит в этом произведении крупные недостатки, осо-

бенно в изображении христиан, лишенных естественного порыва и протеста даже в самые трагические минуты жизни. Неудачными признаются и изображения апостолов Петра и Павла, которые произносят длинные монологи одного и того же содержания. Вообще в романе, по мнению одного из критиков, нет той настоящей трагедии, которую принесло на землю учение Христа. Зато, например, пир во дворце Нерона блещет великолепием красок, а фигура грубого язычника Тигеллина одна из самых удачных.

Много труда, много творческой энергии вложил Сенкевич в свои исторические хроники; изумительное знание человеческой души и современного быта проявил он в своих общественных и психологических романах. Но эти широкие и порою блестящие картины, в которых столько продуманности и мастерства, не могут затмить тех незатейливых, но задушевных и искрящихся бодрым юмором жанровых картинок, которыми он так удачно начал свою художественную деятельность и к которым по временам возвращается, отдыхая от более широких задач.

Кто читал «Эскизы углем», «Янко-музыкант», «За хлебом», «Из записок познанского учителя». «Бартек-победитель», «Та, третья», «Органист с Пониклы», «На маяке», «Путевые очерки» и другие произведения этого рода, тот надолго останется под обаянием художественной манеры Сенкевича и не забудет таких созданий его творчества, как например, Янко-музыкант, этот слабый хилый ребенок, который всюду слышит музыку и, увлеченный своею страстью, пробирается в барский дом, чтобы полюбоваться скрипицей господского лакея. Тихий, грустный звон струны выдал бедного Янко. Его судят как вора, и глуповатый сторож Стах, которому поручают наказать преступника, так старается, что ребенок на третий день умирает. «Ласточки щебетали на черешне, что росла близ хижины; солнечный луч врывался в окно и обливал золотистым светом растрепанную детскую головку и бескровное личико. Этот луч был как бы дорогой, по которой отойдет маленькая детская душа... На одеяле перед ним лежала его лубочная скрипка. Вдруг лицо умирающего ребенка прояснилось, и дрожащие губы прошептали: «Мама... Бог даст мне на небе настоящую скрипку?»

Нельзя без глубокого волнения читать этот крошечный рассказ, и невольно хочется повторить вместе с автором, с грустью, но без злобы: «Эх ты, глупый, злой Стах! Кто так детей бьет? И без того он был такой маленький, слабый, всегда еле дышал».

Попытка очертить творчество Сенкевича как замкнутое в узкий круг сословности, догматизма, узкого патриотизма или артистического безразличия никогда не удается: его подвижная художествен-

ная натура, обуреваемая разнородными настроениями и чувствами, постоянно ищущая живой правды и новых путей, не терпит покоя и не уляжется в узкие рамки разного рода условностей и тенденций.

Сенкевич любит природу и людей, он много путешествовал, наблюдал и изучал; это правдивый повествователь, разбрасывающий блестки своего юмора, и тонкий психолог, – но прежде всего он истинный художник с изумительным даром «быстро схватывать выдающиеся черты действительности и мгновенно фиксировать их». Отсюда громадный успех его произведений, даже проникнутых патриотической окраской.

Сенкевич работает не покладая рук, и та торжественность, с какою недавно был отпразднован в Варшаве его 25-летний юбилей, является заслуженною наградою плодотворной литературной деятельности.

В своих исторических романах он воскресил, во славу родного края, частицу его прошлого и получил взамен клочок родной земли. 9 декабря 1900 года, в присутствии многочисленной публики, Сенкевичу вручен был акт на приобретенное для него по подписке имение Обленгорек в Келецкой губернии.

Принимая этот народный дар, он сказал, между прочим, следующее:

«Бог благословил мои труды, не хватало мне одного – земли нашей. Край мой дает мне ее. Где найду слова, столь сильные, как моя благодарность? От глубины сердца воскликну: спасибо краю, и да живет это великое сердце народное, умеющее так чувствовать и награждать!»

Будем и мы благодарны знаменитому писателю братского народа за минуты высокого эстетического наслаждения, навеянного лучшими художественными образами, и пожелаем, чтобы, возвращаясь с блестящей и широкой арены, он чаще заглядывал в те тихие уголки, где живут герои-лилипуты.

Давно уже с упованием ждут они, что прославленный художник, которым гордится родина, вновь осветит и согреет их ярким светом творческого гения.

1901 г.

В. В. ПОДКОЛЬСКИЙ. «ВЕЧЕРОМ. РАССКАЗЫ».

Серенькие, незаметные люди, глушь и сумерки захолустных городишек, скудное прозябание богаделок, девочек в модных мастерских, почтовых чиновников, просвирен – вот маленькая сфера на-

блюдений г. Подкольского, в которой действуют его скромные герои. К недочётам произведений г. Подкольского отнесём анекдотичность, придуманность некоторых рассказов, а также шаблонную и манерную трогательность их окончаний. Но эти недостатки выкупаются положительными достоинствами, из которых, прежде всего, отметим столь редкий у теперешних писателей тихий, незлобный юмор и не менее редкое умение писать о детях без фальшивой слащавости – занятно, коротко и талантливо. Лучшие рассказы, по нашему мнению: «Лишние», «Письмо до востребования», «Пожар», «Не нужна», «Анютка-Пружинка», «По гостям», «Любительница искусств». Скудный мирок, над которым г. Подкольский подымает уголок занавеси, – беден, ограничен, жалок, но автор описывает его с такою тонкою наблюдательностью и освещает его таким тёплым, человеческим участием, что книга его и читается с интересом, и производит именно то впечатление, какого хотел автор. Цена сборника 1 р<убль>. В нём 20 печ<атных> листов, заключающих в себе 13 рассказов.

1902 г.

ВЛАДИМИР ГОЛИКОВ. РАССКАЗЫ.

Книжка г. Голикова, если ее прочитать сразу, производит неровное, смутное, двойственное впечатление. Между тремя-четырьмя очень плохими рассказами вдруг попадается один, положительно художественный и яркий, на котором останавливаешься с удовольствием. Но и в этих немногих рассказах общая архитектура произведения иногда портится ненужными, фальшивыми надстройками в излишнереальном, всегда сильно преувеличенном вкусе. И все-таки, несмотря на некоторую внешнюю пестроту и невыдержанность рассказов г. Голикова, в них чувствуется настоящее, искреннее дарование, размеры которого определить теперь было бы очень затруднительно.

Наиболее цельный и, по-нашему, самый лучший во всей книжке – рассказ «Пассажиры». Содержание его заключается в следующем. Девушку-учительницу, ехавшую по железной дороге в дальнее село, заподозрили в том, что она умышленно оставила в вагоне ребенка, заподозрили на том основании, что некоторые видели, как она, по своей сердечной доброте и по просьбе настоящей матери, возилась в дороге с этим ребенком. И вот на станции праздная, скучающая толпа, движимая отчасти лицемерным, подогретым негодованием, отчасти жаждой скандала, отчасти тайными, грязными побуждениями, окружает девушку и, постепенно озверевая, долго и мучительно издевается над ней.

– «Засвидетельствовать ее, засвидетельствовать правильно!.. Валяй фершала, жандар!

Жандарм колебался одну минуту, потом, видя раздражение и настойчивость публики и растерянность девушки, выдававшую ее виноватость – особенно потому, что она была бедно одета – и, не находя другого выхода в этом трудном обстоятельстве, сделал строгое и бесстрастное лицо и вежливо забормотал: “Пожал-лте в дежурную комнату, барышня!.. к фершалу!”

Девушка, дрожа, рыдая, бессвязным голосом стала уверять, оправдываться, просить, но толпа своими криками, гневными и насмешливыми, злыми и добродушными, заглушала ее рыдания и мольбы.

– Иди, шкуреха, иди, подлая.

– По закону ежели… Ничего против не поделаешь!..

– Не конфузьтесь, барышня, дело самое обыкновенное.

– Не бойсь, не бойсь, девонька… Фершал, он ничего… не обидит… Не бойсь… Ведь только того… Кофтишку маленько расстегнуть.

И через пеструю смесь голосов особенно пронзительно, уничтожающе, обидно и спокойно уверенно просачивался злорадный, торжествующий, сочно вибрирующий голос.

– Не подкидывай невинных младенцев, тварь!.. Соблюдай себя!.. Не забывай Бога!.. Имей совесть!..

Упирающуюся девушку стали толкать к дверям дежурной комнаты» и т. д.

Девушка оказалась, как об этом заявил через несколько минут фельдшер, «вполне девицей», и этим исчерпывается незатейливая фабула рассказа, если не считать благородного негодования по этому поводу студента Иванова. Этот студент, занимающий в рассказе самое видно место (так как через него автор передает свои наблюдения) – восторженный, глуповатый, наивный и жалкий человечек – единственная фигура, которая не задалась автору. Зато второстепенные лица в рассказе: толстый, румяный и лысый купец, маленький, добродушный мужиченко, развязный гимназист, самоуверенная, солидная и, по-видимому, добродетельная женщина – предводительница осатаневшей толпы, жандарм, фельдшер, – все они схвачены очень живо и нарисованы свежо.

Недурен рассказ «Неудобный родственник», хотя страшно стар по сюжету. Сколько уж раз приезжали к благонамеренным, чистеньким чиновникам забулдыги-братья! Нового здесь только одно: в отсутствие брата чиновника, другой, «неудобный» брат приходит в кухню и рассказами о своей безалаберной жизни, трогает простые, бесхитростные сердца пожилой кухарки и хо-

рошенькой горничной. Не лишены интереса рассказы: «Воспоминание» (с несколько произвольной психологией деревенского идиота) и «Оленька Бархатова».

В общем настроение у г. Голикова, по преимуществу, пессимистическое, и выбирает он краски густые, темно-коричневые, но под этим мрачным фоном угадывается теплое, сострадательное сердце. Можно было бы посоветовать г. Голикову остерегаться таких сюжетов, как «Кошмар», «Ожесточенный», «Дилехтор» и «Золото в грязи»: юмор, аллегория и крайний реализм – не его сфера. Особенно опасен «Ожесточенный». Такие рискованные вещи, как насилие босяка над курсисткой, надо или вовсе не писать, или сметь делать это только с громадным талантом.

Язык у г. Голикова свой собственный, и это, я думаю, большой плюс для начинающего автора. Но надо избегать неуклюжего построения фразы с нагроможденными друг на друга придаточными предложениями, вроде хотя бы тех двух первых образцов, которыми начинается весь сборник. Выходит и грубо, и запутанно, и мало понятно.

1904 г.

МИХАИЛ РАДЛОВ. «ЖИВЫЕ ФОТОГРАФИИ. РАССКАЗЫ».

Почему г. Радлов озаглавил сборник своих рассказов «Живые фотографии» – неизвестно. Если уж давать книжке особое заглавие, то надо, чтобы оно, по крайней мере, исчерпывало ее содержание. А сделать это г. Радлову было бы очень легко: действие всех его рассказов происходит на большой мануфактурной фабрике, около ткацких станков. Исключение составляет только первый рассказ – «Кузнец Тихон Ермолаевич» – в нём автор переносит читателя в заводскую кузницу, – да и там жена кузнеца Михайлы больна от того, что ее ударило по животу челноком от фабричного станка.

Пишет г. Радлов довольно серо, но фабричный быт знает очень хорошо. Нет сомнения, что он часто и близко видел всех этих таскальщиков, котлочистов, фабричных хожалых, ткачих и ткачей, – маленьких, незаметных тружеников, которых узкая профессия так обезличивает и делает точно составными частями огромного бездушного механизма.

Цена книжки чрезвычайно низкая. Думаем, что многие рассказы из нее пригодились бы для дешёвых народных изданий.

1904 г.

ПЕТР ПИЛЬСКИЙ. РАССКАЗЫ. 1907 г.

Автор предпосылает томику своих рассказов – очевидно единственному и последнему – небольшое предисловие, содержащее краткий – в 15 строк – исторический обзор деятельности Петра Пильского как беллетриста. Оказывается, все рассказы написаны в период 1902-1904 годов, в эпоху (да, да, в эпоху!) искания автором смысла жизни и смерти. После этого в Петре Пильском, по его собственному признанию, художник умер, и книгу свою он считает надгробным памятником на могиле былого беллетриста. В конце предисловия читателю сообщается, что большинство рассказов написано в марте. «Сам не знаю почему! – прибавляет Петр Пильский, удивленно пожимая плечами. И мы тоже, если признаться, откровенно не знаем. Но сведение это, несомненно, имеет громадную ценность для потомства. Хорошо было бы еще узнать, когда именно П. Пильский писал свои рассказы (где он их печатал, мы знаем с точностью из предисловия – в пяти изданиях): по утрам или ночью, и какие перья употреблял при писании, и надевал ли при этом рабочую блузу или австрийскую желтую тужурку, или оставался в сюртуке, и писал ли прямо набело или прибегал к помощи ремингтонной барышни?

Словом… «Велит Гапке принести чернильницу и сам, собственною рукою, сделает надпись над бумажкою с семенами: “Сия дыня съедена такого-то числа”. Если при этом был какой-нибудь гость, то “участвовал такой-то”».

И так – беллетрист Петр Пильский, царство ему небесное, тихо скончался после непродолжительной, но острой болезни. О покойниках – или ничего или хорошее. О Петре Пильском – беллетристе – можно сказать много хорошего.

Правда, по одному единственному томику трудно судить – имеем ли мы дело с настоящим художественным талантом, или здесь блеснул мимоходом умный, всесторонне одаренный, бойкий, легкий, чрезвычайно много читавший человек – один из тех, которым «Бог дал все таланты, кроме таланта» – уж не знаю по чьему выражению. Если первое – приходится пожалеть о сошедшем со сцены художнике, если второе – можно порадоваться за Петра Пильского – художественного критика... Ибо в русской литературе есть критики-враги, есть критики-паразиты, есть критики, которые всегда, как Чеховский телеграфист, «хочут показать свою образованность», все равно у места это или не у места, есть ужасное отродье пишущего человечества – критики-завистники, со вспухшей печенью, есть бездарные критики, которые также легко берутся за критику, как последние ученики идут в вольноопределяющиеся – но очень мало

критиков, знающих по личному опыту, как мучительна сладость творчества, и какие жестокие раны причиняют художнику грубые, небрежные и злые руки.

Жуткое впечатление производит книга Петра Пильскаго, если ее прочитать в один присест, как это сделал я. Живут в ней и умирают на фоне затхлых уездных городишек серенькие, маленькие, плоские, никому, даже себе, не нужные люди. Не знают они сильных желаний и не умеют желать, нет в них ни воли, ни радости, ни гордости, ни свободы, а сознание претворяется у них в тихий, недоумевающий ужас перед жизнью, в робкую покорность смерти, в рабскую подлую мещанскую злобу.

Половина рассказов оканчивается самоубийством или убийством. Вешается молчаливый пономарь Егор Данилов, стреляется купеческий сын от безнадежной любви к проезжей пианистке, убивает мужа своей любовницы Ракитин, стреляется скучный, тяжелый технолог Дурнов, стреляется заеденный неудачной жизнью и отравленный плохо переведенной чужой философией Нарезов, душит своего ребенка, прижитого от любовника, Сашенька, жена акцизного надзирателя. Но даже самая смерть каждого из них так же буднична и жалка, как гибель червяка, раздавленного колесом телеги. Обо всем этом Петр Пильский рассказывает чрезвычайно коротко, объективно до сухости и упрощает форму до того, что она совершенно не передается пересказу. Оттого-то внутреннее построение его рассказов и производит такое сильное впечатление. Что касается внешних форм, то они не безупречны. Иногда чувствуется натянутость и напыщенность в погоне за изысканным выражением или новым эпитетом. Среди описаний природы, сделанных мягкой, верной, грустной кистью, вдруг прорвется риторика. Например, картина моря в рассказе «Самое сильное», кстати, так похожая на море из «Мальвы». Эта похожесть на других авторов есть-таки у Петра Пильского. Иногда он напоминает Чехова («Подруги» и «У фабричной трубы»), еще чаще Андреева. «Жил был на свете человек» – диктует Нарезов своему ученику и с этим словом стреляется. (Жил был дьякон)...

«И как большое голодное животное, поднимала свою безглазую голову ночь, похожая на слепую волчицу – такая она была подлая, злая и жалкая». И тому подобное. Но кто же, выступая на путь художественного творчества, не повторял впервые и невольно чужих мотивов, красок и языка? Отбросив же эти недочеты, надо сказать, что форма у Петра Пильского живая, гибкая, очень послушная ему и блещущая богатым выбором слов.

Затем… остается только сказать аминь над могилой покойного беллетриста и пожелать успеха его книге, кстати, изданной очень

прилично, но немножко дорогой. Буквы на обложке аляповаты и сделаны наспех, а заставка хотя и скомкана – недурна.

1907 г.

С.С. КОНДУРУШКИН. «СИРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ»

Рассказы занимательны благодаря необычности описываемой среды и читаются легко благодаря хорошему, чистому вполне литературному языку, лишенному однако собственного, личного тембра. В других рассказах, при их несомненных достоинствах, чувствуется невольно какой-то внутренний холодок. Слишком мало в них солнца, зноя, раскаленного песка и камня, не хватает экзотических красок, звуков, фигур, жестов. Душа Востока не горит в них, и если в таких, например, рассказах, как «Ко-ко-ко», «Горе Хэлиля» и «Два минарета», заменить сирийские имена русскими или французскими, то простодушный читатель такой перемены вовсе и не заметит. С. С. Кондурушкин хорошо знаком с географией и топографией описываемых местностей, но пейзаж ему не дается. Отметим в числе старомодных недостатков весьма длинные вступления, которые делает автор перед каждым почти рассказом, прежде чем приступить к сути. Также режут глаза и вкус нередкие обращения автора к читателю. Как курьез, обращает на себя внимание описание Средиземного моря, построенное ученическим способом, по плану гоголевского Днепра.

Е. Лансере очень мило сделал обложку в сирийском стиле, но рисунки в тексте гораздо ниже изящного и тонкого таланта этого художника.

1908 г.

ВИЛЬЕ ДЕ ЛИЛЬ-АДАН. «ЖЕСТОКИЕ РАССКАЗЫ»

Прежде всего бросается в глаза обложка, сделанная с большим изяществом известным художником Е. Лансере: на серовато-синем фоне вышеприведенное заглавие оттиснуто золотыми буквами старинного, благородного стиля, строчки разделены разрядками густо-зеленого цвета, общее впечатление простоты и тонкого вкуса. Я нарочно останавливаюсь на этих мелочах. Мы, русские читатели в массе, не уважаем книгу и не дорожим ею. Мы читаем спустя рукава и на даровщинку, мы зачитываем чужие книги, вырываем страницы, делаем на них углы и пятна, а на полях нелепые заметки. Может быть, хоть красивая внешность книги заставит более ее

ценить. Впрочем, есть и дешевое издание «Жестоких рассказов», по 20 коп<еек>, но я его не видел. Рассказы открываются кратким и сухим, но обстоятельным предисловием Валерия Брюсова с биографией Вилье де Лиль-Адана на двух страницах и с выдержками из интересной статьи о нем Реми де Гурмона. Переведены рассказы г-жой Брониславой Рунт и, если не ошибаюсь, выпущены впервые отдельным изданием на русском языке. В<илье> де Лиль-Адан, столь мало знакомый нашей публике, – один из самых утонченных и фантастических писателей Франции. Его творчество аристократично: оно волнует своей неуловимой меланхоличной прелестью, капризной своеобразностью, тонкой иронией и причудливой изысканностью тем и несравненной гибкостью стиля. Темная, кровавая, освещенная багровыми огнями костров и пожаров эпоха средних веков наиболее привлекает внимание автора и дает ему возможность расточительно развертывать свою удивительную эрудицию. Если «Жестокие рассказы» напоминают кого-нибудь – то, конечно, Эдгара По: обоих авторов вдохновляет чудесное, сверхъестественное и ужасное. Смерть, общение с умершими, самоубийство, страшный бич восточной проказы, грабежи в древних гробницах, смертная казнь, любовь, соединенная с жестокостью, – вот центральные эпизоды в рассказах Вилье де Лиль Адана. Перевод не безукоризнен. И вот тому примеры. Стр. 73: «Мы похожи на те могучие восточные кристаллы, в которых спит чистая эссенция мертвых роз...» и т. д. Следует, конечно, подразумевать хрустальные сосуды. Там же: «Единой слезы этой эссенции, хранимой в большой драгоценной атмосфере...» Следует: «амфоре». Там же: «Но мы нисколько не похожи на те флаконы, наполненные банальными духами... жалкие и медные склянки которых...» Местоимение «те» здесь совершенно излишне и только путает читателя, потому что раньше шла речь лишь о драгоценных флаконах и прекрасных духах.

Надо чувствовать дух обоих языков и понимать, что французские ласкательные слова, переведенные в виде «милашки» и «душки», приобретают оттенок гостинодворской пошлости на русском языке.

1908 г.

ПОЭТ АРЕНЫ

О цирке, манеже, гонках и скачках, об атлетах, клоунах, жокеях, боксерах, борцах, жонглерах и тореадорах – писалось очень много пустяков беллетристами, видавшими этот своеобразный мир «крови и песка» лишь из кресел третьего ряда. Настоящие же произведения

этого рода можно пересчитать по пальцам, и, заметьте, все они опираются на глубокое изучение быта: «Братья Земгано», сочинение одного из бр<атьев> Гонкур –Эдмонда, посвященное памяти покойного брата Жюля; впереди этого романа поставлено несколько строк благодарности автора известному сальтимбанку Hanlon Lis, ориентировавшему Гонкур за кулисами цирка... «Кровь и песок» – роман из жизни тореадоров; автор его, талантливый испанский писатель Бланко Ибаньес, весь проникнут живыми впечатлениями, переживаниями, и в нем ясно чувствуется непосредственное, личное знакомство со средою. Прибавим сюда еще «Кармен» Проспера Мериме, чудесное описание конского завода и рысистых бегов у Эртеля, ужасающий по реальности рассказ о боксе Конан-Дойля под заглавием «Мастер из Кроксвилля»... вот, кажется, и все, если я чего-нибудь не забыл.

Брешко-Брешковский, конечно, меньше калибром, но то, что он пишет о людях «крови и песка», носит на себе такую подлинную печать близкого знакомства с бытом и такого пристального изучения, что романы его приобретают глубокое впечатление достоверности. Благодаря этому, «Гладиаторы» и «Чемпион мира» – повести из жизни цирковых борцов – читаются с таким неослабным интересом, что от них никак не оторвешься: читаешь их и в постели, и за обедом, и за чаем. Именно, в них и интересна не показная, виденная всеми сценическая сторона, а та закулисная, интимная, собственная жизнь борцов, о которой читатель не имеет никакого понятия. Но надо сказать (не в обиду г. Брешко-Брешковскому), что каждый раз, когда он описывает то, что доступно наблюдению каждого зрителя, т.е. самую борьбу, он неизбежно, неминуемо впадает в шаблон. «Атласистый хищник», «каскад головокружительных приемов», «серебристая пантера», «искрометные броски» и т. д. Право, можно подумать, что в этих местах он берет взаймы перо у спортивного рецензента «Бирж<евых> Вед<омостей>» г. Фраскуэлло.

Тот же недостаток и в его этюдах о великолепных испанских матадорах. В картинах самого боя между людьми и быком – пропасть условности и пустых слов, но черты из обыкновенной жизни этих необыкновенных людей полны любовного внимания, меткости глаза и какой-то новизны наблюдения («Роман тореадора», «Бой быков»). Интересно еще одно замечание. В то время как другие писатели (кроме Б. Ибаньеса), касаясь боя быков, считают своим долгом высказывать фальшивое отвращение и отрицательный ужас перед кровавым зрелищем, г. Брешко-Брешковский откровенно радуется краскам, солнцу, народной толпе, красоте женщин, неистовству зрителей, бешенству быка и безумно-холодной отваге людей. Это в нем искренно, а стало быть, и правдиво, а стало быть, и хорошо.

Лет пять тому назад я писал рецензии о романах г. Брешко-Брешковского, в которых фигурировали обольстительные художники, вулканические женщины, адские страсти и потомки Мазепы. Писал жестоко, и если не справедливо, то только чуть-чуть. Теперь мне приятно засвидетельствовать, что постоянный, упорный труд, внимательное изучение предмета и любовь к нему помогли Брешку-Брешковскому найти самого себя и сделаться интересным и увлекательным писателем.

Конечно, все это писано не для тех, кто считает позорным красоту, ловкость и смелость человеческого тела.

1911 г.

Е. А. КОЛТОНОВСКАЯ. «ЖЕНСКИЕ СИЛУЭТЫ»

«Женские силуэты» – таково заманчивое название книги г-жи Колтоновской, изданной к<нигоиздательст>вом «Просвещение». Откроешь оглавление и видишь все знакомые имена, часто интимно-любимые: Софья Ковалевская, Э. Оржешко, В. Комиссаржевская, Н. Хвощинская, Дузе, Лагерлеф... Целых пятнадцать характеристик. Пишет женщина о женщинах, о больших женщинах, с творческой душой, с яркой индивидуальностью, о женщинах, в которых с особой отчетливостью и яркостью сказывается то «истинно-женское», что делает их столь отличными по духовному содержанию от представителей другого пола, одновременно близкими и далекими этим последним, чуждыми и заманчивыми. Это «истинно-женское», воспитанное долгими историческими тысячелетиями, связывает между собою женщин даже с яркой индивидуальностью, даже женщин-творцов, о которых говорит в своей книге г-жа Колтоновская, и, разумеется, отражается и в их творениях. Найти это общее, уловить и указать на то повторное в психике, в творчестве, что роднит даже этих столь различных по внешнему облику и роду «работы» женщин, вот чего невольно ждет читатель книги «женских силуэтов» знакомых, женских имен. Что-то «свое» привнесло большинство этих писательниц и артисток, иначе не признало бы их человечество, не сопричислило бы к лику творцов... В игре ли, в писании ли – они, эти женщины, вскрывали человечеству ту тайну своего женского «я», которая остается закрытой книгой даже для величайших гениев-мужчин, выразителей другого мировосприятия... В предисловии к своей книге г-жа Колтоновская как будто ставит себе подобную или близкую задачу и, хотя и отрицает за женщиной творчество, считая его элементом привносимым «в ее природу из чужой – мужской», тем не менее, соглашается, что женщина все же может иметь «са-

мобытную, ярко-очерченную физиономию». Положение, не вполне гармонирующее с псевдо-научными рассуждениями автора о двух мировых началах – «пассивном и творческом», о том, что женщина является лишь сплошным отражением мужчины и т. д. Тем не менее, признание г-жи Колтоновской, что «общение с избранными женскими индивидуальностями» разбудило в ней «затаенное, но острое любопытство к специально-женской проблеме», заставляет ждать от книги подхода именно к тайнам женского «я», роднящим между собою дефилирующие в книге женские силуэты. Обобщить типично женское, проанализировать его связь с социально бытовыми явлениями, указать на то, что женщины дали «своего», женского, и что являлось лишь заимствованием, подражанием мужским образцам – не такова ли задача книги, судя по предисловию?

Однако, чем дальше листаешь «Женские силуэты», тем очевиднее становится, что имеешь перед собою лишь случайный сборник статей, появившихся в разное время, при различных обстоятельствах, но всегда «по поводу»: к юбилею, к гастролям, к выходу книги... Скользящий, легкий слог, но столь же скользящие по поверхности мысли, замечания. Каждый силуэт читается легко, но образа, женского образа, женской личности – творца, какой являются Дузэ, Хвощинская, Лагерлеф, за спешными штрихами работы «по поводу», не ощущаешь. И те биографические сведения, какие попутно сообщает автор, не оживляют «силуэт», не делают его ближе, интимнее, роднее...

Лучше, теплее написана глава о С. Ковалевской. Или этот образ женщины, коснувшейся высот науки и все же оставшейся женщиной, со всеми свойствами ее характеризующими, овеян таким ореолом тонкой, духовной красоты, что мы научаемся читать о ней и между строк? Главы о Дузэ и Комиссаржевской особенно слабы – это не более, как театральная рецензия. Дополнительная часть – об Ибсене – страдает тем же недостатком, как и вся книга, – отсутствием сколько-нибудь углубленного анализа. Впрочем, читателей, довольствующихся внешними фактами и оценкой, книга, может быть, и удовлетворит. Приложено к ней 16 портретов женщин с именем.

1912 г.

С. Я. СОЛОМИН

У широкой русской публики слабое и какое-то странное противоречивое представление о своих писателях.

С одной стороны, мы гордимся русской литературой, чтим и мучаем своим вниманием ее представителей, а с другой стороны,

нам ставят чуть ли не в кровную обиду, если писатель умирает не на чердаке или не в бесплатной больнице. Разве не укоряли мы Толстого его усадьбой, Некрасова – картами, Пушкина – камер-юнкерством, Гончарова – чиновничеством, Чехова – дачей в Ялте, Андреева – моторной лодкой, Дорошевича – автомобилем, Бунина – академией?!..

Но надо сказать правду: все – от удачи счастливцев, избранников по роду и исполнительному таланту. В громадном же большинстве наш писатель влачил и продолжает влачить зыбкое и тяжелое положение злосчастной русской богемы. Здесь и необеспеченное положение, неуменье налаживать свою жизнь, изнуряющая ежедневная работа ради куска хлеба, равнодушие к завтрашнему дню, широкое гостеприимство, невозможность отказать в просьбе и многое другое.

Типичным представителем этой богемы был и остался до конца своих дней покойный С. Соломин (Сергей Яковлевич Стечькин).

Этот хмурый, высокий, сутуловатый, рыжекудрый человек, с всегда поникшей головой, с мрачным взглядом исподлобья отличался необыкновенной трудоспособностью, был ценим редакциями газет, любим публикой и… скончался совершенным бедняком. Он писал злободневные фельетоны, передовые статьи, рассказы, романы, даже специальные сочинения по военной истории. В последнее время, после двадцатилетней работы, его властно потянуло к научно-фантастической повести, и он с энергией и наслаждением отдался этому влечению.

Предлагаемая вниманию читателей книга почти вся состоит из произведений этого жанра. Несомненно, на них отпечаталось влияние Г. Ж. Уэльса, но надо помнить, что подчиниться влиянию большого ума и таланта не значит рабски подражать ему.

Повсюду – в живописи, музыке, литературе, в сценическом искусстве мы видим, что ученик некоторое время идет по следам учителя и постепенно находит самого себя, до тех пор, пока не откроет своей собственной тропинки, по которой он пойдет один.

Очень жаль, что смерть безжалостно оборвала жизнь нашего друга. В его последних романах: «Под стеклянным колпаком», «Необычайное приключение Оскара Дайбна и Кондратия Невеселова», в прелестных рассказах «Освобожденные звери», «Завтра», «Чертов кузнец», <неразб.> и еще много других, – ясно сказывается большой ум, ученость, громадное знание жизни, наблюдательность, широкая эрудиция и почти нерусская увлекательность сюжета.

1914 г.

ПРОКАЗЛИВЫЙ ЮМОР.
О КНИГЕ И. С. РУДЕНКОВА «РАССКАЗЫ И СЦЕНКИ»

В наше время люди почти разучились смеяться. Если и остался юмор, то это юмор висельников, жестокая сатира, хлесткая пародия или мрачный анекдот из пресловутой «черты оседлости». И, если я не ошибаюсь, последним веселым и беззаботным шутником был Марк Твен, так трогательно родственный с Диккенсом. А Джером К. Джером уже сплошная клоунада с претензиями на карманную, приличную философию. Нам вовсе не смешон покойный великий Чехов: помещик купается в реке в присутствии чопорной англичанки… ловят налима… мужик отвинчивает железнодорожную гайку, нужную ему как рыболовное грузило… сидят и мрачно дуют водку смотритель тюрьмы с акцизным надзирателем… и земский врач, которого, больного тифом, вызывают спешно для прекращения дамской истерики.

Поистине ужасен Г. И. Успенский, этот до сих пор неоцененный человек с его правдой о нравах Растеряевой улицы. И даже в горбуновских рассказах о портном, летающем на аэростате, о городовом, который заведует затмением солнца, и об отцах диаконах – звучит печаль.

В маленькой книжке И. С. Руденкова есть молодая веселая проказливость. Терпеливая наблюдательность и большое уважение к меткому слову. Перед вами пройдут и урок хорошего тона в городе Балте, и заезжий фокусник, и камера мирового судьи, и школа танцев, и объяснение зверей, и Паноптикум.

Беззлобная шутка не ранит.

1915 г.

ПРИВЕТ
(Приветствие к 25-летию творческой деятельности Х. Н. Бялика)

Прошу Вас передать Х. Н. Бялику мой искренний, дружеский привет и поздравления. Я не буду говорить о мудрости, глубине, тонкости и изяществе его прекрасных произведений. Это сделает история. Я только скажу, что истинные творцы искусства протягивают навстречу друг другу руки через бездны человеческой злобы, недоверия, жадности, подлости и лжи. И в этом их заслуга, которой не измерить таким слабым средством, как слово.

1916 г.

АЛЕКСАНДР ДЮМА

Критико-биографический очерк

Дюма – человек бурных излияний. Его политические убеждения, так же как его дружба и как его ненависть (когда он ее чувствует), не обходятся у него без топотни и крика. Нет ничего забавнее, как читать в его «Мемуарах» страницы, посвященные июльским дням (30 г.): «Произвели революцию те, которых я видел в деле и которые видели меня на баррикадах». Дюма на всех перекрестках: при захвате артиллерийского музея, в атаке Лувра – везде его узнают по его султану! Здесь уже чувствуются доспехи Франциска I и аркебуз Карла IX, потому что его романтизм прошедшего нашел свою среду. Вперед! Лицом к пулям, к митральезам. «Пушечный выстрел – прямо в меня!» Сколько веселья, пыла, чванства, какое игривое смешение вызова и гасконады! Мишле, говоря об императрице Марии Терезе, вскричал: «У нее утроба полна тиранами!» Как же в словах и жестах этого великолепного Дюма, этого разрушителя баррикад, не заметить Д'Артаньяна, де Коллюна и Портоса, которым он полон. И заметьте хорошенько, что это не только дон Родриго, но так же и Гаргантюа и Грандузье. Та же эпопея, та же лира.

«Я умирал голода и особенно от жажды. Мне отыскали бутылку бордосского вина, которую я опустошил почти одним глотком. Мне принесли огромную миску шоколаду, и я его проглотил».

Таков Дюма, смотрящий, как и большинство романтиков, на жизнь через призму театра. Сейчас мы увидим его едущим в Италию к Красным Рубашкам завоевывать Неаполь и играющим около Гарибальди роль мухи на кибитке.

Знаменитый кондотьер, прибыв в Неаполь, назначил Дюма сюринтендантом изящных искусств и устроил его на средства муниципалитета в Киатамоне, в прелестном palazzeto на берегу моря. Однако согласная гармония скоро распалась. Дюма становился слишком неудобным. Он вызывал публичные манифесты. Он врывался в двери военного света, чтобы выразить Гарибальди народную волю. «Народ волнуется!» – кричал он, просовывая в полуотворенную дверь свое большое, доброе, взволнованное лицо. На что командир тысячи отвечал резко: «Пусть волнуется!» – иными словами: «Идите к дьяволу!»

Впрочем, – размышляет Блэз де Бюри, – разве в настоящее время не все романтические писатели лезут в общественные дела и, надо признаться, без особенного блеска…

…Кто-то назвал его человеком XVI столетия. В этом определении есть своеобразная меткость. Александр Дюма совсем не укладывается в созданные ему обычные рамки. Он скорее был сродни просвещенным кондотьерам времени Возрождения.

* * *

Дюма писал много и очень скоро. Первую книжку романа «Кавалер Красного Замка» он написал на пари в пятьсот восемь часов, включая сюда еду, питье и отдых, в общем около трех печатных листов. Пьеса «Наполеон Бонапарт» в 8-ми действиях и 24-х картинах, содержащая в общей сложности 900 строк, была им, по настоянию директора театра «Одеон» г. Ареля, написана всего за 8 дней. Часто увлеченный работаю, он целый день не выходил из кабинета. Тогда завтрак и обед ему накрывали на маленьком передвижном столике, возле письменного стола, но нередко уносили их нетронутыми. Писал он без помарок, строгими линиями, чистым, ясным и красивым почерком.

Слог его быстр, легок, изворотлив и подвижен. Повсюду Дюма отдает предпочтение живому диалогу с короткими вопросами и ответами. Побочным обстоятельствам и второстепенным сведениями о своих героях он не дает много места, предпочитая выяснять их двумя-тремя <фразами> в разговоре. У него есть промахи, вроде грубостей, повторений, тусклых мест, сделанных без подъема, неловких переходов и т.д. Но всматриваться тщательно в его стиль так же бесполезно и ненужно, как разглядывать вблизи театральные декорации, которые кажутся крикливой мазней на расстоянии аршина и образуют волшебную картину с другого конца зрительного зала.

Он писал свободным тоном, без затруднений, не углубляясь, довольствуясь беглым чтением, в путешествии – одним впечатлением, что не мешает, когда он не слышит, знать и тонкость своего ремесла и говорить о стиле других авторов с глубоким пониманием…

* * *

Строгий Брандес так говорит о Дюма: «Он наполнял сцену, газеты и книжные лавки своими произведениями. Печатные машины кряхтели и стонали, чтобы только угнаться за его быстрым пером Следует только жалеть о том, что мальчишеское легкомыслие помешало ему пройти хорошую школу».

А Пелисье важно замечает: «Если бы Дюма не разбрасывал так щедро своих богатых сил, он достиг бы звания одного из величайших писателей своего века».

Но мы скромно думаем, что если какая-нибудь школа и сумела наложить узду на творчество Дюма, то она только изуродовала бы его прекрасный талант. Что же касается до глубокомысленного мнения Пелисье, то мы хотели бы спросить: где же, наконец, в писательской иерархии эти пограничные мысли, отделяющие великолепного от великого, великого от талантливого и талантливого писателя от того, которого просто приятно почитать на ночь?

Кто берет на себя смелость учреждать эту шкалу ненужного местничества? И кто посмеет упрекнуть человека, если он чистосердечно признается, что Эдгар По, Киплинг и Мопассан ему ближе и понятнее, чем Гомер, Гете и Данте?

Дюма иногда говорил: «Я насилую историю». И правда, ему случилось бесцеремонно обращаться с историческими фактами, пригоняя их к развивающемуся плану романа. Но он никогда не искажал духа истории и не отступал от правды в изображении исторических лиц. Его Карл IX, Генрих III, Людовик XIII, Людовик XIV, Людовик XV, Людовик XVI, Катерина Медичи, Анна Австрийская, Мария Антуанетта, Ришелье и Мазарини, не только верны истории, но каким-то чудом, истинно гениальным проникновением, их образы угаданы и закреплены еще глубже, еще живее и человечнее, чем доступно сухой науке, и никакой учебник не запечатлеет их так резко в памяти, как его романы. Дамы XVI столетия действительно имели жестокое и противное для нас обыкновение сохранять головы и сердца своих возлюбленных, погибших за них на дуэли или на эшафоте; кавалер де ла Молль, действительно, умер на плахе, частью из любви к Маргарите Валуа, частью жертвой придворной интриги; Шарль де Бюсси, действительно, оборонялся против двенадцати наемных убийц, выбросился из окна, повис телом на остриях садовой решетки и был, действительно, пристрелен из аркебуза по приказанию завистливого и ревнивого Франсуа Анжуйского. Но когда вы читаете скупую историческую хронику, преображенную в пылком воображении Дюма, когда вы видите давно ушедших людей <…>

<…> А сознаться в этом запретном грехе они до сих пор не решились.

И потому-то очень жалко, что в русской литературе до сих пор не появилось настоящей, умной, смелой и справедливой книги об этом щедром, веселом, героическом и великом Дюма.

22 ноября 1918 г.

П. Н. КРАСНОВ. «ОТ ДВУГЛАВОГО ОРЛА К КРАСНОМУ ЗНАМЕНИ. 1894-1921. Роман в 8 частях. Том 1»

Две части заняли 550 страниц, правда, не очень убористого шрифта; из этого можно заключить, что весь роман выйдет размером мало-мало меньше «Войны и мира» – задача огромная. Начавшись с холостого кутежа у офицера гвардейской кавалерии, в первые годы царствования Николая II, роман ныне дотянулся до дня объявления

войны с Германией. Без сомнения, дальше развернутся в нем: война, революция, большевистское засилье, первые попытки борьбы с ним и, может быть, картины из эпохи добровольческих войн.

У П. Н. Краснова есть о чем сказать. Видел и испытал он за эти времена так много страшного и величественного, уродливого и прекрасного, что хватило бы на десяток средних, заурядных жизней. И надо признать, судя по первому тому, что все, близко знакомое автору, лично им наблюденное и пережитое, он умеет передавать ярко и выпукло, с настоящим мастерством, с особенно широким подъемом в массовых сценах, с благородным пафосом. Это все плюсы; о них под конец, для загладки. Начнем с минусов произведения.

Местами оно написано, как выражался Чехов, «по старинке», в формах и тонах, давно забытых нынешней русской литературой, которая, порой в ущерб вескости глубины и содержательности рассказа, дошла, с легкой руки того же Чехова, до замечательной кропотливой выразительности в технике.

Странное впечатление архаизма производит пролог к роману («Вместо предисловия»). Молодой солдат узнает в едущем в товарном вагоне (зимой 1918 года) седоусом барине известного генерала Саблина и выдает его толпе красноармейцев. Солдат этот, между прочим, чрезвычайно похож лицом на самого генерала, те же черты, та же породистость. Впоследствии в романе мы увидим, что у Саблина, действительно, есть сын, дитя незаконной мимолетной любви. Но пролог кончается обрывисто. Генерал бросился в толпу с револьвером в руках... Далее строка многоточия, затем автор предлагает отвернуть несколько листов пережитого прошлого и разобраться в причинах: почему одна часть русской армии стала в такое непримиримое отношение к другой. Словом, пролог в духе романов XIX столетия.

Не задался П. Н. Краснову социалист Коржиков – очевидно, нынешние социалисты остались вне поля зрения автора; трафаретны оба начальные любовные эпизоды его героя. Не так остро, как можно было бы это сделать, описан юный кружок либеральной генеральши Мартовой (сколько таких кружков мы видели в свое время). Мысли молодого Саблина о судьбе России не отличаются ни глубиной, ни оригинальностью: честолюбивый и умный Витте вряд ли когда-нибудь находился под влиянием западных масонов, и евреи в своей средней массе вовсе не радовались объявлению войны, а наоборот, ужасались за участь своих призывных юношей, из которых многие полегли с честью на поле брани; могла радоваться лишь небольшая часть интернациональных дельцов, которые рассчитывали нажиться на поставках, спекуляциях и валюте и, действительно, нажились, как мы это видим...

Словом, «мир» выходит пока у П. Н. Краснова слабее «войны». Но в военных сценах он проявляет себя настоящим художником, находит подобающие краски, обнаруживая и правдивость, и силу, и выразительность языка. Очень хорошо написаны: высочайший парад в Красном Селе, караул в Зимнем дворце, вечерняя зоря с церемонией, казачья джигитовка, маневры, большой бал во дворце... Пусть строгий читатель, верный хранитель заветов и завоеваний революции, не особенно сурово судит корнета Саблина за те чувства восторга, умиления и преданности, которые его охватывают при появлении государя на великолепном смотру. Те же чувства в свое время испытали и чудесно передали их и непреклонный Толстой, и кристально-чистый Гаршин. Ладно уже то, что П. Н. Краснов написал после них свои собственные слова, и когда читаешь их, то поневоле думаешь: какая громадная силища и какая прочная спайка была в этой русской армии до тех пор, пока звания разлагателя и дезертира не сделались почетными, и пока не были перебиты на войне, в чрезвычайках и в гражданской междоусобице почти все кадровые офицеры, эти милые Степочки Пики, корнеты Саблины, Ротбеки и другие...

Очень ценно и редко то, что своего героя, Саблина, за которым мы будем следить еще на продолжении трех толстых томов и в сознании которого преломляются все перипетии романа, автор сумел, в противность почти всем русским романистам, сделать живым лицом, с настоящей кровью и со своими человеческими недостатками. Когда солдат Любавин (он же социалист-разлагатель), брат обольщенной Саблиным девушки, пришел к нему ночью, обругал непотребными словами, выстрелил в него и промахнулся, а потом убежал от офицера и даже совсем из полка в гущу революции, Саблин терзается, но молчит; считает себя и мундир опозоренными, но не стреляется и из полка не выходит; от знакомства со своей любовницей отказывается и очень рад, когда офицеры покрывают подозрительные пятна на его репутации согласным молчанием.

С обеими своими любовницами он расстается весьма легко и эгоистично, хотя обе привязались к нему всей душой. Но одна из них – кокотка, другая, дочь простого рабочего – курсистка и социалистка (для которой он – «мой принц»), и обе, конечно, не партия блестящему гвардейскому офицеру. Тем более, для него уже сама собой строится в знакомых кругах выгодная во всех смыслах женитьба на светской, богатой и красивой девушке из старого курляндского рода (обрисованной в романе очень ясно и жизненно). И Саблин поразительно быстро делает отличную карьеру. Перед германской войной он уже полковник и флигель-адъютант, дежурящий при государе. В мягких и правдивых тонах показывается в романе покойный

император – добрый, слабовольный, беспомощный и всегда жутко одинокий, знающий грустную цену придворным искательствам, видящий вокруг себя сети интриг, лжи, взаимного подсиживания и не умеющий от них освободиться. Какой печальной иронией звучит в разговоре с Саблиным его намек на сцену Гамлета с Розенкранцем («это облако похоже на верблюда»), намек, кстати сказать, беззлобно направленный отчасти по адресу самого Саблина.

Саблин пламенно любит родину и беззаветно предан государю, и гордится честью служить в рядах русской армии. Но уже «не все благополучно в нашем королевстве». От его незаурядного взора не укрываются трещины в громадном здании. Ходынка, несчастная японская война (на нее Саблин не попал; вызвался было охотником, но жена не позволила; ходатайствовала тайно перед императрицей о другом назначении), халатность в управлении государством и армией, революция 1905 года – все это на глазах Саблина расшатывает старые устои великой страны.

Здесь П. Н. Краснов говорит много прямой и жесткой правды, за что, надо сказать, его роман уже успел вызвать негодование в некоторых сферах. Нельзя обличать даже и задним числом неприглядные язвы.

На мгновение в последних страницах тома мелькает чудовищная фигура Распутина. Грозовая атмосфера сгустилась в русском обществе, в армии и при дворе. Но вот объявление войны с Германией и могучий подъем народного чувства...

«Час расплаты настал. Все получило смысл и значение». Здесь и конец 1-го тома, который, несмотря на некоторые недочеты, читается с самым живым интересом.

1921 г.

ПЕТР АЛЕКСАНДРОВ. СНЫ.

Маленькая книжка, написанная очень странно и неровно, с большой наивностью, шероховато, местами бледно, местами неумелоприподнято: так пишутся первоначальные опыты. Но в глубине ее неуклюже заложена какая-то светлая сказочная доброта, какое-то искреннее теплое чувство, которого подделать никак нельзя.

Тема проста и фантастична. Бесхитростный рабочий во время митинга выходит на эстраду и вдруг начинает говорить о том, что спасение человечества в любви и доверии друг к другу; умоляет «товарищей» быть братьями, кланяется им в землю со слезами. И какое-то необыкновенное внутреннее сияние передается среди слу-

шателей, подобно огонькам свечей в церкви. Всякий из присутствующих навсегда сохранит этот чудесный огонек в своей душе и, с кем бы он потом не встретился, он каждому сообщит поневоле свое мирное сладостное горение. Заразительное чудо любви выправляет самых жестоких людей, растопляет самые оледенелые сердца. Не в сравнение по благостному духу, книжка Петра Александрова близка к толстовским сказкам для народа.

1921 г.

В. ФОН ДРЕЙЕР. «КРЕСТНЫЙ ПУТЬ ВО ИМЯ РОДИНЫ...»

Воистину Крестный Путь…

Я глубоко верю, что не так далеки дни – может быть, иные из нас доживут до них – когда человечество очнется от того водоворота звериной жестокости и безумного эгоизма, в который его вовлекла чудовищная мировая война, и Россия, вместо того, чтобы представлять собою зияющую, втягивающую грозную пустоту, утвердится на прочных устоях, заняв подобающее ей положение в равновесии и благополучии других стран.

Тогда уже не мы, а грядущие новые поколения сумеют в той правильной перспективе, которую даст время, оценить по справедливости причины и ход семилетней взаимной бойни. Тогда, несомненно, в беспристрастном освещении выступят все события, сверенные с историей возникновения и деятельностью Добровольческих армий, ибо сама собою отвеется шелуха клеветы, преувеличений и личная близорукость, а останется чистое зерно правды. Тогда в подлинном героическом свете предстанет перед потомством борьба Южной белой армии против большевиков, начиная с легендарного самозарождения ее первой крошечной ячейки, вплоть до потрясающих крымских дней, которые еще занавешены судьбой.

Тогда-то особенный интерес для историков приобретут книги, подобные той, какую написал В. фон Дрейер – «Крестный путь во имя Родины». Написанные под личным, живым, непосредственным впечатлением, они особенно отличаются одним качеством, составляющим одновременно их достоинство и недостаток – близостью к описываемым событиям. Эта близость, с одной стороны, дает богатый материал и устанавливает преемственную связь между отдельными моментами; с другой – она нередко и невольно служит причиной слишком индивидуальных характеристик лиц и дел.

Но если даже не все участники и внимательные свидетели Южной Кампании будут целиком согласны с книгой В. фон Дрейера, тем не менее, можно утверждать, что в основу ее легли, кроме посильной беспристрастности, – горячая любовь к Родине и вера в нее; скорбь и негодование по поводу неудач и промахов; а – главное – ясное понимание и доказательное признание несравненной доблести русского солдата и офицера в те периоды, когда ими руководит самоотверженная и непоколебимая воля. И потому читаешь эту книгу со странными смешанными чувствами: изумления, ужаса, преклонения, гордости и мучительной жалости.

Кажется, что созерцаешь издали невозможное, невероятное… Из горсточки отважных людей вырастает, при самых неблагоприятных условиях, среди боев, громадная армия, мужественно борется с красными ордами, терпит неуспех, разлагается , но вновь собирается в крепкий кулак, побеждает, берет тысячи пленных, бесчисленные трофеи… и опять неудачи, опять развал, и снова воскресенье, снова соединение в упругую, плотную массу, – и так – трижды, четырежды. Какое-то беспрерывное чудо, совершать которое доступно только людям, крепко верящим и ни во что считающим свою жизнь перед страданием Родины.

Читаешь про войны на Кубани и Тереке, про Манычскую , Царицынскую и Камышинскую экспедиции, про оборону и эвакуацию Крыма, и не перестаешь удивляться тому, до чего доходила выносливость самого хилого в мире создания – человека, и до какой высоты иногда достигает героический взлет его души. Останавливаясь на этих эпизодах, спрашиваешь себя: да когда же отдыхали, спали и ели эти железные люди? Какая упорная и святая сила помогла им разутым и раздетым драться и побеждать в жестокие морозы; переходить степные голые пространства в долгие знойные дни, когда лошади не пили по трое суток, а люди не ели по десяти; совершать неслыханно тяжелые обходы и без передышки, с безумной дерзостью, разрушать тыл вдесятеро сильнейшего противника. Какой мерой можно измерить то постоянное напряжение душевной энергии, какую проявляли в течение целого ряда дней и ночей сподвижники Врангеля – Улагай, Мамонов, Бабиев, Кутепов и многие другие?

На фоне этой изумительной двухлетней эпохи ярко и твердо выделяется в книге В. фон Дрейера стальная прекрасная фигура Вождя. Его военные операции, вместе с глубокой продуманностью, носят всегдашний характер опытной находчивости и хладнокровия, соединенного с безудержной отвагой. Его собственная храбрость и сила обаяния давно стали легендой. Но, даже оставив в стороне

показания и рассказы очевидцев, мы по одним приказам и рапортам Врангеля можем составить понятие об исключительной величине его личности, как воина, вождя и патриота. Каким достоинством и мощью дышит его ответ англичанам, предлагавшим в начале Крымской обороны почетный мир большевиков с белыми.

Документальные строки книги В. фон Дрейера говорят о Врангеле не только как о начальнике, умевшем командовать, но и как о солдате, умевшем подчиняться. Прозорливее и яснее всех добровольческих вождей он чувствовал и понимал, что самая фантастическая удачливость в боях, удвоенная самой безумной смелостью, ничего не стоят (слава Богу, в героях у нас недостатка нет) в сравнении со строгим привычным умением самозабвенно подчинять свою волю и действия общему плану, цели и руководству. Это драгоценное уменье Врангель обнаружил не раз, и умело внушал его другим.

Закончу мою беглую статью вот чем:

Мы, русские, чересчур мешкотны и нерадивы. У нас до сих пор еще не закончены академические издания – не только история Японской, но даже и Турецкой войны 1877–1879 гг.

О Великой Германской войне существуют лишь незначительные отрывочные сочинения.

Если книга В. фон Дрейера не обнимает целиком и подробно всей Южной Кампании, то она все же является драгоценным вкладом в военную историю. И тем более, что, закончив ее, думаешь и веришь, что окончательное низвержение большевиков вооруженной рукой не только возможно, но и неизбежно, но и неотвратимо.

1921 г.

«СЕВЕРНЫЕ ОГНИ». Стокгольм. 1920-1921 гг.

Это шведское издательство выпустило за последнее время несколько нужных и интересных книг на русском языке; досадно лишь то, что на обложках не проставлены цены. Из изданий перечислим: солидную биографию Гончарова, составленную Е. А. Ляцким; «Горе от ума» и «Басни Крылова» с его же предисловиями и комментариями (об этих двух книгах думает написать В. Л. Бурцев, сам работающий долго и тщательно над обоими классиками); наконец, Е. А. Ляцким оснащены и сопровождены в свет два небольших томика – «Русские сказки» и «Русь страждущая – Венец Многоцветный», т.е. духовные стихи, или Псалмы.

Издания эти достойны всяческой похвалы за внутреннюю тщательность и внешнее изящество (опасаемся лишь, не дороговаты ли они?). Вместе с тем надо поблагодарить «Северные Огни» и г. Ляцкого за то, что они, совместно, заполняют ту пустоту, тот недостаток в хорошей русской книге, который весьма остро ощущается повсюду русскими после Мамаева нашествия.

1921 г.

Е. А. КЕЛЬЧЕВСКИЙ. «ПОСЛЕ УРАГАНА»

Этот роман с заглавием, столь много и мало говорящим, можно, однако отнести к весьма ограниченному числу самых выдающихся русских произведений последнего времени. (Впрочем, давно уже известно, что придумывать ловкие названия и имена собственные – на это нужен особый талант, иногда не имеющий ничего общего с талантом художественного творчества).

В романе Е. А. Кельчевского «После урагана» есть, конечно, недостатки, но они не существенны, они объясняются первым выступлением автора в печати, они легко устранимы в будущих сочинениях и потому о них лучше всего сказать сразу и коротко.

Начинающему автору, а в особенности русскому, всегда хочется сказать «всё», или, во всяком случае, чрезвычайно много. Правя свою рукопись, а впоследствии корректуру, он непременно склонен делать лишние надстройки в тексте, чем, наоборот, освободить его от лишних нагромождений, повторений и слабых мест. Иностранные, а наипаче французские, писатели хорошо понимают то мужество и то архитектурное чутье, с которыми производится эта болезненная операция. Русским писателям, даже самым большим, такое чувство меры не дается. Но, да простит меня великая тень Скабичевского, в расточительности первотворящего я вижу больше смысла и будущего простора, чем в суровой схематичности жреца-профессионала.

Е.А. Кельчевский мог бы свободно, без ущерба для интереса романа, сгустить некоторые русские диалоги до степени экспромта или даже афоризма; мог бы кое-где избежать оборотов, уже ходивших из книги в книгу; мог бы меньше французить в русском произведении… Но все это придет со временем, может быть, даже при выпуске романа вторым изданием, во что я очень склонен верить.

Недостатки, о которых я говорю, совсем пустяковые, тем более, что их со щедрым избытком искупают несомненные положитель-

ные достоинства, свидетельствующие о смелом, изящном, тонком и правдивом таланте автора.

Язык Кельчевского богат и послушен изгибам мысли, оттого он красочен и выразителен. У автора глубокое здоровое дыхание, острая, но не возбужденная, восприимчивость всех внешних чувств, а оттого инстинктивное понимание равновесия. Он наблюдателен, но сдержан. Он ничего не подчеркивает и ничем не щеголяет. Его несколько высокомерное, но мягкое спокойствие прикрывает собой многие отличные качества: требовательную, суровую и жертвенную преданность родине, легкую незлобивую иронию, ясное и глубокое, без вычур и ложного пафоса, понимание красот природы и искусства, а также широкое мужское покровительство женщине, вместе с преклонением перед единой, чистой, самозабвенной любовью к ней.

Роман написан в форме дневника, вернее – путевых заметок Греднина, который, делая почти кругосветное путешествие, записывает для самого себя летучие впечатления, случайные встречи и знакомства, быстрые путевые приключения. Чрезвычайно легко, свободно, занимательно и метко, порою в двух-трех штрихах, записаны города, гавани, страны, обычаи, отдельные люди, пароходная жизнь с неизбежным беззаботным флиртом. Читаешь эти сжатые записи с таким удовольствием, как будто слышишь живой, умный, острый рассказ. Но истинная, большая любовь вплетается в дневник очень постепенно. Елена заочно говорит о Греднине: я не люблю снобов. Ему же кажется, что она глядит на него с «беспокойной антипатией». Вот впечатление обоих от первого знакомства. Он и она еще не понимают, что это говорит в них первоначальная тревога любви. Они поймут это и признаются в этом гораздо позднее, когда судьба, разлучив их почти на целый год, опять соединит их в Риме, так искусно, просто и нежно, а главное, совсем по-своему, нарисованным Кельчевским. Но тут уже место читателю и его суждению; никакой читатель не любит, чтобы ему заранее подсказывали конец романа.

1927 г.

Н. БРЕШКО-БРЕШКОВСКИЙ

Он происходит из старого, почетного рода черниговских дворян и до сих пор остался верен традициям предков. Его мать – известная русская революционерка, знавшая в своей большой жизни и обыски, и аресты, и тюрьмы, и отважные побеги из дальнесибир-

ских ссылок. Но социалистка она совсем особая; такая, какая могла только появиться в широкой, ни на что не похожей России. Эта старенькая социалистка глубоко верит в Бога, умильно зовет людей к дружбе, любви и братству. Но до сих пор борьба со старым режимом окружена в ее глазах ореолом величия и мученичества. И до сих пор она гордится «завоеваниями русской революции».

Совсем иначе смотрит Н. Брешко-Брешковский на эти идеи и события. Он никогда не забывает того, что еще до революции, во время ужасной войны, русские социалисты додумались до того, что стали «непротивленцами», и даже еще страшнее — «пораженцами» и разлагателями армии… и это в годы величайшего испытания, постигшего родину.

Н. Брешко-Брешковский видел эту революцию и ее завоевания с самого начала. Он понял, что снизу взбунтовались дезертиры, беглые каторжники, бродяги, грабители и прочая сволочь; а наверху хотели взять власть ничтожные представители нашей жалкой неврастенической, болтливой, трусливой, удаленькой, карликовой интеллигенции. Хотели взять и не могли, хотя она валялась на земле. Схватили ее большевики: фанатики, для которых родина, все население России в 150 миллионов, стало огромным костром для подтопки мировой революции…

С первых же дней Н. Брешко-Брешковский возненавидел такую революцию и такой каннибальский социализм, а, возненавидев, проклинал большевиков и устно, и письменно.

Недаром же из всех тогдашних петербургских писателей Н. Брешко-Брешковский первым был схвачен и посажен в революционный трибунал. Вторым посадили меня, пишущего эти строки. Арестован я был совсем по нелепому и ничтожному поводу. Я написал статью о царском брате, Михаиле Александровиче, где доказывал, что даже со своей точки зрения, большевики совсем не правы, тесня, угнетая и оскорбляя этого Великого князя, который был органически чужд властолюбию, который всегда был прост, щедр и доступен, которому был естественно свойствен простой, благородный, природный демократизм, который, наконец, также не виноват, что родился в царской семье, как и не виноват добрый старый елисаветградский раввин Бронштейн в том, что у него сын Лев Троцкий.

В тот момент, когда меня привезли из моей милой Гатчины на автомобиле и доставили во дворец Великого князя Николая Николаевича, где и помещался трибунал, то первый, кого я видел в огромном холле, – это был Н. Брешко-Брешковский, сопровождаемый, как и я, двумя вооруженными солдатами.

Меня должны были запереть в камеру, до допросов. Его переводили в Петропавловскую крепость. Мы едва успели пожать друг другу руки и обменяться двумя словами.

— Держитесь? – спросил он.

— Держусь навсегда.

— Я тоже. Храни вас Бог!

Но тут вмешался конвойный. Он брякнул прикладом по паркету и рявкнул с угрозой:

— Поговори!

Так мы и расстались на много лет, чтобы встретиться потом во Франции, где я с отрадой убедился, что Брешковский и до сих пор «держится» непоколебимо, непреклонно, верный этой своеобразной клятве, произнесенной в вестибюле великокняжеского дворца, обращенного ныне в свинюшник.

И, действительно, во всех его многочисленных романах, написанных после 17-го года, неизбежно появляется большевик – существо лишь на четверть человеческое, насыщенное и пресыщенное истерической, садистской злобой, несущее всюду с собой отраву, разложение, подкуп, соблазн, шпионство, богохульство, святотатство, кровь, разврат физический и духовный, призыв к разрушению всех сокровищ морали и культуры, завоеванных человечеством в течение тысячелетий… – словом, существо, которое терпится Европой по странной слепоте, по какому-то трагическому недоразумению… Пишет Н. Брешко-Брешковский яркими, кричащими красками, не зная полутонов. В его распоряжении нет нежных, тонких кисточек, а лишь одна великанская кисть, которой он пишет со всего размаха, быстро, яростно и порой небрежно. Такой кистью писал когда-то Александр Александрович Дюма-первый.

Говорят про Н. Брешко-Брешковского, что он склонен преувеличивать. Относительно большевиков этого нельзя сказать: каждый день умудряются сделать новую гадость, которая еще страшнее, еще неправдоподобнее предыдущей, вчерашней, казавшейся нам верхом, непревосходимым рекордом гнусности. Зато всех своих героев Н. Брешко-Брешковский неизменно облекает ослепляющей красотой, миллиардами долларов, невероятной щедростью, железными мускулами, сверхчеловеческой силой, любовью, пылающей до могилы и еще гораздо дальше… Здесь автор сгущает свои краски до такой яркости, что они начинают жечь глаза.

Но как же винить его? Он сам горячо влюблен в своих героев и награждает их – правда, не особенно умеренно – всяческими прекрасными качествами.

О Н. Брешко-Брешковском мало писала русская кумовская критика, всегда выхвалявшая свой лагерь и топтавшая ногами свежее оригинальное дарование. Чтобы выдвинуться, романисту последовательно надо было быть: в девяностые годы – народником. Перед японской войной – социал-демократом или эсером. После японской войны – буревестником, соколом, босяком или Челкашом – с потрясением основ, с презрением к народу, с ненавистью к мещанству и буржуазии. Перед большой войной и в начале ее вкусы внезапно нелепо переменились: потребовался почему-то писатель-декадент, импрессионист, футурист, дадаист, акмеист и развратник. Громко восхвалялись – самоубийства, наркомания, скотоложство и педерастия. В моде стал лимбургский сыр, ананасы в шампанском и запах тления. Верхом искусства было сделать тончайшей иголкой сложнейший узор на скорлупе от тухлого яйца. Это течение не выдохлось и поныне вместе со своими критиками.

Н. Брешко-Брешковскому нечего было делать ни в этой литературе, ни на митингах, ни на социальных банкетах, ни на лекциях, ни на этих бесконечных спорах. Он писал то, что хотел, и о том жизненном, что пленяло его воображение. Он не мог и не умел петь на мотивы ненавистные, с чужого голоса.

Критика замолчала его и замалчивает до сих пор. Но видите ли – русская публика – совсем особая публика. Она побаивается газеты, но она всегда выше и смелее критики. Я мог бы назвать десятки больших и малых имен русских писателей. Критика или не знала их, или нарочно не замечала, или презрительно осмеивала в течение долгих лет. А эти писатели уже давно, без позволения критики, стали любимцами широкой публики, и книги их шли из года в год все с возрастающим успехом. И только, наконец, внук критика и сам тоже критик, уступая колоссальной очевидности, отваживался промямлить первое снисходительное одобрение.

У Н. Брешко-Брешковского давно уже была своя большая аудитория, любившая его и увлекавшаяся им. Она не редеет и теперь в ней – и я! Я ценю Н. Брешко-Брешковского как читатель за то, что у него в романе всегда есть голова, туловище и хвост, пропорционально связанные друг с другом; за то, что в его произведениях есть «выдумка», об отсутствии которой в русских романах так жалел еще Тургенев; наконец, за то, что роман Н. Брешко-Брешковского всегда захватывает: он занимателен, ярок, бодр, порой трогателен без всяких признаков нытья, порой весел без злобы…

1930 г.

М. ОСОРГИН. «ПОВЕСТЬ О СЕСТРЕ»

Не только необходимо, но и радостно писать об Осоргине, следя за тем, как в зрелые годы, знаменующие поворот к спокойной мудрости, растет, крепнет и расширяется его бодрый и добрый талант. Сама судьба, знающая всю мощную силу первичных жизненных восприятий, милостиво позаботилась о Михаиле Андреевиче, окружив его детство, отрочество и юность благоприятными условиями и богатыми впечатлениями, которые впоследствии обратятся для писателя в обширный словарь и в неиссякаемый материал.

В ранние полусознательные годы – свободная, привольная жизнь в дружной, ласковой, заботливой семье; глубокая дальняя провинция, Прикамский край, отроги Уральских гор. Богатая хлебородная губерния, не без гордости называющая себя житницей средней и скверной России, коренное население из государственных крестьян, никогда не знавших над собою ига крепостничества, откуда и непринужденный, ловкий, меткий язык. Полноводная Кама, одна из прекраснейших российских рек, о которой камчане сказывают, что не она впадает в Волгу, а наоборот, Волга – один из ее притоков. Великолепные хвойные леса, горы, обширные поля, тенистые островки. Великое множество зверья, птиц, цветов, ягод, грибов и бабочек. Рыбная ловля, купанье, коньки и лыжи, легкие лодки. Чистый воздух, прозрачное небо... Нет! Горе тем русским писателям нового поколения, детство которых протекает в тесных городских каморках с единственным видом из окна на соседний брандмайер.

Потом Москва, удивительнейший город, с Москвой-рекою, с Сивцевым Вражком, с Охотным Рядом, с Манежем на Моховой, с Кремлем и Кузнецким мостом, с Кривоколенным переулком, с Иверской, со старым Пименом и с Николой на Курьих ножках, с Собачьей площадкой, Живодерней и множеством тупиков.

А в Москве, как центр, как пуп заветного города, – Московский университет, старейший из всех русских высших училищ, возлюбленная заранее alma mater со своими традициями и привилегиями, проказами, буйством и свободолюбием. Первая пылкая клятва в вечной дружбе и невинные кутежи. Первая робкая любовь и первые жалкие рифмованные строки, написанные в сладком бреду, когда голова пылала, волосы ерошились дыбом, а руки были, как лед.

Потом неизбежная, как корь, полоса горячего, самоотверженного социализма.

Партии, ночные споры до хрипоты, протесты, митинги, массовки, подпольная литература, пылкие и нелепые прокламации, а потом, как полагается, сначала Бутырки, а из них ссылка в места столь

или не столь отдаленные, из которых один путь – самовольный уход из России, нелегальное положение и скудная эмигрантская жизнь... Но в молодости все переносится легко и все, что прошло, то будет мило. А за то перед юношей невзыскательным, терпеливым и любящим жизнь, открывается совсем новый мир – Европа. И вот уже бродит молодой писатель по городам и весям благословенной Италии, где каждый шаг, каждый взор, каждый звук, каждый жест – красота и прелесть.

Вот жизненная школа Осоргина. Как много было в ней и радостных и горьких минут, встреч, знакомств и приключений, восторгов и разочарований, выигрышей и проигрышей, сколько вольных, бродяжнических впечатлений, из запаса которых Осоргин свободной рукой черпает свои чудесные повести и рассказы. И три магнита прошлого особенно мощно притягивают его творческие вкусы: Кама, Москва-река и Тибр. И мотивы, взятые оттуда, особенно сильно волнуют нас. «Сивцев Вражек», «Очерки современной Италии», «Там, где был счастлив», «Повесть о сестре» и другие произведения Осоргина всегда звучат его любимыми лейтмотивами.

Сегодня я вторично прочитал «Повесть о сестре». Прочитал с вниманием, гораздо более глубоким, чем в первый раз, и твердо знаю, что пройдет некоторое время, и я снова разверну эту книжку в синем переплете, с белыми литерами, и опять унесусь воображением в чужую мне семью, к незнакомым мне людям. Не это ли притягательное свойство книги, больше и яснее всяких критических мудрствований свидетельствует о ее прочной добротности? Говорить же о ней в печати можно с полной свободой, ибо Осоргин предпослал ей предисловие: «В этой книжке записан рассказ пожилого чиновника, сейчас беженца, о его умершей сестре. Тот, чье имя на обложке, только постарался сохранить простоту рассказа, придать ему обычную литературную форму...»

Ну что же? Честь, и хвала, и благодарность М.А. Осоргину за его любовную и тщательную работу. «Повесть о сестре» оказалась превосходной книгой: чистой, понятной, написанной свободным пером и потому незабываемой; редкость для современной литературы.

В нынешних романах о детях в младенческом периоде совсем не упоминается: будущий исследователь современной беллетристики может подумать, что в наше дикое время все дети вымерли от какой-то свирепой мировой эпидемии или вовсе перестали появляться на свет Божий благодаря абортам. Осоргин смело и в то же время очень мило начинает свою повесть с детей:

« — Катя, ты что там делаешь?

— Ах, мамочка, мне некогда, я рождаю сына.

Мать, сквозь смех, старается быть серьезной и строгой: “Иди сюда, раз я тебя зову. Успеешь наиграться”. Катя вбегает с куклой и большими ножницами. У куклы настоящие волосы, но неровно обрезаны и торчат клочьями. Одна рука куклы беспомощно болтается на нитке.

— Что ты делаешь?

— Мамочка, я ее стригла, потому что я, мамочка, больше не хочу дочери. У меня дочерей много, и с ними большая возня, а это будет сын, и его уже зовут Сережей. И мне еще нужно пришить руку, на случай сраженья. Он у меня очень смелый и всех колотит.

— Ну, Катюх, как хочешь, а, по-моему, жалко такие волосы.

— Мне тоже, мамочка, жалко, но знаешь, ради детей...».

Эти куклы через много лет опять войдут в повесть, как нужный и тонкий рефрен. Катя вышла замуж, Катя уже беременна и, за отъездом мужа, живет в родном доме...

«Однажды я услышал в ее комнате тихий и оживленный разговор. Говорил голос Кати, и никто ей не отвечал. Я прокрался к двери и заглянул. Катя с длинной косой, в светлом платье, сидела на Лизиной кровати, окруженная куклами. Самую большую, ту, которая открывала и закрывала глаза, Катя держала на руках, приглаживая ей какой-то бантик. И я услышал, как она сердитым шепотом говорила:

– Ах, тебе не нравится, тебе не нравится красный? Очень жаль, очень жаль, но другого нет. Пока походи с таким, а потом мама тебе купит голубенький. Да ну же, не вертись».

В нашей далекой невозвратимой прежней жизни – такой доверчивой, ладной, чистой и прочной – одною из ее невинных прелестей было восторженное обожание старшей сестры – возвышенного, неземного, прекрасного существа, утешительницы, советчицы, доброй и ласковой покровительницы, предмета рыцарской гордости.

Но замужняя жизнь Катюши складывается несчастливо. На подробности семейного раскола автор осторожно опускает занавес, но достаточно горьких слов, где-то вычитанных, которые Катюша с отвращением бросила мужу:

– Муж, спустившийся до горничной, приглашает жену отдаться лакею.

И вот растоптана, искалечена, забрызгана грязью светлая жизнь исключительной, редкой женщины, созданной Богом в добрый час лада, любви, радости творчества и неиссякаемого добра. Внешняя жизнь остается прежней: холодный, комфортабельный дом, определенные часы для завтраков и обедов, обязательные знакомства, хорошие, умные, приличные дети (нельзя же их подвергать ужасам развода и разрозненной жизни).

Но внутри, в душе Катюши полное разорение и холодный мрак. Одна мысль о мужской любви кажется ей омерзительной.

И когда ее брат получает из далекой Москвы от племянника Володи известие о том, что мама скончалась после вторичной операции, он не потрясен и не удивлен. Еще раньше, плывя на пароходе по Каме вместе с Катюшей, он, в один предутренний час, понял, что душа его возлюбленной сестры опустела и умирает. И сам жизнерадостный Котик меркнет и гаснет душою без сестры в провинции на казенной службе. Можно было бы озаглавить новое произведение Осоргина «Повестью о двух сестрах», если бы другая младшая сестра, Лиза, не терялась и не стушевывалась бы окончательно рядом с живым, блестящим, прекрасным образом Катюши. Лиза обыкновенная, совсем обыкновенная женщина. Муж у нее очень милый и добродушный человек, с брюшком и лысиной, не очень молодой, не очень умный, но веселый и приятный. Лиза, методичная, хозяйственная и заботливая, сразу создала себе ту жизнь, которая ей была нужна: очаг, любящего мужа, удобную квартиру, полную уюта. С особенным удовольствием она говорит: «Мой муж, мы с мужем». Она счастлива по-своему, и счастлива вполне.

1931 г. был плодовитым для Осоргина. В течение его он написал и издал еще другую книгу – «Чудо на озере». Рассказать о ней мне не позволяет ни время, ни место. А жаль!

1931 г.

АЛЕКСАНДР ПЛЕЩЕЕВ. «ЧТО ВСПОМНИЛОСЬ: ЗА 50 ЛЕТ»

Под таким заглавием вышла на днях новая, чрезвычайно содержательная и прекрасно изданная книга Александра Алексеевича Плещеева.

Впечатление от нее самое приятное: добродушие, спокойствие, вежливость, искренность и отличный русский язык, без ломания и без надуманных выкрутасов, язык, от которого уже начинаем отвыкать мы, живущие по обеим сторонам рубежа.

Мне кажется, что теперь все, даже самые небрежные и рассеянные читатели, успели убедиться в том, что подавляющее большинство современных русских мемуаров, записок и воспоминаний полны горечи, злобы, мелких, ядовитых личных счетов, бесстыдного раскрывания государственных тайн и чужих постелей и, наконец, самооправдывания и самовозвеличивания в пошлых и лживых формах.

Плещеев пишет совсем иначе. Его воспоминания суть записанные листочки доброго, благожелательного большого человека, не знавшего никогда ни ревности, ни зависти, ни мстительных замыслов в течение своей счастливой, беззаботной и чрезвычайно богатой жизни. Читая его книгу, то и дело натыкаешься на старые, давно знакомые по Москве и Петербургу имена, которые в последней четверти девятнадцатого столетия были отмечены насмешками, презрением и еще прижизненным забвением тогдашнего общества. И что же? Нигде Плещеев не клеймит их, нигде не повторяет грязных сплетен, а, наоборот, старается найти в их жизни и делах мягкие, оправдывающие стороны. Это свойство не старости автора, а именно его природного благодушия.

Его отец, известный поэт Алексей Николаевич Плещеев, был в молодости замешан в процесс Петрашевского и стоял на эшафоте рядом с Достоевским. Освобожденный от смертной казни, он всю свою остальную жизнь, прожил под негласным надзором. Но это прошлое окружило милого поэта и прекраснейшего человека всеобщей любовью, доверенностью и почтением тогдашней интеллигентной среды.

Вот почему А.А. Плещеев, еще с первых младенческих лет и до зрелого возраста, имел счастье видеть в родном гостеприимном доме всех замечательных и талантливых людей того времени: Некрасова, Достоевского, Тургенева, Григоровича, Чехова, бр<атьев> Курочкиных и бр<атьев> Рубинштейнов и т.д. и т.д.

С ранних лет А. Плещеева потянуло к театру, и несколько лет, не как любитель, а как актер-профессионал, он играл на московских и петербургских сценах. Тут не менее широки и пестры его воспоминания: Рыбаков, П. М. и М. П.Садовские, В. В. Самойлов, Южин, Ленский (кн. Оболенский), Федотова, Ермолова. Савина, Киселевский, Далматов, Давыдов и пр. и пр.

Книга заключается непринужденными набросками прежней широкой жизни: балет и балетоманы конца прошлого столетия – Юрасов, Скальковский; Н. А. Морозов (шлиссельбуржец), Л. Б. Бертенсон и пр. и пр.

Книга щедро иллюстрирована портретами.

1931 г.

Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ. «ИИСУС НЕИЗВЕСТНЫЙ»

Несомненно, эту замечательную книгу должны были бы прочитать истинные философы и глубокомысленные богословы. Дать же о ней отчет могут лишь люди, чья вера в Иисуса Христа и в

Евангелие свободна, проста, любовна и полна умилительной благодарности.

Я сам, к сожалению, верую слабо, лениво и наивно, как веруют плотники, солдаты, деревенские бабы и пчеловоды. Потому-то вся задача моей заметки заключается только в том, чтобы своевременно обратить внимание серьезных читателей на эту странную, страшную и нежную книгу, пока она не станет библиографической редкостью, что настанет, в условиях нынешнего русского типографского дела, очень скоро.

«Был ли Христос»; «Неизвестное Евангелие»; «Марк, Матфей и Лука»; «Иоанн»; «По ту сторону Евангелия»; «Жизнь Иисуса Неизвестного»; «Как он родился»; «Утаенная жизнь»; «Назаретские будни»; «Мой час прошел»; «Иоанн Креститель»; «Рыба-голубь»; «Иисус и дьявол»; «Искушение»; «Его лицо (в истории)»; «Его лицо (в Евангелии)».

Вот десять основных глав, составляющих этот огромный труд, совершенный в долгий период времени с тщательностью и с усердием летописца.

И есть в этом творении одна тонкая струя, один как бы давно знакомый аромат, умиляющий поневоле сердце русского читателя. Это незримое ощущение понятного, доброго, простого, близкого Христа; Христа за пазушкой, как говорил Достоевский.

1932 г.

ВЛАДИМИР ГОРИЙСКИЙ. «ПЕСНИ СОЛНЦА»

Мне неоднократно приходила в голову мысль не чуждая, я думаю, и многим внимательным читателям: что, в конце концов, ценнее и приемлемее и потому находит вернейший путь к памяти душе: музыкальное ли певучее стихотворение, полное блеска, чудесных метафор и редкостных рифм, но лишенное глубины смысла и нежности чувств, или стихи, написанные просто и ясно, отражающие смысл и таящие в себе, как крупинки чистого золота, благодарную радость жизни, наивное умиление перед красотою, скромные дары любящего и доброго сердца?

Почему же мне не признаться откровенно, что второй род поэзии для меня гораздо милее и ближе моей душе, чем первый. Поэзия Владимира Горийского – спокойная, ласковая лирика и, что особенно в ней привлекательного, лирика как будто бы старинных, еще до Пушкинских времен: простая, ясная, сердечная… Я не откажу себе в удовольствии дать здесь два-три образца поэзии Владимира Горийского.

1.
Ты – мастер великий, Творец,
Небесной лазури;
Причина, начало – конец
И солнца, и бури!..
О звездах счастливых я пел
Так сладко и чудно
И светом священным горел
В чертоге надлунном;
Но с неба на землю проник,
Как отблеск случайный…
О, Боже, дай вспомнить мне лик
Твой вечный и тайный!

2.
Критика Чарльза Дарвина.

Хорошо: от обезьяны –
Духа грусть и сердца раны!
Но откуда сила эта – вдохновенье, дар поэта?
Боже, скрыты от сознанья
Тайны жизни мирозданья!
Никогда их не пойму я –
Аллилуя! Аллилуя!..

3.
О, лишь одна ты свет любви во мне зажгла
Среди толпы, вблизи палат, у невских вод,
Когда в огне вечерних звезд исчезла мгла
И лунный диск убрал венцом небесный свод!
«Судьба свела вдвоем на миг, – сказала ты, –
И миг иной когда-нибудь разлучит нас…
Там, в небесах былой любви видны следы –
Едины мы навек, клянусь в вечерний час».
Луна плыла, полна тоски, куда-то вдаль
И гимн ей пел волшебных звезд хор золотой.
В душе у нас, как у нее, жила печаль…
Свидетель был Сам Бог-Господь тоски святой.
Вот час пробил – исчезла ты… Огонь луны
И тысяч звезд давно погас во мраке туч,
Но не замрет любовь моя, как звук струны:
Царишь во мне – тобой живу, тобой могуч!

Особо тонким знатоком и ценителем поэтического творчества я себя не считаю и никогда не считал. Я попросту одни стихи люблю, другие нет; одни мне нравятся, другие не нравятся. Но я думаю, что Владимир Горийский завоевал наши симпатии и быстро сумел найти почетное место в русской литературе. Лучшим доказательством добротности стихотворений нашего поэта служит то обстоятельство, что книга его выходит уже третьим изданием, а читатели редко ошибаются в выборе своих любимых поэтов.

9 июня 1932 г.

МЕМУАРНЫЕ ОЧЕРКИ, НЕКРОЛОГИ (1921–1932 гг.)

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

(Л. Г. Корнилов)

Вся жизнь, каждый ее драгоценный час, каждое помышление – все для Родины – вот настоящая биография Корнилова.

Что для такого человека смерть?..

Все мы знаем, что рождение наше случайно, что дела наши сцеплены капризом судьбы, что одна лишь смерть верна и неизбежна – и, тем не менее, дрожим перед близким лицом смерти. Но истинный воин, проснувшись перед боем, в холодное туманное утро, крестится на восток и с наивным твердым спокойствием говорит: «Грехи мои перед Тобою, и если Тебе угодно взять нынче мою душу, я готов, о Господи».

Страшнее смерти и нестерпимее физических страданий – было для светлой души Корнилова темное многоименное преступное, жадное и злобное, что копошилось и ползало на его прямом пути, тормозя и мешая: двуличные шептуны, кабинетные заговорщики, невежественные всезнайки, ложные патриоты, переносчики слухов, трусливые пройдохи, строящие на крови свою жизнь, секундную карьеру. Как должно было терзаться это великое пламенное сердце, когда перед ним гнила и разлагалась чудеснейшая армия в мире, а предатели и дураки соревновались в том, кто скорее свалит Родину в бездонную пропасть.

Русский солдат, русский офицер, русский подвижник и великомученик, подлинный сын земляного русского народа – вот кто был Корнилов.

Большевики сожгли его тело и развеяли прах по ветру. Но образ его жив в каждом честном русском сердце, запечатлен в нем тверже, чем в мраморе и бронзе, а чистое имя его уже обвеяно прекрасной, возвышенной, бессмертной легендой, на много лет опередившей историю и монументы.

1921 г.

АВЕРЧЕНКО И «САТИРИКОН»

Все это было перед первой малой революцией, совсем анемичной по сравнению со второй – великой и бескровной. Тогда, как грибы-поганки после дождя, начали ежедневно расти в большом количестве юмористические и сатирические журналы. Правда, большинство из них не успевало прожить больше недели, самые названия их канули в вечность, и погибли они скорее от невнимания перегруженной публики, чем от цензурных утеснений. Помню шебуевский «Пулемет», арцыбушевский «Зритель», еще «Скорпион»», «Бич», «Плеть», «Комар», «Живчик», «Езоп». «Пощечина», «Жало», «Рвач» и т. д. до сотен трех. Параллельно с ними распускались махровым цветом порнографические издания.

Совсем недурно затеял Зиновий Гржебин два последовательных журнала: «Адская почта» и «Жупел»…

Забуду ли я первое редакционное заседание сотрудников «Жупела» на квартире художника Билибина? Горького мы долго ждали. Приехал он не один, а с каким-то долговязым парнем в черном сюртуке до пят, с золотыми очками на бержераковом носу. «Познакомьтесь, господа, – сказал Горький. – Это А. В. Луначарский. Он любезно согласился прочитать нам в виде руководящего пути, сообщение о юморе и сатире...»

Прошло полчаса. Сначала я видел, как мои, прежде такие веселые, коллеги зевали ноздрями, судорожно стискивая челюсти, и таращили глаза, чтобы разлепить ресницы. Потом я сам лениво поехал, качаясь, на ныряющей спине верблюда по плоской пустыне... И вдруг обернулся влево. Из прохожей меня манил пальцем хозяин дома, Иван Яковлевич.

Я на цыпочках бесшумно вышел к нему.

«П-послушайте, – шепнул мне на ухо Билибин. – Единственное средство не скончаться преждевременно от скуки – это удрать».

И мы постыдно, вероломно сбежали: я, хозяин и его прекрасный сеттер Вольга. И прекрасно провели время. Помните, Иван Яковлевич?

В этот день я ясно понял, что ни теоретически, ни по старым рецептам, ни нахрапом нового юмористического журнала не создать.

Не помню твердо, кто (кажется, П. П. Потемкин), вспоминая об Аверченко, рассказал, что первые его дебюты были в «Стрекозе», в журнале, который тогда уже нигде не читали, кроме как в пивных. Вот, именно в пивной лавке на углу Чернышова пер. и Фонтанки, где обычно заседали старые писари, специалисты писать на высочайшее имя, и где весьма искусно варили раков, там я и прочитал впервые в «Стрекозе» один из прелестных маленьких рассказов Аверченко, а прочитав, взволновался, умилился, рассмеялся и обрадовался.

Надо очень любить литературу и все ее роды, чтобы понять, какая это радость найти, унюхать, открыть, конечно, без гида и без «критической указки» – обрести только для себя свежий и новый талант. Может быть, эту радость знают еще охотничьи собаки и страстные коллекционеры?

Необходимо сказать, что русская читающая публика – очень диковинная публика. Низы ее бросаются жадно и на «Разбойника Чуркина», и на «Макарку Душегуба», и на Вербицкую, и на Бебутову, и на Ната Пинкертона. Сознательные... верхи и до сих пор еще склонны пожевать роман «Что делать?», а также сочинения Засодимского и Златовратского. Это они, руководящие верхи, упорно отворачивали свой благосклонный решающий взгляд от молодого прекрасного Чехова. «Помилуйте, рассказишки короче воробьиного носа. И потом, говорят, писал в каких-то там лейкиновских «Осколках»? Мы, конечно, принципиально этих журнальчиков не читаем, все равно, как принципиально не пошли бы в цирк. И потому бросим говорить о вашем Чехове».

Однако есть среди русских читателей какая-то очень большая, но почти неуловимая середина – умная и независимая, – которая руководствуется лишь здоровым инстинктом и никогда не ошибается в выборе и оценке молодого автора. О Бунине еще никогда не писали, а его две первые книжки уже широко раскупались.

Андреева Москва сделала известностью в один-два месяца после выпуска его первого томика, а о нем еще никто не ведал в Петербурге. Спустя же полгода, 6 декабря, Н. К. Михайловский, в день своих именин, принял его с тем дружеским радушием, с которым этот большой человек встречал истинные таланты.

Спросите у Тэффи, помнит ли она момент, когда она почувствовала общее ею восхищение, неизъяснимую атмосферу благодарности, преданности и доверия? Ручаюсь, не помнит. Однако этот таинственный момент пришел незаметно еще в Петербурге, где о

Тэффи не заикнулся ни словом ни один присяжный Стародум из тех, которые пророчили юному Чехову смерть под забором. Впрочем, и до сих пор о замечательном, драгоценном таланте Тэффи нет не только дельной книги, но и основательной, серьезной статьи. Что поделаешь? Смех, видите ли, одна из самых низших эмоций. Впрочем, у нас нет стоящей литературы даже об Успенском, не говоря уже о Дорошевиче и Аверченко. Но и здесь есть утешение: Аркадий Тимофеевич был избавлен от неприятной обязанности делать признательные улыбки и поклоны и выслушивать покровительственное: «Это я тебя, братец, в люди вывел». Аверченко сразу нашел себя: свое русло, свой тон, свою марку. Читатели же – чуткая середина – необыкновенно быстро открыли его и сразу из уст в уста сделали ему большое и хорошее имя. Тут был и мой, не писательский, а читательский голос.

Признаться, в те дни, когда издатель Корнфельд сменил верхние одежды с «Стрекозы» на новый задорный костюм «Сатирикона», я подумывал, что публика не пойдет. Во-первых, у нее, как у лошади, тяга к привычной кормушке. Во-вторых, в ту пору, как я уже говорил, развелось такое пестрое множество сатирических журналов, и так они часто лопались, что всякое доверие к этим мыльным пузырям пропало.

Однако своя, добрая, верная публика дружно и быстро вытянула «Сатирикон» в гору, а там уже он сам весело покатился по углаженной дороге. Молодой яркий талант Аверченко, его популярность, его легкая рука и его беззаботная энергия сделали здесь очень много. Но, и то сказать, какая славная семья сотрудников его. Увы! «Одних уж нет, а те далече», а те еще дальше...

Счастьем для таланта Аверченко было то, что его носитель провел начало своей жизни не в Петербурге, в созерцании сквозь грязный туман соседнего брандмауэра, а побродил и потолкался по свету. В его памяти запечатлелось ставшее своим множество лиц, говоров, метких слов и оборотов, включая сюда и неуклюже-восхитительные капризы детской речи. И всем этим богатством он пользовался без труда, со свободой дыхания.

Беззлобен, чист был его первый смех, и легкие уколы не носили в себе желчного яда. Всего труднее определить характер юмора. Надо сказать, что от гоголевского юмора у нас не осталось наследия. Шестидесятые и семидесятые годы передали нам лишь кривую презрительную саркастическую усмешку. Сатириконцы первые засмеялись простодушно, ото всей души, весело и громко, как смеются дети. В то смутное, неустойчивое, гиблое время «Сатирикон» был чудесной отдушиной, откуда лил свежий воздух. «Сатирикон» совсем неотделим от Аверченко. Он ему и создал большую и заслуженную славу. Книги

Аверченко шли потоками по всей России. Ими зачитывались и в Сибири, и в черте оседлости, и – во многих переводах – за границей.

Но не один только смех знал покойный Аркадий Тимофеевич...

Перо его умело наносить и тяжкие, беспощадные удары, перенести и забыть которые трудно.

Умер он в среднем возрасте, который отпущен русскому литератору – 43 лет, – но знал много жизненных радостей и сам дарил другим радость щедрыми пригоршнями. С нежной признательностью поклонимся его праху.

1925 г.

В. Д. КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ

Покойный Владимир Дмитриевич принадлежал к старинному исконному роду новгородских бояр, из которых не один служил Господину Великому Новгороду в высоком звании посадника и, вместе, представителя народного в вольном Ганзейском Союзе.

Знаменитый дух Новгородской вольности сохранился от далеких предков в крови Владимира Дмитриевича, как бы предопределив заранее его жизнь, деятельность и характер.

В газетах читатели уже нашли биографические сведения о почившем большом русском работнике и патриоте. Но вот о нем, как о человеке.

Ясный, обширный и точный аналитический ум, великолепная память, беззлобная, тонкая, светская ирония составляли его интеллектуальные качества. Чертами же его характера были: независимость, самолюбие, самостоятельность, смелость, чуткая отзывчивость к чужому горю, живой протест против всякого насилия, но рядом с этим, и некоторая нетерпимость, в случаях разногласий, при большом, однако, и редком умении различить в одном человеке – политического оппонента от честного друга.

Он был любим и уважаем многими. Судьба дала мне прожить бок о бок с В. Д. около года, в Гельсингфорсе, видаясь с ним почти ежедневно по делам газеты «Русская Новая Жизнь», где он был фактическим редактором. И я не только глубоко оценил, но и с наслаждением благодарно уберег в памяти не только прелесть и поучительность его беседы, но и его необыкновенную способность выражать свои мысли на бумаге с математической точностью, в форме изящной, гибкой и блестящей.

Тогда его можно было бы назвать пессимистом. Искренно чтя и любя родину, он с печальным недоверием глядел на наши розо-

вые надежды, цепляющиеся за каждую очередную возможность, за каждый мираж спасения России.

Но его благородный пессимизм, был особого русского свойства. Несмотря на него, Владимир Дмитриевич всегда был готов служить Родине, если бы этого от него потребовали ее нужды и интересы, не считая ни новых трудов своих, ни новых разочарований.

Покойся же с миром, чистая русская Душа.

1927 г.

В. Н. ЛАДЫЖЕНСКИЙ

Родился он в 1860-том году, в старинном имении дворян Ладыженских, в Пензенской губернии и Пензенском уезде. Образование закончил в Санкт-Петербургском училище правоведения, но ни в государственную службу, ни в адвокатуру не пошел. Владимира Николаевича влекла к себе плодотворная работа над прапрадедовским черноземным хозяйством и еще более того – неустанная живая работа по пензенскому земству, которое в те годы было одним из самых деятельных, либеральных и полезных для народа земств. Неоднократно избираемый, В<ладимир> Н<иколаевич> оставил по себе вескую и добрую память. По его инициативе и с его личными пожертвованиями было основано 56 земских школ, тридцать четыре фельдшерских пункта, восемь уездных больниц и 27 стипендий для крестьянских детей, стремившихся к среднему и высшему образованию, и, наконец, множество сельских библиотек с волшебными фонарями и наглядными пособиями.

Раз в год В. Н. Ладыженский отрывался от своих земских дел и наезжал в Петербург и Москву. Там в столицах, в умственных центрах громадной России текла и бурлила настоящая интеллектуальная жизнь северного колосса: университеты, профессора, театры, опера, газеты, журналы, кружки, выставки художников… Особенно тесно был связан В<ладимир> Н<иколаевич> с русской литературой, времен от Тургенева и Достоевского до Чехова. Он и сам писал немного: в «Русских Ведомостях», в «Отечественных Записках», в «Русском Слове», в «Мире Божьем» и в прочих изданиях. Некоторые из его рассказов и милые, чистые, элегические стихотворения и до сих пор читаются с грустным вниманием. Его литературными друзьями были: Михайловский, Южаков, Надсон, Гаршин, Баранцевич, Альбов, Тихонов, Мамин-Сибиряк и многие другие, любившие и ценившие его писатели, ныне покойники.

В разгаре последней войны он был командирован на фронт, как главноуполномоченный от Красного Креста Земских Союзов. Этот маленького роста, но кипучей энергии человек, был горячим и умным патриотом. Он работал за десятерых и спокойно отдавал распоряжения, находясь под близким обстрелом. Жестокая революция и гражданская война выбросили его в Париж. Здесь у нас у всех, у его земляков и собратьев по несчастию, на глазах протекала его тихая, трудовая, чистая жизнь, в которой даже спокойная бедность была почтенна и трогательна. Он никогда не уставал от работы. Его давнишней и горячо любимой профессией была педагогия, которой он и отдал последние силы души и тела. Он подготовлял мальчиков и девочек к средней школе, репетировал с ними предметы учения, укреплял их знания перед экзаменами на зрелость. Еще и теперь я встречаю в Париже многих молодых людей и девиц, его давних учеников, вспоминающих о нем с нежной благодарностью. Так же, как отцы их и матери.

Особенно ценными, − вернее, − неоценимыми, − были его педагогические занятия с мальчуганами в Шавильском общежитии. Там душа его была согрета преданной и заботливой любовью детей, не умеющих ни лгать, ни льстить, ни притворяться. Помещался Владимир Николаевич в Шавильском доме на самом верху, в чердачке, похожем скорее на голубятню, где было и тесно, и холодно. Но детские сердца просты и чутки. Мальчишки, тайком от своего возлюбленного учителя, растапливали его утлый камин, чистили ему сапоги, стирали его воротнички, штопали одежду. И все это наперебой с любовной очередью. Один из его маленьких друзей, когда он серьезно заболел, сопровождал его в Ниццу и там заботился о доставлении ему спокойствия и возможного комфорта. Этот мальчик говорил: «Если Бог захочет его убрать, я хочу, чтобы он умер на моих руках…»

Да. Большого, большого русского человека скрывает маленькая могилка на Лазурных берегах. Спи с миром, милый, беззлобный, сделавший в жизни так много добра.

1932 г.

СТИХОТВОРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:

лирика, эпиграммы, миниатюры (1885–1930 гг.)

Стихи кадетского периода (1885–1887 гг.)

БОЕЦ

С светлой душою я шел на сраженье,
Знамя высоко держал,
Чувствовал юной я крови волненье,
Силу в себе ощущал.
Бился я долго за правду святую,
В жертву принес ей себя,
Бился за родину я дорогую,
Бился, народ, за тебя.
Братья, я гибну… Возьмите же знамя,
Встретьте без страха врагов.
Слезы народные, братья за вами,
Горькие слезы и кровь.

1885 г.

НЕДОРАЗУМЕНИЕ

В одной стране державной
Жил некогда магнат. –
Магнат свирепый, ндравный,
Не в меру был богат.
Имел жену старуху,
Любовниц сотни две,
Но очень мало духу
Имел магнат в себе.
Сидел магнат на месте,
Спокойно пил и ел,
Но вдруг свои поместья
Объехать захотел.
Поставил всюду войско
И дал такой приказ:
«Блюдите все по-свойски,
Чтоб не было проказ».
Однажды гренадеры
С усищами в версту,
Подвыпивши мадеры,
Стояли на мосту.

Вдруг видят: по теченью
Родимой их реки
Плывут – о возмущенье! –
На плоте мужики.
– А ну-кась, для примера
Давай по ним катнем, –
Сказали гренадеры
И дали залп вдвоем.
Не пикнули ребята:
Свалилися ничком…
А для моих солдатов –
Полтина серебром.
Потом лишь оказалось,
Что бурною порой
Тот плотик был оторван
От берега волной.

1886 г.

ОДА КАТКОВУ
(на возведение его в сан министра)

Настало! В министры Катков обратился,
Зане же Толстой во архивы свалился.
Ликует, гордится им росс,
На коего родине муж сей возрос.
И солнце на небе яснее сияет
И кажется – с нами сей праздник справляет.
И птички звончее поют –
Великому мужу хвалу воздают.
Попрал он дух злобы своею пятой,
Своим красноречием, «правдой святой».
Он «Вестник» для нас издавал
И в нас дух прадедов-славян воспитал.
Открыл нам глаза он: «Мужики, мол де, звери,
Всюду должны быть закрыты им двери,
Их, мол де, тысячи рыл!»
Кто это, как не Катков нам открыл?
Здравствуй, Катков! От лица всея Руси
Я говорю, что мы бедные гуси:
Много уж было у нас вожаков,
Не был еще лишь великий Катков!

С теми мы, славными, весело жили:
Крали, народ потихоньку давили.
Уж то-то теперь заживем!
И душу потешим, карманы набьем…
Держаться (решили) мы в этаком деле
(Недавно еще мы студентов нагрели)
Да здравствует славный Катков!
Больше для вас не хватает уж слов.

1886 г.

* * *

Слезы бесплодные, думы тяжелые,
Дни беспросветные, дни невеселые,
Желчь и сомнение, злоба без зла…
Кто возвратит мне святые стремления,
Жар упования, прелесть волнения?
Нет им возврата, пора им прошла.
Нет им возврата! Прошла, миновалась,
За море синее радость умчалась,
Грозно кругом надвигается мгла…

9 января 1887 г.

В МОРЕ

Собирались тучи черные,
Взбушевался грозный вал,
И в борьбе с стихией страшною
Бедный челн мой погибал.
Но сквозь сумрак туч нахмуренных
Прорвался веселый луч.
Снова в путь летит бестрепетно
Челн мой легок и могуч.

23. 2. 1887 г.

СНЫ

На площади шумной стоит над толпою,
Чернея, досчатый большой эшафот,

А рядом с помостом, волна за волною,
Гудит …….. и гневный народ.
Вдруг смолкла вся площадь, и жутко молчанье…
Послышался детский отрывистый плач –
И снова все стихло. Один в ожиданьи
По доскам помоста шагает палач.
Телега. И молча толпа раступилась,
И зверскую радость сменил робкий страх.
Я видел, как петля над кем-то спустилась,
Я видел, как билась скамейка в ногах.
Я видел: под саваном билися руки,
Я видел: раскрылись глаза широко,
Я видел последние страшные муки,
И слышен был стон далеко, далеко…
Свершилося гнусное, страшное дело.
В испуге молчал кровожадный народ.
И стадом смятенным в молчаньи несмело
Валила толпа из раскрытых ворот.

14 апреля 1887 г.

ПЕСНЬ СКОРБИ

Бывают мгновенья – хочу я любить,
Уповать и молиться,
И в сердце надежда святая в то время живет.
Но взглянешь кругом – и в душе уж сомненье,
Как змей шевелится,
И сладкое слово молитвы горячей замрет,
И горькая злоба из сердца готова излиться.
Бывают мгновенья – люблю я весь мир и
Открою объятья
Широко – доверчиво, страстно для братьев-людей,
Но встретят объятья мои ледяною улыбкою братья,
И стыдно мне станет любви беззаветной своей,
Кипит на устах ядовитое слово проклятья.
Бывают мгновенья – и скорбь, и надежда, и
Тяжкие муки,
Что в сердце я долго и скрытно от света таил,
Уж льются в волшебные, дивно-прекрасные звуки,
Но вдруг пропадет вдохновения сладостный пыл:

Все тщетно, опять на душе шевелится сомненье,
Нет звукам небесным
на грешной земле выраженья.

15 апреля 1887 г.

* * *

Миг желанный настал. Я свободен опять.
Так легко и привольно и сладко дышать!
Водворилася в сердце моем тишина,
И мила и близка мне родная страна.
Отчего же в тяжелом и трепетном сне
Ночью душной темница все грезится мне?
Отчего ж просыпаюсь тогда я с душой,
Полной мрачной, тяжелой, гнетущей тоской?
Точно жаль мне тюрьмы, где я жил и страдал,
И любил, и молил, и судьбу проклинал,
Где всю жизнь, все богатства земные людей
Променял бы на вольную роскошь степей,
Где бы отдал я все, чтоб на воле побыть
И сырую тюрьму хоть на миг позабыть

10. 5. 1887

ЗАРЯ

Заря занималась. Твой шепот невнятный,
Исполненный ласки, любви и привета,
Я слушал с восторгом в ночи необъятной,
И в час тот любил я тебя без завета.
Заря потухала. Ты мне изменила,
И ласки горячей я больше не видел,
Забыл я, как жарко меня ты любила,
И страстно тебя я тогда ненавидел.

28. 5. 1887

ЛОРЕЛЕЙ (ИЗ Г. ГЕЙНЕ)

Не знаю, что сталось со мною,
Мой немощный дух так смущен.
О нет мне сегодня покою
От сказки минувших времен.

Так воздух спокоен весенний,
Так Рейн сладострастно журчит,
Так отблеск Авроры вечерней
Далеко холмы золотит.
По глади морской необъятной,
Качаяся, лодка плывет.
В глубокой тоске непонятной
Не правит рыбак, не гребет.
Верху, где гнездятся утесы,
Сидит, вся в жемчуг убрана.
Красавица. Русые косы
И чешет, и холит она.
Красавица волосы чешет
И тихую песню поет.
Та песня чарует и нежит,
С собою куда-то зовет.
Что сталося с умной ладьею,
Никто из людей не узнал.
То знает она под скалою
Да старый, нахмуренный вал.

12. 1. 1887

НА НОВЫЙ ГОД

Темна, как ночь, и, как тюрьма, сурова
Из года в год людская жизнь течет
Без счастия, без искреннего слова
Течет она средь горя и забот

1886, 31 декабря

ГРЕЗЫ

Дни проходят, годы мчатся
Той же скучной чередою,
А желанья-грезы бродят
В голове моей толпою.
……
То мне грезятся потоки
Чьей-то крови жаркой, алой,
Чьи-то стоны и проклятья,
Сабель блеск в резне удалой.

То мне хочется безумно
Жизнью бурной наслаждаться,
То хочу за мир страдать я,
Перед миром унижаться.
То хочу труда, мучений
Неизвестных, безысходных,
Вижу я себя в темнице
Между стен сырых, холодных.

1887 г.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА (Из Г. Гейне)

Слышишь, как в лесу далеком
Ветер яростно рыдает,
Видишь, как седым туманом
Облака он покрывает,
Видишь, как кругом все мертво,
Как унылы лес и поле?
Все собой зима объемлет;
В сердце нет весны и воли.
И сосна, качаясь тихо,
На тебя с своей вершины
Величаво отряхает
Снега белые лавины.
То не снег. С восторгом видишь
Ты цветы весны душистой,
На тебя летит и дразнит
Аромат их свежий, чистый.
Пред тобой свершилось чудо –
Снова все в природе рвется
К небесам, цветет и дышит,
Снова сердце жарко бьется.

1887 г.

Стихи 1890-х — 1910-х гг.

ЗАТИШЬЕ

Н. А. Б-еву

О, эти дни! Как тихо и лениво
Они текли! Казалось часто мне,

Что я живу в каком-то полусне,
И поникал тогда я молчаливо,
Безропотно, как ива над водой,
Беспомощной и грустной головой…

Пускай глубок был мертвый мой покой,
Но приходили все же годовщины
Моей тоски иль радости былой,
И вновь я видел яркие картины
Иной поры, наполненной борьбой…
И каждый раз, как колокол дрожащий,
В моей душе, смущенной и болящей,
Звучал вопрос: куда же я иду?
Что делаю? Какие упованья
Я в исполненье в жизни приведу?
И каждый раз я чувствовал тревогу,
Я трепетал от боли и стыда,
Но ближе я стоял, казалось, к Богу
И глубже я людей любил тогда!

Но дни текли… То время миновало,
Я не волнуюсь больше, как бывало,
Когда приходит годовщина вновь
И грустную напоминает повесть,
Как гасла мысль, как засыпала совесть,
Как замирали дружба и любовь…
В моей груди, тоской опустошенной,
Нет больше сил: безмолвный ряд могил
Моя душа, мой вечер наступил,
Но не принес росы мне благовонной
И ни одной звезды не засветил!

1894 г.

* * *

И недолго шумит и бушует гроза, —
Засияет приветно ликующий день,
Засверкают лазурью опять небеса, —
Только там, где недавно прохладную тень
Дуб могучий бросал – темной рощи краса, —
Сиротливо чернеет обугленный пень…
Ненадолго судьба нас с тобою свела, —
Мы расстались, но в сердце мятежном моем

Наша встреча свой огненный след провела,
Как зарница, сверкнувши на небе ночном…
И темней, и грозней непроглядная мгла
С той поры в моем сердце больном…

1896 г.

* * *

Как море вдруг пред бурей утихает,
Смолкает ропот стонущих валов, —
И сердце эта тишь сжимает
Больней мертвящей тяжести оков.
В душе моей, предвестница
невзгоды,
Так царствует холодная тоска
И все твердит: не жди погоды, —
Быть буре, быть беде, а пристань
далека!

1896 г.

ЭКСПРОМТ

Ты мне сахар в чашку чая
Клала нежно и заботливо,
А уста твои шептали
Очень тихо, но отчетливо:
«Милый, ты ужасный лакомка:
Видишь, в чашку положила я
Целых пять кусочков сахару –
Сладко, что ли?» – «Сладко,
милая!»

Вдруг… Что вдруг? С какого неба
Гром ударил? Силы темные
Нам обоим причинили
Неприятности – огромные!..
Мы расстались… И пошла с тех пор
Одинокая, постылая
Жизнь шутливо-бестолковая…
«Горько, что ли?» – «Горько,
милая!»

1897 г.

В АЛЬБОМ Е.Д. ЛЕВЕНСОН

Что за странная пора!
Что за век теперь такой!
То вопили мы «Ура!»,
То теперь кричим «Долой!»

1905 г.

«ИЗ АЛЬБОМА МУССАФЫРА»

Ялтинский жанр.

С беспечностью кудрявого ребёнка
Сегодня поутру, чуть свет
С меджидом пронеслася амазонка
Шестидесяти лет.
Упорствуя наперекор природе
За ними тряся живот на иноходе
Почтенный член суда…
Куда!..

1908 г.

П. М. ПИЛЬСКОМУ

– Чтоб не писать безграмотные басни,
Навек угасни!
И на холме крутом
с отвагой фермопильской
Надгробный камень твой
обгадит критик Пильский.

1909 г.

К. БАЛЬМОНТ

Солнце пахнет? Это вздор!
Нет, не вздор!
Солнце пахнет травами…

Бальмонт пахнет? – Это вздор.
Нет, не вздор!

Бальмонт пахнет хлороформом,
Бальмонт пахнет йодоформом,
Бальмонт пахнет беленой,
Пахнет Бальмонт беленой!

1908 г.

БАЛЬМОНТУ

Тутрацелькатль
весь в дымных облаках
Клубится и горит… Не
Виден Кутан – Эсли…
Глядит на Бальмонта задумчивый
феллах
И кротко думает :
«Не бес ли?»

1913 г.

ТИХОНОВУ

Подписку объявил на «Кругозор»…
Подписчики ко мне ломятся скопом…
Я вру или не вру?.. Победа иль позор?!.
Хотя бы одного узреть под микроскопом!!

1913 г.

НЕКОТОРЫМ
«БЕЛЯЕВСКИМ КРИТИКАМ»

Опять о «Псише» –
– Афиша!..
Попробуй: кобеля его –
Облай его!..
Попробуй-ка Беляева…
Тс!.. Тише!..

1913 г.

БРЕШКЕ

Николай Николаич!
Все в мире прекрасно…
Жил-был некто Раич
И умер ужасно!..
Желаю, чтоб ваш смертный исход
Был наоборот!..

1913 г.

И. ЛЕБЕДЕВУ

Тоскует по тебе какой-то факультет…
Но тур-де-тет
Тебя увлек на новую дорогу!
«Шемякин… ногу!..»

1913 г.

С. И. ПЛАКСИНУ

Стой и наблюдай, прохожий:
Вот отменный кабинет,
Тут сияет медной рожей
Плаксин – цензор и поэт.
Это он – певец обедов,
Именин и царских дней,
Пьян, как десять пьяных шведов,
Глуп и важен, как лакей.

1911 г.

К ПОЭТУ
(И. А. Бунину)

Поэт, наивен твой обман.
К чему тебе прикидываться Фетом.
Известно всем, что просто ты Иван,
Да кстати и дурак при этом.

1913 г.

НОЧЬ
(на «Сатирикон»).

Ночь темна… Часы так длительны,
Не до сна… Какой уж сон,
Если даже усыпительный
Не помог «Сатирикон»!..

1913 г.

А. АВЕРЧЕНКО.

О нет, судьба тебя не обошла,
Не из последних ты на кухне барской, —
На заднице хранишь ты знак орла,
Как отпечаток пятки царской!

А. И. КАТУНУ

В кредит не шью. Поставил точку.
Обычай дружбы мне не нов.
Наденет друг штаны в рассрочку.
И нет ни друга, ни штанов.

1913 г.

МАМОНТУ ДАЛЬСКОМУ

Милый Дальский Мамонт,
Как ты близок мне!
Ты прекрасный амант,
А герой вдвойне!

1916 г.

ЭПИГРАММА

Не тем я угнетён,
Что Пушкин благороден,
Что солнце яркое сменяет
дождь и гром,

Но собирательный,
Зачем же пишет Годин
О божьих чудесах сосновым
языком.

1916 г.

СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ ВЕСНА

Сорок четвёртая весна,
Смиряюсь я пред неизбежным…
От зимнего очнувшись сна,
Опять хочу быть страстным…
нежным…
Ах! С каждым годом всё живей
Я слышу аромат фиалки,
Но радости весенних дней
Хоть упоительны, – но… жалки!..

1914 г.

ДВОРЦОВАЯ ЛЕГЕНДА.

(перевод из Гейне)

Есть в Берлине, в замке старом,
Группа в мраморе одна:
С жеребцом, пылая жаром,
Пала некая жена.
Говорят, что эта дама
Забрюхатела, и вот,
Возвеличился из срама
Королевский прусский род.
Чистокровный прародитель
Оказался молодцом –
Каждый прусский повелитель
Так и смотрит жеребцом.
Речи их текут из стойла,
Смех их – ржанье, мыслей – нет,
Вся их жизнь – жраньё и пойло,
Человека вымер след.

1914 г.

ТРИ ДРУГА

Важный, толстый, краснолицый, как
луна,
Брат Джокондо рек на дружеском
совете:
«Убежден, что слаще всяких мяс
на свете
Это мясо каплуна».
Длинный, тонкий, как церковная
колонна,
В базилику взор задумчивый вперяя,
Возразил брат Луно: «Я ж
предпочитаю
Мясо тепленькое донны».
Брат Леон чуть-чуть помедлил для
ответа,
Ласково рукой погладил свой бокал
И внушительно конклюзиум сказал:
«Обожаю то и это!»

1915 г.

КАПРИФОЛИЙ

Сонет
Из Стекетти

Иду я от тебя. Ночь. Темнота.
Молчанье.
Огнями быстрыми играют светляки.
Я на руке ещё ловлю благоуханье
Твоей пылающей и трепетной руки.
Вчера прощались мы, пьянея от лобзанья,
Сегодня разошлись, поспорив, как враги.
Но завтра снова страсть, и ласки, и желанья…
Я счастлив. Я один. Во тьме мои шаги
Звучат,
как музыка. Гирлянды каприфолий
Струят свой чувственный, свой пряный аромат.
Сжимается душа от сладкой томной боли,

Я счастлив. Я люблю без разума и воли
И рабству милому я бесконечно рад.
Моя темница – рай, мой плен
душистый сад.

1915 г.

ДИССОНАНСЫ
(Подражание новым)

Вас смешил вид климовой подоплеки,
И рабочий пот был грубей, чем Prima Vera
На балконе, за чаем, у себя, в Териоки
Вы читали Поль де Кока и Дюма – реге' а

Мы вас угощали майскими бутербродами
Вы мычали задумчиво: «ньям – ньям»
И сказали: «Прокислыми свободами
Неужели быть сытыми и пьяными нам?»

Мы тебе показали оголение,
Невинных старцев садический сад,
Но корректное новое поколение
Мудрее, чем камень заберзат!

Для тебя мы воскресили пасторали,
Водрузив тебя в красного дерева кресла,
Вновь фригийских пастушков свирели заиграли
И буйный хмель обвил твои жидкие чресла.

Утешить ли тебя оккультизмом?
Черной мессой? Нирваною? Загробным миром?
Ты все пожрешь и переваришь с цинизмом
И обзовешь нас бесноватым клиром.

Через века и народы в пыли влачится искусство.
Шут или царь, бог или комедиант –
Всегда ложится, смеясь, на ложе Прокруста
Окровавленный, гордый и чуткий талант.

Будь проклято несбывшееся желание.
Трижды проклят бесплодный мечтатель.
К чертовой матери услуги и кривлянья.
Requiescat in pace, обыватель.

Но в час, когда вы поднимете черные стяги,
Мы запляшем под бубны, с хулою на устах,
И в дни утопий стрелами из бумаги
Разрушим ваши карточные домики в прах.

1916 г.

О, НЕ КЛЯНИСЬ (Из Г. Гейне)

О, не клянись, целуй меня!
Не верю женским клятвам я.
К чему слова? Вернее их
Огонь и трепет уст твоих
Докажут мне, что я любим.
А клятвы? Клятвы – ложь и дым.

1916 г.

ПАПСКАЯ ЭНЦИКЛИКА

Говорит реклама: «Дивная тинктура!
После первой смазки обрастет тонзура,
И тотчас же станет волос твой волнистым,
И, как шелк, блестящим, и притом душистым.
Всех светил науки мудрое собранье
Очень одобряет! Бойтесь подражанья!»
Говорит наш папа: «Средство лишь для верных!
Ото всех болезней, даже и от скверных!
Сильных укрепляет, слабых послабляет,
Что отец святейший сим и заверяет!
Требуйте из Рима! Верьте автографу!
(перевод по почте иль по телеграфу)».

1916 г.

СМЕРТЬ ОСЛА
(Из Лоренцо Стеккетти).

Перевод посвящаю синьору
Джиакомо Чирени.

I.

Смотрите. Осел, чуть живой, изнуренный,
Избитый, хромой, еле движет ногами,
Свой груз непомерный влачить полусонно,
Пыль знойную жадно хватая ноздрями.

Над острой спиною, трудом искривленной,
Жужжат овода и садятся роями
На жалкий ослиный хребет изъязвленный
И жалят несчастную кожу с костями!

Последние силы… Толчок напряженный…
И с дрожью предсмертной, с тупыми глазами,
Он грудою пал на песок, раскаленный.

Зеваки на падаль сбежались толпами.
Погонщик-убийца, ничуть не смущенный.
Смеется и молвит: «пойдет на салями».

II.

И я, как осел, изнурен до упада,
Как скот подъяремный, дрожу от страданья,
Влачу я свой груз чрез ущелья и гряды
По кручам, обрывам, теряя сознанье.

Горят мои язвы, мучительней ада,
И мысли о прошлом их жалят с жужжаньем.
Душе и уму утешений не надо,
В истерзанном сердце нет больше желанья.

Ко мне не вернутся с беспечной отрадой
Любовь и веселье, и радость дыханья.
Я пал, я судьбою добит без пощады.

Друзья, наступила минута прощанья!
Друзья, я ловлю ваши нежные взгляды!..
Да, фарс мой ужасный пришел к окончанью!

1916 г.

ЖЕНЩИНА (Пророчество)
Сонет

*З*агадка Вечная, богиня и раба,
Звезда мечтателя, кровавый пир Спартака,
Из-за Тебя одной всегдашняя борьба,
Где Homo sapiens – то гений, то собака.

Ты – мира колыбель, исходная тропа,
Ты, омлечившая созвездья Зодиака,
Сильнее смерти Ты, и, как судьба, слепа,
Твой аромат пьянит, подобно зернам мака.

Но – мудрая в душе, живучей, как змея,
Ты тайно сберегла всю мощность бытия,
И в черный страшный час бессилья и упадка,
Над миром вновь взойдешь, свет утренний лия,

И нам, Твоим рабам дрожащим, будет сладко
Тебя короновать, о, Вечная Загадка!

1916 г.

ЭКСПРОМТ

Софье Долидзе.

Ты недоступна и горда,
Тебе любви моей не надо.
Зачем же говорят мне «Да!»
И яркость губ, и томность взгляда.

Но ты замедлила ответ.
Еще минута колебанья…
И упоительное «Нет!»
Потонет в пламени лобзанья.

1916 г.

ДНЕВНИК УЩЕМЛЕННОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА

1 мая.
Съел рояль, ковры, картины,
Крайне редкие офорты,
Съел оконные гардины
И прадедовы ботфорты.
Если завтра не случится
Сверхъестественное чудо,
Впору будет удавиться!
Ждать поддержки – неоткуда.

1 июня.
Променял почти задаром
Рединготпедрико-серый
И пошла за грош татарам –
Ах! – le saber de mon pere.
Что в грядущем? Мрак и голод.
Дохожу до отупенья.
В голове какой-то солод
И во рту слюнотеченье.

1 октября.
Нету дров. Топлю буфетом.
И прокатным гардеробом.
Дело плохо было летом,
А зима запахла гробом.
Мародеру-милльонеру
Я спустил библиотеку
И купил дуранды меру
И кобылячью осеку.

20 октября.
Как мне страшно! Как мне жутко!
Пожевать бы хоть бумажки!
Съедена до тла Бижутка,
Завтра жребий кошки Машки.

25 октября.
Очень, очень, очень худо…
Я… мне кажется… Иуда…

1 ноября.
Я пошел в одну контору
Подписал одну бумагу
И, согласно договору,
Продал честь свою и шпагу.
Дали мне пяток селедок,
Четверть фунта жаровара,
Корки каменный обглодок
И воды для самовара.
Пусть ценою отреченья –
Но набью сегодня брюхо
И услышу в нем броженье
Столь приятное для слуха.

Дворянин Валериан Задушкин.
(Списал А. Куприн).

1918-1919 гг.

АЭРОПЛАН

Испуская рёв дрожащий,
Мысль и слух глушит мотор.
Охмеляет бег скользящий.
Ветер, яростно свистящий,
Затуманил жадный взор.

Нет предела для стремленья.
Воплотилась в явь мечта.
О, воздушное движенье!
Крови бурное кипенье!
Бесконечность! Красота!

Всё бежит, бежит под нами:
Рельсы, нивы и леса…
Неподвижными орлами
Мы летим меж облаками –
В голубые небеса.

Всё сокрылось: церкви…крыши…
Мир – сияющий чертог!

Друг пилот, смелее, выше!
Эй, вы, там, земные мыши,
Надо мною – только Бог.

1920 г.

НА КЛАДБИЩЕ
(Из Коскенниеми)

Не сомкнёт своих усталых глаз
Ночь июньская, на землю опускаясь,
А цветы кладбища в этот час
Чутко дремлют, в думу погружаясь.

Счастье, страсти… всё, чем жизнь полна,
Всё звучит здесь позабытой сказкой.
Нежная склонилась тишина
Надо мною с материнской лаской.

Чую я внимательной душой,
Как проходит тихо чрез кладбище
Та, что и меня возьмёт с собой
В вечное, спокойное жилище.

1920 г.

S. W.

В. Н. Филаретову.

Кто там нынче на небе кутит
В разгуле царственной, грозной тоски?
Гонит тучи, громоздит их, крутит
Свивает, треплет, рвет на куски.

Вырастают из бездн снеговые вершины,
Колесницы, драконы, острова и зданья…
Бородатые, косматые джинны
Летят по ветру, разметав одеянья.

Ветер! Бродяга буйный и кроткий!
Это ты сегодня опьянил небеса,

Закачал в заливе зыбкие лодки
И заставил плясать паруса.

Ветер! Насмешливый и нежный изменник!
Это ты слезами оросил мои веки…
Куда ты зовешь? Я в тюрьме, я пленник,
И не отдать мне паруса вовеки, вовеки!

1920 г.

ЗАКАТ

И.И. Максимову

Розовая девушка с кораллами на шейке,
Поливает бережно клумбу резеды.
Радугой пронизан сноп воды из лейки,
И дрожат от радости мокрые цветы.

Ласточки веселые над пламенем заката
Чертят черной молнией голубую даль…
Отчего ж душа моя печалью странной сжата?
Отчего мне вечера весеннего так жаль?

Ласкою мгновения я больше не обманут.
Знаю я: весенние вечера пройдут…
Улетят все ласточки, все цветы завянут…
Розовые девушки состарятся… умрут.

1920 г.

В АЛЬБОМ М. С. ЦЕТЛИНОЙ

Пускай из моды вытеснен альбом –
Он для меня как дедушка любимый:
Прелестная есть старомодность в нем
И дух любезности – неповторимый.

1920 г.

ЭПИГРАММА

Я думаю: А жив ли Лазаревский?
Зачем доселе к нам не кажет глаз?

Влюблен ли по уши сатир наш Невский?
Иль сплетню съел в один недобрый час?

1922 г.

КТО ОН?

Он Алексей, но… Николаич,
Он Николаич, но не Лев,
Он граф, но, честь и стыд презрев,
На псарне стал Подлай-Подлаич.

1928 г.

СТРАНИЧКА ИЗ АЛЬБОМА.
Л.Я.Л. (Лидии Яковлевне Липковской)

Я помню Мариинского театра
Роскошный зал, в сверкании огней
Блеск шелка и парчи и золото мундиров,
Духов парижских тонкий аромат
И вееров ленивое движенье,
Пластронов белизну и тысячи голов.
Открыта сцена. Парк на заднем плане.
За рампою плейелевский рояль,
За ним лохматый аккомпаниатор
Тревожно ждет условный легкий знак.
Певица медленным обводит взором
Партер и ложи. Как она мила!
Она вся в белом. Белые перчатки
И туфельки, и веер. Только
Краснеет жарко роза, роза в волосах…
Еще одно мгновение, и звуки
Необычайной сладости текут.
Текут как солнца золотая радость,
Как песня соловья… И замолчал
Притихший зал, восторгом очарован
И потрясен…
Ты помнишь?

*(11 дек. 19** год. Петроград)*

МИНИАТЮРА

В старинные века любить еще умели
Без меланхолии и без корыстной цели,
В лесах, полях, лугах, без церемоний.
Об этом ясно говорит
Тацит
И друг его Светоний.
Теперь не то: законный брак,
Тесть, теща, деверь и свояк,
Любовница на стороне...
Нет! Это не по мне!

МОЙ ПОРТРЕТ

(Из Стекетти)

Я знаю триумфы и свист разъяренный,
Удары и ласки, поцелуй и мученье.
Яд мысли и слова – этот яд утонченный,
И отдых сладкий после сраженья.

* * *

Пускай моя память на путь, мной
пройденный,
Назад озираясь, не хочет забвенья.
Да! Жадно глотками пил я жизнь,
восхищенный.
Но брошу бокал мой без сожаленья.

* * *

Невольно порой вспоминаю волненья
Годов уходящих в мираж отдаленный.
Но тих мой покой, ничем не смущенный.
На дне бокала нет огорченья.

1915–1930 гг.

ПРИМЕЧАНИЯ

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ (1893-1936 гг.)

Ночью.

Рассказ с подзаголовком «этюд» опубликован в газете «Киевское слово» от 31 августа 1893 г. под криптонимом «А. К.» Позже с некоторыми сокращениями напечатан в Литературной газете. – 1970. – 7 сентября (публ. Т. Цященко).

По замыслу и исполнению рассказ примыкает к серии полесских новелл: «Лесная глушь», «Олеся», «Серебряный волк» и др. Для молодого Куприна чрезвычайно характерен прием «рассказа в рассказе», использование фольклорных мотивов, интерес к романтическим характерам, народной легенде, хранящей память о мрачных и героических событиях прошлого.

Рассказ печатается по публикации Т. Цященко.

Элегии в прозе.

Цикл состоит из четырех рассказов: «Ночь в Гурзуфе», «Две матери», «Успех», «Одиночество».

Впервые элегии напечатаны в «Журнале для всех». – 1902. – № 5, под криптонимом «А. К.».

Любовь Армана и Генриетты (Пародийный роман).

Впервые напечатан в газете «Свободные мысли». – 1908. – № 49. В советский период – в журнале «Вопросы литературы». – 1963. – № 10 (публикация Л. Усенко); «Вопросы литературы». – 1973. – № 9 (публикация В. Терезина).

Представляет собой лаконичную и остроумную пародию. Куприн, определяя ее жанр, в подзаголовке употребляет слово «роман», т.к. по форме сочинение, действительно, напоминает конспект целого романа. Куприн пародирует наиболее характерные черты переводной бульварной литературы, высмеивает шаблонные приемы внешней характеристики героев, ложный психологизм, мелодраматические эффекты, свойственные бульварным переводам, и претенциозный стиль бессодержательной литературы.

Печатается по публикации в журнале «Вопросы литературы». – 1963. – № 10.

Жонглер Богоматери.

Перевод рассказа А. Франса. Вошел в сборник: Анатоль Франс. Рассказы. Спб. Издание т-ва «Общественная Польза», 1909. Наряду с Куприным в сборнике принимали участие: К. Бальмонт, Ф. Батюшков, В. Ладыженский, Е. Ляцкий и др.

В письме к Батюшкову от 3 августа 1908 г. из Ессентуков Куприн сообщал: «Анатоля Франса уже перевел и отослал. Надстрочный перевод

много мне затруднил работу». Позже, как свидетельствует письмо от 15 ноября 1910 г., Куприн надеялся вставить перевод в 6 том своего собрания сочинений. Положительными моментами купринского перевода является стремление к ограниченному употреблению галлицизмов, подбор удачных русских эквивалентов (вместо часто употребляемого в других переводах имени главного героя Барнабе, Куприн именует его Варнавой). Само название рассказа А.Франса (1892) переводили до и после Куприна как «Акробат», «Паяц», «Барнабе», что никак не отражало смысл произведения, наполненного не столько цирковой темой, сколько христианскими мотивами.

Печатается по первой публикации.

– *«Dixi de ventre matris meae: Deus meus es tu» (Psalm 21, 11)* – (лат.) «От чрева матери моей ты бог мой» (Псалом 21. 11).

– *Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят* – шестая Заповедь Блаженств (Мф. 5. 8).

Сирень.

Миниатюра. Датируется 1911 г. Место первой публикации не обнаружено. По сообщению Ксении Александровны Куприной, очерк был подготовлен для гатчинской газеты, когда писатель стал постоянным жителем Гатчины, купив там 17 мая 1911 г. дом. В рассказе «Обыск» (1930), который позже Куприн включил в «Шестое чувство» (1934), он называет Гатчину «посадом Сирень» за «мощный, волнистый сиреневый прибой». Этой особенности городка и посвящен очерк-миниатюра.

Печатается по публ. в газ. «Гатчинская правда». – 1962. – 12 сентября (публ. К.А. Куприной).

Три буквы. Коллективный роман.

Фантастико-приключенческий роман-буриме под названием «Три буквы» задуман в 1911 г. редакцией «Синего журнала» как коллективное беллетристическое произведение, отдельные главы которого должны были написать разные лица. Соавторами были заявлены: А. Куприн, И. Потапенко, Вас. Немирович-Данченко, А. Аверченко, А. Каменский, Н. Тэффи, А. Измайлов, О. Дымов, А. Будищев, И. Ясинский, П. Гнедич, А. Рославлев. 12 февраля 1911 г. редакция «Синего журнала» сообщила о предстоящем печатании «сенсационного» романа как «шуточном литературном подарке», которым «испытанные беллетристы» развлекут читателя и, «может быть, сорвут венец с главы автора «Рокамболя». Предполагалось, что это будет фантастический детектив в духе многотомного романа Понсона дю Террайля. Куприным были написаны и сданы в редакцию журнала первые четыре главы. Они носили названия: «Кровавая мышеловка», «Роковой бриллиант», «Судьба», «Древнееврейская буква». По пересказу содержания, сделанному В. Регининым (Синий журнал, 1911, № 19), можно предположить, что сюжет Куприна о бриллианте с магическими буквами-заклинаниями впоследствии лег в основу повести «Звезда Соломона». В редакционном объяснении говорилось о главах, написанных

мастером: «Блестят искорки купринского юмора, мелькают характерные черточки его “быта”, остроты и меткие наблюдения». По утверждению корреспондента В. Регинина, в фантастическом детективе Куприну принадлежит несколько ярких и увлекательных рассказов об американском сыщике Нате Пинкертоне. Ожидалось, что после того, как каждый из соавторов напишет по одной главе, Куприн закончит начатый им роман. Однако продолжения романа не последовало: проект был закрыт редакцией журнала. Из четырех глав, написанных Куприным, были опубликованы только две начальные: «Кровавая мышеловка» (Синий журнал, 1911, № 14); «Роковой бриллиант» (Синий журнал, 1911, № 15).

– *карамба* – (исп.) черт возьми! (ругательство).

Печатается по первой публикации.

Тараканья щель.

Рассказ. Впервые опубликован в журнале «Современный мир». – 1913. – № 12. Затем вошел в XI том Собрания сочинений (Московское книгоиздательство, 1914). В эмиграции переработан и напечатан под названием «Бубен неуемный» с подзаголовком «Рассказ старого беженца» – см. ниже примечания.

Печатается по первой публикации.

Бубен неуемный: Рассказ старого беженца.

Переработанная редакция раннего рассказа «Тараканья щель». Напечатан в журнале русской эмиграции «Иллюстрированная Россия», Париж. – 1931. – 25 декабря. – № 346. Название совпадает с названием повести А. М. Ремизова «Неуемный бубен» (1909), в которой автор проводит исследование юродства как феномена христианства.

Прототипом главного героя рассказа Куприна является известный режиссер Московского художественного театра Леопольд (Лев) Антонович Сулержицкий (1872 – 1916) – театральный деятель, литератор и художник, входивший в круг знакомых Куприна. Современники причисляли Сулержицкого к «идейным странникам». Разносторонне одаренный человек, Сулержицкий занимался общественной и политической деятельностью, активно выступал против самодержавия, подвергался арестам и ссылкам. После 1905 г. отошел от революционных кругов и отдался идее морального переустройства мира. Входил в число друзей семьи Л. Н. Толстого и по его просьбе организовывал отправку духоборов с Кавказа в Канаду. В Ялте был участником колонии в Баты-Лимане вместе с другими деятелями культуры и писателями: И. Билибиным, Е. Чириковым, С. Елпатьевским и др. Подружился с Чеховым, сблизился с Московским художественным театром, с 1905 г. – режиссер, помощник К. Станиславского. Занимался литературной деятельностью. Автор произведений: «Дневник матроса» (1902 – 1905), «Путь» (1906).

Воспоминания о Л. Сулержицком оставили Л. Андреев, М. Горький и др. Горький дал блестящую характеристику: «Сулер – какая-то восхитительно-вольная птица чужой, неведомой страны. Сотня таких людей,

как он, могли бы изменить и лицо и душу какого-нибудь провинциального города» (Горький А.М. Собр. Соч. в 30 томах. — М., 1951, т. 14, с. 254). Куприн сохранил некоторые биографические черты, портретное сходство, уловив важнейшую особенность импульсивной романтической души Сулержицкого и подчеркнув в нем идею страстного народолюбия.

Вторая редакция рассказа отличается от первой не столько отдельными деталями, сколько оценкой судьбы главного героя. «Тараканья щель» писалась в 1913 году, до смерти Сулержицкого, и насыщена некоторой иронией по отношению к эксцентричному современнику. Вариант 1931 г. окрашен в более элегические тона. Если ранее поступками героя руководило «беспредметное гражданское негодование», то в поздней редакции в основе необычного поведения – «жажда гражданского правосудия». В окончательном тексте усиливается демократизация персонажа: так в юности из полка он вышел не «по какому-то нелепому случаю», а из-за «столкновения с членом императорской фамилии»; он выступает редактором не «ходкой газеты», а «Народной газеты» и т.д. Сохраняя иронически доброжелательную характеристику эксцентрической жизни героя, Куприн яснее обозначает мотивы благородного рыцарства и свободолюбия. В «Тараканьей щели» говорилось о том, что «каждый шаг русской общественной жизни отражался в нем, как в зеркале, но в каком-то смешном зеркале…». В «Бубне неуемном» автор сближает героя с всемирно известными гуманистами: «Было в нем нечто от доброго, храброго рыцаря и, отчасти, от Дон-Кихота… Со скромной искренностью давал он помощь и опору всем униженным, обиженным, слабым, нищим…» Все эти изменения значительно приближали характер купринского героя к его реальному прототипу, гуманисту и демократу по самой сути натуры.

Вместе с тем в «Бубне Неуемном» было опущено два следующих важных эпизода из биографии героя. «И вот наступает сравнительно спокойное время. Открывается русский парламент, и мой добрый Черный Таракан с бешеной скоростью мчится в какую-то губернию, достает где-то сомнительные деньги, покупает землю, необходимую для выборного ценза, и ровно через год, сидя на хорах Таврического дворца, я слышу, как он говорит громовую речь, направленную, во всяком случае, не в пользу правительства. Признаюсь, по воспоминаниям юности, у меня сохранилась какая – то бережная нежность к нему, и, слушая его, я все время опасался, что вот войдут солдаты и тюремщики, и наложат на него ручные и ножные кандалы, и отведут в маленькую, узкую, казенную квартиру».

«Часто по вечерам, оставаясь один, я раздумывал о судьбе этого поразительного человека. «Что влекло его ко всем этим странным, скажем, видоизменениям? Неужели,– думал я,– это отголосок специально русско-татарской непоседливости и влечение к бродячей жизни? Или это просто неустойчивость духа, так глубоко свойственная натуре нашего прекрасного народа?» И тотчас же возражал сам себе, что этот человек – трезв, целомудрен, вегетарианец, не курит. Но в тоже время я не могу его признать сумасшедшим. И вот через несколько месяцев начинается балканская война – война, вероятно, самая жестокая из всех, которые были в мире. С

громадным изумлением читаю я в газетах, что наш пострел везде поспел, и мой друг, Черный Таракан, находится в рядах болгарских войск. Тогда я начинаю интересоваться его судьбою. Через некоторых знакомых устанавливаю телеграфные сведенья о нем. Но нет! Он, как говорится, точно в воду канул. «Доигрался, – думаю я, – вероятно, лежит где-нибудь во рву или в волчьей яме, придавленный десятками трупов, или, может быть, валяется в поле, с отрезанными ушами и носом, с выколотыми глазами, или, может быть, давным-давно обратился в гниль и в прах?»».

После текста письма героя в «Тараканьей щели» следовала концовка, отсутствующая в «Бубне Неуемном». Между тем она важна авторским отношением и оценкой смиренного конца героя, с которым Куприн внутренне спорит и не соглашается: «Ну что же? Дело прошлое. Я расплакался над этой весточкой, пришедшей бог знает из какой страны. И умилила меня не так судьба моего друга, как судьба всего нелепого, мятущегося, чего– то ищущего русского народа. Да и правда. Не был ли он самым верным, самым типичным его представителем? Я вообразил себе его – бывшего бретера и наездника – сидящим в келье, питающимся одной просфорой в сутки, спящим в кипарисовом гробу, который он сам себе сделал своими руками и, что ужаснее всего, молчащим – его! Неуемного, неугомонного человека!»

Печатается по первой публикации.

– *бретёр* – заядлый дуэлянт, искатель приключений, драчун, ищущий случая придраться для вызова на поединок.

– *гонведская кавалерия* – от венгерского «гонвед» – защитник. Старое название венгерского войска. В годы Первой мировой войны гонведская кавалерийская дивизия входила в состав австрийских войск.

– *пензенский мужик, мордвин, чудь, весь…* – название ряда финно-угорских племен и народов, составляющих прибалтийско-финскую группу (весь, сумь, чудь, меря, мурома, мордва)

Врачебная этика.

Рассказ. Впервые опубликован в газете «Вечерние известия». – 1916. – № 957. – с подзаголовком «Документ»; затем в журнале «Новый Сатирикон». – 1916. – 15 апреля. – № 16; в журнале «Сура», Пенза. – 2000. – № 3 (публ. Л. А. Трушиной).

В основе рассказа переработанный очерк «Доктор» из цикла «Киевские типы» (1895).

– *в романах <…> знаменитого Брешки* – Н. Н. Брешко-Брешковский, русский писатель, автор многочисленных романов, входил в число друзей Куприна.

Печатается по: «Новый Сатирикон». – 1916. – № 16.

Листригоны. Книга II.

Два очерка «Междусловие» и «Светлана», написанные в 1916 – 1917 гг., предназначались автором для второй книги «Листригонов» (во второй книге Куприн пишет более правильно «Лестригоны»). Сохранились толь-

ко семь листков, исписанных характерным купринским почерком, с правкой и небольшими вставками (ИРЛИ. Ф. 242). Они содержат вступление, названное Куприным «Междусловием» (к сожалению, начало его утрачено), и следующий за ним очерк «Светлана», обозначенный порядковым номером «Х» (первая часть «Листригонов» содержит восемь очерков, девятым Куприн, очевидно, посчитал «Междусловие»). Окончание «Светланы» тоже утеряно. В эмиграции Куприным написан рассказ с таким же названием, опубликованный в 1934 году (см.: А.И. Куприн. Собрание сочинений в 10 т. М.: Воскресенье. – 2007. Т. 7). Есть некоторое сходство между очерком «Светлана» и рассказом. Изображается одно и то же событие – ремонт и спуск на воду баркаса «Светлана». Действуют одни и те же герои – балаклавский рыбак Коля Константи, мальчишка Христо (в рассказе – Спиро); общее место действия – Балаклава. Различия ощущаются в стилевой окраске: ранний вариант произведения отличается ярким языком, точностью деталей и подробностями балаклавской жизни, акцентировкой на эпизодах, которым в позднем рассказе уделены одна-две фразы, часто в другом освещении. Очерку сопутствует иная эмоциональная окрашенность, более сочная, пронизанная светлым купринским юмором. Все это приглушено в рассказе, созданном на склоне лет в гнетущих условиях эмиграции, когда многое забывалось. Своеобразным эпилогом ко всему листригонскому циклу служат позднейшие купринские произведения: рассказы «Гусеница» (1918) и «Светлана» (1934), очерк «Сильные люди» из цикла «Мыс Гурон» (1929).

— *Коля Константи* – Николай Петрович Константи, балаклавский рыбак, грек по происхождению, владелец и атаман рыбачьего баркаса «Светлана», герой первой и второй части «Листригонов», а также рассказов «Гусеница» и «Светлана». Входил в число близких друзей писателя, состоял в переписке с Куприным. Из письма, включенного Куприным в очерк, следует, что под присмотром Константи находился земельный участок, приобретенный писателем в Балаклаве (одно время он собирался выстроить там дом и поселиться постоянно). Судя по упоминанию о Риге, письмо относится, вероятно, к 1909-1910 годам, когда Куприн лечился там в частной клинике.

– *«Bel ami»* – (франц.) «Милый друг».

Печатается по публ. в журнале «Нева». – 1970. – № 9 (публ. П.П. Ширмакова).

Гатчинский призрак.

Рассказ. Впервые опубликован в газете «Петроградский голос». -1918. – №№ 36, 37. – 17, 19 марта; затем в сборнике «Елань» (Белград, 1929); ж. «Неман». – 1989. – № 5. (Публ. Ф. И. Кулешова). Сохранился автограф в архиве Куприна (РГАЛИ. Ф. 240. Оп.1. ед. хр. 23).

Фантастически-гротескная «выдумка» – беседа комиссара Гатчинского дворца с призраком императора Павла Первого носит ярко выраженный злободневнй политический подтекст и является продолжением и обобщением газетных выступлений писателя. Автор размышляет о формах влас-

ти и формулирует свою мысль, которую будет развивать в антибольшевистской публицистике: нельзя загонять в рай прикладами.

В письме к А. А. Измайлову от 19 марта 1918 г. Куприн упрекал редакцию «Петроградского голоса» в сокращении текста: «Ах, зачем вы переполовинили «Гатчинский призрак»! Ведь он и весь-то с воробьиный нос».

Публикуется по: Куприн А. И. «Елань» (Белград, 1929).

Старость мира.

Рассказ. Напечатан в журнале «Огонек». – 1918. – № 17. – 30 (17) июня с иллюстрациями художника С. Лодыгина и портретом писателя. Опубликованный в последнем номере прекратившего свое издание «Огонька» рассказ позднее ни разу не был включен в сборники или Собрания сочинений и остается малоизвестным.

Специфика происходящих событий революционного времени обусловили их пессимистическое восприятие и особое звучание художественного творчества писателя. По содержанию и по общему своему стилистическому колориту рассказ исключительно безотраден и мрачен. В нем нашли выражение характерное для Куприна противопоставление сильного и красивого человека далекого прошлого современному измельчавшему жителю больших городов, и отрицание плодотворности технического прогресса, мрачные прогнозы о будущем человечества. Писатель видел мир не освеженным великой революцией, не обновленным, как рисовался он стоящим по другую сторону, а забрызганным кровью мятежа и переворота.

В рассказе возникает мотив Апокалипсиса, катастрофичности бытия с эсхатологичным образом планеты, как песчинки, несущейся по таинственным спиралям в страшную, безвестную и бесконечную пропасть, с образом «вихря урагана», водоворота. К рассказу Куприна в «Огоньке» давался рисунок С. Лодыгина, изображающий ужасный водоворот-спираль, всасывающий весь окружающий мир. Этот мотив найдет продолжение в публицистике периода эмиграции. В предисловии к книге В. фон Дрейера «Крестный путь во имя Родины» (1921) Куприн повторяет образ «старости мира» – Россия представляет собой зияющую, втягивающую пустоту.

Печатается по первой публикации.

Тришка Будильник.

Фельетон впервые напечатан в вечернем выпуске газеты «Петроградское эхо». – 1918. – № 71. – под названием «Недоразумение» с подзаголовком «Гротеск» и за подписью «А.К.». С новым наименованием «Тришка Будильник» вошел в авторский малоформатный сборник «Тришка Будильник» (1919). С заглавием «Недоразумение» печатался в книге: Куприн А.И. Золотой петух. Повести, рассказы, публицистика. – М.: Панорама, 1999.

Тема честности, опрятности власти поднималась Куприным в статье «Все качества» (1918). Автор говорил о недопустимости слияния власти

с преступными элементами. Рассказ представляет собой фантастический гротеск. Речь вора Тришки Будильника изобилует жаргонной лексикой.

– *селдоним* – псевдоним.

– *адамантовые убеждения* – т.е. твердые убеждения. Адамант – вымышленное вещество, ранее означало алмаз, бриллиант; у древних греков – металл, сталь.

– *вроде греческого омикрона* – буква греческого алфавита.

– *мерси* – (франц.) спасибо.

– *коки в оки втирать* – (жарг.), карточный шулерский прием, обман (шулер во время игры вклеивал, втирал «очко» или замарывал его особым белым порошком.

– *признал фартового* – (жарг.) фартовый, т.е. удачливый, кому все сходит с рук.

– *стырить* – (жарг.) украсть.

– *маруха* – (жарг.), любовница, сожительница, содержанка вора.

– *икряного фрайера* – (жарг.), икряный, т.е. богатый, имеющий при себе деньги; фраейр – (жарг.) свободный, вольный.

– *ошманал* – (жарг.) обыскал.

– *ни тинь-тилили* – (пермский диалект, поговорка) совсем ничего, нисколечко.

– *романовские катеринки и петровки* – бумажные деньги, имевшие хождение в царской, «романовской», России. «Катеринка» – сторублевая банкнота с изображением Екатерины Великой. «Петровка» – пятисотрублевая банкнота с изображением Петра Великого. В 1918 г. романовские деньги были в большом количестве отпечатаны большевиками, так как такие деньги пользовались у населения большим доверием, чем «керенки» и др.

– *работа вышла клевая* – (жарг.) хорошая.

– *тереть волынку* – (жарг.) лгать, обманывать.

– *какой-нибудь партач* – (жарг.) новичок, неумеха, не обладающий воровскими навыками.

– *пополам дуваню* – (жарг.) делить добычу

– *валять петрушку* – (жарг.) корчить дурака, дурачиться, притворяться.

– *на гранд меня взял* – (жарг.) на грабеж.

– *мотя* – (жарг.) доля краденого.

Печатается по: Куприн А.И. Тришка Будильник (1919).

Каломель.

Рассказ. Впервые напечатан в газете «Свободные мысли». – 1918. – 28 октября. Затем Куприн включил рассказ-фельетон в малоформатный сборник «Тришка Будильник» (1919). Печатался в сборнике: Куприн А.И. Золотой петух. Повести, рассказы, публицистика. – М.: Панорама, 1999.

– *каломель* – от греч. – красивый и черный. Хлорид ртути (хлористая ртуть) представляет собой белый порошок, при действии едких щелочей или аммиака чернеет. Применяется в технике, пиротехнике и в медицине в качестве противовоспалительного средства.

– *cadaver est* – (лат.) труп есть

Печатается по: Куприн А.И. Тришка Будильник (1919).

Письма Наташе.

Роман в письмах. Послания написаны в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки, столица Финляндии) в период пребывания Куприна в эмиграции, на что в них есть прямое указание. Время написания – весна 1920 г. Адресатка по имени Наташа неизвестна. Письма носят отпечаток некоторой шутливости. Опубликованы в газете «Литературная Россия» (1970, 1 января) Е.С. Хохловым, входившим в круг знакомых Куприна. По сообщению публикатора, письма были напечатаны в парижском ежемесячнике, но сам Хохлов пользовался приобретенной у букиниста в Париже рукописной книжечкой, в которой почерком Куприна были сделаны эти записи под криптонимом «А.К.» По мнению Хохлова, «пламенные письма к Наташе – сплошная беллетристика, но по-купрински прекрасная и сочная». Составитель настоящего сборника также считает, что на эти письма с вкрапленными в них стихами следует смотреть не как на эпистолярное наследие писателя, а как на некое беллетристическое произведение в форме «романа в письмах».

1-е послание представляло собой шуточную записочку в форме четверостишия. Эпистола под № 6 не является письмом в обычном значении этого слова. Это написанное рукой Куприна стихотворение.

– *Ashatan* – имя Наташа, написанное наоборот.

– *Alexanderinkatu* – улица Александровская в Гельсингфорсе.

– *A propos, на большом пальце правой руки Вы слишком много обнажаете маникюром ноготь* – (франц.) – кстати.

– *Вот мои стихи о музее < > На дворе и шум, и блеск весенний* – стихотворение «В этнографическом музее» создано в период эмиграции в Финляндии, опубликовано в газете «Новая русская жизнь» (Гельсингфорс). – 1921. – 30 июля. – № 171.

– *номады* – кочевники.

– *до прелестных севрских bagatelles* – безделушки. Куприн имеет в виду фарфоровую мелкую пластику, которую производили в г. Севре.

– *mademoiselle* – (франц.) – барышня, девушка.

– *Oh! Vous souvenez vous ce soir…* – О, вы помните этот вечер...

– *далека от bas bleu* – синий чулок.

– *Мы еще не видели музея на о. Ф…* – название острова в рукописи неразборчиво.

– *она за Ремингтоном* – первая печатная (пишущая) машинка (1873, изобретатель Шоулз) производилась американской оружейной фирмой Ремингтона.

– *«Вечное» («Ты смешон с седыми волосами…»)* – стихотворение «Навсегда». Перевод из Д. Кардуччи. Под названием «Вечное» опубликовано в газете «Новая русская жизнь» (Гельсингфорс). – 1920. – 16 марта. – № 62; под названием «Навсегда» – в журнале «Отечество» (Париж). – 1921. – № 3; под названием «Вечно» – в газете «Общее дело». – 1922. – № 531.

– 1 января; под названием «Навеки» – в казачьем журнале «Станица» (Париж). – 1932. – №7.

– *Сказано – «как смерть она сильна»* – цитата из книги «Песнь Песней».

Печатается по: Литературная Россия. – 1970. – 1 января.

Воробьиный царь.

Рассказ. Датирован 1923 г. Вышел отдельным изданием «Воробьиный царь. Сказка», Берлин: изд-во «Грани», 1923. Позже включен в сборник «Храбрые беглецы» (Париж., 1928); Собрание сочинений в 9 томах (М.: Изд. «Художественная литература». – 1973), Т. 8.

– *престидижитатор персидского шаха* – (франц.) – человек с очень быстрыми пальцами, манипулятор. Фокусник с быстрыми и ловкими руками.

Печатается по: Куприн А.И. Храбрые беглецы (Париж., 1928).

Одиночество.

Рассказ. Датирован 1923 г. (РГАЛИ. Ф. 240). Вошел в сб. «Елань». – Белград, 1929.

В творческом наследии Куприна встречается три разных рассказа с названием «Одиночество». Первый относится к раннему периоду и опубликован в киевской газете «Жизнь и искусство» (1898. – №№ 30, 31. – 30, 31 января). Этот же рассказ публиковался под названием «На реке» в «Журнале для всех» – 1901, № 8. Он окрашен печальным настроением героини Веры Львовны, осознавшей невозможность преодоления непроницаемой преграды, которая вечно стоит между двумя близкими людьми. Второй вошел в небольшой цикл «Элегии в прозе» («Ночь в Гурзуфе», «Две матери», «Успех», «Одиночество») и был опубликован в «Журнале для всех». – 1902. – № 5 (см. в настоящем сборнике).

Третий рассказ написан в эмиграции. Действие его разворачивается в Гатчине в конце мая – начале июня 1917 г. Повествование наполнено раздумьями и скорбью о судьбе последнего русского императора, преданного царедворцами, об одиночестве в день отречения – события величайшего, потрясающего своим трагизмом значения. Позиция писателя-гуманиста в отношении лиц царской фамилии сказалась на репутации Куприна. В статье «Три года» (1926) Куприн заметил: «Заступаясь за скорбные исторические тени, подвергаемые оклеветанию, я приобрел кличку монархиста…»

– *роковой день 2 марта* – день подписания императором Николаем II отречения от престола.

– *в вагон вошли два штатских человека* – в Ставку прибыли представители Государственной Думы: А.И. Гучков и В.В. Шульгин.

– *генерал Рузский* – Рузский Николай Владимирович (1854-1918), генерал-адъютант (1914), член Государственного и Военного совета. Участник Февральского переворота и заговора против императора. Находился в сговоре с главой Государственной Думы М.В. Родзянко. По воспоми-

наниям присутствующих при отречении, Рузский грубо принудил колеблющегося царя подписать заготовленное отречение от престола. Адвокат Н.П. Карабчевский передавал слова секретаря императора, что Николай II молился о прощении врагов, но при этом говорил: «Но генерал-адъютанта Рузского я простить не могу». При большевиках Рузский был арестован и убит.

– *устроен Викжелем* – Всероссийский исполнительный комитет профсоюза железнодорожников, образованный в июле-августе 1917 г.

– *адмирал Нилов* – Нилов Константин Дмитриевич (1856-1919), российский военно-морской деятель, с 1905 г. – флаг-капитан Его Величества, начальник личного оперативного морского отдела императора, генерал-адъютант (1908). Постоянно находился при императоре, сопровождал его во всех поездках. После прихода власти большевиков был арестован и погиб в заключении.

– *ускользнул быстрым ужом бесконечно преданный Воейков* – Воейков Владимир Николаевич (1868-1947), русский военачальник, приближенный Николая II, генерал-майор Свиты Его Величества, последний Дворцовый комендант. Находился с императором II 2 марта 1917 г., но 5 марта оставил царя и уехал в свое имение. 7 марта был арестован и до сентября 1917 г. содержался в Петропавловской крепости. После октябрьской революции эмигрировал. Автор мемуарной книги «С царем и без царя» (1936).

– *ни одной души во всей России* – после подписания отречения Николай II записал в дневнике: «Кругом измена, и трусость, и обман!»

Печатается по: Куприн А.И. Елань (Белград, 1929).

Жокей и лошадь

Рассказ. В рукописи авторская дата: «2-го ноября 1923 г. Париж» (РГАЛИ. Ф. 240). Опубликован в журнале «Звезда Востока». – 1966. – № 6 (публ. Л. Левиной); Собрании сочинений в 9 т. М.: Изд. «Художественная литература», 1973. Т 7.

Печатается по: «Звезда Востока». – 1966. – № 6 (публ. Л. Левиной).

– *эпитимия* – епитимья, нравственно-исправительная мера, наказание, назначенное священником; возмездие за грехи.

– *Рауш фон Траубенберг* Константин Константинович (1871–1935) – скульптор, график, художник декоративно-прикладного искусства, проявил себя как искусный скульптор-анималист и проницательный исследователь поведения животных. О своем знакомстве с ним Куприн упоминает в очерке «Свободный цирк».

Пощечина.

Рассказ. Первая публикация в журнале «Иллюстрированная Россия» (Париж, 1924, № 1) с подзаголовком «Рассказ штурмана каботажного плавания» и с иллюстрациями Р. Ларто. Произведение основано на событиях, происходивших в дореволюционной Одессе, и продолжает в творчестве Куприна тему страстной всепоглощающей любви.

– *до самого Зеленого дойду!* – Зеленой Павел Алексеевич (1833/9–1909) – генерал, одесский градоначальник в 1885–1898 гг.

– *времена декохтов* – (жаргон) времена безденежья, от искаженного «декокт» – отвар лечебной травы.

– *одесские Шерлоки* – одесские сыщики, от имени Шерлока Холмса.

Печатается по первой публикации.

Извощик Петр.

Рассказ впервые прочитан Куприным 18 мая 1924 г. в Большом зале парижского отеля «Мажестик» (Программа вечера (Культурный центр «Дом-музей Марины Цветаевой». КП – 700/17).

Вошел в книгу Куприна «Купол святого Исаакия Далматского» (Рига, 1928). Печатался в журнале «Наш современник». – 1988. – № 11 (публ. О.Н. Михайлова). Затем включался в книгу: Куприн А.И. Купол святого Исаакия Далматского. Извощик Петр. – М.: Раритет. 1991.

– *извощик* – авторское правописание.

– *в охабках снега* – охабка, или охапка – ноша, которую можно унести, обхватив руками, от слова «охабанивать» – хватать.

– *мерзавца тяпнешь* – мерзавчик – маленькая бутылочка с водкой вместимостью 1/8 литра – 125 г. (около половины стакана). Название в просторечии с намеком на губительное действие содержимого бутылочки.

Печатается по: «Наш современник». – 1988. – № 11 (публ. О.Н. Михайлова).

Париж и Москва.

Очерк. Впервые опубликован в журнале «Иллюстрированная Россия» (Париж), 1925, № 10. Вторично в том же журнале – в «купринском» номере – 1938, № 38, 10 сентября – после известия из России о смерти Куприна. Рассказ напечатан с подзаголовком «Очерк А.И. Куприна, не вошедший в собрание его сочинений». Включен в собрание сочинений в 9 томах (М.: Изд. «Художественная литература». – 1973), Т. 8.

– *московские битюги* – порода рабочих лошадей, тяжеловоз.

– *парижские ардены* – порода некрупных рабочих лошадей, распространена в области Арденских гор в Бельгии и Франции.

Печатается по: «Иллюстрированная Россия». – 1938. – № 38.

Медвежья Молитва.

Рассказ. Впервые напечатан в газете «Русское время». – 1925. – 1 февраля – под названием «Медвежье благословение». Под названием «Медвежья молитва» вошел в сборник: Куприн А.И. Новые повести и рассказы (Париж, 1927).

Литературовед С. А. Ташлыков относит рассказ к жанру патериковой миниатюры, в которой, обычно дается описание какого-либо важного события в жизни святого. Язык, стиль, образные выразительные средства носят у Куприна ярко выраженный житийный характер. В контексте вре-

мени образ преподобного Серафима Саровского, снова особенно остро воспринимался русскими людьми как утешитель, к которому «со всех сторон земли ехали и шли русские люди со своими нуждами, болезнями и скорбями». Рассказ стал духовной укрепой для многих русских на чужбине. Великая княгиня Ольга Александровна Куликовская-Романова, получив от Куприна книгу с его рассказами, писала в ответном письме, что «Медвежье благословение» «прочла с таким умилением, что, окончив, заметила, что у меня слезы текут. У вас все сказано для русской души» (ОГЛЛМ, фонд Куприна).

– *празелень* – иссиня-зеленоватый цвет, земляная краска.

– *гонобобель* – голубика

–*овсяник, стервятник* – охотники различают три породы медведя: большой плотоядный – стервятник; средний – овсяник, питающийся на полях молодыми метелками овса; малый – муравьятник.

Печатается по: Куприн А.И. Новые повести и рассказы (Париж, 1927).

Лесенка голубая.

Рассказ. Впервые под названием «Лесенка Богородицы» с посвящением С. В. Денисовой опубликован в журнале «Иллюстрированная Россия» (Париж, 1926, № 35, 28 августа) – в день православного праздника Успение Богородицы. С новым названием и без посвящения вошел в сборник «Новые повести и рассказы (Париж, 1927).

– *Mariae nascenti* – Марии рожденной, т. е. собор посвящен Рождеству Богородицы.

Печатается по: Куприн А.И. Новые повести и рассказы (Париж, 1927).

Заклятие.

Рассказ. Опубликован в журнале русской эмиграции «Иллюстрированная Россия» (Париж), 1927, № 39.

Публицистическая запись цыганской легенды: «Я передаю легенду со всей ее первобытностью и неправильностью выражений», – пишет автор в начале повествования. Исследователь Ф.И. Кулешов в хронологии жизни и творчества Куприна ошибочно называет «Заклятие» «прежней редакцией рассказа “Тараканья щель”», ничего общего с ним не имеющего.

Печатается по: «Иллюстрированная Россия» (Париж), 1927, № 39.

Кислород.

Рассказ. Впервые напечатан в журнале «Иллюстрированная Россия» (Париж, 1927, 16 июля, № 29). Вошел в Собрание сочинений в 9 томах (М.: Художественная литература. 1973. Т. 8).

Близкий друг Куприна писатель Б.А. Лазаревский (1871-1936) в очерке «Колесо счастья» (Иллюстрированная Россия. – 1926. – №№ 18-26) упоминает Куприна как источник рассказов о рулетке, приводит письмо друга-писателя с советами и описывает тот же случай в казино.

– *не то арап* – (жарг.) аферист, жулик, мошенник.

– *растакуэр* – (франц.) прожигатель жизни, темная личность.

Печатается по: «Иллюстрированная Россия» (Париж), 1927., № 29.

Последний буржуй.

Рассказ. Напечатан в рождественском номере журнала «Иллюстрированная Россия» (1927. – № 52. – 24 декабря) с иллюстрациями РЕМ'а.

Является расширенной редакцией раннего фельетона «Последний из буржуев: Святочный рассказ» (газ. «Новая русская жизнь», Гельсингфорс. – 1919. – № 18. – 25 декабря), вошедшего в Собрание сочинений (М.: Воскресенье. – 2007. Т. 10).

В редакции 1919 г. время действия отнесено к 1935 г., герой именуется Степаном Нилычем Рыбкиным, его друг-кум только упомянут и остается безымянным и бездействующим. В поздней редакции время смещено в 1940 г., Куприн развил все сюжетные линии, изменил имя главного героя, дал подробные портретные и речевые характеристики двух гостей из ЦИКа.

– *С.С.С.Р.* – Союз советских социалистических республик.

– *Ц.И.К.* – Центральный исполнительный комитет.

– *слабительный жостер* – лекарственное растение, крушина.

– *ейн, цвей, дрей* – (нем.) раз, два, три.

Печатается по: «Иллюстрированная Россия» – 1927. – № 52. – 24 декабря.

Елань.

Миниатюра является пояснением-заставкой к сборнику с одноименным названием (Куприн А.И. Елань., Белград. – 1929).

О замысле рассказа Куприн поведал еще в интервью корреспонденту газеты «Русское слово» (1913. – 1 марта). Замысел не был осуществлен, но мотив нашел отражение в очерке «Сильные люди» из цикла «Мыс Гурон» (1929).

Впечатления от пребывания в Рязанской губернии, в том числе в Зарайском уезде, где Куприн впервые был в 1898 году, неоднократно использовались им в его дореволюционных и эмигрантских произведениях («Болото», 1902; «Черная молния», 1912; «Фердинанд», 1930; «Ночь в лесу», 1931; отчасти «Бредень», 1933). Зарайские впечатления Куприна отразились в них частично или же опосредствовано, как в «Черной молнии», где действие перенесено из Рязанской губернии в Новгородскую.

– *елань* – географическое название, загиб в лесу.

Печатается по: Куприн А.И. Елань (Белград. – 1929).

Суд.

Рассказ. Напечатан в сборнике «Елань» (Белград, 1929); в журнале «Неман». – 1992. – № 4 (публ. Ф.И. Кулешова).

Печатается по: Куприн А.И. Елань. Белград, 1929.

Авионетка.

Рассказ напечатан как рождественский в новогоднем номере журнала русской эмиграции «Иллюстрированная Россия» (1929, № 1, 1 января) под названием «Авионетка» с иллюстрациями художника РЕМ'а. Позже включен в сборник «Елань» (Белград, 1929). Печатался в Собрании сочинений в 9 томах (М.: Художественная литература. – 1973), Т. 8.

– *авионетка* – польский вариант принятого в авиационной терминологии французского слова «авиетка». Маломощный одноместный самолет любительской постройки с мотоциклетным двигателем.

– *авион* – воздухоплавательный аппарат.

– *играет на бейном басе* – имеется в виду бейная туба (или труба) – т.е. духовая басовая труба, медный духовой музыкальный инструмент низкий по регистру.

– *фамдеменажка* – (франц.) уборщица, домработница.

Печатается по первой публикации.

Молитва Господня.

Рассказ напечатан в сборнике «Елань» (Белград, 1929). Вошел в Собрание сочинений в 9 томах (М.: Художественная литература. 1973), Т. 8.

В основу рассказа легли воспоминания из жизни С. А. Ната, умершего в 1929 г., и более расширенное и осмысленное происшествие в лесу, упомянутое в «Черной молнии» (1912). Произведение содержит указания на рязанские реалии, людей и события (лесничий Станислав Нат, объездчик Нелиткин, лесники Егор и Михайло).

– *Нат* Станислав Андреевич (1856/по др. данным 1862 – 1929) – муж сестры писателя Зинаиды, ученый-лесовод. Закончил Петровскую академию, служил лесничим в Киевской, Рязанской, Московской, Северо-Двинской (совр. Вологодская обл.) губ. В 1920-х гг. руководитель двух научно-исследовательских лесотехнических экспедиций. Преподавал в Северо-Двинском университете и техникуме. Сотрудничал в ж. «Русский север», «За работу», «Записки Общества изучения местного края», «Лесной журнал». Автор трудов по лесному хозяйству: «Лес и воды Печерского края», «Охота в Печерском крае» и др. Ната отличала большая любовь и преданность лесу, огромные академические знания. Близкие звали его «Лесным человеком».

Куприн познакомился с Натом в Москве в 1880-х гг., близко сдружился на Украине летом 1894 г., когда приехал к Натам в Звенигородку Киевской губ. После перевода Ната в Рязанскую губ. в Куршинское лесничество, Куприн навещал семью сестры. В сентябре-ноябре 1901 г. писатель вместе с Натом занимался обмером крестьянских лесов в Зарайском уезде. Нат стал прообразом лесничего Турченко в р. «Черная молния», о нем пишет Куприн в неоконченном р. «Теодолит»: «Муж моей сестры <…> таксатор и лесник казенных лесов в славном городе Рязани».

На смерть Ната Куприн откликнулся письмом сестре Зинаиде Ивановне из Парижа: «Как много прекрасных воспоминаний связано в моей

памяти с ним, начиная с первого курса в Петровской академии, а потом лесничества – Звенигородское, Куршинское, Зарайское. В них самые благодатные месяцы в моей жизни. <…> Поистине в духовном смысле вы оба были моими кормильцами, поильцами и лучшими воспитателями» (т. 11, с. 268).

– *аршин* – старорусская мера длины равна 0, 71 м.

Дедушка Мороз (Из старых времен).

Незавершенный рассказ. Датируется 1920-ми гг. Готовился в качестве главы к роману «Юнкера». Напечатан в журнале «Звезда Востока» (1966. – № 6. Публ. Л. Левиной); вошел в Собрание сочинений в 9 томах (М.: Художественная литература. 1973), Т 8.

Двоенос.

Незавершенный рассказ. Датируется 1920-1930-ми гг. Рукопись сохранилась в архиве Куприна (РГАЛИ. Ф. 240). Опубликован в газете «Комсомольская правда». – 1960. – 8 сентября. – № 213. Публикация осуществлена Б. М. Киселевым, сыном близкого друга Куприна по Киеву М.Н. Киселева.

В основу рассказа положена история посещения Куприным и М.Н. Киселевым небольшого хутора под Киевом, принадлежавшего А. Редькину. Борис Киселев, используя воспоминания своего отца, сопроводил фрагмент Куприна сообщением о посещении писателем редькинской дачи – деревенской мельницы: «Поездке на «дачу» предшествовала записка Редькина Киселеву, в которой он просил приехать поговорить по важному делу. Редькин – толстый, огромный, горбоносый, с лицом в зарослях черных усов, бровей, бороды, в соломенном бриле – встретил их на границе своих владений.

– Здоровеньки булы! – кричал он. – Га-га-га!

И сейчас же повел гостей осматривать свою дачу. И здесь было что показать: рука доморощенного художника размалевала все стены от пола до потолка картинами разнообразного содержания. <…> Охотник с вывороченными назад руками стреляет в летящих уток. Уродливая собака бросается в реку за убитыми птицами. <… > Путник с высоким посохом в руках отдыхает, сидя на придорожном камне. <… > Гигантский допотопный ящер на задних ногах с яростно разинутой пастью…

− Кто это рисовал? – спросил изысканно вежливо, чересчур вежливо Куприн.

− Наводил контуры углем я, Двоенос расписывал масляными красками, − сипел Редькин.

− За-замечательно! Неподражаемо! – цедил сквозь зубы Куприн.

Появилась дочь Редькина, Галя, высокая, красивая с черными отцовскими глазами, такая же горбоносая, с сердито сжатыми бровями.

− «Степная королева», − шепнул отцу Куприн.

Обед готовился в кухне, при зимнем доме, там орудовала кухарка – бабка Гешка и Двоенос. Связь с ними поддерживал Редькин с помощью неистового крика.

– Двоено-ос! – орал он из всех сил.

– Чего? – откликался тот.

– Апорте же ву при борщ!..

– Ту де сюи! – ревел Двоенос.

Куприна передернуло. Вспомнилось полковое обучение офицерами денщиков, как попугаев, французским фразам.

Галя с треском поставила на стол сахарницу и суповую чашку со сметаной.

– Ехать хочет…− просипел Редькин. – В Питер. На курсы ей надо ехать, хай им ни дна, ни покрышки! – просипел он. − На черта они ей? О, тут же такая благодать! Небо! Воздух!

– Очень мне нужна эта ваша благодать, − крикнула Галя. − Мне учиться надо.

– Вот видите, видите!.. Учиться надо! Барышня новейшей формации! – яростно сипел Редькин.

Он встал, подошел к окну и завопил:

− Двоенос!

− Вот и этот хочет учиться. Собирается поступать в учительскую семинарию… “Буду учителем!..” Чтоб ты пропал! Без книжки не ходит, не ездит… Зубрит французские слова… Спрашивается, на кой ему черт этот французский язык? Люди побесились! Все хотят учиться! Из всего этого я делаю один вывод: скоро панам будет тесно.

Уезжали Куприн и Киселев на другой день рано утром. К ветряку с грохотом, тарахтением и звоном подкатила бричка, запряженная двумя крепкими сытыми конями. Правил Двоенос. За поясом у него торчала книжка» (Б. Киселев. «За плавучей пристанью». К 90-летию со дня рождения А.И. Куприна // Комсомольская правда, 1960, 8 сентября, № 213).

– *товарищ по редакции Миша Киселев* – Киселев Михаил Никандрович (1867–1903) – киевский журналист, литератор, близкий друг Куприна. Печатался под псевд. Чалдон. Знакомство относится к авг. 1894 г. – киевскому периоду жизни Куприна, сотрудничеству в газ. «Киевское слово», «Жизнь и искусство». Киселев оказал благотворное влияние на молодого Куприна, постигавшего профессию журналиста и писателя, помогал в трудную пору денежных затруднений. В дек. 1899 – янв. 1900 г. друзья совместно писали пьесу «Грань столетия» (осталась незавершенной). В 1903 г. Куприн хлопотал о приезде больного Киселева в Крым. К этому времени относятся письма (19 листов) Куприна к Киселеву (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 137) и переписка с вдовой Анастасией Михайловной Киселевой, в письмах к которой он писал об умершем друге: «Лучший, преданнейший друг, лучше и ближе которого, кажется, не было за всю жизнь» (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 136). Сын Борис Михайлович Киселев – автор воспоминаний о Куприне.

– *фигели-мигели* – фигли-мигли (польск) – выходки, проделки, уловки.

Костя Попов.

Рассказ. Датируется 1933 г. Место первой публикации не установлено. В советское время – в журнале «Кубань». – 1962 . – № 6; в журнале «Дон». – 1997. – № 5 (публ. К. Хохульникова).

Печатается по: «Кубань». – 1962 . – № 6.

Бабиль.

Рассказ. Впервые опубликован в журнале «За рулем» (Париж). – 1933. – №1. Написан для первого номера иллюстрированного литературно-профессионального журнала, основанного в 1933 г. русскими шоферами.

– *таксомотор* – такси.

– *пошел на 12-й Фонтан* – название улицы в Одессе.

Печатается по первой публикации.

Алеша.

Рассказ написан в октябре-ноябре 1916 г. по следам пребывания в Киеве в марте 1914 и декабре 1915 гг. и предназначался для газеты «Русская воля», в которой Куприн намерен был сотрудничать по приглашению Л. Н. Андреева, редактора отдела беллетристики. Об окончании работы над рассказом Куприн уведомлял Андреева в письме от 15.11.1916 г. (ИРЛИ, архив Л. Андреева), но в декабре того же года отказался от постоянного сотрудничества, и «Алеша» тогда не был напечатан. Опубликован в сборнике «Жанета» (Париж, 1934).

– *кафолическая церковь* – (греч.) Вселенская, соборная церковь.

– *Авва* – отец, в значении духовный наставник.

– *honoris causa* – (лат.) за заслуги, почетный доктор без защиты диссертации.

– *гомилетика* – (греч.) искусство беседы, наука о правилах проповедничества.

– *Вкушая вкусих мало меду и се аз умираю* – слова библейского юноши Ионафана, преступившего запрет отца своего царя Саула не вкушать под страхом смерти пищу перед битвой. Выражение означает сожаление о том, что далеко не все радости жизни были изведаны.

– *иеромонах трижды бросит перед вами ножницы, и вы трижды подымете их* – обряд при постриге в монашество символизирует истинность и твердость намерений постригаемого.

– *расстрига* – в обиходе так называют лишенного сана священнослужителя, которому при обряде извержения из сана остригают волосы на голове и бороду.

– *рост, как у Самсона* – библейский герой, отличавшийся ростом и силой.

– *труба иерихонская* – в переносном значении сильный голос, способный обрушить стены крепости. Выражение происходит от названия города Иерихон, стены которого были разрушены оглушительным звуком голосов и труб наступавших войск.

– *в вятских парафиях* – (греч., польск.) парафия – церковный приход.

– *сак* – сумка для хранения и перевозки вещей.

Печатается по: Куприн А.И. Жанета. Принцесса четырех улиц. – Париж, 1934.

Шестое чувство.

Рассказ вошел в сборник: Куприн А.И. Жанета., Париж. – 1934.

В письме от 21 марта 1931 г. к председателю Белградской издательской комиссии Виктору Диодоровичу Брянскому Куприн сообщает о рассказе «Шестое чувство» как готовом для включения в сборник: «Теперь у меня набрался новый материал для книги: “Шестое чувство”, “Светоч царства”, “Фердинанд”, “Потерянное Сердце”, “Царский писарь”, “Черная молния”<>». Рассказ создан на основе двух ранее опубликованных автобиографических произведений «Обыск» (газета «Возрождение», 1930, №№ 2001, 2002, 24 и 25 ноября) и «Допрос» (газета «Возрождение», 1930, №№. 2021, 2022, 14 и 15 декабря) с небольшими изменениями и с включением эссе о владимирских рожечниках.

В основу всех трех частей рассказа легли события 1918 г., когда в ночь на 1 июля в доме писателя в Гатчине был произведен обыск, после которого Куприн был арестован и спустя несколько часов доставлен в петроградский революционный трибунал. Арест длился трое суток. Причиной его стал фельетон Куприна «Михаил Александрович», опубликованный в газете «Молва» 22 июня 1918 г. (см. примечания к фельетону «Великий князь Михаил Александрович», 1918). Произведения «Михаил Александрович», «К убийству В. Володарского. У могилы», «Сенсация» составили своеобразную идейно-смысловую трилогию и послужили основой для написания в эмиграции автобиографических очерков «Обыск» (1930), «Допрос» (1930), которые с изменениями и дополнениями составили рассказ «Шестое чувство» (1934).

– *современный нам Калиостро* – Алессандро Калиостро (1743–1795), известный итальянский авантюрист.

– *Мамонт Дальский* – Дальский Мамонт Викторович (1865–1918), наст. фамилия Неелов, русский драматический актер. Входил в круг друзей Куприна. После революции примкнул к анархистам, погиб в Москве в июне 1918 г. В фельетоне «Пестрая книга II» (см. в настоящем сборнике) Куприн создал образ Дальского – оратора на собраниях анархистов, «артиста с темпераментом Везувия».

– *классер* – набор, объединение нескольких однородных предметов.

– *Елизаветинская* – сейчас ул. Достоевского. «Зеленый дом» А. И. Куприна, уничтоженный во время Великой Отечественной войны, находился на месте нынешней пятиэтажки (дом No19), наискосок через перекресток от усадьбы Клодницкого. На доме No19 установлена мемориальная доска.

– *деревянный дом командира Кирасирского полка* – построен в 1825 году в начале Большого проспекта напротив Адмиралтейских ворот по проекту неизвестного архитектора. Сгорел в 1919 году.

– *обитые манчестером* – ворсованный материал из хлопка (полубархат), названный по месту первоначального производства.

– *ректи* – очищенный спирт.

– *«Новое время»* – ежедневная петербургская газета.

– *«Колокол»* – ежедневная петербургская газета церковно-монархического направления.

– *«Речь»* – ежедневная петербургская газета партии кадетов.

– *«Биржевка»* – газета «Биржевые ведомости».

– *десть бумаги* – стопка писчей бумаги в 24 листа.

– *удельное вино* – вино из винограда, выращиваемого на удельной (т.е. принадлежавшей царской семье Романовых) земле.

– *личный ординарец М. Д. Скобелева* – Ефим Викентьевич Гущик, знакомый Куприна по Гатчине. Его сын Владимир Ефимович Гущик (1892-1947) – друг и литературный ученик Куприна, состоял с ним в переписке в 1920-е гг.

– *имя великого князя Михаила Александровича* – см. примечания к фельетону «Михаил Александрович».

– *Муйжель* – Муйжель Виктор Васильевич (1880 – 1924), журналист, писатель. Входил в круг знакомых Куприна. Упоминает его в статьях «Сенсация» (1918), «Старый начетчик» (1925).

– *Василевский (Не-Буква)* – Василевский Илья Маркович (псевдоним Не-Буква, в отличие от брата, взявшего псевдоним «Буква»), (1883/2–1938), журналист, фельетонист, критик. Издатель и редактор газеты «Свободные мысли» (1907–1911), редактор «Журнала журналов» (1915–1917), в которых публиковался Куприн. В 1918 г. вместе с В. В. Муйжелем редактировал петроградскую газету «Молва», в которой также сотрудничал Куприн и в которой был опубликован его фельетон «Михаил Александрович» (№ 15), повлекший арест автора. Куприн поддерживал дружеские отношения с Василевским в Париже, куда тот приехал в 1920 г. и возобновил газету «Свободные мысли». В 1923 г. вернулся в Россию. В статье «Липкая бумага» (1925) Куприн нелицеприятно отозвался о Василевском, занимавшемся заманиванием писателей в Россию: «Первой мухоловкой для литературных мух была группа сменовеховцев. При ней состояли особые специалисты по загону… восторженный, слюнявый Василевский». В 1930-е гг. был репрессирован.

– *Володарский* – см. примечания к статье «К убийству Володарского. У могилы» (1918).

– *скобари* – обобщающее название жителей Пскова и Псковщины, происходит от названия ремесленников, изготовлявших скобяные изделия.

– *скопские мы* – диалектное слово означает псковских жителей, псковичей.

– *куплеты из «Наталки-Полтавки»* – малороссийская музыкальная драма (1889, композитор Н. Лысенко) по пьесе И. Котляревского.

– *«Запорожец за Дунаем»* – первая украинская опера (1863), автор музыки и либретто С. Гулак-Артемовский.

– *киндершпиль* – (нем.) детская игра

– *фаланстерия* – в значении: коммуна (фаланстер – в учении утопического социализма дворец особого типа, являющийся центром жизни фаланги, коммуны, члены которой трудятся вместе для взаимной выгоды).

– *такую вещь, как Робинзон* – «Робинзон Крузо» (1719), роман английского писателя Даниэля Дефо. Герой, именем которого назван роман, после кораблекрушения в течение нескольких лет жил на необитаемом острове.

– *взяли бы хоть Либкнехта* – Карл Либкнехт (1871-1919), деятель германского и международного рабочего движения, один из основателей (1918) коммунистической партии Германии.

– *каплица* – часовня, молельня.

– *варган* – (искажен.) орган.

– *шляпы поярковые гречушником* – высокая валяная войлочная крестьянская шляпа из поярка – т.е. из шерсти ягненка первой стрижки. Шляпа с маленькими полями имела форму усеченного конуса.

Печатается по первой публикации.

Теодолит. Рассказ из воспоминаний пегого человека.

Незавершенный рассказ датируется 1936 г. Рукопись сохранилась в фонде Куприна (ИРЛИ. Ф. 242), опубликована П. П. Ширмаковым в журнале «Русская литература». – 1962. – № 2. Исследователь рукописи отметил: «Судя по почерку, с набегающими друг на друга буквами, пропусками их, “Теодолит” – одно из последних произведений Куприна. Создан он, вероятно, в 1936-1937 годах, или в Париже, или после возвращения на родину. Окончание “Теодолита” утеряно. Тем не менее, и из оставшейся части видно, насколько рассказ художественно самобытен. На склоне лет Куприн, вопреки бытующему в эмигрантских кругах мнению, обнаруживает себя писателем, рассказывающим о далеком прошлом своем реалистически остро и точно, с воссозданием мельчайших деталей и обстоятельств».

Рассказ носит автобиографический характер. В основу легли воспоминания писателя о времени его пребывания и работы землемером-таксатором в августе – ноябре 1901 г. в Зарайском уезде Рязанской губернии у лесничего Станислава Генриховича Ната – мужа младшей сестры Куприна Зинаиды (в рассказе носит имя Станислав Андреевич). Рассказ тесно примыкает к письмам Куприна, адресованным Людмиле Ивановне Елпатьевской и относящимся к этому же периоду (ИРЛИ. Ф. 242). В письмах, как и в рассказе, говорится об одних и тех же событиях и населенных пунктах, одинаково описывается состояние автора-рассказчика: «Я потому Вам так долго не писал, многоуважаемая Людмила Ивановна, что с утра раннего до глубокой ночи занят делом, не дающим мне ни одной – буквально ни одной минуты свободной. Дело это заключается в том, что я взял нечто вроде подряда – обмерить около 600 десятин крестьянского леса в Зарайском уезде и составить планы лесного хозяйства в деревнях Григорьевском, Тюнине, Лучконцах, Козловке, Филиповичах, Городище, Клин-Бильдине и Костенковой. Время теперь позднее (сегод-

ня 18-е октября и в первый раз выпал снег), и меня с работой прямо гонят в шею <...>. Итак, я с утра, когда еще темно, бегу с рабочими в лес и, не присаживаясь ни на минуту, хожу до тех пор, пока волоски в визирной трубе моего теодолита еще можно различить глазом. А весь вечер я сижу, не разгибаясь, и заношу все снятое днем на план – отложить этой работы никак нельзя, потому что многое, что я хорошо помню и представляю себе из пройденных нынче урочищ, на завтра забудется и затеряется. Случается, что к ночи я, сидя, засыпаю над планами <… >». В «Теодолите» и в письмах содержатся наблюдения над жизнью крестьян в дореволюционной России, отражено их скептическое отношение к интеллигенции («ко всем людям со штанами навыпуск»), правительственным учреждениям вроде лесоохранительного комитета.

– *теодолит* – измерительный прибор для геодезических работ, топографических съемок.

– *таксатор* – оценщик (тот, кто устанавливает таксу). Лесной таксатор – техник, занимающийся устройством и оценкой лесов.

– *Станислав Андреевич* – под этим именем выведен муж сестры Зинаиды Ивановны – Станислав Генрихович Нат.

– *корёчек* – диалектное слово, употребляемое в Рязанской губернии в значении «группа кустов». Куприн приводит диалектное слово в письме к Л.И. Елпатьевской с объяснением значения.

– *со всякой съестной хурдой-мурдой* – в значении «всякая всячина».

Печатается по: «Русская литература». – 1962. – № 2.

ПЬЕСЫ

Грань столетия.

Незавершенная пьеса относится к раннему периоду творчества Куприна. Рукопись хранится в архиве Куприна (РО ИРЛИ РАН. Ф. 242), публикация осуществлена П. П. Ширмаковым в Ленинградском альманахе (1956. Кн. 11).

Сатирическая комедия написана в соавторстве с киевским журналистом М. Н. Киселевым, действительно, на рубеже столетий – в самом конце 1899 г. или в начале 1900 г. В тексте есть ряд ремарок и примечаний, косвенно подтверждающих соавторство, например: «совершенно неожиданно для авторов», «примечание сочинителей» и др. Комедия связана с очерками и статьями Куприна этого периода и сотрудничества его в киевской газете «Жизнь и искусство». При написании пьесы Куприн использовал материал своих газетных фельетонов, которые публиковал под общим названием «Калейдоскоп». Злободневные еженедельные обзоры киевской жизни, остро высмеивающие деятельность городского самоуправления, послужили основой первого акта пьесы. В сатирическую комедию почти без изменения вошли характеристики отдельных персонажей из «Калейдоскопа». Комедия имеет два плана. Первый акт – это сатира на думу и думских гласных в Киеве, «пустоту недомыслия» членов думы, заседающих целыми сутками без надобности и разумной пользы. Дейс-

твие второго акта вынесено на площадь и непосредственно не связано с основной линией комедийного сюжета. Главными лицами являются два поэта. Куприн дает сатирический, нарочито гиперболизированный, портрет декадентов, мастерски пародируя поэзию символистов, появившихся в русской литературе на грани столетия.

Пьеса осталась незавершенной, но судя по ее подзаголовку («драматическая трилогия»), по списку действующих лиц и по отдельным репликам, Куприн намеревался написать вторую и третью части, где показывалась бы более полно деятельность думы. Однако и в том виде, в каком пьеса дошла до нас, она интересна в плане как характеристики общественно-политических и литературно-эстетических позиций автора, мастерства Куприна-сатирика, так и в плане исканий себя в драматургическом жанре.

– *Презус* – до военно-судебной реформы 1867 г. председатель суда.

– *«хрипун, удавленник, фагот»* – слова Чацкого о Скалозубе из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».

– *указание на вставку* – в рукописи имеется указание на вставку, отсутствующую в экземпляре ИРЛИ. По-видимому, должны были следовать характеристики Добродетельного, Проныровича, Пискорского 2-го, редакторов и других действующих лиц пьесы. Возможно также, часть из них относится к разряду «неожиданных для авторов».

– *Подол* – один из городских районов Киева.

– *«Поле орошения»* – так называлось место, отведенное под городскую свалку. Должность смотрителя свалки, назначаемого думой, приносила большие доходы.

– *гласный* – член городской думы.

– *сдаточный* – лицо, подлежащее сдаче в солдаты.

– *престидижитатор* – фокусник.

– *брандмайор* – начальник городской пожарной команды.

– *Гуттенберг* – основатель книгопечатания в XV в., создатель книгопечатного станка.

– *папильотка* – вид бигуди, небольшой жгут из бумаги или ткани, на который накручивают прядь волос для завивки.

– *Буренин В. П.* (1841–1926) – публицист, поэт, драматург.

– *Пифон* – в греческой мифологии змей, обитавший в окрестностях города Дельфы и убитый Аполлоном.

– *«Птичка божия не знает…»* – стихи из поэмы А.С. Пушкина «Цыганы».

– *кондиции* – в данном контексте условия.

– *экзекутор* – чиновник, ведавший хозяйственными делами в канцелярии.

– *Несчастливцев* – персонаж пьесы А.Н. Островского «Лес», тип провинциального трагика. *Аркадий* Счастливцев – персонаж той же пьесы, комик.

– *чающие движения воды* – библейское выражение, означающее надежду на перемену обстоятельств в лучшую сторону.

– *Клико* – сорт шампанского, называемый так по имени владелицы фирмы, поставлявшей вино.

Печатается по: Ленинградский альманах. 1956. Кн. 11. (публ. П.П. Ширмакова).

Лейтенант фон Пляшке. Водевиль.

Одноактный водевиль впервые опубликован в журнале «Аргус» (1914 г., № 22) с иллюстрациями Джо (псевдоним И. Катцеля). В том же году вышел в Петрограде отдельным изданием. Автограф Е.М. Куприной с правкой автора содержит подзаголовок «Водевиль с пением и маршировкой» (РГАЛИ. Ф. 240. оп. 1. ед. хр. 101).

Водевиль был сочинен в первые месяцы войны, носил исключительно пропагандистский характер. Темой его стало осмеяние прусской военщины, погрязшей в долгах и готовой на неблаговидные сделки. Представление автора о бюргерах совпадает с характеристикой, данной им в заметке «О Саше Черном», написанной также в военном 1915 г.: «<…>видишь Берлин – эту огромную лавку и пивную с его нелепыми монументами и портретами кайзера<...> И надо всем этим – лицемерие, затаенное любострастие, обалделая маршировка в ногу, крикливый пивной патриотизм, шаблон, индюшечья надменность и плоская, самодовольная тупость».

Куприн для решения своей задачи прибегает к гротескной трактовке образов. Авторские ремарки, представляющие собой краткие пояснения к образу, служат меткими и хлесткими характеристиками: о лейтенанте Пляшке – «Стек. Монокль. Корсет»; о Зигерле – «Посредник, маклер, директор сталелитейного завода и вообще что хотите. В клетчатом» – точное обозначение вечного спутника войны, обогащающегося в мутное время.

Водевиль – малая драматургическая форма, комедийная пьеса с песенками-куплетами. Нельзя согласиться с оценкой литературоведа А. А. Волкова, причислившего это произведение к «величине ничтожной в литературном наследии Куприна» **(**Волков А. Творчество А. И. Куприна. – М. – 1981). Его водевиль отвечает правилам жанра: имеет занимательную интригу и анекдотический сюжет. В нем присутствуют такие характерные черты водевильного жанра, как острая злободневность, мобильность, гибкость, немедленный отклик на события. Автор сохранил присущие водевилю принципы: стремительный ритм, куплеты, танцы, легкость диалога, общение со зрителем, яркость и выразительность характеров, неожиданность развязки.

– *стек* – стек (англ.), тонкая трость, палочка с ременной петлей на конце, применяется как хлыст при верховой езде.

– *колпак «Михеля»* – Михель, немецкий народный герой-простолюдин изображался в колпаке.

– *фамозный* – (лат.) – известный.

– *маклер* – профессиональный торговый посредник.

– *клянусь Гамбринусом* – Гамбринус, мифический король пива. Его именем назван пивной ресторанчик в рассказе Куприна «Гамбринус».

– *Либфрауенмильх* – название белого полусладкого немецкого вина, в переводе — «Молоко любимой женщины».

– *ландштурм* – ополчение, резерв вооруженных сил.

– *ландвер* – военнообязанные запаса, резервный состав армии.

– *хох* – (нем.) высокий, важный; в значении приветствия – да здравствует!

– *Allez!* – команда, соответствующая по значению словам: вперед! марш! пошел!

– *нох ейн маль* – (нем.) еще раз.

– *шен* – (нем.) прекрасно.

– *пунктум* – (лат.) точно

– *шерш* – (франц.) приказание собаке: ищи.

– *пиль* – (франц.) хватай, приказание собаке бросаться на дичь.

– *аппорт* – команда собаке принести что-либо.

– *фатер* – (нем.) отец

– *мутер* – (нем.) мать

– *«Дейтшланд юбер аллес»* – «Германия превыше всего», слова немецкого марша.

– *альпеншток* – палка с заостренным железным наконечником для пеших и горных походов (от слова «Альпы»).

– *фрейлен* – барышня, девушка.

– *фрау* – женщина, общепринятое обращение к женщине в Германии.

– *куртаж* – комиссия, вознаграждение, получаемое маклером за посредничество в сделках.

– *кюсхен, кюссе* – (нем.) целовать, поцелуи.

– *першерон* – рослая, мощная порода лошадей-тяжеловозов.

– *Гельогабал* – Гелиогабал Варий Авит (204–222 гг. н.э.), римский император.

– *О, мейн Гот!* – о, мой Бог!

– *тевтоны* – древнегерманское племя.

– *потомки Атиллы* – легендарный вождь гуннов Атилла (Аттила), в V в. объединивший варварские племена.

Печатается по первой публикации.

Моя звезда.

Незавершенная кинематографическая пьеса. Это еще одно свидетельство работы Куприна в драматургической сфере в период 1912–1917 гг. В интервью 1912 г. писатель сообщал критику А. А. Измайлову, что работает над пьесой, в которой будет выведена «сильная натура, морской волк» (Собр. соч. в 10 томах.: М.: Воскресенье. 2007. Т. 11 – дополнительный, с. 334). Замысел остался неосуществленным, но черты главного персонажа узнаются в герое рассказа «Капитан» (1913), а название перекликается с названием корабля «Утренняя звезда». Рассказ воспринимается как экспозиция кинопьесы. Журналист А. А. Измайлов в заметке под заголовком «Новая пьеса Александра Ивановича Куприна» («Биржевые ведомости». – 1912. – 8 сентября) излагал свою беседу с писателем о задуманной им

пьесе, подробно освещая сюжет будущего произведения. При сравнении этого описания с содержанием киносценария (РГАЛИ, ф. 240) становится ясно, что сюжетно это почти одно и то же, с той лишь разницей, что в первом случае только задуманная, еще не написанная пьеса, а во втором – написанный сценарий. Сценарий не имеет конца, поэтому содержание измайловской заметки позволяет восполнить недописанную фабулу и дополнить характеристики персонажей. «Мой герой… это сильная натура, морской волк, умный и талантливый капитан корабля… Четырнадцать дней с риском для жизни капитан ведет к берегу свое судно сквозь ночь и бурю, между рифов, мелей и скал. Он утомлен до последней степени. Но вот и берег… Назначив своим товарищам, когда и где снова сойтись, капитан засыпает чудовищным сном в портовом кабачке. Между тем редеет толпа, и оставшиеся расступаются перед властелином острова, герцегом… С пренебрежением смотрит он на эту картину сна, который он принимает за опьянение… Над капитаном готовы сшутить старую шекспировскую шутку. Его переносят во дворец и уверяют его, что он – сиятельный герцог». На этом кончается первый акт, точно также как и в сценарии. Сценарий обрывается на том, что капитан, узнав о шутке, которую решили с ним сыграть, принимает вызов и решает бороться с герцогом и его двором. «Во втором акте капитан просыпается в герцогских чертогах. Все мысли его уже сосредоточены, мозг работает трезво и метко. Царственная одежда идет ему так, точно он родился в ней… И вот палата нового «правителя» наполняется придворными всех сортов и цветов, вплоть до герцога… Чтобы этот чудак был совсем одураченным, надо его напоить. Но для нового властелина вина только льются, не попадая в рот. Мимо рукава он льет их, показывая только вид невоздержанного пьющего. Все, что говорит новый властелин так умно, так метко и так находчиво, что герцог в настоящем восторге. Новый властелин начинает править… Происходит встреча капитана с дочерью герцога. Она предупреждает капитана о намерении придворных отравить его. Пламенное внезапное чувство вспыхивает в герцогской дочери…» («Биржевые ведомости», 1912., 8 сентября). В последнем акте пьесы герой прощается с народом, возвращается к привычной жизни, вместе с ним уезжает и дочь герцога. Таков был замысел ненаписанной пьесы Куприна.

Пересказ Измайлова позволяет в общих чертах представить дальнейший ход развития действия в сценарии. Совпадают характеристики капитана, герцога. Но если в пьесе Беппо – старый морской волк, друг главного героя, то в сценарии – это девушка Бьянка, скрывающаяся под видом юнги. В сценарии много действующих лиц: принц – жених дочери короля, придворные. Большую роль должна играть королева-интриганка, самый страшный враг капитана. Измайлов отметил общую сатирическую направленность пьесы: «Вся пьеса написана в фантастических тонах, сквозь которые, однако, явно чувствуется глубоко реальная идея. Это замысел глубокого, заядлого демократа в душе, и когда Куприн, разгораясь, говорит о золотых венцах, шатающихся на головах королей, о всесокрушающей силе плебейского ума и плебейских рук – вы чувствуете, что в

пьесе, вероятно, будет не мало мест, по которым разгуляется цензорский карандаш… Куприн дает сатиру на королей и на власть…» («Биржевые ведомости», 1912., 8 сентября). В сценарии эта сторона резко усилена, противопоставлены два враждебных лагеря: король, королева, двор и капитан, его друзья, простой народ, ненавидящий власть аристократии. В рукописи есть характерная ремарка: «Действие относится, в сущности, ко всяким эпохам и ко всяким странам. Поэтому полная свобода в костюмах и в перемене имен собственных» (РГАЛИ. Ф. 240). Куприн выражал надежду на постановку пьесы не только в столичных, но и больших провинциальных театрах, так как в ней много действующих лиц и статистов (Биржевые ведомости, 1913, 21 сентября).

Сценарий представляет значительную ценность для изучения драматургического опыта Куприна. Анализ произведения свидетельствует, что Куприн серьезно отнесся к написанию сценария для большого фильма и подошел к нему как к художественному произведению: детально разработал сюжет, дал исчерпывающие характеристики действующих лиц, попытался разработать и осмыслить текст в кинематографическом плане (указал необходимые технические приемы, ввел ремарки для режиссера). Таким образом, можно говорить о значительном и интересном опыте Куприна в кинодраматургии.

В эмиграции писатель работал над киносценарием «Рахиль». К 1927 г. относится его работа над переделкой повести «Поединок» для экранизации в Голливуде, о чем свидетельствует переписка с Н.М. Рябухиным (РГАЛИ. Ф. 240. оп. 2. ед. хр. 10, 61). Драматургическое наследие Куприна в эмиграции пополнилось маленькими политическими пьесками, представляющими собой фельетоны в диалогической форме: «Через десять лет» (1920), «Публичный торг» (1921) – см. ниже.

– *спардек* – (англ.) палуба корабля у трехпалубного судна.

– *абордаж* – способ ведения морского боя, атака вражеского судна посредством сцепления бортов и последующей высадки на неприятельский корабль.

– *с вант* – ванты, т.е. корабельная снасть, толстые смоленые веревки, прикрепляющие мачту к бортам судна.

– *крюйт-камера* – помещение на корабле для хранения бочек с порохом.

Печатается по: Искусство кино. – 1959. – № 7. (публ. Ю. Красовского).

Публичный торг: Историческая пьеса в двух действиях.

Впервые напечатана в газете русской эмиграции «Общее дело» (1921. – № 263. – 4 апреля). Малоизвестный и не переиздававшийся с 1921 г. памфлет «Публичный торг» автор именует «исторической пьесой в двух действиях». В основе содержания – саркастическое осмеяние большевиков, продающих с публичного торга Россию, как закованную в цепях рабыню.

– *до Р.Х.* – до Рождества Христова.

– *риторы* – ораторы, учители риторики.

– *мистагоги* – древнегреческие жрецы мистерий.

– *подобие пеннорожденной* – по греч. мифологии богиня красоты Афродита рождена из морской пены.

– *гиппопотамовый бич* – во времена рабовладения бичи изготавливали из шкуры бегемота.

– *талант* – монета у древних греков.

– *orbiter tlegantiarum* – (лат. крылатое выражение) арбитр изящества, общепризнанный авторитет, законодатель общественных вкусов.

– *Каллипига* – название одной из античных статуй Венеры, означает «Прекраснозадая».

– *систра* – древний музыкальный ударный инструмент

Печатается по первой публикации.

ПУБЛИЦИСТИКА
(статьи, фельетоны, памфлеты)

Публицистика дореволюционная (1906-1914 гг.)

Армия и революция в России.

Статья впервые опубликована в австрийской газете «Neue Freie Presse» («Новая свободная газета»), Вена. – 1906. – 26 августа (8 сентября). – № 15103 – на немецком языке. В России напечатана в журнале «Неман». – 1989. – № 5 (публ. Ф.И. Кулешова); в журнале «Преподавание истории в школе». – 1989. – № 6 (публ. И. Питляр) в переводе Ф. Кулешова и И. Питляр.

В австрийской газете статье было предпослано примечание редакции: «Автор этой статьи – бывший высший русский офицер и выдающийся представитель современной русской литературы. Он является творцом военного романа «Поединок», наделавшего много шума в России и переведенного на все европейские, в том числе и на немецкий, языки. Куприн – зять умершего знаменитого русского виолончелиста и директора Петербургской консерватории Давыдова. Кроме того, он издатель журнала «Мир Божий», одного из распространеннейших ежемесячных петербургских журналов».

В высказываниях Куприна заметно опасение, сомнение в созидательных силах революции, опасение ее стихийности, предостережение от авантюрной игры на народных чувствах. Тему дисциплины в армии, поколебленной революционными выступлениями, писатель продолжит в публицистике 1917 г. (см. «О казачестве. Особое мнение»).

Публикуется по: «Неман». – 1989. – № 5.

– *Давыдов* – Давыдов Карл Юльевич (1838 – 1889), профессор и директор (1876-1887) Петербургской консерватории, виолончелист, композитор, Занимал одно из ведущих мест в истории русской музыкальной культуры. Умер до женитьбы Куприна на его приемной дочери Марии Карловне Давыдовой.

– *он издатель журнала «Мир Божий»* – русский ежемесячный литературный и научно-популярный журнал. Выходил в СПб. в 1892-1906 гг.

В августе 1906 г. издание журнала было прекращено, вместо него стал выходить журнал «Современный мир» (до 1918). Издательница – А. А. Давыдова, после ее смерти с 1902 г. – М. К. Давыдова, жена Куприна. Сам писатель не был издателем журнала, он состоял заведующим отделом беллетристики (с середины 1902 г. до конца 1903 г.), но отказался от поста и вышел из состава редакции после скандала фактического редактора А. Богдановича с издательницей М. К. Куприной.

Около войны. Двинск.

Очерк впервые напечатан в газете «Русское слово» (1914. – 12(25) октября. – № 235).

В конце сентября 1914 г. Куприн совершил поездку по прифронтовым городам Западного края, побывал в Двинске, Вильно, Ровно. По следам поездки были написаны очерки: «Двинск», «Лифляндия» (см. ниже).

– *Двинск* – до 1918 г. город Российской империи на правом берегу реки Западная Двина, на пересечении Петербургской и Варшавской ж/д. Основан Иваном Грозным в 1577 г. недалеко от ливонского замка Динабург. До 1667 – г. Борисоглебск, затем Динабург. В 1772 включен в состав Псковской губернии, с 1802 – уездный город Витебской губернии. В 1893 г. – переименован в Двинск. В 1918 г. передан в состав «Советской Латвии», с 1920 г. – носит название Даугавпилс.

– *еврейская община* – в описываемый Куприным период Двинск входил в черту оседлости, был населен преимущественно евреями (в начале XX в. – евреи составляли 46 % населения). Во время Первой мировой войны, осенью 1915 г. фронт приблизился к Двинску, город обстреливался дальнобойной немецкой артиллерией.

– *Сувалки* – город в северо-восточной части Польши, недалеко от границы с Литвой и Белоруссией, входил в состав Российской империи.

– *Августов* – город на северо-востоке Польши, входил в состав Российской империи. Через город проходили дороги, связывающие Польшу, Пруссию, Литву, Белоруссию. В Первую мировую войну возле Августова проходили тяжелые бои.

– *Блюменберг* Георгий Густавович – сын московского писчебумажного фабриканта Г. А. Блюменберга, фактический организатор и владелец «Московского книгоиздательства», выпускавшего с 1908 г. литературные сборники «Земля», в которых напечатаны произведения Куприна: «Суламифь», «Гранатовый браслет», «Яма». В «Московском книгоиздательстве» вышло собр. соч. Куприна в 12 томах (1908–1917), сб. «Детские рассказы» (1914). Блюменберг входил в круг знакомых Куприна. Писатель часто упоминал «Блюма» в переписке 1910 г. с сотрудником издательства В. С. Клестовым (т. 11, с. 112, 113). После Октябрьской революции Г. Г. Блюменберг эмигрировал в Германию. В Берлине возобновил «Московское книгоиздательство», которое в 1921–1925 гг. осуществило переиздание 12-томного Собрания сочинений Куприна.

Печатается по первой публикации.

Лифляндия.

Общее название цикла, в который вошли очерки: «Латыши», «Немцы», «Евреи», «Русские». Очерки печатались в газете «Русское слово» (1914. – 29, 30 октября). Вошли в сборник «Прибалтийский край и война» (Петроград: изд. А. П. Тупина. 1914). Очерк «Латыши» опубликован в книге: Цветков А.А. Ключи к тайнам Куприна. – Пенза, 2011.

Произведения написаны по следам поездки в конце сентября 1914 г. по прифронтовым городам Западного края (Двинск, Вильно, Ровно) и посещения Риги.

– *Лифляндия* – немецкое название Ливонии; в начале XX в. официальное наименование территории северной части Латвии и южной части Эстонии. Лифляндская губерния, образованная в 1796 г., включала прибалтийскую территорию Российской империи с городами Рига, Пернов, Дерпт (Юрьев) и др. С приходом советской власти в 1918 г. была разделена и вошла в состав Эстонии и Латвии.

– *лимитрофные государства* – пограничные, образованные из окраин бывшей царской России, главным образом, из западных губерний (Эстония, Латвия, Финляндия). Совокупность государств, образовавшихся после 1917 г. на территориях, входивших в состав Российской империи. Группа стран единого геополитического центра, части которого оказались привязанными друг к другу в системе международного разделения труда, связанными в единый народнохозяйственный комплекс.

– *в тырсу арены* – смесь песка и опилок, которыми посыпают арену цирка.

– *мыза* – в Прибалтике отдельно стоящая усадьба с хозяйством, хутор.

– *остзейский край* – от немецкого названия Балтийского моря – Ostsee. Прибалтийский край, совокупное название трех прибалтийских губерний Российской империи (Лифляндия, Курляндия, Эстляндия).

– *ижица* – буква старой русской азбуки, изображалась в виде «V»

– *дивиденд* – часть прибыли, распределяемая между акционерами.

– *в роде латышской жакерии* – Жакерия, название крупного крестьянского восстания в Западной Европе 14 в. Наименование получило от распространенного во Франции имени Жак.

– *«Новое время»* – ежедневная русская газета (СПб, 1868-1917), имела репутацию реакционной прессы.

– *Замысловский* Г. Г. (1872–1920) – российский политический деятель, участвовал в патриотических организациях.

– *Пуришкевич целует Тору* – Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870-1920), российский политический деятель, монархист, участник убийства Григория Распутина (1916), депутат III и IV Государственной думы, публицист.

— *Тора* – (евр.) учение, закон, священное Писание в иудаизме.

– *боксерское восстание* – или ихэтуаньское (от китайск. цюань – кулак) массовое движение в Китае в 1900 г. против иностранного вмешательства в экономику и политику страны.

– *японская кампания* – Русско-японская война 1904-1905 гг.

– *ландтаги* – собрания.

– *граф Цеппелин, первые воздушные сигары* – изобретатель дирижабля, (по внешнему виду – сигара), получившего имя создателя.

– *негоциант* – купец.

Печатается по сборнику «Прибалтийский край и война» (Петроград: изд. А. П. Тупина. 1914).

О войне.

Статья впервые опубликована в литературно-художественном альманахе «Война» (М.: Меч, 1914. Сент.).

Печатается по первой публикации.

О жестокости.

Статья впервые опубликована в литературно-художественном альманахе «В эти дни» (М., 1915. Дек.).

Печатается по первой публикации.

Союзники.

Очерк впервые напечатан в газете «Биржевые ведомости». – 1916. – 1, 3 января.

В 1915 г. Куприн поступил на службу в Земгор, образованный либеральной общественностью для помощи действующей армии. По поручению Всероссийского земского союза писатель в качестве помощника уполномоченного союза совершил поездку в Киев, познакомился с деятельностью местного отделения Земгора, в частности с работой завода по выделке дубильных веществ, мастерских и др. Произведение написано по следам поездки и содержит элементы производственного очерка. Автор истинными союзниками России в великой войне называет энергичных деятелей земского союза.

– *радовались Пуришкевичу* – Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870-1920), русский политический деятель, монархист, участник убийства Григория Распутина (1916), депутат III и IV Государственной думы, публицист. Достиг популярности благодаря скандальным выходкам. В 1918 г. монархические идеи Пуришкевича были поддержаны консервативными силами русского общества.

– *швальня* – (устаревш.) портновская, швейная мастерская.

– *секвестрированный* – урезанный, сокращенный, ограниченный, усеченный.

– *буффон* – шут, потешник.

Печатается по первой публикации.

Публицистика 1917 г.

10 мая 1917 г. писатель получил официальное предложение от издателя петроградской газеты «Свободная Россия» А. Эрьянова стать ее редактором (совместно с П. М. Пильским). Центристская позиция партии, над-

классовый и эволюционный характер ее программы – все это было близко Куприну и нашло отражение в его февральской публицистике. Наиболее крупный цикл этого времени составили статьи, объединенные общим названием «Пестрая книга». Данные статьи публиковались под римскими номерами и с дополнительными подзаголовками, как-то: «Ворон и лисица», «Пирамида» и др. Составителем не обнаружены статьи: «Пестрая книга III», «Пестрая книга IV», «Пестрая книга IX».

В публицистике этого периода автор постоянно обращается к теме военных действий на фронтах продолжавшейся Первой мировой войны. Большую статью «февральского цикла» писатель посвятил казачеству, которое могло противостоять опасности намеренного разваливания страны, исходящей с крайне левого фланга и с которой, как считает Куприн, уже недостаточно бороться статьями, речами, митингами, дискуссиями (О казачестве // Свободная Россия – 1917. – № 32).

Общественно-политическую позицию Куприна в предоктябрьский период можно назвать близкой к так называемому охранительному, государственному течению. Сложное по своему составу, первейшей целью оно ставило сохранение страны: преодоление кризиса, восстановление армии, борьбу с Германией и анархией. Главной силой, противостоящей течению, считались большевики, борьба с которыми воспринималась как составная часть борьбы с немцами. Куприна возмущает самонадеянность большевиков, проявляющаяся в стремлении решать важнейшие государственные задачи, не сообразуясь ни с чем, и он не скупится на самые резкие характеристики (Сердце народное // Свободная Россия. – 1917. – № 30).

Особенно яркими художественными сравнениями, ассоциациями и образами насыщена статья «Доменная печь», в которой автор сравнил революцию с доменной печью, у которой стояли «слабые, нерешительные, белоручки и тяжелодумы. Они выпустили дело из-под своего надзора, отошли от него в сторону и оно стало переходить из рук в руки» (Доменная печь // Эхо. – 1917. – № 3).

Все произведения 1917 г. печатаются по первым публикациям в петроградских газетах «Свободная Россия», «Эхо», «Эра» и др.

В наши дни: Пахнет гарью.

Статья из цикла «В наши дни» впервые опубликована в газете «Свободная Россия», Петроград. – 1917. – № 8.

– *протопоп Аввакум* – противник церковной реформы Патриарха Никона 17 в., духовный писатель.

– *галман* – (местн. курск., орл., тамб.) грубиян, невежа.

– *гадаринские свиньи* – (еванг.) во время одного из чудес Христа, исцеления бесноватого в стране Гадаринской, изгнанные бесы вошли в свиней, которые ринулись в бездну.

В наши дни: Генерал Пфуль.

Статья из цикла «В наши дни» впервые опубликована в газете «Свободная Россия», Петроград. – 1917. – № 12.

– *Генерал Пфуль* – второстепенный персонаж из романа Л. Н. Толстого «Война и мир». В генерале Пфуле, с его фанатичной верой в теорию и преданностью идее, Куприн находит общее с Лениным – теоретиком-«шахматистом». Позже, в эмигрантской статье «Утверждение» и в ответе на анкету «К 3-летию большевизма», Куприн писал, что доктрины Ленина лишены истинного человеческого содержания – «суть лишь схемы»; говорил о «холодном теоретическом пренебрежении Ленина к человеку и человечеству».

– *Дрисская позиция* – русский укрепленный лагерь, устроенный перед началом войны 1812 г. в местечке Дрисса (ныне Верхнедвинск).

Пестрая книга I.

Первая статья цикла «Пестрая книга» впервые опубликована в газете «Свободная Россия». – 1917. – № 10.

– *для полноты фигур в этой талии* – талия, круг карточной игры.

– *Ренненкампф* Павел Карлович (1854–1918), российский военный деятель, участник I мировой войны, командующий 1-й армией Северо-Западного фронта, после неудач отстранен от командования и уволен в отставку (1915).

– *Сольдау, Бзуры* – населенные пункты в Пруссии, в районе действия русских войск Северо-Западного фронта.

– *ризы, митры, фелони, панагии, саккосы* – предметы священнического облачения.

– *крах Панамского предприятия* – финансово-политический скандал, разразившийся в 1889 г. во время строительства Панамского канала и закончившийся банкротством компании.

– *Иоанникий* (Руднев) – митрополит Киевский и Галицкий, архимандрит Киево-Печерской лавры (1891–1900).

Пестрая книга II.

Статья впервые опубликована в газете «Свободная Россия». – 1917. – № 14. – 25 мая.

– *Элизе Реклю* (1830–1905) – франц. историк, член I Интернационала, примыкал к анархистам.

— *Толстой* Лев Николаевич (1828–1910), подобно анархистам, выступал с критикой частной собственности, отрицал государство как любое принуждение.

— *Кропоткин* Петр Алексеевич (1842–1921), князь, теоретик и идеолог анархизма.

– *Мамонт Дальский* – Дальский Мамонт Викторович, настоящая фамилия Неелов (1865 – 1918), русский драматический актер. Входил в круг знакомых Куприна. В турне по Кавказу в 1916 г. они провели несколько совместных литературно-артистических вечеров, посвященных А.С. Пушкину. Дальскому адресована дружественная надпись-эпиграмма, сделанная Куприным на томике очерков «Лазурные берега»: «Милый Дальский Мамонт, // Как ты близок мне! // Ты прекрасный амант, // А герой

вдвойне!» После революции Дальский примкнул к анархистам, погиб в Москве в июне 1918 г. Яркая характеристика авантюрного образа жизни Дальского содержится в очерке Куприна «Обыск» (1930): «…современный нам Калиостро, он же талантливый актер и он же неожиданный и внезапный анархист Мамонт Дальский».

Пестрая книга V.

Публикации предыдущих статей «Пестрая книга III» и «Пестрая книга IV» не обнаружены.

Заметка под номером V впервые опубликована в газете «Свободная Россия». – 1917. – 26 мая. – № 16. Статья явилась откликом на готовящиеся изменения в русском правописании. 11 мая 1917 г. при Временном правительстве были обсуждены и приняты разработанные орфографической подкомиссией Академии Наук постановления о реформе русского письма: исключить буквы «ять», «фита», «ижица», «еръ» (твердый знак в конце слова). Результаты легли в основу декрета о новых правилах правописания, утвержденного СНК 10 октября 1918 г.

После заседания орфографической подкомиссии журналист Осип Слицан шутливо «попрощался» с упраздняемыми буквами, что вызвало гневную отповедь Куприна.

Пестрая книга VI.

Статья № 6 впервые опубликована в газете «Свободная Россия». – 1917. – 31 мая. – № 20.

– *танагрская богиня* – наиболее распространенный тип древнегреческих терракотовых статуэток, по названию города Танагр.

– *бурбоны, трынчики, питухи* – прозвища офицеров в полку; *бурбон* – ироническое прозвище, которым старые кадровые офицеры награждали свежеиспеченных офицеров, выслужившихся из нижних чинов с грубыми замашками.

– *с образованием шморгонской академии* – ироническое название по местечку Сморгонь в Белоруссии, вблизи которого цыгане дрессировали медведей.

– *за игрой в «двадцать одно»* – название карточной игры.

– *Холмуши* – название места в Петрограде, угол Боровой и Обводного канала, где проживали скупщики краденого и другие уголовные преступники.

Пестрая книга VII.

Статья впервые опубликована в газете «Свободная Россия». – 1917 – № 21.

– *Луначарский* – Луначарский Анатолий Васильевич (1875 – 1933), советский государственный деятель, литературный критик, переводчик, драматург, публицист.

В годы Первой мировой войны занял интернационалистическую позицию, был одним из основателей пацифистской газеты «Наше слово».

В июле 1917 г. вошел в редакцию созданной М. Горьким газеты «Новая жизнь». После июльских событий 1917 г. обвинен Временным правительством в государственной измене, арестован. В июле-августе 1917 г. вошел во фракцию большевиков. С октября 1917 по сентябрь 1929 гг. – первый нарком просвещения.

– *«Мамадышское Эхо»* – по наименованию Мамадышского уезда Казанской губ., в значении захолустной провинциальной газеты.

– *умыть руки и… оставить стыд на дне умывальника* – еванг. выражение, означает сложение с себя ответственности за происходящее.

Рошфор – Анри Рошфор (1831–1913), французский политический деятель и писатель-публицист, автор блестящих памфлетов, направленных против Наполеона III. Куприн после смерти Рошфора написал очерк «Рошфор» (1914).

– *«Капитал»* – полное название «Капитал. Критика политической экономии» (1867), главный труд Карла Маркса по политической экономии, содержащий критический анализ капитализма.

– *Людовик Нодо* – Нодо Шарль Людовик, франц. журналист, в годы I м.в. и революции корреспондент франц. газеты «Пти Паризьен», выходившей в Петрограде.

Пестрая книга VIII: Ворон и Лиса.

Фельетон впервые опубликован в газете «Свободная Россия». – 1917. – 10 июня. № 29.

Куприн, используя басню о вороне и лисе, иронизирует над перемирием и братанием с германскими войсками.

Пестрая книга X: Пирамида.

Статья впервые опубликована в газете «Свободная Россия». – 1917. – № 33.

– *м<ада>м Коллонтай* – Коллонтай Александра Михайловна (1872–1952), профессиональная революционерка.

– *вотановские строения* – Вотан, верховный бог в германо-скандинавской мифологии.

Пестрая книга XI: Агенты.

Статья впервые опубликована в газете «Свободная Россия». – 1917. – № 35.

– *Марат, Дантон, Сен-Жюст, Камилл-Демулен* – политические деятели эпохи Великой Французской революции.

– *секреты Полишинеля* – мнимая тайна, секрет, который и так всем известен. Выражение происходит от имени комического персонажа Комедии дель арте.

– *Гутуевский остров* – остров в СПб., дельте Невы.

– *Гарун-аль-Рашид* – правитель Багдада из арабских сказок «Тысяча и одна ночь».

Необходимая оговорка. Письмо в редакцию.

Заметка по поводу напечатанной в предыдущем номере газеты редакционной статьи «Наша программа». Впервые напечатана в газете «Свободная Россия». – 1917. – 26 мая. – № 15.

О казачестве: Особое мнение.

Статья впервые опубликована в газете «Свободная Россия». – 1917. – № 32.

Явилась ответом на опубликованную в газете 9 июня 1917 г. анонимную передовицу «Под знаком контрреволюции». Поскольку такой тип статей считается выражением мнения всей редакции, то соредактор Куприн, не согласный с содержанием этого материала, был «принужден резко остаться при особом мнении». Его резкие высказывания дают представление об идейно-политических взглядах Куприна. Автор уделяет внимание Общеказачьему съезду, проходившему в Петрограде с 7 по 17 июня 1917 г. и собравшему более 500 делегатов от 10-ти казачьих войск. В вопросе об армии и ее разложении в послереволюционный период Куприна обнадеживал тот факт, что многие воинские части продолжали сохранять дисциплину, среди них – казачьи соединения. Он выразил резкое несогласие с утверждением о том, что казаки представляют контрреволюционную опасность. В характеристике казачества, его «природного всадничества» видна романтизация писателем этого явления, как близкого к природе, земле и берущего свои корни в героическом прошлом с его былинным духом свободы.

В эмиграции писатель не раз обращался к казачьей теме («Островок», «Костя Попов»), принимал участие в казачьих периодических и непериодических изданиях: ж. «Станица», «Казачий литературно-общественный альманах», «Казачий сборник»; поддерживал дружеские и творческие связи с казачьими литераторами Н. Н. Туроверовым и П. Н. Красновым. В 1927 г. писатель ответил на анкету, составленную выборными атаманами казачьего зарубежья совместно с Правлением Казачьего союза с целью выявления мнений о прошлом, настоящем и будущем казачества. На анкету откликнулись, наряду с Куприным, около 90 человек виднейших представителей русской эмиграции (митрополиты Евлогий и Антоний, А. И. Деникин, П. Н. Врангель, А. П. Кутепов, П. Б. Струве, М. А. Алданов, А. Ф. Керенский, П. Н. Милюков и др.). В своем ответе писатель сконцентрировал высказывания, нашедшие отражение в его художественных и публицистических произведениях. Мысли Куприна о казачестве представляют несомненный интерес не только с исторической точки зрения, но его суждения не утратили своего общественно-публицистического значения, поскольку напрямую соотносимы с современными проблемами казачьего движения и могут быть востребованы как духовный опыт прошлого.

– *нагайка* – средство управления лошадью, плеть, которой пользовались как летучим кистенем при разгоне демонстрантов.

– *Циммервальд* – название швейцарской деревни, где в 1915 г. проходила конференция левых социалистов.

– *вивисекционные опыты* – эксперименты над животными, в результате которых часто следовала их гибель.

– *Гучков* – Гучков Александр Иванович (1862–1936), политический деятель, основатель и лидер партии октябристов.

– *«Новая жизнь»* – ежедневная газета, в 1905 г. выходила под рук. В.И. Ленина, в 1917–1918 гг. издавалась группой меньшевиков.

– *культуртрегер* – носитель культуры, ироническое название колонизаторов, прикрывающих порабощение захваченных ими стран утверждениями о насаждении культуры; ироническое название человека, скрывающего свои истинные цели.

Печатается по первой публикации.

Сердце народное (А.Ф. Керенский)

Статья впервые напечатана в газете «Свободная Россия». – 1917. – № 30.

– *Керенский Александр Федорович* (1881-1970) – присяжный поверенный, член партии трудовиков, с марта 1917 – эсер, депутат IV Государственной Думы. В первом составе Временного правительства – министр юстиции. В мае-сентябре 1917 г. – военный и морской министр, с 8 июля – министр-председатель, а с 30 августа и Верховный Главнокомандующий.

Куприн выделил Керенского из ряда политических деятелей как способного, по его мнению, стабилизировать обстановку в стране. Первые твердые и жесткие действия военного министра привели к некоторому улучшению положения, и писателю он представлялся редким сочетанием революционного пафоса, порыва и профессионализма. Вероятно, решающую роль в оценке Куприным будущего министра-председателя, а на момент написания статьи – военного и морского министра, играл тот факт, что Керенский пытался утвердить дисциплину в армии, сам ездил на фронт, видел необходимость в наступательных действиях.

В этом же номере газеты, рядом со статьей Куприна, напечатано стихотворение его друга А. Рославлева «А.Ф. Керенскому».

– *на громком процессе О'Бриен-де-Лассе, доктора Панченко, Бутурлина* – судебный процесс 1911 г. по обвинению дворянина О'Бриен-де-Лассе и доктора-проходимца В. П. Панченко в убийстве В. Бутурлина с целью завладения наследством.

– *Карабчевский* Николай Платонович (1851–1925) – популярный в дореволюционной России адвокат.

– *Струве* Петр Бернгардович (1870–1944) – правовед, общественный и политический деятель.

– *В. Дорошевич* – Дорошевич Влас Михайлович (1865–1922), русский журналист, публицист.

– *Милюков* Павел Николаевич, *Гучков* Александр Иванович, *Родзянко* Михаил Владимирович, *Чхеидзе* Николай Семенович, *Шульгин* Василий Витальевич – политические деятели, члены Временного комитета Государственной Думы. *Пуришкевич* Владимир Митрофанович – политический деятель, депутат IV Государственной Думы.

– *Кавеньяк* – Луи Эжен Кавеньяк (1802–1857), французский политик.

– *Смердяков* – персонаж романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», лакей, убийца своего отца.

Печатается по первой публикации.

Звездный флаг.

Статья впервые напечатана в журнале «Нива». – 1917. – № 45. – 11 ноября.

– Курсивом Куприн выделил фразы, взятые им из статьи И.М. Хераскова «Американская республика», и сделал сноску: «Пусть слабые души знают, что не одна Россия доходила до предельной черты, за которой пропасть и смерть».

– *«A bas la tyrannie»* – «долой тиранов», слова из французского гимна.

– *«Боже, царя храни…»* – гимн дореволюционной России.

– *квакеры* – члены религиозного общества, возникшего в XVII в. в Англии.

– *Habeas Corpus* – термин английского права, которым означается основная гарантия личной свободы.

– *Вашингтон* Джордж (1732–1799) – главнокомандующий американских войск в борьбе против английских колонизаторов, первый президент США.

– *Лафайет* – маркиз де Ла Файет (1757-1834), французский политический деятель, в молодости – участник войны за независимость в Северной Америке (1780, 1784).

– *Костюшко* – Тадеуш Костюшко (1746-1817), польский политический и военный деятель, руководитель польского восстания (1794), в молодости – участник войны за независимость в Северной Америке (1776-1792).

Печатается по первой публикации.

Доменная печь.

Фельетон впервые напечатан в газете «Эхо», Петроград. – 1917. – 18 декабря. – № 3.

Авторская дата «16 декабря 1917, Гатчина».

Статья вобрала в себя элементы производственного очерка, яркие метафорические сравнения с литейным делом, хорошо знакомым Куприну по работе на сталелитейном заводе (1896) и нашедшим отражение в ранних произведениях «Юзовский завод», «Молох».

Печатается по первой публикации.

Публицистика 1918 г.

Памятники.

Фельетон впервые напечатан в газете «Вечернее слово», Петроград. – 1918. – 18 апреля. – № 23.

Фельетон явился откликом Куприна на декрет СНК от 12 апреля 1918 г. «О памятниках республики», в соответствии с которым уже к 1 мая 1918 г. должны быть «сняты некоторые наиболее уродливые истуканы и поставлены первые модели новых памятников». В 1918 г. в Москве были снесены монументы царям Александру II и Александру III, национальным героям: генералу М. Скобелеву в Москве, И. Сусанину в Костроме, генералу М. Платову в Новочеркасске.

Фельетон представляет собой вымышленный разговор между автором и наркомом просвещения А.В. Луначарским касательно уничтожения памятников. В остро пародийном свете автор представляет деятельность новой власти и ее лидеров, революционный быт с его лозунгами и ходячей фразеологией.

– *Луначарский* – Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1933), литературный критик, переводчик, драматург, публицист. С июля 1917 г. член партии большевиков. С октября 1917 по сентябрь 1929 гг. – первый нарком просвещения. Личное знакомство Куприна и Луначарского произошло в 1905 г. на квартире художника И. Билибина на первом заседании сотрудников журнала «Жупел». Свои первые впечатления Куприн описал в статье «Аверченко и “Сатирикон”»: «Горького мы долго ждали. Приехал он не один, а с каким-то долговязым парнем в черном сюртуке до пят, с золотыми очками на бержераковом носу». (Сегодня. – 1925. – № 72). Последующие встречи и общение с Луначарским носили более официальный характер и касались политических вопросов. В письме к К.И. Чуковскому от 27 мая 1919 г. с просьбой «походатайствовать об участи» арестованных гатчинских мальчиков, писатель замечает, что по подобным вопросам уже неоднократно «приставал к Луначарскому».

Отношение Куприна к Луначарскому, судя по его статьям и фельетонам, было ироничным. «Прекрасный Анатоль» (т. 10., с. 12), нарком просвещения, стал героем купринских фельетонов. Вверенное Луначарскому ведомство Наркомпроса Куприн подвергает уничтожающему осмеянию в «Советских анекдотах», в главе «Похождения Зеленой лошади» (1920). В статье «Сад» (1924) автор иронизирует над плодовитостью драматурга и частыми постановками пьес наркома: «Луначарский (le beau Anatole) пишет по две драматических пьесы в день, каждая в 6 актов и 14 картин, да еще – о, ужас! – в стихах. И все пьесы ставятся в театрах. Попробуйка не поставить!» (т. 10., с. 32). Зная, что у Луначарского искали защиты многие представители интеллигенции в годы террора гражданской войны, Куприн в статье «Часовщик» (1921) называет его, наряду с Горьким, «трубадуром», который «восторженно поет о величии науки и искусства в то время, как ученые и поэты умирают от голодного истощения». В статье «О Горьком» (1924) писатель приводит один из фактов, когда Луначарский «напечатал свое известное письмо о выходе из партии, допускающей немотивированные убийства». При этом Куприн отмечает двойственность позиции Луначарского – одной из самых противоречивых фигур в большевистском руководстве.

– *ц.и.к.* – центральный исполнительный комитет.

– *товарищу Коллонтай* – Коллонтай Александра Михайловна, урожд. Домонтович (1872-1952), профессиональная революционерка, советский государственный деятель, дипломат. В Февральскую революцию – член исполкома Петроградского совета, вела агитацию в среде солдат и матросов. После прихода к власти большевиков получила пост народного комиссара общественного призрения, создала отдел по охране материнства и детства.

– *бывшего полковника Пржевальского* – Пржевальский Николай Михайлович (1839-1888), выдающийся путешественник, предпринявший несколько экспедиций в Центральную Азию, натуралист, почетный член СПб. Академии Наук, генерал-майор (1886).

– *Иоффе* – Иоффе Адольф Абрамович (1883-1927), участник революционного движения, крупный советский дипломат первых лет советской власти.

– *Карахан* – настоящая фамилия Караханян Лев Михайлович (1889-1937), большевик, в 1917 г. – член Военно-революционного комитета, советский государственный деятель, дипломат.

– *Стеклов* – Юрий Михайлович Стеклов, настоящая фамилия и имя Нахамкис Овший Моисеевич (1873-1941). Революционер, публицист, советский государственный и политический деятель, историк, редактор. В 1917 г. – член исполкома Петроградского совета. В 1917-1925 гг. – редактор газеты «Известия ВЦИК». Написанные им передовицы получили название «стекляшки». Куприну был знаком фельетон «Два раза православный Нахамкес» в редактируемой Куприным газете «Свободная Россия» (1917, № 16), где герой фельетона, желая скрыть иудейское происхождение дважды принимал православие.

– *премия покойного Ясинского* – Ясинский Иероним Иеронимович (1850–1931), поэт, журналист, писатель; ко времени написания купринской статьи был жив, но его сотрудничество после Октябрьской революции с большевиками вызвало иронию Куприна о премии его имени.

Печатается по первой публикации.

Стыдливое признание.

Фельетон. Напечатан в газете «Эхо», Петроград. – 1918. – № 9; в газете «Свободные мысли». – 1918. – 25 ноября; журнале «Радуга», Киев. – 2000. – №2 (публ. М. Рыбакова).

– *раздуванить* – (жарг.) разделить награбленное.

– *Совдепия* – пренебрежительное наименование Советской республики, название происходит от слов: советы рабочих, солдатских, крестьянских депутатов.

– *претория* – (греч.) резиденция наместника; административный и политический центр страны.

Печатается по первой публикации.

Куда пойдем? Кому скажем?

Фельетон впервые напечатан в вечернем выпуске газеты «Петроградское эхо». – 1918. – № 49.

– *Раваньеми, Куопио, Ваало, Умаборг* – населенные пункты в Финляндии.

– *Сайменский канал* – судоходный канал между озером Саймо в Финляндии и Выборгским заливом в России, открытый в 1856 г.

– *Иванов праздник* – День на Ивана Купало, летний народный праздник языческого происхождения, приуроченный к христианскому празднику Рождества Иоанна Крестителя 24 июня (7 июля).

– *напоминает лицо Гамсуна* – Кнут Гамсун (1859–1952), норвежский литератор, любимый писатель Куприна.

– *обрусители школы Бобрикова* – Бобриков Николай Иванович (1839–1904), русский государственный деятель, с 1898 г. генерал-губернатор Финлядского княжества.

– Suomi – Суоми, финское название страны (Финляндия – шведское название).

Печатается по первой публикации.

Желтугинская республика.

Фельетон впервые напечатан в вечернем выпуске газеты «Петроградское эхо». – 1918. – № 58; в журнале «Радуга», Киев. – 2000. – № 2 (публ. М. Рыбакова).

– *Желтугинская, или Желтухинская республика*, которую иногда называют Амурская Калифорния, стихийно образовалась в конце 19 века в Маньчжурии, находившейся под юрисдикцией Китая. Располагалась на берегах реки Желта (китайское название Мохэ), притока Албазихи, впадающей в реку Амур. Позже речку Желту переименовали в Желтугу, откуда и пошло наименование.

– *Мартын Задека* – толкователь снов, ему приписывается книга-сонник 18 в. «Древний и новый всегдашний гадательный оракул».

– *каббалистика* – мистическое течение в иудаизме, применявшее магические ритуалы и гадания.

– *лжемонах Нилус* – Сергей Александрович Нилус (1862–1929), российский религиозный писатель и общественный деятель, публикатор «Протоколов сионских мудрецов» (1905, 1917). Куприн придерживался версии, что это сфальсифицированный сборник текстов о вымышленном мировом заговоре евреев.

– *Нострадамус* – Мишель де Нострдам (1503–1566), французский астролог, известный своими предсказаниями и пророчествами.

– *законы драконовски жестоки* – фразеологизм «драконовские законы» означает непомерно суровые законы, происходит от имени Дракона – первого законодателя Афинской республики (621 г. до н.э.)

Печатается по первой публикации.

Все качества.

Фельетон впервые напечатан в вечернем выпуске газеты «Петроградское эхо». – 1918. – № 68. – 25 мая; в журнале «Радуга», Киев. – 2000. – № 2 (публ. М. Рыбакова).

Куприн поднимает тему власти и людей во власти – одну из важных в прозе и публицистике тем, к которой он обращается в переломные моменты эпохи, дни революций 1905 и 1917 гг. Автор видел воочию людей, в мгновение обретших неограниченную власть над другими согражданами, и их поступки. В статьях и фельетонах «Пестрая книга», «Бескровная», «Тришка Будильник», «Русские коммунисты» Куприн пишет о времени торжества хама, вседозволенности, когда к власти «примазалось» много случайных людей с недостойными качествами. Помимо политических узников из открытых тюрем вышли уголовные преступники (воры, убийцы, фальшивомонетчики) и «ринулись в революцию, обезумев от мгновенной власти». Путь к власти шел через митинги, первыми становились те, «кто бил себя в грудь и перекрикивал крикунов». Профессиональные воры, по утверждению писателя, пролезли вверх, во власти укрепились самозванцы. Писатель дает этому процессу определение – «хлестаковщина». Тему неограниченной власти, испытания властью писатель прослеживает в «Памятной книжке» (1919).

– *Пуришкевич* – Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870-1920), политический деятель ультраправого толка, монархист. Депутат II, III и IV Государственной Думы. Выступал за парламентский путь решения проблем. Участник убийства Григория Распутина. В Февральскую революцию находился в оппозиции к Временному правительству. После прихода к власти большевиков арестован ВЧК. 3 января 1918 г. приговорен ревтрибуналом к 4 годам общественных работ. Освобожден 18 апреля. Уехал на юг страны, где принимал участие в организации белого движения.

– *Троцкий* – Троцкий Лев Давидович, настоящая фамилия и имя Бронштейн Лейба Давидович (1879-1940), в годы революции руководитель Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, один из создателей Красной Армии. В первом советском правительстве – сначала нарком по иностранным делам, в 1918-1925 – нарком по военно-морским делам. Председатель Реввоенсовета республики. С 1923 г. — в оппозиции, в 1927 – снят с постов, отправлен в ссылку.

– *иппическая аналогия* – (греч.) лошадиная; т. е. сравнение взято из терминологии, связанной с наукой о лошади.

– *убийцы Шингарева, Кокошкина, Янушкевича, Генглезов* – Шингарев А.И. и Кокошкин Ф.Ф. – члены Временного правительства, арестованные большевиками. 6 января 1918 г. по состоянию здоровья были переведены в Мариинскую больницу, где в ночь на 7 (20) января были убиты караульными солдатами. *Янушкевич Н. Н.* – русский генерал, в начале 1918 г. арестован в Могилеве и отправлен в Петроград, убит по пути конвоирами. *Генглезы* – братья Андрей, Николай, Павел – сыновья И. М. Генглеза, преподавателя Гатчинского сиротского института, французские подданные. Были схвачены 1 марта 1918 г. отрядом красногвардейцев, обвинялись в контрреволюционном заговоре. С разрешения Ленина были переданы отряду матроса Черкашина и 2 марта расстреляны. Куприн близко принял трагедию знакомого по Гатчине семейства, в эмиграции откликнулся на

годовщину смерти братьев Генглезов в статье «Памяти жертв большевиков» (1921) – см. в настоящем сборнике.

– *Карахан* – настоящая фамилия Караханян Лев Михайлович (1889-1937), большевик, в 1917 г. – член Военно-революционного комитета, советский государственный деятель, дипломат.

Крыленко – Крыленко Николай Васильевич (1885-1938), советский государственный и партийный деятель. В Февральскую революцию избран председателем полкового, затем армейского комитета и делегирован в Петроград. В июле 1917 арестован и обвинен в государственной измене. После октября 1917 г. бывший прапорщик царской армии стал Верховным главнокомандующим армии советской республики. С мая 1918 г. – председатель Революционного Верховного трибунала.

– *Дыбенко* – Дыбенко Павел Ефимович (1889-1938), балтийский матрос, большевик, с апреля 1917 г. – председатель Центробалта. После Октябрьской революции – командир красных отрядов в Гатчине, до марта 1918 г. – 1-й народный комиссар по морским делам. После отступления и поражения в боях под Нарвой в феврале 1918 г. арестован и лишен постов. В конце 1918 – начале 1919 гг. — командир полка на Украине, командир Крымской армии.

– *Коллонтай* – см. примечания к фельетону «Памятники» (1918).

Печатается по первой публикации.

Где конец?

Статья напечатана в газете «Молва. – 1918. – 10 июня. – № 4; в газете «Свободные мысли». – 1918. – 22 сентября; в журнале «Радуга», Киев. – 2000. – №2 (публ. М. Рыбакова).

– *брандмауэр* – (нем.) глухая противопожарная стенка здания.

Печатается по первой публикации.

Писаки.

Статья впервые напечатана в петроградской газете «Молва». – 1918. – № 5.

Болезненно важным для Куприна в период Октябрьской революции становится вопрос о свободе печати. Сразу после октябрьского переворота 27 октября 1917 г. СНК принял декрет «О печати», уточнявший критерии, на основании которых «буржуазные» органы печати подлежали запрещению. Цензура стала эффективным оружием новой власти в борьбе с инакомыслящими. Независимое слово подвергается гонениям, но Куприн отмечает, что журналисты не спешат на поклон к большевикам. Поэтому на свободных писателей и журналистов навешивается ярлык – «писаки». В статье намечен купринский лейтмотив восприятия дальнейших событий: в социальный рай «неучи гонят Россию прикладом, пулеметом, голодом и словоблудием».

– *действия наркомов, нархозов, советов, румчеродов, красармов* – сокращенные названия послереволюционных комиссариатов и учреждений: нарком – народный комиссариат; нархоз – народное хозяйство; румчерод

– центральный исполнительный комитет Румынского фронта, Черноморского флота и Одессы; красарм –Красная армия.

– *городничий Антон Антонович Сквозняк-Дмухановский* – персонаж комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».

– *шевалье де Роанн* – шевалье де Роан-Шабо, отпрыск одного из самых родовитых семейств Франции. В 1725 г. в театре оскорбил Вольтера, а в ответ на его колкости приказал наемникам избить писателя. Правительство во избежание осложнений заключило в Бастилию Вольтера (1726).

– *Золя* – Эмиль Золя (1840-1902), французский писатель, публицист, политический деятель, выступил со статьей «Я обвиняю!» по делу Дрейфуса.

– *позорные дни Дрейфуса* – громкий судебный процесс 1894-1906 гг. по несправедливому обвинению в шпионаже в пользу Германии капитана Альфреда Дрейфуса, офицера французского Генштаба, еврея по национальности. Дело Дрейфуса всколыхнуло общественно-политическую и духовную жизнь Европы конца XIX – начала XX вв.

– *«скоропадент»* – (искажен.) корреспондент.

– *ктиторский* – (греч.) ктитор, церковный староста, создатель и строитель храма.

– *Мопертюи* – Пьер Луи Моро, французский физик, математик, философ 18 в.

– *Фрерон Луи-Мари-Станислав* – деятель Великой французской революции, журналист. В 1790 г. выпускал журнал «Оратор народа». В Конвенте произнес речь в защиту свободы печати.

– *Рошфор* – Анри Рошфор (1831-1913), французский политический деятель и писатель-публицист, автор блестящих памфлетов, направленных против Наполеона III. Куприн после смерти Рошфора посвятил ему очерк «Рошфор» (1914).

– *Пинар, Стамир при Наполеоне III* – Куприн упоминает имена в своем раннем очерке «Рошфор»: «стоящие у кормила власти Руэр и Пинар, пользуясь наемными перьями < > Стамира…» Стамировский – эмигрант, поляк, журналист. Пинар Пьер-Эрнест – французский государственный деятель в эпоху царствования Наполеона III.

– *герцог Альба* – испанский государственный деятель и военачальник XVI в., правитель Нидерландов, применявший суровые действия при подавлении восстания.

– *Видок Фиглярин* – прозвище писателя и журналиста Фаддея Булгарина, намек на службу Булгарина в тайной полиции (Видок – начальник парижской сыскной полиции). В 1926 г. Булгарин подал в III Отделение записку «О цензуре в России и книгопечатании вообще». После памфлетов и эпиграмм А. Пушкина и П. Вяземского имя стало нарицательным, обозначает доносчика, осведомителя, продажного журналиста.

– *Карл-Амалия Грингмут* – журналист немецкого происхождения, поэтому печать насмешливо именовала его Карл-Амалия. Антисемит, реакционный публицист. Редактор-издатель газеты «Московские ведо-

мости» (1897-1907), которая при нем пользовалась репутацией черносотенной.

Печатается по первой публикации.

Близкое: Письмо В. Г. Тану.

Фельетон впервые напечатан в газете «Утренняя молва». – 1918. – № 1. -15 июня.

– *В. Г. Тан* – Богораз (Тан-Богораз) Владимир Германович (настоящее имя Натан Менделевич) (1865-1936), журналист, писатель, этнограф, музейный деятель. Публиковался под псевдонимами: Н. Тан, В.Г. Тан. По политическим взглядам примыкал к энесам (центристская партия народных социалистов). В 1918 г., как и Куприн, печатался в газете «Молва». В советское время – член-корреспондент Академии наук, хранитель Музея антропологии и этнографии АН СССР, основатель Института народов Севера (Ленинград). Последние годы работал директором основанного им Музея религии и атеизма (в здании Казанского собора в Ленинграде).

Фельетон явился ответом на статью Тана «Сумерки богов». Куприн вступил в полемику с журналистом, рассуждавшим о том, что когда-нибудь человечество исчезнет с лица земли, а на его месте народится новое. Не признавая большевиков народной властью, Куприн видел путь спасения страны в опоре на крестьянство – по его мнению, наиболее здоровую, способную к сопротивлению и потенциально расположенную к прочному государственному строительству часть народа.

– *извержение Эребуса* – вулкан в Антарктиде, характеризуется постоянной активностью и выбросом газа метана, который взрывоопасен и разрушителен.

– *Homo novus* – человек новый.

– *климова подоплёка* – подкладка для мужской крестьянской рубахи, подшитая от плеч до половины груди и спины. Климова – от распространенного в крестьянской среде имени Клим. В переносном значении – скрытая причина, основа, сущность чего-либо.

– *иеремиада* – в значении: плач, произведение в пессимистическом тоне, от имени библейского пророка Иеремии. «Книга Иеремии» и «Плач Иеремии» входят в текст Ветхого Завета и содержат пророчества скорого упадка Иудеи по причине того, что правители царства нарушили закон Яхве. Куприн относит это выражение к статье Тана, уподобляя «Плачу Иеремии» его длинное литературное произведение, в котором автор оплакивает состояние общества, обличая его пороки и предсказывая скорый упадок.

– *портрет издателя «Нивы»* – иронический намек на то, что вместо портрета кумира русских революционеров Карла Маркса вешали портрет его однофамильца, популярного русского книгоиздателя А. Ф. Маркса (1838–1904), печатавшего популярный журнал «Нива».

– *«Наше преступление»* – повесть, полное название «Наше преступление. Не бред, а быль. Из современной народной жизни» (1909), принадлежит перу Ивана Александровича Родионова (1866-1940). Книга выдер-

жала несколько изданий (1909-1911). Автор повести, описывая русскую деревню в период первой русской революции, указывал на две причины трагедии России: жиды и алкоголь. В 1918 г. в газете «Часовой» Родионов опубликовал «Сионские протоколы», им же в эмиграции посвятил книгу «Сыны дьявола» (Белград, 1932). Куприну оказалась близка поднятая Родионовым тема о разобщенности интеллигенции и народа. Под «нашим преступлением» автор имел в виду преступление интеллигенции, бросившей свой народ.

– *Шлоссер Фридрих Кристоф* (1776-1861) – немецкий историк.

Печатается по первой публикации.

Берлога.

Фельетон впервые напечатан в газете «Молва». – 1918. – № 10.

– *скорбный главою царь Додон* – сказочный персонаж повести о Бовекоролевиче, упоминается как несообразительный, неумный человек.

– *савостейки* – или савотейки, в Сибири небольшие круглые булки, серенькие на вид и дурные на вкус. Их выкладывают на окна для прохожих бродяг. Отсюда: стрелец савотейный – беглый сибирский бродяга.

Печатается по первой публикации.

Вскладчину.

Статья впервые напечатана в газете «Молва». – 1918. – № 13.

– *«бегуны»* – странники, одно из беспоповских направлений старообрядчества.

Печатается по первой публикации.

Законный срок.

Статья впервые напечатана в газете «Утренняя молва». – 1918. – 19 июня. – № 4.

– *Ленин, он же Ильин, он же Тулин, он же Ульянов* – настоящая фамилия В.И. Ленина – Ульянов, все остальные – его псевдонимы, под которыми он выступал как публицист в печати.

– *он же увеличенный в тысячу раз Шигалев из Бесов* – персонаж романа Ф.М. Достоевского «Бесы», «планировщик будущего общего счастья», создатель «человеческого благополучия в человеческом муравейнике». Уже в фельетоне «Генерал Пфуль» (Свободная Россия. – 1917. – № 12) Куприн предупреждает о том, что Россия «захлебнется в шигалевщине» и сравнивает Ленина с Шигалевым, который страстно верил в то, что если отрубить только 50 тыс. голов, то в России наступит идиллическая эпоха. В эмигрантской публицистике («Пророчество первое», «Тихий ужас») писатель постоянно обращается к образной системе Достоевского, сравнивает, размышляет и находит аналогии революционной бесовщины, т.к. «шигалевщина» напоминает о себе в повседневной жизни очень часто. Куприн содрогается от грядущего злоупотребления «наблюдателей», облеченных властью: «Какое безбрежное поле открывается для взаимного

шпионажа, для доносов, интриг... Идет шигалевщина! Исполняются грозные слова Достоевского...» («Тихий ужас», 1920).

– *по свидетельству М. Неведомского* – настоящая фамилия Миклашевский Михаил Петрович, публицист-марксист.

– *о Мукденской катастрофе* – сражение под Мукденом в Русско-японскую войну 1905 г. закончилось окружением и поражением российской армии.

Печатается по первой публикации.

К убийству В. Володарского. У могилы.

Статья-некролог впервые напечатана в газете «Эра». – 1918. – № 1.

– *В. Володарский* – настоящее имя Моисей Маркович Гольдштейн (1891-1918). С марта 1918 г. – комиссар по делам печати, пропаганды и агитации. Убит 20 июня 1918 г. эсером-рабочим Н. Сергеевым.

На гибель журналиста Куприн сразу откликнулся статьей «К убийству В. Володарского. У могилы». Некролог отличается острой полемичностью и скорее может быть отнесен не к жанру некролога, а статьи. Мало доверяя официальным версиям произошедшего и понимая, чем может грозить свободной прессе убийство комиссара по делам печати, Куприн взывает к здравому рассудку и предлагает тщательно разобраться в мотивах преступления, не исключает возможности провокации. Каких-либо обвинений в адрес эсеров в статье не выдвигается.

Для понимания позиции писателя важна такая существенная деталь как редакционное примечание к напечатанной статье: «Статья А. И. Куприна написана и прислана в редакцию до закрытия газеты «Молва» и ареста автора» – т.е. до 1 июля 1918 г. Этот факт опровергает распространенные утверждения куприноведов, в частности О.Н. Михайлова, что статья была написана после освобождения автора и отражала изменение его отношения к властям. Следует обратить внимание, что Куприн и после ареста не правит статью и открыто причисляет себя к врагам Володарского, а значит, и новой власти: «Володарский был нашим непримиримым врагом, но честным и открытым <…>». Неизменность взглядов подтверждается и последующими печатными выступлениями Куприна (Сенсация // Эра. – 1918. – № 5; Третий пункт // Эра. – 1918. – № 7).

– *глубина христианского учения не повинна в <...> Варфоломеевской ночи* – массовая резня гугенотов во Франции, устроенная католиками в ночь на 24 августа 1572 г. в канун дня св. Варфоломея.

– *компрачикосы* – (исп.) скупщики детей; термин, которым В. Гюго в романе «Человек, который смеется» назвал преступное сообщество торговцев детьми.

– *если до сих пор нас стегали плетьми, то теперь начнут бичевать скорпионами* – (библ.) скорпион – плеть с несколькими хвостами, на которых прикреплены металлические острые наконечники, как жало скорпиона.

– *Камков* – настоящая фамилия Кац Борис Давидович (1885-1938). Лидер партии эсеров, член ЦК. Через некоторое время после убийства Володарского, после мятежа левых эсеров 6 июля 1918 г., был осужден революционным трибуналом.

Печатается по первой публикации.

Великий князь Михаил Александрович.

Фельетон «Михаил Александрович» впервые напечатан в газете «Молва». – 1918. – № 15. – 22 июня. Затем, после ареста, Куприн включил его в малоформатный сборник «Тришка Будильник» (1919) под измененным названием «Великий князь Михаил Александрович», усиливающим акцент оппозиции.

– *Михаил Александрович Романов* (1878 – 1918), великий князь, сын императора Александра III, младший брат императора Николая II. Начальник Дикой дивизии, сформированной в 1914 г. из кавказских народностей. Генерал-лейтенант (1916). 3 марта 1917 г. отказался от принятия российского престола после отречения Николая II. После прихода к власти большевиков СНК принимает 9 марта 1918 г. решение о высылке великого князя и его секретаря Б. Джонсона в Пермскую губернию. Они были расстреляны в ночь с 12-13 июня 1918 г. в Мотовилихе под Пермью. Инициатором и организатором убийства был Гавриил Мясников – председатель Мотовилихинского совдепа и член коллегии пермской ЧК. После убийства было официально объявлено о побеге Михаила Александровича с секретарем.

Поводом для написания фельетона послужила распространенная властями информация, что великий князь Михаил Александрович Романов якобы бежал из-под ареста и сплачивает вокруг себя контрреволюционные силы. Не зная об истинной судьбе князя, который к тому времени был уже расстрелян, Куприн пишет, что и он на месте Михаила Александровича счел бы за благо скрыться, так как ничто не гарантирует политическим узникам советских тюрем и ЧК личной безопасности от желающих убийством доказать, к примеру, свою «ненависть к монархическому принципу». Статья стала новым подтверждением демократических убеждений писателя: Куприн пишет о своем негативном отношении к российской монархии в лице Романовых, но и настаивает, что принадлежность к тому или иному классу или фамилии не должна быть критерием оценки качеств человека, и тем более, решать вопрос его жизни и смерти.

Призыв к уважению достоинства каждой человеческой личности был в условиях тех лет немаловажен. «Пролетарское принуждение», начиная расстрелами и кончая трудовой повинностью, являвшееся, по словам Н. Бухарина, «методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи», осуществлялось не только по принципу лояльности к власти, но и по классовому. Генерал или великий князь рассматривались не только как звание и титул, но как сама суть человека, его натура, а потому, в соответствии с доктриной, избавле-

ние от них – не преступление, а историческая необходимость. 1 ноября 1918 г. председатель ЧК и Военного трибунала М. Лацис, обосновывая необходимость массовой ликвидации буржуазии, давал местным ЧК следующие указания: «Не ищите в деле обвинительных улик о том, восстал ли он против Совета оружием или словом. Первым делом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, какое у него образование и какова его профессия. Все эти вопросы должны разрешить судьбу обвиняемого. В этом смысл красного террора». Председатель петроградского Совета Г. Зиновьев предложил «разрешить всем рабочим расправляться с интеллигенцией по-своему, прямо на улице» (Стасова Е.Д. Страницы жизни и борьбы. – Изд. 2-е. – М.: Госполитиздат, 1960. – С. 105).

Фельетон был направлен не столько в защиту великого князя Михаила Александровича, сколько на осуждение беззакония и произвола новой власти в отношении любого обывателя. Печатные выступления Куприна этого периода послужили причиной его ареста. В ночь на 1 июля писатель был арестован в своем гатчинском доме и спустя несколько часов доставлен в петроградский революционный трибунал. Постановление следственной комиссии при революционном трибунале гласило: «Следственная комиссия, рассмотрев фельетон А.И. Куприна «Михаил Александрович», помещенный в № 15 газеты «Молва» от 22 июня 1918 г., и принимая во внимание:

1) что бывший великий князь Михаил Александрович с самого начала российской революции выдвигался монархическими партиями как кандидат на престол взамен свергнутого Николая II, и что в настоящее время он, скрывшийся из-под надзора советской власти, определенно выдвинут в качестве кандидата партиями контрреволюции, стремящимися к восстановлению монархии, и является объединяющим для них именем, под флагом которого в восточной части России происходит активное движение, направленное к свержению советской власти;

2) что означенный фельетон, являющийся публичным восхвалением личности Михаила Александровича Романова, носит характер явной тенденции, направленной к тому, чтобы содействовать созданию благоприятной психологической почвы для восстановления в России монархии в лице бывшего великого князя Михаила Александровича, и

3) что при таких условиях фельетон А.И. Куприна является прямым вызовом революционной демократии и актом контрреволюционным, – следственная комиссия постановила:

Привлечь А.И. Куприна к революционной ответственности за помещение в газете «Молва» фельетона контрреволюционного направления; мерой пресечения для него избрать заключение под стражу» (Аресты и обыски // Наш век. – 1918. – № 106).

Вечером 3 июля писатель был освобожден под подписку явиться в суд и под поручительство члена литературного фонда Ф. Д. Батюшкова. Но в ночь на 3 июля был арестован редактор «Молвы» В. Муйжель и, в связи с его допросом, Куприн вновь вызывался в следственную комиссию (Осво-

бождение А.И. Куприна // Наш век. – 1918. – № 108; Последние известия // Там же. – № 109).

Допрос редактора, в основном, касался примечания под статьей Куприна. В. Муйжель объяснил, что как редактор он не был согласен со статьей: характеристикой великого князя и литературным выполнением произведения. Кроме того, он считал неподходящим упоминать в данный момент имя Романова. Тем не менее, статья была напечатана потому, что он с большим уважением относится к имени писателя и «не мог не опубликовать произведения Куприна, как не мог бы в свое время не опубликовать произведения Л. Толстого или А. Чехова». А примечание под статьей подразумевало исключительно ответственность моральную. 6 июля допрос Куприна и Муйжеля был закончен, последний был освобожден. Следственная комиссия признала необходимым для завершения дела ознакомиться с остальными статьями Куприна, напечатанными в газете «Молва» (Освобождение В.В. Муйжеля // Наш век. – 1918. – № – № 111).

Газета «Молва» (редакторы И. Василевский, В. Муйжель) была закрыта 1 июля и стала выходить под названием «Эра», в которой писатель опубликовал статьи «Убийство В. Володарского. У могилы» (№1), «Сенсация» (№5), «Третий пункт» (№7).

Дни своего вынужденного заключения Куприн описал в статье «Сенсация» (Эра. – 1918. – № 5), где особо отметил, что больше всего неприятностей доставляли ему газетные заметки о его аресте. Репортеры, смакуя детали и выдвигая версии причин ареста, невольно давали революционному трибуналу все новые и новые поводы для размышлений. В статье Куприн, помимо всего прочего, высказал свои мысли о профессии репортера вообще и ее специфике в данное время в частности: «Репортер бухнул неосмотрительно и без злого умысла. Но кто же не поймет того, что при иных условиях и при более придирчивом режиме эти заметки могли бы повлечь за собою для обоих заключенных кое-какие неприятные последствия.

Повторяю, у меня нет зла на моих газетных товарищей. Я всегда любил в хроникерской заметке живость и обстоятельность. Но погоня за сенсацией, за значительным фактом, за свежей новостью заставляют нередко газетных работников предугадывать события, ярко, но неверно их раскрашивать, раздувать мелкие случаи или даже невинно их придумывать. Хорошо, что мы с Муйжелем поплатились за газетную сенсацию сравнительно немного. Но надо же сказать правду! Иногда такое неосмотрительное раздраконивание происшествий, особенно если участники их осуждены на невольное молчание, может привести к результатам невыгодным для них и отяжеляющим их и без того невеселое положение».

– *падеспань* – (франц.) бальный танец.

– *Шингарев и Кокошкин были убиты* – см. примечания к ст. «Все качества».

– *Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич* (1873–1955) – профессиональный революционер-большевик, после Февральской революции — член

Исполкома Петроградского Совета, в 1917–1920 гг. — управляющий делами СНК.

– *мальчиков Генглезов* – см. примечания к ст. «Все качества», «Памяти жертв большевиков».

– *стиплчезная скачка* – (англ.) скачки по пересеченной местности до заранее условленного пункта; скачки через препятствия.

– *покойного недурного поэта К.Р.* – великий князь Константин Константинович Романов (1858–1915), поэт, переводчик, публиковавшийся под псевдонимом «К.Р.». Его творчеству Куприн посвятил статью «К.Р.» (1926).

Печатается по: Куприн А.И. Тришка Будильник (1919).

Третий пункт.

Статья. Напечатана в газете «Эра». – 1918. – № 7. – 15 июля.

Печатается по первой публикации.

Публицистика периода эмиграции

Высокие покровители.

Статья впервые напечатана в газете «Общее дело», Париж. -1920. – № 86.

– *Оскар Уайльд* (1854-1900) – английский поэт, писатель, философ, эстет. Отличался декадентской надменностью поведения, проповедовал эстетское направление в искусстве.

– *профессор государственного права, ректор бывшего Петроградского университета* – речь идет, вероятно, о Д. Д. Гримме (Эрвин Давидович (1870-1940) – историк, ректор в 1911-1918 гг. Его брат Давид Давидович (1864-1941)– юрист, профессор римского права, ректор с 1910-1911. После Февральской революции – товарищ министра просвещения. При большевиках подвергался аресту. С 1920 г. – в эмиграции, сначала в Финляндии, где входил в группу, возглавляемую А.В. Карташевым. Был главным редактором газеты русской эмиграции «Русская жизнь» (Гельсингфорс), затем «Новая русская жизнь», в которой сотрудничал Куприн. С осени 1920 г. – в Париже. Его племянник от брата Германа Давидовича (1865-1942) – Герман Германович (1905-1959), искусствовед, историк архитектуры, знал в Ленинграде, по службе в Академии художеств, вдову Куприна. Дата и обстоятельства смерти Елизаветы Морицевны стали известны из его письма к Н. Б. Бакланову от 8 июля 1943 г.: «…В нашу “Академическую” идиллию ворвалось вчера событие, хотя и давно назревавшее, все же тяжелое и грустное: повесилась у себя в комнате Е. М. Куприна. Ее психическое состояние давно уже не вызывало сомнений в тяжком заболевании. Мучительные мысли о том, что против нее что-то замышляют, что ей чего-то кто-то хочет сделать неприятное… все это нарастало уже давно…».

– *компрос* – комиссариат просвещения.

Печатается по первой публикации.

Параллели.

Памфлет впервые напечатан в газете «Общее дело», Париж. – 1920. – № 91.

– *дали Аннибалову клятву* – фразеологизм, означающий твердую решимость бороться до победного конца, происходит от имени карфагенского полководца Аннибала (Ганнибала) (247–183 гг. до н.э.), давшего в детстве клятву быть непримиримым врагом Рима.

– *французский король Луи Капет* – после свержения в 1792 г. короля Людовика XVI республиканские власти лишили его титула короля и дали ему фамилию Капет (франц. – Capet) по имени его предка Гуго Капета, основателя династии Капетингов, ветвью которой является династия Бурбонов.

– *Владимир Ильич, Лев Давидович, Григорий Зиновьевич, Леонид Борисович, Николай Иванович, Алексей Максимович, Лев Борисович…* – Куприн называет имена Ленина, Троцкого, Зиновьева (ошибочно Зиновьевич, его отчество – Евсеевич), Красина, Бухарина, Горького, Каменева.

– *Лавуазье* – Антуан Лоран Лавуазье (1743–1794), французский ученый-естествоиспытатель, химик; во время Великой Французской революции обвинен в заговоре, в откупной деятельности и приговорен к гильотине.

– *А. Шенье* – Андре-Мари Шенье (1762–1794), французский поэт, казненный в годы Великой Французской революции.

– *Князев, Городецкий, Ясинский, Демьян Бедный, Серафимович* – поэты и писатели, которые после Октябрьской революции стали сотрудничать с советской властью.

– *Дантон, Калиль Демулен, Сен-Жюст, Робеспьер* – деятели Великой Французской революции, казненные в 1794 г.

– *patrie* – (франц.) родина, отечество

Печатается по первой публикации.

Мир – дурак.

Статья впервые напечатана в газете «Общее дело», Париж – 1920. – № 150.

– *со времен Гостомысла* – Гостомысл (ум. около 860 г.), легендарный старейшина ильменских словен, с именем которого связывают сказание о призыве Рюрика на Русь; со времени Гостомысла ведут историю Российского государства.

– *буйабез* – буйабес, марсельская уха, очень острое блюдо французской кухни.

– *Авксентьев* Николай Дмитриевич (1878–1943) – русский политический деятель,уроженец Пензы, из дворянской семьи. Окончил Первую пензенскую мужскую гимназию, учился в Моск. ун-те, Берлинском и Лейпцигском ун-тах, получил степень доктора философии. Участник революц. движения, с 1907 г. – член ЦК партии эсеров, жил в эмиграции, редактировал газ. «Знамя труда». После Февральской революции — министр внутренних дел в составе второго коалиционного Временного правительства

вместе с А. В. Пешехоновым, А. Ф. Керенским, Б. В. Савинковым, А. В. Карташевым. Избран депутатом Всероссийского Учредительного собрания от Пензенской губ. После Октябрьской революции – один из организаторов Комитета спасения Родины и революции, подвергался аресту большевиками. С 1919 г. – в эмиграции. В Париже издавал ж. «Современные записки». Входил в круг знакомых Куприна.

– *Алексинский* Григорий Алексеевич (1879–1967) – русский политический деятель, социал-демократ, в 1917 г. разоблачал Ленина как немецкого шпиона, с 1919 г. – в эмиграции; Председатель Русского Совета в Париже.

– *Винавер* Максим Моисеевич (1862/3–1926) – общественный и политический деятель, один из основателей кадетской партии, юрист, публицист. После Октябрьской революции под его председательством в Петрограде состоялось собрание учредителей нового литературного общества – Союза писателей. В 1918–1919 гг. – министр Крымского правительства. С 1920 г. – в эмиграции в Париже. Осуществлял финансирование газеты «Последние новости», был ее соредактором (совместно с главным ред. П.Н. Милюковым), а также газеты «Звено» (лит. приложения к газете «Последние новости»), редактором газеты «Еврейская трибуна». Входил в круг знакомых Куприна в эмиграции.

– *Бурцев* Владимир Львович (1862–1942) – публицист, редактор, издатель, общественный деятель. В 1900–1910-е гг. редактировал журнал «Былое», газету «Общее дело». В 1917 г. открыто обвинял большевистских лидеров в сотрудничестве с Германией, выступал за установление диктатуры генерала Корнилова. С мая 1918 г. – в эмиграции, где возобновил издание газеты «Общее дело» и привлек к сотрудничеству А. Куприна, И. Бунина, Д. Мережковского, А. Толстого и др. О времени сотрудничества с Бурцевым Куприн упоминает в статьях «Три года» и «Слагаемое».

– *Гучков* Александр Иванович (1862–1936) – российский политический деятель, лидер октябристов, председатель III Гос. Думы.

– *Кривошеин* Александр Васильевич (1858–1921) – российский политический деятель, с 1906 г. член Гос. Совета, в Первую мировую войну главноуполномоченный Российского Красного Креста Западного фронта; после Октябрьской революции – один из руководителей контрреволюционного «Правого центра»; с 1920 г. – в эмиграции.

– *Маклаков* Василий Алексеевич (1869–1957) – российский общественно-политический деятель, юрист, публицист, депутат II–IV Гос. Дум от кадетской партии. После Февральской революции комиссар Временного комитета Гос. Думы; с 1919 г. – в эмиграции, входил в состав «Русского политического совещания», занимался финансовым и дипломатическим обеспечением Белого движения.

– *Струве* Петр Бернгардович (1970–1944) – экономист, философ, публицист, профессор СПб. университета (1913), член ЦК конституционно-демократической партии. Занимался литературной деятельностью, редактировал журнал «Русская мысль» (1906), «Новое слово», «Жизнь». После революции 1917 г. активный организатор Белого движения. С

1918 г. – в эмиграции, жил в Праге, Берлине, Белграде, Париже. Основатель (совместно с нефтепромышленником А. О. Гукасовым) и главный редактор (1925–1927) газеты «Возрождение», в которой публиковался Куприн.

Печатается по первой публикации.

Недочеты.

Статья впервые напечатана в газете «Общее дело», Париж. – 1920. – № 213.

– *Керенский* – см. примеч. к ст. «Сердце народное (А. Ф. Керенский)» (1917).

– *Чернов* Виктор Михайлович (1873–1952) – русский политический деятель, основатель и идеолог партии эсеров, министр Временного правительства.

– *Людендорф* – немецкий генерал Эрих Людендорф (1865–1937), в годы Первой мировой войны начальник штаба, с 1916 г. руководил всеми операциями германской армии.

– *уступил же Ленин Польше четыре уезда за 400 млн. рублей* – по Брестскому миру, подписанному 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске, Председатель Совнаркома В. И. Ленин признал поражение и выход России из Первой мировой войны. Россия обязалась сделать территориальные уступки, от нее были отторгнуты Эстляндская, Курляндская, Лифляндская губернии и княжество Финляндское, а также часть земель Украины и Белоруссии.

Печатается по первой публикации.

Отечество (От редакции).

Передовица написана Куприным-редактором к первому номеру журнала «Отечество» (1921. – № 1), напечатана под названием «От редакции).

Печатается по первой публикации.

Большевики.

Заметка впервые напечатана в редактируемом Куприным журнале «Отечество». – 1921. – № 2.

Заметка сопровождала подборку фотографий в журнале.

Печатается по первой публикации.

Памяти жертв большевиков.

Статья впервые напечатана в газете «Общее дело», Париж, 1921, 6 марта.

– *Генглезы* – братья Андрей, Николай, Павел – сыновья И. М. Генглеза, преподавателя Гатчинского сиротского института, французские подданные. Были схвачены 1 марта 1918 г. отрядом красногвардейцев, обвинялись в контрреволюционном заговоре. С разрешения Ленина были переданы отряду матроса Черкашина и 2 марта расстреляны. Куприн близко

принял трагедию знакомого по Гатчине семейства, в эмиграции встречался с отцом погибших юношей.

Печатается по первой публикации.

Доктор Шатуновский.

Фельетон впервые напечатан в газете «Общее дело», Париж. – 1921. – 11 сентября. – № 421.

Печатается по первой публикации.

Гуслицкая фабрика.

Статья впервые опубликована в газете «Общее дело», Париж. – 1921. – 30 сентября. – № 440.

Куприн придерживался версии, что сборник «Протоколы сионских мудрецов» (1903, 1911, 1917) о мировом заговоре евреев представляет собой фальсифицированные тексты, фальшивку.

– *Гуслицкая фабрика* – по аналогии со старообрядческим селом Гуслицы, где печатали поддельные кредитки; в значении – печатание фальшивок.

– *арапскими приемами* – (жарг.) арап – мошенник, аферист, жулик.

– *черновские манифесты* – по имени министра Временного правительства Чернова Виктора Михайловича (1873–1952), основателя и идеолога партии эсеров.

– *лжемонах Нилус* – см. примеч. к статье «Желтугинская республика» (1918).

– *Талмуд в трактовке Лютостанским* – Талмуд, многотомный свод правовых и религиозно-этических норм иудаизма;

— *Лютостанский* Ипполит Иосифович (1835–1915), автор книги в 7 томах «Талмуд и евреи» (1909), обвинялся в некомпетентности и антисемизме.

– *Бловиц* – пронырливый журналист; известен тем, что залез под стол и подслушал речи высших политиков на Берлинском конгрессе 1879 г.

Печатается по первой публикации.

Паспарту.

Очерк впервые напечатан в болгарской газете «Русское дело», София. – 1922. – 22 января; в журнале «Слово». – 1991. – № 3 (публ. С. Субботина).

— *паспарту* – (франц. – passê-partout), картонная рамка, пропуск, универсальный ключ, отмычка. Куприн использует в значении «ключ».

– *ортодоксы* – (греч.) люди, неуклонно придерживающиеся какого-либо мировоззрения, учения.

– *михрютка* – (презрит.) слабак, плюгавец, заморыш, замухрышка.

– *Иловайский и Шишко* – Дмитрий Иванович Иловайский (1832—1920), историк и публицист, автор гимназических учебников по русской истории; Леонид Эммануилович Шишко (1852—1910), автор «Рассказов из русской истории», многократно издававшихся в 1917 –1918 гг. в различных городах России.

– *эс-эр* – социалист-революционер, эсер.

– *эн-эсы* – народные социалисты.

– *«почтеннейший публикум»* – обращение к зрителям цирковых клоунов-иностранцев, плохо владевших русским языком.

– *Галлиполийское пленение* – пребывание регулярных частей Русской армии П.Н. Врангеля в окрестностях города Галлиполи (тогда греческий), в 200 км. от Константинополя. Эвакуированную из Крыма побежденную белую армию свезли с судов и разместили в трех военных лагерях, основной из которых был разбит в Галлиполи. Офицеры и солдаты, которых называли галлиполийцы, в условиях голода и лишений сохранили дисциплину, стойкость и боеспособность. Куприн во многих статьях периода эмиграции оценивал «Галлиполийское сидение» как трагическую и славную страницу русской армии, которая не разложилась, но окрепла, явила силу русского духа.

– *молокане, духоборы, штундисты, скопцы, хлысты* – религиозные секты и их последователи.

Печатается по: «Слово». – 1991. – № 3.

Великая Русь.

Статья впервые напечатана в «Русской газете», Париж. – 1924. – 2 ноября. – № 162.

– *Арцыбашев* Михаил Петрович (1878–1927) – русский писатель, публицист, в дореволюционной России автор скандального романа «Санин»; с 1923 г. — в эмиграции в Польше; современники воспринимали его как образец непримиримости к власти большевиков.

– *дочь Ярослава Анна* – Анна Ярославна, дочь киевского князя Ярослава Мудрого, в 1051 г. вышла замуж за французского короля Генриха I.

– *Ганзейский союз* – международный торгово-экономический союз в Северной Европе XIV–XVII вв.; в Великом Новгороде находилась контора (филиал) Ганзы и дворы иноземных купцов.

– *щира украинска мова* – (украинск.) красивый украинский язык.

– *Костомаров* Николай Иванович (1817–1885) – русский историк, публицист, автор многотомного издания «Русская история в жизнеописаниях ее деятелей».

– *переписка Гоголя с Данилевским* – Данилевский Александр Семенович (1809–1888), друг юности Н.В. Гоголя, переписка с ним охватывает 1825–1851 гг.

Печатается по: «Родной край», Наровчат. – 2000. – январь – № 1 (публ. П.П. Ширмакова).

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ, ЗАМЕТКИ

Производственные очерки (1895-1900 гг.)

Киевский Бедлам.

Очерк. Впервые опубликован в газете «Киевское слово». — 1895. — №2799. — 27 октября; № 2802. 30 октября, за подписью А. К.

– *Бедлам* – от «Bethelehem», Вифлеемский город в Иудее. Первоначально Бетлемская королевская больница, госпиталь им. Марии Вифлеемской, затем дом для умалишенных в Лондоне (психиатрическая больница с 1547 г.); в переносном смысле – сумасшедший дом, хаос, беспорядок.

– *passê-partout* – (франц.) ключ.

Печатается по первой публикации.

В бактериологическом институте. I. Прививки против бешенства.

Очерк. Впервые опубликован в газете «Киевлянин». — 1900. — №247. — 6 сентября.

В бактериологическом институте. II. Антидифтеритная сыворотка.

Очерк. Впервые опубликован в газете «Киевлянин». — 1900. — №284. — 13 октября.

Оба произведения посвящены работе Киевского бактериологического института и «производству» в нём эмульсии против бешенства и антидифтерийной сыворотки. Именно это и позволяет отнести очерк «В бактериологическом институте» к очеркам производственным.

– *«Das Blut das ist ein ganz besonderes Saft». Goethe «Faust»* – (нем.) «Кровь – это совершенно особенный сок». Гете «Фауст». Эпиграф дан без перевода. Соединение в заголовочном комплексе научного заглавия и эпиграфа из «Фауста» объясняется тем, что основным компонентом для производства антидифтерийной сыворотки, является кровь.

– *похожий на зал III класса* – имеется в виду зал на железной дороге, предназначенный для пассажиров-простолюдинов с дешевыми билетами.

– *першерон* – порода крупных рабочих лошадей.

– *караковый конь* – темно-гнедой с подпалинами на морде.

Печатается по первой публикации.

Новороссийский элеватор.

Очерк. Впервые опубликован в газете «Киевлянин». — 1900. — №342. — 22 ноября.

В кон. XIX – нач. XX вв. Куприн был свидетелем становления самых современных по тому времени, оснащенных первоклассным оборудованием предприятий. К 1900 г. относится посещение писателем Новороссийского элеватора, «второго в мире после чикагского» и создание очерка о нем. Автор подробно и увлекательно описывает механизированный процесс приема, очистки, сортировки и хранения зерна, создавая образ еще одного индустриального монстра – элеватора, который походит на колоссальное чудовище с «разверстой ненасытной пастью» и с «гигантскими щупальцами» (деревянными крытыми галереями), устремленными к морю.

– *сажень* – старорусская единица измерения расстояния равна 2,16 м (с 1835 г. приравнена к 2,13 м).

– *паннусы* – пласты.

Печатается по первой публикации.

О стрельбе.

Заметка впервые напечатана в «Синем журнале». – 1913. – 12 июля. – № 28. Печатается по первой публикации.

Борьба и бокс.

Статья впервые напечатана в журнале «Геркулес». – 1916. – № 2-3.

– *Лебедев Иван Владимирович* (1879–1950), псевдоним «Дядя Ваня», атлет, арбитр чемпионатов французской борьбы, цирковой конферансье, литератор, мемуарист. С 1912 г. издатель и главный редактор спортивного, двухнедельного, иллюстрированного журнала «Геркулес», в котором Куприн публиковал статьи и очерки о спорте. Лебедеву посвящена эпиграмма Куприна (см. в настоящем сборнике).

– *двойной нельсон* – (англ.) прием в борьбе, осуществляемый путем просовывания обеих рук сзади через подмышки противника и нажима кистями рук на шею и затылок.

Печатается по первой публикации.

Лапта.

Статья впервые напечатана под названием «Забытая игра» в журнале «Геркулес», 1916 (номер журнала не установлен); с новым названием – в газете «Неделя». – 1979. – № 17 (публикация В. Сурмило); в книге: Куприн А. И. Река жизни: Рассказы. Из несобранного и забытого. (Сост. Л. В. Усенко). — Росиздат, 1988.

Печатается по: «Неделя». – 1979. – № 17.

Уточкин.

Статья впервые напечатана в газете «Речь», СПб. – 1913. – 30 июля; в газете «Литературная Россия». – 1964. – № 15 (67). – 15 апреля. (Публ. В. Афанасьева); в книге: Куприн А.И. Река жизни: Рассказы. Из несобранного и забытого. (Сост. Л. В. Усенко). — Росиздат, 1988.

– *Уточкин Сергей Исаевич* (1876-1916) – известный спортсмен (вело- и автогонщик, пловец, яхтсмен, фехтовальщик, боксер, конькобежец), один из первых русских авиаторов. Куприн поддерживал с ним многолетнюю дружбу. Впечатления о совместном полете на воздушном шаре нашли отражение в очерке «Над землей» (1909).

В 1911 г. Уточкин предпринял перелет по маршруту Петербург – Москва, потерпел аварию, получил серьезные увечья. Во время лечения, чтобы снять сильные боли, пристрастился к морфию и кокаину. В 1913 г. пошли слухи о признаках сумасшествия у прославленного пилота. Стараниями друзей спортсмен был переведен в психиатрическую больницу «Всех Скорбящих» на Петергофском шоссе, в отдельную палату. Расходы на содержание и лечение Уточкина взяла на себя городская управа. Куприн навещал его в больнице, передав собранные через газету «Речь» деньги. В 1915 г., после неудачных попыток попасть на фронт, Уточкин

простудился и с воспалением легких был отправлен в психиатрическую больницу св. Николая Чудотворца, где скончался под новый 1916 год от кровоизлияния в легкие. Куприн посвятил другу очерк-некролог «Уточкин» с подзаголовком «Воспоминания» (Биржевые ведомости. – 1916. – № 1531. – 2 января). В рассказе «Наташа» (1932) Сергей Исаевич выведен в образе обаятельного рыжего заики Птицына – «великолепного велосипедного гонщика, боксера, летчика, пловца», и само художественное произведение основано на истории, рассказанной писателю Уточкиным. Об освоении Уточкиным практики бокса писатель упоминал в очерках 1913 г. «Лазурные берега» (глава «Бокс»).

– *Ефимов* Михаил Никифорович (1881–1919) – первый русский авиатор, известный спортсмен.

– *Лерхе* Макс Германович (1890–?) – российский авиатор, участник перелета Петербург–Москва (1911).

– *Васильев Александр Алексеевич* (1882–1918) – один из первых пилотов-авиаторов в России, победитель 1-го перелета Петербург–Москва (1911).

– *генерал Каульбарс* Александр Васильевич (1844–1925) – российский военный деятель, командующий войсками Одесского военного округа (1905–1909), в 1914–1915 гг. заведовал организацией авиационного дела в армиях Северо-Западного фронта, руководил авиацией действующей армии.

– *«Русское слово»* – ежедневная с большим тиражом газета, издававшаяся И. Д. Сытиным (ред. В.М. Дорошевич).

Печатается по: «Литературная Россия». – 1964. – № 15.

Победа духа.

Очерк впервые опубликован в газете русской эмиграции «Общее дело». – 1921. – № 357.

– *Дэмпси* Вильям Гаррисон (1895–1983) – американский боксер, выступавший под именем Джек Демпси; в 1923 г. перешел в супертяжелый вес. Профессиональная боксерская карьера пришлась на 1914–1927 гг. Чемпион мира 1916–1926 гг.

– *Карпантье Жорж* (1894–1975) – французский боксер, в 1920 г. чемпион мира в полутяжелом весе. О нем Куприн упоминает в очерках «Лазурные берега» (1912).

– *оккультист* – приверженец учения, считающего, что существуют скрытые, неизвестные науке силы природы, и что опыт доступен только людям с особыми способностями.

– *джерсейский матч* – т.е. состоявшийся в Джерси-Сити (США) «матч века», поединок 2 июля 1921 г. Бой Дэмпси с Карпантье стал первым в истории боксерским поединком, который транслировался по радио. Дэмпси выиграл нокаутом в четвертом раунде.

Печатается по первой публикации.

Анатолий Дуров. К 10-летию смерти А. Л. Дурова.

Мемуарный очерк впервые напечатан в газете «Бессарабец» (Кишинев, 1926); затем – в журнале «Советская эстрада и цирк». – 1964. – № 12.

– *Дуров Анатолий Леонидович* (1865 – 1916), русский клоун, цирковой артист, автор книги «В жизни и на арене» (1914). Куприн именовал его Анатолием Первым. Их знакомство относится к 1879 г., московскому периоду жизни Куприна, когда оба бывали во Вдовьем доме, где проживали мать писателя Любовь Алексеевна Куприна и бабушка Дурова Прасковья Семеновна Соболева. Этот период встречи Куприн опишет в очерке «Об Анатолии Дурове» (1916), которым писатель откликнулся на смерть циркового артиста.

В круг знакомых Куприна входил брат знаменитого клоуна – Дуров Владимир Леонидович (1863 – 1934), артист цирка, дрессировщик, заслуженный артист РСФСР. Братьев Дуровых писатель относил к «достопримечательностям старой Москвы» («Юнкера»). Сыну клоуна – Дурову Анатолию Анатольевичу (1887 – 1928), клоуну и дрессировщику, Куприн посвятил статью «Анатолий Второй» (1926).

– *селадоны* – ставшее нарицательным имя героя французского пасторального романа, означает томящегося влюбленного; позже закрепилось значение: пожилой назойливый волокита.

– *канатоходец Блондель* – см. примеч. к очерку «Свободный цирк».

– *братья Фрателлини* – итало-французская семья клоунов, три брата: Паули, Франсуа, Альберт, — выступали в 1900–1940-х гг., гастролировали в России, после Первой мировой войны вернулись во Францию.

– *шталмейстер* – см. примечания к очерку «Свободный цирк».

– *тырса* манежа – опилки.

– *Рощина-Инсарова* Екатерина Николаевна, урожд. Пашенная (1883–1970) – русская драматическая актриса, дочь известного актера Н. П. Рощина-Инсарова и сестра советской актрисы Веры Пашенной.

Отцу актрисы Куприн посвятил очерк «Лики театральной России: Н.П. Рощин-Инсаров» (1929) — см. в настоящем сборнике.

Печатается по: «Советская эстрада и цирк». – 1964. – № 12.

Умирающее искусство.

Очерк впервые напечатан в журнале «Театр и жизнь», Париж, 1928, № 2.

Куприн хорошо знал русский дореволюционный цирк, был верным другом цирковых артистов. Среди самых близких его друзей были клоуны Жакомино и Танти, атлет и борец Иван Заикин и многие известные в свое время деятели русского цирка. Писателя привлекала отвага артистов цирка, их мужество, искусство, с древних времен любимое народом. Цирковой теме посвящено несколько произведений Куприна: «В цирке», «Ольга Сур», «Дурной каламбур», «Дочь великого Барнума», «Легче воздуха», «Блондель», «Люция», «Победа духа», «Свободный цирк» (два последних см. в настоящем сборнике). Очерк проникнут теплотой, симпатией, сочувствием к артистам старого дореволюционного цирка.

– *комедия дель арте* – (итал.) комедия масок, вид итальянского народного площадного театра на основе импровизации.

– *Пульчинелло* – или Полишинель, персонаж народного театра в роли глупого слуги; в русском народном театре – Петрушка.

– *король Максимилиан с непокорным сыном Адольфием* – герои широко распространенной народной драмы XVIII в. «Царь Максимилиан», в основе которой конфликт тирана царя-язычника, требующего чтобы сын отказался от христианской веры. Поводом к созданию драмы послужил конфликт между Петром I и его сыном Алексеем.

– *аграмант из драгоценных камней* – (франц.) украшение в виде стеклярусной тесьмы или узорчатого плетения из металлизированной нити для отделки костюма.

– *Селадон, Коломбина, Панталоне, Пьеро, Арлекин, Розита* – основные персонажи комедии дель арте: Селадон – старый волокита, Коломбина – служанка, Панталоне – венецианский купец и скупой старик, Арлекин – глупый слуга.

Печатается по первой публикации.

Свободный цирк (У г. Молье).

Очерк впервые напечатан в газете «Русское время», Париж. – 1926. – 10 июля. Вошел в сб. «Елань» (Белград, 1929). В советское время опубликован Ф.И. Кулешовым в журнале «Неман». – 1989. – № 5.

– *недоступный для посторонних взглядов цирк Молье* – любительский цирк, основанный в 1880 г. Эрнестом Молье (?–1933), крупным землевладельцем, конным спортсменом и дрессировщиком-любителем. Цирк давал одно-единственное представление в год в парижском особняке Молье, во внутреннем дворике которого был расположен манеж. У Молье собиралась аристократическая публика, его цирк принадлежал к модному увеселению парижской элиты.

– *Рауш фон Траубенберг* Константин Константинович (1871–1935) – скульптор, график, художник декоративно-прикладного искусства. С 1908 г. работал на Императорском фарфоровом заводе (СПб.), исполнил серию фарфоровых конных статуэток. Художник проявил себя как искусный скульптор-анималист и проницательный исследователь поведения животных. О талантливом ваятеле Куприн упоминает в рассказе «Жокей и лошадь».

– *розыгрыш «Гран-При» в Лоншане* – ипподром «Лоншан» в Париже, основан в середине XIX в.

– *«Русское время»* – газета русской эмиграции, в которой сотрудничал Куприн.

– *Свободный театр великого Антуана* – Андре Антуан (1858–1943), французский режиссер театра и кино, теоретик театра, основал в Париже «Свободный театр» (1887–1894) и «Театр Антуана» (1897–1906).

Гонкур в романе «Братья Земгано» – Эдмон де Гонкур (1822–1896), французский писатель, автор романа «Братья Земгано» (1879), в котором описывает состояние человека, рожденного для цирка.

– *темно-синие конюхи* – т.е. одетые в темно-синюю униформу.

– *генерал Бюжо, покоритель Абд-Эль-Кадера* – Бюжо Тома Робер (1784–1849), маршал Франции, генерал-губернатор Алжира, в 1836 и 1841 гг. участвовал в военной кампании в Алжире против эмира Абд-аль-Кадира.

– *макильяж* – макияж.

– *шталмейстер* – (нем.) начальник конюшен; режиссер манежа, ведущий цирковую программу.

– *Блондель* – Эмиль Блондель, французский канатоходец, в 1859 г. ходил по натянутому канату над Ниагарским водопадом; в 1864 г. выступал в России. Ему посвящен рассказ Куприна «Блондель».

– *Мария Годфруа* – цирковая наездница, дочь Жана-Батиста Годфруа, основателя цирка в Одессе. Вышла замуж за наездника негра Вильяма (Джемса) Кука, их семья стала вести дело самостоятельно. Выступала в Киеве в 1890-е гг.

– *Джемс Кук* – цирковой наездник и прыгун, муж Марии Годфруа.

– *Чинизелли* – Гаэтано Чинизелли (1815–1881), итальянский цирковой артист, конный акробат, наездник; в 1877 г. построил каменный цирк в Петербурге, на набережной р. Фонтанки. Последним владельцем цирка Чинизелли с 1891–1919 гг. был сын Сципионе (?–1929).

– *парфорсная охота* – (франц. – силой, через силу), охота со стаями гончих. Здесь в значении: парфорсная езда – исполнение наездником, стоящим на спине лошади, прыжков через различные препятствия (ленты, обручи и пр.).

– *чарльстоун* – чарльстон, американский (первоначально негритянский) быстрый парный танец, получивший широкое распространение в нач. XX в.

Печатается по: Куприн А.И. Елань., Белград. – 1929.

Письмо И.А. Бунину о цирке.

Впервые опубликовано в журнале «Советский цирк». — 1958. — Февраль (публ. Льва Никулина).

Письмо Куприна написано, вероятно, в 1933 г. в ответ на просьбу Бунина сообщить некоторые подробности из жизни цирка, необходимые ему для работы (в тот период Бунин трудился над повестью «Лика»). Бунин, как и другие современники, признавал Куприна в цирковом искусстве «несомненно знающим человеком» (Чехов). «Дорогой Александр Иванович, — писал Бунин, — окажи услугу, напиши: как называются в цирке эти люди в ботфортах и камзолах, что становятся в два ряда возле выхода из-за кулис, когда вылетает оттуда лошадь, и что, например, могут они тащить на арену перед тем, как на нее выкатить клетку со львом, который должен будет... что делать? Прыгать в горящие круги, что ли?»

В своем письме Куприн подробно и увлекательно рассказывает, главным образом, о работе с хищными зверями. Описание номера укротителя, принадлежащее такому знатоку и ценителю циркового искусства, как

Куприн, само по себе представляет фрагмент циркового рассказа. Иван Бунин не воспользовался этим письмом, в повести «Лика» есть только описание номера с дрессированными лошадками-пони.

Печатается по: «Советский цирк», 1958, февраль.

Статьи и очерки об искусстве (1902-1932 гг.)

Мот. К картине И. Дангаузера.

Заметка впервые напечатана в «Журнале для всех». – 1902. – № 3, под криптонимом «А.К.»

Печатается по первой публикации.

Прелестный принц.

Рецензия напечатана в газете «Русское время». – 1925. – 22 февраля. Рукопись в РГАЛИ (Ф. 240. оп 1. ед. хр. 94).

Написана на фильм «Прелестный принц» (во франц. варианте «Le prince charmant» – «Элегантный принц», «Прелестный князь»), снятый в 1924 г. режиссером В. Туржанским по сценарию А. И. Филиппова**.** Фрагмент текста о кинематографе является повторением фрагмента из рассказа «Воробьиный царь» (1923).

– *Аверченко* Аркадий Тимофеевич (1881–1925) – писатель, драматург, редактор журнала «Сатирикон». Купринский очерк-некролог «Аверченко и “Сатирикон”» (1925) см. в настоящем сборнике.

– *байдевинд* – бейдевинд, направление движения судна при встречно-боковом ветре, лавирование.

– *Туржанский* Вячеслав Константинович (1891–1976), известен под псевдонимом Виктор Туржанский – кинорежиссер. Входил в круг знакомых писателя. Ему принадлежит одна из первых экранизаций произведений Куприна в немом кинематографе – фильм «Гувернантка» (1916) по пов. «Впотьмах». В этом фильме Туржанский также сыграл роль Аларина. С 1920 г. жил в эмиграции, снял более 60 фильмов: «Сказки тысячи и одной ночи» (1921), «Карнавальная ночь» (1922). В 1924 г. выпустил фильм «Прелестный принц», в котором играл известный русский актер Н. Колин и жена Туржанского – Н.И. Кованько.

– *ловкий хитрый Колин* – Колин Николай Федорович (1878–1973) – русский театральный артист и киноактер. Начинал профессиональную карьеру в Первой студии Московского художественного театра, выступал в спектаклях: «Двенадцатая ночь», «Село Степанчиково» и др. В 1920 г. эмигрировал, обосновался в Париже. На парижский период жизни пришелся пик популярности в немом кинематографе. Снялся в фильмах: «Грустная авантюра» (1920 г., реж. Я. Протазанов), «Песнь торжествующей любви» (1923 г., реж. В. Туржанский), «Кин» (1924 г., реж. А. Волков), «Элегантный принц» (1925 г., реж. В. Туржанский), «Наполеон» (1927 г., реж. Абель Ганс) и др.

Входил в круг знакомых Куприна. Творчеству Колина писатель посвятил статью-рецензию «Памятная книжка» (Русская газета. Париж. 1924. №

35. 3 июня), отметив «высокую игру с простотой изложения»; в статье «Синема» (см. в настоящем сборнике) Куприн подробно анализирует эпизод с участием Колина в роли суфлера Соломона в фильме «Кин» (Театр и жизнь. — 1929. — № 7). Установлен факт дружеской переписки. Письмо Колина к Куприну относится к 1920–1930 гг. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 32).

– *флердоранж* – цветы апельсинового дерева в уборе невесты.

– *Кованько Наталья Ивановна* (1899–1974) – русская киноактриса, сыгравшая главные роли в фильмах В. Туржанского парижского периода: «Песнь торжествующей любви» (1923), «Шехерезада. 1001 ночь» (1925), «Прелестный принц» (1924), «Мишель Строгов» (1925). В статье «У русских художников» (1926) Куприн упоминает о портрете актрисы («прекрасной звезды кинематографа, нервной и чувствительной») работы художника С. Сорина.

– *Филиппов* Александр Иванович (1882–1942) – журналист, издатель. Входил в круг знакомых Куприна в России и в эмиграции, где их связывало сотрудничество в парижской «Русской газете» (после 1925 г. «Русское время»), редактором которой совместно с Б. А. Суворины м являлся Филиппов, и в журнале «Театр и жизнь», также редактируемом Филипповым.

В 1924 г. Филиппов выступил в качестве сценариста фильма «Прелестный принц».

– *V' la mon Colin!* – (франц.) Да здравствует Колин!

Печатается по первой публикации.

Добрый волшебник.

Очерк. Впервые напечатан в журнале «Театр и Жизнь», Париж. – 1928. – №1.

– *Старевич* Владислав Александрович (1882–1965) – кинорежиссер-мультипликатор. На протяжении нескольких лет Куприн поддерживал знакомство с кинорежиссером, который с 1922 г. жил во Франции, основал собственную студию, выступал сценаристом, художником, костюмером, оператором и постановщиком своих фильмов. Ему посвящена третья глава обширной статьи Куприна «У русских художников» (1926).

– *молодая дочка Старевича* – актриса, снималась под псевдонимом Нина Стар.

Печатается по первой публикации.

Синема.

Статья впервые напечатана в журнале «Театр и жизнь». — Париж. — 1929. — № 7. Является началом серии статей, посвященных «Великому Немому».

– *синема* – то же, что кино, кинематограф; общепринятое название в нач. XX в.

– *ни одна из моих попыток сделать сценарий для Великого Немого не увенчалась успехом* – в разное время Куприн предпринимал попытки специально писать для кино, обращался к жанру кинодраматургии и создал несколько киносценариев. В 1913 г. писатель выступил в качестве киносце-

нариста и киноактера в киношутке «Посрамленный Жакомино», снятой в Гатчине, во дворе его дома. Трюковую комедию, экспромтом сочиненную Куприным, снимал знакомый поручик, военный летчик, кинооператор В. Ф. Гельгардт, в 1912 г. основавший свое кинопредприятие. По сценарию, написанному Куприным на основе рассказа «Трус», был снят фильм кинофабрикой А. Ханжонкова. Сценарий с подзаголовком «Кинодрама» был напечатан в «Синем журнале» (1914. № 19). В 1915 г. снят четырехсерийный фильм «Яма» (фирма В. Функе «Русское кинематографическое товарищество»).

Незавершенным остался киносценарий Куприна «Моя звезда» (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 103). Рукопись кинопьесы в 47 листов представляет особый интерес и свидетельствует о том, что Куприн детально разработал сюжет, в котором приключенческое действие содержало интригу и призвано было держать в напряжении зрителя; дал исчерпывающие характеристики действующим лицам; попытался разработать и осмыслить сценарий в кинематографическом плане (указал необходимые технические приемы, ввел ремарки для режиссера). Таких детально разработанных сценариев тогда еще не встречалось. Это было новое слово в русской кинематографии. К сожалению, произведение осталось незавершенным, постановка не была осуществлена.

В эмиграции Куприн работал над киносценариями, но они не были реализованы. В 1922 г., по свидетельству дочери писателя К. А. Куприной, его посетили известные кинодеятели: «великий немой» артист И. Мозжухин и режиссер В. Туржанский. Писателю было сделано предложение написать сценарий фильма «Рахиль» по мотивам библейской легенды о торжестве всепрощающей вечной любви. Это была, по словам Куприна, «огромная кинопьеса». В письме к первой дочери Л. А. Куприной (Леонтьевой) от 7 ноября 1922 г. писатель сообщал: «Пьеса, хоть и моя, но очень хороша, так говорили мне и здешние постановщики <…> В ней, однако, два существенных недостатка: первое – длинна <…> второе – дорога». Продолжение сценария («Вторая жизнь Рахили», «Другая земная жизнь Рахили», «Третья жизнь Рахили») сохранилось только в рукописи (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 105). Постановка не была осуществлена.

В 1927 г., в эмиграции, Куприн вел переговоры с кинематографистами Голливуда об экранизации пов. «Поединок». Из переписки Куприна с Н. М. Рябухиным, взявшим на себя посредничество в США, становится ясно, что Куприн, в соответствии со сложившейся эстетикой голливудского кинематографа, готов был пойти на уступки, изменить трагическую концовку и оставить главного героя в живых, «с общим удовлетворением, что и полагается в американском фильме» (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 10). Но фильм не был снят. В письме к И. Заикину (б/д, 1927) Куприн сообщал о попытках работать для кинематографа: «Что-то у меня наклевывалось было с Америкой. Просили из Лос-Анжелеса и у меня два лица позволения переделать для фильмы: одно — «Поединок», другое — «Суламифь». Я разрешил, а они вдруг замолчали. Ах, если бы ты знал, сколько жулья вокруг этого Великого Немого! Куда больше, чем было в той же Калифорнии около золотых россыпей!» (Новое и забытое. М.: Наука, 1966. С. 152–165).

– *Эсхил и Еврепид* – древнегреческие драматурги, представители классической афинской трагедии.

– *вот умирает Кин* – главный герой фильма «Кин» (реж. А. Волков, 1924), поставленного по пьесе А. Дюма «Кин, или Гений и беспутство». Эдмунд Кин (1787–1833), английский актер эпохи романтизма.

– *суфлер Соломон (играет его Колин)* – см. примечания к рец. «Прелестный принц».

– *Кин-Мозжухин* – в роли Кина снимался выдающийся русский актер немого кино Иван Ильич Мозжухин (1889–1939).

– *Шаляпин* Федор Иванович (1873–1938) – артист, певец (бас), мемуарист. С 1899 г. – ведущий солист Мариинского и Большого театров. Первый сов. лауреат почетного звания нар. артиста РСФСР (1922). Исполнитель партий Бориса Годунова в одноименной опере М. П. Мусоргского, Мельника в «Русалке» А. С. Даргомыжского, Ивана Грозного в «Псковитянке» Н. А. Римского-Корсакова, Кончака в «Князе Игоре» А. П. Бородина, Демона в одноименной опере А. Г. Рубинштейна, Дон Кихота в опере Ж. Массне, Мефистофеля в «Фаусте» Ш. Гуно и др. Триумфальную славу принесли ему гастроли за границей.

В 1922 г. Шаляпин навсегда покинул Россию. Принадлежал к кругу друзей Куприна.

Печатается по первой публикации.

Великий Немой.

Статья впервые напечатана в журнале «Театр и жизнь». — Париж. — 1929. — №№ 8, 9.

– *Великий Немой* – название «немого», дозвукового кинематографа.

– *эллинский закон о трех единствах* – правила драматургии, которых придерживался классицизм XVII – XIX вв., опираясь на «Поэтику» Аристотеля: единство действия, единство места, единство времени.

– *Чарли Чаплин* (1889–1977) – американский и английский киноактер и режиссер, универсальный мастер кинематографа.

– *синеартист* – киноартист.

– *Андреев* Леонид Николаевич (1871–1919) – писатель, журналист, драматург. Входил в ближайшее окружение Куприна, который неоднократно отмечал его «исключительный, большой» талант (Биржевые ведомости. – 1908. – № 10551). Откликом на раннюю смерть Андреева стала статья «Памяти Леонида Андреева. “Спасите наши души”» (1919), в которой Куприн дал ему высокую оценку как писателю и человеку, «вмещавшему ум, душу, сердце России».

Печатается по первой публикации.

«Кармен».

Очерк впервые напечатан в журнале «Театр и жизнь». — Париж. — 1928. — № 4.

– *на развалинах древнего римского цирка в Фрежюсе* – в 1912 г. Куприн во время своего путешествия за границу побывал на представлении

оперы «Кармен» во Фрежюсе – маленьком городке на Лазурном берегу Франции. Партию Кармен исполняла французская оперная певица Кеттен Сесиль. Впечатления нашли отражение в очерке «Кармен» в цикле «Лазурные берега» (1914).

– *Мария Гай* (1879–1943) – испанская оперная певица.

– *тамбурин* – старинный музыкальный барабан.

– *гитана* – испанская цыганка.

– *гаррота* – (исп.) удавка.

Печатается по первой публикации.

Лики театральной России: Н. П. Рощин-Инсаров.

Очерк впервые напечатан в журнале «Театр и жизнь». — Париж. — 1929. — № 10, 11.

– *Николай Петрович Рощин-Инсаров*, наст. фамилия Пашенный (1861–1899) – русский драматический артист, по амплуа «герой-любовник». На профессиональной сцене с 1883 г., служил в провинциальных театрах, в московском театре Корша, с 1895 г. – в театре Н. Н. Соловцова в Киеве. Среди блестяще сыгранных ролей – Чацкий («Горе от ума»), Кречинский («Свадьба Кречинского») и др. Трагически погиб в расцвете лет и таланта.

– *мальчуганом 10-11 лет <...> в Пензе* – очерк содержит автобиографические мотивы, факт, подтверждающий пребывание 10-летнего Куприна в Пензе.

– *«Рокамболь»* – пьеса, названная именем главного персонажа из цикла авантюрных романов французского писателя Понсона дю Террайль; нарицательное имя для авантюриста, а также необыкновенное приключение.

– *«Жертвы Ваала»* – драма А. И. Сумбатова-Южина (1857–1927) под названием «Ваал», по воспоминаниям современников «кипела вулканическими страстями» (Курьер. – 1901. – № 125).

– *Мочалов-Гамлет* – Мочалов Павел Степанович (1800–1848) – один из величайших русских актеров эпохи романтизма, служил в московском Малом театре. Вершиной творчества артиста стала роль Гамлета (1837) в одноименном спектакле по пьесе У. Шекспира в переводе Н. А. Полевого.

– *одна дочь взяла для сцены его настоящее имя, другая – псевдоним* – Пашенная Вера Николаевна (1887–1962), советская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1937); Рощина-Инсарова Екатерина Николаевна, урожд. Пашенная (1883–1970) – русская драматическая актриса, на сцене с 1897 г., играла в провинциальных театрах Астрахани, Пензы, Киева; с 1911 г. – в Малом театре, с 1913 г. – в Александринском. В 1919 г. эмигрировала, жила в Париже. Участвовала в литературных вечерах, концертах. При поддержке кн. Ф. Юсупова организовала Русский театр, выступала в качестве режиссера и исполнительницы, давала спектакли в театре «Альбер». Последние годы провела в доме престарелых под Парижем.

В эмиграции часто встречалась с Куприным на мероприятиях, проводимых Комитетом помощи русским писателям и ученым. Принимала

участие в литературном вечере Куприна 10 июня 1927 г. К 1926 г. относится письмо Куприна к Рощиной-Инсаровой (Центральный государственный театральный музей им. А. Бахрушина. Ф. 210 – фонд Плещеевых А. Н., А. А., Рощиной-Инсаровой Е. Н.). Установлен факт переписки с сыном актрисы Алексеем Сергеевичем Игнатьевым (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 26).

– *театр Корша* – Русский драматический театр Корша, основан в Москве в 1882 г. Федором Адамовичем Коршем (1852–1923), русским антрепренером и драматургом. Театр, оборудованный по последнему слову техники, существовал до 1933 г. Ныне его здание занимает Театр наций.

Печатается по первой публикации.

Комедия дель Арте.

Очерк впервые напечатан в журнале «Театр и жизнь». — Париж. — 1929. — № 12.

– *комедия дель арте* – комедия масок, вид итальянского народного площадного театра; импровизационный уличный театр. Термин «комедия дель арте», т. е. «искусный театр» указывает на совершенство актеров в театральной игре. Куприн пишет с большой буквы «Арте» – мастерство, ремесло. Итальянский народный театр оказал большое воздействие на развитие западноевропейского драматического театра, нашел продолжение в пантомиме и мелодраме. В XX в. послужил моделью для синтетического театра В.Э. Мейерхольда, Е.Б. Вахтангова. Интерес к наследию комедии дель арте начался в России после постановки В.Э. Мейерхольдом пьесы А.А. Блока «Балаганчик» (1906); в 1916 г. А.Я. Таиров поставил «Покрывало Пьеретты», в 1922 г. Е.Б. Вахтангов – «Принцессу Турандот».

– *оберж* – гостиница, таверна, постоялый двор.

– *Панталоне, Пьеро, Пьеретта, Арлекин, Коломбина, Трифальдино, Скрифучилио* – характерные для комедии дель арте персонажи (маски). См. примеч. к очерку «Умирающее искусство».

– *интермедия* – небольшая пьеса комического характера, вставленная между действием основной пьесы.

– *Лигурия* – регион Италии на северном побережье Лигурского моря.

– *Турин* – город в Италии, славящийся архитектурой европейского барокко.

– *покойный Потемкин* Петр Петрович (1886–1926) – поэт, сатирик, переводчик, драматург, секретарь журнала «Сатирикон». В 1908 г. В. Э. Мейерхольд поставил его «Петрушку». В 1920 г. эмигрировал, с 1924 г. жил в Париже, сотрудничал в газете «Последние новости». Входил в круг знакомых Куприна. На его разнообразные увлечения писатель иронично откликнулся в статье «На 1926 год»: «Наш талантливый собрат П. П. Потемкин собирается приступить к изданию ежедневного журнала, посвященного тому же полезному развлечению» (имелись в виду вошедшие в моду кроссворды – *Т. К.*). Серьезным увлечением Потемкина были шахматы: в 1924 г. в Париже он организовал шахматную олимпиаду, стоял у истоков ФИДЕ, основал Русский шахматный кружок (1926).

– *Евреинов* Николай Николаевич (1879–1953) – актер, театральный режиссер, драматург, теоретик и преобразователь театра, историк театрального искусства.

Печатается по первой публикации.

Семья Кедровых.

Статья впервые напечатана в журнале «Театр и жизнь». — Париж. — 1930. — № 28.

– *Кедровы* – русская музыкально-артистическая семья. Кедров Николай Николаевич (старший) (1871–1940) – русский оперный и камерный певец (баритон), православный композитор, музыкальный педагог, создатель мужского квартета Кедровых сначала в России, затем во Франции. Родился в Петербурге, в семье протоиерея, в 1894–1897 гг. обучался пению в столичной консерватории, с 1896 г. выступал в оперных спектаклях на сцене ее Большого зала, а с 1900 г. – в оперных спектаклях Московской частной русской оперы, Мариинского театра, Большого театра. В 1904–1923 гг. преподавал сольное и хоровое пение в Петербургской консерватории, с 1915 г. – профессор. В эмиграции вел педагогическую работу в Парижской консерватории.

Организация Кедровым мужского квартета относится к 1897 г. В состав ансамбля вошли: Н. Кедров и его брат К. Кедров, Н. Сафонов, М. Чупрынников. Репертуар квартета составляли русские народные песни, романсы, оперная музыка. В 1911 г. с квартетом выступал Ф. И. Шаляпин. Музыкальные произведения в исполнении квартета записывались на грампластинки. В 1908–1915 гг. ансамбль ежегодно гастролировал в Европе.

После революции семья уехала в эмиграцию. В Париже Н. Н. Кедров заново воссоздал квартет, в котором певцы (И. Денисов, Т. Казаков) выступали под названием «Квартет Кедрова». Основу репертуара квартета в эмиграции составляли богослужебные православные песнопения, в том числе и авторские произведения Кедрова-старшего. В 1924 г. состоялся концерт квартета в Лондоне в присутствии короля Георга V; в конце 1920-х гг. квартет гастролировал в США.

В 1929 г. в квартет вошел сын Николай Николаевич Кедров (младший) (1906–1981), который после смерти отца в 1940 г. стал продолжателем его дела.

После II мировой войны возрожденный квартет Кедровых просуществовал до 1975 г. В 1990-е гг. восстановлен внуком Кедрова-старшего Александром Николаевичем Кедровым (р. 1965), проживающим в Париже.

Вся семья Кедровых отличалась артистическими дарованиями. Жена Н.Н. Кедрова (старшего), Софья Николаевна Гладкая – оперная певица, музыкальный педагог. Дочь Елизавета Николаевна Кедрова (1918–2000) – актриса, первая русская обладательница премии «Оскар» в актерской номинации (фильм «Грек Зорба», 1964).

Дети брата Константина Николаевича: Ольга Константиновна – балерина; Наталья Константиновна – певица.

О квартете Кедровых Куприн упоминает в очерке «Обиходное пение».

– *великий Эверарди* – Камилло Эверарди (1825–1899), певец, педагог; бельгиец по происхождению, окончил Парижскую консерваторию, в 1874 г. посвятил себя педагогической деятельности. Профессор преподавал в Петербургской консерватории, Киевском музыкальном училище, Московской консерватории и воспитал плеяду русских певцов.

– *пети-мэтр* – щеголь, пижон.

– *жители Франш-конте* – самый маленький регион Франции, граничит со Швейцарией.

– *Светлов* Валериан Яковлевич, наст. фамилия Ивченко (1860–1934) – русский литератор, историк балета, театральный критик, драматург-либреттист.

– *Плещеев Александр Алексеевич* (1858–1944) – писатель, театральный критик, сын поэта А. Н. Плещеева. Подробные примечания см. к рецензии «Плещеев А. А. Что вспомнилось: за 50 лет. Театральные воспоминания» в настоящем сборнике.

Печатается по первой публикации.

Ревнив ли Отелло?

Заметка напечатана в журнале «Театр и жизнь». — Париж. — 1932. — № 46, за подписью «А.К.».

– *Отелло* – главный герой одноименной трагедии У. Шекспира.

– *Дмитриевский* Иван Афанасьевич (1734/36–1781) – русский актер XVIII в.

– *Мочалов, <...> Гамлет в переводе Полевого* – см. примечания к статье «Лики театральной России: Н. П. Рощин-Инсарский».

– *Барнай* Людвиг (1842–1924) – немецкий актер и театральный деятель, прославился в трагедиях У. Шекспира и Ф. Шиллера.

– *Сальвини* Томмазо (1829–1915) – итальянский актер, игравший в пьесах У. Шекспира и прославившийся в роли Отелло.

– *Комиссаржевская* Вера Федоровна (1864–1910) – русская драматическая актриса.

Печатается по первой публикации.

Литературная критика. Статьи и рецензии (1901-1933 гг.)

Генрик Сенкевич.

Очерк впервые напечатан в «Журнале для всех», СПб. – 1901. – №5, под криптонимом «А. К.» Вторично – в варшавской газете «Русский голос». — 1959. — № 42– 43. (Публикация Л. Усенко); в книге: Куприн А. И. Река жизни. Рассказы и повести. Из несобранного и забытого. (Сост. Л.В. Усенко). – Росиздат, 1988. Очерк ни разу не был включен в собрания сочинений писателя.

– *Сенкевич Генрик(х) Иосифович* (1846–1916) – польский писатель, лауреат Нобелевской премии (1905).

– *осада Ченстохова* – Ченстохово (в составе Российской империи – Ченстохов), город на юге Польши. Знаменит чудотворной Ченстоховской

иконой Божией Матери, хранящейся с 1382 г. в Ясногорском монастыре, оборона которого в ходе польско-шведской войны XVII в. описана в романе Сенкевича «Потоп».

– *верещагинские картины* – Верещагин Василий Васильевич (1842–1904), русский живописец, художник-баталист.

Печатается по первой публикации.

В. В. Подкольский. «Вечером. Рассказы».

Рецензия впервые напечатана в журнале «Мир Божий», СПб. – 1902. – № 12. – под криптонимом «А. К.»

– *Подкольский Вячеслав Викторович* (1867–1906), настоящая фамилия Пузик. Обстоятельства жизни не установлены.

– *богаделки* – обитательницы богаделен.

– *просвирни* – женщины, пекущие просвиры (просфоры).

Печатается по первой публикации.

Владимир Голиков. Рассказы.

Рецензия впервые напечатана в журнале «Мир Божий», СПб. – 1904. – № 7. – под криптонимом «А. К.»

– *Голиков Владимир Митрофанович* (1875–1918, сведений после 1918 г. нет), русский поэт, переводчик, автор стихотворных сборников (1900, 1902, 1907). Редактор литературно-сатирического еженедельника «Златоцвет» (1914), сотрудник петроградской газеты «Вечернее время».

Печатается по первой публикации.

Михаил Радлов. «Живые фотографии».

Библиографическая заметка на сборник рассказов Радлова впервые напечатана в журнале «Мир Божий». – 1904. – № 7. – под криптонимом «А. К.»

Михаил Радлов – псевдоним, настоящая фамилия и имя – Капица Михаил Петрович (1870-1924), участник подпольных революционных кружков. С 1900 по 1905 гг. служил в должности фабричного инспектора в Иваново-Вознесенске. Публиковал рассказы и очерки из рабочей жизни в журналах «Русское богатство» и «Журнал для всех». Часть рассказов составили сборник «Живые фотографии» (М., 1904).

Печатается по первой публикации.

Петр Пильский. Рассказы. 1907 г.

Рецензия впервые напечатана в журнале «Современный мир». — 1907. — № 10, в разделе «Библиография и критика», за подписью «А. К-рин».

– *Пильский Петр Моисеевич* (1876–1941), журналист, литературный и театральный критик. Входил в число близких друзей Куприна. Публицистическое наследие Куприна и Пильского содержит обоюдные рецензии и отклики: в 1905 г. Пильский написал статью «Во мраке касты» (Русская мысль. – 1905. – № 11) на повесть «Поединок»; Куприн в 1907 г. опубликовал данную рецензию на книгу рассказов своего приятеля. В 1907-1908

гг. Пильский обрел широкую популярность как литературный критик. В его сборник «Критические статьи» (1910) вошли этюды о творчестве Андреева, Брюсова, в том числе этюд «А. Куприн». В 1913 г. выступил составителем литературно-художественного сборника «Десятилетие ресторана «Вена», в который вошли стихи Куприна. Дружеские отношения окрепли в революционные годы. В 1917 г. Куприн и Пильский вместе редактировали газету «Свободная Россия» (Петроград). В 1918 г. Пильский основал и возглавил 1-ю Всероссийскую школу журнализма, где читали лекции А. Блок, В. Дорошевич, А. Амфитеатров, А. Куприн.

В эмиграции, в Риге, Пильский был ведущим сотрудником рижской газеты «Сегодня» и таллиннской – «Последние известия», публиковался в парижских журналах «Иллюстрированная Россия» и «Театр и жизнь». В письме к В. Е. Гущику из Парижа в Таллин от 30 августа 1921 г. Куприн характеризовал Пильского: «Он славный парень и мой хороший, добрый, старый, веселый друг. Ах, повеселились мы с ним в молодости!». В эмиграции друзья также поддерживали друг друга посредством литературных рецензий: Куприн написал предисловие к роману П. Хрущова (псевдоним Пильского) «Тайна и кровь» (Рига, 1927 г.), а Пильский в свою очередь стал автором предисловия «Радости земли» к книге Куприна «Купол святого Исаакия Далматского» (Рига, 1928 г). Вошедший же в нее цикл очерков «Париж домашний» Куприн снабдил посвящением «П. М. Пильскому». На книгу «Храбрые беглецы» (Париж, 1928) Пильский в Риге откликнулся статьей-рецензией «Расслышанные тайны: Куприн А. И. “Храбрые беглецы”» (Сегодня. – Рига. – 1928. – 3 марта). Друзья обменялись юбилейными статьями: Пильский написал очерк «А. И. Куприн: Сорокалетие творческой литературной деятельности» (Числа. – 1930. – № 2-3); Куприн же ответил через год статьей «Петр Пильский. Тридцатилетие литературной деятельности» (Сегодня. – Рига. – 1931. – 19 апреля. – № 108) и ее же дал под названием «Праздник русского журналиста» в парижском журнале «Театр и жизнь» (1931. — № 39. — 1 мая). Пильскому принадлежит рецензия «“Юнкера” – новый роман А. Куприна» (Театр и жизнь. — Париж. — 1932. — № 54). Друзей связывала долголетняя переписка, письма Пильского сохранились в фонде Куприна (РГАЛИ. Ф. 240. оп. 2. ед. хр. 52).

– *к помощи ремингтонной барышни* – т.е. машинистки, печатающей на пишущей машинке «Ремингтон».

– *«велит Гапке принести чернильницу…»* – цитата из повести Н. В. Гоголя «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

– *чеховский телеграфист < …> «хочут показать свою образованность»* – персонаж из водевиля А. П. Чехова «Свадьба» говорил о преимуществах электрического освещения, но героиня обвинила его в том, что «они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном».

– *похожая на море из «Мальвы»* – «Мальва», рассказ А. М. Горького.

Печатается по первой публикации.

С. С. Кондурушкин. «Сирийские рассказы».

Рецензия впервые напечатана в журнале «Современный мир». – 1908. – № 6. под криптонимом «А. К.»

– *Кондурушкин Степан Семенович* (1874–1919), русский писатель, выходец из крестьянской семьи. После окончания Казанского учительского института служил в русской православной миссии в Дамаске, пять лет преподавал словесность, был помощником инспектора школ в Сирии. По возвращении в Россию занялся литературным трудом. Куприн полемизирует с критикой, стремившейся увлечь этого прозаика на путь бытописательства. Социально заостренные рассказы Кондурушкина, исполненные критического пафоса, оценивались Куприным положительно.

– *по плану гоголевского Днепра* – имеется в виду описание Днепра в произведении Н. В. Гоголя «Страшная месть»: «Чуден Днепр при тихой погоде…»

– *Е. Лансере* – Лансере Евгений Евгеньевич (1875–1945), российский художник, сотрудник журнала «Мир искусства», работал в книжной графике; для его художественной манеры характерна изысканная графичность, декоративно-живописный строй иллюстраций.

– *Брюсов* Валерий Яковлевич (1873–1924) – русский поэт, один из основателей русского символизма.

– *Реми де Гурман* – Гурмон Реми де (1858–1915), французский писатель, критик; в «Книге масок» (1898) привел свою концепцию символизма.

– *Эдгар По* (1809–1849) – американский писатель, поэт, автор «мрачных» рассказов, создатель формы современного детектива; его творчество оказало влияние на литературу европейского декаданса и символизма.

Печатается по первой публикации.

Вилье де Лиль-Адан. «Жестокие рассказы».

Рецензия впервые напечатана в журнале «Современный мир». – 1908. – № 7.

– Филлип Огюст Маткас *Вилье де Лиль-Адан* (1838–1889) – французский писатель, граф; с 1866 г. печатал в периодике свои новеллы, позже объединенные в сборник «Жестокие рассказы» (1883), относящийся к расцвету его творчества.

Печатается по первой публикации.

Поэт арены.

Рецензия, посвященная творчеству писателя Н.Н. Брешко-Брешковского, впервые напечатана в «Синем журнале». — 1911. — № 8. — 12 февраля, с подзаголовком «Критический очерк А. Куприна».

– *Брешко-Брешковский Николай Николаевич* (1874-1943), русский писатель, журналист, критик, военный публицист. Входил в круг близких знакомых Куприна. В 1900-е гг. Куприн опубликовал на книги Брешко-Брешковского две неблагожелательные рецензии: «Шепот

жизни» (Мир Божий. — 1904. — № 6), «Опереточные тайны» (Мир Божий. — 1905. — № 6), в которых отмечал «заношенность тем», «устарелый и фальшивый прием описания внешности героя», однообразие персонажей и трафаретность образов, иронизировал над банальными, шаблонными фразами.

Популярность Брешко-Брешковскому принесли «спортивные» романы «Чемпион мира» (1907), «Гладиаторы наших дней» (1908) и др., посвященные атлетам-борцам, состязавшимся на арене цирка – отсюда и прозвище писателя «Поэт арены» (см.: Фелицын С. Литературный паспорт певца арены. — Вестник литературы. — 1911. — № 3).

Брешко-Брешковский выступал как автор сценариев фильмов: «Роман русской балерины», «Графиня-шпионка» и др. В 1913 г. в Гатчине участвовал вместе с Куприным в съемке шуточного фильма «Посрамленный Жакомино» (Биржевые ведомости. — 1913. — 17 апреля). Куприн адресовал другу шутливую эпиграмму «Брешке» (Огонек. — 1913. — № 2) – см. в настоящем сборнике. В эмиграции встречались в Париже. Куприн снова обратился к творчеству старого друга, написав предисловие к его роману «Жуткая сила» (см. в настоящем сборнике).

– *сальтимбанк* – букв.: «скакать на скамью»; скоморох, фигляр, дающий представление в публичном месте.

– *описание конского завода и рысистых бегов у Эртеля* – Эртель Александр Иванович (1855–1908), русский писатель, автор романа «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги» (1889).

– *Конан Дойл* – Дойл Артур Конан (1859–1930), шотландский и английский писатель, автор многочисленных приключенческих произведений о сыщике Шерлоке Холмсе.

Печатается по первой публикации.

Е. А. Колтоновская. «Женские силуэты»

Рецензия впервые напечатана в журнале «Современный мир». – 1912. – № 10, под криптонимом «А. К.»

– *Колтоновская Елена Александровна* (урожд. Сасько) (1870-1952) – писательница, литературный критик. С 1910 г. – постоянный критический обозреватель газеты «Речь». В советское время служила в Госиздате, работала над воспоминаниями (остались незавершенными). В сферу ее творческого внимания как критика входил Куприн. Ему посвящены статьи: «Куприн как выразитель эпохи» (Образование. — 1907. — №4), «Поэт жизни» (Вестник Европы. — 1915. — №1), очерк в сборнике «Новая жизнь» (СПб., 1910), посвященном творчеству писателей нового этапа развития реализма (неореализма).

– *Ковалевская* Софья Васильевна (1850–1891) – русский математик и механик, первая в России и Северной Европе женщина – профессор математики; автор повести «Нигилистка» (1884).

– *Оржешко* Элиза (1842–1910) – польская писательница.

– *Комиссаржевская* Вера Федоровна (1864–1910) – знаменитая русская актриса.

– *Хвощинская* Надежда Дмитриевна (1822–1889) – российская писательница (псевдоним В. Крестовский), автор многочисленных романов и повестей, трилогии «Провинция в старые годы».

– *Дузе* Элеонора (1858–1924) – итальянская актриса, родившаяся в армянской семье Дюзян.

– *Лагерлеф* Сельма (1858–1940) – шведская писательница, первая женщина – лауреат Нобелевской премии по литературе (1909).

Печатается по первой публикации.

С. Я. Соломин.

Предисловие ко второму изданию сборника рассказов Сергея Яковлевича Соломина (СПб., 1914), вышедшему уже после его смерти. Предисловие было перепечатано газетой «Биржевые ведомости» (1914. – 31 мая. – № 14179). Тексту Куприна предшествовала заставка от редакции под названием «А.И. Куприн и русские писатели» следующего содержания: «Через несколько дней исполняется годовщина смерти талантливого газетчика и фельетониста, некогда сотрудника «Биржевых Ведомостей» Сергея Соломина. Книжка его рассказов, изданная после его смерти, давно успела разойтись. В скором времени выходит ее второе издание, новый сборник, собравший его последние рассказы. Этой книге предпосылается предисловие А.И. Куприна, очень характерное столько же по оценке писательского и человеческого облика С.Я. Соломина, известного представителя русской литературной богемы, сколько и по выраженному общему взгляду талантливого автора «Поединка» и «Ямы» на положение русского писателя вообще. Приводим полностью эти строки нашего известного беллетриста, посвященные участи менее удачливого собрата».

– *Соломин Сергей Яковлевич,* настоящая фамилия Стечкин (1864-1913) – писатель, один из основателей в русской литературе жанра научной фантастики. Входил в круг знакомых Куприна. Из тульских дворян, двоюродный брат ученого-аэродинамика Н.Е. Жуковского, отец академика, теоретика воздушно-реактивных двигателей Б.С. Стечкина (1891-1969). Публиковался в столичных газетах и журналах под псевдонимами: С. Соломин, Гулливер, Мерлин. Издавал журналы «Рабочий колокол» (1905) и «Пережитое» (1905). Основные научно-фантастические произведения опубликованы в период с 1909 по 1914 г. в журналах: «Аргус», «Огонек», «Синий журнал», «Женщина», «Летучие альманахи». В 1912 г. в «Синем журнале» печатались повести «Необычайные приключения Оскара Дайбна и Кондратия Невеселого. Борьба злых и добрых на суше, на море, в воздухе и под водой» (№№ 7-12, 14) и «Под стеклянным колпаком: Основание и гибель Полярной империи» (№№ 23-35). После смерти вышли два тома рассказов «Разрушенные терема: Эпизоды из великой войны между женщинами и мужчинами» (1913). Мотив коммунитарного эксперимента из повести «Под стеклянным колпаком» Куприн использовал в памфлете «Рай» (1921).

– *влияние Г. Ж. Уэльса* – Уэллс Герберт Джордж (1886–1946), английский писатель, автор научно-фантастических романов.

Печатается по: «Биржевые ведомости». – 1914. – 31 мая. – № 14179.

Проказливый юмор. О книге И. С. Руденкова «Рассказы и сценки».

Рецензия на книгу актера Ивана Руденкова «Рассказы и сценки» (1915) опубликована в «Журнале журналов». — 1915. — № 26, в разделе «Будущие новинки» под заголовком «Из выходящей на днях книги актера И. Руденкова. Заметка А.И. Куприна».

Помимо заметки Куприн написал предисловие к книге И.С. Руденкова, на обложке которой кроме заглавия и имени автора указано: «С предисловием А. Куприна». Предисловие по тексту почти совпадает с заметкой, есть лишь небольшие разночтения. Например, в предисловии Куприн говорит о личном знакомстве с автором, присутствии на его выступлениях: «Я так часто смеялся радостным, молодым, свежим и беззаботным смехом, видя Вас на сцене и читая Ваши забавные оценки, что, надеюсь, Вы позволите мне определить Ваше милое творчество короткими словами: “Юмор – прекрасная вещь. Беззлобная шутка не ранит”».

– *Руденков Иван Семенович* (1887 – 1950) – актер, автор и исполнитель сатирических рассказов. В дореволюционной России – звезда харьковской эстрады. С 1923 г. – в эмиграции, жил в Риге. Создал в Латвии профессиональный кукольный театр марионеток (1923). Заслуженный артист Латвийской ССР (1947).

– *о нравах Растеряевой улицы* – повесть Г. И. Успенского «Нравы Растеряевой улицы» (1866).

– *горбуновские рассказы о портном, летающем на аэростате* – Горбунов Иван Федорович (1831–1895), писатель, автор юмористических рассказов, в том числе «Воздухоплаватель»; актер, создавший эстрадный жанр устного рассказа.

– *паноптикум* – музей, коллекция необычных предметов.

Печатается по: «Журнал журналов». – 1915. – № 26.

Привет Х. Н. Бялику.

Приветствие по случаю 25-летия творчества еврейского поэта и писателя Х. Н. Бялика под названием «Привет» впервые напечатано в журнале «Еврейская жизнь». – 1916. – апрель. – № 14-15, в специальном тематическом сдвоенном номере.

В русско-еврейском культурном диалоге Куприн оставил заметный след, обращаясь к еврейской теме в художественном и публицистическом творчестве. В круг его ближайших друзей и знакомых входили русские писатели еврейского происхождения: Саша Черный (А. Гликберг), В. Регинин (Раппопорт), К. Чуковский, А. Свирский, В. Боцяновский, С. Юшкевич, А. Седых (Я. Цвибак) и др. В 1904 г. в Петербурге он познакомился с известным еврейским писателем Шоломом Алейхемом. В творческой биографии Куприна имеется несколько изданий, в которых он принимал участие совместно с русской и еврейской интеллигенцией. Для сборника «Помощь» (СПб., 1903), доход с которого предназначался в пользу Общества для распространения просвещения между евреями в России и на нужды начальных школ, Куприн предоставил рассказ «В казарме».

В 1916 г. Куприн получил приглашение от начинающего редактора Л.Б. Яффе принять участие в благотворительном номере издававшегося в Москве еженедельника «Еврейская жизнь». Юбилейный сборник посвящался 25-летию литературной деятельности еврейского поэта Х. Н. Бялика. По причине ограниченности времени, плохого здоровья и пр. отказом ответили: В. Короленко, А. Федоров, скульптор И. Гинцбург. Переводы стихов Бялика прислали: И. Бунин, В. Брюсов, С. Маршак, Ф. Сологуб и др. Куприн не принимал участия в сборнике, но его письмо составителю-редактору, в котором он передавал поздравления Бялику, было приведено в юбилейном сборнике и характеризовало Куприна как дипломатично-мудрого и демократично-толерантного общественного деятеля. Оригинал письма Куприна хранится в Центральном Еврейском Архиве: А 13/167.

Печатается по: «Еврейская жизнь». – 1916. – апрель. – № 14-15.

Александр Дюма.

Критико-биографический очерк. Датирован по рукописи 1918 г. (ИРЛИ. Ф. 242).

Куприн стал первым автором критико-биографического очерка о Дюма в русской литературе. Над очерком писатель работал в октябре–ноябре 1918 г. по заказу М. Горького для издательства «Всемирная литература». Он предназначался в качестве предисловия к собранию сочинений Дюма. Вступительная статья, оставленная Куприным в Гатчине, была утеряна. Несколько листов, подобранных в гатчинском доме писателя позже поступили в РО ИРЛИ. Дошедшие до нас отрывки представляют листы большого формата, исписанные с двух сторон, нумерация страниц 73-76, 81. Все это свидетельствует о том, какую крупную работу написал Куприн для «Всемирной литературы». Впервые очерк 1918 г. был опубликован П. П. Ширмаковым в журнале «Звезда». — 1970. — № 9. В эмиграции Куприн заново восстановил по памяти текст литературно-публицистического очерка и впервые опубликовал в 1930 г. в парижской газете «Возрождение» под названием «Дюма-отец». (Рукопись позднего очерка и его газетные гранки, выправленные автором, находятся в РГАЛИ). Восстановленный автором очерк 1931 г., тоже интересный и увлекательный, бледнее по языку, мыслям и наблюдениям, чем первоначальное произведение, которое Куприн написал для «Всемирной литературы».

– *Дюма Александр,* настоящее имя Александр Дюма Дави де ла Пайетри (1802–1870) – выдающийся французский писатель, романист, журналист, драматург. Всемирную славу приобрели его произведения: «Три мушкетера» (1844), «Граф Монте-Кристо» (1845), «Королева Марго» (1847) и др.

– *лицом к митральезам* – митральеза, артиллерийское орудие, предшественник пулемета.

– *гасконада* – хвастовство, похвальба, вранье; от названия французской провинции Гасконь, откуда родом Д'Артаньян, герой романа Дюма «Три мушкетера».

– *Мишле* Жюль (1798–1874) – французский историк и публицист.

– *дон Родриго* – герой трагедии Пьера Корнеля «Сид», национальный герой Испании, прозванный побежденными маврами Сидом.

– *Гаргантюа и Грандузье* – персонажи романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»; король Грандузье (глотка, обжора), отец Гаргантюа.

– *Красные рубашки* – название добровольцев-повстанцев в Италии XIX в., принимавших участие в восстании Гарибальди.

– *играющим около Гарибальди роль мухи на кибитке* – сравнение с мухой взято из басен И. Дмитриева и И. Крылова: муха сидела на рогах вола, но хвасталась: «Мы пахали».

– *кондотьер* – (итал.) предводитель наемного военного отряда.

– *сюринтендант изящных искусств* – командующий офицер во главе военной академии; т.е. — президент.

– *palazzeto* – дворец.

– *Блэз де Бюри* – Блаз де Бюри Анри (1813–1888), французский писатель, критик.

– *Брандес* – Георг Брандес (1842–1927), датский литературовед, публицист.

– *Пелисье* – Жан Жак Пелисье (1794–1864), французский военачальник, генерал-губернатор Алжира.

– *Маргарита Валуа и кавалер де ля Моль* – Маргарита (1553–1615), супруга короля Наваррского Генриха IV, известная как королева Марго, героиня романа Дюма «Королева Марго». Шевалье де ла Моль – возлюбленный королевы.

Печатается по: «Звезда». — 1970. — № 9.

П. Н. Краснов. «От двуглавого орла к красному знамени. 1894-1921».

Рецензия на первую часть романа П.Н. Краснова впервые напечатана в газете «Общее дело». – 1921. – 9 мая. – № 297.

– *Краснов Петр Николаевич* (1869 – 1947), генерал от кавалерии, писатель. Входил в круг близких знакомых Куприна. Участник Русско-японской войны, Первой мировой войны. В 1918 г. «Кругом спасения Дона» был избран атаманом Всевеликого войска Донского. Во внешней политике ориентировался на Германию, стремился к отделению казачьих областей от России, отказался подчинять донские части командованию Добровольческой армии А. И. Деникина. В 1919 г. после поражения Донской армии подал в отставку, уехал в Эстонию. В сентябре 1919 г. зачислен в списки Северо-Западной армии и назначен в распоряжение ее главнокомандующего генерала Н. Н. Юденича. Ведал пропагандой Северо-Западной армии. Под руководством Краснова Куприн редактировал военно-политическую газету «Приневский край», название которой было придумано Красновым. Под псевдонимом Гр. Ад. (Град – имя скаковой лошади генерала) Краснов ежедневно давал краткие, емкие, яркие статьи. Во время создания газеты между Куприным и Красновым постоянно возникали споры в силу творческих разногласий. Современник, публицист В.Д. Кузьмин-Караваев, иронически воспринимал их как ссоры «большого писателя в маленьком

чине и маленького писателя в большом чине» (Ю.А. Григорков. А. И. Куприн. Мои воспоминания. – Современник. — Торонто. – 1960. – № 2). События этого периода и обстоятельства совместной работы Куприн воспроизвел в документальной повести «Купол святого Исаакия Далматского» (1928), дав при этом благожелательный отзыв о Краснове: «Я ни на минуту не забывал того, что хотя передо мною сидит очаровательный человек, Петр Николаевич, автор путешествий и романов, которые я очень ценил, но что для меня он сейчас Ваше Высокопревосходительство, генерал от кавалерии… Воспоминания о нем у меня самые благодарные, почтительные и дружеские». В эмиграции Краснов написал более 20 книг: «Цареубийцы», «Белая свитка», «За чертополохом» и др. Эпопея «От двуглавого орла к красному знамени» стала ценным документом, воссоздающим события российской истории за четверть века. Куприн видел в авторе несомненный литературный талант. Письма генерала к Куприну, относящиеся к 1924–1925 гг., хранятся в РГАЛИ (Ф. 240. оп. 2. ед. хр. 34).

В 1936 г. Краснов из Франции переехал в Германию. В 1941 г. после нападения Гитлера на СССР он с целью свержения власти большевиков в России сотрудничал с властями нацистской Германии, принимал участие в формировании казачьих частей в составе вермахта. В 1945 г переехал в Австрию, где сдался в плен англичанам. По требованию советского командования был выдан и этапирован в Москву, содержался в Бутырской тюрьме. В 1947 г. по приговору Верховного Суда СССР 78-летний атаман был повешен.

– *Розенкранц* («Это облако похоже на верблюда») – персонаж трагедии У. Шекспира «Гамлет»; цитата из «Гамлета».

Печатается по первой публикации.

Петр Александров. Сны.

Рецензия на сборник рассказов «Сон» П. А. Ольденбургского впервые напечатана в газете «Общее дело», Париж. – 1921. – № 297. – 9 мая.

– *Петр Александров* – литературный псевдоним принца Ольденбургского Петра Александровича (настоящее имя – Петр-Фридрих-Георг) (1868–1924). Член императорской фамилии, потомок герцегов Гольштейн-Готторпских, первый муж великой княгини Ольги Александровны Романовой, сестры императора Николая II (венчание – 1901, развод – 1916). Генерал-майор. Участник Первой мировой войны. После 1917 г. эмигрировал вместе с родителями, жил в Париже и на ферме под Байонной, на границе с Испанией. Занимался литературой, выпустил книгу «Сон» (Париж, типография «Земгора», 1921), в которую вошли три рассказа из народного быта. К 1921 г. относится письмо П.А. Ольденбургского к Куприну (фонд ОГЛЛМ, коллекция Куприна).

Печатается по первой публикации.

В. фон Дрейер. «Крестный путь во имя Родины».

Предисловие к книге В.Н. фон Дрейера «Крестный путь во имя Родины. Двухлетняя война Красного Севера с Белым Югом. 1918–1920 гг.» (Берлин, 1921).

– *Дрейер Владимир Николаевич фон* (1876–1967) – генерал-майор русской армии, участник I Мировой войны и Белого движения. Военный корреспондент на Итало-турецкой войне (1911) и Балканской войне (1912–1913). С 1920 г. – в эмиграции во Франции, США. В книге «Крестный путь во имя Родины» описаны действия Кавказской армии П. Н. Врангеля во время Гражданской войны.

«Северные огни». Стокгольм 1920-21 гг.

Библиографическая заметка впервые напечатана в газете «Общее дело», Париж. – 1921. – № 297. – 9 мая.

Заметка посвящена деятельности издательства «Северные огни», основанного в Швеции Е. А. Ляцким.

– *Ляцкий Евгений Александрович* (1868–1942), литературный критик, прозаик, этнограф, фольклорист, издатель. Входил в круг знакомых Куприна. В 1909 г. вместе с А. Куприным, Ф. Батюшковым, В. Ладыженским участвовал в проекте перевода на русский язык рассказов Анатоля Франса для издательства «Товарищество Общественная польза». В 1909 г. основал в Петербурге издательство «Огни». Автор многочисленных статей о М. Горьком, А. Чехове, Л. Андрееве, монографии «И. А. Гончаров. Жизнь, личность, творчество» (1904). Издал переписку Н. Г. Чернышевского с родными (вып. 1–3, 1912–1913), письма В. Г. Белинского (тт. 1-3, 1913). В конце 1917 г. выехал в Финляндию, жил в Гельсингфорсе, издавал газету «Северная жизнь»; в 1920 г. переехал в Швецию, где в Стокгольме основал и возглавил издательство «Северные огни», издавал журнал «Около России». К 1920–1921 гг. относится интенсивная переписка Куприна и Ляцкого по вопросам издания купринских рассказов и его работы над переводом романов А. Стриндберга (письма Куприна находятся в Литературном архиве г. Праги, опубликованы в Собрании сочинений Куприна в 10 тт. М.: Воскресенье. – 2007. Т.11, дополнительный). В 1922 г. переехал в Чехию, основал и возглавил издательство «Пламя» (1923-1925). Один из организаторов и профессоров Русского народного университета в Праге. В эмиграции много сделал для популяризации русской классики, издавая Лермонтова, Грибоедова, Крылова.

– *В. Л. Бурцев* – см. примеч. к статье «Мир – дурак».

Печатается по первой публикации.

Е. А. Кельчевский. «После урагана».

Предисловие к книге Е. А. Кельчевского «После урагана: Роман в четырех отрывках» (Париж: Изд-во Е. Сияльской, 1927).

– *Кельчевский Евгений Анатольевич* (1883–1935) – писатель русской эмиграции. Входил в число знакомых Куприна.

Выходец из семьи военного, преподавателя Николаевской академии Генштаба. Окончил Михайловское артиллерийское училище (1903), Императорскую Николаевскую военную академию (1912). Участник I Мировой войны, полковник (1917), с февраля 1918 г. – в Рабоче-Крестьянской Красной Армии, начальник штаба 2-й армии Восточного

фронта. После подавления мятежа Муравьева перешел на сторону белых. В эмиграции работал водителем такси. Занялся литературной деятельностью. Автор романов: «После урагана. Роман в четырех отрывках» (1927), «Дмитрий Оршин» (1929), «В лесу» (1930). Первое произведение, действие которого происходит в 1919-1921 гг., вышло с предисловием Куприна, давшего роману определение: «путевой дневник скитающегося по всему свету русского интеллигента». Под ураганом подразумевалась Октябрьская революция. Автор предисловия утверждал, что это «одно из самых выдающихся русских произведений последнего времени».

Н. Брешко-Брешковский.

Библиографическая статья написана в качестве предисловия к книге Н.Н. Брешко-Брешковского «Жуткая сила» (Рига: Мир. — 1930).

– *Брешко-Брешковский* – см. примечания к рецензии «Поэт арены».

– *его мать известная русская революционерка* – Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844–1934), деятель российского революционного движения; с нач. 1870-х гг. примыкала к народникам; одна из создателей и лидеров партии эсеров; участница революции 1905–1907 гг.; в 1907–1917 гг. – пребывала в тюрьмах и ссылках; с 1919 г. – в эмиграции. Известна как «бабушка русской революции».

– *вторым посадили меня* – см. примечания к фельетону «Великий князь Михаил Александрович».

– *елисаветградский* – Елисаветград, город Российской империи, ныне Кировоград (Украина).

– *буревестник, сокол, Челкаш* – персонажи произведений М. Горького.

– *дадаист* – (франц.) dada — деревянная лошадка, в переносном смысле – бессвязный детский лепет; модернистское течение в искусстве, зародилось во время I Мировой войны. Дадаисты заявляли протест против принятых в обществе условностей и ценностей.

М. Осоргин. «Повесть о сестре».

Рецензия на книгу М.А. Осоргина впервые напечатана в «Новой газете». — Париж. – 1931. – 15 марта. – № 2.

– *Осоргин Михаил Андреевич,* настоящая фамилия Ильин (1878 – 1942) — русский писатель. Входил в круг знакомых Куприна. В 1922 г. с группой оппозиционно настроенных представителей отечественной интеллигенции (Н. Бердяев, Н. Лосский и др.) выслан из СССР. Жил в Берлине, с 1923 г. – в Париже. Слава большого писателя пришла к Осоргину в эмиграции, где созданы и опубликованы произведения: «Сивцев Вражек» (1928), «Вещи человека» (1929), «Повесть о сестре» (1931), «Свидетель истории» (1932), «Вольный каменщик» (1937) и др.

Близкое знакомство Куприна и Осоргина относится к парижскому периоду. В статье «Старый начетчик» (1925) Куприн в связи с высказываниями русской эмиграции по вопросу возвращения в Россию характе-

ризовал Осоргина и его талант: «Ну, Осоргина я еще понимаю. Молодой человек, лет тридцати трех, недурной наружности, свистун, весельчак и наездник (вернее – поддужный), кроме того, парень, не лишенный острого, хваткого, развязного таланта. Ему легко: ошибся, засмеялся, пожал плечами, и все прошло, поскакал дальше. Любимец публики, балованное дитя». После выхода крупных произведений главным достоинством его книг рецензент считал доброту, простоту, чистоту и зоркость автора. Осоргин – один из представителей зарубежной критики, обратившийся к творчеству Куприна. После выхода сборника «Храбрые беглецы» (1928) из общего потока рассказов для детского чтения Осоргин выделил рассказ «Козлиная жизнь» (Мих. Осоргин. Куприн. — Последние новости. – 1930. – 29 мая. – № 3354). В преддверии выхода романа «Юнкера» Осоргин поместил благожелательную рецензию «Москва и молодость» (Последние новости. — Париж. – 1932. – 20 октября. – № 4229). На выход книги «Жанета» откликнулся рецензией «Новая книга Куприна» (Последние новости. – 1934. – 4 августа).

Печатается по первой публикации.

Александр Плещеев. «Что вспомнилось: за 50 лет».

Рецензия на книгу А.А. Плещеева «Что вспомнилось: за 50 лет. Театральные воспоминания». (Париж, 1931) напечатана в газете «Возрождение». – 1931. – 14 мая. – № 2172. В советское время – в журнале «Дон». – 1963. – № 8 (публ. Л. Усенко).

– *Плещеев Александр Алексеевич* (1858 – 1944), писатель, театральный критик, сын поэта А. Н. Плещеева. В молодости выступал как драматический актер на сцене Малого и Александринского театров. С 1876 г. занимался литературной деятельностью. Издавал газету «Петербургский дневник театрала» (1903–1905). В 1914 г. первым изданием выпустил мемуары «Что вспомнилось. Актеры и писатели. Воспоминания А. А. Плещеева». С 1919 г. – в эмиграции, уехал вслед за любимой актрисой Е. Н. Рощиной-Инсаровой. Публиковался в парижских периодических изданиях русской эмиграции «Возрождение», «Мир и искусство», «Иллюстрированная Россия», рижской газете «Сегодня» и др.

Входил в круг знакомых Куприна. Установлен факт переписки: три письма Куприна к Плещееву (1923–1926 гг.) хранятся в Центральном государственном театральном музее им. А. Бахрушина (Ф. 210 – фонд Плещеевых А. Н, А. А., Рощиной-Инсаровой Е. Н.). Письмо Плещеева к Куприну (1923) – в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 53). В 1939 г. в Париже вышел сборник Плещеева «Мое время» с обстоятельным предисловием Куприна, содержание которого повторяет рецензию 1931 г.

Печатается по первой публикации.

Д. Мережковский. «Иисус Неизвестный».

Рецензия на книгу Д.С. Мережковского «Иисус Неизвестный» (Белград, 1932) напечатана в газете «Возрождение». — Париж. – 1932. – 27 октября. – № 2704.

– *Мережковский Дмитрий Сергеевич* (1865–1941), писатель, поэт, драматург, критик, переводчик, религиозный философ. Входил в круг знакомых Куприна. В публичных лекциях, посвященных современной литературе, Куприн дал ему острую характеристику: «Особняком от наших писателей Мережковский. Это – европеец, близкий к Флоберу. <…> К нему применимо эдиссоновское определение гения: 90% терпения и …10% таланта!». Начало многолетнего знакомства писателей относится ко времени 1908–1910 гг., свидетельством чему является письмо Мережковского к Куприну (б/д) с просьбой выслать рассказы для журнала «Русская мысль».

Печатается по первой публикации.

Владимир Горийский. «Песни солнца».

Предисловие к сборнику стихотворений Владимира Горийского «Песни солнца» (Париж, 1933, изд. 3-е). Предисловию предшествует страница с надписью «А. Куприн о Владимире Горийском». Сам отзыв датирован и подписан: «9 июня 1932 г. Париж. А. Куприн». В. Ф. Ходасевич в статье «Ниже нуля» упоминает о сборнике: «<…> вышел с предисловием А. И. Куприна и с критико-биографическим очерком Н. Н. Брешко-Брешковского» (Возрождение. – 1936. – 23 января).

– *Владимир Горийский* – настоящая фамилия Давыдов Владимир Андреевич (1885/6–1951), псевдоним взят по месту рождения (г. Гори Тифлисская губ.). Печататься начал с 1913 г., участник I Мировой войны, с 1919 г. – в эмиграции; член Союза писателей и журналистов в Париже. Входил в круг знакомых Куприна.

Печатается по: Владимир Горийский «Песни солнца» (Париж, 1933, изд. 3-е).

Мемуарные очерки, некрологи (1921-1932 гг.)

Вечная память. (Л.Г. Корнилов).

Заметка-некролог впервые напечатана в редактируемом Куприным журнале «Отечество», Париж. – 1921. – № 2.

– *Корнилов Лавр Георгиевич* (1870–1918) – русский военачальник, военный разведчик, путешественник-исследователь. Герой Русско-японской и I Мировой войн; Верховный главнокомандующий Русской армии (август 1917); один из организаторов и Главнокомандующий Добровольческой армии.

Печатается по первой публикации.

Аверченко и «Сатирикон».

Мемуарный очерк напечатан в рижской газете «Сегодня». – 1925. – 29 марта. – № 72.

– *Аверченко* Аркадий Тимофеевич (1881–1925) – писатель, драматург, редактор. В 1908 г. основал сатирический журнал «Сатирикон». После Октябрьской революции уехал в эмиграцию, обосновался в Праге. Ав-

тор первой книги о гражданской войне «Дюжина ножей в спину революции» (1921). Входил в круг близких знакомых Куприна, который относил Аверченко к одним из талантливых писателей своего времени, ценил его «беззлобный, чистый» смех и разящую сатиру, отдавал ему приоритет в создании большой и заслуженной славы «Сатирикона». Куприн адресовал Аверченко несколько эпиграмм: «О нет, судьба тебя не обошла», «Ночь» («На “Сатирикон”»), посвятил ему рассказ «Белая акация» (1911) и очерк-некролог.

– *шебуевский «Пулемет»* – Шебуев Николай Георгиевич (1874–1937), журналист, писатель, издатель журнала «Пулемет» (1905), первый номер которого был конфискован, а редактор арестован; всего вышло пять номеров.

– *арцыбушевский «Зритель»* – Арцыбушев Юрий Константинович (1877–1952), художник и журналист, в 1905 г. основал журнал «Зритель».

– *Гржебин* Зиновий Исаевич, наст. имя Зелих Шиевич (1869/1877–1929) – художник, издатель. Входил в круг знакомых Куприна. В 1905 г. дебютировал как организатор, ответственный редактор и художник сатирического еженедельного журнала «Жупел», где публиковался Куприн. В 1906 г. совместно с С. Ю. Копельманом организовал издательство «Шиповник» (1906–1918), при котором выпускал одноименный альманах (1907–1916). В 1918 г. Гржебин возглавил горьковский проект – издательство «Всемирная литература». В 1919 г. организовал в Петрограде частное «Издательство З. И. Гржебина» с филиалами в Москве и Берлине. В 1921 г. вместе с семьей выехал за границу, где издательство работало до 1923 г.

– *Билибин Иван Яковлевич* (1876–1942) – художник, мастер книжной графики и театрально-декорационного искусства. В 1900-е гг. сотрудничал в журнале «Мир искусства», оформляя его страницы. В 1905–1906 гг. выполнил ряд карикатур для сатирических журналов «Жупел» и «Адская почта». Входил в круг знакомых Куприна в России и в эмиграции. Перед возвращением в СССР (1936) Билибин беседовал с семьей Куприных о возможности возвращения писателя на родину, по их поручению вел предварительные переговоры с советским послом В. П. Потемкиным. В первые дни возвращения Куприна на родину художник посетил его в московской гостинице «Метрополь»: «Были у нас Билибины – приезжали на один день в Москву» (из письма Е. М. Куприной к дочери Ксении от 2 июня 1937 г.). Художник погиб в блокадном Ленинграде в 1942 г., до последнего дня трудился в Академии художеств, где в то время работала и вдова Куприна Елизавета Морицевна.

– *на бержераковом носу* – Эркюль Савиньен Сирано де Бержерак (1619–1655), французский драматург, поэт, гвардеец; прототип героя пьесы Э. Ростана «Сирано де Бержерак» (1897). Имя Сирано де Бержерака стало нарицательным для обозначения человека с огромным носом.

– *Потемкин Петр Петрович* (1886–1926) – поэт, сатирик, переводчик, драматург, секретарь журнала «Сатирикон». Входил в круг знакомых Куприна.

– *лейкинские «Осколки»* – Лейкин Николай Александрович (1841–1906), писатель, журналист, с 1880 г. — издатель и редактор журнала «Осколки».

Печатается по: журнал «Дон». – 1963. – № 8 (публ. Л.В. Усенко).

В. Д. Кузьмин-Караваев.

Статья-некролог напечатана в журнале «Иллюстрированная Россия». – 1927. – 26 февраля. – № 9.

– *Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич* (1859–1927) – общественный и политический деятель, правовед, публицист, профессор Александровской военно-юридической академии, генерал-майор.

Депутат 1-й Государственной думы от Тверской губернии, член Аграрной комиссии. После Февральской революции Временным правительством назначен сенатором первого департамента Сената. После Октябрьской революции уехал из России, жил в Стокгольме. Принимал участие (вместе с А. В. Карташёвым, М. Н. Суворовым) в образовании Северо-Западного правительства России (1919) – коалиционного правительства, сформированного в Ревеле 11 августа 1919 г. из представителей всех партий (5 декабря после поражения Н. Н. Юденича правительство объявило о самороспуске). Входил в состав Политического совещания при Главнокомандующем Северо-Западной армией Юдениче, состоял министром продовольственного обеспечения армии. С мая 1919 г. жил в Гельсингфорсе, затем – в Нарве, с ноября – снова в Гельсингфорсе, сотрудничал в газете «Новая русская жизнь», где сблизился с Куприным. В письме к издателю Е. Ляцкому от 5 июня 1920 г., сразу по приезде из Гельсингфорса в Париж, Куприн называет Кузьмина-Караваева помощником в переводе А. Стриндберга: «Ошибки переводчика у меня будет править в Гельсингфорсе, вероятно, Кузьмин-Караваев…». О Кузьмине-Караваеве упоминается в статье «Дневники и письма» (1924), в повести «Купол святого Исаакия Далматского» (1928) и др.

Печатается по первой публикации.

В. Н. Ладыженский.

Очерк-некролог напечатан в газете «Возрождение». – 1932. – 31 января. – № 2434.

– *Ладыженский Владимир Николаевич* (1859–1932) – поэт, писатель, земский деятель. Родился и провел детство в с. Александровка Сердобского уезда Саратовской губ. (ныне село на территории Пензенской обл.), бывал в Пензе и Сердобске.

Куприн и Ладыженский познакомились в кон. 1890-х гг. в Крыму и поддерживали дружеские отношения до конца жизни Ладыженского. В письме к жене Е. М. Куприной от 8 сентября 1925 г. из г. Ош Куприн спрашивал: «Бывают ли Ладыженский и Н. Рощин?». В письме к председателю Издательской комиссии в Белграде В. Д. Брянскому в июне 1929 г. Александр Иванович хлопотал о друге: «Я забыл в прошлом письме приписать мое ходатайство; нет – даже просьбу: у очень хорошего и очень

милого писателя – он начал немного раньше меня – Владимира Николаевича Ладыженского набрался томик прекрасных рассказов: о Париже, о Бордо, о винах, о солнце, об обычаях, а также нежных рассказов о детях. Его эта книжка была бы теплым, красочным тоном в серии русских писателей, в этом насаждаемом Вами вертограде» (ГАРФ. Ф. Р-6793. Оп. 1. Д. 7. Л. 271). Книга Ладыженского «За рубежом» вышла в Белграде в 1930 г. благодаря бескорыстному участию Куприна.

На смерть Ладыженского, последовавшую в Ницце в 1932 г., Куприн откликнулся статьей-некрологом и создал привлекательный литературный портрет, акцентируя малоизвестные факты из биографии друга, добавив выразительные детали к образу Ладыженского-эмигранта, Ладыженского-педагога. Куприн причислял Ладыженского к землякам, ошибочно написав в некрологе, что тот родился «в старинном имении дворян Ладыженских в Пензенской губ. и Пензенском уезде».

– *шавильский дом* – Шавиль – поселок в 14 км от Парижа.

Печатается по первой публикации.

СТИХОТВОРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: лирика, эпиграммы, миниатюры (1885-1930 гг.)

Стихи кадетского периода (1885-1887 гг.)

Боец.

Стихотворение датируется 1885 г. За последние четыре года кадетской жизни, с 1883 по 1887 гг., Куприным было написано около 30 стихотворений. Рукописи кадетских стихов хранятся в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 1-6; 22, 26, 27, 28, 33). 11 стихотворений опубликованы Ф.И. Кулешовым: Кулешов Ф.И. Из неизданных стихов Куприна. Ученые записки Южно-Сахалинского гос. пединститута. 1959. Т. 2. С. 179-187.

Печатаются по: Ученые записки Южно-Сахалинского пед. инст., 1959. Т. 2. (Публ. Ф. И. Кулешова).

Недоразумение.

Стихотворение датируется 1886 г. (РГАЛИ. Ф 240). Напечатано в Ученых записках Южно-Сахалинского пед. инст., 1959. Т. 2. (Публ. Ф.И. Кулешова).

Ода Каткову (На возведение его в сан министра).

Стихотворение датируется по рукописи 1886 г. (РГАЛИ. Ф 240). Напечатано в Ученых записках Южно-Сахалинского пед. инст., 1959. Т. 2. (Публ. Ф.И. Кулешова).

«Слезы бесплодные, думы тяжелые…»

Стихотворение датируется по рукописи 1887 г. (РГАЛИ. Ф 240). Напечатано в Ученых записках Южно-Сахалинского пед. инст., 1959. Т. 2. (Публ. Ф. И. Кулешова).

В море.

Стихотворение датируется 1887 г. (РГАЛИ. Ф 240). Напечатано в Ученых записках Южно-Сахалинского пед. инст., 1959. Т. 2. (Публ. Ф.И. Кулешова).

Сны.

Стихотворение датируется по рукописи 1887 г. (РГАЛИ. Ф 240). Напечатано в Ученых записках Южно-Сахалинского пед. инст., 1959. Т. 2. (Публ. Ф.И. Кулешова).

Песнь скорби.

Стихотворение датируется по рукописи 1887 г. (РГАЛИ. Ф 240). Напечатано в Ученых записках Южно-Сахалинского пед. инст., 1959. Т. 2. (Публ. Ф.И. Кулешова).

«Миг желанный настал…»

Стихотворение датируется по рукописи 1887 г. (РГАЛИ. Ф 240). Напечатано в Ученых записках Южно-Сахалинского пед. инст., 1959. Т. 2. (Публ. Ф.И. Кулешова).

Заря.

Стихотворение датируется по рукописи 1887 г. (РГАЛИ. Ф 240. Оп. 1. Ед. хр. 117). Напечатано в Ученых записках Южно-Сахалинского пед. инст., 1959. Т. 2. (Публ. Ф.И. Кулешова).

Лорелей (Из Г. Гейне).

Стихотворение датируется по рукописи 1887 г. (РГАЛИ. Ф. 240). Напечатано в Ученых записках Южно-Сахалинского пед. инст., 1959. Т. 2. (Публ. Ф.И. Кулешова).

На новый год.

Стихотворение датировано 31 декабря 1886 г. Посвящается М. Полубояриновой.

Грезы.

Стихотворение датировано 1887 г. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп.1. Ед. хр. 111).

Зимняя сказка (из Г. Гейне).

Стихотворение датировано 1887 г. Печатается по: Собр. соч. Московское книгоиздательство. 1917. Т. IX.

Стихи 1890-х — 1910-х гг.

Затишье.

Стихотворение впервые напечатано в киевской газете «Жизнь и искусство». — 1894 г. — №305, за подписью «К-ъ»; затем в журнале «Москва». — 1970. — №9 (публикация О. Сайкина).

Положено на музыку Вл. Корца (В.Н. Кораблев).

«И недолго шумит и бушует гроза...»

Стихотворение впервые опубликовано в газете «Киевское слово». — 1896 г. — 20 мая; затем в журнале «Москва». — 1970. — №9 (публикация О. Сайкина).

Положено на музыку Вл. Корца (В.Н. Кораблев), ноты хранятся в фондах Литературного музея г. Пензы.

«Как море вдруг пред бурей утихает...»

Стихотворение впервые опубликовано в газете «Киевское слово». — 1896 г. — 2 июня; затем в журнале «Москва». — 1970. — №9 (публикация О. Сайкина).

Экспромт («Ты мне сахар в чашку чая…»)

Стихотворение впервые опубликовано в газете «Киевское слово». — 1897 г. — 30 августа, за подписью «К-ъ»; затем в журнале «Москва». — 1970. — №9 (публикация О. Сайкина)..

Экспромт (лат) – готовый. Небольшое стихотворение, чаще шуточного содержания, сочиненное поэтом устно или письменно, без подготовки, под влиянием непосредственного чувства.

Стихотворение положено на музыку Вл. Корца (В.Н. Кораблев).

В альбом Е. Д. Левенсон («Что за странная пора?..»)

Четверостишье Куприна записано в альбом Е.Д. Левенсон, библиотекаря Балаклавы. Датировано 1905 г. Альбом хранился у доктора Е.М. Аспиза, друга Куприна, в настоящее время находится в РО РГБ. Миниатюру приводит в воспоминаниях Мира Евсеевна Аспиз, дочь доктора Е.М. Аспиза.

Из альбома Муссафыра.

Цикл стихотворных миниатюр: «Ялтинский жанр», «Пыр, или смерть Муссафыра», «Пастель», «Горе Муссафыра», «Крымский пейзаж». Впервые опубликован в газете «Свободные мысли». – 1908. – № 35; в книге: Куприн А. И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы. (Сост. Т. Кайманова). — Пенза. 2010.

П. М. Пильскому.

Эпиграмма датируется 1909 г., вписана в коллективный дневник, который велся в Даниловском совместно с приехавшими друзьями В. Регининым и В. Клестовым.

– *Пильский Петр Моисеевич* – см. выше примечания к рецензии «Петр Пильский. Рассказы. 1907 г.»

– *фермопильский* – в ущелье Фермопилы в 480 г. до н.э. произошло знаменитое сражение греков и персов.

К. Бальмонт.

Пародия напечатана в сборнике «Незлобивые пародии» (СПб., 1908).

– *Бальмонт Константин Дмитриевич* (1867-1942), поэт-символист. Популярность Бальмонта пришлась на Серебряный век, когда в Петербурге его стихи с упоением декламировались на всех студенческих вечерах и приводили в восхищение всех курсисток. М. Горький говорил о нем: «Дьявольски интересен и талантлив этот неврастеник». Насколько Куприн был естественен, настолько Бальмонт любил позу и, декламируя свои стихи, входил в поэтический экстаз, сладкий и вкрадчивый шепот чередовал с громоподобным пафосом. Куприн посвятил Бальмонту эпиграмму, напечатанную в журнале «Огонек» (1913 г., № 2) – см. ниже. Теплая дружба между двумя литераторами установилась в первые годы эмиграции в Париже.

Печатается по: Куприн А. И. Река жизни. Рассказы и повести. Из несобранного и забытого. (Сост. Л.В. Усенко). – Росиздат. – 1988.

Бальмонту.

Шуточный экспромт напечатан в журнале «Огонек». – 1913. – № 2, под рубрикой «С елки». Печатается по первой публикации.

– *Бальмонт Константин Дмитриевич* – см. выше примечания к пародии «К. Бальмонт».

– *Кутан-Эсли* – предположительно, название места в горах (кутан – стоянка пастухов на зимних пастбищах).

– *феллах* – крестьянин, земледелец в странах Ближнего Востока.

Тихонову.

Эпиграмма опубликована в журнале «Огонек». – 1913. – № 2, под рубрикой «С елки». Печатается по первой публикации.

– *Тихонов Владимир Алексеевич* (1857 – 1914), писатель, драматург. Входил в число близких друзей Куприна, оказывал ему поддержку. В 1906 г. Куприн жил в гатчинском доме Тихонова на ул. Багговутской, № 5, работал над рассказом «Гамбринус».

– *«Кругозор»* – журнал, издаваемый Тихоновым. Издание не имело подписчиков и через два номера прекратилось.

Некоторым «беляевским критикам».

Эпиграмма опубликована в журнале «Огонек». – 1913. – № 2, под рубрикой «С елки». Печатается по первой публикации.

– *Беляев Юрий Дмитриевич* (1876 – 1917), журналист, театральный критик, драматург. Особую популярность имела его пьеса о судьбе танцовщицы времен Екатерины Великой «Псиша» (1911).

Брешке.

Эпиграмма на Н. Н. Брешко-Брешковского опубликована в журнале «Огонек». – 1913. – № 2, под рубрикой «С елки». Печатается по первой публикации.

– *Брешко-Брешковский Николай Николаевич* (1874 – 1943), русский писатель, журналист, критик, военный публицист. На книги Брешко-Брешковского Куприн опубликовал две рецензии: «Шепот жизни» (Мир

Божий. — 1904. — № 6), «Опереточные тайны» (Мир Божий. — 1905. — № 6), написал библиографическую статью под названием «Н. Брешко-Брешковский. Этюд» в качестве предисловия к книге Брешковского «Жуткая сила», вышедшей в 1930 г. в Риге.

– *Раич С. Е.* (1792-1855), писатель, переводчик. К концу жизни мировоззрение эпикурейца сменил на аскетизм, в литературных кругах был скоро забыт.

И. Лебедеву.

Эпиграмма опубликована в журнале «Огонек». – 1913. – № 2, под рубрикой «С елки». Печатается по первой публикации.

– *Лебедев Иван Владимирович* (1879 – 1950), псевдоним «Дядя Ваня», атлет, арбитр чемпионатов французской борьбы, цирковой конферансье, литератор, мемуарист. С 1912 г. издатель и главный редактор спортивного двухнедельного иллюстрированного журнала «Геркулес», в котором Куприн публиковал статьи и очерки о спорте. Экспромт точен в характеристике Лебедева как фаната цирковой борьбы. Куприн упоминает о факультете, имея в виду, что Лебедев бывший студент юридического факультета Петербургского университета, говорил на нескольких иностранных языках.

– *«Тур-де-тет»* – на языке борцов так называется прием (бросок через голову).

– *Шемякин Иван Васильевич* (1877 – 1953), известный борец, в 1907 получил 1-ый приз на Мадридском чемпионате.

С. И. Плаксину.

Эпиграмма. Датируется 1911. Место первой публикации не установлено. Печатается по: Русская эпиграмма 18 – начала 20 вв., сборник., сост. М. И. Гиллельсон и К. А. Кумпан., Л.: Советский писатель, 1988 г.

– *Плаксин Сергей Иванович* (1854 – ?) – поэт, одесский цензор. Куприн был знаком с Плаксиным по сообществу одесских журналистов, встречавшихся по четвергам в кафе у ресторатора Доди.

– *«певца обедов, именин и царских дней»* – Куприн высмеял верноподданническое стихотворение Плаксина «В память высочайших Его Императорского величества Государя Императора Николая II проездов через Одессу».

К поэту (И. А. Бунину).

Эпиграмма впервые напечатана в газете «Гатчина». – 1913. – 14 апреля. – № 4; затем в журнале «Сатирикон». – 1913. – 19 декабря. – № 28; в книге: Куприн А. И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы. (Сост. Т. Кайманова). — Пенза, 2010.

Ночь (На «Сатирикон»).

Стихотворная миниатюра с подзаголовком «Из моих шуток» была впервые опубликована 14 апреля 1913 года в еженедельнике «Гатчи-

на», который выходил в 1913-1916 гг. в городе, где в это время жил А.И. Куприн.

«Сатирикон» – издававшийся в Петербурге популярный сатирический журнал. С 1908 г. редактировал А.Т. Аверченко, с которым Куприн был в дружеских отношениях. В журнале опубликован рассказ Куприна «Белая акация» с посвящением А.Т. Аверченко.

Печатается по: журнал «Москва». — 1970. — №9 (публ. О. Сайкина).

А. Аверченко.

Эпиграмма адресована Аркадию Тимофеевичу Аверченко (1881 – 1925), редактору сатирического журнала «Сатирикон», драматургу и писателю, получившему от современников звание «Король смеха».

По воспоминаниям секретаря «Сатирикона» журналиста Николая Вержбицкого, Куприн наградил Аркадия Аверченко эпиграммой, услышав историю о том, что царь, возжелав послушать юмориста и посмотреть на него, пригласил во дворец. Аверченко, не желая быть шутом, но боясь отказаться, притворился больным. Завистники пустили слух, будто знаменитый юморист потом дал согласие выступить, но получил отказ от царя: «Поздно спохватился».

А. И. Катуну.

Четверостишие, или надпись – один из видов литературных жанров.

Плакат такого содержания А. Куприн советовал вывесить своему другу, известному в Петербурге портному А. И. Катуну. Позже, в интервью корреспонденту журнала «Иллюстрированная Россия» (1926, №4), он говорил, что написал эти строчки для рекламы гатчинского еврея-портного Ноаху.

Мамонту Дальскому.

Дружественная надпись-эпиграмма сделана Куприным на томике очерков «Лазурные берега», вероятно, в 1916 г. во время встречи с М.В. Дальским на Кавказе.

– *Дальский Мамонт Викторович,* настоящая фамилия Неелов (1865 – 1918) — русский драматический актер. Входил в круг друзей Куприна. Близкое знакомство относится к 1916 г. Во время поездки с лекциями на Кавказ писатель встретился в Кисловодске с приехавшим на гастроли Мамонтом Дальским. Они провели несколько совместных литературно-артистических вечеров, посвященных А.С. Пушкину. В Пятигорске 10 сентября 1916 г. в курзале Куприн читал лекцию, Дальский – монологи из «Скупого рыцаря» и «Бориса Годунова». В «Кавказском журнале» был опубликован совместный снимок со следующей надписью: «Эти два весельчака – добрые приятели по Москве, встретившись на курорте, были обоюдно счастливы». Ксения Куприна описала в воспоминаниях свои впечатления от встречи с артистом: «Он мне показался ослепительным, и я запомнила его на всю жизнь: холеный, нарядный, перстни, брелоки, палка с золотым набалдашником, панама, бритое актерское лицо,

закругленный голос» (Куприна К. А. Куприн – мой отец. – М., 1971. – С. 70). После революции Дальский примкнул к анархистам, погиб в Москве в июне 1918 г. В фельетоне «Пестрая книга II», посвященном теме анархизма, Куприн создал образ Дальского – оратора на собраниях анархистов, «артиста с темпераментом Везувия»: «Какой великолепный жест на фоне пожара революции, среди веяния черных знамен» (Свободная Россия. – 1917. – № 14). В статье «П. Пильский» (1931) вспоминал, как в России они оба с восхищением и со слезами на глазах слушали мастерское чтение Дальского: «Мамонт читал нам «Въезд Лариных в Москву», все ускоряя и ускоряя темп, и как широко и величественно распростер он руки, восклицая в конце «Москва! Москва!» А потом он читал «Отелло»…». Яркая характеристика авантюрного образа жизни Дальского содержится в очерке Куприна «Обыск»: «…современный нам Калиостро, он же талантливый актер и он же неожиданный и внезапный анархист Мамонт Дальский».

Эпиграмма («Не тем я угнетён...»).

Напечатана в 1916 году в журнале «Бич».

– *Годин Яков Владимирович* (Вульфович) (1887–1954) – поэт, переводчик. Входил в круг знакомых Куприна. После окончания ремесленного училища в 1900-е гг. стал публиковаться в журналах «Нива», «Русское богатство», «Журнал для всех», печатался в сб. «Песни молодой Иудеи» (Ялта, 1906). Стихи Година включал в свои чтецкие концерты актер, знакомец Куприна, Н.Н. Ходотов. Встречи Година и Куприна относятся к 1900–1910 гг. Писатель причислял его сб. «Северные дни» (1913) к образцам «массовой» поэзии. Эпиграмма Куприна пародийно повторяет ритм стихотворения Година «Скарабей» которое было опубликовано в журнале «Пробуждение» с посвящением Куприну.

После Октябрьской революции Годин сотрудничал в журналах: «Красная нива», «Смехач», «Бегемот» и др.

Печатается по публикации в газете «Коннетабль». — Гатчина. — 1990 г. — 7 сентября.

Сорок четвертая весна.

Стихотворение. Авторская дата 25 апреля 1915 г. Под названием «Опять весна» напечатано в газете «Биржевые ведомости», Петроград. – 1915. – № 14815. С названием «Сорок четвертая весна» вошло в сборник: Куприн А. И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы. (Сост. Т. Кайманова). — Пенза, 2010.

Дворцовая легенда.

Стихотворение датировано 1914 г.

В первые недели I Мировой войны А. И. Куприн перевел язвительное стихотворение Гейне о предках кайзера Вильгельма Второго, войска которого только что вторглись в Россию. Собственноручно Куприн вписал стихотворение в рукописный альманах (домашний альбом) К.И. Чуковского «Чукоккала».

Печатается по: Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы. (Сост. Т. Кайманова). — Пенза, 2010.

Три друга.

Шуточное стихотворение было впервые опубликовано в журнале «Аргус». — 1915. — № 21.

Номер был полностью посвящен войне с Германией, несколько страниц занимали карикатуры, среди которых и было помещено стихотворение А.И. Куприна.

— *каплун* –кастрированный петух, откармливаемый на мясо.

Печатается по первой публикации.

Каприфолий.

Сонет впервые напечатан в журнале «Аргус». — 1915. — №3, общедоступном иллюстрированном ежемесячнике.

— *Стекетти Лоренцо* (встречается написание: Стеккетти) – итальянский поэт, настоящее имя Гверини Олиндо (1845-1916).

— *Каприфолий (каприфоль)* – другое название: жимолость душистая – ветвящийся вьющийся кустарник семейства жимолостных.

Цветок с пленительным завораживающим ароматом часто упоминается в купринских рассказах с романтическим сюжетом. Этими душистыми кустами поросли подходы к таинственному сказочному замку, где разворачивается любовная трагедия молодой прекрасной королевы и её пажа («Легенда»). Пряный аромат каприфолий в мраморных крымских развалинах дурманят и возбуждают чувственность героев рассказа «В Крыму». Автор не раз повторяет этот образ и фиксирует внимание: кусты каприфолий «благоухали дико и страстно» и от зовущего запаха «в груди ныло сладкое истомное раздражение». В рассказе «Соловей» Куприн снова очаруется этими цветами: «Вечерняя звезда серебряным светом задрожала на зелёном небе. Сразу нежно и властно полился волшебный аромат каприфолий».

Печатается по первой публикации.

Диссонансы (Подражание новым).

Пародия в стихах. Датируется 1916 г.

– *климова подоплека* – подшивка под крестьянскую рубаху, название «климова» – от распространенного в народе имени.

– *Prima Vera* – марка одеколона.

– *Териоки* – пригород Петербурга, до 1939 г. входил в состав Финляндии, с 1948 г. – г. Зеленогорск.

– *Дюма-pere* – Дюма-отец.

– *садический сад* – то же, что садистский, т.е. жестокий, от имени писателя Маркиза де Сада.

– *камень заберзат* – редкий полудрагоценный золотоцветный камень, хризоберилл.

– *пастораль* – жанр в литературе или живописи, поэтизирующий простую сельскую жизнь.

– *фригийские пастухи* – выражение ассоциируется с мирными сельскими жителями древнего государства Фригии в Малой Азии; со строчками А.С. Пушкина «...и песни мирные фригийских пастухов» («Муза»).

– *ложе Прокруста* – выражение означает мерку, под которую пытаются что-либо подогнать насильственным образом. Античный миф рассказывает о Прокрусте, создавшем ложе определенной длины: кто был короче его, того растягивали; кто длиннее – того укорачивали, отрубая ноги.

– *Requiescat in pace* – (лат.) покойся с миром; мир твоему праху.

Печатается по IX тому Собрания сочинений. (Московское книгоиздательство, 1917. С. 156-157).

«О, не клянись…» (из Г. Гейне).

Стихотворение, перевод из Г. Гейне. Вошло в IX том Собрания сочинений Куприна (Московское книгоиздательство, 1917); в книгу: Куприн А.И. Река жизни: Рассказы. Из несобранного и забытого. (Сост. Л. В. Усенко). — Росиздат, 1988.

Папская энциклика.

Стихотворение вошло в IX том Собрания сочинений Куприна (Московское книгоиздательство, 1917).

– *энциклика* (лат.) – послание папы римского католикам.

– *тинктура* (лат.) – лекарственная настойка.

– *тонзура* (лат.) – выбритое место на голове у католического монаха или священника, знак принадлежности к духовенству.

Печатается по: журнал «Дон». – 1965. – № 1 (публикация Л.В. Усенко).

Смерть осла (Из Лоренцо Стекетти).

Стихотворение впервые опубликовано в петроградском журнале «Пробуждение». — 1916. — 1 июня. Представляет собой перевод итальянского поэта Л. Стекетти (см. подробнее в примечаниях к стихотворению «Каприфолий»).

Куприн посвятил стихотворение «синьору Джиакомо Чирени» – своему другу, клоуну-итальянцу, выступавшему в петербургских цирках «Модерн» и Чинизелли под псевдонимом Жакомино. Артист владел многими цирковыми жанрами, особенно славились его сальто-мортале через препятствия: пирамиду из 20 человек, 10 лошадей и автомобиль, — за что Жакомино и получил титул «Король прыгунов».

Писатель сочинял для друга-артиста юмористические сценки. Когда Александр Иванович появлялся в цирковой ложе, Жакомино приветствовал его и вовлекал в диалог к восторгу зрителей.

В рассказе «Соловей» Куприн признавался, что в 1912 г. в пансионате северной Италии учился итальянскому языку у Джиакомо Чирени и с помощью словаря переводил Стекетти и Кардуччи.

Печатается по первой публикации.

Женщина (Пророчество).

Стихотворение впервые опубликовано в журнале «Пробуждение». — 1916. — № 2.

— *сонет* — (итал.) звучать, звенеть — итальянская форма стихотворения в 14 строк. Первая часть сонета состоит из 2-х четверостиший – катренов, вторая – из 2-х трехстиший – терцетов.

— *Спартак* – гладиатор, вождь восстания рабов в VIII в. до н. э. в Древнем Риме.

— *Homo sapiens* (лат.) – человек разумный.

Печатается по первой публикации.

Экспромт («Ты недоступна и горда...»).

В 1916 г. будучи на Кавказе А. Куприн экспромтом написал стихи Софье Евсеевне Долидзе, сестре друга и устроителя его лекций Федора Евсеевича Долидзе.

— *экспромт* – подробнее в примечаниях к стихотворению «Экспромт». («Ты мне сахар в чашку чая…»).

Стихотворение по форме ближе к мадригалу, т.е. стихотворению-комплименту, жанру, приятному во всех отношениях.

Экспромт положен на музыку Г. Стояновской (1998) и Вл. Корца (2000). Музыкальное произведение Вл. Корца «Ты недоступна» на стихи Куприна создано в форме мадригала – двухголосного музыкально-поэтического произведения любовного содержания.

Стихи 1918 — 1930-х гг.

Дневник ущемленного интеллигента.

Фельетон в стихах. Вошел в авторский малоформатный сборник: Куприн А.И. Тришка Будильник. 1919 г.

Печатается по первой публикации.

– *редингот* – одежда прилегающего силуэта, длинный двубортный пиджак.

– *педрико-серый* – крапчато-серый цвет («педрико» – куропатка).

– *le saber de mon pere* – (франц.) сабля моего отца.

Аэроплан.

Стихотворение напечатано в газете «Новая русская жизнь». – 1920. – 28 марта. – № 72; в книге: Куприн А. И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы. (Сост. Т. Кайманова). — Пенза, 2010.

На кладбище (Из Коскенниеми).

Перевод стихотворения финского поэта В.А. Коскенниеми (1885-1962), к поэзии которого Куприн обратился ещё будучи на лечении в Финляндии в 1907 г. Ранний перевод опубликован в журнале «Современный мир». — 1912. — № 5, под названием «Летняя ночь на кладбище». Второй вариант перевода напечатан в московском журнале «Новая жизнь».

— 1914. — № 12. Настоящий перевод впервые опубликован в газете «Новая русская жизнь». — 1920. — №69. — 24 марта.

S.W.

Стихотворение было написано в 1920 г. в Финляндии, где Куприн прожил несколько месяцев (конец ноября 1919 г. – июнь 1920 г.) в эмиграции, в положении беженца. В записной книжке Александра Ивановича к этому периоду относятся строчки: «Финляндия. Гельсингфорс. Порт, ветер, суда. Тоска» (ИРЛИ. Ф. 242).

Стихотворение S.W. («Кто там нынче…») адресовано В. Н. Филаретову. Печатается по изданию: «Куприн А.И. Мы, русские беженцы в Финляндии». — Нева. — 2001. — № 9.

Закат.

Стихотворение впервые напечатано в газете «Новая русская жизнь». — 1920. —№43. — 22 февраля. Адресовано И.И. Максимову, врачу, жителю Хельсинки. Печатается по изданию: «Куприн А.И. Мы, русские беженцы в Финляндии». — Нева. — 2001. — № 9.

Положено на музыку Г.Е. Стояновской.

В альбом М. С. Цетлиной.

Автограф вписан в альбом М. С. Цетлиной на обратной стороне страницы с записью стихотворения И. А. Бунина «Цирцеи». Альбом хранится у родственницы Цетлиных Ю. В. Гаухман (США). Стихотворная миниатюра опубликована Н. Винокур в журнале «Наше наследие» (2004, № 72).

– *Цетлина Мария Самойловна*, урожд. Тумаркина (1882–1976) – благотворительница, издательница. В первом браке (1907–1909) состояла за политическим деятелем, видным эсером, уроженцем Пензы Н. Д. Авксентьевым (1878–1943). От этого брака родилась дочь Александра Николаевна (1907–1984), в замужестве Прегель, художница, ученица Натальи Гончаровой.

В 1910 г. Мария Самойловна вышла замуж за М. О. Цетлина, от второго брака родилась дочь Ангелина Михайловна, в замужестве Доменик. Цетлин Михаил Осипович (1882–1945) – поэт и беллетрист, выступавший под псевдонимом Амари, редактор, меценат. В 1919 г. Цетлины эмигрировали, продолжили литературно-художественную деятельность в Париже, возобновили салон, в котором бывали А. Куприн, И. Бунин, В. Ходасевич, Д. Мережковский, Н. Тэффи и др. Занимались издательской и благотворительной деятельностью: М. С. Цетлина с 1925 г. состояла членом Комитета помощи русским писателям. В 1923–1924 гг. издавали в Париже литературный альманах «Окно», в котором принимали участие А. Куприн, И. Бунин, К. Бальмонт, М. Цветаева, И. Шмелев. После оккупации Франции Цетлины в 1940 г. переехали в США. В 1942 г. в Нью-Йорке Цетлин совместно с М. Алдановым основал «Новый журнал» и до своей смерти в 1945 г. был издателем и редактором этого крупнейшего периодического издания русской эмиграции. Впоследствии редактором журнала был Р. Б. Гуль.

Куприн и Цетлины поддерживали многолетнее знакомство. В письме к Е. Ляцкому от 14 октября 1921 г. писатель называет М. О. Цетлина в качестве знатока немецкой литературы, с которым консультировался при отделке перевода пьесы Шиллера «Дон Карлос». Еще одна запись Куприна в альбом относится к 4 апр. 1923 г. и касается выхода первого номера альманаха Цетлиных: «Ребенок, зачатый без любви, и мысль, продуманная вяло, осуждены на гибель. 1-ый нумер “Окна” появился на свет здоровым и бодрым. Пусть живет!». В первый номер журнала Куприн отдал повесть «Однорукий комендант» (1923). Установлен факт переписки: письмо Куприна к М. Цетлину – в архиве Культурного центра «Дом-музей Марины Цветаевой» (КП–1388/6).

Эпиграмма («Я думаю: а жив ли Лазаревский?..»)

Стихотворение было послано Куприным 10 января 1922 г. на открытке Борису Лазаревскому, который вклеил корреспонденцию в свой дневник «Моя жизнь» (1922 год, стр. 30). Хранится в Литературном архиве Музея национальной письменности в Праге, в фонде Б.А. Лазаревского (96/43). Печатается по: журнал «Новый мир». — 2006. — №5 (публ. М. Михайловой).

— *Лазаревский* Борис Александрович (1871-1936) – русский писатель, автор 7-томного собрания сочинений, изданного до революции. Эмигрировал в 1920 году. Шестьдесят тетрадей дневников Лазаревского хранятся в различных архивах (РГБ, РГАЛИ, ИРЛИ).

Кто он?

Эпиграмма-загадка впервые напечатана в парижской газете «Русское время». — 1928. — № 584, за подписью «Али-Хан».

Написана на известного русского писателя А.Н. Толстого (1883-1945), вернувшегося в 1923 г. из эмиграции в Россию. Поводом послужила публикация романа «Восемнадцатый год» из трилогии «Хождение по мукам».

Куприн, Бунин и др. писатели, общавшиеся с А.Н. Толстым в эмиграции, считали, что вернулся он по корыстным соображениям. «Восхитительный в своей откровенности циник… Ловкий рвач, но и щедрый мот», — зло характеризовал его И.А. Бунин.

Куприн о возвращении А.Н. Толстого в Москву говорил: «Уехать как Толстой, чтобы получить крестишки или местечки – это позор, но если бы я знал, что умираю, непременно и скоро умру, то я бы уехал на родину, чтобы лежать в родной земле».

Страничка из альбома. Л.Я.Л. (Лидии Яковлевне Липковской).

Стихотворение под рубрикой «Страничка из альбома» и под заголовком «Л.Я.Л.» напечатано в журнале русской эмиграции «Театр и жизнь». – 1929. – № 15, за подписью «А. Куприн. 11 дек. 19** год, Петроград». Рядом была помещена фотография Лидии Липковской. Номер посвящался юбилею артистки. Печатается по первой публикации

– *Липковская Лидия Яковлевна* (1884 – 1958), по первому мужу Маршнер – оперная артистка (колоратурное сопрано), концертная певица.

Входила в круг знакомых Куприна по России, о чем свидетельствует Н.Я. Агнивцев в стихотворении «Н.Н. Ходотову» (1923). Встречались в Париже на литературно-артистических вечерах. Позднее артистка вспоминала обстоятельства написания Куприным данного стихотворения, но ошибочно указывала на встречу с писателем в Сингапуре, во время ее концертного турне 1921-1922 гг. (Арабаджиу Р. Судьба примадонны. Воспоминания и документы о жизни и творчестве Л.Я. Липковской. – Кишинев, 1989).

– *плейелевский рояль* – музыкальный инструмент фортепианной фабрики И.И. Плейеля (Франция), композитора и музыкального издателя немецкого происхождения.

Миниатюра

Стихотворная миниатюра хранится в РГАЛИ (Ф. 240). Печатается по: Куприн А.И. Река жизни: Рассказы. Из несобранного и забытого. (Сост. Л. В. Усенко). — Росиздат, 1988.

Мой портрет. (Из Стекетти).

Стихотворение. Перевод из Л. Стекетти. Напечатано в журнале «Иллюстрированная Россия». – 1930. – № 3. – 11 января. Является поздней редакцией раннего перевода, опубликованного под названием «Мой закат» – Аргус. – 1915. – № 1.

Разночтения касаются второй и третьей строф.

Печатается по: «Иллюстрированная Россия». – 1930. – № 3.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Кайманова Т.А.
Предисловие от составителя: Непрочитанный Куприн.... 3

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ (1893-1936 гг.)

Ночью. *Этюд.* 22
Элегии в прозе:
1.Одиночество. 30
2. Ночь в Гурзуфе. 31
3. Две матери. 32
4. Успех. 33
Любовь Армана и Генриетты. *Пародийный роман.* 34
Жонглер Богоматери. *Перевод новеллы А. Франса.* 36
Сирень. 41
Три буквы.
Коллективный приключенческий роман..... 42
Тараканья щель. 46
Бубен неуемный. (Рассказ старого беженца)..... 52
Врачебная этика 57
Листригоны (2-я часть):
1. Междусловие..... 61
2. Светлана..... 62
Гатчинский призрак..... 64
Старость мира 70
Тришка-Будильник (Недоразумение)..... 75
Каломель..... 77
Письма Наташе 80
Воробьиный царь..... 86
Одиночество 95
Жокей и лошадь 98
Пощечина (Рассказ штурмана каботажного плавания)..... 100
Извощик Петр 105
Париж и Москва..... 108
Медвежья молитва..... 111
Лесенка голубая 112
Заклятие 117
Кислород..... 120
Последний буржуй..... 123
Елань 128

Суд 128
Авионетка 132
Молитва Господня 135
Дедушка Мороз (Из старых времен) 138
Двоенос 139
Костя Попов 141
Бабиль 146
Алеша 148
Шестое чувство 168
Теодолит
(Рассказ из воспоминаний пегого человека) 192

ПЬЕСЫ

Грань столетия. 196
Лейтенант фон Пляшке. *Водевиль.* 208
Моя звезда. *Кинематографическая пьеса.* 228
Публичный торг:
Историческая пьеса в двух действиях. 253

ПУБЛИЦИСТИКА
(статьи, фельетоны, памфлеты)

Публицистика дореволюционная (1906-1914 гг.)
Армия и революция в России 258
Около войны. Двинск 265
Лифляндия:
1. Латыши 268
2. Немцы 275
3. Евреи 279
4. Русские 281
О войне 282
О жестокости 285
Союзники 288

Публицистика 1917 г.
В наши дни. Пахнет гарью. 294
В наши дни. Генерал Пфуль. 298
Пестрая книга I 300
Пестрая книга II 302

Пестрая книга V 305
Пестрая книга VI 306
Пестрая книга VII 308
Пестрая книга VIII: Ворон и Лиса 309
Пестрая книга X: Пирамида. 310
Пестрая книга XI: Агенты. 311
Необходимая оговорка. *Письмо в редакцию.* 314
О казачестве. Особое мнение 314
Сердце народное (А.Ф. Керенский) 318
Звездный флаг 320
Доменная печь. 325

Публицистика 1918 г.
Памятники 328
Стыдливое признание 331
Куда пойдем? Кому скажем? 334
Желтугинская республика 337
Все качества 340
Где конец? 343
Писаки 345
Близкое (Письмо В.Г. Тану) 348
Берлога. 350
Вскладчину 351
Законный срок 353
К убийству В. Володарского. У могилы. 355
Великий князь Михаил Александрович. 357
Третий пункт 359

Публицистика периода эмиграции
Высокие покровители 361
Параллели 364
Мир – дурак 367
Недочеты 368
Отечество (От редакции) 370
Большевики 370
Памяти жертв большевиков 371
Доктор Шатуновский 372
Гуслицкая фабрика 375
Паспарту 379
Великая Русь. 383

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ, ЗАМЕТКИ

Производственные очерки (1895-1900 гг.)
Киевский Бедлам 386
В бактериологическом институте
I. Прививки против бешенства 394
II. Антидифтеритная сыворотка. 401
Новороссийский элеватор 409

Статьи и очерки о спорте и цирке (1911 – 1933 гг.)
О стрельбе 415
Борьба и бокс 415
Лапта 416
Уточкин 417
Победа духа 419
Анатолий Дуров. К 10-летию смерти А. Л. Дурова. 421
Умирающее искусство 423
Свободный цирк (У г. Молье) 425
Письмо И.А. Бунину о цирке 430

Статьи и очерки об искусстве (1902-1932 гг.)
Мот. К картине И. Дангаузера 432
Прелестный принц. 433
Добрый волшебник 435
Синема 437
Великий Немой. 438
«Кармен» 441
Лики театральной России: Н. П. Рощин-Инсаров. 442
Комедия дель Арте. 444
Семья Кедровых 447
Ревнив ли Отелло? 449

Литературная критика. Статьи и рецензии (1901-1933 гг.)
Генрик Сенкевич. 450
В. В. Подкольский. «Вечером. Рассказы». 456
Владимир Голиков. Рассказы. 457
Михаил Радлов. «Живые фотографии. Рассказы». 459
Петр Пильский. Рассказы. 1907 г. 460
С. С. Кондурушкин. «Сирийские рассказы». 462
Вилье де Лиль-Адан. «Жестокие рассказы». 462

Поэт арены. 463
Е. А. Колтоновская. «Женские силуэты». 465
С. Я. Соломин. 466
Проказливый юмор. О книге И. С. Руденкова
«Рассказы и сценки» 468
Привет Х. Н. Бялику 468
Александр Дюма. *Критико-биографический очерк.* 469
П. Н. Краснов. «От двуглавого орла
к красному знамени». 471
Петр Александров. Сны. 474
В. фон Дрейер. «Крестный путь во имя Родины» 475
«Северные огни». 477
Е.А. Кельчевский. «После урагана» 478
Н. Брешко-Брешковский. 479
М. Осоргин. «Повесть о сестре». 483
Александр Плещеев. «Что вспомнилось: за 50 лет». 486
Д. Мережковский. «Иисус Неизвестный». 487
Владимир Горийский. «Песни солнца». 488

Мемуарные очерки, некрологи (1921-1932 гг.)
Вечная память. (Л. Г. Корнилов) 490
Аверченко и «Сатирикон». 491
В. Д. Кузьмин-Караваев. 494
В. Н. Ладыженский. 495

СТИХОТВОРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
лирика, эпиграммы, миниатюры (1885-1930 гг.)

Стихи кадетского периода (1885-1887 гг.)
Боец 498
Недоразумение 498
Ода Каткову (На возведение его в сан министра) 499
«Слезы бесплодные, думы тяжелые...» 500
В море 500
Сны 500
Песнь скорби 501
«Миг желанный настал...» 502
Заря 502
Лорелей (из Г. Гейне) 502
На новый год 503

Грезы 503
Зимняя сказка (из Г. Гейне) 504

Стихи 1890-х — 1910-х гг.
Затишье 504
«И недолго шумит и бушует гроза...» 505
«Как море вдруг пред бурей утихает...» 506
Экспромт («Ты мне сахар в чашку чая...») 506
В альбом Е.Д. Левенсон («Что за странная пора?..») 507
«Из альбома Муссафыра». Ялтинский жанр. 507
П. М. Пильскому 507
К. Бальмонт 507
Бальмонту 508
Тихонову 508
Некоторым «беляевским критикам» 508
Брешке 509
И. Лебедеву 509
С. И. Плаксину 509
К поэту (И. А. Бунину) 509
Ночь (На «Сатирикон»). 510
А. Аверченко 510
А. И. Катуну 510
Мамонту Дальскому 510
Эпиграмма («Не тем я угнетён...») 510
Сорок четвертая весна 511
Дворцовая легенда 511
Три друга 512
Каприфолий 512
Диссонансы (Подражание новым) 513
«О, не клянись...» (Из Г. Гейне) 514
Папская энциклика 514
Смерть осла (Из Лоренцо Стекетти). 515
Женщина (Пророчество) 516
Экспромт («Ты недоступна и горда...») 516

Стихи 1918 — 1930-х гг.
Дневник ущемленного интеллигента 517
Аэроплан 518
На кладбище (Из Коскеннеми) 519
S. W. 519

Закат 520
В альбом М. С. Цетлиной..... 520
Эпиграмма («Я думаю: а жив ли Лазаревский?..»)..... 520
Кто он? 521
Страничка из альбома.
Л.Я.Л. (Лидии Яковлевне Липковской) 521
Миниатюра 522
Мой портрет (Из Стекетти) 522

ПРИМЕЧАНИЯ 523

Куприн Александр Иванович

ПЁСТРАЯ КНИГА

(Несобранное и забытое)

Составление, вступление и примечания
Т.А. Кайманової

Редактор – Т. А. Кайманова
Дизайн, верстка — О. В. Сиротин

Подписано к печати 7.07.2015. Формат 60х90/16.
Бумага писчая белая. Печать офсетная.
Уч.-изд. л. 39,25. Усл. печ. л. 39,25.
Тираж 1000 экз. Заказ №

Книга издана при поддержке
Управления культуры и архива Пензенской области.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ОАО «Областной издательский центр».
Адрес: 440600, г. Пенза, ул. Кирова, 65/2.
Тел. 52-06-64, e-mail: Oblizdat@yandex.ru